ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №3 | 2016

16+

Сергей Карлов

Предание | рельефная мозаика из камня | 62 × 50 | 2015

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения *№ 3 | 2016*

В номере

ДиН публицистика

Александр Щербаков
3 На санях

Владимир Шанин
9 Пути поэтов

Сергей Брель
19 Романс о потерянном рае

ДиН победа

Виталий Пырх
25 «Расскажи мне, папа, про войну…»

ДиН память

Вахид Итаев
31 Звонкие цепи Солнца

мосты над облаками

Кямран Назирли
33 Когда опадают листья

ДиН лит

Дни и ночи Литературного института имени А. М. Горького

Константин Скворцов
37 Все крылатые — братья

Сергей Арутюнов
39 Шатоха

Вячеслав Дегтяренко
43 Кроватка

Александр Орлов
48 Дух Моряны

ДиН стихи

Елена Росовская
47 Машенька

Ирина Белоколос
50 Нет другой Итаки

Геннадий Васильев
52 Треугольное сердце

Евгений Минин
54 Перемена мест

Юлия Петрусевичюте
159 На звёзды смотрим изнутри

Николай Вдовин
161 Деревенские куплеты

Александр Дьячков
163 В больнице

Сергей Тенятников
164 Послежитие

ДиН диалог

Юрий Беликов,
Николай Бурляев
56 Колокол, отлитый по наитию

ДиН перевод

Алесь Пашкевич
63 Сдвиг

ДиН поэма

Виталий Молчанов
96 Русские

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Анастасия Астафьева
98 Для особого случая

Виктор Чигир
108 Пластилиновый мальчик

Георгий Янс
113 Кошкин дом

Елена Жарикова
118 Одинокая ветка сирени

Юлия Лалуа
123 Ореховая сказка

Марат Валеев
127 Непридуманные рассказы

Ирлан Хугаев
135 Чёрный ход

Д*и*Н ФАНТАСТИКА

Павел Веселовский
137 Три стороны одной пуговицы

Д*и*Н ПАРОДИЯ

Евгений Минин
162 Модератор жжёт!

Д*и*Н ПРОЗА

Сергей Смирнов
165 Куда улетают птицы

Д*и*Н ДЕБЮТ

Андрей Любченко
185 Бездельник

Михаил Закавряшин
194 Человек за стеной

Д*и*Н АНОНС

205 Литературный конкурс «Справедливой России»

Д*и*Н ЮМОР

Сергей Петров
206 Курортная история

Д*и*Н ПОЛЕМИКА

Елена Игнатова
209 Соблазны пошлости

КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Людмила Шарга
220 Шутки времени. Всерьёз и надолго

Д*и*Н ДЕТИ

222 Синяя тетрадь

234 Д*и*Н АВТОРЫ

Д*и*Н РЕВЮ

Владимир Костров
18 На великой равнине

Никита Брагин
36 Полночное паломничество

Гавриил Каменев
42 Избранное

Диана Кан
55 Звёзды окликая

Лидия Рождественская, Сергей Лыткин
107 Жизнь в полёте

Пётр Краснов
126 Заполье

Бахыт Каирбеков
184 Навстречу солнцу

Александр Щербаков

На санях

Сидя на санях, помыслил я, грешный…
Владимир Мономах

Фунтовый полушубок

Бытует расхожее мнение, что хорошие дублёнки делают только где-нибудь в Италии, в Турции, в Югославии, а вот в России не умели и не умеют. Ничего-то у нас нет для этого: ни мастеров, ни оборудования, ни подходящего сырья, ни даже традиций…

Но позвольте не согласиться. Спокон веку в России, особенно в нашей морозной Сибири, самой распространённой верхней одеждой были овчинные тулупы, шубы и полушубки — дублёные, чернёные (крашеные), просто белые; чаще — нагольные, иногда крытые. Спросите любого пожилого человека, вроде меня, выходца из деревни, и он скажет, что с малых лет, как и все вокруг, носил шубейку, полушубок, шубу, шитую «борчаткой», «бешметом» либо по иному фасону, с оторочкой или без оной. Вырастал человек, рос и набор его шубных одежд. В клуб на танцы — один полушубок, в лес за дровами — другой. Известно, что даже на фронт, под Москву, сибиряки пришли в полушубках. Спасителей столицы так и называли: бойцы в дублёных полушубках…

Надо сказать, что русский полушубок и нынче нередок, но как-то всё больше видишь рабочий его вариант — «по дрова». «На танцах» же впрямь царствует закордонный. Об отечественном же больше только вздыхают, как об ушедшем в историю.

Представление о лучшем выходном полушубке обычно связывают с овцой романовской породы, которую разводили в средней России. И это верно. Но разводили не только при царях, но и при советской власти. Теперь уж мало кто знает, что, к примеру, на Ярославщине когда-то для «всесоюзного старосты» Михаила Калинина сшили дублёнку, которая весила всего один фунт, то есть около четырёхсот граммов. Восьмое чудо света!

Между прочим, и уже в годы «рыночных реформ», как я читал где-то, здешнее тутаевское опытное хозяйство разводило уникальную породу романовских овец. Склады были забиты ценной шерстью и овчинами. Но государство их не брало. Не заинтересовано было. И что оставалось делать овцеводам? Самим шить дублёнки? Но чтобы закупить оборудование, которое стало редким и дефицитным, найти и нанять мастеров, тоже исчезнувших с горизонта, нужно продать шерсть по достойной цене… Замкнутый круг получался.

«При теперешней экономической политике держать овец просто невыгодно, даже столь ценной, уникальной породы, — говорил в той же статье директор хозяйства Владимир Ладыненко. — И если власти срочно не примут мер, романовские овцы вообще исчезнут».

Примерно такая же картина в овцеводстве была и остаётся и у нас в крае. И даже в соседних, исконно овцеводческих республиках — Хакасской и Тувинской. По пути в свои родные минусинско-каратузские места мне частенько доводится пересекать степную Хакасию с севера на юг, и я, представьте себе, редко-редко когда вижу из окна машины овечью отару с пастухом. А ведь, бывало, они встречались чуть не на каждом километре. Помнится, на излёте советского «тоталитарного режима» в Туве, при её населении в триста тысяч человек, насчитывалось более полутора миллионов овец. Считай, приходилось по пять «овчин» на брата. Не скажу, чтоб тогда магазины были завалены тувинскими дублёнками или хотя бы «рядовыми» нагольными полушубками, но они всё же встречались в кооперативной торговле. Сам покупал. А теперь их вообще, как говорится, днём с огнём не сыщешь. Экономическая политика на селе остаётся «стабильно» прежней, и последние овцы идут под нож, а шкуры на ветер.

Хотя желающих иметь обычную шубу, по-моему, предостаточно, и я — один из таковых. Кстати, недавно в морозный день вспомнил я про старый овчинный полушубок, выданный мне когда-то в качестве спецодежды редакцией «Известий» (ещё «Известий Советов народных депутатов СССР»), которые я представлял в нашем сибирском регионе. Вытащил его из чулана, встряхнул, надел и явился в нём на писательское собрание. Первый же коллега, встретивший меня в прихожей Дома искусств, иронически заметил:

— Под Толстого косишь?

— Нет, под своё шубное деревенское детство, — ответил я.

А сам между тем подумал, что ничего зазорного не вижу и в том, чтоб на мороз надевать шубу хотя бы в подражание нашему величайшему писателю.

Лев Николаевич действительно предпочитал зимой носить полушубок. Ходил в нём не только в Ясной Поляне, но и в Москве. И, может, отчасти благодаря этому прожил восемьдесят два года с гаком и написал девяносто томов первоклассных сочинений. Правда, иногда простой полушубок ставил его в затруднительное положение. Кто-то из биографов вспоминает, например, что встретил однажды графа на железнодорожном вокзале, уныло сидевшего в уголке. Оказалось, что его, несмотря на купленный билет, из-за крестьянского полушубка не пустили в вагон второго класса, считавшийся «господским». Пришлось идти и доказывать кондуктору, что этот старичок в шубе не кто иной, как «сам Лев Толстой». И лишь тогда кондуктор смилостивился.

Известен и более курьёзный случай. Верно, читал о нём давненько, в деталях что-то могу напутать, но за суть отвечаю. Некий любительский театр в Туле поставил пьесу Толстого (кажется, «Плоды просвещения») и пригласил автора на премьеру. Дело было зимой. Лев Николаевич прибыл. Естественно, в полушубке. И вот когда он поднимался по высокому лестничному маршу в помещение того театра, его заметил околоточный, следивший за порядком. Мужицкая борода лопатой, нагольный полушубок, нелепая вязаная шапка—всё это показалось ему подозрительным. Страж порядка бросился за «овчинным» чужаком, схватил его за шиворот и, обругав, пустил вниз по ступенькам. На шум выбежали артисты и зрители. Они помогли подняться невольно пострадавшему классику, стали извиняться. Но яснополянский мудрец отнёсся ко всему случившемуся с пониманием. Может, и обиделся отчасти за такую встречу, однако виду не подал. И уж, конечно, ничуть не подумал впредь изменить «виновнику» происшествия, своему простонародному полушубку—этой лучшей одёжине на русский холод.

Явно любил шубы-полушубки и великий русский драматург Александр Николаевич Островский. Сам нашивал их и щедро одаривал ими главных действующих лиц своих многочисленных пьес—представителей мещанства, мастерового, торгового и мелкочиновного люда. Эстетствующие критики пренебрежительно писали даже, что, мол, нынешний театр насквозь пропах овчинными шубами Островского. Вроде как порицали за это. Но нам-то, сибирякам, подобная характеристика только согревает душу.

«Неудобно хворать мужику…»

Только не сжата полоска одна…
Грустную думу наводит она.
Н. Некрасов

Как многие навскидку назовут свои любимые песни, цветы или, допустим, блюда, я мог бы назвать несколько любимых мною… фраз. Притом взятых не из готовых сборников афоризмов, «мудрых мыслей» и «крылатых слов», а выловленных самим из произведений писателей и поэтов, из трактатов учёных, из живых бесед с разными людьми и пленивших меня глубиной содержания, или необычностью формы, или тем и другим.

К примеру, Лев Толстой в одном из своих рассказов о крестьянской жизни словно бы между прочим заметил: «Неудобно хворать мужику…» Возможно, другие, читая его, вообще не обращают внимания на эту короткую и внешне вроде неброскую фразу, скользят по ней торопливым, поверхностным взглядом нынешнего «экспресс-книгочея». Меня же эти простые слова, когда я впервые прочитал их, помнится, сразу «зацепили», прошили насквозь, будто электрическим током. Я был удивлён их какой-то конечной простотой и в то же время особой глубиной, их точностью и печальной, как вздох, интонацией. Не верилось, что всего тремя словами можно выразить столь много. Уж мне-то, выходцу из деревни, доподлинно известно, как «неудобно» захворать крестьянину, на плечах которого и дом, и двор, и семья, и огород, и пашня… Недаром с подобным вздохом народ говорит о грустных и сирых вдовьих домишках: «Без хозяина дом сирота…»

Лев Николаевич не только понимал «неудобства» заболевшего мужика, но ещё и, будучи великим художником, знал секрет того краткого и единственно точного слова, за которым, если оно сказано к месту, открываются целый мир, непроизвольно достраиваемый воображением читателя или слушателя, и целая гамма чувств и переживаний. Положим, лично мне в этом «неудобно хворать» слышится не одна лишь досада мужика на свою нечаянную немочь, мешающую погружаться в привычные хлопоты, но и чувство вины перед семьёй, как правило, немалочисленной, и перед другими ближними и дальними, так или иначе связанными с ним по труду, по быту. По жизни, одним словом. Ведь, заболев, он волей-неволей как бы «подводит» их, остаётся в долгу перед ними.

Сегодня народ наш в большинстве своём ожесточился, очерствел душой, и, наверное, многим размышления мои покажутся сентиментальными. Но пусть они поверят, что в трудовой крестьянской среде, в которой я вырос, это чувство вины и ответственности друг перед другом и перед «миром» было довольно-таки развито. Да и сегодня ещё, надеюсь, не угасло совсем, не растворилось в циничных «рыночных» отношениях. Не мною первым будет сказано, что честный труд и совесть ходят рядом, рука об руку. И кто-то из неглупых людей вполне верно заметил, по-моему, что «душа трудится у трудящегося». А великий отечественный историк Василий Ключевский век тому назад

написал в одной из работ, что «конец русскому государству будет тогда, когда разрушатся наши нравственные основы».

Вон куда, на какие ассоциации и обобщения, вывела нас с вами, казалось бы, такая элементарная и почти проходная толстовская фраза: «Неудобно хворать мужику».

Могу признаться по секрету в завершение этих заметок, что с годами она для меня стала не просто излюбленной фразой, но даже и своеобразным девизом, которому я стараюсь следовать. Скажем, стоит мне захандрить от недомогания, расслабиться и прилечь с книжкой на диванчик среди бела дня, как передо мною всплывает эта фраза, сурово напоминая, что «неудобно хворать мужику». И я тотчас поднимаюсь, отбрасываю чужую книжку и иду к своему станку.

Открытое лицо

Обычно штампами становятся из-за слишком частого употребления какие-либо удачные выражения, образные определения или сравнения. Как «авторские», так и народные. Скажем, «любовь до гроба», «на заре туманной юности», «ходить гоголем»… Значения и смыслы их для нас ясны как день. Но бывают и удивительно непонятные, необъяснимые штампы. Таковым среди прочих мне представляется, к примеру, выражение «открытое лицо». Оно неизменно ставит меня в тупик уже многие годы. Особенно если не просто звучит в бытовом разговоре или мелькает в торопливой газетной статейке, а встречается в текстах именитых художников слова.

Вот и ныне, листая свой старый блокнот, я обнаружил в нём запись ещё тридцатилетней давности, посвящённую этому странному штампу. Тогда, в «застойные совковые» времена, был очень популярен журнал «Иностранная литература». И все мы усердно читали его. Он входил, можно сказать, в джентльменский набор всякого образованного, да и просто грамотного человека, любителя чтения. И, надо отдать ему должное, стоил того, ибо печатал действительно лучшее, что появлялось в художественной литературе на Западе и на Востоке.

И вот в десятом номере журнала за 1984 год ленинградец Михаил Дудин, весьма уважаемый поэт фронтового поколения, кратко представляя автора переведённых им на русский язык стихотворений Роберта Блая, среди прочего написал: «У него открытое лицо…» Тут же, перед поэтической подборкой, дана была чёрно-белая фотография этого иностранного пиита.

С неё довольно равнодушно глядел на читателей толстоносый, большеротый господин в очках, лобастый и лохматый, с наметившейся проседью в тёмных волосах. И мне, помнится, невольно подумалось тогда: почему же это лицо — «открытое»? А если оно впрямь таково, то каким должно быть «закрытое»? И я об этих впечатлениях-раздумьях оставил даже запись в блокноте.

Да что там нашенский Михаил Дудин! Буквально сейчас, перед тем как сесть за эти заметки, я, отложив блокнот, открыл исторический роман Лиона Фейхтвангера «Лисы в винограднике» (создан в 1947 году), который перечитываю в эти дни, и на сто девяносто седьмой странице мне сразу на глаза попались строки об императоре, соправителе Римской империи германской нации конца семидесятых восемнадцатого века: «У Иосифа, как и у Туанетты (его сестры, королевы Франции, более известной под именем Марии-Антуанетты.— *А. Щ.*) было открытое, выразительное лицо, высокий лоб, живые синие глаза, маленький рот с чуть отвисшей нижней губой, слегка вздёрнутый нос». То есть зарубежный классик на сорок лет раньше написал (или несколько позднее переводчики его), что даже сразу у двоих было это «открытое» лицо. И я снова подумал: могу представить — с высоким лбом, живыми синими глазами, с маленьким ртом, отвисшей губой и изогнутым носом, но как при этом вообразить, что оно ещё и «открытое»,— убейте, не в моих силах.

Однако другие продолжают «воображать». С той далёкой поры ничего не изменилось. «Открытое лицо» и доныне встречается чуть не в каждой второй портретной характеристике «героев». Особенно под пером журналистов, которые в силу своего вынужденного строчкогонства зачастую склонны к банальностям и штампам. Это «открытое» лицо стало уже почти постоянным эпитетом, сродни тем, которые мы привыкли встречать в наших народных пословицах, песнях, сказках и былинах, наподобие серого волка, чистого поля, степи широкой, синего моря и доброго молодца с красной девицей…

Но заметьте, что даже эти эпитеты, «заслуженно» ставшие штампами, ибо изначально были уместными и точными, со временем от постоянного употребления потеряли свою «отдельную» выразительность, почти слившись с определяемыми словами. И фразы эти только выигрывают от замены в них «уставших» определений на свежие, в особенности неожиданные, отличные безыскусственной простотой. Вспоминается шутливый пример по близкому поводу, приведённый однажды Чеховым в беседе с Буниным у Чёрного моря. Антон Павлович в присущем ему ироническом тоне поведал младшему коллеге, что был восхищён тем, как некий школяр в сочинении о встрече с морем написал: «Море было большое». Вот, мол, и нам бы всем так писать, просто и точно. Без всяких там красивостей и выкрутасов. А что? Ведь и на самом деле это прекрасно звучит в своей непосредственности: «Море было большое». Примерно так же, должно быть, воспринималось

и впервые прозвучавшее когда-то «синее море» или «бурное море»…

К слову сказать, в некоторых исторических источниках отмечено, что нынешнее название «Чёрное море»—это искажённое производное от первоначального «Чермное море». То есть «красное», в смысле—«красивое». А ещё, как известно, его в древности весь мир называл Русским морем. Что тоже, согласитесь, звучало неплохо. По крайней мере, куда справедливее, чем «чёрное», с явно «закрытым» для нас смыслом. И недаром представитель уже нашего поколения, автор известной песни о нём, попытался исправить эту несправедливость, написав строки: «Самое синее в мире—Чёрное море моё…»

Но всё это, повторюсь, если и спорно, и не слишком понятно, то хотя бы поддаётся какому-то объяснению. А вот «открытое» лицо, по-моему, никак не объяснимо. Вы хотели сказать «доброе»? Или «светлое», «улыбчивое»? Или «с доверчивым выражением»? Ну, тогда так прямо и говорите, и пишите. А то—«открытое» лицо… Которому даже и антонима подходящего не сыщешь, кроме «закрытое». Что звучит весьма диковато. Особенно сегодня, когда невольно ассоциируется с теми «закрытыми лицами», которые то и дело мелькают в жизни и на экране под некими «балаклавами», более похожими на куски от чёрных штанин трико или колготок с прорезями для глаз и ртов. И принадлежат эти лица чаще всего сомнительным персонажам, и «закрываются» отнюдь не с добрыми намерениями.

Откуда пошли стихи

Многие задумывались над тем, когда, почему и зачем появились на свете стихи. Эта особым образом организованная, ритмическая и зачастую даже рифмованная речь. Разве не проще и естественней говорить и писать безо всяких ритмов и рифм, то есть обычной «прозой»? И разве с её помощью меньше возможностей передать всю сложность и глубину мыслей и чувств, нежели посредством такой искусственной речи, какой являются стихи?

Не зря Лев Толстой заметил однажды, что писать стихами, на его взгляд, так же нелепо, как, например, идти за плугом, пританцовывая. Зачем же в таком случае из века в век «пританцовывали» сонмы вполне разумных и не лишённых таланта людей, вместо того чтобы спокойно идти своей бороздой, взрезая пласт за пластом и прикладывая к лелеемой пашенке с отливом воронового крыла? Просто из игривости характера? Или от избытка творческих сил? Что ж, возможно, отчасти и потому. Особенно в молодости. Но ведь и достигнув поры, когда уже явно «года к суровой прозе клонят, года шалунью-рифму гонят», они упорно продолжали отыскивать её, владелицу созвучной «складности», и находить, как ни «мала у мира слова мастерская», по вырвавшейся жалобе другого поэта. Зачем?

Приходилось слышать в разговорах и вычитывать в книжках самые различные догадки и предположения на сей счёт. Большинство исходило из того, что стихи явились на свет Божий в подражание молитвам. Нельзя не согласиться, что версия довольно красивая. И, может, небезосновательная. Тем более что древняя поэзия действительно была похожа на молитву и своим духовным наполнением, и строгой лапидарностью, исключавшей суетное многословие. Только всё же не встречалось мне молитв, ещё и строго выверенных силлабически, то есть ритмически, с чётким чередованием ударных и безударных слогов в строках, а тем более—с рифмами, созвучиями на конце, как в большинстве стихотворных произведений.

Другие говорили, что, скорее всего, стихи родились из песен, в которых искони служили словесной основой. А тоническую основу обеспечивала мелодия песни. Что ж, наверное, и такое суждение имеет право на существование. Неспроста ведь поэты прошлых веков свои творения часто называли гимнами, песнями, да и сами именовались певцами. Вспомним хотя бы Александра Пушкина, который не однажды «проговаривался», что не просто писал или слагал стихи, а «пел»:

…Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

И хрестоматийное стихотворение его называется «Песнь о вещем Олеге»

А, скажем, Михаил Лермонтов подобным образом нарёк даже целую историческую поэму: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Кроме того, им были написаны и «Песнь барда», и ещё несколько стихотворений, прямо названных песнями.

Иные скажут, что, мол, это уже вчерашний день, устаревшая лексика. Ничего подобного. Вон и у Сергея Есенина, который видится нам почти современником, есть и «Песнь о собаке», и «Песнь о хлебе», и ещё разные песни…

Но если спуститься с этих романтических высот на грешную землю, то можно рассмотреть в стихотворной форме и просто практический смысл. Например, замечательный поэт и прозаик уже нашей эпохи Сергей Марков однажды высказал догадку, что поэзию породила «боязнь забыть слово». И действительно, стихи ведь стократ легче запоминать наизусть, чем прозу, верно? Да и словесный ряд, организованный, сплочённый ритмом (а тем паче ещё и связанный рифмой), вернее сохранит свою целостность без изъятий. Недаром

говорится, что из песни слова не выкинешь. Равно как из добротных стихотворных строк.

Особенно всё это было важно в далёкие дописьменные, допечатные времена. О чём со всей определённостью сказал Максим Горький, прямо назвав стихи с их ритмами и рифмами «печатным станком прошлого». И, наверное, в немалой степени прав был главный советский писатель. Но почему-то не хочется соглашаться с ним до конца. Всё же сознание потайной близости стихов к молитве, песне, заклинанию как-то больше греет душу. Да и возможности «излить» её в них, соединяющих музыку и слово, пожалуй, пошире, чем в прозе. Не зря же тончайший лирик Афанасий Фет оставил наследникам вроде завета: «Что не выскажешь словами, звуком на душу навей!» Не забудем и об особой, «колдовской» и в поэзии лучших певцов, достигаемой свежими эпитетами, сравнениями, метафорами.

Взять известные строки Сергея Есенина об уходящей молодости:

Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна берёзового ситца
Не заманит шляться босиком…

<…>

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя! иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне…

Или — Николая Заболоцкого о подстреленном в стае журавле:

Луч огня ударил в сердце птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и погас,
И частица дивного величья
С высоты обрушилась на нас.

Два крыла, как два огромных горя,
Обняли холодную волну,
И, рыданью горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину.

Да разве выразишь прозой такое? Не случайно каждый из нас хотя бы единожды в жизни, в порыве нахлынувшего вдохновения не удовлетворяясь обычной речью, прибегал к стихам и пытался выплеснуть самые заветные мысли и чувства высокой поэтической «песнью». Выразить невыразимое.

Как Пушкин с Белинским

Давно уж это было. Кажется, даже в иной жизни. Но вот припомнилось вдруг — и мои губы невольно скривились в горьковатой усмешке…

Я тогда учился классе, наверное, в шестом или седьмом. Был заядлым книгочеем, пробовал сам сочинять стишки. И водил особую дружбу с таким же любителем чтения Володькой Макаровым, хотя он был старше меня, шёл на класс впереди и жил на другом конце села. Володька выделялся высоким ростом среди наших школьников, и его, конечно, называли и Каланчой, и Дядей Стёпой, но чаще всего Кюхлей, потому как при своей долговязости и худобе он был ещё и неуклюж, нескладен, вроде чудаковатого пушкинского однокашника по лицею. Володька на эти прозвища, по своему добродушию, не обижался, а сравнение с другом самого Пушкина, по-моему, даже нравилось ему, книжной душе. Мы частенько обменивались с ним прочитанными книжками, делились впечатлениями и вообще вели разные «литературные» разговоры.

Но однажды на перемене, столкнувшись со мною в школьном коридоре, Володька заговорил не о книжках, а пригласил меня сходить после уроков за грибами на «свои места», к урочищу Штаны, которое располагалось неподалёку от его дома, замыкавшего последний околоток. Польщённый доверием «старшего» приятеля, я охотно согласился составить ему компанию. Тем более что корзину белянок он гарантировал. Да и окрестные леса, облитые прощальным сентябрьским солнышком, удивительно ярким, манили в свои «сени» с «широкошумной» листвой и сверкающей паутинкой.

Весёлых белянок в молодых березняках «на Штанах» действительно оказалось полным-полно. Они росли не поодиночке, а целыми колониями, «мостами», так что мы быстренько наполнили «под ручку» свои корзины.

И вот когда возвращались домой, то у подножия косогора возле поскотины решили передохнуть. Поставили корзинки и легли на траву, уже суховато-шуршавшую, но ещё по-летнему густую и мягкую. И, глядя в небо, на плывущие облака, повели неспешный разговор о том о сём, но более всего, конечно, о последних прочитанных книжках, о любимых писателях и поэтах. И, помнится, Володька доверительным тоном, как бы между прочим, спросил меня:

— А ты кем хочешь быть?

Немного помолчав, я сглотнул слюну и полушёпотом признался:

— Поэтом…

— Как Пушкин? — уже хитровато прищурился Володька.

— Ну, не Пушкин, а вроде того… — пробормотал я смущённо и добавил: — Да ведь и ты, небось, мечтаешь о том же.

— Не-е-е, — протянул Володька, — я пойду дальше. Вот начитаюсь побольше книжек разных и стану критиком…

— Как Белинский, — подсказал я.

— А чо? И как Белинский. Чтоб разбирать и без оглядки оценивать все ваши писания…

Володька слыл шутником среди нашего брата, однако на этот раз он говорил вполне серьёзно. Это

чувствовалось и по голосу, и по лицу, на которое покосился я поверх стебельков травы с невольным удивлением и даже некоторым страхом. «Подумать только: как „неистовый Виссарион“!»

Дело было в том, что по нашим тогдашним представлениям, возможно, и отчасти вынесенным из школьных уроков, критик стоял куда выше поэтов и писателей, ибо выступал в роли их непререкаемого судьи и наставника.

Однако не суждено было Володьке Макарову стать литературным критиком. Хотя сначала дело шло вроде бы к тому. После окончания нашей сельской семилетки он в числе немногих поехал «учиться дальше» — в районную среднюю школу, успешно закончил восьмой класс, но из девятого вдруг взял да, к удивлению многих учителей и школьников, сбежал домой. Об истинной причине его бегства не знал и я. Хотя у меня были свои догадки.

Незадолго перед тем Володька крепко поругался с одноклассником Гришкой Алёшиным, с которым я жил на одной квартире — у солдатской вдовы Устиньи, медсестры районной больницы. Предмет их ссоры мне казался мелким, даже немного смешным, как у тех комичных гоголевских персонажей. Однажды Гришка при всём классе обозвал Володьку не Каланчой и не Кюхлей, а Гусаком. И ещё ядовито добавил, употребив единственное в русском языке слово с тремя «е» подряд: «Длинношеее пернатое». Все очевидцы события дружно рассмеялись, включая Володькину соседку по парте. Такого унижения Володька не вынес и вызвал Гришку… на дуэль. Меня он попросил быть его секундантом.

За неимением пистолетов и шпаг, драться решили на кулаках. Местом ристалища избрали нашу квартиру. Сошлись там после уроков, когда тётя Устинья была в больнице на дежурстве. Гришка от секунданта отказался и тоже доверил «судейство» мне. Мы условились, что драка будет продолжаться, пока я вслух сосчитаю до ста. Дуэлянты приняли бойцовские стойки, я начал счёт. Сперва — размеренно, не спеша: «Один, два, три, четыре…» Потом, когда от пустого петушиного прыганья друг перед другом бойцы перешли к взаимным тычкам, тумакам и затрещинам, я ускорил темп счёта. Особенно после того, как обнаружился явный Гришкин перевес в силах и у Володьки под носом показалась красная влага. А уж когда он совершенно потерял способность отбиваться и лишь нелепо замахал перед своим окровавленным лицом длинными костлявыми руками, я вскочил с судейской табуретки и, торопливо бормоча: «Семьдесят пять, семь-шесть, семь-восемь», — бросился досрочно разнимать дерущихся приятелей. Мне удалось оттащить Кюхлю в сторону и подвести к умывальнику. С подбитым глазом, с распухшими губами, он молча вздрагивал и плакал от бессилия и обиды.

На второй день Володька не пришёл в школу. На третий — тоже…

Вернувшись домой, он какое-то время поработал в колхозе. А потом, по модной в те годы вербовке «на севера», собрался и улетел в Норильск. Там, говорили в селе, пошёл на шахту, вкалывал под землёй, на глубине полтора километра. А по вечерам учился в горном техникуме. Получил диплом, стал специалистом по горному оборудованию, вышел в мастера цеха… Но в критики, «как Белинский», всё же не вышел. Остался рядовым книгочеем-любителем «в свободное от работы время».

Увы, не стал «как Пушкин» и его давний собеседник, дерзко мечтавший в минуты блаженного отдыха на травке у сельской околицы. Правда, пера не бросил доныне и ещё не потерял надежды сохраниться в читательской памяти хотя бы просто неплохим автором со скромным, но своим именем.

Владимир Шанин

Пути поэтов

Поэт написал роман

Николая Доможакова в Хакасии называют классиком, о его романе «В далёком аале» говорят как о значительном вкладе в развитие национальной культуры. И непременно подчёркивают: это первое крупное произведение хакасской прозы. Кроме прозы, Доможаков сочинял стихи, иногда с «ярко выраженной политической и публицистической окраской». А вообще-то он лирик, воспевал древние пейзажи солнечной Хакасии, «нерушимое братство русского и хакасского народов, счастливый колхозный труд…».

Доможаков—хакасский Ломоносов, утверждали соотечественники—правда, с некоторой поправкой: ну… не совсем Ломоносов, однако же в один ряд с хакасским учёным Катановым поставить можно. Катанова в Хакасии все знают. И не только в Хакасии. Весь мир читает его увлекательные труды по тюркологии и востоковедению. Доможакова тоже читает цивилизованный мир.

Директор бюро пропаганды художественной литературы при Хакасском отделении Союза писателей СССР Юрий Николаевич Забелин тридцать лет назад, в неспокойные восьмидесятые годы двадцатого столетия, много рассказывал мне о Доможакове.

— Николай Георгиевич—голова!—говорил он.— Дом Советов!.. А начинал жизнь свою пастушонком. Из беднейшей батрацкой семьи, рано осиротел, пас байский скот.

О себе потом Николай писал: «…В мучениях рос, как веточка, худ, с глазами больными, раздет и разут». Советская власть избавила мальчугана от кулацкой кабалы, колхоз «Чахсы хоных» («Счастливая жизнь») одел, обул его, помог окончить начальную школу и педагогический техникум. Получив первую трудовую профессию—учитель, Николай Доможаков учил детей в сельской школе, затем был назначен инспектором облоно. А когда открылся в Абакане учительский институт, поступил туда и, получив высшее образование, становится аспирантом Института языка и письменности народов СССР Всесоюзной академии наук. После защиты кандидатской диссертации работает доцентом в Абаканском педагогическом институте, участвует в составлении учебников для хакасских школ. Первый учебник вышел в 1936 году.

— Характерная черта Доможакова,—подчеркнул Юрий Николаевич,—это его любовь к науке и литературе. Будучи кандидатом филологических наук, он организовал в Абакане НИИ языка, литературы и истории, сам возглавлял его, причём занимая в нём незначительную должность научного сотрудника сектора литературы и фольклора—любимого своего детища.

Всякий раз, когда я приезжал в Абакан, Забелин встречал меня на железнодорожном вокзале. Мы шли пешком (тут всего метров триста до центра города), и разговорчивый друг мой успевал обсказать последние новости. Наконец мы выходим на улицу Ленина. Юрий Николаевич вдруг вспомнил:

— Представляешь, он сочинял стихи! Ещё студентом! Печатался в рукописном журнале. А первое своё стихотворение опубликовал в тысяча девятьсот тридцать пятом году в газете «Хызыл аал». Было ему тогда девятнадцать лет… Вот мы и пришли,—остановился он у одинокой двери в стене пятиэтажного дома.

Справа от двери—вывеска: «Областная писательская организация». Очень удобное расположение: почти рядом Дом Советов, две гостиницы, почтамт, ряд магазинов, неподалёку—родной Доможакову НИИ.

— Здесь жил Николай Георгиевич,—сказал Забелин, пропуская меня вперёд, распахнув эту дверь.— Специально для него прорубили отдельный вход в квартиру,—прибавил он.

Помещение просторное—три комнаты: общий зал, где за длинным столом собираются писатели и где за отдельным столиком в углу сидит Забелин, далее кабинет бухгалтера—направо, кабинет ответственного секретаря—налево. Там, где была кухня, теперь комната, и в ней единственный стол с печатной машинкой—для секретарши.

Я пытался представить хозяина квартиры, переделанной после его смерти в контору. Каким он был? Толстым, худым? Желчным, добрым, с юмором?.. Нет, не складывается живой образ.

Иван Пантелеев, известный детский писатель, бывший директор Хакасского областного книжного издательства, в своих воспоминаниях даёт зримый образ Доможакова, с которым приходилось общаться: «Плотный, скорее толстый, ниже

среднего роста, плечи узкие, округлые; безбородое толстощёкое лицо; короткие жёсткие волосы, чёрные, в редких искринках седины. Никаких очков он, помнится, не носил, кажется, и не знал их совсем, хотя зрение было откровенно плохое; листок рукописи или книгу он обычно придвигал чуть ли не вплотную к глазам; читая про себя, шевелил нижней пухлой губой. Это позднее, когда зрение совсем ухудшится, он станет носить тёмные очки, чтобы оградить больные глаза от яркого света. Разговаривая, он заслонял рот маленькой и пухлой короткопалой рукой, словно стесняясь своего негромкого сиповатого голоса. Нет, внешне он никак не походил на поэта… В действительности же он оказался похожим… на самого себя» («Енисей», 1977, №6, стр. 63).

Писатель-романист Анатолий Чмыхало своё первое впечатление от знакомства с Доможаковым описывает так: «Передо мной сидел хан с широкоскулым и тёмным азиатским лицом. Брезгливо отвисшая нижняя губа, властный взгляд подслеповатых глаз. Живое изваяние, ждущее от подчинённых только молитв и низких, до земли, поклонов» («В царстве свободы», кн. 1, Красноярск, 2007, стр. 342).

Два разных портрета одного и того же человека — Николая Георгиевича Доможакова: у Пантелеева — подробный, уважительный, у Чмыхало — краткий, точный, ироничный. Анатолий Иванович с ходу определил характер и сразу приклеил кличку — хан Муклай…

Доможаков не обижался на Чмыхало за «почётное прозвище», он обладал обязательным «для умных людей чувством юмора». Кстати, прозвище весьма соответствовало характеру Доможакова: восточная невозмутимость и власть, которую он крепко держал в руках.

Николай Георгиевич Доможаков (1916–1976) родился в степном улусе Хызыл Хас, страдающем от засухи, в батрацкой «дымной юрте». В дате его рождения есть некоторое расхождение. В биографической справке к роману «В далёком аале» Сергей Сартаков указывает дату рождения Доможакова 20 января 1916 года («Роман-газета», 1970, №2); литературовед и писатель Антонина Малютина утверждает, что автор первого художественного романа родился 25 июля 1918 года («Енисей», 1976, №5). Будем придерживаться данных С. Сартакова: поскольку Доможаков родился в «дымной юрте» — значит, зимой, когда в юрте постоянно должен быть огонь в очаге.

В тридцатые годы К. М. Тарасенко (Громова), в то время депутат Хакасского областного Совета и член бюро обкома партии, вспоминает свою встречу с молодёжью улуса Хызыл Хас и как внимательно слушают её хакасские дети, особенно один, «худющий, плохо одетый мальчик». Поразил его внешний вид: «Шею раздуло от золотухи, больные глаза слезились, и он их протирал замызганным рукавом. Запомнились его вопросы: „Теперь мы не умрём? Грамотными будем?“ Был это, как я узнала, Коля Доможаков, подпасок у кулаков. Отца его в Гражданскую убили белогвардейцы».

Через тридцать лет К. М. Тарасенко приехала в Абакан вручать орден «Знак Почёта» областной газете «Советская Хакасия» и стала свидетелем глубоких изменений в жизни хакасского народа. Из того золотушного мальчика Николай Доможаков превратился в тучноватого, подслеповатого мужчину, спокойного и деловитого. Это уже был известный учёный, член Союза писателей СССР, председатель правления Хакасской областной писательской организации. Они пили чай в его уютной благоустроенной квартире и вспоминали то памятное лето 1925 года, их первую встречу.

На письменном столе стояла настольная лампа, Николай Георгиевич включил её, высветилась стопка книг на хакасском языке — книги Николая Доможакова. Писатель взял сборник «Поэты Хакасии», изданный в 1950 году в Москве, и негромко, слегка сиповатым голосом, произнёс:

— А вот в этой книге есть моё стихотворение, что идёт от той нашей встречи в двадцать пятом году… Всё сбылось. Дымная тёмная юрта стала музейным экспонатом. И я живу в доме, многократно лучшем, чем был у бая, на которого из последних сил работала моя мать. От смерти меня спасли и продлили жизнь не шаманы, а советские врачи. И стал я грамотным человеком…

— Учёным и писателем, — уточнила Тарасенко.

Хакасское отделение Союза писателей СССР создано в 1949 году. К тому времени уже были широко известны поэты Николай Доможаков, Михаил Кильчичаков и сказитель Семён Кадышев — первые члены Союза писателей СССР, они и составили основу писательской организации. Председателем правления был избран Николай Доможаков. В 1960 году организация уже насчитывала десять членов, из них семеро — хакасы. Произведения хакасских писателей издаются в Москве, Новосибирске, Красноярске. В Абакане выходит литературный альманах «Ах тасхыл» на хакасском языке.

С особенной теплотой вспоминал Доможаков о людях, помогавших ему в творчестве, — о работниках Красноярского книжного издательства и его филиала в Абакане. Благодарен русским издателям за подготовку и публикацию романа «В далёком аале».

Созданию романа предшествовали события, нарушившие весь жизненный уклад хакасского учёного и поэта. И самое трагическое — потеря молодой жены Дуси, красивой хакасочки, которую Николай Георгиевич очень любил. Он отправил её в один из подмосковных санаториев, но туда она не доехала: в Москве Дусю обокрали и убили. Доможаков вылетел на похороны и горько плакал

на её могиле, одинокий и безутешный. С тех пор лежит его Дуся на одном из подмосковных кладбищ, приходит к нему во сне и просит снять с души камень. А тут навалились другие напасти: дочь Галя со скандалом ушла из дома. Семья распалась. И Доможаков запил по-чёрному… Запои, бывало, длились неделю и более.

Спас его от запоев Анатолий Иванович Чмыхало, в те годы корреспондент краевой газеты «Красноярский рабочий» и начинающий поэт, приехавший в Хакасию собирать материал для очерка. Он и убедил Доможакова вплотную заняться литературным трудом. Не поэзией — стихи рождаются только по вдохновению, — а прозой, требующей терпения, колоссальной усидчивости, отказа от некоторых привычек. Посоветовал писать роман или повесть.

Доможаков никогда не писал прозу, прежде всего он — поэт, издавший девять поэтических сборников, по отзывам критиков и читателей — неплохих. Но получится ли из него прозаик? Однако же, дав слово — держи, и упрямый поэт взялся за роман… На чистом листе бумаги смело написал заглавие: «Ыраххы аалда» («В далёком аале»), — и задумался: с чего начать?

С детства Коля Доможаков мечтал иметь своего коня. Хотелось «взлететь в седло, ударить в бока горячему коню и проскакать намётом по родной, усеянной каменными глыбами хакасской степи». И эта глубинная (из детства) мысль возбудила в поэте известную ему картину: степь, чем-то встревоженный табун…

Так возник на бумаге первый абзац будущего романа.

«Степь всё больше наполнялась топотом и тревожным фырканьем. Беспокойство передалось нескольким косякам, пасшимся у подножья горы Хуу-Хыр. Вожаки их — серые, гнедые, вороные, каурые, мухортые жеребцы — шумно втягивали воздух ноздрями.

Они услышали далёкое ржание, уловили его оттенки и сами подали сигнал опасности. Что же испугало их?..»

Вот и найден верный зачин произведения, дальше мысль развивалась так, как было в действительности, в детстве, как запомнилось: гостеприимная семья старого пастуха Хоортая, семья русского кузнеца Фёдора Полынцева (символична дружба этих семей), волчья хватка Пичона Почкаева, ловко пробравшегося на пост председателя аалсовета… Идёт классовая борьба в Хакасии, тёмные силы подло играют «на чувствах пробуждающегося национального самосознания» хакасов. Доможаков отразил в романе собственную молодость, но это не автобиография, это типизация событий и героев произведения с позиций интернационалиста.

Наконец роман окончен, рукопись на хакасском языке сначала попала на страницы альманаха «Ах тасхыл» в сокращённом варианте, но затем возник вопрос о широкой его публикации. Хотя Доможаков сам неплохо владел русским языком, уверенно переводил с русского на хакасский Шекспира, Пушкина, Горького, но на перевод собственного произведения не решился, попросил об этом своего друга, сорокалетнего русского поэта Геннадия Сысолятина.

Волею судьбы восьмилетний Гена Сысолятин оказался в Сибири, в Минусинске, воспитывала его тётка Меланья, школьная сторожиха и уборщица одновременно; с возрастом стал постоянным жителем Хакасии. Общение с хакасами было полезным и благотворным: Геннадий освоил их язык, обычаи, историю, стал своим человеком в обществе, хорошим поэтом. Не зря Доможаков обратился к нему.

Я часто бывал в Абакане, встречался с Геннадием Филимоновичем и однажды спросил его: как он, русский, переводит с хакасского? Ведь надо хорошо знать чужой язык…

— А это совсем не обязательно, был бы подстрочник! — Сысолятин улыбнулся и доверительно сообщил: — Я всю жизнь прожил бок о бок с хакасами и, поверьте, языком немного владею. На хакасский переводить не могу, зато на русский с хакасского… я же поэт! Кстати, консультантом у меня был сам Доможаков. Перевод текста длился около двух лет. Были, конечно, сложности, не без этого, но тесный контакт с автором помог их преодолеть. Помогла и некая общность судеб автора и переводчика: оба трудно входили в литературу… С полуслова понимали друг друга.

— Представляю, перевод получился почти синхронным…

— Не совсем так, — сказал Сысолятин. — Не буквальный — это точно. Зато концепцию романа удалось сохранить. Где-то изменил акценты в главах, где-то пожертвовал своими красками для большей выразительности текста. Важно лишь, что перевод получился.

Роман Доможакова взялся напечатать журнал «Сибирские огни». Редакционный коллектив, в частности Сергей Сартаков, Афанасий Коптелов, Александр Смердов и завотделом прозы журнала Борис Ряшенцев, яркие знатоки сибирской истории, своими консультациями помогли Сысолятину довести рукопись до публикации. Сергей Сартаков написал предисловие, в котором говорится: «…Роман написан сжато, с первых страниц приковывая к себе внимание стремительным развитием сюжетных линий, превосходными, впаянными в действие картинами природы, быта, яркими характеристиками». В конце своего предисловия он заметил, что «перевод Г. Сысолятина, ёмкий и выразительный, помогает читателю глубже усвоить национальный колорит своеобразного письма Н. Г. Доможакова».

Напечатанный в двух номерах (№ 11, 12, 1968 год) старейшего в России журнала «Сибирские огни» роман Николая Доможакова «В далёком аале» стал достоянием советской многонациональной литературы. «Внимание читателей к нему очень высоко»,— так выразил своё отношение к произведению известный литературовед Г. Ломидзе. После Григория Ломидзе выступили в печати критики Пётр Трояков, Константин Антошин, Валерий Прищепа, Раиса Пилкина, которые сделали один и тот же вывод: роман «В далёком аале» — незаурядное явление не только в хакасской, но и в российской литературе шестидесятых — начала семидесятых годов.

Критики утверждали, что роман Доможакова посвящён становлению советской власти в Хакасии, но это не совсем так. У Геннадия Сысолятина, как переводчика, своё мнение: ведь роман ещё и о сопротивлении советской власти в степных аалах. Он приводит рассуждение критика М. Р. Шкерина, того самого, кто дал «путёвку в жизнь» шолоховскому «Тихому Дону». В начале шестидесятых годов Шкерин приехал в Абакан и на семинаре молодых писателей Хакасии заявил, что роман Михаила Шолохова можно квалифицировать и как самое контрреволюционное произведение. Всё, мол, зависит от позиции критики. В самом деле, симпатии Шолохова на стороне Григория Мелехова. То же самое и в романе Доможакова, его симпатии — на стороне председателя аалсовета Пичона, готовящего антикоммунистическое восстание. Бай Хапын тоже выведен Доможаковым как рачительный хозяин, заботящийся о людях своего сеока (рода). Сысолятин подметил: в хакасском варианте романа у Пичона даже фамилия — Оможаков — созвучна авторской. Дело вовсе не в политических симпатиях того или иного автора, подчеркнул М. Р. Шкерин, и Михаил Шолохов, и Николай Доможаков сумели подняться «над схваткой» и не обидели богатством красок образы противостоящих героев…

Иван Пантелеев как-то поинтересовался, почему Доможаков-поэт решился писать историю, ведь становление советской власти в Хакасии — уже история, и спросил об этом.

Писатель помолчал, обдумывая ответ, и сказал:
— Кто-то же должен был написать о рождении Советской Хакасии. Молодые пока не решаются. А у меня хоть ребячьи впечатления остались, так что дух того времени ещё жив во мне. Хочу понять сегодняшний день, а для этого надо познать прошлое. Есть у меня в романе русский кузнец, Фёдор Полынцев. Я за него боялся: а вдруг не получится образ? Хотелось написать его добрым, честным, написать дружбу двух народов — хакасов и русских, ведь без этой дружбы не может быть романа. Иногда думаю: что сталось бы с нами, хакасами, если бы не русские? И Фёдор, кажется, получился. Зато хакас Сагдай… что-то расплывчатое, хакас вообще. Никогда не думал, что так трудно писать роман. Трудно, когда ты — первый…

И всё-таки Николай Доможаков с романом справился. Под его пером ожили и русский кузнец Фёдор Полынцев, и байский батрак Сагдай, и все остальные герои.

Первый хакасский роман, переведённый на русский язык, тиражом свыше двух миллионов экземпляров, с триумфом прошествовал по стране: четырежды вышел в крупнейших московских издательствах — «Художественная литература», «Современник», «Советская Россия», а также в Хакасском, Красноярском, Алтайском и Тувинском издательствах. Начиная с 1968 года, роман выдержал четырнадцать изданий. По его мотивам Свердловская киностудия создала широкоэкранный цветной кинофильм «Последний год Беркута», который первыми посмотрели жители Хакасии. Читатель безоговорочно принял роман Николая Доможакова, хакасского учёного и писателя.

Накануне своего шестидесятилетия Доможаков издал в Красноярске на русском языке поэтическую книгу «Чатхан», в которой представил современному читателю всё лучшее, что создано было на протяжении всего творческого пути. Открывается книга статьёй крупного знатока хакасской литературы и устного народного творчества, доктора филологических наук М. А. Унгвицкой. «Поэт необыкновенно чуток к звукам, к музыкальной стороне природы, к песням пастухов»,— писала она. Он даже «в кипенье речек слышит переборы чатханов своей родимой стороны». «Поэта интересует всё, что происходит на земле,— сказала о Николае Доможакове литературовед и писательница из Енисейска Антонина Малютина. И особо подчеркнула: — Но главным в его творчестве всегда были Родина, родной край, верность которым он сохраняет всю свою жизнь».

Шестидесятилетие Николая Доможакова совпало с сорокалетием его литературной деятельности. Он многое сделал, многого достиг, но здоровье было уже сильно подорвано, хвори всё чаще укладывали писателя на больничную койку. И всё-таки, пересилив себя, он приехал в пединститут, принял участие в торжественном мероприятии. Провожали ветерана литературы и науки на заслуженный отдых. Со всех концов Хакасии и Тувы, из Красноярска, из других городов Сибири съехались его ученики, друзья, соратники. Это был незабываемый день. Но как бы ни крепился Николай Георгиевич, все видели: он сильно сдал, исчезла былая полнота, выглядел подростком, дышал тяжело, прерывисто. Ивану Пантелееву вдруг пожаловался на подступившую слепоту:
— Сейчас бы писать да писать, а вот глаза не хотят служить. Совсем плохо вижу, совсем! — закашлялся, отдышался, виновато пояснил: — Лёгким

в груди тесно, воздуха не хватает. Это из-за глаз. Начнёшь читать или писать — грудью на стол давишь, вот грудная клетка и ужалась…

Он смотрит куда-то вдаль сквозь тёмные стёкла очков, которые, вероятно, и не снимает: стыдится, что ли, незрячих глаз?.. И в стихах звучат нотки отчаяния:

А в глазах уже даль темна,
Дым сгущается в темноту.
Жизнь, что счастьем была полна,
Птицей рухнула на лету.

Умер Николай Георгиевич Доможаков глубокой осенью, в ноябре 1976 года, в Абакане. А незадолго до кончины позвонил друзьям — попрощался. Ивана Пантелеева поблагодарил за поздравление с праздником Октября и попросил, «ежели возможно, поторопить кого следует с решением судьбы рукописи стихов одного молодого поэта из Хакасии»… Анатолию Чмыхало позвонил ночью.

— Я умираю, Толя, — прохрипел он. — Прости за всё…

«И умер. И не стало хорошего человека. Оказывается, всё так просто», — записал в дневнике Анатолий Иванович.

Подруги

Светлана Янгулова, юное дарование из Абакана, будучи школьницей, попала на глаза классику хакасской литературы Николаю Доможакову, автору первого крупного национального романа «В далёком аале».

В то время директор Хакасского НИИ языка, литературы и истории, писатель Николай Георгиевич Доможаков, по свидетельству сибирского романиста Анатолия Чмыхало, собирал в Хакасии самое способное, развивал и пропагандировал истинные таланты, регулярно организовывал литературные конкурсы, был председателем жюри.

Однажды на телевизионном литературном конкурсе под девизом «Чтоб к штыку приравнять перо», посвящённом памяти поэта-земляка Георгия Суворова, погибшего под Ленинградом, две школьницы — Светлана Янгулова, хакаска, и Лариса Катаева, русская, — заняли второе место. Победительницам вручили дипломы и денежные премии. Деньги показались им настолько большими, что они купили себе по паре модных туфель на шпильках, ели мороженое и потешались друг над другом, так как ходить на шпильках ещё не умели. С тех пор девочки подружились и больше не расставались.

Стихи Светланы Янгуловой, по-девчоночьи наивные, подкупили классика именно её талантливой наивностью, и он тут же взял её под свою опеку. Написал в Красноярск своему другу, писателю Ивану Пантелееву, к письму приложил подборку стихотворений Светланы, которые вскоре были напечатаны в альманахе «Енисей».

Николай Георгиевич не бросил юную поэтессу на полпути к профессионализму, послал её на 6-й краевой семинар молодых литераторов. «Пожалуй, мало кто из хакасских писателей не почувствовал тогда живейшего участия его в своей судьбе», — вспоминал И. И. Пантелеев («Енисей», 1977, № 6).

Семинар проходил зимой 1965 года в Красноярске. Руководили семинаром поэты Роман Солнцев и Вячеслав Назаров. «Наш край, пожалуй, самый удивительный в стране. Край подвига — он рождает поэтов», — сказано в предисловии к сборнику «День поэзии», изданному в 1967 году в Красноярске по итогам семинара.

Светлана Янгулова родилась в 1948 году в Абакане. С детства её сопровождали народные песни, легенды, сказания, их во множестве знали дед и бабка. Светлана рассказывала: «В роду у нас было несколько больших хайджи, особенно известен дед. Я могла бы слушать его игру на чатхане и песни без конца». Под впечатлением дедовых песен и сказаний рано проявился у Светланы поэтический дар. Одно из её стихотворений так и называлось — «Чатхан».

Рокотали по ночам чатханы…
Шла молва, что дед — улуг-хайджи.
А потом он умер. На прощанье
Завещал мне петь и долго жить.
И чатханы мерно, то устало
Древними легендами звенят…
И с тех пор стихов уже немало
Вытекло из сердца у меня.

Тот литературный телевизионный конкурс окрылил девочек: будем журналистами, решили они. После окончания школы девочки отправились покорять Москву. Подали документы на факультет журналистики МГУ, написали сочинение на тему «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете», сдали экзамены, а вот знание иностранного языка оказалось недостаточным. Не прошли по конкурсу. Но особо не расстроились: не прошли сейчас — пройдём на будущий год, выучив язык… А пока — романтическая свобода! Они в Москве и должны увидеть как можно больше, пока их не выселили из общежития.

Два дня Светлана и Лариса бродили по улицам столицы, по набережной Москвы-реки, по Красной площади, побывали в Третьяковской галерее и Мавзолее Ленина, поднялись на колокольню собора Василия Блаженного, откуда весь Кремль и далее от него видно всё как на ладони. Всё удивляло, изумляло провинциалок, вводило в трепет, отчего возникало желание писать стихи…

Переполненные впечатлениями, подруги возвратились в родной Абакан. И, ещё не растерявшие высоких порывов, с искренним желанием творить нечто божественно-романтическое, организовали неформальный литературный кружок. Название

придумали тоже нестандартное — «Гончары»; ведь гончары лепят из глины не только горшки — произведения искусства. То же и в поэзии. «О, если б знали, из какого сора растут стихи…» В кружок входили юные поэты Георгий Болотин, Валерий Майнашев, Виталий Шлёнский, Сергей Табунов… Их всех объединяло желание «проникнуть в сущность окружающего мира, стремление к открытию тайн», волновали философские вопросы, размышления о жизни и смерти. Стихи Валерия Майнашева прозвучали тогда как эпиграф:

…Пусть будет так. Но я восстану
Через века в лучах зари
И поднимусь из-под кургана
На крыльях вечности парить…

Николай Георгиевич Доможаков, помимо основной деятельности учёного с 1958 по 1963 год возглавлявший Хакасскую писательскую организацию, теперь оставался только писателем и филологом, но продолжал следить за ростом в творческой среде Светланы Янгуловой и Ларисы Катаевой. Каждый раз напоминал: писатель, как правило, выходит из журналистики, где познаёт азы словотворчества, работает среди людей, учится у них образному народному языку.

По путёвке комсомола на работу в только что учреждённую районную газету «Орджоникидзевский рабочий» в качестве литсотрудника выехала в Копьёво Лариса Катаева. Светлану Янгулову взяли в областную газету «Советская Хакасия». По командировке редакции Светлана часто ездила в Копьёво.

Дом, где Лариса квартировала, стоял на пригорке, на окраине посёлка, в тридцати минутах ходьбы до редакции. Зимой, в сорокаградусные морозы, Лариса «летала пулей» по верхней либо по нижней улице. Но какое счастье встретить подругу в такой день! Лариса не знала, как отогреть, чем угостить её. Сама она обедала в столовой «Золотопродснаба» — дома готовить было некогда. Срочно бежала в магазин, набирала продуктов, и потом праздновали до вечера, вечером — на танцы в железнодорожный клуб или в кинотеатр «Авангард» смотреть новый фильм. В один из таких дней Светлана прочла подруге стихи:

Для меня не потеряна кареглазая девочка.
Ты годами проверена, ты добра и не мелочна.
Пред тобой я — судья, предо мной ты — судья.
Судит дружеский суд и меня, и тебя.
А ты по сердцу мне, у меня нет другой,
Я с тобою — сильней, я правдивей — с тобой.
У меня ты — одна, у тебя я — одна.
Будь всегда в час любой нашей дружбе верна…

Летом 1965 года Светлана уехала в Читу на зональное совещание молодых писателей Сибири и Дальнего Востока. Это было счастливое, незабываемое время. В Читу съехались молодые талантливые поэты и прозаики: Валентин Распутин, Роман Солнцев, Вячеслав Назаров… Руководители семинаров, профессиональные критики, старейшие писатели и поэты, принимавшие участие в обсуждении творчества молодых, были строги, беспристрастны, добры и справедливы. Светлана была счастлива. Всё ей было внове. «Семинар для меня окончился радостью, не ожидала, что всё так будет хорошо, — написала она Ларисе Катаевой. — Думала, „разбомбят“! Получилось иначе. Стихи взяли в коллективный сборник. Читала два раза на телевидении».

Было чем Светлане похвастаться! Стихи публиковались в газетах Красноярска, Абакана, Иркутска, Читы, в альманахе «Енисей». Московское издательство «Молодая гвардия» целую подборку её стихов поместило в коллективном сборнике «Зёрна», а издательство «Советский писатель» — в ежегоднике «День поэзии».

В Чите Светлана познакомилась с известным поэтом Марком Соболем и прозаиком Вадимом Инфантьевым, руководителями семинара. Они дали ей свои домашние телефоны и просили звонить, если случится быть в Москве и Ленинграде.

В 1967 году Светлана Янгулова поступила в Московский государственный университет на факультет журналистики. Ужасно повезло, радовалась она. Вступительные экзамены сдавала в techнституте Абакана… по брони, как узнала потом (и тут, вероятно, посодействовал Н. Г. Доможаков). Успешно прошла собеседование, предъявив экзаменационной комиссии печатные журналистские материалы — личные впечатления от недавней поездки в тайгу.

…В то лето работала в Хакасии аэрофотолесоустроительная экспедиция, которая размечала тайгу на квадраты, прорубала просеки. Светлана отправилась туда по заданию редакции «Советской Хакасии», пригласила поехать вместе Ларису Катаеву. С романтической устремлённостью подруги ринулись в тайгу и никогда о том не пожалели. Лариса устроилась поваром и каждую неделю посыла в свою редакцию очерки и корреспонденции. Светлана осваивала перспективный жанр литературного репортажа.

Тайга стала живительным источником вдохновения, наполняла душу восторгом, вдохновением, ощущением радости жизни. Впечатлений от всей этой земной красоты — аромата трав, цветов, великолепия живой природы, достойной кисти художника, — хватило подругам надолго. Здесь рождались, может быть, самые лучшие стихи.

Через несколько лет, уже в Москве, учась в МГУ, Светлана Янгулова вспоминала ту их поездку в тайгу как яркое событие, написав подруге обстоятельное письмо:

«Бирикчуль помнишь? А шпалы? И небо на рельсах? И густая, густая тайга… О, как я хочу

туда! Ещё раз побыть бы! Помнишь? Мы прыгнули с поезда и окунулись в кромешную тьму. Ни луны, ни звезды… С запада тянуло влажной свежестью. Сползли с насыпи, натыкаясь на деревья, пошли на чуть приметный огонёк в ночи. И чудилось, что где-то здесь, в дебрях, затаилась рысь, готовая вот-вот прыгнуть на свою жертву. Огоньком в ночи оказалась „избушка на курьих ножках“… Ощупали со всех сторон — дверей нет… Что за напасть? Огонёк светит, дверей нет… И когда глаза немного привыкли к темноте, наконец нашли дверную ручку. Дёрнули — заперто. Постучали. Нам молча, без всяких расспросов, открыли спросонья усталые женщины, рабочие железной дороги. Потрескивала свеча на подоконнике. По углам маячили серые тени. Что-то сказочно-призрачное было в этой картине!.. Всю ночь говорили шёпотом и о разном: дружбе, любви, поэзии… И ты (Лариса) выдала экспромт:

…Люди спали. А мы сидели.
На печи сушились дрова.
За стеной стонали, скрипели,
Будто маялись, дерева…

Утих ветер, оплыла свеча, в окно заглянула утренняя звезда, будто мигнула нам, и мы рассмеялись от сознания того, что живём и ещё долго-долго будем жить на белом свете. Родилось новое утро. Золотое! Земное! Росное! С птичьим гомоном, с оранжевым пламенем жарков в высоких травах, с ниткой сверкающих рельсов, которая убегала в неведомую даль…»

Письмо позвало скучающую Ларису в дорогу. Она поспешно взяла отпуск и прилетела в Москву. Светлана встречала её в аэропорту Домодедово. Обнялись, расцеловались. И потом в электричке Светлана, не умолкая, рассказывала о себе: живёт в самом высотном здании МГУ для иностранцев. Её тоже принимают за иностранку…

— У нас, — говорила Светлана, — компания интернациональная: азербайджанец, калмык, узбек, ингуш, украинец и я, хакаска… Имею успех у родненьких азиатов. С утра бродила по МГУ. Ну и ну! Чего только нет: и магазины, и столовые, и библиотека, и почта… Здесь, на Ленгорах, есть ДК МГУ, там кого только не встретишь! Видели Тарапуньку и Штепселя, Окуджаву — пел новые песни; слушали Ойстраха, Рождественского, Беллу Ахмадулину… Да, — вспомнила, просияв, — поздравь: мои стихи взяли в сборник поэтесс Союза. Рада до безумия.

— Поздравляю! — Лариса нежно приобняла подругу. — Я очень, очень рада за тебя, Ветка моя…

— А я скучаю по тайге: косогорам, кедрам, горластым горным речушкам, — сказала Светлана, вздохнув. — Как здорово было! Особенно Бирикчуль. Густой пьяный воздух, который можно черпать кружкой и пить, пить как воду. Хочу в Абакан. Приеду — поедем куда-нибудь в тайгу, на малину, в дебри… Не хочу замуж. Хочу свободы! Не хочется семейных дрязг, а они всё равно будут, как ни старайся…

Лариса слушала подругу, соглашалась:

— И никогда уже не вернётся то время, когда мы, очумелые дурочки, прыгали с поезда во влажную темноту около станции Бирикчуль.

— И костры, от дыма сизые, и букеты звёзд в ночи, и стихи, и неделя в бирикчульской гостинице, и сухое вино… Великолепное было время! — Светлана помолчала и вдруг с пафосом воскликнула: — Наши сердца в кляксах чернил, наши стихи в кляксах крови… Да здравствует страна Поэзия! Вечно здравствует!

С юношеской смелостью Светлана позвонила Марку Соболю. Писатель пригласил девочек к себе домой, много рассказывал интересного, затем купил в предварительной кассе билеты на поезд до Ленинграда, позвонил своему другу Вадиму Нифантьеву, чтобы встречал гостей. Нифантьев был радушен, внимателен, показывал девочкам памятники Северной столицы и тоже приобрёл билеты до Риги, где проживала сестра Ларисы Катаевой Ольга Петровна. Теперь Ольга Петровна становится гидом по Юрмале и Риге, столице Латвийской ССР.

Романтическое путешествие юных сибирячек по трём столицам — такое только тогда и было возможно… «Этим путешествием закончилось безоблачное детство. Пришла пора выбирать жизненный путь, принимать взрослое решение, набирать силы для тех испытаний, что приготовила нам судьба», — записала в своём дневнике Лариса Катаева. Мысль не нова, но отразила она сущность бытия, запечатлённого в будущих её книгах.

Осенью 1969 года Лариса уволилась из редакции в Копьёво, выехала в Абакан и поступила на дневное отделение филологического факультета Абаканского пединститута. А через три года вышла замуж за талантливого художника Геннадия Степанова. Однако, став Степановой, свои статьи, стихи, прозаические работы Лариса подписывала своей привычной девичьей фамилией — Катаева.

«Наша судьба похожа на рельсы, — записала она, — то сходятся они, то расходятся…» Так и в жизни — разошлись пути-дороги неразлучных подруг, верных собственной клятве: вместе на всю жизнь. Вот и получилось: с тобой и без тебя… Отныне переписка объединяла их. Светлана рассказывала о себе, Лариса — о себе, обменивались опытом стихосложения.

«Вот уже неделя, как я учусь, — писала Светлана из Москвы. — Сижу сейчас на истории зарубежной печати и пытаюсь вникнуть в сущность немецкой прессы. Грустно… Я остепенилась. Отказала В. Но, по-моему, я от него не освобожусь. Что это? Ни всплеска в моём сердце! Я стара стала чувствами.

Никого не надо! Никого! Хочется спать, спать, спать…

У нас не то зима, не то лето. Что-то среднее. Солнце! Хочу в издательство отправить рукопись стихов. Может, издадут. Не хочется старого, хочется нового… Умоляю, не давай старого в сборник, лучше совсем ничего… Меня приняли в семинар переводчиков при Литературном институте, в семинар Давида Самойлова. Да, вышла книга — сборник стихов поэтесс СССР. Я на странице… С фотографией. Тираж 50 тыс.».

«…У меня совсем нет времени. Учёба требует сил. Ложусь в два ночи, встаю в семь, бегу на метро, еду на занятия (помнишь, где корпус факультета журналистики?), в два обедаю, бегу в читалку конспектировать или в лингафонный кабинет (для занятий по испанскому)… себя очень строго держу с парнями. Поклялась самой страшной клятвой — не курить (так много девчонок курит! Собираются в туалете и дымят…). И потому я — белое пятно среди общей массы. У нас как-то одна компания, где все более-менее скромны».

«…Вот сижу на испанском. Нам рассказывают о Кубе. Один студент с третьего курса два года жил на Кубе, привёз кучу фотографий, где Фидель ест мороженое рядом с ним… Если, например, хорошо учить испанский, можно через три года махнуть на Кубу: жить, изучать быт, обычаи и прочее. Я, наверное, буду специализироваться как журналист-международник. Трудно, но попробую.

…Сижу в Ленинской библиотеке. Учиться жутко нравится. То самое, что мне нужно. Только боюсь, как бы не завалить сессию… Сессия — жалкая нищенка, подбирающая копейки моего внимания, закончится в начале июня. На повестке зарубежка, курсовая».

«Перевожу… Рильке — это чудо! Только послушай:

…И если я от книги подыму
глаза и за окно уставлюсь взглядом,
как будет близко всё, как станет рядом,
сродни и впору сердцу моему!»

«Сдаю политэкономию. Уезжаю в Ставрополь на практику. В августе буду колесить по югу или прикачу домой. Вот и четвёртый курс…»

«Пишу из Гулькевичей. Это на Кубани — шесть часов от Сочи. Я на практике. Всё отлично. Сегодня сдала репортаж с асфальтового завода (нового). Живу в домике, обсаженном вишнями, яблонями. После „труда“ загораю во дворике. И с лохматой псиной Альмой лопаем вишни. Приехала с двумя товарищами на практику. Один упорно приглашает обедать в столовую, но я скромно отнекиваюсь — харчую у хозяйки. У хозяйки в пристройке живут ещё трое молодых людей. Городок зелёный: яблоневый, вишнёвый, арбузный. Редактор обещает послать к морю — в командировку. Домой приеду в середине августа. Господи, юность уходит, как вода».

«Распадок, дождём занавешенный,
Сумраком серым залит…
Во мне просыпается женщина
И сладкой истомой болит…

Мне сделали предложение… То есть, как в старинных романах, предложили руку и сердце. Его зовут В. Он оттуда, где проходила практику. Кто он? Обыкновенный парень. Ничем не примечателен. Ему двадцать лет. По специальности — медик. А мне двадцать один… Мне надоело ждать сказочного принца. Из всех парней, которых знала, он самый нужный. Пытаюсь не потерять голову. Если до лета ничего не изменится, в июне пойду под венец. Никогда не думала, что приду к мысли о замужестве. Но я почувствовала, что с каждым днём ничему уже не удивляюсь — ни словам любви, ни сумасшедшим поступкам. Всё воспринимаю как необходимое для жизни… Люблю ли я его? Не знаю».

Это её последнее письмо. Потом — провал. В чём дело? Что случилось? Лариса шлёт письмо за письмом — никакого ответа. Измучилась ожиданием. Съездила в командировку от газеты, думала — развеется, но только очень устала. Подумала: «Журналистика пригасила все краски…»

От журналистики талант Ларисы плавно перетёк в художественное осмысление событий. Это и стихи, и проза. В 1975 году она — участница VI Всесоюзного совещания молодых писателей, проходившего в Москве, а вскоре была принята в Союз писателей СССР. Выпустила в свет восемнадцать книг в прозе, поэзии, эссе. С 1998 по 2008 год исполняла обязанности заместителя председателя правления Хакасского отделения Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Республики Хакасия. Несмотря на то что «журналистика пригасила все краски», она не теряет связи с местной прессой.

…Наконец пришло долгожданное письмо от Светланы — и всё разъяснилось. В письме — стихи:

Надо мной — белый свет
белых стен, белых ламп.
Чей-то злой силуэт
по палатным углам.
Сколько времени? — Ноль.
Сердце — сгусток огня.
Только вскрик, только боль,
злая боль у меня.
Надо мной — тень сестры,
жизнь мне хочет сберечь.
А во мне жгут костры,
чтобы сердце прожечь.
Не сдаюсь… не сдаюсь…
Стало много вдруг лиц.

И, смиряя мой пульс,
входит в мускулы шприц…
Открываю глаза,
вижу неба чуть-чуть.
Эта голубизна
затопляет мне грудь.
На огромном окне
капля солнца дрожит…
С этой ночи вдвойне
захотелось мне жить.

Следом ещё письмо. Радостное, даже больше—счастливое. Светлана торопится сообщить: «Выхожу замуж! За Родриго. Люблю! Ты—мой свидетель на торжественном бракосочетании в Москве. Он—студент исторического факультета МГУ. Дорогая, прилетай! Умоляю! Не обижай меня и его. Он славный, славный, славный. Люблю. Люблю! Люблю!»

На свадьбу подруги Лариса вылетела не раздумывая. Хотелось повидаться, да и на Светланиного жениха посмотреть, оценить по-женски: достоин ли её любимой подруги?..

— Ты очень понравилась Родриго,—сказала Светлана.

— Красивый парень,—восхитилась Лариса.

— А ведь неплохо отметили мы нашу свадьбу, да? Лёгким ужином в кафе, потом у Ирины в художественной мастерской до утра… Теперь я не Янгулова, а Кастельянос… Родриго весь в мечтах и сияет в лучах отцовской любви, о сыне, который ещё не появился.

Помолчав, Светлана внезапно сменила тему:

— А диплом, Ларочка, я буду писать по советской литературе.

Очередное письмо от Светланы было похоже на философский трактат—о детях. Она писала: «Потому и прекрасны дети, что в них мы ловим своё отражение и образ дорогого, любимого человека: синтез высокий, огненный…»

А через некоторое время Лариса получила телеграмму: «Родилась дочь. Назвали Розой».

Следом за телеграммой пришло письмо. Светлана была счастлива и не скрывала своих чувств; и в этом своём послании она меньше всего описывала себя с мужем и продолжала философствовать: «…Мы как-то говорили с Родриго: такое чувство, что сердце твоё расширяется беспредельно, и сейчас это уже огромный дом, в котором хохочет наша маленькая девочка… И мужчины, наши мужчины—это вечные дети, которые спят на нашей груди, ужасно падки на ласку и в чём-то совсем бывают беспомощны. Наверное, в любви женщины всегда есть доля материнской любви и нежности, потому что мужчины чисто интуитивно ищут в женщинах теплоту и женственность».

Окончив курс учёбы в МГУ, защитив диплом и сдав государственные экзамены, Светлана Янгулова с мужем и дочкой покинули СССР. Из Мексики написала: «Мне не хватает твоего зелёного сияния, твоей удивительной своеобразности и искренности. От таких людей, как ты, исходит что-то высокое, неизмеримое. Ты—тихий свет, незабываемый свет… Розочка наша уже лепечет „мама“! Копия Родриго: большие глаза, светлая кожа, иссиня-чёрные волосы, только курносая—в меня… Говорят, красивая девочка…»

Проходит три-четыре года, и Светлана прилетает на родину, в Абакан, погостить; как видно, в Мексике иная система отпусков… И тогда подруги устраивают праздник. Приходит и Жора Болотин, единственный, кто остался верен творческой группе «Гончары». «Вот что такое литературное братство»,—как-то вырвалось у Ларисы. Действительно, и через сорок лет ничего не забывается. Лариса посвятила друзьям-«гончарам»—Светлане Янгуловой и Георгию Болотину—стихотворение, заканчивающееся оптимистической строфой:

Может быть, мы сегодня не те, а иные?
Кто сорвётся, помчится по зову из нас?
Пролетели года, как метели седые…
Но костёр наш пылает, ещё не угас.
(Сб. «Серебряное веретено», 2007)

«Ах, Ветка, Ветка: смуглая, энергичная! Зелёная ветка на весеннем ветру…» Лариса скучает, ждёт, ведь Светлана—единственная её подруга, подруга на всю жизнь. И оттуда, из-за океана, она старается поддержать Ларису, вдохнуть энергию духа, поиск новых тем для творчества. Не оставила Светлана подругу и тогда, когда в 2000 году от сердечного приступа скончался её муж, художник Геннадий Степанов. Она прилетела на похороны и несколько дней провела с Ларисой, отвлекая от мрачных мыслей. И тогда же подарила подруге стихотворение, посвящённое памяти её мужа, написанное экспромтом:

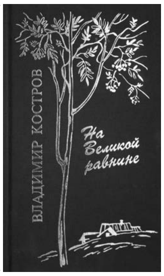
Был на земле он не востребован,
руками краски раздавал.
Носил в глазах кусочек неба он—
на небе больше пребывал.
В зеркальном мире облицованном
святых, где лики и хорал,
смотрел в лицо живым иконам он
и их тихонько рисовал!..

После Хакасии Светлана срочно улетела в Бразилию. Для неё, как переводчика с испанского на русский, командировка эта скорее почётная, чем обычная, рабочая, и отправилась она туда с радостью. Переводила Гарсиа Лорку, Рафаэля Альберти… «Кто наградил её даром: на расстоянии воодушевлять, давать силы, звать вперёд, а дальше—Жизнь?!»

Что ещё может сказать Лариса Катаева о подруге, от которой всё реже приходят письма? Как она там, в Мексике, устроилась? Печатается ли?

А тут, в Союзе, сняли с плана её первый поэтический сборник. Стало забываться и имя — Светлана Янгулова, победительница телевизионного литературного конкурса, получившая положительную оценку своего поэтического творчества на Читинском совещании молодых писателей Сибири и Дальнего Востока 1965 года. Она стояла рядом с Распутиным, Солнцевым, Назаровым… Помнит ли её кто теперь? Жаль, конечно. А ведь подавала большие надежды. Многие считали её очень талантливой. Может быть, так считают и в Мексике, в штате Табаско, где она проживает?..

ДиН ревю



Владимир Костров

На великой равнине

Москва: «Классика», 2015. — 280 с.

Первый снег

Над землёй кружится первый снег.
На́ землю ложится первый снег…
Пишут все, печатают не всех,
Иногда печатают не тех!..

Пишут про зелёные глаза
Или про рюкзачные волненья.
Образы стоят, как образа
По углам в иных стихотвореньях.

Только есть стихи — как первый снег.
Чистые — как белый первый снег!
Есть они у этих и у тех,
Ненаписанные есть у всех!..

• • •

Ко мне спешила помощь скорая,
Да не могла найти подъезд.
Машина странная, которая
Спасает или ставит крест.

И хлынул горлом цвет малиновый,
Как бы из раны ножевой.
И в синеве новокаиновой
Ко мне явился образ твой.

Закончилось коловращение,
Упала боль к твоим стопам.
Как знак молчанья и прощения,
Ты палец поднесла к губам.

И пульс пошёл толчками смелыми,
И тут из тёмного двора
В халатах ангелами белыми
Вошли в квартиру доктора.

И вновь послышалось звучание,
И ты растаяла сама.
А смысл прощенья и молчания
Не дело вашего ума!

• • •

Молю тебя: не пой, не плачь, не смейся,
Иначе я опять не устою…
Какой гремучей первобытной смесью
Господь решил наполнить плоть твою.
Куда с тобой мулаткам и цыганкам
Тягаться в силе жарких глаз огня,
Цветком последним, яростным и манким,
Ты расцвела, чтоб погубить меня.
Я стар и сед, мои слезятся вежды,
И короток, как час, мне каждый год.
Молю тебя: не подавай надежды.
Надежда? Да она меня убьёт.
Иль, наконец, останься наважденьем,
Мелькнувшей змейкой на лесной тропе.
А лучше окати меня презреньем,
И растворись, и пропади в толпе.

• • •

В керосиновой лампе — клочок огня.
Всё моё у меня под рукой.
Ты, Россия моя, наградила меня
Песней, женщиной и рекой.

Нет. Поля и леса не пустой матерьял,
Да и солнышко вдалеке.
Но себя я терял, когда изменял
Песне, женщине и реке.

У собрата денег полон кошель,
Пуст карман моего пиджака.
Но с годами всё так же прекрасна цель —
Песня, женщина и река.

И когда, с последним ударом в грудь,
Сердце станет на вечный покой,
Я хотел бы услышать не что-нибудь —
Песню женскую над рекой.

Сергей Брель

Романс о потерянном рае

1.

В истории нашего кинематографа есть картины, столь бегло, поверхностно прочитанные зрителем и критикой, что их достоинства всё ещё остаются втуне. К числу непонятых шедевров я бы отнёс «Романс о влюблённых» Андрея Михалкова-Кончаловского (1974 год).

Как часто бывает с глубоким произведением, даже коллеги по цеху упрекали «Романс…» в противоположных изъянах. Бернардо Бертолуччи увидел абсолютно буржуазную картину. Классик польского кино Кшиштоф Занусси в разговоре с автором данной статьи, напротив, отозвался о фильме как о скучном «советском» произведении. И был не одинок. Киновед Сергей Кудрявцев вспоминает: «в киношной среде», где не стихли шестидесятнические настроения, фильм окрестили «Шербурскими танками». Он, видите ли, «пытался сочетать… несоединимое — музыкально-кичевую эстетику „Шербурских зонтиков“… Жака Деми с типично советской эпической сагой (с неистребимой тягой к гигантомании)». Друзья-либералы (как бы мы назвали их сегодня) клеймили Кончаловского как отступника, предавшего документализм «Аси Клячиной» и историческую правду сценария «Страстей по Андрею», «Романс…» противопоставляли «Зеркалу» А. Тарковского.

Сам режиссёр признавал: сценарий Евгения Григорьева («Романс о влюблённых сердцах») выглядел «неснимабельным», изобиловал условностями. Однако чутьё подсказывало: надо только правильно понять задуманную драматургом притчу. «Какой-то непостижимый, сказочный мир мерещился за страницами григорьевской поэмы в прозе. Страстный, неповторимый, яркий…» В нём было «то главное, что дано лишь настоящему художнику, — мироощущение». Кончаловский внёс в первую часть изменения, сделал её более конкретной в описаниях быта героев, их внешнего облика. Но одновременно отказался от мысли «улучшить», приблизить к разговорной речи шекспировский верлибр, на котором изъясняются персонажи. Тогда же режиссёр пришёл к идее столкновения двух миров: цветного и «серого-серого», где герои переходят к бытовой прозе.

Это решение (возникшее у Кончаловского ещё во время работы над «Дворянским гнездом»), при всей новизне, таило сложность для массового восприятия. Несмотря на то что вместо черепичных крыш и разноцветных мопедов на экране возникли московские переулки и окские пейзажи, одни зрители не приняли романтической условности первой части. Других разочаровала вторая часть — подчёркнуто приземлённая. За «серым-серым» проглядели возвращение цвета, не придали значения переходу к мистике, роднящей финалы «Романса…» и «Соляриса» Тарковского. В первом случае за окном типовой многоэтажки открывается картина земли с птичьего полёта. Во втором — поднимающаяся над Банионисом-Крисом и Гринько-отцом (Адмиралом-Отцом из «Романса…») камера обнаруживает, что Земля — это и есть Солярис, мир материализовавшейся людской памяти.

Ближе всего подошёл к разгадке фильма критик Виктор Филимонов. Он заметил, что двухчастная структура «Романса…» оправдана единой сверхзадачей, а в образах картины отражены сакральные представления советского социума о коллективном бессознательном. В пути героя — Сергея Никитина — Филимонов усмотрел типичную судьбу «человека из народа», трагически выпавшего из общества. Полемичным представляется постулат киноведа о том, что в середине семидесятых годов «обрядовые нормы советского коллективизма и в жизни, и в искусстве утрачивают свою сакральность и уже не отвечают новым тенденциям в социально-историческом развитии страны». В то же время Филимонов защитил «Романс…» от упрёков в конформизме, доказал: Сергей Никитин в исполнении Евгения Киндинова — не шарж на шекспировского Гамлета или Ромео, а родственник чудаковатых героев Платонова и Шукшина. Критик отметил жанровую эволюцию картины, повторяющую путь от эпоса к трагедии и роману в истории литературы. Это наблюдение позволяет подойти к главному исходному пункту драмы Сергея и Татьяны — Юноши и Девушки, Адама и Евы…

2.

Вычленяя в «Романсе…» две части — цветную и серую-серую, нельзя забыть ещё два важнейших

элемента композиции — пролог и эпилог. Что, если бы Евгений Григорьев решил изложить белым стихом не только реплики персонажей, но и ремарки? Пролог мог начаться так:

…ручьи
Прозрачные, рождённые ключом
Сапфирным, извиваясь и журча,
Стекают по восточным жемчугам
И золотым пескам, в тени ветвей
Нависших, все растения струёй
Нектара омывая, напоив
Достойно украшающие Рай
Цветы, что не Искусством взращены
На клумбах и в причудливых куртинах,
Но по равнинам, долам и холмам
Природой расточительной самой
Разбросаны; и там, где средь полей
Открытых греет Солнце поутру,
И в дебрях, где и полднем на листве
Лежит непроницаемая тень.
…меж рощами луга
Виднеются, отлогие пригорки,
Где щиплют нежную траву стада.
…звенит
Пернатый хор, и дух лугов и рощ
Разносят ветры вешние, звуча
В листве дрожащей…

Младший современник Шекспира Джон Мильтон так описал земной Эдем. Поэма «Потерянный рай», как и Библия, не входила в повседневное чтение советского человека. Не потому ли для многих зрителей осталась втуне лежащая на поверхности параллель между покоем первых людей в раю и безмятежной радостью Сергея и Татьяны, проведших ночь в шалаше на берегу Оки («С милым и в шалаше — *рай*»). Но неявное для масс затрагивало потаённые струны души мыслителя, интеллигента, которого волновали «древнерусская история, христианство в России», а «восторг перед красотой и целомудрием иконы был общим культурным делом…» (так напишет искусствовед Паола Волкова).

А вот признание самого Кончаловского: «Хотелось во всём библейской простоты и яростности».

Сама близость места съёмок к окскому имению Василия Поленова выглядит не случайной: «Этот незаурядный русский человек как-то сумел распределить себя между российским озером с лилией и суровыми холмами Иерусалима… и над его тихими озёрами веет дух божества», — говорил Фёдор Шаляпин.

На первый взгляд, положенные на музыку Александра Градского слова Булата Окуджавы, с которыми обращаются друг к другу Он и Она, говорят о земной любви — без «религиозных» примесей:

Синева, плеск воды, нет ни дней, ни часов, ни минут.
Облака в тишине, словно белые птицы, плывут…
Только я и ты, да только я и ты, да ты и я,
Только мы с тобой, да только мы с тобой, да мы с тобой.
Было так всегда, будет так всегда!
Всё в мире — любовь, да лишь она, да лишь она!
Пусть плывут века, словно облака.
Любви не будет конца во все времена…

Но если нет часов и минут, значит, нет и времени. А время появляется лишь в связке с пространством. Библейских ассоциаций не избежать: в прологе «Романса…» восстаёт не только образ рая, но и момент сотворения.

После первого «вчера» наступает первое утро мира. Вот начало фильма. Мы видим небо — грозовое, ночное, и тут же — утреннее, отделённое от зрителя кроной дуба и завесой ливня. Одновременно с дождём, метко называемым «слепым», нас пронзает солнечный луч. На мгновение заслонённый стволом дерева, он «взрывает» кадр. Это чистая субстанция, свет духовный, который на иконах не связывается с небесными телами. Кончаловский, способный вписать в образный ряд картины даже софиты съёмочной группы, утверждает свет как источник космоса, мироздания и — фабулы. «Мы с Леваном Пааташвили (оператор картины. — *С. Б.*) много внимания уделяли тому, как создать ощущение взрыва цвета, ослепительности… Но ослепительность на экране… возникает из перепада, из контраста между светом и тьмой… должен быть провал черноты, чтобы потом глаза пронзила яркость света». За чисто «техническими» рассуждениями встаёт образ Первой книги Моисея: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет». Вертикальный взгляд камеры в первых кадрах «Романса…» фактически помещает Дух (свет) над водою, выше падающего к земле ливня.

Словно по мановению руки дождь стихает. Солнце сквозит сквозь влажную зелень. Появляется лицо Юноши с взглядом, полным удивления и восхищения. Юноша держит руку на сердце. Монтажная логика подсказывает, что герой восхищён красотой и величием природы, светом, дождём (Творцом?). А в тот момент, когда мы осознаём, что взор Сергея обращён к героине, её сопоставление с природой становится очевидным. Собственно, состояние, в котором пребывают эти двое, не подразумевает раздельности с внешним миром. Они сами — природа в её первозданности.

Поэтому для Татьяны так естественно то лакомиться плодами «дивными, с ветвей услужливо склонённых», то, поглядев сквозь ягоду на возлюбленного, обронить: «Как я люблю тебя!» Кончаловский признаётся, сколь мучила его необходимость заставлять актёров проговаривать

избитые реплики. Но в атмосфере свободной игры, подлинности лиц «без грима» условность обернулась высшей правдой.

«По первым словам летописи бытия, Бог „сотворил небо и землю"... Так и в исповедании веры мы именуем Бога... Творцом как видимого, так, равно, и невидимого...—писал богослов Павел Флоренский.—Бывают времена... стянутые, иногда даже до атома времени,—когда оба мира соприкасаются, и нами созерцается самоё это прикосновение. В нас самих покров зримого мгновениями разрывается, и... веет... нездешнее дуновение». Ветер колышет завесу кленовой листвы за спиной Юноши, трогает ветви ракит. Он и Она невольно прислушиваются к живому шёпоту стихии. Подобное значение «речи листвы» придавали среди современников Кончаловского разве что отец и сын Тарковские.

Но здесь же зарождается трагизм. Евгению Киндинову удалось передать первый миг драмы без единого слова. В ответ на похвалы любимой лицо Юноши болезненно искажается—на крупном плане диссонанс тут же ощутим. «Я самый счастливый, я всем хочу сделать что-нибудь доброе!» Но не оттого ли и боль—от невыполнимого желания передать личное счастье вовне, перейти границу мира, невидимого для посторонних глаз, и мира зримого, внешнего? Первая смена места действия—из эдемских кущ к пространству, очерченному изгибом реки и далёкими пристанями,—связана с преодолением границы. Мы становимся свидетелями того, как бегущий с лицом, закрытым курткой, ослеплённый влюблённостью герой буквально пробивает брешь в ограде Эдема.

Так совершается второй шаг драмы. Первым было желание сделать «что-нибудь доброе» для всех, разделив пару. Герои покинули рай, не осознавая этого. Должна ещё свершиться кульминация счастья—внизу, на старой барже, превращённой во временный дом (рифма к «шалашу»—«ковчег»?—вот и козы бродят по палубе). Между выходом из Эдема и входом на ковчег пролегает полная эротики сцена «под водой», о которой Татьяна вспоминает позже: «Какие рыбы в глубине!» Что за рыб разглядела юная Ева в мутной прибрежной воде? Иное дело: «...И внял я неба содроганье, и горний ангелов полёт, и гад морских подводный ход...»! В невинном сердце теплится дар видения всех сфер мироздания, который будет утрачен после грехопадения.

Связующее звено между появлением героев на барже и возвращением (изгнанием) в дом в Трубниковском переулке—песня Градского и Окуджавы, по Филимонову—«не забава, а творческая *работа* по воспроизведению и утверждению народного братства». Там, где на партии солиста откликается хор, мысль справедлива. Но там, где в пении обращаются друг к другу Он и Она, братства нет и в помине. Зато есть—плавание, полёт (созданные операторскими приёмами), крик радости, обращённый к небу и солнцу.

И вот идиллия у нас на глазах переносится в дрёму арбатских переулков (рай старой столицы, который она едва не утратила окончательно с прокладкой Калининского проспекта, разорвавшего надвое и Трубниковский переулок). Задремала в пути и героиня. «Сон—вот первая и простейшая... ступень жизни в невидимом...»—утверждал Флоренский. Рай Татьяны ещё с ней—в её сне, в букете полевых цветов. На куртке героя остаётся другой след Эдема—пришитое рукой Татьяны изображение бабочки, символа души. Бабочка перенесётся через весь фильм, вместе с курткой оказавшись у младшего брата Сергея, «невинного мальчика» (Владимира Конкина). Правда, эта бабочка рукотворна.

А Эдем—утрачен. Это подчёркивает известие: Юноше предстоит пойти в армию,—и драматический эпизод во время службы окончательно положит конец прошлой «безгрешной» жизни. Получается, драма изгнания разразилась, когда едва завершаются первые титры картины!

3.

«Дружба с этим миром—измена Тебе (Богу.—*С. Б.*): её приветствуют и одобряют, чтобы человек стыдился, если он ведёт себя не так, как все...»—сказал Августин Аврелий. А вот что написал о «Романсе...» Виктор Филимонов «В художественной концепции... Григорьева личностное самостояние человека немыслимо без стоического приятия безжалостной логики природного круга... и, главное—исполнения естественного долга, своего природного предназначения». Но всё же: принимает ли Сергей Никитин безжалостную логику общины («...в чём логика?»—спрашивает он) или открывает окно в вечность? Каков конфликт божественной комедии двадцатого века (где конец—обязательно счастливый)?

Согласно В. Филимонову, в первой части «Романса...» герой движется от счастливой целостности к пробуждению частного самосознания. Однако весь эмоциональный строй пролога картины убеждает: гармония утеряна уже в момент возвращения героев в Москву (прообраз Вавилона, города, цивилизации). Измена Богу началась с момента, когда обитатели Эдема задумались о пересечении границы невидимого и видимого миров. «Не ешьте их и не прикасайтесь к ним (плодам древа познания.—*С. Б.*), чтобы вам не умереть»,—заповедует Господь. Дьявол возражает: «Нет, не умрёте, но... в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши...» Но истинный мудрец должен ослепнуть в материальном мире, чтобы созерцать духовный. Для покинувших пределы Эдема ради «дружбы с миром» последний раскалывается надвое. Прозревающая духовные глубины

«слепота» Юноши и Девушки сменяется сумерками земного видения. А истинный Дом—временным пристанищем.

Правда, большой дом в Трубниковском переулке, 19 (бывшее здание Главного управления уделов, ведавшее имуществом царской семьи), в картине также кажется подобием рая. Это приют хороших людей, в реальном двадцать первом веке—Дом народов России. Интересно, что зданием владеет, как и после революции, Министерство по делам национальностей. А, между прочим, вторую «смерть» Сергея Кончаловский собирался снимать на станции метро «ВДНХ», собрав представителей разных народов СССР. Воистину, как пишет краевед Рустам Рахматуллин, «есть метафизика города—то, что стоит за и над физикой, за видимыми вещами… существует до и кроме видимых вещей».

Кончаловский признавался, что выбрал дом в Трубниковском из-за необычной ауры, таинственных подворотен и внутреннего двора, отвечающего эстетике хоррора, Хичкока. Выросший по соседству современник героев «Романса…» Валентин Березин признаётся: дом «казался… детворе—каким-то жутким монстром… видимо… детей середины века подавляли сами объёмы… строения, тем более что окружали дом одно-двухэтажные особнячки». Один из таких особнячков—собирателя гравюр Д. Ровинского,—заменённый в эру рынка элитным новоделом, спасён в «Романсе…»: он мелькает за спиной входящей в арку дома №19 Татьяны. Но в картине дом-монстр наделяется чертами идеального жилища, хранящего память о былом блаженстве: «обжитые, обшарпанные стены, цветы на окнах, длинноволосые шевелюры, в достаточной мере фривольные для пуританского вкуса». Этот дом, при всей доброжелательности и открытости обитателей, так далёк от образцового советского общежития, какие строились в двадцатые годы по проектам конструктивистов! Вещи и фотографии, населяющие квартиру Татьяны, чужды советскому быту. Абажур на лампе напоминает о прабабушкиных временах, есть и полубылинная бабушка (среди обитателей дома она не одинока, Кончаловский старательно подобрал типажи). В коллективном гнезде в Трубниковском жив антиквариат, то «добро», которое, по едкому замечанию публициста Татьяны Щербины, при переезде в типовые микрорайоны «москвичи… выкинули на помойки и счастливы были… накупленному барахлу».

А пока—не засох собранный на Оке букет. Играет буйство цветов на разбитых во дворе клумбах и на балконах, щебечут ручные канарейки. Горланит детвора. Один из «домовых» старого Арбата поэт Николай Глазков катит в коляске младенца. Но всё это в эйфории доживает последние деньки, чтобы бросить воспоминания о прошлом в ритуальный костёр, что поднимется к небу на фоне монолога Трубача (Иннокентий Смоктуновский), этакого постаревшего Гамлета.

Киноведы не раз пытались трактовать движение конфликта в первой и второй частях картины. Сергей и Татьяна проходят через несколько условных «смертей». Сергей умирает дважды: когда его считают погибшим в армии и после признания Татьяны, что Игорь теперь не просто её муж (что можно было оправдать ларинским «но я другому отдана и буду век ему верна»), но и «любимый».

Татьяна духовно гибнет после известия о смерти Сергея. Её «убивает» то, что любимый не сдержал обещания вернуться. Странный упрёк человеку, выжившему среди снежной пустыни. Но суть обвинения в том, что «ветхий» человек Адам не оправдал надежды Евы на вечную жизнь, которая без изменения физической оболочки возможна лишь в Эдеме. Во время объяснения Сергея и Татьяны их разделяет люстра со стеклянными подвесками (она появилась в доме после замужества Тани), которые герой постоянно задевает головой. Небо рая сжалось до размеров мещанского идеала, который не возвышает, а подавляет человека.

Как же меняется духовное состояние героев в течение фильма? Высшие точки напряжения, «кипения»—в прологе и эпилоге. На первый взгляд, до известия о гибели Сергея герои переживают духовный подъём, после его возвращения-воскрешения—упадок. Но если взглянуть на конфликт глубже, ситуация зеркально меняется.

Вспомним Трубача. Из красавца-удальца в сценарии в фильме он стал городским сумасшедшим (определение Кончаловского), чьё соло, однако, трудно переоценить. Тема трубы не просто расставляет музыкальные акценты, но приводит к постижению метафизического замысла фильма. Слобода «трубников», где поселился Трубач и другие герои фильма, по мнению историков, связана с печниками и трубочистами, что отвечает фантазии сценариста, которому мерещилась андерсеновская черепица. Но среди стрелецких слобод Арбата могли жить и трубачи царского двора, люди служилые (как и герой, «исполняющие воинский долг»). Так кто же такой Трубач, выступающий то как беспечный музыкант, то как суетливый отец семейства? Хранитель гитары Сергея-трубадура? Шекспировский резонёр?

Песнь Трубача радует окружающих, побуждая к вечному повторению пасторального райского дня («Какая радость: каждый новый день—как новый год, как новый век, как новое начало!»). Но вот скорбные звуки трубы раздаются на исходе ночи (а точнее, вечера, ведь «когда у нас заходит солнце, у тебя восходит»), когда Сергей оказался на волосок от гибели. Трубач сигнализирует об опасности. Ощущают её и две женщины—мать и возлюбленная Сергея. С окна в комнате Татьяны

падает ваза с засохшими цветами — словно порыв ураганного ветра донёс голос любимого. Вошедшая на крик девушки мать успокаивает, что это была птица, и досадует на Трубача: мол, взял моду играть среди ночи, пугая людей. Мы не знаем, разбудила женщину музыка или крик дочери. А вот в семье Сергея Трубача явно слышит только мать.

Выходит, остальные обитатели дома не заметили реквиема? Он звучит лишь для тех, кому слышать назначено. Оплакивается не мнимая смерть, которая обернётся спасением («морская гвардия не тонет»), а реальная гибель прежнего Сергея. Вострубил ангел Апокалипсиса — но не для человечества, а для «ветхого» человека, Адама. В этот момент мы видим, как на гвардейца обрушивается не условный или реальный противник, а девятый вал океана, стихии, рока. Одна из волн сметает школу, из которой в последний момент спасатели вызволяют детей (во время съёмок едва не погиб ребёнок). В затопленном кабинете камера скользит по портрету Пушкина, который восхищался «свободной стихией» моря. Здесь же — хаос разрушает цивилизацию, культуру.

Но покинувшие Эдем обречены на испытания. Нескоро откроется для них дорога преодоления, просветления плоти, роды в муках и «хлеб в поте лица своего». За мнимой цепочкой радостей личной жизни и общественных свершений Сергей и Татьяна шли к катастрофе, спускались из Эдема в ад. Только когда дно оказалось достигнуто, стало возможно обратное движение.

4.

Путь к истинному небу начинается с момента, когда человек прощается с властью земных иллюзий. Когда срывается покрывало майи, мнимое братство рушится и перестаёт притворяться Эдемом. И дело здесь не столько в разоблачении советского коллективизма, а в том, что спасение всегда является делом личным. В нашумевшей первой «Матрице» братьев Вачовски Нео проходит такой же путь, как Сергей: он пробуждается от галлюцинаций и в одиночестве следует за белым кроликом.

После изобретения цвета в кино возвращение к чёрно-белому изображению часто помогает сделать повествование реалистичней, придать ему черты хроники. Но общий приём нечасто выливается в личное открытие. Так, по предположению киноведа Евгения Марголита, чёрно-белая «История Аси Клячиной» — не неореалистическая энциклика о тяжкой крестьянской доле в СССР, а колхозная идиллия. Во второй части «Романса…» прослеживается нечто большее, чем торжество «бытовухи» над романтикой.

Спору нет, мир казённого общепита, пивка-селёдочки и картошки-гречки так чужд миру мотоциклов и хипповских прикидов, где влюблённых насыщают условные хлеб и молоко. Не случайно после трагической встречи с невестой, вышедшей за другого, Сергей сидит перед пустой молочной бутылкой. Благодать иссякла (в картинах Тарковского молоко бесконечно проливается из опрокинутых сосудов). А череда загсов-универмагов (бездушный голос за кадром превращает вторые в продолжения первых), клетушек, куда свозят на грузовиках «шмотки», не выдерживает сравнения с парадными, где гремят фортепьянные рулады. Кстати, парадные сменили банальные «подъезды».

Но смысл второй части не сводится к противостоянию типажей «аристократ — мещанин», «революционер — обыватель», «романтик — пошляк». Слово «обыденность» тяготеет не только к «быту», но и к бытию. Тому, которое Адам и Ева утеряли после Змиева соблазна. Воскрешение Сергея не в том, что «ради жизни» надо зачать ребёнка от нелюбимой женщины и, получив укутанное в одеяло чадо, прослезиться. Кончаловский понял: нельзя закончить картину с таким энергетическим потенциалом на банальной ноте. Так отсеялся парный к финалу «Шербурских зонтиков» финал, где Татьяна и Сергей встречаются в сопровождении жён и младенцев и обмениваются репликами: «Как дела?» — «Нормально!» Жизнь-смерть без любви, в разрыве с Духом, стала путём к воскрешению! Так, согласно Николаю Бердяеву, «в смерти есть предельное обострение любви».

Пик, вершина картины — момент, когда двое смотрят друг на друга под сенью эдемских деревьев в Поленово. Дно — ожидание Сергеем Людмилы в московской подземке, где так мало воздуха и подлинного света. Но это ожидание обещает чудо.

Образ Люды — в фильме один из самых сложных. Если Татьяна (Ева) скорбит, жалуется, обвиняет, Людмила лишь в момент первого появления предстаёт сварливой поварихой, огрызающейся на посетителей столовки («Дома гречку будете есть!»). В той же сцене мы впервые видим воскресшего, пока лишь во плоти, Сергея. Он хищно двигает челюстями, механически поглощая обед. Невольно представляется прошедшая история Люды: вероятно, и её мы застали в момент предельного кошмара, «дна».

Просветлённая Людмила появится в сцене, где Сергей готовится к свиданию, выбирая галстук. Даже не она, а только её голос, звучащий по радио. Приёмник транслирует армянскую народную песню «Ах, красивая», в которой девушка признаётся в любви к юноше. Но зрителю не обязательно знать перевод. Сама мелодия задаёт лирический лад, который в сером-сером мире, казалось, исключён. С этого момента возникнет иная Людмила. Которая, как истинная любовь, «долго терпит, милосердствует… не завидует… не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». «Это правда, Серёжа, я — для тебя?» — вот ответ на признание в любви.

А так Люда обратится к юнцу, который только что в её доме упрекал брата, который забыл прежнюю любовь: «Ты прекрасный мальчик, чистый и хороший. Ну как я могу сердиться на тебя?» Сергей пригласил Людмилу на свидание. Но видим мы другое. Это она приходит за ним, спускаясь по эскалатору на самое дно ада и уводя Никитина наверх, на волю, как Ариадна вывела из лабиринта Ясона. Или как Орфей, который погрузился ради Эвридики в пучину Аида. Но Орфей обернулся, а Людмила (берущая на себя роль Орфея) — нет! После признания Сергея в любви она сразу ступила на эскалатор, а мужчина покорно пошёл следом.

История возрождения движется по нарастающей. Хотя и выглядит подчас как погружение в омут мещанского быта. Катастрофой такую жизнь считает, прежде всего, брат Сергея, который, будучи «чистым мальчиком» (новым Адамом), ещё не знает, что жить — больший подвиг, чем умереть. Поэтому герой Конкина может до поры носить «эдемскую» курточку брата с бабочкой. Повторять путь «ветхого» человека. Ведь этим путём проходит в свой черёд каждый из нас.

Сцена в спальне, во время новоселья, — последняя перед эпилогом. Перед нами не Юноша и Девушка пролога — беспечные, полуобнажённые, но не ведающие своей наготы. «Бесстыдница!» — упрекает Таню мать, а та отзывается: «Что значит честь, когда — любовь?» Сергей и Людмила — Муж и Жена в белых одеждах праведников, меж ними — младенец. Впервые слова о любви звучат без оттенка самовнушения. Сергей обещает посадить деревья и вырастить новый сад (возродить Эдем).

В тех садах цветам цвести,
В тех садах сынам расти,
Набираться силы
Для Отчизны милой…

Вместе с цветом — в комнату врываются дети. Спустя несколько минут за окном нового дома Сергея и Люды вместо панельных коробок откроется земля до горизонта, плывущая, парящая. Или воспарило человеческое жилище и достигло неба, стоящего не над человеком, а вровень с ним? Это небо, которое может назвать Отчизной человек любой расы и национальности. Но ещё больше Сергей удивляется собственной руке. Глядя на растопыренные пальцы, он словно не узнаёт обновлённого тела.

Почему преображение свершается стремительно, а не через десять обещанных лет? Может, потому, что Царствие Небесное подобно хозяину дома, который равно вознаграждает пришедших к нему на службу рано поутру и тех, кто нанимался «около одиннадцатого часа»?

Правда, не исключено, что герои «Романса о влюблённых» не изжили до конца стихию сновидений. Не случайно последней в картине звучит колыбельная о двух снах — «хорошем» и «негодном». Андрей Кончаловский всегда любил «„трудные“ сценарии, в которых открывается некое шестое чувство, четвёртое измерение, та неуловимость… которая не выражается ни в слове, ни в фабуле, ни в поступке». «Романс о влюблённых» может показаться незамысловатой повестью о первой любви, в которой юность не выдержала испытания расставанием. Но четвёртое измерение, сквозящее в каждом кадре картины, говорит само за себя. Рассказав историю потерянного Эдема за десять минут, режиссёр погрузил героев и зрителя в тяжкий мир возвращения к истокам. У которых откроется такой рай, который уже нельзя потерять.

2008

Виталий Пырх

«Расскажи мне, папа, про войну…»

— Ура! Идём к бабушке! — радостно закричал я, как только материнская рука коснулась моей пятки.

— Тише кричи, разбудишь, — одёрнула меня мать.

Однако я её уже не слушал. Раз мои старшие брат и сестра остаются дома, «на хозяйстве», то это означало только одно: впереди меня ждёт настоящее путешествие, путешествие к бабушке.

А теперь представьте себе раннее майское утро на юге Украины, когда солнце ещё спрятано за горизонтом, но в воздухе уже разлита тяжёлая духота. Жарко. От выжженной и пожелтевшей на земле травы никакого спасу (хожу-то я босиком!), и даже бережливые на воду клёны, это я замечаю мимоходом, потихоньку начинают сбрасывать с себя листья — так они экономят влагу.

Отец берёт в руки тяжёлые хозяйственные сумки, полные продуктов, и мы выходим навстречу паровозным гудкам. Слева от нашего дома виднеется большая маневровая станция, где ежесуточно формируются поезда и куда они прибывают с Донбасса, груженные углём, а с Кривого Рога — рудой. И откуда затем уходят во все концы нашей необъятной, как тогда казалось мне, страны длиннющие железнодорожные составы, полные холоднокатаного железного листа, труб, стали…

— «Бережысь потягу»! — громко читаю я предупредительный знак на железнодорожном переезде и гордо смотрю в сторону родителей: разве не видите, что я научился читать?

Они это видят.

— И что это значит? — спрашивает отец.

— А то, чтобы не потянуло в воздушную воронку от быстро проходящего мимо поезда, — уверенно отвечаю я — улица научила.

Отец улыбается, довольный, и мы идём дальше, переступив наконец последние на нашем пути рельсы. Всё, теперь будет только степь, огромная, бескрайняя, густо засаженная пшеницей, подсолнечником, кукурузой…

Отец с матерью идут впереди и вполголоса о чём-то переговариваются, решая попутно семейные проблемы, а я плетусь сзади них, внимательно оглядываясь по сторонам. Дорога лежит через кукурузное поле, а чуть дальше, справа, колосится то ли пшеница, то ли ячмень. Одному мне становится скучно…

Между тем поднимается солнце, и начинает нещадно палить. Сразу, как по команде, исчезают комары, мухи и прочая летающая мошкара, и только жаворонки над головой да изредка вспархивающие буквально из-под наших ног перепёлки вносят какое-то разнообразие в эту унылую и однообразную картину. Жарко, очень хочется пить…

— Терпи, — понимающе дёргает меня за руку мать, и я начинаю терпеть.

Пить-то всё равно у моих родителей ничего нет.

А потом, чтобы не думать о такой дразнящей живительной влаге, я начинаю приставать к отцу:

— Пап, а пап! Расскажи мне про войну!

Отец досадливо отмахивается: не до этого, да и не любит он вспоминать прошлое. И мать моего желания не одобряет: идти до бабушки ещё далеко, а мы только в начале пути.

Тем временем дорога виляет влево, и впереди рядом с нею показывается небольшая дощатая оградка, посреди которой возвышается поросший травой бугорок. На нём стоит, слегка покосившись, наспех сколоченный когда-то металлический обелиск с пятиконечной звездой наверху. Коричневая краска на нём уже облезла, местами обсыпалась, но я и без надписи знаю, что здесь, прямо посреди поля, похоронен Герой Советского Союза, гвардии старший лейтенант Скворцов. Павший вот на этом самом месте смертью храбрых осенью сорок третьего года при освобождении Запорожья.

После окончания войны прошло только пять лет, и могила Героя пока что в порядке, в более-менее нормальном состоянии, но что с ней будет потом, через десятилетия, через век? Кто за ней будет ухаживать посреди кукурузного поля?

Впрочем, это я думаю, конечно, сейчас, когда пишу эти строки, а тогда, ранним майским утром 1950 года, поравнявшись с оградкой, я только ощутил внутри неприятный холодок. Мне всегда становилось не по себе, когда представлял, что там, под землёй, на глубине всего каких-то полутора-двух метров, покоится человеческое тело. Ужас! По мне, так уж лучше было бы, чтобы оно, а не мифическая душа, возносилось бы после смерти человека на небо. Не так было бы страшно…

Но вот могила Героя Советского Союза позади, и прямо перед нами показывается небольшое сельское поселение Скворцовка, названное так в честь

своего освободителя. В нём есть только одна длинная улица, по краям которой растут густые фруктовые деревья, так что жилых домов почти не видно.

Мы с отцом располагаемся в тени большой акации, растущей у дороги, а мать направляется к одному из домов, где, по её словам, живут наши знакомые. И через минуту возвращается обратно, держа в руках большую металлическую кружку, доверху наполненную колодезной водой.

Однако вода хоть и колодезная, но тёплая и неприятная на вкус. Уж лучше было бы её не пить: жажда после этого становится только сильнее…

А солнце печёт всё жарче и жарче, и вот уже я вижу: вдали, у самого горизонта, начинают заманчиво плескаться морские волны. Откуда они тут взялись, в украинской степи?

— Что это?—дёргаю я удивлённо мать.

— Тоже видишь? А это мираж, это нам только кажется…

Позже, из книг, я узнаю, что в жару это самое распространённое явление в степи или в пустыне: солнце выжигает из поверхности земли последние остатки влаги, и она, преломляясь в его лучах, каким-то чудодейственным образом превращается то в речку, то в озеро, а то и в настоящее море. Иди, мол, путник, быстрее, вот и получишь в конце своего пути долгожданное отдохновение…

Но только сколько ты ни пройдёшь, сколько сил ни затратишь, а обманчивое марево близкой воды так и останется маревом.

Это начинаю понимать даже я и снова дёргаю отца за сумку:

— Расскажи мне, папа, про войну!

Но тут самое время рассказать мне про бабушку, к которой мы сейчас идём. Уж и не знаю, как оказалась она в наших краях,—дед-то мой был из потомственных запорожских казаков,—но родилась она на Полтавщине, да и фамилия у неё девичья была соответствующая—Пшеничная. Мария Пшеничная. Деда мы похоронили с год назад, и бабушка сейчас жила вдвоём со своей младшей дочерью, моей крёстной матерью, на хуторе, что в шести километрах от Запорожья.

Была она человеком необыкновенным. Во всяком случае, когда в нашей семье кого-то нужно было вовремя одёрнуть, а то и поставить на место, то сразу же вспоминали бабушку. И звучала такая фраза: «Это с тебя бабушка прёт!..» Или «лезет»—в зависимости от ситуации.

И она действительно «лезла», как в хорошем, так и в любом другом смысле. Попробую объяснить. Во-первых, никто так и не мог точно вспомнить, включая и саму бабушку, сколько детей она родила. То ли двенадцать, то ли, как утверждал мой отец, пятнадцать—этого никто достоверно не знал.

Сам я, например, могу ручаться только за десятерых—и то некоторые из них сгинули кто на войне, а кто в страшный голод сорок седьмого года, буквально косивший на Украине людей.

Бабушка, кстати, и жила в доме моей тётки, своей старшей дочери, умершей от голода вместе со своими двумя малолетними детьми.

А во-вторых, была она с таким характером, что ой-ё-ёй…

Помню, сидят за обеденным столом, приехав к ней в гости, мои дядья (восемь человек сразу!), и сидят вместе со своими жёнами, попарно. А бабушка, разумеется, во главе стола. И стол стоит прямо во дворе, рядом с двумя грушами.

Одна из них, помнится, называлась «дулей» (по-украински «дуля»—это «кукиш»: видимо, такое название эта груша получила от родившего её селекционера из-за огромного размера плодов, иные были весом под килограмм).

А вторая—«лесная красавица», самый распространённый на Украине сорт, к которому легко можно было прикалировать любой другой, так что со временем дерево напоминало прилавок фруктового магазина.

Так что в любом случае десерт был под рукой, только потянись из-за стола.

Однако бабушка строго следила за порядком, и пока не начинала есть сама, никому ложку взять было нельзя. На этом-то и прокалывались городские невестки—жёны моих дядьёв.

— Дывлюсь, сыны сыдять, як соколы, а невистки, дивкы—смиття-смиття…—говорила в таких случаях она («смиття» по-украински—«мусор».—*В.П.*)

И приехавшие погостить из города женщины смиренно втягивали свои головы в плечи и долго сидели, нахнюпившись, не отрывая от стола глаз. Строгая была бабушка…

А как она управлялась по хозяйству!

В те времена, о которых я рассказываю, ей было уже за семьдесят, и передвигалась она по дому и по двору с деревянной клюкой, которая служила ей чем-то вроде костыля. Но не только.

Надо было, например, приготовить к обеду украинский борщ, а в этом бабушке не было равных, так она заблаговременно беспокоилась о необходимых для этого ингредиентах. Брала, например, в правую руку клюку и звала свою дочку—мою тётку:

— Мотька! Ты бачышь, он курыця клишонога, ногу тянэ за собою?

— Та де? Не бачу…

— Ты шо, слипа?

И тут же, даже не целясь, метко бросала свою острую, как копьё, клюку в куриную стаю, и уже через минуту обречённая курица беспомощно трепыхалась в руках Матрёны Ивановны, оглашая двор своим криком.

— И правда… Якыйсь нарост на ноги е…

— А я шо кажу?..

Бабушку не обманешь, и не зря мой отец, часто присутствуя при таких разговорах, назидательно толкал меня в бок: видишь, какая бабушка? Слушайся её, не то и тебя достанет своей клюкой…

И всё-таки я один раз её обманул!

Случилось это той же осенью, когда родители оставили меня у бабушки и тётки на хуторе, а сами вернулись в город, где в это время строился наш дом, и надо было, чтоб я не путался у взрослых под ногами. Я поначалу согласился, но день прошёл, второй—заскучал. Ну что мне одному делать на хуторе? Друзей нет, книжек тоже, тётка на работе, а бабушка всё время хлопочет по хозяйству.

Вот я взмолился:

— Бабушка! Можно, я пойду домой? Мне тут скучно!

Но бабушка дала слово моим родителям, что продержит у себя меня с неделю, и слышать ничего не хотела.

— Ты бачишь, який витер на вулици?—кивала она на окно.—На груше видро качается, витрюга… Хиба можна по такий погоди иты?

И действительно, порывы ветра сильно раскачивали металлическое ведро, висящее на грушевом суку. Однако же я сообразил, что нужно делать, и, выбрав момент, когда бабушка занялась чем-то возле печи, я выскочил во двор, где у меня уже в надёжном месте был припрятан кирпич. И убедившись, что этого никто не видит, быстро опустил его в ведро.

А спустя какое-то время снова заканючил:

— Ну можно мне идти домой? Ветер-то уже стих…

Бабушка по привычке взглянула в окно и, увидев неподвижно висящее на дереве ведро, сильно удивилась:

— И правда, тихо… Ну ладно, собирайся!

Потом, правда, через какое-то время обман мой раскрылся, мать об этом рассказывала, но бабушка почему-то после того случая меня зауважала—видимо, нашла себе родственную душу…

А на самом деле она была очень хорошим и очень добрым человеком. Хотя ни читать, ни писать не умела. Да и жизнь прожила нелёгкую.

Мой отец частенько рассказывал о том, что родился он жарким летом 1914 года—ровно за неделю до начала Первой мировой войны, так круто поменявшей историю нашей страны. Произошло это прямо «на стерне», во время жатвы, и, как рассказывали потом очевидцы, сами же бабы, работавшие рядом, перевязали новорождённому пуповину, а потом слегка обмыли его водой.

Но долго отдыхать после родов бабушке не пришлось. Ещё она лежала в тени, едва отдышавшись, как подошёл дедушка и, внимательно оглядев по сторонам, удовлетворённо хмыкнул.

— Ну что, всё в порядке? Тогда поднимайся, надо снопы вязать…

Мои бабушка и дедушка (сидят). Фото 1914 г.

И бабушка поднялась и пошла вместе со всеми вязать в поле снопы.

А я её запомнил по очень точным и прямо-таки философским изречениям. Ну например: в те сталинские годы наше проводное радио (а другого в сёлах не было, как не было в них ещё и электрического света) чем-то напоминало нынешних северокорейских дикторов, взахлёб рассказывающих об успехах всепобеждающего учения чучхе и об очередных испытаниях атомного оружия на благословенной родине Ким Чен Ына. Тот же пафос, та же уверенность в правоте.

Только слова тогда звучали по радио иные: «колгоспни ланы», «трудодни», «сталинская пятилетка»…

А ещё безостановочно лились из репродукторов бравурная музыка и песни, некоторые из которых я помню до сих пор: «Москва—Пекин! Москва—Пекин! Идут, идут народы…»

Помню и бабушку, которая вольно-невольно, а слушала весь этот бред. Слушать-то слушала, а потом как припечатает:

— Як пиде Кытай, то й свиту край…

Вот и понимай как знаешь.

Помнится, когда я уже подрос, зашёл у нас с ней разговор о моей будущей профессии, и я стал что-то там ей сочинять про то, про это, а она слушала-слушала, а потом вдруг взяла и подытожила разговор:

— Туды дорога широка-широка, а назад вузька-вузька…

Я и осёкся. Нет, явно моей бабушке нужно было заканчивать Бестужевские курсы или, на худой конец, пансион благородных девиц, но куда ей с такой фамилией! Пшеничная — она и есть Пшеничная…

И тем не менее я очень любил бывать у неё в гостях, особенно когда мы приходили с родителями. Это означало, что и назад они возьмут меня с собой, а это такое путешествие. Мы жили тогда на окраине Запорожья в маленькой летней кухоньке, наскоро сооружённой отцом на то время, пока строится дом. И это было непросто — топтаться впятером на шести квадратных метрах пусть и временного, но жилья. Правда, это было всё же лучше, чем жить в землянке — обыкновенной норе, вырытой в земле. А так ещё жили после войны иные мои родственники.

А у бабушки на двоих, как я считал, был самый настоящий дворец.

Ну и что с того, что на полу вместо деревянных, скажем, полов была обыкновенная доливка — так на Украине называется мазанный глиной пол? Зато чистота в доме идеальная — вокруг ни пылинки. А какой простор!

Мне даже бабушкины подслеповатые окна — четыре стёклышка по десять сантиметров каждое — казались тогда настоящим чудом: город-то наш ещё только отстраивался, и многие заводы лежали в руинах.

А у бабушки в доме — настоящая русская печь, в которой всегда есть что-то горячее и вкусненькое, а за нею — лежанка, на которой мы спим и на которой тепло в любые холода.

И божничка в углу — как же без неё? Бабушка была глубоко верующим человеком.

Нет, думал я, обходя её мазанку с соломенной крышей во время своих прогулок по двору: так могут жить только очень богатые и очень обеспеченные люди.

А ведь в доме была ещё и зала (что-то наподобие гостиной, как я теперь понимаю), куда простым смертным в обычное время вообще вход был заказан. Но об этом чуть позже.

Мой отец вернулся с войны, когда мне было уже почти два года, — глубокой осенью 1945 года. Появился он в доме поздно ночью, в темноте, и, как рассказывали потом родители, сильно удивился, увидев на столе у матери «каганець» — так именовали у нас самодельное осветительное устройство, сделанное чаще всего из ружейной гильзы противотанкового патрона.

В него вставляли фитиль, сплющивали молотком и заливали в патрон какой-нибудь жир. Получалось неважное, но всё-таки хоть какое-то освещение.

Горел каганец неровно, страшно коптил, огонь фитиля то увеличивался, то уменьшался, и от этого все предметы в комнате словно оживали и начинали двигаться по стене. Больше всего меня беспокоила в углу икона Николая Чудотворца: от неровного и прыгающего света голова у него дёргалась, «оживала», и казалось, что его большие тёмные глаза пристально и настороженно наблюдают за мной.

— Кто это? — показывал я в его сторону пальцем, и тут же получал по руке бабушкин шлепок: не смей, мол, показывать пальцем на Боженьку…

— А чего он так смотрит? — хныкал я.

— Потому что он Бог, — наставляла меня бабушка, — он следит за тобой. Как ведёшь ты себя, как живёшь. И слушаешься ли ты старших…

Я, разумеется, их слушался, но вечеров этих при свете каганца на хуторе близ Запорожья боялся больше всего. И когда та же бабушка садилась ко мне вечером на кровать, чтобы меня убаюкать и чтобы я поскорее уснул, и начинала своим тихим певучим голосом заводить очередную душераздирающую историю про злых волков и таких несчастных персонажей из украинских сказок, то я прежде всего просил её погасить проклятый «каганець». При его освещении, слушая бабушкины «истории», можно было сойти с ума от страха.

> Ивасыку-Телесыку,
> Прыплынь, прыплынь до бережка…

Ужас!

А теперь пару слов об упомянутой мною уже зале. Это была огромная, как мне тогда казалось, комната, метров восемь, не меньше, квадратных, в углу которой возвышалась застеленная светлым покрывалом кровать. Я что-то не помню, чтобы моя бабушка или тётя Матрёна когда-нибудь лежали на ней — для этих целей им служила кровать на кухне или та же лежанка на русской печи, на которой одновременно могли бы разместиться сразу несколько человек.

Кровать же в зале предназначалась исключительно для гостей.

Именно на ней и ночевали мои мать с отцом, когда родители оставались у бабушки надолго.

Рядом с кроватью стоял комод — тоже вещь любопытная. Во-первых, в нём было три ящичка, набитых постельным бельём и прочими домашними вещами, а во-вторых, наверху возвышалось зеркало, что в послевоенное время встречалось на Украине нечасто. Мне даже казалось иногда, что и сама война была затеяна только для того, чтобы перебить у людей все зеркала.

И что совсем невероятно: закрывалась зала от всего остального мира узкими двухстворчатыми деревянными дверьми — невиданная вещь в моём детстве! Нам разрешалось, лишь приоткрыв их, заглянуть в залу краешком глаза, отчего она становилась для нас ещё более таинственной и значимой.

И уж чтобы окончательно воссоздать образ моей бабушки, упомяну ещё одну особенность её характера: больше всего на свете она любила рыбу.

Причём — любую. И мороженую, и вяленую, и копчёную, и солёную…

Уж и не знаю, откуда появилось у неё это пристрастие, но я, когда вырос, частенько иронизировал по этому поводу. Мол, что там ни говорите, а какой-то швед в нашем роду всё же побывал. Недаром же бабушка с Полтавщины… А что, если какой-то скандинав забрёл вместе со своим Карлом в наши края, да так и остался потом жить в украинских степях с искалеченными ядром ногами? Ну как такого не пожалеть?

Иначе откуда тогда у степняка такая неодолимая тяга к морскому продукту?

Но так это было или нет, сказать сейчас не берусь, тем более что и сам, садясь за обеденный стол, первым делом теперь ищу на нём рыбу.

Бабушкины гены, никуда не денешься…

А между тем мы вышли на тракт, пересекли автомобильную трассу Москва — Симферополь и остановились под раскидистым дубом, чтобы передохнуть. Дышать уже становилось совсем невмоготу, я здорово притомился и уже не отрывался от материнской руки. Солнце палило просто нещадно.

— Ничего, потерпи, — успокаивала меня мать.

Но я и сам понимал, что других вариантов нет. Или я дойду до бабушки вместе со всеми, или же сгину здесь, под дубом, среди степи — от жажды и от палящего солнца.

— Пап, ну расскажи мне про войну, — снова завёл я свою «песню», пытаясь разжалобить отца.

И мать наконец дрогнула.

— И в самом деле, расскажи ему что-нибудь… Передохнём чуток и пойдём дальше. Уже немного осталось…

— Та шо я могу рассказать? Я ему уже всё рассказал.

— А ты ещё раз расскажи…

И отец смилостивился…

Начал он с того, что когда в 1944 году наши войска вошли в Румынию, то воевать там пришлось в основном с немцами — румыны разбежались по домам. А немцы сражались отчаянно, прекрасно понимая, что выхода нет и что с каждым километром их отступления на запад всё ближе становится родной фатерланд.

А потому немецкое командование использовало любую возможность, чтобы задержать и обескровить противника, тем более что гористая местность Южных Карпат благоприятствовала этому.

Тут надо добавить, что перед Отечественной войной мой отец проходил срочную службу на Кавказе — в кавалерийской дивизии НКВД. Хотя ни к каким репрессиям, как это сразу приходит на ум, дивизия отношения не имела. Просто дислоцировалась она неподалёку от государственной границы, где занималась в основном тем, что ловила временами турецких или иранских лазутчиков, засланных на нашу территорию с целью «прощупать» кордоны, и прикрывала от возможного противника горные перевалы. Несла, как сказали бы сейчас, боевое дежурство.

Правда, отец за время службы успел два раза переболеть малярией, заразившись ею в колхидских болотах, но вернулся «на гражданку», в Запорожье, вполне сформировавшейся личностью. И вернулся он, надо сказать, вовремя, потому что его скорый брак с моей будущей матерью уберёг последнюю от необдуманного поступка: работая шихтовщицей (Господи, какая трудная и грязная работа!) на Днепровском алюминиевом заводе, она не нашла ничего лучшего для себя, чем написать в местный партком заявление с просьбой отправить её сражаться в Испанию. О чём я опять-таки в далёком своём детстве имел возможность прочитать в какой-то довоенной газете. Которая, к сожалению, потом бесследно канула в печке…

Так вот, выйдя на определённый рубеж в Карпатах, воинская часть, в которой воевал отец, внезапно была остановлена кинжальным пулемётным огнём немцев. Случилось это в ущелье, по дну которого бежала бурная горная речка, а слева и справа от неё возвышались неприступные, практически отвесные скалы.

Была, правда, небольшая узкая дорога, по которой и двигались наши войска, но в этом месте она делала зигзаг, как бы подставляясь противнику, и всё, что по ней двигалось, тут же попадало под шквальный огонь установленного на высоте немецкого пулемёта.

Пулемёт вроде был один, но его вполне хватало, чтобы обезножить многотысячное войско.

Попробовали было притащить на позицию сорокапятку и снять немецкий расчёт снарядом, но из этого ничего не вышло: немецкий пулемётчик разогнал артиллеристов первой же очередью. Пушку откатили обратно.

— Вот же гад, — сплюнул в сердцах командир полка, прибыв «на передок». — И из миномёта их не достанешь, скала мешает. Крепкую позицию выбрали, сволочи…

А отец мой воевал в полковой разведке.

— А может быть, товарищ полковник, разрешите мне? Я километра полтора назад, кажется, видел козью тропу, ведущую вниз. Видимо, козы по ней спускаются к водопою. Ну а где коза пройдёт…

— А что? — развернулся в его сторону командир полка. — Давай, попробуй… Может, и получится. Всё равно выхода нет. Действуй!

И отец, взяв с собой ещё двоих бойцов из отделения, заторопился обратно по дороге, забитой наступающими войсками. Нашёл он и козью тропу,

о которой говорил: будучи в армии на Кавказе, не раз ходил по таким в тыл к условному противнику. Так почему не выйти теперь к настоящему?

Но здешняя тропа оказалась на редкость непроходимой: не те, видимо, козы водились в Карпатах… То она шла на головокружительной высоте, рядом с отвесными скалами, а то вдруг чуть ли не вертикально ныряла в заросшие кустарником распадки, из которых, казалось, вообще не было никакого выхода.

Но солдаты уверенно продвигались за отцом, и наконец группа вышла в тыл пулемётного расчёта. К которому, кстати, тоже вела, но уже не тропа, а хорошо расчищенная тропинка, в конце которой виднелась небольшая, выдолбленная в скале площадка с двумя, как оказалось, пулемётами.

Один пулемёт стрелял, а расчёт второго в это время пополнял боеприпасы: пустые коробки из-под патронов валялись под ногами.

Подав условный знак, отец, держа в руках ППШ, выскочил из-за ближайшего куста и хриплым от напряжения голосом закричал:

— Хенде хох! (Руки вверх!)

— И вот тут,— это я уже возвращаюсь к его непосредственному рассказу,— я вижу такую картину: те, что набивали пулемётные магазины свежими патронами, потянулись было к лежавшим рядом автоматам и тут же были расстреляны моими хлопцами. А тот, что стрелял по нашим, приподнимается и разворачивается на меня, с пулемётом в руках. Я сразу же даю очередь из автомата, не целясь. А расстояние до него метров десять, не больше. Автоматная очередь попадает немцу в горло, разрывает его, и несколько секунд он стоит передо мной без головы, а из туловища, как из шланга, фонтанирует кровь. Жуткое зрелище, всю жизнь теперь буду вспоминать это…

Потом, помолчав, отец добавил:

— Но что интересно: все четверо немцев, как мы потом увидели, были прикованы к скале цепями. Чтобы не могли убежать, оставить позицию. Тут же они ели, тут же справляли нужду… А наших солдат даже под Сталинградом в цепи не заковывали…

Отдохнув, мы идём дальше, и от рассказанного отцом жара поначалу не кажется такой сильной. Да и идти нам уже осталось немного. А там появляется на горизонте хутор, в котором живёт моя бабушка. Да вот я уже её и вижу: бабушка стоит на самом краю огорода, рядом с вишнями, и, заметив нас, приветливо машет рукой.

До неё ещё надо дойти, но меня уже не остановить, и я начинаю бежать, чтобы первым сообщить ей радостную весть: мы пришли в гости! Бежать по тропе через поле, густо усеянное подсолнухами, нелегко, головки их то и дело задевают меня, бьют по лицу, а кое-где они уже вымахали выше моего роста. И тогда бабушка скрывается из виду, а я останавливаюсь и снова поджидаю своих родителей.

Но вот наконец мы выходим на ровное место и сразу же слышим знакомый бабушкин голос:

— Рыба е? Рыбу принесли?

— Та есть, мамо, есть,— откликается мать.— И свижа, и копчёна, и солёна…

Лицо бабушки светлеет, она приветливо улыбается. Нет, явно какой-то швед затесался в нашем роду…

Умывшись и перекусив с дороги, я захожу в дом, и тут происходит невероятное, то, о чём раньше и подумать было нельзя: умиротворённая нашими гостинцами бабушка распахивает передо мной двери в залу и говорит:

— Входи, раздевайся и ложись… Отдыхай пока.

«Я днём не сплю!» — хотел было я возразить, но тут же передумал. Надо ложиться! В какие-то веки потом придётся полежать на такой шикарной кровати?

Бабушка взбивает пуховую подушку, откидывает край белоснежной простыни, и я попадаю в земной рай, о котором буду читать потом только в книгах. В комнате пахнет мятой, полынью, чабрецом — они у бабушки разложены на подоконниках, а запах богородской травы, из которой она заваривает чай, я знаю лучше запаха материнского молока.

Впереди светлая Троица, и свежие ветки деревьев развешаны по всему дому. От этого воздух — а в комнатах удивительно прохладно, хотя добравшееся наконец до зенита солнце плавит во дворе землю,— насыщен такими запахами, что кружится голова.

Ничего, ловлю я, засыпая, свою последнюю мысль: завтра мы будем идти обратно, будем возвращаться домой. А это почти целых два часа пути — два часа общения с матерью и с отцом! Которым в городе нет до меня дела, которым всегда некогда, которые всё время работают и так редко со мной говорят.

Ничего, думаю я, засыпая: завтра, на обратном пути, я обязательно попрошу отца рассказать мне про войну.

Вахид Итаев

Звонкие цепи Солнца

Вахид Итаев родился в высокогорном ауле Итум-Кале на берегу реки Чанты-Аргун. Его отец погиб под Сталинградом, тем не менее семья была депортирована в Семипалатинскую область, где прошло трудное детство будущего писателя. Взрослея, он перепробовал множество дорог — освоил разные профессии, служил на Черноморском флоте, окончил Литературный институт им. А. М. Горького, после учёбы в котором вернулся в Грозный в 1975 году и до 1982 года работал в Чечено-Ингушском книжном издательстве главным редактором отдела русской литературы. В 1982 году Вахид Итаев с семьёй уехал в Ташкент, где вскоре стал членом Союза писателей СССР и до 1991 года был ответственным секретарём Союза писателей Узбекистана. В 91-м, вернувшись в Грозный, Вахид Итаев сразу же возглавил оппозицию интеллигенции Дудаеву.

31 марта 1992 года был объявлен Дудаевым врагом народа, 4 апреля друзья вывезли Итаева и его семью в Кисловодск, затем в Москву. До 2013 года писатель жил и трудился в Москве, летом — переехал в Грозный. 10 апреля 2016-го Вахид Итаев скоропостижно скончался от острого инфаркта миокарда. Поэтические сборники Итаева — «Тишина», «Мгновения», «Тайна звуков», «Боги любят поэзию». За годы войны опубликовал много статей в газете «Правда», в Москве была издана пьеса на тему чеченской войны «Ночь перед смертью». А все свои рассказы он написал за последние три года жизни в Чечне.

• • •

Солнце золотое — Бога колесница,
Протечёт мой срок, лягу я во тьму.
Буду я лежать средь высоких гор.
Надо мной ходи тихими шагами.
Запрещай громам громкие литавры.
Ветру запрещай плач вдовы печальной.
Буду думу думать я в сырой земле.
Размышлять я буду о земной судьбе.
Солнце золотое — Бога колесница,
Надо мной ходи тихими шагами.

• • •

Всё то же будет звёздное небо.
Закаты цвет свой не изменят.
И вольные волны океана
В игре с дельфиньей стаей
Резвиться будут, как всегда.
Но вдруг —
Для новых вещих слов и песен
Восстанут новые певцы.
И песни их изменят мир.
Тогда… тогда Творец миров
Светло вздохнёт и скажет:
— Пора, пора ступить на Землю.

• • •

Какая тайна —
Этот тихий летний вечер.
В ладонях трепетных и нежных
Вечерняя заря
Уносит солнца шар —
В другую ночь.

• • •

Но, быть может, человек —
Осколок погибшего Бога,
Занесённый на эту планету
Потоком вселенских бурь.

• • •

Не храни меня, судьба,
Ни от явного врага,
Ни от скрытого злодея.
Но от честного глупца
Храни меня до гроба —
И после гроба береги.

• • •

Не годы и не век
Объемлет человек.
Его душа — эпохи.
А эти крохи —
Года, года, года,
Уходят, как вода.

• • •

Всегда, всегда,
В любой обиде и в беде любой,
Как под лучами солнца белый конь,
Стоял передо мной
Нетленный образ родины моей—
Седой Кавказ мне слабость не прощал.

• • •

Романтики, потомки Дон Кихота,
Вас уже не помнят, вы забыты.
Правит миром золотой телец.
О конец языческого века!
Как хохочет нынче Сатана.
Как довольны все холодные теперь.
Романтики, потомки Дон Кихота,
Ну и что, что вас забыли люди,
Есть же Бог на синих небесах,
Вы ценнее звёзд на его весах.

• • •

И ты, сердце,
Мой старый дятел,
Уснёшь когда-нибудь.
Только ты не верь моим словам.
И как прежде, бодро бей мне в грудь,
Веря, что бессмертны ты и я.

• • •

Когда понесут
Мой прах во тьму,
За звонкие цепи вечно юного Солнца
Зацепится жадно душа—
И останется жить в этом мире
Паутинкой в сединах Кавказа.

• • •

Не ты, не ты
Построил звёздное небо.
Не ты, не ты
С востока катишь Солнце.
Не ты, не ты
Засеял землю жизнью.
Так будь же скромным сыном бытия
И тайны его трогай осторожно.

• • •

Говорят,
В спорах истина рождается.
Да, если спорят мудрецы.
И замечено с начала мира,
Когда затеют спор глупцы,
Рождаются обиды.

Аднану Шахбулатову

В эту жуткую тёмную ночь,
Сидя в башне в высоких горах,
Я под жалобы ветра бездомного
Не ищу никаких нас морочащих тайн.
Я хочу быть счастливым софистом:
Если было начало, значит, будет конец,
Если будет конец, значит, было начало.
Кто-то вышел из мира, и зашли сюда мы,
Мы уйдём из-под солнца, кто-то следом войдёт.
В эту жуткую тёмную ночь,
Сидя в башне в высоких горах,
Не ищу никаких нас морочащих тайн.
Я хочу быть счастливым софистом.
Если было начало, значит, будет конец,
Если будет конец, значит, было начало.

• • •

Вот солнце—терпеливый ослик вечности,
Опять с востока—который век уже!—
Стог света тащит на вершину неба.

Памяти Кайсына Кулиева

Я слышал вчера,
Как вскрикнули камни в высоких горах.
И чёрная весть наутро пришла:
Порвалась на арфе Седого Кавказа
Поэта Кайсына струна.
О, музы, усильте печальные звуки.
Оставьте все прежние песни
И пойте одну,
Любимую песню Кайсына—
Про стройные горы и звонкий Кавказ.

• • •

Я красные гвоздики ей принёс.
Плечом пожала и букет вернула.
Фиалки полевые ей принёс.
Насмешливо поджала губы
И в дом ушла, как в бездну отчужденья.

Я в клочья разорвал отчаянье своё.
Дождался над горами неистовой грозы,
Мятежником слепым ворвался в небо,
Срубил сухую ветку молнии,
Принёс и бросил ей в окно.

Мгновенье не успело пробежать—
Щеколда щёлкнула в калитке,
И я услышал торопливый шёпот:
— Входи, мой витязь,
Долгожданный мой!..

Кямран Назирли

Когда опадают листья

Посмертные воспоминания

Когда я умирала, мне было десять лет; я умерла потому, что уже умела отличать белое от чёрного, горячее от холодного. Интересно, все ли дети, прожившие на свете десять лет, думают, как я? Если да, то почему они не умирают?

Все цвета для меня были одинаково красивыми, добрыми. Я едва привыкла к этим цветам. Для меня не существовало ничего плохого; но в глубине души я чего-то боялась, остерегалась. Позднее мне стало известно, что меня пугает моя болезнь. От болезни человек умирает. Как-то раз в детдоме нянька проговорилась при мне: «У этой девочки талассемия, она умрёт». Она думала, что я сплю. Но я не спала, просто лежала с закрытыми глазами, а её беседу с заведующей я услышала собственными ушами. Я не знала, что такое «талассемия». Но слово «умрёт» насторожило меня; я поняла, что это нечто нехорошее. С тех пор я начала жить с мыслью об этой дурной вести, у меня в голове смешались все мысли. Я капризничала, меня не могли утешить. Денно-нощно я томилась в ожидании…

Свою мать я не помнила. Отец всегда говорил, что она в больнице — вот выздоровеет и вернётся. Я верила отцу, я ждала его до самой смерти; тоска по нему разъедала меня изнутри, уничтожала меня. Я думала, что будь он рядом со мной, забери он меня отсюда, я поправилась бы и не думала бы о смерти. Ведь для меня мой отец был самым сильным человеком на свете…

В детдом я прибыла на руках у отца. Его туманный образ я не могла забыть целых пять лет. Я начала осознавать всё в раннем, очень раннем возрасте, начала раздумывать обо всём, и эти раздумья подарили мне тревожную, беспокойную жизнь. Оказалось, что смерть моя ускорилась именно из-за моих раздумий. Что ещё можно было ожидать от ребёнка, который начинает раздумывать с пяти лет? Какую участь можно ждать у ребёнка, брошенного в детдом с пяти лет?

Я, хоть и туманно, но всё же помню беседу отца в кабинете заведующей.

— Мать у неё умерла, а я не могу заботиться о ней… Прошу вас… Умоляю… Девочка больна, а у меня нет возможности… — говорил мой отец.

— А документы у неё есть? — спросила заведующая, смерив меня взглядом.

— Да, всё готово… все документы вот здесь… если ещё что-то понадобится…

— Доченька, как тебя зовут? — спросила у меня заведующая.

— …

Я уставилась на отца. Боялась. Но и сама не знала, чего боялась. Молчала. Но не знала, почему молчала. Отец усадил меня рядом с собой и начал гладить мои волосы:

— Она спрашивает твоё имя, доченька… — это было последнее обращение моего отца ко мне, которое я помню. Больше ничего, связанное с отцом, я вспомнить не могу.

— Азерин…

— Умница! А сколько тебе лет? — спросила заведующая серьёзным голосом.

— Пять… В следующем году исполнится шесть… — сказала я.

— Ну, дай Бог!

В тот же день отец передал меня заведующей и ушёл. Странно, что я не заплакала. Не стала умолять его не уходить. Я с ним даже не попрощалась. Кажется, это очень удивило заведующую. Она отвела меня в комнату, где было много детей. Войдя в комнату, она обратилась к такой же круглолицей, как и сама, женщине:

— Вот, Бахар, забирай, новенькая… У тебя пополнение!

Тётя Бахар улыбнулась и, взяв меня за руку, обратилась к детям:

— Посмотрите-ка, дети, какая красивая девочка к нам пришла! А как тебя зовут, малышка?

— Азерин…

— Ну что ж, Азерин, познакомься с новыми друзьями — вот это Натига, Флора, Нихад, Джамал, Люба, Фирдовси, Андрей, Гатиба, Юля… Знаешь, как они красиво рисуют? А ты умеешь рисовать?

— Нет…

— Тогда мы тебя научим… Правда ведь, детки?

— …

Дети молчали. Все они с изумлением уставились на меня. Интересно, почему они разглядывали меня с таким интересом? Неужели я была для них настолько интересной?

Тётя Бахар указала на кровать, расположенную у окна:

— Вот, ты будешь спать здесь… У окна…

Ровно пять лет я спала на этой кровати у окна; ровно пять лет я глядела через это окно во двор, на калитку, оттуда на улицу, на стоящий там газетный киоск. Отец спрашивал про входную дверь детдома у миловидного смуглого дяди, работающего в этом киоске; хозяин киоска оглядел меня и отца добрыми глазами и указал рукой на дверь. Затем проводил нас до самой калитки со словами «Да поможет вам Всевышний!» В нём было что-то схожее с моим отцом. Я думала, что этот дядя, похожий на моего отца, каждое утро, открывая свой киоск, думает обо мне. Знает моего отца, знает, где он сейчас; каждый раз, когда он поднимал окно киоска и раскладывал газеты, я думала, что сейчас он помашет мне рукой, улыбнётся, затем позовёт меня к себе и, гладя меня по голове, сообщит мне радостную весть: «Доченька, за тобой приехал отец…»

Всё это были мои выдумки, о которых я шептала самой себе. Этот дядя, работающий в газетном киоске, не видел меня, не говорил мне ласковых слов. Но для меня почти каждое утро начиналось с того, что я стояла возле окна и смотрела, как этот дядя, похожий на моего отца, аккуратно раскладывает перед киоском свежие газеты и журналы. Мне казалось, что сейчас из-за угла появится мой отец — он подойдёт к этому газетчику, спросит у него о чём-то, а тот, указав рукой на моё окно, покажет ему меня. И отныне всё, всё будет хорошо… А отец не появлялся.

В этом детдоме меня могла хоть как-то утешить только тётя Бахар. Однажды она сказала мне: «Среди здешних детей ты самая тихая, самая умная. Послушная, не избалованная. Мы очень любим тебя. Вовремя ешь, вовремя спишь, вовремя просыпаешься и всё время сидишь возле окна и смотришь на улицу. Хоть бы все дети были такими…»

В эти моменты я думала о том, что жду чего-то другого. Это может быть нечто одушевлённое или неодушевлённое. Но что же это было? В моей душе всё время не хватало какого-то чувства, какого-то ощущения. Тётя Бахар говорила, что она мне одновременно и мать, и отец. Да, я не могла вспомнить свою маму — все мои чувства к ней умерли вместе с ней. Но отца же я помнила?! А почему же тогда эти воспоминания не превращались в любовь? Не знаю.

Когда я вспоминала туманное лицо отца, непонятные чувства, переполняющие мою душу, хотели то умереть, то воскреситься; а внутри меня горели другие, смешанные, непонятные чувства, и каждое утро желание увидеть отца волей-неволей приводило меня к окну детдома. Это был мой пункт ожидания; это окно было моей надеждой, моим пристанищем. Я очень любила это окно. Оно дарило мне одновременно тепло, прохладу и утешение. Через него я смотрела на улицу, любовалась зелёными елями, слушала пение птиц, глядела на проезжающие машины, на газетный киоск дяди, похожего на моего отца; там были разные люди, разные машины, разные мамы, папы… Увидев их через это окно, я радовалась. Мне хотелось когда-нибудь очутиться между ними вместе со своим отцом. Но главным для меня был этот газетный киоск; увидев его открытым, я радовалась, думая, что, заметив этот киоск, отец найдёт дорогу, придёт и заберёт меня…

Как жаль, что всё это осталось позади — все мои чувства, все мои желания умерли вместе со мной. Правда, я не знала, когда умру, да и знать не могла. Я обессиленно лежала на кровати возле окна. Время от времени тётя Бахар подходила, клала руку мне на лоб и, глядя в мои полуживые глаза, шептала что-то про себя и отходила. Я помню только то, что два раза в году мне делали укол и переливали кровь. За последнее время делали всё больше уколов, давали всё больше лекарства. Каждый раз, увидев врачей в белых халатах, я думала: до каких же пор эти врачи будут колоть меня? Моё сердце трепетно билось… Ведь от боли и из-за лекарств все мои вены, все сосуды были окончательно разрыхлены…

…До смерти оставалось ещё восемь часов. Конец света для меня должен был наступить ни свет ни заря — в пять часов утра. Ещё вечером тётя Бахар пришла навестить меня вместе с несколькими дядями и тётями в белах халатах. По привычке погладив меня по голове, она спросила:

— Ну как ты, Азерин?

— …

У меня не было сил ответить ей. Тётя Бахар обратилась к пришедшим с ней тётям и дядям в белых халатах:

— Детям нужна кровь! Кровь им нужна больше, чем еда, слышите?

— Крови нет!

— А что же мне делать? Куда пойти, кого просить?

— Доноров стало меньше… Кровь не сдают…

— Так что же теперь делать этим бедняжкам, умереть?

— Придумаем что-нибудь… Ну что мы можем сделать? Во всём мире бесчисленное количество анемичных больных — на всех крови не напасёшься… Ждите… Может, завтра будет?

Я поняла, что произойдёт что-то страшное и ужасное, и начала ворошиться в постели. Оказывается, что все дети, живущие в этом доме, так же, как и я, больны малокровием. Кровь — вещь хорошая, и если её перелить через вену в тело человека, то люди не умрут. Вот сколько детей ждут крови — Флора, Люба, Айтадж, Гатиба, Джейла, Фирдовси, Нихад, Андрей… Уже пять лет как этим детям, так же, как и мне, переливают кровь. А сейчас эти дяди говорят, что крови в мире нет, кровь иссякла. Ну ладно, допустим, что крови в мире нет… А в людях? В людях тоже крови нет? За эти пять лет

нас посетили множество певцов, которые привозили нам тёплую одежду, различные игрушки, вкусные сладости. Они пели с нами, веселились и уезжали. Такие концерты проводились часто. Но сейчас мне концерт ни к чему. Мне нужна кровь, красная кровь. Где же теперь эти певцы? Почему они не дарят нам кровь?

Тётя Бахар взволнованно отвела гостей в другую комнату. Дойдя до дверей, она обернулась и, взглянув на меня в последний раз, обратилась к одному из мужчин в белом халате:
— Ей очень плохо… Распухли печень и селезёнка… Ребёнок умирает… Говорят, и мать её умерла так же… Отцу мы сообщили…

В тот день я до утра ждала отца. Я так верила, что он приедет… Я думала, что он обязательно приедет, привезёт мне кровь, увезёт меня с собой, и я поправлюсь…

К утру я почувствовала в себе прилив сил — встала и открыла окно. И увидела, как огромный подъёмный кран зацепил этот газетный киоск, которым я любовалась каждое утро, и поставил в кузов грузовика. Вскоре были снесены и маленькие магазины, расположенные вокруг этого киоска. Все они бесследно исчезли. Я прослезилась. А как же теперь отец найдёт этот дом? У кого же он теперь спросит дорогу?..

…Стоял полумрак. Слабый, утренний ветер медленно раскачивал во дворе зелёные ели. Калитка была закрыта; а по ту сторону калитки, в пылище, стоял газетчик, который вместе с другими людьми о чём-то громко спорил с хозяевами грузовика. Утреннюю тишину нарушали крики этих людей и гул заведённых моторов. Вскоре ветер усилился и развеял эти гулкие, смешанные голоса. А на деревьях уже чирикали соловьи и канарейки. Значит, у них была кровь, что они могли так громко чирикать. Какие же они счастливые, эти птицы! Но это было уже последним пением, которое я слышала…

Когда опадают листья…

Потолок протекал. Капли воды падали в ведро, стоящее посреди комнаты, а снаружи в окно стучался дождь. Неожиданно отключилось электричество; тишину в тёмной комнате нарушали не только монотонный стук капель и шорох дождя, но и сказка, которую с интересом слушал внук, прижавшись к деду.

Едва начался дождь, как потолок протёк. Расстроенная хозяйка, бурча себе под нос, принесла ведро и поставила посреди комнаты, а затем, надев зелёное платье, взяла чёрный зонт и обратилась к мужу:
— Уложи ребёнка,— указала она на полусонного внука и, уставившись усталыми глазами на дверь, добавила:— Пойду спрошу, дома ли сын Анаханум. Пусть забирается на крышу, посмотрит, где опять просело…

Дед неохотно лёг в постель. Когда вернулась жена, несолоно хлебавши, он уже лежал под одеялом вместе с внуком. Из кухни доносился голос жены — она сердито общалась с сыном по телефону.
— Опять оставили ребёнка и ушли! Нашли время, по свадьбам гулять! Света нет, потолок протекает… Быстро возвращайтесь…— жаловалась она.

Дед и внук на мгновенье замолчали. Неожиданно внук обнял деда и начал умолять:
— Дедушка, ну пожалуйста, расскажи сказку… новую сказку! Не ту, что в книжке!

А деду было не до сказки — в последнее время у него очень быстро иссякало терпение. Уставал, падал духом, был молчаливым. Когда приходил внук, он рассказывал ему старые сказки, которые еле вспоминал. Такова участь пенсионера — ни на что желания нет, хочется весь день сидеть в одиночестве, жить прошлым. Но прошлым, а не воспоминаниями…

«Сколько можно рассказывать сказку про Красную Шапочку или Маликмамеда?» И стоило каждый раз чуток исказить сюжет, как внук возникал как дамоклов меч: «Не так, ты неправильно рассказываешь! Ведь вчера рассказывал совсем по-другому!» Ну, давай теперь, попробуй вспомнить, что ты рассказывал вчера…

Дед задумался. Внезапно он оживился, подумал: а что, если придумать что-нибудь новое, рассказать ребёнку что-то лирическое? Ведь он же сам напросился. Мозг включился с грохотом, как мотор старого холодильника, и он начал рассказ:
— Я увидел её, когда опадали листья. Мы взглянули друг на друга, наши взгляды встретились, наши лица ласкало холодное дуновение прибрежного ветра. Мы молча гуляли вдвоём, останавливались, глядели друг на друга и вновь продолжали путь. Наши взгляды то целовались, то прятались под ресницами, то горели ярким пламенем. Мы шли, не уставая, и под ногами шелестели опавшие жёлтые листья. Осень с любовью ласкала нашу весеннюю жизнь. Внезапно она спросила:
— Я люблю дождь… А ты?
— А я люблю солнце,— ответил я.
— Дедушка, а кто она была?— поспешно спросил внук.
— Твоя бабушка!
— Бабушка?— ребёнок принялся слушать с ещё бóльшим интересом.
— …Прогремел гром, начался ливень. Мы оба промокли до ниточки — одежда была вся мокрая, но поблизости нигде не нашлось места, где мы могли бы скрыться от дождя, но в глубине души это радовало нас. Будь где-то убежище, мы бы спрятались там, чтобы не мокнуть. Но мы шагали под дождём, веря, что он вот-вот прекратится и выглянет солнце. Поэтому мы продолжали путь, глядели друг на друга, улыбались, шли дальше, медленно, радостно, любя… Мимо прошла

пожилая женщина с зонтом и, взглянув на нас, недовольно буркнула:
— Вот сумасшедшие!

Да, она была права — мы сошли с ума! Мы свели с ума друг друга!

Ребёнок не сдержался — видимо, это слово задело его.
— Это она сама сумасшедшая! — громко всхлипнул он.

Дед промолчал. Молчание было долгим. Он смотрел на протекающий потолок.
— А что потом? — внук локтем ткнул ему в бок. — Что было потом? Где вы просохли?
— Нигде!
— Почему?
— Потому что солнце так и не выглянуло. Мы всё ещё не просохли. Не видишь, у нас вся одежда мокрая?

Ребёнок задумался. Потрогал одежду деда, затем встал, открыл платяной шкаф, прощупал зелёное платье бабушки. Сухо. Вернулся в постель, залез под одеяло и, повернувшись к деду спиной, буркнул в манере старых мудрецов:
— Тебе не надоело рассказывать всякие сказки?

Оба промолчали. Дед смотрел на трясущуюся тень лампы в кухне. А внук сладко спал.

Никита Брагин

Полночное паломничество

Новокузнецк: «Союз писателей», 2014. — 116 с.

В работах Никиты Брагина, наряду со сложными понятиями и словами, нет никакой зауми, надуманности. Человек пишет о том, что он сам знает, видит и чувствует. Некоторая сложность обусловлена знаниями, которые есть далеко не у всех. Здесь ещё раз нужно «подтягивать себя», навёрстывать упущенное, перечитывать забытое. И делается это легко потому, что чтение увлекает, и не хочется прерывать его из-за собственного несовершенства.

Очень интересны «экскурсы» автора. Причём не только в пространстве, но и во времени. Отличное знание истории сочетается с её лирическим восприятием, особым пониманием происходившего и личными переживаниями. Личными, но понятными любому, близкими, почти собственными. От страшных, хранящихся на генном уровне, до слышанных от родителей, дедушек и бабушек, запомнившихся из книг и кинофильмов.

Лев Либолев

Сумерки

Смеркается день, расплетается нить,
и хочется плакать, и хочется пить
молящую музыку гласных, —
слетающий, тающий, солнечный сок, —
так малый росток раздвигает песок
неслышно, смиренно и ясно.

И вешней водицей весенний покой
кропить, и грустить над ушедшей строкой,
растаявшей снегом, уплывшей рекой
на север, где небо жемчужно…

Прости и забудь задохнувшийся крик,
шагни и оставь за спиной материк, —
ни капельки больше не нужно.

Сны

И снова сны — стихи из подсознания
ручьями звуков льются наизусть…
Огромные, но призрачные здания,
ночная неподатливая грусть.

Там пахнет распускающимся тополем
и прошлогодней высохшей травой,
и ты летаешь, словно ветер во поле,
и облака над спящею Москвой.

Летишь во тьме, не ощущая тяжести,
летишь, и свет боишься уронить,
и ты свободен — или только кажется,
что лопнула натянутая нить?

Константин Скворцов

Все крылатые—братья

Казарка

На небе лебеди, иль мне мерещится?
Куда летят они? Куда—Бог весть…
А здесь, на озере, казарка плещется—
Спасибо Господу за то, что есть.

И на ветвях берёз, моя хорошая,
Жемчужных бусинок не перечесть.
А на руке моей росы горошина—
Спасибо Господу за то, что есть.

Пусть о бессмертии хлопочут гении.
Влюблённым в вечности хвала и честь.
А нам с тобой дано Любви мгновение—
Спасибо Господу за то, что есть.

На небе лебеди, иль мне мерещится?
Куда летят они? Куда—Бог весть…
А здесь, на озере, казарка плещется—
Спасибо Господу за то, что есть.

Серафим

Летит река по зарослям ольхи,
Промозглыми кувшинками бренча.
В гнезде едва притихшего ключа
Дерутся листья, словно петухи.
Развеяли мы юность на ветру
Безверия… Но в памяти храним,
Как по ночам к таёжному костру
Слетал с небес неслышный серафим.

Он наклонялся бережно ко мне,
Горящим углем очищал уста.
Слова любви, как ягоды с куста,
Перекликались в звёздной тишине.
И, вековые ельники круша,
Я звонче пел, чем пели топоры…
Я потерял тебя, и с той поры,
Как филин днём, молчит моя душа.

Воистину не знаем, что творим,
Но всё на этом свете неспроста.
Забыл меня мой вещий серафим,
И потому молчат мои уста.
Не шапка Мономаха тяжела,
А груз самодержавной немоты.
Мне знать бы только то, что ты жива.
Мне знать бы только, что любима ты.

* * *

Ко мне из детского кино
Ворвался чистый снег в окно
И замер друзою хрустальной.
А вдруг из жизни, из другой,
Отец, что вечно пах тайгой,
Явился из поездки дальней.

…Я на плечах в страну Емель
Плыву за тридевять земель
По морю синему в лукошке.
Казалось, что я сам гребу,
Но на его горячем лбу
Мои намокшие ладошки.

И, чтобы мне мужчиной стать,
Я буду камни собирать,
Душа отца в них обитает.
А этот снег, что как в кино,
Влетел сейчас в моё окно,
Как всё не вечное, растает.

* * *

Сегодня солнце не взошло—
Нелепый случай.
Мне объясняют, что оно
Зашло за тучи.

Подумаешь, что солнца нет,
Никто ж не ропщет.
Слепил глаза им белый свет.
Живи на ощупь!

Вокруг меня теней конвой.
О солнце, где ты?
Я ударяюсь головой
О все предметы.

Кошмарный сон!..
Сто тысяч бед,
Сто куролесиц!

Открыл глаза, а солнца нет…
Не будет—месяц!
Лишь угли, словно снегири,
В камине шаят.
Я разорвал календари.
И бросил в пламя.

● ● ●

В глубинке русской посреди разрухи
У нищих окон, как у царских врат,
Сидели на завалинке старухи
И тихо пели, глядя на закат.

Ни радио хрипящего, ни света,
Ни вечных кур, ныряющих в пыли…
Остались только песни им… И это
Взамен молочных речек и земли.

В чужие дали уходило солнце.
В чужие клети сыпалось зерно…
На мой вопрос: и как же вам живётся?—
Они глаза подняли озорно.

Святая Русь, не знавшая покоя,
Омытая слезами, как дождём,
Где б я ещё услышать мог такое?—
Чего не доедим, то допоём!

То допоём!.. Так как же жил я, если
Мне знать доселе было не дано,
Что голова всему не хлеб, а песни,
Которые забыли мы давно?!

В глубинке русской над деревней робко
Вставало солнце алой пеленой…
Старушки пели песню неторопко,
И медленно вращался шар земной.

Дрозд

В неухоженном парке весеннем,
Что похож на забытый погост,
В прошлогодней траве, словно в сене,
По-мужицки хозяйничал дрозд.

Нас увидев, он замер… Едва ли
Мы ответить ему бы могли,
Почему у него отнимали
Сокровенный кусочек земли.

—Не смотри туда, милый… Не надо,—
Ты мне шепчешь,—ему не до нас…
Но нет сил оторваться от взгляда,
От его настороженных глаз!

Говорят, все крылатые—братья,
Но не знаю, поймёт ли наш дрозд,
Что мы выпали наземь, в объятья,
Из надёжно построенных гнёзд.

Нам летать, оказавшись на воле,
Нам светить и гореть, как звезда.
И, сгорая, не чувствовать боли
От колючего взгляда дрозда.

И другой я судьбы не приемлю…
Но, чтоб всё ж не случилось беды,
Мы туманом окутаем землю,
Где в траве копошатся дрозды!

Матушка пела

Снова глаза закрываю несмело,
Вспомнить пытаясь детство своё…
Помнится только: матушка пела…
Песней наполнено сердце моё.

Зимами злыми над прорубью белой,
В стылой воде полоская бельё,
Вся коченея, матушка пела.
Песней наполнено детство моё.

Больше она ничего не имела.
Только свой голос. Свой—ножевой.
Не было хлеба. Матушка пела,
И оттого я остался живой.

Рядом война полыхала и тлела.
Сытым ходило одно вороньё.
Вдовы рыдали. Матушка пела.
Песней наполнено детство моё.

Минуло время, память немела.
Но без войны я не прожил и дня.
Все эти годы матушка пела.
Это, должно, сохранило меня.

Мы отнесли её лёгкое тело
На вековечное поле-жильё.
Всё мне казалось: матушка пела.
Песней наполнено сердце моё.

● ● ●

Я в чудеса давно не верую,
Хоть верит им и стар, и мал.
Чтоб обратилась ты царевною,
Лягушку я не целовал.

А, упираясь в небо посохом,
Что отражалось на воде,
Не зная брода, яко посуху,
Я шёл, любимая, к тебе.

Когда б, как все, глазами хлопая,
Я шёл дорогой столбовой,
А не заказанными тропами,
Мы разминулись бы с тобой.

И, понимая всё, как водится,
Туда—нельзя, сюда—не смей,
В том омуте, где черти водятся,
С тобой мы ловим голавлей!

Что параллельные не сходятся—
Сказал какой-то хитрый лис,
Но по молитвам Богородицы
Они у нас пересеклись!

Сергей Арутюнов

Шатоха

АРХИВНАЯ ПАПКА
ИЗ ЗДАНИЯ НЕ ВЫНОСИТЬ
УПРАВЛЕНИЕ «РТ» / СЛУЖБА «А»
СТЕНОГРАММА

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ БЕСЕДА
№ 34/6 от 16.08.1985

СТОРОНЫ консультативной беседы:
— заместитель начальника Управления генерал-майор внутренней службы К. С. Евдокимов — вопросы;
— заместитель руководителя Службы «А» полковник внутренней службы С. В. Абросимов — вопросы;
— консультант Службы по надзору за сферой восточных единоборств на территории СССР и за рубежом майор Д. А. Славянцев — ответы.

ВОПРОС. Как вы оцениваете данные ориентировки после ознакомления?
ОТВЕТ. Агент представляет собой максимальную угрозу. Прибытие агента в СССР может означать или стратегическую диверсию, или ликвидационную операцию в отношении первых лиц.
— Дайте характеристику агента.
— Высшая квалификация. В поле зрения резидента ЦРУ в Таиланде попал в конце семидесятых годов, завербован под личным кодом Си-Эйч, используется редко и только для выполнения операций высшего уровня секретности.
— Процент неудач?
— Ноль. Подчёркиваю: все операции по сложности исполнения уникальны.
— Арсенал агента?
— Владение широким кругом диверсионно-террористических практик. Особую опасность представляет авторский стиль борьбы, полученный на основе смешения избранных индонезийских и малазийских стилей. Боец стиля способен гарантированно умертвить противника на расстоянии десяти-пятнадцати метров, настраиваясь на биологические ритмы противника, встраиваясь в них и разрушая. Китайцы бы сказали: он уничтожает ци массированным вторжением ша. Ци — энергия жизни, ша — её антипод.
— Вы сказали, прямой контакт с противником не является необходимым?
— Боец может находиться в соседнем помещении, действовать из укрытия, в том числе отвернувшись.
— Наши возможности?
— Полная блокировка агента, представляющая собой чрезвычайную сложность.
— Что вы имеете в виду?
— Боец неодолим.
— Поясните.
— Это трудно объяснить. Уворачивание от пуль, тем более от холодного оружия, нечувствительность к ударам и сериям ударов, ядовитым газам, холоду, голоду — качества первой ступени неодолимости. До бойца нельзя дотронуться, причинить ему вред нельзя в течение нескольких суток подряд. Если боец видит, что его одолевают, он может впасть в состояние чи, то есть притвориться мёртвым на долгие недели, и выйти из аутоанабиоза когда захочет, в тот момент, когда обстановка позволит действовать дальше.
— Какие резервы мы можем задействовать?
— Обоснованно полагаю, что в деле блокировки агента мы должны опереться на нашу школу национальных единоборств.
— Ваши предложения?
— Перебрав все возможные персоналии, следует остановиться на кандидатуре Пропалова Павла Игнатовича.
— Квалификация?
— По данным Кемеровского Управления, оценивается как высшая.
— Есть основания?
— Может стоять на одном пальце.
— То есть?
— На одном пальце.
— На каком пальце? Ноги?
— Руки. На любом из них.
— Вниз головой, что ли? Вертикально?
— В том числе.
— Где он этому научился?
— Этому не учатся, этим овладевают. Год за годом.
— Сами?
— У Пропалова были знаменитые учителя — Ойдуп-оол Узыкчиев, известный как Медведь-Уйгур, и, конечно, Ермолай Ручьёв. В распоряжении Пропалова до тысяча девятьсот шестьдесят девятого года находились два артефакта: один — известный

у востоковедов как Свиток Чань-Чу, или Наставления Наследнику Стиля, и другой — Коготник, знак «стволовой» власти над борьбой Шатоха.
— Шатоха?
— Национальная сибирская гибридная борьба русско-алтайского стиля, известная с середины восемнадцатого столетия, автор — раскольник Сорочьего Лога Тимофей Медяник.
— Суть борьбы?
— Шатоха — термин, связанный с бродяжничеством, носит иронический характер, но в применении к одноимённой борьбе является сильнейшим инструментом воздействия на человека, в том числе на его духовную сферу.
— Как насчёт физической?
— Мастера Шатохи ещё в начале прошлого века могли за пять-семь минут «ушатать» человека до беспамятства, один раз дёрнув его за ворот или за рукав; некоторые шли глубже, к влиянию на внутренний мир противника. Смысл Шатохи в том, чтобы с одного рывка, контактного или бесконтактного, радикально изменить состояние противника.
— И получалось?
— Неоднократно. Однако даже сам Павел Игнатович не сможет вам перечислить всех бойцов Шатохи.
— А кого он сам одолел?
— Бойцу такого уровня не нужно никого одолевать.
— Поясните.
— Постараюсь. Видите ли, истинный боец находится в постоянной готовности победить, и этого достаточно для того, чтобы быть бойцом. Его готовность и есть бой. Философия единоборств гласит, что начатый бой есть проигранный бой. Истинное противоборство выигрывает готовность победить, и ничто другое. Павел Игнатович оценивается в этой категории как абсолютный победитель: все прошлые и будущие победы выиграны внутри него самого.
— М-да… Что он за человек?
— Тысяча девятьсот тридцать шестого года рождения, русский, беспартийный, вероисповедание православное, ранее не судим, образование среднее техническое, Кемеровский железнодорожный техникум. Родители — Пропалов Игнат Кузьмич, железнодорожный мастер, расстрелян по делу КВЖД в тысяча девятьсот сорок восьмом году, также Пропалова (Стремилова) Анна Афанасьевна, скончалась в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году в Кемерово…
— Вы говорите — Кемеровский железнодорожный… работает по специальности?
— Не совсем. Павел Игнатович — монах.
— В каком смысле?
— В прямом. В течение двадцати семи лет Павел Игнатович живёт в скиту, который сам построил. В течение пятнадцати лет соблюдает данный себе обет молчания.
— Как же мы будем с ним договариваться?
— Это почти так же сложно, как остановить Си-Эйч.
— Что вы имеете в виду?
— Он может не пойти на контакт. Не забывайте — его отца расстреляли…
— Продолжайте.
— …по нелепому обвинению. Его мать умерла от горя. И ещё…
— Что?
— Ему давно нет дела до мира. Он монах.
— Но он советский гражданин.
— Для него эти слова уже не имеют никакого значения. На Павла Игнатовича нельзя надавить, у него нет родни, он один в целом свете, у него ничего нет, кроме его скита, в котором всего хозяйства — котелок, топор да пучки сушёных трав. Остальное на нём.
— И ему нет дела до страны?
— Павел Игнатович рассуждает в других категориях. Повторяю: с ним можно договориться только в том случае, если он сам захочет этого, то есть если его внутренние цели будут совпадать с внешними. Только в этом случае.

До Тайдона летели вертолётом.

Садились, прицелившись в узкую каменную осыпь посреди просторной протоки.
— Дальше пешком, капитан, — сказал Уразбаев.

Ревякин поддёрнул полупустой рюкзак, прикрываясь от винтового ветра. Они перешли рукав протоки, не оборачиваясь на вертолёт, будто бы сдутый с осыпи осенним порывом и быстро исчезнувший за верхушками елей.

Взбираясь по склону между жёлтыми осинами, хватались за изжелта-чёрное месиво мокрой листвы и глины, выбрались на неприметную от протоки тропу и зашагали почти посуху.
— Если встанет, тут же вставайте, поклонитесь и уходите не оглядываясь. Я покажу как. Просто делайте как я и слушайтесь меня во всём, а то не получится ничего, — безнадёжно приговаривал Уразбаев. — Да, и никаких Павлов Игнатовичей, только Арзылан.

Закат охватил их промозглой сыростью — она будто усилилась втрое, как только рассеянные лучи стали заваливаться за спины сопок. Уразбаев остановился, подняв руку.
— Тихо, капитан. Стоим пока, — прошептал он.

Стояли, ждали чего-то, как вдруг в кустах треснуло. Ревякину нестерпимо захотелось обернуться, но Уразбаев мимикой показал: ни в коем случае. Треск не повторился. Двинулись дальше, свернув с тропы напролом, через обжигающе холодный подлесок.

Скит был — шалаш, обложенный слоями коры, вросший в луговину между двумя исполинскими елями. Берлога. Всмотревшись в чёрную, будто

пасть старика, нутровину, Ревякин различил там некое тление.
— Негасимая,— непонятно пояснил Уразбаев.— Подождать надо.

Снова ждали. Ревякин поймал себя на мысли, что из этой бесконечной темноты, да ещё после дороги, хочется пойти навстречу даже малому свету, вползти в любую землянку, лишь бы протянуть ноги и смежить глаза.

Уразбаев обернулся. Со стороны опушки послышалось нечто вроде мягких скачков. Ревякин мог бы поклясться, что это не мог быть человек, но это был человек. Уразбаев щёлкнул зажигалкой и поджёг фитиль странного жестяного фонаря с затейливыми прорезями, потом опустился на одно колено и сделал знак Ревякину сделать то же самое.

Человек подошёл. Фигура его начиналась с широченных штанов чёртовой кожи, заправленных в складчатые кожаные сапоги, продолжалась распахнутой телогрейкой, под которой виднелась рваная жёлтая майка «Москва-80», и венчалась крохотной мятой скуфейкой чёрного бархата.

Показавшись им, он, не здороваясь, скользнул во тьму. Над крышей скита разлилось сияние, и Ревякин понял, что за ним был разведён таёжный костёр — бревно, положенное на два других. Человек протянул руку прямо в пламя и вынул оттуда котёл с чем-то дымящимся, наполнил варевом две глубоких деревянных плошки и протянул им.
— Ешьте,— прошептал Уразбаев.— Через край отпейте.

Ревякин почувствовал, что в него влилось жидкое пламя. Вкус был отчаянно острым, насыщенным и неистощимо травянистым, будто сварены были вместе полынь и заячья капуста.

Человек смотрел на них сквозь огонь. Лицо его, обрамлённое клочковато росшей рыжеватой бородкой, было самым обычным: маленькие, глубоко сидящие под выпуклыми бровями глаза, широкие скулы, выдающийся нос с хрящеватой горбинкой, тонкие яркие губы,— ничего колдовского. Максимум — собранность, воля, но мало ли таких, додумывал Ревякин по инерции, пока ещё слышал, как трещит пламя. Видеть его он уже не видел. Спал.

Утро занялось ослепительным. Проснувшийся Ревякин понял, что лежит под крышей скита, за которым тихо потрескивает костёр, потянулся, выбрался наружу и сел на бревно.

Человек по ту сторону смотрел на него.
— Здравствуйте, Арзылан,— проговорил Ревякин.— Вы знаете дело, по которому мы к вам пришли?

Монах кивнул.
— Сможете ли вы исполнить то, о чём мы вас просим?

Монах покачал головой.

Ревякин смотрел мимо.
— Почему? — спросил он.

Монах опустил глаза.
— Вы не можете этого сделать или не хотите?

Человек поднялся.

Ревякин молча встал и принял из рук Уразбаева рюкзак, и они двинулись. Уже на опушке, метрах в ста от скита, капитан резко развернулся и, не обращая внимания на предостерегающий крик Уразбаева, широким шагом пошёл обратно.

Лицо его обдал ледяной порыв такой силы и неприязни, что Ревякин обмер и встал как вкопанный. Впереди на бревне сидел бывший советский гражданин в обычном ватнике, а он не мог даже приблизиться к нему.
— Арзылан! — выкрикнул Ревякин.— Павел Игнатьич! Я спросить хотел!

Пропалов повернулся к нему с бревна.
— Говорят, вы на одном пальце стоять умеете? Показать можете? Ни разу не видел! Век бы не забыл! — почти фальцетом выкрикивал Ревякин, с восторженным ужасом чувствуя, как за ноги его, стараясь повалить, заткнуть рот, хватает обезумевший Уразбаев.

Пропалов медленно помотал головой, потом встал во весь рост («Убьёт, убьёт, ложись, дурак!» — стонал Уразбаев) и вдруг пружинисто встал на руки, два раза хлопнув подошвами сапог, потом перевалил тяжесть тела на правую руку, левую прижал к туловищу и начал убирать пальцы, один за другим.

Это было как во сне. Когда остался один палец, указательный, белый, будто отсечённый, Ревякин сглотнул ком, собравшийся в горле, и, споткнувшись об Уразбаева, пошёл в тайгу.

СВОДКА ВНЕШНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ

А/п Шереметьево / 21.08.1985, 14.38–16.45
рейс KLM809
Бангкок — Москва

14.40. Посты идентификации — визуальный у трапа (2), оптический в диспетчерской (4), визуальный на паспортном контроле (3), визуальный в зале прилётов (29).
15.01. Борт 551 осуществил посадку,
15.05. Борт 551 осуществляет рулевой манёвр к стоянке 4Б.
15.12. Выгрузка пассажиров по трапу.
15.25. Выгрузка закончена. Идентификация по ориентировке результатов не дала.
15.27. Произведено оцепление. Сотрудники поднимаются на борт.
15.28. Объект идентифицирован по месту 47С, положение тела сидячее, прямое, руки на подлокотниках, ремень безопасности застёгнут, глаза открыты, реакция на раздражители нулевая.
15.29–15.30. Осмотр целостности личных вещей гражданина Таиланда Чжу Ни Ю, вызов на борт медика, вызов консула Королевства Таиланд.

15.48. Медицинское заключение о состоянии Чжу Ни Ю (прилагается). Кратко: пульс объекта ровный, редкий (45 ударов в минуту), при этом голосовой, слуховой, тактильный, визуальный, ментальный контакты с реальностью отсутствуют.
15.55–17.40. Ожидание консула Таиланда.
17.40–17.55. Дача объяснений консулу, составление описи вещей, получение подписи консула.
17.55–18.05. Принятие согласованного с консулом решения о безотлагательном обратном рейсе для гражданина Чжу Ни Ю без перемены им посадочного места.
22.15. Чжу Ни Ю покинул СССР рейсом KLM819. Прибытие в аэропорт Бангкока «Донмыанг».

Приписка службы «А»:

22.08.1985 года: Чжу Ни Ю пришёл в себя на борту рейса 819, состояние стабильное, функции организма восстановлены. На вопрос врача о том, помнит ли он прибытие в Москву, отвечает отрицательно. Почти радостное выражение на лице вновь сменяется замкнутым и ничего не выражающим.

СВОДКА
ВНЕШНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ

Р-н р. Тайдон, объект «Медведь»
21.08.1985

7.05. Объект становится на молитву.
10.05. Объект собирает валежник.
13.05. Объект становится на молитву.
15.05. Объект неподвижен.
15.10. Объект неподвижен.
15.15. Осмотр объекта: члены холодны, глаза плотно закрыты, пульс не прощупывается. Положение тела—стоя на коленях, руки скрещены на груди, голова склонена на грудь.
15.28. Попытка изменить положение объекта ни к чему не приводит.
15.30. Реанимация объекта безрезультатна. Подача запроса на протоколирование смерти, отказ в удовлетворении запроса—Управление (виза—заместитель начальника Управления, мотивация—отказ Центра, директива 11/52).
19.01. Объект шевелится, открывает глаза, встаёт.
19.10. Объект становится на молитву.
21.02. Объект снимает с костра котелок, пошатываясь, поёт.

ДиН ревю

Гавриил Каменев

Избранное

Казань: «Плутон», 2016.—56 с.

Гавриил Петрович Каменев (1773–1803)—талантливый поэт, прозаик, переводчик, первый романтик России, автор первой русской романтической баллады «Громвал». В отличие от другого казанского Гавриила—Державина—почти забыт и упоминается только в узкой среде специалистов, хотя для Казани, Татарстана и России в целом в литературном плане не менее значим, чем прославленный тёзка. Смелый экспериментатор с поэтической формой, начинатель готического направления в российской литературе, он был высоко оценён А.С. Пушкиным. Между тем до сих пор в Казани нет никаких памятных знаков, связанных с именем Каменева.

Книга выходит в поддержку идеи об увековечивании его памяти—в символичном и магическом для него месте, близ сосновой рощи возле Кизического монастыря. Именно эта знаменитая роща—излюбленное место прогулок и творческих вдохновений поэта, здесь же он и нашёл упокоение.

Мечта

(фрагмент)

Доколе тусклыми лучами
Нас будешь ты венчать, мечта?
Доколе мы, гордясь венцами,
Не узрим—что есть суета?
Что всё влекут часы крылаты
На мощных—к вечности—хребтах;
Что горды, сильные Атланты
Вмиг с треском раздробятся в прах.
Где дерзкие теперь Япеты,
Олимпа буйные враги?
Гром грянул—
все без душ простерты!
Лишь не успеем мы ноги
Взнести на твёрдые ступени—
Скользим—повержены судьбой!
Мы жадно ищем вверх степени,
Взойдём—но ах! конец какой?

Вячеслав Дегтяренко

Кроватка

Эти события произошли на исходе 1998 года.

Лишь в декабре получил своё первое офицерское денежное довольствие… за август. Оно ушло на оплату долгов в продуктовых магазинах. Через полтора месяца должен родиться сын. Питерские друзья пообещали подарить детскую кроватку и вещи для новорождённого. Но как их доставить в Улан-Удэ?

Тем временем в части начался зимний период обучения, одной из задач которого была подготовка сержантского состава в учебке в городе Печоры, что на границе Псковской области и Эстонии. Предполагалась отправка самолётом полусотни молодых солдат в сопровождении офицера.

Осмотрев будущих сержантов в медицинском пункте, написал рапорт, что по своему состоянию здоровья они могут быть допущены к обучению. Однако в связи с неблагоприятными погодными условиями, низкими адаптационными возможностями молодых организмов необходимо сопровождение медицинского работника.

Начмед выступила против такого решения. Составление годового отчёта, сезонный рост заболеваемости по простуде, борьба с платяным педикулёзом, ремонт медицинского пункта, расконсервация техники — считались более важными.

— У меня сын вот-вот должен родиться, Оксана Петровна! Как и где мне вещи приобретать?

— На Новый год дадим вам недельку отдыха — слетаете!

— А какие гарантии, что они не начнутся раньше положенного? Да и какой гражданский самолёт возьмёт на свой борт кроватку, не попросив оплаты багажа?

Выслушав наши словесные перепалки, комбриг принял решение:

— Позови ко мне, док, начальника строевой. Так и быть, пусть выпишет тебе командировочное удостоверение на четыре дня… А далеко ли ваша кроватка находится от Печор?

— Да совсем рядом с Печорами… в Питере. Я на электричке туда съезжу. Часа за два, думаю, доберусь! — клятвенно заверял его я.

Конечно, приуменьшал, но вот насколько, ещё не предполагал.

Построив солдат учебной роты на плацу, взводник передал их мне по головам.

— Слав, старший команды задерживается. У него семейные проблемы. Подъедет прямо на аэродром. Личные дела и военники у него. Вот тебе список, пятьдесят два человека, — наставлял капитан Женя Иванов. — Будь с ними построже. Обалдуи, только что призвались. В головах ещё «гражданские опилки» не выветрились… Самолёт полетит с посадкой и дозаправкой в Новосибе.

— Спасибо, Женя.

На аэродром Восточный прибыли за час до вылета. Подвезли прямо к трапу громадного двухъярусного Ила, задняя рампа которого была похожа на громадный клюв птицы-великана, который был раскрыт в ожидании жертв. В так называемом салоне на откидных металлических лавках уже сидели закамуфлированные пассажиры, летевшие из Уссурийска и различающиеся между собой лишь выражением лиц. Ни ремней безопасности, ни мягких кресел, ни санитарных удобств.

Передал список личного состава командиру экипажа. Шапка набекрень, красное лицо, яркий блеск в глазах, шаткая походка и уловимое амбре.

— А где старший команды, документы и личные дела? — спросил он у меня.

— Лейтенант Дмитручина задерживается… обещал прибыть с минуты на минуту.

— Ну смотри у меня, старлей! — как-то двусмысленно промолвил лётчик. — Иди звони на свой Пакеляж, пусть ищут этого сукиного сына. Нам взлетать с минуты на минуту.

С пятой попытки дозвонился дежурному по бригаде, который сообщил, что лейтенант выехал больше часа назад и должен вскоре прибыть.

— Ладно, грузитесь пока, — смягчился командир корабля, видя, что солдаты отплясывают чечётку, — но предупреждаю, что это вам не Ту-154. Ссать и срать в салоне запрещено… и негде. Так что весь балласт оставить здесь… на аэродроме… до Новосиба летим без посадок.

После посещения сугробов солдаты, цокая подковами кирзовых сапог, загрузились на второй ярус железного монстра. Температура в салоне была минусовой.

— Где твой старший? — нагнетая обстановку, закипал командир экипажа. — Я сейчас подам команду «закрыть рампу».

— На подъезде, товарищ майор…

Что делать с полусотней солдат, я не знал, так же как и кому их сдавать и какие документы оформлять. Ну а самое главное — рушился мой план с кроваткой.

Самолёт медленно выезжал на рулёжную дорожку, готовый вот-вот ворваться в чёрное зимнее небо, и мои надежды таяли.

Внезапно меня одёрнул штурман:
— Док, командир тебя вызывает к себе в кабину.
— Твой сокол на санитарку вылез? — указывает он на тучного военного, забравшегося на крышу медицинского «уазика».
— Да… он самый!
— По морде бы ему… Ну ладно, на первый раз прощается. Пусть по боковому трапу поднимается, да поскорей.

На борт взобрался шатающийся и довольный лейтенант, решивший и отметивший «семейные» проблемы.
— На, док, держи баклажку! Будет веселей лететь, — протянул мне двухлитровую бутылку пива виновник переживаний. — А я пока посплю. Разбуди меня, если что.

Выпивать не хотелось. В салоне температура поднималась медленно. Как мне казалось, радиаторами отопления выступали наши лёгкие. Самолёт набирал высоту, и наряду с холодом мы почувствовали перепады атмосферного давления. Редкие иллюминаторы были заняты солдатскими головами. Поэтому возникало ощущение, что как будто летишь в холодной тёмной железной бочке, которая вдобавок ещё шумит и дребезжит. Хотелось забыться и ни о чём не думать.

В полночь приземлились на новосибирском аэродроме Толмачёво. Открыли заднюю рампу, и пассажиры убежали в сугробы. На антрацитовом небосклоне застыл яркий диск полной луны. Её лучи освещали металлическую птицу, которая медленно остывала от напряжённой работы. Солдатики топтались по снегу, обменивались впечатлениями и дымили огоньками самокруток.

После дозаправки самолёт заехал на парковку.
— Будем ночевать здесь! Вылет на шесть утра! Вопросы есть? — довёл нам решение командир. — Рампа будет открытой всю ночь. Пусть солдаты наденут на себя все свои вещи и намотают тёплые портянки.

Вопросов не было. Температура за бортом минус десять градусов, и не исключалось её понижение. Поужинав банкой холодной тушёнки с пивом, пожелали друг другу спокойной ночи. Я вспомнил лекционные академические часы, когда после ночных дежурств засыпал сидя, уткнувшись шапкой в парту. Но чтобы зимой и ночью в самолёте, почти в чистом поле… такого ещё не было.

Солдаты походили на антарктических пингвинов, вынашивающих своих птенцов в условиях полярной зимы. Они согревались, тесно прижавшись друг к другу боками, пытаясь аккумулировать тепло своих тел. И мы с Дмитручиной последовали их примеру.

Среди ночи проснулся от ритмичного стука. Ещё сон или уже реальность? Эхом металлической волны отдавался звук подкованных подошв от замерзающих ног, что напомнило мне шаманский танец. Хотя и мои ступни, несмотря на шерстяные носки, требовали разогрева и невольно присоединились к общему ритму.

В шесть утра на борт поднялись отдохнувшие в гостинице лётчики. Умывшись свежим снегом и позавтракав кашей из сухого пайка, мы оставили сибирскую землю. Впереди была ещё одна дозаправка, ещё одна посадка, и под вечер мы приземлились в Пскове.
— Когда обратно вылетаете? — спросил у штурмана.
— Дня через четыре-пять… неизвестно… как топливо подвезут, — ответил он мне.

Обменявшись с Дмитручиной телефонами, договорились о встрече через два дня. Я отправился на псковский вокзал, он уехал в Печоры. С пересадками на электричках и почти за четыре часа добрался до Питера.

Утром позвонил, чтобы проверить информацию о вылете. Дежурный по аэродрому несколько озадачил:
— Самолёт на Улан-Удэ вылетел час назад…

Что делать? Как добираться? Как без денег преодолеть шесть тысяч километров?

Соорудил из кроватки подобие переносной сумки. Внутрь сложил бэушные детские вещи. С двух сторон прикрепил лямку, что позволяло нести её через плечо. В обеих руках — по сумке с домашней консервацией и подарками.

Утром приехал в печорскую учебку. Отметил командировочное удостоверение, сходил в Печорский монастырь, побродил по лесу. Звонок дежурному по аэродрому не обнадёживал. Следующий самолёт на восток ожидался лишь после Нового года. Что делать эти три недели, я не знал.

С поклажей отправился на аэродром, так как теплилась надежда на чартер. Однако там царили тишина и спокойствие. Метровые сугробы покрывали шасси одиноких самолётов, многие из которых изрядно потрепались временем и коррозией, да ветер игрался с кронами сосен-великанов. В прокуренной диспетчерской седовласый капитан решал кроссворд, попивая чай.
— Когда полетим?.. — повторил мой вопрос офицер. — Сложно сказать… — процедил через сигарету дежурный по аэродрому. — В стране топлива нет. Ничего тебе обещать не могу. Недели через две-три, может, кто-нибудь и полетит. Бесплатный совет хочешь?! Бери билеты на поезд до своего Улан-Удэ и езжай. Быстрее будет!
— На поезд денег нет. С собой только сто двадцать рублей.

— Ну, тогда только… на электричках. А так, если хочешь, звони каждое утро в восемь тридцать. Обычно в это время уже известно, какие рейсы и куда. Остановиться-то есть где?
— Пока нет. Но найду… Мои однокурсники распределились в воздушно-десантную дивизию. Съезжу в аэромобильный госпиталь.

Повесив кроватку на плечо, ушёл на поиски десантной дивизии.

В госпитале встретил троих однокурсников, служба которых напоминала мою. Наряды-дежурства, прыжки с парашютом, командировки, полевые выходы и всё то же безденежье.
— Пойдём ко мне, Слава,— предложил Виталий Завезион.— Жена с ребёнком уехали, я один в трёхкомнатной квартире живу. Обстановка, правда, простая, но нам ведь не привыкать.

Мне показалось, что он постарел за прошедшие с выпуска шесть месяцев. Глубокие морщины на лице, седые волосы, опущенные плечи, печаль в голосе, а ведь ему ещё не было и тридцати. «Наверное, с женой расстались»,— подумал про себя, но вслух ничего не сказал.

В курсантские годы он исполнял обязанности физорга курса, был первый женатый курсант. Мы одинаково любили спорт, вместе воровали хлеб в курсантской столовой, покупали голландский спирт «Рояль» на Сенном рынке и легко находили темы для бесед.
— Договорились, Виталя.

В хрущёвской трёхкомнатной квартире ничто не напоминало о семейной жизни. Кухонный стол из советского прошлого, две перечиненные табуретки, гвозди в стенах для одежды, пластиковая посуда из солдатской столовой — и всё. Социальные обои, исписанные тараканьим карандашом, скрипучие деревянные полы да законопаченные гипсом немытые окна с паутиной по углам. Удивился двум мышеловкам, так как, кроме консервов, в домашних запасах больше ничего не значилось. Когда мы разговаривали, казалось, что эхо от голосов проносится через все комнаты и достигает соседей. Отметив приезд привезённой из Питера спиртовой настойкой овса, мы улеглись в спальники разведчиков и проговорили половину ночи. Столько произошло в нашей жизни, что, казалось, всего и не перескажешь.
— Живи у меня, Слава! Столько, сколько надо. Видишь, места хватает. С деньгами, правда, туго, но паёк дают — проживём.
— Спасибо, Виталя!

Так прошли пять дней томительного ожидания. Днём я изучал достопримечательности Пскова, ходил по магазинам, звонил на аэродром, а по вечерам мы из консервов готовили ужин и обсуждали итоги дня. На шестой день диспетчер сообщил, что ожидается вылет самолёта в Читу.
— Летите?
— Конечно! Через час буду у вас.
— Время вылета пока неизвестно, но поторапливайтесь.

Чита всего в семистах километрах от Улан-Удэ. Из неё уж точно можно на электричках доехать.

Собрал все багажные места, количество которых увеличилось до четырёх. В хозмаге за четвертной прикупил металлическую полочку для сушки кухонной посуды, из которой сделал импровизированный рюкзак, сложив в него детские вещи. С поклажей выдвинулся на остановку общественного транспорта.

Девять часов утра. В стране час пик. Горожане едут на работу. Двери подходящих троллейбусов закрываются с трудом. Некоторые из них так и не открываются. Попасть в салон кажется нереальным, а тем более с моим грузом. Три троллейбуса ушли, оставив пассажиров в растерянности и недоумении.
— Ты откуда, парень? — спросил у меня приземистый мужчина лет пятидесяти в коричневом пальто и серой кроличьей шапке.
— Откуда я?.. Это долго объяснять. Еду из Питера, родом из Киева, служу в Улан-Удэ, военный врач бригады спецназа. Сейчас спешу на аэродром. Самолёт скоро улетает… в Читу.
— Улан-Удэ… Мой отец в войну в военном госпитале там лечился… Тебе помочь?
— Спасибо, я сам! — отрезал ему, так как сомневался в бескорыстности помощника.
— Я тебе помогу, но с двумя условиями! — не унимался он, чувствуя мои сомнения.
— Какими?
— Первое условие: ты выпьешь со мной, когда мы приедем на аэродром. Второе условие: ты напишешь мне, как добрался до Улан-Удэ.
— Хорошо!

Мой помощник оказался напористым в достижении поставленных целей, и с шумом, криком и гамом мы погрузились в первый же подъехавший троллейбус. На остановке «Аэродром» из пластиковых стаканчиков мы дважды выпили по сто граммов холодной водки и закусили одной конфетой на двоих.
— Может, ещё по третьей, на дорожку?
— Ой, нет, спасибо! Меня тогда на борт не возьмут!

Поблагодарил спасателя за помощь, записал адрес и в приподнятом настроении ушёл на поиски самолёта.

Но на аэродроме без изменений. Всё те же самолёты, всё те же сугробы, столетние ели да одинокие сороки. В диспетчерской дежурный сменился, и новый не владел информацией по мне. Алкоголь подействовал, поэтому тревожиться не стал и незаметно погрузился в сон.
— Бери, док, лопату, пойдём взлётку чистить! — разбудил меня командир подъехавшего через час экипажа.
— Шутите?

— Шучу… Давай по сто грамм для согрева?! А потом почистим лишь выезд на рулёжную дорожку.

Через два часа работы одного пассажира и четырёх членов экипажа дорожка была прочищена. Мы выпили за проделанную работу. Через час подъехал топливозаправщик. Затем мы ещё выпили… и ещё через час наконец взлетели.

Пассажиров, кроме меня, не было, и я мирно улёгся на мягких мешках. Самолёт вёз какие-то грузы, как сказал командир — новогодние подарки, и летел с дозаправками в Воронеже, Новосибирске и Чите на Дальний Восток.

Вечером следующего дня приземлились на аэродроме Домна, что в сорока километрах от Читы. Пешком добрался до занесённой снегом железнодорожной станции. Она представляла собой полустанок из девятнадцатого века. Одинокий домик, импровизированная деревянная платформа на один вагон, болтающийся от ветра фонарь и изъеденное ржавчиной расписание электричек. На запад, как и на восток, электропоезда курсировали лишь дважды за сутки. Я выбрал для себя восточное направление. Следующая электричка на запад была утром. Прыгая по глубокому снегу вокруг дома, считал остающиеся до прибытия часы-минуты. Меховые берцы, как и тёплый камуфляж спецназовца, не спасали от ветра и холода. Так прошло два часа. Затем на санях, запряжённых мохнатой лошадью, как из сказки, подъехал одетый в армейский тулуп и валенки хозяин домика — станционный смотритель.

— Замёрз, служивый?

— Есть маленько…

— Заходи, сейчас буржуйку растопим, чайком согреемся.

— Спасибо.

За разговорами о жизни, чаем с баранками незаметно прошёл ещё один час ожидания. Пётр Иванович не советовал путешествовать электричками в западном направлении.

— Народ встречается разный. Бывает, стёкла бьют, лавки снимают, воруют, что плохо лежит, да и расписание соблюдается не всегда. Уж лучше взять билеты на поезд из Читы до Улан-Удэ.

Поблагодарив за угощение и тепло, сел в электричку родом из детства. Мне показалось, что в ней ничего не изменилось за прошедшие четверть века.

В Чите обратился к коменданту железнодорожного вокзала с просьбой помочь добраться до Улан-Удэ. Он был родом из Питера и закидал меня вопросами о городе.

— Так ты почти мой земляк, раз прожил там семь лет. Садись за стол, пиши на моё имя рапорт. Укажи номер командировочного, весь маршрут поездки и просьбу о выдаче ВПД на проезд в купейном вагоне от станции Чита до станции Улан-Удэ.

—Да мне и плацкартный сойдёт.

— Пиши — купейный вагон, ты же офицер!

Поблагодарив его двумя бутылками питерского пива, я отправился на вокзал выкупать билеты.

— Ближайший поезд на Улан-Удэ, на который остались билеты, будет завтра вечером, — комментировала выписку билета кассирша. — Поедете?

— Конечно, поеду!

Следующие сутки я провёл на вокзале, невольно наблюдая за его жизнью. Вот китайцы, сидя на полу, смакуют пиво из национальных плошек и закусывают жареным арахисом, который ловко поддевают палочками. Они быстро пьянеют, смеются, плюются, и глаза их ещё больше суживаются. Вот привокзальный бомж пытается обокрасть заснувшего гражданина, но внутренний голос срабатывает, и тот, как назойливую муху, не в первый раз прогоняет его восвояси. Вот милиционер что-то обсуждает с торговцами ларьков и с довольной улыбкой и со свёртком в кармане отходит от них. Иногда я ощущал себя действующим лицом этой жизни. Интересно, а как я выгляжу со стороны в этом театре жизни? В ватном костюме, берцах, обложенный поклажей, ставший заложником вещей.

Выяснилось, что и мои нехитрые пожитки представляют интерес для местных мошенников, и я трижды за ночь отбивал их нападки. Сна не было, так же как и других условий для полноценной жизни. Ни умыться, ни сходить в буфет, лишь мысленные гонки да нехитрые перекусы. Со своим негабаритным грузом я малоподвижно сидел на занятых мною скамейках и ждал прибытия поезда. Кроватка требовала жертв.

Лишь через сутки вокзального плена я вышел на морозный свежий воздух станции. Началась посадка на поезд Хабаровск — Москва.

— Это что у тебя? — указывая на мою поклажу, грозно спросила толстая проводница, которая больше походила на рыночную торговку.

— Детская кроватка.

— Сдай её в багажный вагон. Он находится в начале состава.

— Да она лёгкая, весит не больше семи-восьми килограмм. Я её аккуратно размещу в верхнем багажном отсеке.

— Не положено по технике противопожарной безопасности.

— Ну пожалуйста, я же её из Питера везу!

— Я дважды повторять не буду.

В багажном вагоне два грузчика с татуированными якорями на руках согласились принять кроватку… но за сто рублей.

— Да я за эти деньги бэушную в Улан-Удэ куплю!

— Твоё право.

— Может, договоримся? У меня нет с собой сотни. Только четвертной могу дать.

— А нам как потом перед начальником поезда отчитываться? Да нас работы лишат из-за какой-то там кроватки!

Побрёл к вагону. Дальнейшие просьбы и уговоры проводника также не оказали никакого воздействия. Разместив вещи на полках, я не терял надежды, что в последние минуты её сибирская душа смягчится.

Увы! И даже моя хитрость с забрасыванием кроватки в тамбур отходящего поезда не сработала. Она нажала на рукоятку стоп-крана и пронзительно засвистела.

— Я тебя сейчас с поезда ссажу за хулиганство! Милиция!!!—закричала она что было силы.

— Не надо милиции… я согласен оставить кроватку на перроне… позвольте хоть вещи из неё достать,—разрывая обёрточную ткань и полиэтилен, я лихорадочно доставал перестиранные ползунки и распашонки.

— Надо было раньше думать… Я не имею права задерживать отправление поезда!—кричала раскрасневшаяся проводница.—Сейчас выпишу ещё штраф за хулиганство.

Кроватка полетела на обледенелый читинский перрон и разломалась при падении. На асфальт высыпались детское одеяльце, матрасик и пакет с тёплыми вещами. Пожилая дама из провожающих на бегу забросила пелёнки и ползунки в мой тамбур. Хотелось плакать и ругаться от несправедливости жизни, но виду не подал. Уже ничего не изменить, я проиграл!

Домой вернулся без настроения. Чувствовал себя охотником, который упустил свою добычу. В части подумали, что я решил встречать новый год в Питере и намеренно отстал от самолёта. Комбриг выслушал мой рассказ и попросил написать объяснительную, но наказывать не стал. Через неделю друзья-сослуживцы сбросились и подарили нам детскую кроватку.

Елена Росовская

Машенька

Все детали сегодня важны, потому что
Будет Машенька ёлку одна украшать:
Черепашки, снежинки, солдатики, пушки
И на самой верхушке оранжевый шар.

Так спокойно, снегурка и дед краснощёкий,
Ни беды, ни еды, только снег и луна.
Очень хочется праздника, пряников, сока
И немного здорового крепкого сна.

За окошком сиротствуют город и ветер,
А на праведном небе сиротствует Бог.
На земле же хватает гробов и отметин,
Правда, в этом году было больше гробов.

Жаль, чудес не случилось, и Машеньке ясно,
Что подарки под ёлкой—родительский трюк,
Но сегодня под ёлкой дырявая каска
И уродливый старый угрюмый утюг.

Сон приходит внезапно, целует в затылок,
Время сладкое, будто бы сахар-песок,
Предлагает на выбор: верёвку и мыло
Или небо, разорванное под шансон,

Под весёлые вспышки и грохот кромешный.
Но за небом дорога из белых камней.
И в саду Гефсиманском молящийся грешник
Так доверчиво смотрит и плачет о ней,

О единственной маленькой глупенькой Маше,
О прощёных убийцах и добрых царях,
О смертельно здоровых и временно павших,
О земле плодородной и мёртвых морях.

И остаться бы здесь, и прилечь под оливой,
И, свернувшись калачиком, плакать о том,
Что сегодня зима и сегодня мы живы
В нашем городе-голоде полупустом.

Но часы замирают от воя сирены.
Сон уходит без боя, сдавая дома.
Маша делит людей на героев и пленных,
На сошедших с небес и сошедших с ума.

Город дышит огнём без единого шанса
Сохранить прежний вид до скончания лет.
Маша кутает ёлку в своё одеяльце
и твердит: мамынетпапынетмашинет…
Бога нет.

Александр Орлов

Дух Моряны

● ● ●

Воды остывшей подмерзает дух
В застуженном на время небосклоне,
И слышно мне, как на бегущем фоне
Седой камыш поносит время вслух.

Поморье, мы останемся знакомы.
Мы в силах расстоянье превозмочь,
Нас подгоняет вездесущий всочь[1],
И пропадают второпях Судомы.

Маршрут проложен из «варягов в греки»,
Ведут меня под наледью следы.
Налипший снег избавит от беды,
И свет звезды мне покрывает веки.

Снежинка опустилась на ладонь:
В скрещенье синевато-белых линий—
Библейский мир из первозданных скиний
И три волхва, сошедшие в Шелонь.

● ● ●

Разъединяют в перелётах чайки
Москву и Кемь,
Я говорю спеша и без утайки:
«Мой поезд в семь».

И ледяные рыбные просторы
Окинет взгляд:
Там староверы, рыбаки, поморы
Сеть мастерят,

И девушка, несущая козули[2],
Рукой махнёт
И крикнет: «Приезжай в июле!
Растает лёд».

И говорит о новгородской Марфе
В пути монах,
А на пальто и на горчичном шарфе
Рассвет зачах.

● ● ●

В чёрном камне я вижу незнакомые лица,
В нём томятся ветра обожжённых эпох,
В нём предательство, смерть и отвага пылится,
Чёрный камень ко всем посетителям строг.

Сотни лет он лежал в ожерелье часовен,
Словно тучей навечно забытый колтун,
Размышляя о мире возле брошенных брёвен,
Он для синего неба дикий лебедь-кликун.

Если встретишь в ночи взгляд калеки-поморца,
Не стесняйся, в глаза ему смело смотри,
Ты увидишь в зрачках два бездушных озёрца:
Чёрный камень и крест в багрянице зари.

● ● ●

Я каждое сомненье передам,
Что притаил в клокочущей столице,
Слепому снегу, вековой божнице
И мшистым одиноким валунам.

Ты не простишь, обманчиво не ждёшь,
И, прорицая в мире промысловом
С бывалым коренастым рыболовом,
Я распиваю забродивший кёж[3].

● ● ●

Ты помнишь: в изгибе незыблемых гряд
Терялись лукавые тени,
И каждый из нас говорил невпопад,
И фыркали в скалах тюлени,

И каждый из нас, проходя, свирепел,
И ветер, рассерженно-ловкий,
Нас гнал в позабытый рыбацкий удел,
Срывая от злобы штормовки.

Измятое солнце уткнулось в плато,
И, взглядами нас защищая,
Давало понять: не спасёт нас никто
В безлюдье варяжского края.

Казалось: мы с горем навеки близки,
Но волны, устав от проклятий,
Открыли для нас среди тьмы Соловки,
Где ждал преподобный Савватий.

1. Всочь—ветер в лицо, встречный ветер на Белом море.
2. Козули—расписанные рождественские пряники.
3. Кёж—свежевыжатый ягодный сок.

В горячем отречении сердец
Мои мечты, как дикие карелы,
Загадочны, угрюмы и несмелы,
Ведут меня дорогой в Олонец.

Куда ни кинь понурый взор
С кормы ледянки[4]:
На заболоченный простор,
Камней останки,

На монастырь, лесоповал,
Курган, траншею…
Кто здесь сидел? Кто воевал?
Узнать робею.

Архангел в облачную синь
Унёс столетья.
За победителей братынь[5]
Сегодня третья.

Век поминают от души
Все трескоеды,
Карел-охотник, расскажи,
Где тень победы?..

Дух Моряны[6]

Я видел, как моряна
На краешке волны
Решительно-нежданно
Рождает дух весны.

Он свеж, пропитан солью,
Он царь Залива змей,
И к ледяному смолью
Дух рвётся всё резвей.

И звёзд озябших тыщи,
И рыбаков карбас,
И тинщиков селище
Дух скрыл от наших глаз.

И под глубинной сенью
На стыке двух времён,
Готовый к заговенью,
Церквям он шлёт поклон.

Дух оглядел, как ели,
Встречавшие весну,
С рассветом розовели,
И месяц шёл ко дну.

На белоснежном ложе
Среди столетних древ
Отчётливей и строже
Дух начинал распев.

Посадница-метель

Мерцая в макияже
Сквозь узенькую щель,
Без сумок и поклажи
Посадница-метель

Из пустозёрской шири
На вечер прибыла,
Приют нашла в квартире,
Застыла у стола,

Раздула разговоры
О гордых земляках,
О берегах Печоры,
И свет дневной зачах.

В искристой белой шубе
Наследница волхва
Мне говорит о срубе,
В котором тьма жива,

О земляном раскопе,
О ненцах и зэка,
Сожжённом протопопе
И ветках сосняка,

О том, как пустозёры
У синего столба
Делили три просфоры,
Стирая снег со лба,

И как оленеводы
Рубили древний крест,
Как изгоняли годы
Людей из этих мест,

Как на высоком мысе
Стоит Хэбидя-Тен[7],
Пред ним осели выси
И взяли лето в плен.

4. Ледянка — лодка для плавания среди льдов.
5. Братынь — медная низкая чаша.
6. Моряна — мифологическая морская дева, благожелательно настроенная к людям, или сильный морской ветер.
7. Хэбидя-Тен — монумент трём идолам на мысе Висельников, посвящённый трагическим событиям в жизни ненецкого народа.

Ирина Белоколос

Нет другой Итаки

Меняю кожу…

Город мой спит, омытый слезами ночи.
Город, включи тишину немного громче.
Окна слепых квартир разглядишь едва ли.
Как же кричат эти дни… Как кричат… Кричали…
Пули, слова, надрыв—пролетают мимо.
Так быстротечна жизнь… И так уязвима…
Кожу менять всегда неловко и больно.
Молча кричу: «Ну хватит уже!.. Довольно!..»
Лик на доске нахмурен и смотрит строже.
Не умираю. Просто меняю кожу…

Нам быть

На той, прошедшей, проклятой войне
Ушли за горизонт полки и роты,
Ушли в закат. Совсем как на работу.
На той святой и проклятой войне
Их имена нельзя предать забвенью,
Их подвиг нам—как зеркало вдвойне.
Нам проиграть нельзя в другой войне,
Нам—быть сынами, а не жалкой тенью.

Ангел говорит

Там, где прошли мальчишка и собака,
Гоняет ветер рыжую листву,
И доедают тучи синеву,
И дождь-зануда—вот опять заплакал…
И лишь упрямый ворон сделал вид,
Что не заметил плаксу-надоеду,
И не прервал неслышную беседу.
Он прав. Он слышит: Ангел говорит.

• • •

Всё лето в город бился «Град».
Страну корёжило и рвало,
И лишь любовь в руках держала,
Любовь вела сквозь этот ад.
Какая странная страна…
И как в ней выпало родиться?..
Струится ненависть… Струится…
Нет, лишь любовь. Она одна.
Она одна—как избавленье,
Как огонёк в ночной степи.
Прости, смирение, прости.
И только бой… Как воскресенье…

Молитва

Господи Боже!.. Ну есть же Ты где-то там?!.
Ты не уехал в отпуск на острова?
Я понимаю, Тебе надоел этот гам,
Я допускаю: возможно, болит голова…
Господи, миленький, может, Ты всё-таки здесь?
Ты подскажи, как жить в этом чадном аду?
Есть же какая-то истина, Господи, есть?!
Столько вопросов. Ответа никак не найду.
Господи Боже, ну так невозможно, нельзя!
Столько веков наблюдая—скупо молчать.
Пешки наглеют. Сшибли с доски ферзя.
Господи, слышишь? Можешь не отвечать.

Не пей, Гертруда

Это вино горчит. Сомнений—груда.
Только сомнений участь—предрешена.
Это вино горчит. Не пей, Гертруда.
Больше, чем это вино, горчит вина.
Яд, посильней, чем тот,—разъедает душу,
Истины голый череп—из терний лжи.
Истина—это больно, но ты послушай.
Если терпеть не в силах—только скажи.
Ткань бытия сползает гнилою кожей.
Это вино горчит и смывает ложь.
Истина—не позволит быть осторожным.
Горечь испив до дна—ты её найдёшь.

Одиссей

Сколько лет меня по морям носило,
Сколько раз разбивал хитроумный лоб.
А глаза Калипсо—бездонно сини,
И единым оком буравит Циклоп.
Не смотри на мои поседевшие кудри:
Я сквозь годы—стремился к тебе как мог.
Знаю, люди считают меня хитромудрым,
Только проклял меня какой-то бог.
Твои нежные руки—растили сына,
Сохраняли престол, распускали тканьё.
Я вернулся. Пускай не совсем невинным.
Но принёс нерастраченным сердце своё.
Нет другой Итаки. И нет—Пенелопы.
Ты—превыше богинь и родней земли.
Громовержец, тот—просто украл Европу.
Обними. Прими. Я—сожгу корабли.

Радуга над Донецком

Кормлю с руки безбашенные дни,
Топлю в глубинах памяти невзгоды.
Горят, горят сигнальные огни
В кромешной тьме, в любую непогоду.
Лишь по ночам приходит тёплый свет
Минувшей юности, минувших радуг…
На небесах ли тот простой ответ,
Который приоткроет долю правды?..
И город дышит в тёплой тишине.
Он спит вполглаза. Он войной напуган.
Ползёт луна по облачной стене…
Дай Бог, чтоб не был город мой поруган…

Тихо…

Маленьким ангелам больно от резких звуков…
Флёр-де-Ирис

Тихо, тихонечко, можно совсем беззвучно…
Громко кричать не стоит. Не нужно маяться.
Ангелы громких криков всегда пугаются…
Только снаряды ложатся так строго-кучно…
Тихо, тихонечко, можно молиться шёпотом.
Чьё это сердце стучит, как колокол медный?..
Вот и рассвет встаёт мертвенно-бледный.
Дьявол смеётся где-то раскатистым хохотом…
Первые в мир шаги—неуверенно-пробные.
Катится шарик, дрожит на ладошке Вечности,
И не избыть оголтелой, слепой беспечности.
Новое? Старое? Времечко неудобное…

Поцелуй меня, Господи

Ты поцелуй меня, Господи, в самую душу. Пожалуйста.
Пёрышки в горсть собери с моих крыльев поломанных,
Брось их в костёр догорающих кукол соломенных.
Ты поцелуй меня, Господи. Нежно. Без жалости.

Мир за окном

Улиткой по венам ползёт и рыдает осень.
Мир за окном неуютен, простужен, болен,
Взрывоопасен, контужен и не освоен,
И лишь вороны орут о своём в верхушках сосен.
Тень ноября старухой беззубой и нищей
Тихо крадётся по минному полю улиц.
Мы разминулись с весной. Да, разминулись.
Ветер зимы неистово рвёт и свищет.
Мир за окном. Он стар, он устал до дрожи.
Мир за окном, он стал мне ещё дороже…

● ● ●

У меня была страна… Пусть и не богатая.
У меня была она… Лишь дожди заплакали.
Только сердце—тук-тук-тук. С перебоем адовым
Убивают ту страну автоматы с «Градами».
Как мы выживем с тобой?.. Промолчу, пожалуй.
Этот бой—последний бой… Заряжай! Не балуй…

16 мая 2014 года

То, чего не расскажут сотни прочитанных книг,
То, что только кожей, болью, рыданием…
Паутинка жизни рвётся от ветра, как черновик
У ленивого школьника…
Помоги нам, Господь…
Состраданием.

Геннадий Васильев

Треугольное сердце

Антикризисная

Всё от погоды, меняет климат свой Земля…
Ю. Визбор

Сегодня пятница — и значит, завтра выспимся.
А нынче выпьем, не почувствуем вины.
Снег, что готовился к зиме, так и не высыпал.
Пейзажу в окнах не хватает белизны.

А мы за праздничным столом жуём не корочку,
и пьём не квас, и говорим не о нужде.
А годы катятся то с горки, то под горочку.
А снега нет, и нет зимы который день.

Ах, эта оттепель! Ах, эта блажь бесснежная!
Ах, для чего «меняет климат свой Земля»?
Ведь если всё-таки случится неизбежное —
не просто так случится, а чего-то для.

Мороз прихватит эту оттепель плюгавую,
крылом помашет — и нагонит холода.
Но дело в том, что снега — нет. А это главное.
И, по всему, его не будет никогда.

А на углах торгуют пихтами с иголочки,
на главной ёлке — фейерверки до Луны,
и Новый год уже — на улицах и в улочках,
хотя пейзажу не хватает белизны.

А мы за праздничным столом звеним бутылками,
как вызов времени — с икоркой канапе.
А годы катятся вагончиком по стыкам,
и с каждой станцией всё меньше нас в купе.

«Да что ты, правда, прицепился к снегу белому?
Ну нет и нет — что, без него не проживём?!
Мы из мечты снеговиков себе наделаем,
шумнём шампанским и застольную споём».

Сидим за праздничным столом, и свечи плавятся,
и точно знаем, что далёко до беды.
А снега нет — и хорошо.
Мне даже нравится,
что нету этой замороженной воды.

* * *

Евгению Савельеву

А мы родиться подгадали
не в день один, но в год один,
немало в жизни повидали
и вот — дожили до седин.

И, нас сединами отметив,
наш век пускает пузыри,
а пузыри уносит ветер
и топит в озере зари.

А нам топиться не пристало,
ещё не нами взят Парнас,
и наши жёны не устали
ещё с тоской глядеть на нас.

Ах, наши жёны, наши жёны!
Они — как пушки заряжёны,
и мы не властны над судьбой:
ведь стоит где-то ошибиться —
и развернётся гаубица,
и загремит неравный бой —
и мы падём…

Но дело чести, чувство долга
сильнее боли и вины,
и мы ещё пребудем долго
во власти жизни и весны.

Жизнь обернётся нотным станом,
а мы противиться не станем.
Слетятся ноты, как листва,
и затрепещут, и забьются,
и звуки музыкой прольются,
и буквы свяжутся в слова —
и мы споём!

Песенка про велосипед

Утро красит нежным цветом
широту и долготу.
Мы спешим с велосипедом
наверстать свою версту.
Не пылим, не грохочем,
а жужжим и свистим.
Не летим?—Так не хочем!
…ну, пускай—не хотим.

И мотор не стучит,
не возьмёт—не замолчит,
солнце в спицах запуталось,
ветер в уши ворчит.

То тропинкой, то дорожкой,
то прямой, а то кривой,
жму педали понемножку
то от дома, то домой.
Горизонт урезоню,
мелкий пот соберу.
Окончанье сезона:
суслик ищет нору.

Я живу не в лесу,
но молюсь я колесу
и утрами прохладными
солнце в небе пасу.

● ● ●

Трём грациям:
Марине Саввиных,
Румяне Внуковой,
Анне Киселёвой

Явились мне три Грации вчера,
одна другой прекраснее сестра.
Явились наяву, а не во сне.
Теперь живут три грации во мне.

Твоих картин магическая ясность,
твоих стихов кавказская пастель,
твоих романсов подлинность и страстность—
и Светлый Лик, и Промысел, и Цель.

Будь счастлив, Дом, в котором это было,
в котором слово множится на звук!
Живут цветы, хоть озеро остыло.
Звучат стихи.
Искусство сходит с рук.

Зачем поёшь, и пишешь, и колышешь
ты гладь холста, невинную досель?
Мы—не вольны, нам всё даётся свыше:
вот—Светлый Лик, и Промысел, и Цель.

Прекрасен мир, где царство светотени,
где слог в цене и музыка—в весне!
По моему ль, по Вашему хотенью—
прекрасен мир!
Три грации—во мне!

● ● ●

Мне и лето—не лето,
и эта жара—не жара,
потому что—не так.
Потому что—не то и не с теми.
Пыльный шлейф завивая,
за окнами вянут ветра,
уступая недвижному зною привычное бремя.

Что-то будет, конечно. Недаром навстречу судьбе
я бросаю своё треугольное сердце, как дротик.
Но тревожит одно: я не слишком искусен в стрельбе.
Я могу промахнуться.
Кто мне моё сердце воротит?

Томск

Пурга метёт, и ничего не видно.
«Огня,—кричу,—подайте мне огня!»
До боли мне, почти до слёз обидно,
что город мой пургой метёт меня.

Не ждёт меня, и путает, и водит,
слепит и норовит в сугроб спихнуть.
За что же? Не за то ль, что я—свободен,
что свой—неповторимый—выбрал путь?

За руль держусь, ругаюсь без причины,
боясь на дне обочины залечь.
Я свой «полтинник» одолел мужчиной!
Мне есть кого спасать, кого беречь!

Мне есть кого любить. Обидно только,
что город на меня спустил пургу.
Обидно, да. Ведь родом я из Томска.
Я вырос здесь. Я вывалян в снегу

и славного, и горестного детства,
и юности, ушедшей, как в песок.
Мой Томск, ты не лишай меня наследства,
расслышь мой осмелевший голосок.

И память неспокойна, словно совесть,
и давят годы—надо отвечать.
Судьба моя—не начатая повесть,
всё не пойму: с какой главы начать?

И вновь пурга, и в голове—ни строчки,
и нет ни лиц, ни кличек, ни имён…
Ухабы проскочили. Только кочки.
«Огня,—кричу,—огня!» Пришли с огнём.

Евгений Минин

Перемена мест

Любовь-любовь

Ой, не говорите — любовь-любовь,
где сладкие губы, тёмные ночи,
страсти истома, —
скажу короче:
это лишь юных сердец обман.
Когда косая приходит тихой стервой
и просит рассчитаться на первый-второй,
и каждый кричит: я — первый, я — первый…
Может быть, это — любовь-любовь?

● ● ●

От перемены местами земли с небом
у всех получится разная сумма —
обесчещена жизнь ширпотребом
и давно горчит от рахат-лукума.
На небе счастливы все виршеплёты,
не видя, где их валяются книжки.
Лишь пролетающие самолёты
умудряются им щекотать подмышки.

Тит Веспасиан

На плато среди Иудейских гор —
Ерушалаима гордая стать.
Он заветной добычей стал с давних пор,
Вызывая зависть, творя раздор…
Здесь до Бога просто рукой подать.
И любуется храмом Веспасиан,
Иудеям за преданность Божий дар…
А потом взломает стену таран,
И огонь в окно швырнёт ветеран,
Разжигая тысячелетний пожар…

● ● ●

Как это всё тупоголово!
Какой метелью нанесло?
Кому нужна свобода слова,
В котором ненависть и зло?
Слова свободы были с нами,
Иной и смысл был, и лад,
Но неприметно их местами
Переменил какой-то гад…

● ● ●

Злые люди — волки, хитрые — лисы,
то, что есть на виду, — это подобие сцены.
Все преображаются, уходя за кулисы,
там иные запросы и непомерные цены.
Там иногда приходится улыбаться ублюдку
или идти безропотно на приманку афиши.
Вот поэтому Гамлет держит печально дудку,
а скрипач шагаловский слезть не желает с крыши.

Ирод

У меня в семье бардак, плачется Ирод:
жёны — змеи, а дети — просто шакалы,
грызутся за власть и это в такой период,
когда доносы в Рим постоянно шлют «радикалы».
А я людям хотел добра, построил дворцы и храмы,
ладил с империей, славу добыл иудеям,
сражался без страха — всё тело покрыли шрамы,
а остался в памяти — иродом и злодеем.

Старая кошка

Кошка стара — думаешь: вот-вот помрёт,
делишь с ней любимый деликатес;
мы с ней понимаем: страдать будет больше тот,
который останется жить под синью этих небес.
Век кошачий короче, чем век человечий,
два десятка — и сгорает, как та свеча…
Иногда с облачка спрыгивает под вечер
и под бок приткнётся, сладко урча…

● ● ●

Падает, кувыркаясь, словно бумажный,
самолётик с неба в незримую петлю.
А в нём кричат:
— Мама, мне страшно!
— Любимый, прощай!
— Дорогая, люблю!
А потом — тишина вперемешку со страхом,
разрастётся на месте взрыва бурьян.
Боль проходит, и всё становится прахом,
а слова вечно рядом…
Как талисман…

* * *

Жду, когда сделает ангел ручкою pollice verso…
Брюсову бы понравилось — много в стихах латыни.
Строчки прошедшей жизни — дымовая завеса:
Что не взлетело к звёздам, то утонуло в тине.
Даже в Париж не съездил, не погулял по Вене,
Вот и смотрю в окошко, думая: всё напрасно,
Время мимо промчится и тормознёт на мгновенье,
Чтобы успел заметить, как же оно прекрасно…

В спину

Вроде живёшь не в краю чужом,
гуляешь по уличному серпантину,
а сзади какая-то тварь ножом
ударит, как обучали, в спину.
Но всё же иду, и не страшно мне,
свой край непокорный вовек не покину,
поскольку живу в бессмертной стране —
ей тоже ножом стараются в спину.

Диана Кан

Звёзды окликая

Самара: «Русское эхо», 2015. — 240 с.

Время личное и время историческое перекликаются и вновь расходятся в стихах Дианы Кан. Она внимательна к его приметам. Тема уходящей юности, тема перемен в обществе. Что может успеть совершить человек за свою жизнь, что зависит от него в период присутствия на этой земле и в этом государстве? Диана требовательна к себе и к людям, она провоцирует, вызывает читателя из марева апатии, требует честной оценки реалий. Это поэзия действия — резкого жеста, решительного шага, настоящего дела, которыми выражаются любовь или неприязнь:

> Стою, озирая родные просторы,
> И с Богом беседу веду:
> — О, дай же мне, Господи, точку опоры —
> Что перевернуть, я найду!

В дышащих жизнью, схватывающих перемены настроений и обстановки стихах Дианы много странствий, кочевий. Импульс, который задаёт развитие сюжета, зачастую встреча или разлука — лирическая героиня приходит к реке, возвращается в город или покидает его, видится с близким человеком, и переживания этой встречи или расставания открывают её внутренний мир, отношение к окружающим людям и явлениям.

Марина Струкова

* * *

Ракитов куст. Калинов мост.
Смородина-река.
Здесь так легко рукой до звёзд
достать сквозь облака.

И — тишина… И лишь один
здесь свищет средь ветвей
разгульный одихмантьев сын
разбойник-соловей.

Почто, не зная почему,
ступив на зыбкий мост,
вдруг ощетинился во тьму
мой верный чёрный пёс?

И ворон гаркнул в пустоту:
«Врага не проворонь!»,
когда споткнулся на мосту
мой богатырский конь.

Здесь мой рубеж последний врос
на долгие века.
…Ракитов куст. Калинов мост.
Смородина-река.

Юрий Беликов, Николай Бурляев

Колокол, отлитый по наитию

Красная ковровая дорожка, ведущая в Органный зал Пермской филармонии, бела от снега. Он, как из приготовленных хлопушек конфетти, запорошил её именно тогда, когда к истоку этой дорожки стали подъезжать ретромобили, а из них—под приглушённые, ещё затянутые в демисезонные перчатки аплодисменты зрителей—выходить, словно нечаянные вестники утраченной эпохи, народные артисты: Зинаида Кириенко, Николай Бурляев, Алексей Петренко, Сергей Шакуров, Владимир Гостюхин…

Раскрученную под открытым небом ковровую дорожку, виданную большинством пермяков разве что в кино, ретромобили с явлением из оных узнаваемых героев отечественного кинематографа и синхронный, кажется, невозможный на исходе марта вызов снега—всё это подгадал министр культуры Пермского края Игорь Гладнев, сам в недавнем прошлом драматический актёр. А что? Ежели в Первопрестольной к парадам разгоняются тучи, отчего не сгустить их над Пермью и не сотворить зимнее чудо, дабы из крупноснежного облака проступили величавая мелиховская Наталья, мятежный поручик Лермонтов, старец Григорий Распутин образца климовской «Агонии», светлейший князь Александр Меншиков, на ходу перевоплощающийся в генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, атаман Платов, а по совместительству—главный дальнобойщик союзного государства Фёдор Иванович?..

Вот они, посланцы кинофорума «Золотой витязь»! Не ведающие, что идут по той же самой каменной плитке, на которой ещё недавно, точно передразнивающие памятную сутану кардинала Ришелье, восседали (а один ещё и—венчая крышу Органного зала с устремлённым вверх обрубком деревянной руки!) пресловутые «красные человечки» неугомонного галериста Марата Гельмана. Пермь едва ли верила собственным глазам: по преображённой снегом красной дорожке двигались не монстры, не роботы, а живые существа, родные русские люди…

…В буфете Органного зала, на ходу извиваясь снедающими её мыслями, ко мне подползёт явно обеспокоенная материализацией пушкинской строчки «Там русский дух… там Русью пахнет!» записная местная старьёвщица вымороченного пера, чтобы прошипеть:
—Давай ты напиш-ш-шеш-ш-шь про «Золотого витязя» хорош-ш-шо, а я—плохо!..

Я недоумённо пожму плечами: фестиваль ещё не начался, а эта уже шипит… Ничего вам сие не напоминает? Двумя годами ранее над Украиной сбили «Боинг», и ещё не приступили к расследованию, а уже обвинили Россию. У кого учимся?

Когда говорят о русофобии, кто-то отмахивается: мол, не надо перестраховываться, мы—большие, сильные и самодостаточные. Но вот же она, русофобия во плоти—в её ядовитейшем виде! Недремлющая. Дремучая. Изгнанная из насиженных нор. Как написал Борис Примеров, поэт трагической судьбы:

Основы лжи не так уж зыбки:
Для многих дур давно кумир
По чьей-то дьявольской ошибке—
Не Русь, не родина—весь мир!
Не луг, не травы, не деревья,
Не среднерусская луна.
А вместо чистых песен древних
Струится мутная волна…

Что ж так обеспокоились шипящие? Оттого что на закрытии кинофорума придётся—вместе со всем воодушевлённым зрительным залом и прибывшими в Пермь актёрами, а также будто сошедшей с картин Павла Шардакова казачьей дружиной Ермака из Иркутского театра народной драмы Михаила Корнева—встать и выслушать соборный марш «Прощание славянки»? А вставать ох как не хотелось? Тем паче—шевелить скуксившимися губами, делая вид, что подпеваешь?

Тогда, решил я, тем более необходимо переговорить с тем, кто для меня един в трёх лицах: Михаила Юрьевича Лермонтова, Фёдора Ивановича Тютчева и Иешуа Га-Ноцри. Вообще, когда человек, пусть в разные годы, вживается в *такие* образы, на лице навсегда остаётся отсвет этих перевоплощений. Они ему не дают покоя. Так мне, по крайней мере, представляется.

Не знаю, постиг ли я внутреннюю тайну президента «Золотого витязя» Николая Бурляева, но, как мне кажется, на протяжении всей своей жизни он преодолевает некую неправильность в самом

себе, неправильность, которой хочется, чтобы окружающие были правильными, хотя человечество, увы, неисправимо. А может, неисправим я сам, а не Бурляев?

Однако пресёк же он меня — сразу же, на первом вопросе, когда я сначала заставил его задуматься, а потом стал вопрос растолковывать, чтобы дать своему собеседнику время для осмысления. А он:
— Не надо мне помогать! Я — з-заика, меня легко сбить последующим вопросом. Поэтому давайте условимся: вы — спрашиваете, я — отвечаю…

Впрочем, этого табу я не сильно придерживался, потому что иначе ты можешь подавить в себе естественную реакцию собеседника, которая и окажется ценной, однако, пока наш диалог длился, я мысленно примерял к Николаю Бурляеву одну коронную поэтическую формулу:

Должен быть главою государства
мальчик, притворившийся большим.

Должен? Или не должен?

— Николай Петрович, насколько актёр формирует роль, представить нетрудно. Достаточно оценить воплощение этой роли в кино или на театральных подмостках. А если посмотреть зеркально: насколько роль формирует актёра? Довлеет ли она над ним? Ведёт ли его по жизни? И какие роли на вас повлияли в особенности, так, что, может быть, преобразили, стали путеводными?

— Интересный вопрос… Если ты хочешь, чтобы роль тебя формировала, она непременно будет тебя формировать. Начнём с фильма «Андрей Рублёв». Так получилось, что Тарковский писал для меня совсем иную роль. Не Бориски, литейщика колоколов, а Фомы — ученика Рублёва, которую потом блистательно исполнил Михаил Кононов. Однако при чтении роль Фомы мне не понравилась. А вот роль Бориски меня повлекла за собой и потянула, как будто какое-то космическое пространство. Я просто увидел, что это я! И мне стоило больших трудов уговорить Андрея Арсеньевича попробовать меня на эту роль. Он отвечал мне: «Нет, ты мал. Я писал эту роль для другого актёра. Это даже не актёр, а поэт… Чудаков, ему уже под тридцать. Для тебя же написана роль ученика. Ты разве не хочешь её сыграть?»

Я попробовал воздействовать на Тарковского через оператора Вадима Юсова и консультанта фильма Савву Ямщикова. Я вибрировал всей душою — так хотелось сыграть эту роль!.. Не знающий тайны колокольной меди Бориска отлил колокол по наитию, и колокол зазвонил на всю Россию.

Видимо, этот камертон отозвался во мне потом, через многие годы. Съёмки фильма мы закончили в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году. То есть сейчас, в две тысячи шестнадцатом, мы отмечаем пятидесятилетие со дня создания «Андрея Рублёва». А в тысяча девятьсот девяносто третьем я, не владеющий секретом, как это делается, отливаю колокол кинофестиваля «Золотой витязь»!..

Это я вспомнил и осознал только теперь, отвечая на ваш вопрос.

Второй случай — с Никитой Михалковым, с которым мы учились на одном курсе в театральном училище имени Щукина. Существовала такая практика, когда будущие актёры брали «самостоятельные отрывки» произведений и сами их воплощали. Никита предложил мне: «Сыграй у меня роль Карла Двенадцатого». Я сыграл. Отрывок был оценён на «отлично». Это был первый подход к режиссуре у Никиты. И тогда он понял, что и он как режиссёр что-то может, а не только любимый его брат Андрон Кончаловский. Никита загорелся: «А давай с тобой сделаем „Двенадцать разгневанных мужчин“. Ты видел этот фильм?» Я говорю: «Нет». — «Ну ты что! Там в главной роли — Генри Фонда, супермен, суд присяжных, он один идёт против всех и побеждает…» И мы с Никитой сделали это. Спектакль имел большой успех. А Никита окончательно убедился, что он — хороший режиссёр.

К чему я это говорю? От роли в «Двенадцати разгневанных», как и в случае с Бориской Тарковского, я тоже что-то взял. Она мне помогла. На ту пору мне было двадцать лет. И до этого я всё время играл каких-то отроков-подростков, потому что выглядел моложе, чем был на самом деле. А тут вдруг — супермен сорокалетний с приклеенными усами! Один против всех. Сила духа такая, что всех сокрушает. Как это сделать убедительным?

И я себя тогда запрограммировал на то, чтобы у меня в этой роли не было ни одного лишнего движения. Если я поднимаю руку, чтобы, к примеру, взять стакан, то рука моя спокойно, без суеты, от точки до точки, совершает это действие. Если показываю на дверь, тоже — от точки до точки. Никакой юношеской суетливости. Потом это мне очень пригодилось.

Я не играю отрицательных ролей. У меня за всю актёрскую жизнь — только один отрицательный эпизодик в фильме Алексея Германа «Проверка на дорогах». Тогда я согласился на эпизод от нечего делать. Я не знал, кто такой Алексей Герман. Мне, конечно, было известно, кто у него папа — знаменитый советский прозаик и драматург Юрий Герман. А сын его — никому не известный упитанный молодой человек. Других отрицательных ролей у меня нет.

Мне нужны те роли, до которых надо дотягиваться. Как до Лермонтова, многое в себе переоценивая. Как до Тютчева. И, конечно же, — до Иешуа Га-Ноцри в «Мастере и Маргарите». Это вообще вершина жизни нашей, это — Истина, если брать его прообраз. После этого фильма — уже

на протяжении двадцати лет — я отказываюсь от всех предложений. За двадцать лет не отказался лишь от «Тютчева», которого мы сделали быстро, за пять дней, и — императора Николая Второго в «Адмирале».

— Мне довелось общаться с Павлом Лунгиным. Это было вскоре после выхода на экраны его фильма «Остров». Мы говорили в том числе о Петре Мамонове, сыгравшем в нём главную роль. Помню, я тогда заметил, что Мамонов во многом сыграл самого себя. На что Лунгин парировал: дескать, «актёры — таинственные существа. Порой не знаешь, что происходит в их головах. Они — то никто, то одновременно — всё. Они могут воплотить в себе любого, а для этого надо иметь некоторую внутреннюю пустоту». Иными словами, чем режиссёр пустующий сосуд наполнит, тем он и будет. Согласны ли вы с этим утверждением?

— Абсолютно не согласен. Великий Иван Ильин говорил: «Всякий художник творит в искусстве то, что есть он сам». Разумеется, режиссёры что-то могут подсказать, но в итоге всё равно на экране предстанет (или не предстанет) личность того или иного актёра, в данном случае — Петра Мамонова. И в каждой роли будет он, актёр. Его душа, его мысли, его грехи, его порывы к свету. Поэтому я не могу согласиться с Лунгиным. Что значит — «надо иметь некоторую внутреннюю пустоту»? Это ошибка. Это какой-то самонадеянный посыл. Даже Тарковский, который признан сегодня в мире режиссёром номер один, брал на роли в свои фильмы только тех актёров, которых видел как личностей. Безусловно, он что-то дополнял, и мы к нему тянулись, потому что Андрей Арсеньевич был нашим духовным лидером, но всё равно: это мы, актёры, растворены в каждой роли. Это Толя Солоницын, такой, каков он есть. Он и в жизни был таким, каким он воплотил Андрея Рублёва, разве что немного похожим на самого Тарковского. И через меня воплотился литейщик Бориска таким, каков был я сам, разве что, опять-таки, с характером Тарковского. И снова прав Иван Ильин, говоря, что через художника прорекается Высшее Начало. Так что где — Создатель, где — режиссёр, где — актёр? Всё сливается нераздельно в воплощаемом образе, но всегда через личность актёра.

— «Я против, чтобы дети мои были актёрами», — недавно сказали вы. И пояснили: «Очень трудно будет сохранить душу, чтобы через неё говорил Господь». То есть вы поделились прямым опасением, что некий гипотетический Павел Лунгин сегодня может наполнить «некоторую внутреннюю пустоту» юных актёрских душ тем, чем он способен наполнить их по своему режиссёрскому усмотрению?

— Ладно — когда Лунгин. Это ещё не так плохо, если он снимает «Остров» и там сквозит тема, подвигающая человека подумать о чём-то высоком. Но, увы, есть другие режиссёры, которых сейчас больше в рыночном кино и театре, и поверьте: они от тебя потребуют иного. Духовной порнографии: оголения, пошлости. Тебя заставят играть глупые пьесы так называемого «инновационного, современного искусства». Пьески, которые пропихивались экспертным советом Министерства культуры России ещё два года назад. Сейчас мы пытаемся это изменить, потому что в Общественный совет Минкультуры пришли люди, которые могут позитивно влиять на культурную политику страны. Но когда Общественного совета не было, «эксперты», собранные главой одного из департаментов министерства, сейчас уже отстранённой от работы, давали государственные деньги и гранты пьесам, пропагандирующим однополую любовь между школьниками, откровенную русофобию, антипутинские выпады и так далее. Сегодня эти «эксперты» поняли, что их время проходит. И поэтому так забеспокоилась «пятая колонна» от культуры.

Так вот, в те недавние времена, о которых речь, я был против, чтобы дети мои шли в актёрскую профессию. Потому что знал, куда они идут и что им придётся исполнять. Более того: кого-то из них даже увлекали модные режиссёры. И дети мне доказывали, что это же хорошо, интересно, это — новаторство! А то, что он — «голубой», это его право. Хотя я, как отец, объяснял им, что я с этим борюсь всю сознательную жизнь. Молодое поколение уже заражено веяниями нового времени, новым отношением к так называемому современному искусству, которое в Москве расцвело буйным порочным цветом. И — по всей России. Да и у вас в Перми, до недавнего времени оккупированной Гельманом и его клевретами, что было?! Вы сами знаете, как вам сюда пропихивали этих «красных уродов»…

— Вы не раз признавались, и, собственно, это уже в той или иной степени прозвучало и в теперешнем нашем разговоре, что у вас — «критическое отношение к актёрской профессии», и потому вы в последнее время редко играете. Может быть, прав был русский царь Алексей Михайлович, издавший специальный указ по поводу скоморошьей, сиречь актёрской, братии, участвующей в «бесовских игрищах»? А посему: «Быть тишине!» — гласил сей указ.

— Сложная тема. Я, как президент театрального форума «Золотой витязь», проводил по этому поводу своего рода «провокационные» конференции, которые озаглавливал так: «А богоугодна ли профессия актёра?» Приглашал богословов, крупнейших актёров и режиссёров. И мы все пытались

проанализировать, чем занимается современный театр. Я читал тексты из Игнатия Брянчанинова и озвучивал мнение по отношению к театру Иоанна Кронштадтского, которые говорили примерно следующее: «Вы задумайтесь: какими вы приходите домой из храма и какими из театра?»

— Состояния не то чтобы разные, но отличающиеся…

— Отсюда и моё неоднозначное отношение к актёрской профессии. Я всё время решаю: чем я занимаюсь? Кто такой лицедей, прикидывающийся не собою, а неким другим? Одно дело, когда ты пытаешься возвыситься до Лермонтова, Тютчева, Николая Второго, Иешуа Га-Ноцри, преодолевая свои грехи, пытаясь стать лучше, просветлённее. Другое — когда играешь бандитов и преступников. И, по сути, искушаешь народ, девальвируешь главные ценности, искажаешь, извращаешь смысл бытия. Вот почему я и не знаю: окончательно ли вынести приговор нашему актёрскому ремеслу или всё-таки отсрочить, надеясь на возможное оправдание?

— Хотя вы как-то заметили: «Я не люблю актёров, глядя на которых, сразу видно, что они актёры… По сути, я — играющий человек. Я никогда не хотел быть актёром, хотел быть режиссёром и писателем». Иными словами, те, кого вы приглашаете в города России в составе фестивальной команды «Золотой витязь», это не актёры, а «играющие люди»? Или всё-таки — кто-то актёр, а кто-то «играющий человек»?

— Да не все. Кто-то — актёр до мозга костей и другого ничего не хочет, а кто-то задумывается о смысле бытия, и таких на нашем «Золотом витязе» больше. У молодых актёров есть возможность посмотреть на старшее поколение, побыть рядом, перенять духовную эстафету. И сделать выбор: идти ли торговать собою — своим телом и душою, снимаясь в телесериалах, или всё-таки держаться нашей линии? Отказываться сниматься в низкопробном кино. Вот и Алексея Петренко сейчас очень редко увидишь на сцене и на экране. Или — Сергея Шакурова, тоже работающего весьма избирательно. Мы приглашаем в фестивальную команду актёров-личностей, которые думают: о России, о том, «с чего начинается Родина», о смысле актёрского творчества, о смысле жизни. Хотелось бы, чтобы и за нами идущие укреплялись в этих помыслах, видя, что рядом — единомышленники, а значит, они не одиноки.

— Однажды вы обмолвились: «Как только на Руси появляется пророк, как только он начинает говорить о будущем России — его убивают». Нетрудно догадаться, что речь о Лермонтове…

— …И не только о нём.

— Конечно. В этом ряду — и Пушкин, и Гумилёв, и Есенин, и Павел Васильев, и Николай Клюев, и Василий Шукшин, и Владимир Высоцкий, и Николай Рубцов, и Игорь Тальков… А сколько ещё пророков погибло замолчанными, неузнанными! И всё-таки: почему, на ваш взгляд, даже по прошествии почти двух веков фигура Михаила Лермонтова и по сей день остаётся для кого-то раздражающей?

— Не Лермонтов раздражает — он принят как классик. Пытаются опорочить сам образ его. А идёт это от воспоминаний так называемых «современников», которые не были допущены Поэтом к своему сердцу. Именно они, не допущенные к сокровенному, начали плести о Лермонтове небылицы, отзываясь о нём как о человеке неуживчивом, трудном, дерзком и заносчивом. Даже в школах нам частенько преподносится именно такой образ поэта. Даже один наш русский классик, увидевший мой фильм «Лермонтов», сетовал, напирая на букву «о»: «Ну ведь он же был плохой человек! Вы его идеализируете…» На что я отвечал и отвечаю: «И вы туда же?! Трудно сыскать более высокой души! Более героической, подвижнической, пламенной, ясной и светлой». Искажение образа Лермонтова продолжается и поныне…

— Мало того, Лермонтову-Бурляеву припечатывают ярлык «экстремиста». Чем же вы, Николай Петрович, так с Михаилом Юрьевичем досадили?

— Фильм появился на свет, когда объявили перестройку, — в тысяча девятьсот восемьдесят шестом году. Со дна поднялась мутная пена и разлилась, главенствуя в российском обществе. Именно тогда наша «пятая колонна» себя и проявила, подняла забрала. Их раздражало то, что фильм патриотический, о человеке, осознанно принёсшем собственную жизнь на алтарь служения Отечеству. Он знал, что будет убит. В шестнадцать лет уже писал, что пуля попадёт в его грудь…

И не забыт умру я. Смерть моя
Ужасна будет; чуждые края
Ей удивятся, а в родной стране
Все проклянут и память обо мне…

Он и это предвидел: на двадцать лет его действительно просто забыли. Не было такого поэта! А потом стали появляться всякого рода небылицы. Некий Бартенев отправил редактору стишки «Прощай, немытая Россия…». И написал, что это ему читал сам Лермонтов. Поверили и издали, хотя подтверждающего автографа в природе нет. Ещё через пять лет сей Бартенев, уже другому редактору, отправляет другую версию «Немытой России», что-то там подправив и пометив, что это-де списано с подлинника. А подлинника не существует. Пойди проверь. Эти восемь бездарных строк приписали Лермонтову, и до сих пор даже

в школьных учебниках детям преподносят «Немытую Россию» как вершину творчества великого патриота Лермонтова.

— А может, всё-таки прав ваш друг, выдающийся русский критик Владимир Бондаренко, выступивший в своей статье «Скажу честно…» с заявлением: «Хорошая литература во все времена — это, как правило, экстремистская литература»? И тут же — поясняя: «Экстремистом был мой любимый Михаил Юрьевич Лермонтов, его и убили. Экстремистом был Фёдор Михайлович Достоевский…» Вы ведь тоже, Николай Петрович, ходите в тех самых «экстремистах»?

— Бондаренко мне друг, но истина дороже! И с его утверждением я абсолютно не согласен. Оно никак не подходит ни к Лермонтову, ни к Достоевскому, ни к вашему покорному слуге. Да и ко всем, кого считает Бондаренко «экстремистами в литературе». Они писали слово правды. Это разные вещи.

— Но за слово правды…

—…да, убивают…

—…и приклеивают ярлык «экстремиста».

— Да, и Лермонтову, и Достоевскому, и мне за фильм «Лермонтов» приклеивали ярлыки «экстремистов». Но одно дело, когда это говорят адепты «пятой колонны», а другое — мой друг Володя Бондаренко. Это его ошибка. Повторяю: и за Лермонтовым, и за Достоевским, и за другими русскими классиками стояло чувство правды. И — бесстрашие. Никто из них не боялся гибели. Лермонтов шёл в атаку первым, шёл под пули, в яркой красной канаусовой рубахе! Его дважды представляли к золотой медали «За храбрость» и дважды в Санкт-Петербурге в этой награде отказывали…

— «Лермонтов» очень долго не выходил на телеэкраны страны. Фильм режиссёра Юрия Кары «Мастер и Маргарита», где вы сыграли роль Иешуа Га-Ноцри, тоже не выходил, пусть по другим причинам, на экраны на протяжении семнадцати лет. Кроме того, у вас был замысел снять кинокартину о Пушкине — и этому замыслу не суждено было осуществиться. Сценарий, что называется, зарубили на корню…

— После «Лермонтова» и после того, как меня осудили мои коллеги, посмотревшие этот фильм, мне прямо говорил главный редактор Госкино: «Вам не дадут сделать фильм о Пушкине!» И верно: мне не дали его снять, потому что я был в жестокой опале со стороны тех самых поборников «пятой колонны», кричащих о «немытой России», которые пришли к власти после пятого съезда кинематографистов в Кремле в тысяча девятьсот восемьдесят шестом году.

— При этом сама по себе, как оглобля из снега, выпирает красноречивая параллель: отчего же тогда с поразительной быстротой перевоплощается в кино и в телевизоре актёр Сергей Безруков то в Пушкина, то в Есенина, то в Иешуа, то в Высоцкого? Почему Безрукову позволено, а Бурляеву отказано?

— Я, кстати, с симпатией отношусь к этому актёру. Можно предъявлять какие-то отдельные вкусовые претензии в том смысле, что кому-то не понравился Пушкин в его исполнении, кому-то не глянулся Есенин, а кому-то — Иешуа Га-Ноцри. Между прочим, к Пушкину в исполнении Безрукова у меня особое отношение. Я имел все основания не принять чужого Пушкина, поскольку сам хотел снять о нём фильм. Мы, кинематографисты, ревностно относимся к тому, что у нас из-под рук уходят какие-то идеи. Так вышло, что я в гриме Пушкина, как мне говорили окружающие, похож на Александра Сергеевича больше, чем сам Александр Сергеевич на своих прижизненных портретах. Поэтому я имел все основания предъявить Безрукову какие-то претензии. Однако принял этот фильм — и концепцию его, и исполнение. Я предъявляю Сергею только один критический упрёк, о котором он знает: Безруков очень быстро говорит, практически скороговоркой, проглатывая очень важные тексты. А так… он похож. Ему веришь. Он темпераментен. Он талантлив. Он ярок.

— Во времена Пушкина многие западные осведомители сообщали по своим дипломатическим каналам, что Александр Сергеевич — «руководитель Русской партии». Я знаю, вы убеждены, что Пушкина убили не «из-за красавицы жены», а по причине его большой осведомлённости в государственных делах. Не символично ли: с той поры минуло более двухсот лет, а в России до сих пор нет Русской партии, выражающей интересы титульной нации? Может, это оттого, что действительно произошла «мутация русского духа», о которой в своё время так пеклись западные радиоголоса?

— Приятно общаться с образованным человеком, который правильно думает. Вы даже привели верную формулировку врагов Пушкина, действительно считавших его «главой Русской партии». И именно поэтому — из-за его осведомлённости в государственных делах (а он был допущен императором к самым тайным архивам, знал историю нашего Отечества и видел все её хитросплетения) — его, как «главу Русской партии», и вывели из строя. Для этого пригласили лучшего стрелка Франции Дантеса. Юнцу было двадцать пять лет, и для того, чтобы его приблизить к тому обществу, в которое был вхож Пушкин, Дантеса усыновил голландский посланник, гомосексуалист барон Геккерен. Не странновато ли: «папочке» — сорок

три, «сынку» — двадцать пять, и при этом у усыновлённого Жоржа есть живой отец в Париже. Как можно было усыновить? Но тем не менее это было проделано. А дальше всё — как по нотам. Подмётное письмо — и естественная реакция Пушкина: дуэль…

Что было после? Поднимается человек, фактически претендующий на то, чтобы называться новым «главой Русской партии». И этот человек — Лермонтов. Он мог бы возглавить эту партию, потому что абсолютно русский по духу, хотя и с шотландскими корнями. Кстати, это очень интересный вопрос: как Россия, подобно волшебной мельнице, перемалывает гены всех потомков былых чужеземцев-переселенцев и делает каждого из них русским? Эфиопа — Пушкиным, шотландца — Лермонтовым, татарина — Тютчевым, немца — Блоком. И так далее. И у всех — обострённое чувство русскости и России.

Как убивали Лермонтова? Но прежде — примечательный эпизод: Дантес одалживал пистолет для убийства Пушкина у сына французского посланника Эрнеста де Баранта, который через два года после убийства поэта, придравшись к незначительному поводу, вызывает на дуэль Лермонтова. И приводит его практически на то же самое место у Чёрной речки, как будто это русская Голгофа, и стреляет (я не утверждаю), возможно, из этого же оружия, потому что Дантес убивал Пушкина именно из пистолета де Баранта. Но Барант промахивается — у него рука дрожала от страха. Проходит ещё два года. И Лермонтова добивает однополчанин Дантеса, сын видного откупщика Николай Соломонович Мартынов.

Сейчас я абсолютно убеждён, что дуэли не было. А было политическое убийство. В последние два года жизни Лермонтова за ним повсюду следовал так называемый «кружок шестнадцати». И всюду, где был Лермонтов, его окружали эти «шестнадцать». Об этом мне говорил Юрий Селезнёв, известный наш учёный-филолог, критик и публицист, работавший над книгой о Лермонтове, которую ему написать не дали. В расцвете лет его тоже убили в Германии, потому что Селезнёв в своих исследованиях и прозрениях выходил на роль пророка, но уже в литературоведении.

Юрий Иванович спрашивал: «Что общего у Лермонтова с этим „кружком шестнадцати"?» Им, этим юнцам, по семнадцать-девятнадцать лет. Лермонтову — на момент, когда они начали общаться, — двадцать четыре года. И, по утверждению компетентных людей, Михаил Юрьевич опережал развитие лет на десять. Тем не менее, эти юнцы всё время рядом. Каждую ночь. Из Лермонтовской энциклопедии можно почерпнуть, что они «говорили каждую ночь обо всём, как будто III отделения не существовало».

Характерный пример: когда Лермонтова отправляют на Кавказ в первый раз, все «шестнадцать» едут через Москву за ним. И окружают его там, на Кавказе. Когда Лермонтов отправляется в отпуск для свидания с бабушкой в Санкт-Петербург, все «шестнадцать» также следуют за ним. И опять окружают его в Санкт-Петербурге. Когда поэта вновь изгоняют на Кавказ «под пулю», многие из «шестнадцати» вновь едут за ним и присутствуют при убийстве Лермонтова.

Почему — убийство? Кандидат баллистических наук, полковник бронетанковых войск Виктор Кузенев, занимавшийся темой гибели Лермонтова, рассказывал мне, что он, как специалист, ездил на место дуэли. Измерял баллистическими приборами угол наклона места, где это происходило. Самый больший угол — три градуса. Практически ровная поверхность. А пуля попала в тело Лермонтова под углом сорок градусов. То есть стреляли снизу вверх. Это невозможно при нормальной дуэли на ровной поверхности.

— Но пишут, что якобы Михаил Юрьевич стоял на неком возвышении, отсюда и пуля пошла снизу…

— Нет, выше стоял у Лермонтова Грушницкий на месте дуэли с Печориным. Но это — в «Герое нашего времени». Там — другое. А в реальности, повторяю, по баллистическому измерению, была ровная поверхность. Дальше: почему убийство? Это уже рассказывал мне кандидат медицинских наук Георгий Абсава, автор книги «Четыре года из жизни поручика Лермонтова»: если бы всё обстояло так, как описывали присутствовавшие при убийстве (а они показали, что поэт упал замертво), то практически крови бы не было. Это знает каждый медик: человек умирает, сердце останавливается, и перекачка крови заканчивается. Убийцы же бросают Лермонтова на месте, где он упал, садятся по коням и в дрожки, хотя в дрожках было место для Лермонтова, чтобы его, раненого, довести до лекаря, а лекарь рядышком — здесь, в Пятигорске. Ехать-то версту. И поэт был бы жив. Но они его бросают.

А когда приезжают обратно после жуткой грозы через четыре-пять часов, всё место, где упал Лермонтов, было обильно перепачкано кровью. Это значит: он не «тут же умер», не «упал замертво», а был тяжело ранен и жил… Час, два, три часа — мы не знаем сколько. «Убивают пророков, — говорится в фильме «Лермонтов», — и чернят их имена». Так и Пушкина чернили — что лизоблюд, так и Лермонтова — что плохой-де у него характер. И дальше — относительно всех умерщвлённых русских гениев по всей нашей отечественной истории.

— Известно, что вы считаете кинофорум «Золотой витязь», которому исполнилось уже четверть века, «более важным делом», чем режиссура

и актёрство. Я сейчас даже подумал, что «Золотой витязь» — это, по сути, та Русская партия, которая формально отсутствует в перечне иных партий в России. Причём Русская партия, состоящая из многих ячеек: здесь и собственно кино, и театр, и музыка, и русская православная мысль, русская литература и живопись, и даже русское боевое искусство, те самые «Пересветы двадцать первого века», коих вы однажды собрали в Сергиевом Посаде… У меня есть ощущение, что в положенный час из кокона должна выпорхнуть долгожданная бабочка…

— Я в это верю. Вы знаете, без особой гордыни, просто радуюсь тому, что идеи, которые я впервые озвучил в тысяча девятьсот девяносто втором году в девизе «За нравственные идеалы. За возвышение жизни человека», когда мы практически первыми начали говорить о том, что в стране нет государственной и культурной политики, следствием чего стала деградация нации, нас услышал президент России Владимир Путин. И он фактически построил «Основы новой государственной и культурной политики» на том, что проповедовал на протяжении двадцати пяти лет «Золотой витязь», — на просветлении нации через культуру. Так что у нас есть шансы победить.

— Существует известное выражение: «А был ли мальчик?» — из горьковского «Клима Самгина». В этом смысле вашим кинематографическим дебютом стала роль в фильме «Мальчик и голубь», а затем был фильм «Иваново детство». И, конечно же, отливающий колокол Бориска в «Андрее Рублёве». Помнится, в своих знаменитых «Метаморфозах» поэт Николай Заболоцкий писал: «Я умирал не раз. О, сколько мёртвых тел я отделил от собственного тела!» Поэтому, учитывая, какой тернистый путь пройден актёром, режиссёром и человеком Николаем Бурляевым, хочу спросить: а жив ли тот самый мальчик в сегодняшнем Николае Петровиче?

— А он никуда и не делся. И то, что я чувствовал в пятилетнем возрасте, я ощущал и на протяжении всей своей жизни. Даже писал на сей счёт:

> В пять лет казалось: я — частица
> Всего-всего большого дня…
> Но должен в мире раствориться,
> Чтоб Вечность вновь вошла в меня.

Так что перед вами абсолютно тот же мальчик, только окрепший, превратившийся в воина, непобедимого воина. Которого можно только убить. Я не боюсь ухода из жизни: я видел *тот мир* и то, как он прекрасен, и сочту за счастье туда попасть! Поэтому, если кто-то захочет прервать мою жизнь, то, ради Бога, хоть сейчас — я готов оставить сей мир и перейти в иной… Там намного лучше. «Умрут лишь только зло и плоть», — как написал я когда-то. А далее:

> Я смерти не боюсь, но жизнь люблю.
> И жить хочу как можно доле,
> Зло побеждая доброй волей,
> Всё претерплю и устою.

Алесь Пашкевич

Сдвиг

Авторский перевод с белорусского

Его знают все. По крайней мере, слышали или встречались. Если и не с человеком с конкретной фамилией, то с тем, что она начала означать в обществе двадцатого и двадцать первого веков: *Дизель*.

И ни те века, и ни общество без него уже существовать не могут, хоть и не всегда помнят о том. Однако ежедневно слышат и встречаются…

Во время появления этой повести о судьбах изобретателей и нефтемагнатов возникало жгучее желание: из того, что было, есть и будет, выписать реальность, которой, возможно, и не было, но которая… рождается в воображении читателя или хотя бы самого автора. Но он—обычный человек, временами даже не знающий и себя. А что говорить о реально действующих сто лет тому назад персонажах?

Вот и пришлось, осознавая творческий грех биографической выдумки да минуя тенёта документальной прозы, изменять некоторым героям имена или буквы в фамилиях, перевоплощая их в двойников-тени.

И, надеюсь, они не будут иметь за это обиды. Ну хотя бы лучшие из них…

Автор

I.

В стекле окон кафе «Vikón» остывало парижское солнце.
—Здесь не занято?—спросил долговязый посетитель.
—Нет, пожалуйста,—мужчина в синем свитере машинально кивнул и перелистнул страницу толстой книги.

Но читать расхотелось, и он внимательно осмотрел соседа в спокойно-сером костюме, затем свои ногти—и прислонился к спинке кресла.

Они заказали почти одно и то же: цыплёнка на гриле, салат и вино. Только тот, кто в костюме,—красное, а мужчина в свитере—белое.

Солнце спустилось ещё ниже на бульвар Монпарнас, отразилось в сонной Сене и снова мягко клюнуло лучом в стекло. Вид с веранды закрывали железные развалины в деревянных лесах—уже на треть воздвигнутая башня Эйфеля. Четвероногую раскоряку не обсуждал только немой…
—А как вам этот монстр?—спросил мужчина в свитере.
—Да ничего… Забавно. Кажется, и солнце к нему уже привыкло: смотрите, лежит на башне, как на держателе яйцо всмятку.
—Вы поэт?
—Нет, даже наоборот…
—Откуда же такая метафора?
—Наверное, от пресыщения техникой. Я—инженер. Это вы, думаю, литератор,—мужчина в костюме поправил позолоченное пенсне и кивнул на отложенную книгу.

«Свитер» улыбнулся:
—Нет, также наоборот,—он показал шмуцтитул, на котором жирно значилось: «Сопротивление металла Йосифа Легера»,—и протянул руку:—Преподаватель технической школы Адам Мацкевич.
—Рудольф Дизель,—представился и собеседник.

Они заказали ещё вина и заговорили как давние товарищи. Оба были незащищёнными от алкоголя, поскольку встречались с ним редко, а потому сразу захмелели и ещё быстрее раззнакомились.

Рудольф и Адам родились в Париже. Родители первого—немцы—некогда имели здесь кожаную мастерскую, главный доход которой приносил переплёт книг. Однако началась французско-прусская война, семья подалась в Англию. Наполеон III со своей армией капитулировал, и тринадцатилетнего Рудольфа отправили к родственникам в немецкий Аугсбург—набираться науки. И он не подвёл: получил хорошую стипендию и закончил Мюнхенскую высшую техническую школу. А девять лет назад по рекомендации своего учителя профессора Линде опять вернулся в Париж, на холодильный завод Хирша, и стал его директором.

Судьба Адама была схожей: также война и эмиграция родителей…
—Невероятно,—удивлялся Рудольф,—мой отец, как и твой, был переплётчиком!

Казимир Мацкевич, отец Адама, молодой профессор, уволенный с работы за независимый характер и неблагонадёжность, вынужден был «лечить» в своём имении книги для всей губернии. Коллеги и друзья пытались поддержать деньгами, но гордый шляхтич обижался и отказывался. И тогда они пошли в обход: отыскались сотни книг, владельцы которых в одночасье захотели дать им новую жизнь. Так и появилась работа…

— Во как! Правда, до того он преподавал историю в Виленском университете, а затем, оставив переплётчицкий станок, стал повстанцем, взял в руки ружьё и ушёл в лес…— Адам поднял бокал и предложил: — Давай… за здоровье наших родителей!

Пригубили, и Рудольф уточнил:

— А Виленский университет — это где?

— В Литве-Беларуси,— Адам вздохнул, видя, что собеседник остаётся в недоумении, постучал пальцами по столу, пододвинул две тарелки, а между ними поставил бокал с вином.— Вот, смотри… Здесь, где салат,— Польша…

Рудольф улыбнулся и бодро кивнул.

— А где остатки курицы — Россия. Между ними — родина моих предков. Теперь же и там, и там,— Адам ткнул пальцем на салат и вино,— Российская империя…

Неизвестный «исторический материк», было заметно, заинтересовал до этого скованного и напряжённого Рудольфа. Он расстегнул на пиджаке несколько верхних пуговиц и опять спросил:

— Так твой отец был повстанцем… диктатором, как и Наполеон?

— Нет,— Адам прислонился к столу и расправил пушистые усы.— Главой восстания против российского царя в тех краях был другой человек…— Адам задумался и махнул широкой ладонью.— Забыл фамилию… Это был, если помнишь историю французской революции, Марат и Робеспьер в одном лице.

— Интересно,— Рудольф расстегнул все пуговицы на пиджаке и поправил галстук.— И давно это было?

— В тысяча восемьсот шестьдесят третьем, за год до моего появления.

— А сам ты — преподаёшь?

— Да. А когда начала расти эта башня,— Адам кивнул на леса железного сооружения,— стал одним из армии инженеров на её строительстве.

Они допили вино и вышли на улицу. На Марсовом поле, где и вырастала Эйфелева башня, уже собирался октябрьский полумрак, отогнанный от Сены огнями Йенского моста. На тротуарах стало меньше людей, изредка проезжал экипаж, на скамейках шептались влюблённые пары.

— А чем ты непосредственно здесь занимаешься? — спросил Рудольф и спрятал пенсне в верхний кармашек пиджака.

— Заклёпками,— Адам взбудоражил свой густой ёжик волос, улыбнулся, и от глаз разошлись молодые морщинки.— Из-за них я и попал на эту небедную стройку. Представляешь, во всей конструкции необходимо скрепить восемнадцать тысяч металлических деталей. А они — от одной до десятков тонн! И по проекту держаться будут на двух с половиной миллионах болтов-заклёпок. А они, как понимаешь, должны быть прочнее основного металла. Вот я и слежу за их закалкой. Ну да ты и сам, как инженер, знаешь…

Рудольф поднял брови и заговорил как на лекции:

— Прочность металла можно значительно повысить путём его высокого нагревания, а затем — быстрого охлаждения. Желательно — в жидкостях.

— Точно так. К счастью, мои заготовки оказались лучшими — и меня взяли на работу. Ну а процесс закалки металла, признаюсь, я подсмотрел ещё во время студенческой практики в одной из провинциальных кузниц…

Они — молодые, неугомонные, амбициозные — могли говорить о своих заботах бесконечно, но каждого утром ждала работа, и потому вынуждены были прощаться. Обменялись адресами, договорились о новых встречах — и разошлись.

…Состарившийся Казимир Мацкевич уже собирался ложиться спать, когда возбуждённый сын обнял его и неожиданно выдохнул:

— Что-то ты давно не рассказывал о своих молодых годах…

Отец сел на кровать, внимательно посмотрел на сына — и улыбнулся:

— Я уже дремлю на ходу, прости. А если тебе не спится — ты знаешь тот шкаф. Возьми и почитай…

II.

В то же время через улицу от кафе «Vikón», ещё ближе к Сене и стройке Эйфеля (с желтком заходящего солнца над ней), в отдельной комнате ресторана «Viktori», ужинали две пары, также имеющие отношение к Российской империи: прямое — молодой полковник Виктор Александрович Берг с красавицей женой Елизаветой, и отношение косвенное — немецкая семья Люциусов, Генрих и Клара. Мужчины провели в общем путешествии две недели, и, поскольку совместная дорога очень сближает, со стороны выглядело, что на ужин собрались друзья детства. И язык их был необычным: одни говорили по-русски, вставляя кое-где немецкие слова, другие — по-немецки с российским акцентом.

Виктор Александрович, мужчина лет сорока, стройный, с искрящимися зрачками под изящным пенсне, с немного опухшим лицом, находился в необычайно приподнятом настроении. Это была его первая поездка за границу. После относительно спокойной гарнизонной службы

и преподавательской работы в военной академии ему улыбнулась служебная фортуна: старательного офицера назначили начальником статистического отдела канцелярии Генштаба Военного министерства. Зарплата конторского делопроизводителя не очень радовала, но одновременно Виктору Александровичу разрешено было остаться и в прежней должности адъюнкт-профессора в военной академии — по совместительству. Вскоре он был возведён в полковничий чин. Впервые семейный доход перерос расходы, и в свободные вечера, хотя и редкие из-за занятости на службе, Виктору Александровичу чаще заулыбалась молодая жена. И они начали даже думать о потомках, а дабы вырваться из столичных забот и немного поправить здоровье, решили осуществить давнюю мечту — съездить за границу. Ну а куда ехать из России, ежели не в Париж?

Отпрашиваться в отпуск долго не пришлось. Не потребовалось даже предусмотренного в таких случаях рапорта. Начальник канцелярии генерал-лейтенант Николай Львович Лобич был упрямым холостяком с оригинальным распорядком дня. Просыпался он около десяти утра, пил чай и часа два работал. Затем открывал дверь кабинета, чтобы выслушать доклады подчинённых. В три-четыре часа дня ехал в Сельскохозяйственный клуб обедать. Почему именно туда? Как-то признался, что только там теперь «Русью пахнет». Затем был на службе до полуночи, после чего отправлялся в тот же клуб играть в карты — до трёх-четырёх утра. Из-за этой игры всегда был без денег, хотя и имел с наградными содержание около тринадцати тысяч в год… Подобные оказии убедили его в том, что военным сколько денег ни дай — всё равно будет мало, а посему — незачем грабить казну! Не завтракал сам и был уверен, что не стоит им обеспечивать на службе и низшие чины. Ну и, ко всему, не одобрял браки, поскольку был убеждён во вредности их для служивого люда. А молодым женатикам вначале даже сочувствовал. Однажды после доклада полковника Берга в тоне строгого выговора начальник канцелярии генерал-майор Лобич заявил, что тот может не появляться перед его светлыми очами до середины осени — пока в военной академии не начнутся занятия. Это и было завуалированным разрешением — хотя и по-военному грубым — на отпуск.

— С тебя всё равно толку — как с козла молока, — подытожил генерал. — Говоришь, а в глазах вон — сиськи жены прыгают…

Так и выбрались Берги в Париж. По дороге, правда, запланировали поваляться в лечебных грязях (в первую очередь Елизавета — чтобы разрешить женские проблемы) и попить целебных вод (подлечить желудок мужа). Собирались тщательно: скупили по Петербургу все дорожные справочники и без устали расспрашивали знакомых, кому посчастливилось побывать «за кордоном». Провожали в путешествие Бергов, казалось, все канцелярские служащие Генштаба…

По Варшавской железной дороге в обычном вагоне второго класса спустя двое суток (с пересадками, почти без сна) добрались через Вильно, Гродно, Белосток, Варшаву, Вроцлав к своей первой остановке в горном силезском Зальцбрунне. Здесь они с удовольствием ездили на конном экипаже по красивым горным местам к старинному замку, вечерами пили кофе в санаторном ресторане, ну а перед сном отдавались водно-грязевым процедурам. Повезло и с доктором, потомственным австрийцем, объездившим, по рассказам, полмира, изучавшим влияние климата на различные человеческие хвори, ну а теперь практиковавшим в Зальцбрунне.

На одном из водных сеансов Виктор Александрович Берг и познакомился с искренним и дружественным аристократом Генрихом фон Люциусом. Он лечил то ли гастрит, то ли язву.

— Простите, вы не из Пруссии? Кажется, у вас не совсем немецкое произношение… — обратился к Бергу на втором или третьем сеансе фон Люциус.

Они сидели на террасе вдвоём и любовались тихим вечером, потягивая из глиняных пиал минеральную воду. Полковник расправил воротник махрового халата и, медленно повернувшись к собеседнику, тщательно отрапортовал:

— Позвольте представиться: подданный его величества российского императора Виктор Берг. С кем имею честь лечиться?

— Генрих… Генрих фон Люциус, — улыбнулся тот и поднял пиалу. — Направляюсь в Париж, дабы навестить жену, у которой заканчивается театральный тур, и напомнить ей о супружеском долге. Ну а затем забрать её в Петербург.

— В Петербург?! — Берг даже приподнялся. — Вы поедете в Петербург?

— Ну да. Служу там советником немецкого посольства в России, — голос Люциуса наполнился бесстрастными нотами. — Под руководством его экселенции посла графа Пуртолеса. Может, слыхали о таком?

— Безусловно, его резиденция на Большой Морской, в особняке около «Астории».

Теперь уже в недоумении взлетели густые брови Люциуса:

— Вы даже знаете, где это?..

— Ну да… Мы живём в Петербурге, я на службе там… по военной линии.

Генрих фон Люциус ещё долго высказывал крайнее удивление неожиданной встречей, после чего предложил свою компанию в путешествии до Парижа, благо у него тоже заканчивалось санаторное лечение.

— Первую остановку сделаем, естественно, в Вене. Затем через Зальцбург — в Люцерн. Рекомендую

железной дорогой добраться до прекрасной горы Пилатус… Уверен, что человеку с такой фамилией — Берг-гора — это будет интересно! Поплаваем по тамошнему озеру, а оттуда — в горно-альпийский Андерматт! Я покажу вам знаменитый Чёртов мост, который после перевала Сен-Готард с боями преодолевал ваш Суворов! Потом мимо каскадов бурлящей Роны верхом доберёмся до железной дороги — и вперёд, к сказочному Монтре на Женевском озере! И — через Понтарлье — в Париж! Согласны? Только не говорите, что не сможете…

Ну кто же от такого откажется?!

И всё было великолепно. Правда, последние сутки дороги по Франции дались тяжело: вагон отчаянно шатало (наверное, опаздывали), и ночью не спалось…

— Я думал, что буду скучать в одиночестве, а тут судьба подарила мне радость совместного путешествия в вашей приятной компании! — Люциус в минуту прощания был неутомимо галантен и мил. Его дойч казался мягким и певучим, почти родным. — Желаю вам приятных дней в Париже. Ну и, надеюсь, не откажете мне ещё в одной встрече. Хочу познакомить вас со своей половинкой. К сожалению, у Клары уже закончились гастроли, на спектакль пригласить не могу. Но… знаю неплохой ресторан — «Viktori», около Марсового поля, напротив Йенского моста. Счёт прошу разрешения оплатить мне. До встречи в семь вечера завтра…

И вот они — Люциус и Берг — за шикарным столом с по-французски изысканным ужином, с пьянящим вином и недавними воспоминаниями.

— Клара, ты не поверишь! — оживлённо жестикулировал Генрих. На его высокий лоб спадал золотистый чуб, который потомок тевтонцев вынужден был время от времени закладывать за ухо. — На зальцбруннском курорте я попробовал татарский бифштекс! Это что-то… Мы долго ходили по плато и страшно проголодались. Попросили в ближайшей столовой чего-либо горячего, основательного. А там — только лёгкие холодные закуски… И тогда мой друг Виктор настаивает на мясной порции. Нам и предложили тот бифштекс. Ты же знаешь, Клара, как я люблю бифштекс, поэтому охотно согласился. А нам подали накрошенное сырое мясо в анчоусах с сырым луком! Однако с каким энтузиазмом мы его уничтожили — ты бы видела!..

Друзья засмеялись. Генрих поднимал бокал, вкусно выпивал и неторопливо закусывал, сильные желваки пробуждались на продолговатых челюстях. Виктор — как настоящий полковник — предложил тост за присутствующих дам. Выпил, удовлетворённо присел и поправил на манжетах серебряные запонки; казалось, что они неуклюже цеплялись за кромки рукавов пиджака (никак не мог привыкнуть к гражданской одежде). В этот миг в его зрачках под блеском пенсне закипал шоколад.

— Но вы, господин Генрих, после зальцбруннского татарского бифштекса полностью отыгрались в Зальцбурге, — Берг охотно продолжил недалёкие воспоминания. — Помните предложенное вами венгерское вино?! Такой душевный ресторан, как простая забегаловка, где даже на столах не было салфеток. Я заказал тогда нам два по пол-литра, однако кельнер предложил сначала только по четвертушке… И этого хватило, чтобы связать нам ноги! Мы ещё с час не могли оторваться от скамеек…

— А мне казалось, Генрих, что ты собирался по дороге ко мне подлечить желудок, а не добивать печень, — поддержала разговор очаровательная Клара, и все опять бодро засмеялись…

Прощались поздно — с настойчивым предложением Берга встретиться в Петербурге, уже на их квартире.

— Отказ будет приравнен к объявлению войны! — категорически поднял указательный палец Берг, и под его чёрными ресницами вспыхнули озорные искорки. — А на самом деле здорово, что наши страны — союзники. Это, я вам скажу, не Англия какая… — он проглотил недоговорённость и предложил стременной тост за дружбу своих народов и императоров.

К британцам полковник Берг также не имел особой антипатии. Англия вспомнилась подсознательно: он знал, что ещё с весны отношения с ней из-за влияния на нефтяные месторождения Каспийского моря обострились, и это подтолкнуло Генштаб к идее создания отдельного Закаспийского корпуса, «Положение об управлении и смете» которого перед отпуском и разрабатывал начальник отдела канцелярии Военного министерства полковник Берг.

III.

Калиновский, руководитель упомянутого Адамом восстания 1863 года, взошёл на виселицу в двадцать пять лет — его теперешний возраст… Упоминание об этом настолько сильно впечатлило Адама, что, несмотря на поздний час, он долго не мог уснуть. Тихо закрылся в отцовском кабинете, зажёг побольше свечей, аккуратно разложил на старом дубовом столе папки с документами, обращениями, письмами, газетными вырезками…

Вот похожая на листовку «Харугва свабоды»: «Уверенные в своих силах, поддержанные действительным признанием края, по приказу центральной власти Народа мы подняли наше знамя над отрядом трудящихся Беларуси…» Адам прочёл вслух и в который раз подивился мягкой звонкости языка своих родителей. Его уже с лет шести начали учить белорусскому, а затем были и польский, и русский. Кроме, естественно, французского, он мог говорить и по-немецки, но тропой гуманитария не пошёл…

«...Это борьба святая,—читал дальше Адам,—она за целостность разделённых земель, за собственность обездоленных в своём отечестве сыновей!.. Так к оружию! К оружию, верные сыны своей земли! На врага каждый, кто не продал совести! На последний бой племя героев зовёт неотомщённая кровь, свободное будущее, счастливое завтра».

То счастливое завтра, как уже знал Адам, так и не наступило. Всё завершилось поражением, виселицами, сибирской каторгой либо изгнанием.

Он пытался представить себе, что же происходило в том неведомом крае между Бугом и Неманом—и в романтических грёзах вырисовывались видения Парижской коммуны.

Ему было тогда семь лет, но всё помнится удивительно ярко. Усач дядя Ярослав с сияющей саблей и такими же искрящимися глазами... Они подолгу закрывались с отцом и о чём-то своём говорили, а мальчишка не мог наиграться с оставленным ему пистолетом...

«Дядя Ярослав, давно я не посещал твою могилку»,—подумал Адам и перекрестился.

Казалось, молодой жизни не будет конца... тогда, когда их «питерской пятёрке» (Виктору и Константину Калиновским, Ярославу Домбровскому, Игнату Здановичу и Казимиру Мацкевичу) было, как говорил отец, «на чуб больше двадцати».

И всех четверых, чьи фотографии висят над столом, нет на этом беспокойном свете. Виктора, историка-палеографа, забрал туберкулёз. Его младшего брата Константина—царская виселица. У дяди Ярослава тоже сложилась короткая и романная судьба: после окончания Николаевской академии Генштаба шляхтич Домбровский разработал план вооружённого восстания, был арестован и попал в тюрьму, откуда в шестьдесят четвёртом сбежал и вместе с женой эмигрировал за границу, остановился во Франции—и стал генералом Парижской коммуны! Во время одного из боёв плечо разорвала пуля—и через два часа в парижском госпитале Ларибуазьер его земная жизнь закончилась...

Когда однажды Адам попытался сравнить события того восстания с Парижской коммуной, отец не согласился.

— Там,—он показал глазами на фотографии своих товарищей,—была борьба прежде всего за свою родовую честь и свободу...

— И ты...—Адам нервно покусал губу и выпалил:—Тоже стрелял, убивал?

Отец вздохнул, долго ходил по кабинету, сел—и стал рассказывать, как о вчера приснившемся, сначала по-французски, а затем незаметно для себя перешёл на белорусский:

— Под Вильно мы атаковали царскую роту пехоты, которая охраняла мост. Роту разбили, но мост взорвать не смогли. Мина не сработала... Начали поджигать, но из города подоспел отряд конных казаков. Наш отряд отступил к Ошмянам, казаки по снегу и через лес не смогли преследовать... Спустя несколько дней меня направили в Вильно: связаться с руководством провинциального комитета, найти медикаменты и деньги. Должен был встретиться с Игнатом Здановичем, с которым был знаком по Петербургскому университету. Игнат закончил его со званием кандидата математики, затем учился в Берлине, издал здесь, в Париже, брошюру «Воспоминание о филоматах и филаретах»—и в начале шестьдесят третьего вернулся в Вильно, где был избран повстанческим начальником города и главным казначеем...

Отец оторвался от воспоминаний, подошёл к книжному шкафу, что-то тщательно поискал в нём, затем махнул рукой и снова присел к сыну; на состарившемся—в неполные пятьдесят лет—лице сверкнули две слезинки.

— Оказалось, Игната арестовали... Наверное, кто-то из своих, как это водится, выдал... И он в Доминиканском костёле, преобразованном в тюрьму. Дом Здановича обыскали и конфисковали. Игнат и его отец—университетский профессор—сидели в отдельных камерах. Но палачи не смогли вырвать у шляхтичей никаких признаний! Перед виселицей они увиделись... Когда профессор Зданович вошёл в камеру, сын стоял на коленях перед священником, исповедовался... Увидев отца, вскочил и обнял... «Я счастлив и благодарен Богу, позволившему мне погибнуть за Отечество»,—прошептал он. Мать и сестру попрощаться с Игнатом не пустили. Его вывели на площадь в исподнем и ещё с час держали на морозе. А когда полицмейстер в последний раз предложил раскаяться и рассказать о повстанческой организации, Игнат достойно ответил: «Меришь меня собственной подлостью?!» Вот оно как, а ты говоришь, стреляли ли мы, убивали ли...

Девичья фамилия Адамовой матери также была Зданович. Это она, сестра упомянутого замученного повстанца, на Рождество 1863-го встретилась в Кёнигсберге с Казимиром Мацкевичем, куда привезла мандат на издание газеты «Голос» и средства на это. «Голос» должен был информировать Европу об их борьбе и стать сборным штабом военной экспедиции из Восточной Пруссии и Королевства Польского в Литву-Беларусь и Жамойтию.

Газета выходила три месяца, а в апреле 1864-го Казимир Мацкевич и Мария Зданович, уже как венчанные супруги, выедут на встречу с военным комиссаром Литвы за рубежом Болеславом Длусским в Париж, где и узнают об окончательном поражении восстания. На руках у них останутся небольшая сумма денег и «билет» на право свободного проживания во Франции с печатью Отдела Литвы Польского национального правительства, а через полгода появится и сын Адам...

Он развернул новую папку—как раз с отпечатками «Голоса»—и стал неторопливо читать примятые, пожелтевшие, размера обычных листовок страницы…

«Мы исчерпали все мирные средства. Требовали, дабы царь нам дал, что нам нужно,—не дал.

Пошли дальше и начали пассивное сопротивление. Пели и молились Богу, дабы привёл Москву к разуму. Но Москва была под властью сатаны и не слышала божественных вдохновений, и когда на наших губах была молитва, посылала пули в наши беззащитные сердца…»

«Век XIX… С деспотизма начали проявляться права человека; сначала по отдельности, а потом объединились в хор, который вышел из Франции и дошёл до Москвы… Всё, что противится воле Бога и правам человека, соединяется с лагерем царизма…»

С каждой страницей для Адама вновь открывался таинственный мир—мир его отца, мир его матери, мир их далёких неизвестных предков—то, что хоть и казалось мифической Атлантидой, но подсознательно пульсировало в его литовско-белорусской крови.

Опьянённый и успокоенный звуками прошлого, он и заснул над теми газетами. И было ему в то время сладко, счастливо и тепло—в недавно купленном на воскресном базаре синем свитере, которые только начали приживаться во Франции и который напоминал ему тот, уже давно малый да изношенный, связанный по шотландскому узору мамой незадолго перед отходом её в мир иной…

IV.

Целебные грязи силезского курорта не погасили женские проблемы Елизаветы Берг. Однако через два месяца она объявила мужу о своей беременности, и тот—как одержимый корнет—до ночи носил Лизуню на руках, неустанно шептал: «Курка моя пушистая»,—пока жена не разозлилась на своего «бесхвостого петушка»…

Надо признаться, Виктор Александрович, хоть и прошёл немалую военную дорогу с грубыми казармами вначале, от рождения чувствовал в себе мягкую лирическую душу. Ещё с кадетского корпуса бредил он о чём-то необычайно возвышенном, что представало в образе обворожительной дамы сердца. И она не заставила себя долго ждать: появилась пред ним в солнечный воскресный вечер в образе девушки с милым личиком, нежными кудряшками ржаных волос, с бодрыми формами, платьем на кринолине, грациозно обтянутом на талии, с декольте в форме сердца… Обер-офицер Берг смертельно, до серенад, влюбился в свою будущую жену, писал-посвящал ей стихи, осыпал поцелуями и подарками, благо матушка, царство ей небесное, оставила на то определённые средства… И вот он отблагодарён сам—будущим потомком!

—Лиза, ты даже не представляешь, как ты меня обрадовала! Взамен моих поэм ты подаришь мне роман!—не унимался сорокалетний полковник.—Если родится сын, давай его так и назовём—Роман…

Однако сбыться желаемому не было суждено: накануне весны у Елизаветы случился выкидыш, и их семейная жизнь перекрасилась в ядовитые цвета.

Жена скучала от одиночества, потому что не имела ни подруг, ни даже знакомых. Муж с утра уходил на службу и возвращался только к обеду, голодный и уставший, а вместо горячего супа да бифштексов либо семейных котлет получал очередную порцию нареканий на алчную кухарку и его, чёрствого и нехозяйственного… Надломили спокойствие и канцелярские интриги-шашни: за все годы безупречной службы он, главный делопроизводитель и начальник статистического отдела канцелярии Генерального штаба, разработавший беспрецедентное «Положение» отдельной действующей армии, в списке других офицеров был один награждён орденом Святого Владимира IV степени, всего лишь IV, хотя другие, даже низшие рангом, были удостоены III степени. Как тут не разочароваться да не впасть в отчаянье?

Но бесконечные ссоры с женой отравляли жизнь ещё больше, и офицер от безысходности убегал на службу, а на следующее утро уже созревал к разговорам о разводе или хотя бы разъезде. Лиза возбуждённо соглашалась, но уже через минуту начинала плакаться о своих ничтожных финансовых условиях. И он пожертвовал немалую сумму золотом и отправил её за границу—подлечиться да восстановиться. У жены опять были Швейцария и Франция, и вернулась она почти прежней Лизой—спокойной, довольной, ласковой, помолодевшей. Правда, без денег, но с чемоданами приобретений-обновок, которые ещё месяц посыльные доставляли на их квартиру из пограничного литовского Вержболова.

А потом, посреди лета 1890 года, Виктор Берг неожиданно получил приказ прикомандироваться на военные сборы под Нарвой. Дабы украсить жене дни разлуки, он абонировал в питерском французском театре место и настойчиво попросил отвечать на письма. А ещё вынужден был приобрести походное снаряжение и седло (лошадь с вестовым дал начальник кавалерийской школы).

На другой день по прибытии в лагерь пришлось рысью преодолеть около сорока вёрст пыльными августовскими дорогами, после чего чуть не попал в лазарет. Зато во время завтрака полковник Берг видел вблизи сразу двух императоров: огромного медвежеватого Александра III, в зелёном военном сюртуке и фуражке (казавшейся слишком маленькой для его тыквообразной головы), и Вильгельма II, невысокого молодого человека со смешными вздёрнутыми вверх усиками (недавно

возведённый на престол немецкого кайзера и короля Пруссии, он, казалось, ещё не привык к своему положению). Императоры после завтрака сели в открытый экипаж, но Вильгельм II вынужден был встать и поспешно снять пальто, неизвестно зачем поданное ему лакеем… Александр III подчёркнуто громко называл коллегу на «ты» и удовлетворённо улыбался. Вслед за коронованными инспекторами в лёгкие кареты втиснулись военные министры и министры иностранных дел. Высокопоставленные лица направились к Нарве, за ними — кавалькада младших чинов из различных российских и немецких ведомств. Все подтянутые, с сиянием чиновничьего высокомерия на припухлых после бессонницы лицах. В одном из них (да!) Берг узнал своего знакомого по прошлогоднему путешествию — Генриха Люциуса. Их взгляды встретились, и немец первым поднял руку, повернул коня и подъехал ближе. Он заметно изменился. Глаза под густыми бровями показались какими-то неживыми, стеклянными даже… Может, тоже от бессонницы?.. Лицо истощённое, без прежней живой мимики. Однако Генрих поздоровался всё же с радостной улыбкой:

— Узнаёте? А я уже, Виктор Александрович, знал, что вы здесь… На днях встретил в театре вашу жёнушку. Показалось, она сильно скучает одна в Петербурге…

— Бог с вами, герр Люциус, как не узнать! Доселе благодарен за ваш милейший escorte… — Берг неловко облизнул губы. — Как не забыл и о вашем с фрау Кларой милейшем обещании поужинать у нас.

— Спасибо, но… сами понимаете, служба. Его императорское величество кайзер отбудет домой через три дня, а там ещё с неделю безвылазно работа в посольстве…

— Конечно, позже! Я ведь тоже пока залёг здесь на манёврах.

— Так встретимся! — Люциус вскочил на коня. — Заранее напишите когда…

И вот наконец за плечами остались пыльные походные обеды и ужины наспех. Жена с неожиданной радостью начала готовиться к встрече с немецкими друзьями ещё с утра, сама контролировала кухарку, несколько раз напоминала, чтобы та ни на что не скупилась.

— Они такие милые! Правда, любимый?

Виктор Александрович даже поперхнулся от неожиданности: он уже и забыл, когда это «любимый» слышал от жены. Щёки его враз вспыхнули, а в ответ он только и смог кивнуть головой.

И ужин удался на славу! Были поданы холодные закуски с икрой, свиные медальоны в шалфее, заяц с розмарином, куриная печень с белым вином и яблоками, паштет из лосося в соусе…

— Вы решили нас обкормить! — благодарно шутили гости, но угощались охотно.

Дамы пили красное французское вино, а мужчины после водки перешли на коньяк.

Виктор Александрович чувствовал себя наисчастливейшим жителем Петербурга. Пылая остроумием, декламировал по-немецки Шиллера и Гейне, по-русски Державина и даже своё. И, как водится за подобными столами, пьянел — и от немало выпитого, и от ласковых улыбок жены. Последнее, что он более или менее ярко осознавал, — это как уговаривал Люциусов остаться ночевать…

Утреннее пробуждение, которое торопила похмельная жажда, было тяжёлым. Через опухшие веки колол свет ламп («Забыли ночью потушить?»), в голове стреляли старинные пищали. Попытался приподняться — кровать пошатнулась под ним, как лодка. И тут сердце остановилось — и, казалось, вот-вот выскочит через виски: рядом с ним, полунакрытая белоснежным одеялом, лежала… спала… раздетая жена советника посольства кайзера Вильгельма Клара Люциус!.. Её чёрное кружевное бельё было разбросано на кровати и возле… Похолодевший полковник машинально нагнулся поднять корсет-лифчик — и боковым зрением заметил, что в спальне около столика кто-то сидит…

— Я думал, полковник, что ты уже и не проснёшься… И тебя придётся пристрелить сонного!

Виктор Александрович узнавал и не хотел узнавать голос Генриха Люциуса. Щёки его вспыхнули отчаянным пламенем, глаза округлились; как оглушённая рыба, он попытался хватить воздуха и что-либо произнести, но тут опять заколотилось сердце, и он только смог испуганно затрясти головой.

Вздохнула и томно потянулась фрау Клара, затем сонно улыбнулась, замигала, увидев над собой чужого мужчину, нервно крикнула, словно обожглась о него, — и, укручиваясь в одеяло, соскочила на пол. Заметив мужа, задрожала и с истерическим криком:

— O mein Got! Heinrich, das ist unmöglich![1] — выбежала из спальни…

А Генрих Люциус даже не моргнул.

— Так куда тебе, свинья, выстрелить?! — он медленно взвёл курок револьвера и нацелился. — В голову, чтобы раскололся твой поганый череп и жена увидела мозги на подушке? Или в сердце, чтобы вытекло побольше твоей похотливой крови?!

Виктор Александрович готов был вот-вот потерять сознание…

— А может, сначала в колено, чтобы ты ещё повыл от боли перед смертью и обмочился?

Люциус поднялся и медленно процокал к кровати. Его прежний друг с вытаращенными глазами прилип к стенке, выставил вперёд дрожащие руки и зашептал:

1. Боже мой! Генрих, это невозможно! *(Нем.)*

— Нет, нет… Не убивайте…

Люциус вздохнул и присел рядом, положил руку с револьвером на смятую простыню и… тоже неожиданно зашептал:

— Если хочешь, будешь жить. Только взамен отработаешь. Меня заинтересует любая информация из твоей канцелярии, Генштаба или вообще министерства. И ты мне её будешь передавать, ясно?! — слово «ясно» было выкрикнуто, оно ударило пулей по ушам оторопевшего полковника. — В противном случае ты за счастье воспримешь самоубийство… Твои фотографии в объятиях с разведчицей-иностранкой мы с соответствующим текстом разошлём по многим кабинетам Петербурга, — Люциус постучал револьверным дулом по карману, из которого выныривал ремешок фотоаппарата. — И тогда ты даже своими стихами не отмоешься. Как говорят, besser ein Auge verlieren als den guten Ruf[2]. По-вашему, кажется, более точно: береги платье снову, а честь смолоду. Ясно?!

Виктор Александрович вздрогнул и тихо закивал…

Так быстро завербовать человека ещё никогда не удавалось матёрому разведчику российской секции отдела III-в немецкого Генштаба Генриху Люциусу. Он даже с какой-то жалостью взглянул на своего несчастного визави (или, подумал, как произносят в любимом им Париже: vis-à-vis) и попытался успокоить:

— А так ничего не случится, да и ничего страшного ты не будешь делать.

— Ага… — неожиданно очнулся Виктор Александрович. — За измену с женщиной — предать отечество?!

Люциус хмыкнул и в недоумении встряхнул головой так, что кудрявый чуб откинулся назад, и продолжил на «вы»:

— Только давайте без патетики… Мы же — союзники. Сами же, герр полковник, видели, как наши императоры появились перед армией — как братья. Словом, не рвите душу. Будьте здоровы!

Люциус встал и пошёл к двери, возле которых повернулся и добавил:

— Вот что ещё… Милая ваша жёнушка Елизавета Никодимовна даже согласие подписала о сотрудничестве со службой разведки… в прошлый свой визит во Францию. И, по всему, пока не пожалела. И на встречах в театре кое-что из ваших записей нам передала. Так что вы, пожалуйста, тоже постарайтесь. Напомню ещё раз: обмен информацией между союзниками — это не измена ни присяге, ни отечеству…

Утопающему всегда хочется верить в соломинку. И Виктор Александрович Берг не был исключением. Одного он не мог знать: в те дни «братские» связи между Германией и Россией начали охладевать, и переговоры в Нарве между императорами не согрели их… Подписанный некогда «Союз трёх», договор о дружбе и сотрудничестве между Россией, Германией и Австро-Венгрией, не был продлён. Императоры с министерскими свитами разъехались по железной дороге в разные стороны — ни с чем…

V.

За спиной, за окнами, за перестуком вагонных колёс оставались тысячи километров. И несравненные Баку, Тифлис, и неожиданные мосты над горными реками, и невероятные каменные ущелья. И два месяца работы…

В небольшом городке Сульянов, где Кура выливается в Каспий, азербайджанский миллионер Айдар Зэйналабдин Тугиев задумал построить холодильный завод. Его рыбные промыслы обильно раскинулись на триста вёрст от южных иранских берегов до Махачкалы. Воды Дагестана дарили ему тонны сельди, а Кура, спешившая к азербайджанскому побережью через Турцию и Грузию, радовала в своей дельте лососем, осетром, белугой, севрюгой, миногой, судаком. Сельдь сразу засаливалась, а вот остальную рыбу консервировать было жалко. Так и возникла мысль о холодильной установке. Подумали, подсчитали: при нынешних ценах в России и Европе курские рыба да икра через два года окупят даже самый большой и дорогой холодильный завод парижского концерна Хирша. И послали туда заказ, выполнять который, учитывая высокую стоимость работ, выехал в неизвестный край с бригадой наладчиков сам директор Рудольф Дизель, а с ними — три грузовых вагона с материалами и оборудованием, из которых через два летних месяца непрерывной работы и выросла морозильная громадина — единственная в своём роде на тысячи вёрст вокруг!

Работа была не только тяжёлой, но и нервной. Тугиев пытался самостоятельно всё контролировать и командовать. Фундамент, стены и, казалось, каждый камень не избежали внимательного взгляда заказчика. Это уже потом Дизель узнал, что миллионер рос в бедной семье сапожника и с десяти лет был отдан отцом в подмастерья к бакинскому каменщику. С двадцати лет сам руководил стройками, и тут — пропустить свою?..

Во многом экспериментальный завод, в компрессорных установках которого вместо огнеопасного метилового эфира использовали аммиак, заработал в конце августа, а до половины сентября его складские камеры были заполнены рыбой, которая по новому железнодорожному ответвлению в вагонах-рефрижераторах поплыла по всей России…

Парижский концерн барона Хирша был по-царски (по-хански?) отблагодарён. Его директор Рудольф Дизель и главные инженеры за выполненную работу получили двойную зарплату. На трое

2. Лучше потерять глаз, чем хорошую репутацию *(нем.)*.

суток затянулся прощальный ужин, после которого были экскурсии по Баку — старый город и Апшерон.
— С рыбой порядок навёл. Теперь, если благословит Аллах, займусь нефтью, — то ли подумал, то ли констатировал Тугиев.

Обеими руками поправил лёгкую папаху из чёрного каракуля и бодро вздохнул; аккуратная (тоже чёрная) бородка, бодрые усы выступали едва ли не до ушей, правая бровь приподнята…

Их процессия из пяти конных экипажей, которые здесь называли на французский манер дилижансами, возвращалась к отелю по Николаевской улице, и Тугиев приподнялся, нахмурился, а когда перед ними предстал новый двухэтажный дом, не без гордости указал на него рукой:
— Вот… тоже мой замысел… Первая в мусульманском мире гимназия для девочек. Хвала Аллаху, в этом году был первый выпуск. Пятьдесят восемь учащихся, большинство — из бедных семей. Учёба, одежда, питание — бесплатные, — он удовлетворённо присел и обратился к Дизелю: — Моя старшая дочь Ханым тоже её закончила. И решил я отправить её с братом, сыном моим Зафаром, в Европу, языкам вашим подучиться и хорошим наукам. Для меня всё это — немая пустыня, а ты, мой дорогой, судя по всему, учёность с материнским молоком всасывал… — миллионер, пока сказанное им переводилось, глубоко просверлил Дизеля каштановыми зрачками. — Будь советником детям моим в неизвестном им Париже.
— Уважаемый Айдар, для меня это большая честь, — Дизель даже немного смутился. — Сделаю всё необходимое. Вот только… сам я, по правде, надолго оставаться во Франции не планирую. Хочу в следующем году переехать в Германию и открыть там завод двигателей.
— А ты думаешь, что я детей более чем на год на чужбину отправлю? — смутился и Тугиев. — Мы всех, кому выдаём зарубежные стипендии на учёбу, обязываем через некоторое время возвращаться на родину. А как же иначе?..

И был отъезд из Баку, и долгий сон в комфортном купе до Тифлиса и дальше, и неутомимый перестук вагонных колёс…

Идея познакомить детей Тугиева с Адамом Мацкевичем возникла у Дизеля сразу же по возвращении в Париж.
— S'il vous plaît[3]… Помоги! Ты же хоть по-русски с ними поговорить сможешь. Они хорошие ребята…

Договорились встретиться вечером возле гостиницы «Champs-Élysées», где поселились Тугиевы. До университетских занятий оставалась ещё неделя, и окончание тёплого сентября было решено потратить на экскурсии и знакомство с городом.

— Бульвар Монпарнас, к Эйфелю! — сказал Адам извозчику, когда все четверо сели в экипаж. — Соборы и музеи вы и без нас рассмотрите, а вот это… Впрочем, из всего Парижа это место я лучше всех и знаю…

Адам замолчал и начал внимательно рассматривать сына и дочь Тугиева.

Зафару, типичному кавказцу, с худобой в лице и в плечах, на вид было лет пятнадцать. Одет в приталенный серо-синий костюм, пиджак немного удлинённый и застёгнутый на все пуговицы. На голове — чёрный фетровый цилиндр. Ханым, старше брата весны на две-три, была в своём национальном костюме, который вначале удивил и подчеркнул необычность их встречи. С головы девушки едва не до колен стекала лёгкая прозрачная чадра. Под ней — узкая бирюзовая блуза-кабатик с цветочным орнаментом на кромке, с большим треугольным вырезом, в котором белелась вышитая серебряным бисером рубашка. Чёрный широкий пояс подчёркивал грациозную талию, от него шла длинная воздушная юбка-шелтэ, также бирюзового цвета. Смолистые волосы густой косой падали на уже сформированные и налитые ожиданием грудки… А какие глаза! Большие, бездонные чёрные глаза под длинными бровями. Она постоянно прятала их, глядя вниз, но когда на минуту удавалось встретиться с ними — на Адама искрилась высокая библейская даль…

Перед Йенским мостом они остановились и к башне Эйфеля подошли пешком. Зафар, поддерживая фетровый цилиндр рукой, поражённо изучал железную громадину, а Ханым оживлённо улыбнулась и вдохновенно спросила:
— А можно… туда? — и показала рукой вверх.
— Да! — улыбнулся и Адам. — Более того, предлагаю там и поужинать. На втором этаже — неплохой ресторан.

Как раз перед ними остановился лифт восточной опоры башни. Прикреплённый к отдельным рельсам, он поднимался по угловой траектории благодаря гидравлическим насосам.

Солнце висело ещё далеко над кварталами. Снизу доносились хриплые гудки клаксонов. Ветер шелестел в перегородках башни и складках одежды.

Они заняли отдельный столик у застеклённой витрины, заказали баранину, запечённую в яблоках, чай и безалкогольный пунш.
— А я думала, что самые высокие башни — это нефтяные, на нашем Апшероне… — сказала Ханым брату, но поняла, что её услышали все, — и покраснела.
— Впечатляет? — спросил, чтобы прервать паузу, Адам и, не дожидаясь ответа, добавил: — Многим, на самом деле, она не нравится. Около трёх сотен французских писателей и художников даже

3. Пожалуйста… *(Фр.)*

протестовали против этой постройки Эйфеля, назвали её гигантской фабричной трубой.

— Простите,— перебил его Рудольф Дизель,— Адам был одним из ведущих инженеров на этой стройке.

— Да?! — удивился уже Зафар.

— Ну да,— кивнул как бы между прочим Адам и закончил: — А теперь здесь многие из тех писателей и художников любят посидеть. Оправдываются, что это единственное место в Париже, с которого не видно башни…

За весь ужин больше разговорить гостей не удалось. Они оставили щедрые чаевые, которые Зафар назвал по-своему — бакшиш. Когда же узнал, что по-французски это называется pour boire, дословно — «на выпивку», брезгливо поморщился и покачал головой.

Из ресторана опять вышли на открытую террасу с деревянным полом. Солнце уже снижалось за Сену и густо золотило бульвар, куда и решили вернуться посетители. Однако Ханым на миг застыла, затем по-детски ухватилась за рукав брата, что-то сказала по-своему и озорно посмотрела вверх.

Зафар нахмурился и грубовато крикнул — тоже по-своему.

— Нет, это разрешено и вполне возможно…— словно понял их реплики Адам.— S'il vous plaît, если хотите.

Над ними возвышались четыре колонны второй платформы, которые постепенно сближались и, переплетаясь, образовывали колоссальную стальную пирамиду с третьей платформой. Второй и третий этажи соединял уже вертикальный лифт. Он был составлен из двух кабин, верхняя поднималась на сотню метров, а нижняя служила противовесом. Заманчиво поскрипывая, этот лифт и поднял их на площадку наблюдения, оказавшуюся шагов в двадцать поперёк. Там никого не было, и они медленно — друг за другом — прошли по всему периметру, с любопытством поглядывая за плотно зарешеченные борта. Ханым — последняя — ступала мягко, как по льду, словно испуганная лань, но вдруг очнулась, подняла руки и опьяняющим голосом выкрикнула:

— Yüksək! Yüksək![4]

А затем, обеими руками придерживая длинную пухлую юбку и напряжённо покусывая губы, бросилась по ступенькам вверх!

— Ханым! — громко возмутился брат, но она не слышала.

Быстро стучали башмачки по железным пластинам, как её мятущееся сердце. Один пролёт… Второй… И она — уже не лань, а озорной птенец, неожиданно выпорхнувший на свободу… Чадра в солнечных искорках — как античный нимб… И — только ветер, и — только небо…

4. Высоко! Высоко! *(Азерб.)*

Когда назавтра Адам пришёл на квартиру Дизелей и заговорил о Ханым, Рудольф удивлённо поднял голову:

— Слушай, а ты ненароком… не влюбился?!

И сразу же увидел, какой ответ пылал в неспокойных глазах друга…

VI.

Рудольф Дизель не был романтиком. Более того, в его сознании преобладала математика. Однако душа полнилась поэзией. Особенно во времена поиска и раздумий. И тогда он декламировал наизусть любимые стихи, если был на прогулке, или закрывался в кабинете с томиком поэзии, или, как сейчас, садился за рояль и подолгу играл сонаты Бетховена: его бодро-охлаждающую «Лунную» под № 14 или родниково-бурливую «Бурю» № 17…

Что-то было в них близкое механику и композитору. Бетховен смело противопоставлял крайние музыкальные регистры, создавая особый стиль, отличающийся от распространённой повсеместно «кружевной» манеры клавесинов. Соединить в одном цилиндре силу огня и механики пытался и Рудольф Дизель, хотел преобразовать в реальную симфонию идеальную силу термодинамики. Книга Карно «Рассуждения о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу», написанная и опубликованная сто лет назад, была его настольной и читалась с не меньшим наслаждением и душевным подъёмом, чем томик стихов Байрона или современника Малларме. Карно первым начал критику парового двигателя и заговорил как о применении сжатого воздуха для теплового двигателя, так и о методе прямого впрыскивания топлива в цилиндр. Критиковать и говорить, безусловно, можно, но вот как всё это осуществить? В металле и в действительности, а не на бумаге и в мыслях… По всему миру — на заводах, поездах, кораблях — работают паровые машины, коэффициент полезного действия которых — пять процентов! А в механическую работу переходит лишь четыре процента от всей потраченной энергии, так как процент ещё тратится на трение механизмов. Почти всё вылетает в трубу! Тем не менее их — «паровики» — не могут вытеснить более слабые и более дорогие двигатели на светильном газе или бензине. А Дизель грезил превзойти опробованные двигатели Отто! Те всасывают в цилиндры заранее подготовленную рабочую смесь, которая сразу же взрывается. Он же проектировал другие циклы: поршень всасывает в цилиндр воздух (а не рабочую смесь), сжимает его, затем впрыскивается топливо и самовозгорается. Переход от идеи к практике, правда, едва не стоил ему и здоровья, и семейного благополучия…

Он был респектабельным директором Парижского завода холодильных машин. Профессор Линде пригласил его на работу в Берлин, и Дизель

стал членом правления завода с окладом в тридцать тысяч марок. Мог ли он о таком и мечтать, когда голодным тринадцатилетним мальчишкой уезжал-бежал из охваченного войной родного Парижа в родной родителям Берлин? А сейчас у него шикарная квартира на Кюрфюрстендам — и ни одной материальной проблемы!

Однако Дизель выдержал только три года — и оставил работу. И снова не обрёл умиротворения, бредил о лаборатории и опытах с «идеальным» двигателем.

К тому времени он — уже автор изданной в Берлине книги «Теория и конструкция рационального теплового двигателя, призванного заменить паровую машину и другие существующие в это время двигатели», а также патента под № 67207 на свой двигатель. В необъяснимом эмоциональном запале Дизель разослал на десятки немецких заводов письма с предложением построить двигатель нового типа и приложил к ним свою брошюру. Летели месяцы, однако назад не пришло ни одного одобрительного отзыва…

Тогда у него и начались необъяснимые головные боли, острые, молниеносные. Врачи не могли их диагностировать, а выписанные рецепты не приносили спасения. Если не помогали ни Бетховен, ни Вагнер, он закрывался в кабинете и подолгу курил сигары — и незаметно снова забывался, обкладывался бумагами, что-то до умопомрачения писал и чертил, чертил и писал.

Через знакомых профессоров удалось наконец заинтересовать и убедить дирекцию Аугсбургского завода, который взялся за постройку нового двигателя, правда, получив на него от Дизеля авторские права. Но инженер и тем был доволен. Он почти сутками находился в отдельной заводской мастерской. Просыпался рано — и до ночи корпел над чертежами и конструкциями. Основной задачей оставалось создание в цилиндре высокого давления. В качестве топлива была опробована угольная пыль, после чего решили использовать керосин.

И вот в июле 1893 года, после крещения дочери Дизеля Луизы, состоялся запуск первого двигателя. Однако на восьмидесяти атмосферах не выдержал индикатор, какой-то болт прошипел над ухом конструктора и вонзился в стенку.

Двигатель не завёлся. Идеал не совпал с практикой.

Дизель был почти в отчаянии.

— Вот ещё бы немного ниже — и мог бы вам пробить голову… — механик выцарапал болт и подбросил его на ладони.

Дизель внимательно осмотрел разорванную пополам железку — и вспомнил о своём парижском знакомом Мацкевиче с его заклёпками.

«Башня уже возведена… Ханым с братом вернулись к отцу в Баку… — подумал Дизель. — А не пригласить ли его к себе?»

Так Адам Мацкевич попал в Аугсбург, после чего машиностроительный концерн «Братья Карели» приобрёл патент на двигатель и создал французское общество «Дизель». И в то время, когда его председатель сидел за роялем и, разбудив всю квартиру, доигрывал «Бурю» Бетховена, Адам готовился к запуску третьего образца двигателя Дизеля, как любовно успел его назвать.

Вскоре в мастерскую, захватив вместо утреннего кофе сигару, пришёл и главный конструктор. Вид двигателя заново возбудил его: очищенный, с кулачковым валом уже сверху, с большим колесом-маховиком, с воздушным насосом для впрыскивания топлива. Его, насос, уговорил установить Адам, который сейчас в замасленном комбинезоне сосредоточенно проводил последнюю проверку патрубков водяного охлаждения и на бодрое приветствие только грозно мотнул головой.

— Что ж, с Богом, — прошептал Дизель.

Два механика подвели привод, двигатель встрепенулся, натянув штативы, что-то в нём злобно заурчало, в лицо ухнуло сырым выхлопом, затем поршень заходил самостоятельно — и мастерскую накрыл барабанный грохот, который не могли приглушить радостные крики присутствующих. И младший Карель, владелец завода, и Мацкевич, и два рабочих-механика бросились обнимать Дизеля, чуть не подняв его на руки, но инженер чудаковато отпихивался и кричал:

— Приборы, приборы… следи-ите!

Испытания прошли успешно. Двигатель проработал самостоятельно тридцать минут с невероятным на то время результатом: тридцать два процента полезного действия. Самый лучший паровой давал только шестнадцать, а газовый Отто — двадцать четыре.

— Это, господин инженер, победа! — поздравил Рудольфа Адам.

— Нет, дружище, это только начало… — вздохнул конструктор.

Но и начала было достаточно, чтобы о нём написали центральные газеты Франции, Англии, Германии, Бельгии, США. Дизелю сотнями начали присылать приглашения на конференции и бизнес-встречи, и он отправился в своё рекламное турне по Европе.

За первый — 1895-й — год реализации патента на новый двигатель общество «Дизель» получило около трёх миллионов золотом…

VII.

Утром шёл обычный петербургский дождь. Грохот карет и лошадиных копыт эхом пробивался даже сквозь толстые стены огромного дома военного министра Петра Ивановича Куропаткина на Садовой, и хозяин снова порадовался, что приподнял свои жилые комнаты и рабочий кабинет на второй этаж. Того, правда, требовал тайный циркуляр

Департамента полиции, настоятельно рекомендовавший перенести «служебное пространство на верхние этажи в целях безопасности ввиду возможных террористических актов против членов царской семьи и высокопоставленных чинов».

«Как будет с теми актами — неизвестно, а вот на первом этаже шума было бы больше, особенно в такое обложное утро», — подумал министр, выглянул в окно, где в туманном мареве спрятались и Садовый мост, и Мойка вместе со всем Марсовым полем, вздохнул, сел за свой инкрустированный стол из морёного дуба и заказал чай.

Генералу от инфантерии Петру Ивановичу министерская служба чрезвычайно нравилась. И не потому, что позволяла в любое время открывать дверь в царские покои или в Зимнем дворце, или в Ливадийском, — наоборот, от императорских глаз Пётр Иванович старался держаться подальше. И не из-за безграничной власти над сотнями тысяч подчинённых прикипел сердцем к этой должности — накомандовался за свой военный век немало. Выразить в мыслях и словами, почему так комфортно, спокойно и душевно чувствовал себя вот в этих министерских комнатах, за вот этим столом, у него не получалось. Нравилось — и всё тут!

В дверь деликатно постучал адъютант. Принёс белый чайник с чашкой, печенье и шоколад.

— Ну кто там первый? — потирая руки, спросил министр.

— Первым с докладом записан помощник начальника канцелярии полковник Берг. Разрешите позвать?

Министр перелил настоявшийся чай в чашку, отхлебнул, жеманно отставив палец, и выдохнул:

— Приглашай.

Полковник Берг бодро склонил голову, лихо ударив каблуками, и присел к столу, с уважением глядя на министра и уже в который раз удивляясь его необычному сходству с молодым российским императором Николаем II[5]: такой же правильный, ровный овал лица, такой же разрез глаз, и усы с нежной бородкой, и лёгкая причёска набок с ранними залысинами…

Помощник начальника канцелярии тезисно рассказал о мобилизационных планах на следующий год, о будущих структурных преобразованиях в отдельных приграничных округах (Варшавском, Финляндском, Дальневосточном и Закаспийском), об увеличении финансирования армии (о чём, разумеется, его превосходительство господин министр уже знал), что позволит качественно обновить в первую очередь артиллерийские части и улучшить казарменное содержание.

— Что имеется в виду? — Пётр Иванович заинтересованно приподнял брови.

— Планируется в гарнизонах открыть чайные, а также ввести новый табель продовольственного обеспечения в частях в военное время и в период военных сборов или манёвров…

— Ясно. Неплохо, — шмыгнул носом министр и снова отхлебнул чаю. — Ну а проблемы?

— По тем же планам, ваше превосходительство, по-новому переосмысливаются тактические характеристики военно-морского флота и комплексная оборонительная стратегия, как сухопутная, так и водная. Так вот, в связи с последней имеем наибольшие хлопоты…

— Что, морской министр канителится?

— И да, и нет… — полковник Берг пожал плечами. — Техническое обеспечение наших кораблей производит не лучшее впечатление. По манёвренности и вооружению они отстают от флотилий Франции и Германии, уже не говоря об Англии. Ну и в оборонительном плане пробелы. Не хватает, например, морских мин. И о закупке их речи не шло. Жаль, что когда-то мало заказали их на Петербургском механическом заводе Нобеля…

— Да… — очнулся военный министр. — Жаль…

Он знал, что те мины ещё во времена Крымской войны перекрывали всё балтийское побережье России, Кронштадт с Петербургом в первую очередь. Создателю завода Эммануилу Нобелю на том свете уже не до мин. Поговаривали, что за ним вскоре отправился и сын Людвиг…

— В Финском заливе выставлено около полутора тысяч мин Нобеля, меньше — в акваториях Свеаборга, Ревеля, в черноморском устье Дуная и Днепро-Бугском лимане. Но срок их эксплуатации подходит к концу, а о новых разговоров, повторю, не ведётся.

В кабинете стало тихо. Но снаружи усилился дождь, и ветер анархично набросился на окна.

Пётр Иванович Куропаткин мгыкнул, выдвинул левый нижний ящик стола и вынул из него штемпельный конверт с водяными знаками — латинская буква «N» в оправе из роз. «Принесён в канцелярию от гр. Эммануила Людвиговича Нобеля частным посыльным 25 августа сего г. Просьба о встрече», — значилась на нём надпись адъютанта.

— Нобели, Нобели… — повторил Пётр Иванович и задумался.

Вспомнил, как перед самым своим министерским назначением на пасхальном приёме у петербургского градоначальника познакомился с сыном Людвига Нобеля Эммануилом и неожиданно получил от него в подарок яйцо фирмы Карла Фаберже. Белая эмаль была инкрустирована золотыми розами и рубинами, внутри — из красного золота часы. Генерал тогда пожал плечами, небрежно сунул подарок в карман кителя и только через несколько месяцев узнал, во что то яйцо оценивалось — около десяти тысяч рублей! И даже не в цене была его уникальность: подобных подарков существовало

5. 20 октября 1894 года российский император Александр III почил вечным сном.

всего с дюжину, и почти все они были сделаны по заказу императорской семьи!

— Что-то ещё? — министр прервал воспоминание.

Берг неловко повернулся и зарделся:

— Ваше превосходительство, не знаю, как и решиться… Недавно получил из Вены письмо. Нашёлся мой близкий родственник — Генрих Берг, двоюродный дядя… Уже почти не ходит. Восемьдесят лет, не шутки… Прослышал обо мне через какую-то справочную контору — и приглашает к себе, с женой… Мог бы я просить у вашего превосходительства хотя бы с неделю внеочередного отпуска?

— Ну что ж… — министр удовлетворённо потёр ладони. — И съезди, ежели с женой и ежели приглашает. Может, тот престарелый родственник и наследство какое отпишет? Ха-ха… Помнится, и я порезвился по тем заграницам в свою молодую бытность… — хотя сорокапятилетний военный министр был лишь на три-четыре года старше полковника.

Дождь тем временем не прекращался и назойливо цыкал в помутневшие окна.

— Что ж, Виктор Александрович, благодарю за службу. Можете быть свободными… — и рука министра потянулась за чашкой с уже остывшим чаем. — Адъютанта, будьте добры, позовите.

«Завтра в час дня. Ресторан доходного дома Даниловых. Генерал-лейтенант К.», — наскоро написал Пётр Иванович, сложил бумажку пополам и вручил адъютанту.

— Немедленно передать в контору Нобеля на Выборгскую набережную, у Чёрной речки. Ну и следующего приглашай…

Вторым по личному вопросу был записан начальник канцелярии министерства Николай Львович Лобич. Куропаткина не удивляло, что тот шёл на аудиенцию после подчинённого. Он, и не только он, знал: генерал, обременённый уже не молодым возрастом, спит долго, и сможет ли утром встать даже на всеобщую мобилизацию — неизвестно.

— Николай Львович, голубчик наш уважаемый! — лицо министра выявило наичувствительное отношение к посетителю. Встал, охотно обнялся. — А я думал уже, что вы и забыли обо мне.

— Дорогой Пётр Иванович, как вы можете? Чем я такое заслужил?! — по кабинету разнёсся трубный, хотя и мягкий, бас. — Просто ценю и уважаю ваше драгоценнейшее время… — начальник канцелярии позёрски крякнул и сел напротив министра.

— Ну, рассказывайте… — глаза Куропаткина сузились и погасли.

— Ваше превосходительство, не мне при вашей молодости говорить, как трудно с каждым преклонным днём жизнь даётся…

Министр с недоумением поднял голову, но молчал.

— Вот и решил я обратиться к вашей милости с рапортом о пенсионе… — Николай Львович вяло вздохнул, громко набрав в лёгкие воздуха, пригладил ладонью пухлые седые бакенбарды и договорил: — А также, учитывая кое-какие заслуги на ратных дорогах, с просьбой о ходатайстве перед императором об увеличении моего содержания…

Голова министра поднялась ещё выше. «Он это всерьёз или с издёвкой?» — подумал, постучал пальцами по столешнице, откинулся на спинку кресла и казённо подытожил, растягивая слова:

— Ра-ано вам, дорого-ой Никола-ай Льво-ович, на поко-ой. Не тако-ое на-аше министе-ерство бога-атое, чтобы расбра-асываться таки-ими людьми-и… — а завершил едва ли не скороговоркой: — Да и император наш не поощряет пенсионные надбавки. А посему позвольте подумать над услышанным — и решение принять позже…

Ресторан доходного дома Даниловых давно стал традиционным и любимым местом душевных встреч Петра Ивановича Куропаткина по многим причинам, первые из которых — неплохая домашняя кухня, давность и прочность семейных отношений с владельцами, немногочисленность посетителей и конфиденциальность.

Пётр Иванович имел привычку приезжать сюда на встречу минут на двадцать раньше: чтобы сесть за подготовленный столик (и поэтому чувствовать себя за ним хозяином) и провести соответствующую «рекогносцировку на местности».

Вскоре появился и Нобель. Также, вероятно, полагал, что будет первым.

— Здравствуйте, здравствуйте, Эммануил Людвигович! Негоже так надолго забывать о друзьях… — военный министр на правах старшего обнял Нобеля и трижды расцеловал его в щёки. — Садитесь, пожалуйста, угощайтесь, чем, как говорят, Бог послал. Расскажите, как живёте-можете?

Было заметно, как Нобель смутился от такого приветствия. Но превозмог удивление, даже нежно улыбнулся, кивнул, ответил «спасибо» и присел. К напиткам и еде не притронулся.

Он был моложе министра на десять лет. И родился в Петербурге, в отличие от уроженца Псковщины Петра Ивановича. С изящными чертами лица, с редкой бородкой, с искренней мимикой и голубизной глаз, он был похож на уверенного морского капитана, успевшего испытать и хмель необычных открытий, и отчаяние адских штормов. После смерти брата Карла Эммануил возглавил всю бизнес-империю Нобелей в России: и Петербургский механический завод, и все предприятия Общества нефтяного производства с богатыми месторождениями на Апшеронском полуострове около Баку. Год назад он получил российское подданство…

— Понимаю, понимаю, что непростые времена наступают, — начал Куропаткин. — Гидры разные головы поднять могут. А мне вот на днях доклад был, что наш запас морских мин износился, а их же

Российской империи, светлой памяти, дед ваш проектировал и поставлял. Что скажете об этом?

Эммануилу на миг показалось, что он перестал понимать русский язык. Впрочем, и заговорил с трудом, подбирая слова, как в далёком детстве:

— Ваше превосходительство, Пётр Иванович… Хочу с пониманием отнестись к сказанному вами… Но, к радости или к сожалению, наше Общество отошло от темы вооружения…

— Да это я так, по старой памяти, как говорится… От вас на днях пришло письмо с просьбой о встрече,— генеральский тон постепенно переходил в официальный.— Так я вас внимательно слушаю.

— Я чрезвычайно благодарен за аудиенцию и постараюсь минимально потратить ваше время,— Нобель отложил столовые приборы и выпрямился.— Хотите верьте, хотите нет, дорогой Пётр Иванович, но после упомянутых вами мин да и вообще взрывчатки из нитроглицерина мы разрабатываем более мощное и эффективное оружие. А имя ему…— он сделал паузу и прикрыл глаза,— имя ему — нефть.

Министр словно проснулся. Он разгладил усы в одну сторону, в другую, поднял графин, налил собеседнику и себе коньяка, чокнулся, пожал плечами, выпил и начал прикусывать. Нобель лишь чуть пригубил и продолжил:

— Военная безопасность нового века будет основываться не на минах, снарядах, бомбах, а на энергетических составляющих. И нефтяные продукты будут вытеснять менее эффективную паровую энергетику. Россия имеет все шансы занять в этой новой стратегии первое место. И вы, Пётр Иванович, знаете, что всё наше семейство уже не первое десятилетие работает на этом поприще. Нефтепроводы, наши цистерны и танкеры… Это за несколько лет заменило тысячи конных повозок и кустарных колодезных добыч. Началось массовое производство керосина, бензина, мазута, парафина, гудрона, нафталина, которые из Баку по железной дороге попадают через Тифлис к Чёрному морю, а через Ригу — на Балтику, из Астрахани и Нижнего Новгорода развозятся по всей империи. И, простите, не мне вам напоминать, сколько за всем этим создаётся рабочих мест, как, впрочем, и налогов идёт в казну… Подписан договор, и возрастают поставки нефтепродуктов в Англию, Германию, Австрию, Францию, Бельгию, Италию, Скандинавию. И мы спокойно конкурируем с американцами, хотя, к примеру, керосин, изготовленный из нефти наших месторождений Пираллахи, на двадцать-тридцать процентов дороже, ибо он лучшего качества. Достопочтенный Пётр Иванович, при малейшем содействии в этой сфере мы можем получить колоссальный эффект!

От такого трибунного выступления военный министр с недоумением кашлянул, по-простому почесал затылок, налил себе ещё коньяка и выпил.

— Эммануил Людвигович, вы меня, часом, не спутали с экономистом, статистом или каким-то ещё далёким от военщины министром?

— Драгоценный Пётр Иванович, больно слышать такие слова… На вас надеюсь, потому что вы, как человек из народного моря, и государственные, и народные интересы силой, дарованной вам Всевышним и императором, защитить можете. Поймите, пожалуйста… Только наше скромное Общество добывает нефти больше, чем все Соединённые Штаты. А подобных же предприятий вокруг Баку — десятки! Но ничего просто не даётся, тем более в такой стратегической отрасли. В последнее время провокаторы начали агитировать рабочих к забастовкам, какие-то чёрные бригады по ночам терроризируют семьи нефтяников, отдельные головорезы убивают бригадиров, отмечены повреждения нефтепроводов, участились поджоги буровых башен и железнодорожных цистерн. Жандармерия уже не в силах справиться с этими организованными преступлениями. Я, извините, далеко не военного склада человек, но за всем этим вижу предпосылки локальных военных действий…

Военный министр задумчиво хмыкнул и налил в рюмки — теперь уже опять собеседнику и себе. Медленно выпил, прижал пальцем усы и внимательно вгляделся в Нобеля, который на этот раз тоже выпил до дна, наспех закусил полоской сыра и подытожил:

— Пётр Иванович, вы понимаете и переживаете больше, чем кто-либо… Вы служили в тех местах. Наконец, до своей высокой министерской должности вы были начальником в недалёкой от упомянутого бакинского Апшерона Закаспийской области… Искренно призываю и прошу: заступитесь и помогите!

За столом в небольшом, тихом и уединённом зале воцарилась молчаливая пауза. Пётр Иванович рукой показал гостю на закуски, начал сам медленно накладывать и поглощать салаты и мясо, долго запивал компотом, а затем тщательно вытер губы белоснежной льняной салфеткой и произнёс небрежно:

— Пять процентов от общего дохода — и вы забудете обо всех заботах и бедах.

Эммануил Нобель напрягся, отпрянул от стола и среагировал мгновенно:

— Согласен!..

После встречи в ресторане Даниловых Пётр Иванович вернулся в кабинет на Садовой и вызвал к себе начальника канцелярии Лобича.

— Николай Львович… Только что имел я консультацию относительно вашего ходатайства,— начал он бодро, кивнув на потолок, и сразу же огорошил:— Как и думалось, император разбрасываться такими людьми желания не имеет. Однако мы

можем пойти навстречу в вопросах и служебном, и пенсионном. Вы, уверен, наслышаны о создании отдельной Каспийской армии? Там и потеплее, и поспокойнее будет. С годик ещё, пожалуйста, потерпите…

Министр не договорил—его возбуждённо перебил старший по возрасту генерал:

— Пётр Иванович, дорогой, ты что?.. Опять меня в сапоги—и подальше? Помилуй, за что?!

— Да дослушай ты…—не удержался и «тыкнул» и хозяин кабинета.—Будешь при армии моим чрезвычайным представителем с самыми высочайшими полномочиями. И штаб, и интендантскую службу под себя прижмёшь. А ко всему—и с государственно-стратегической задачей справишься,—и он начал по привычке растягивать, словно гипнотизируя этим, слова.—Ведь, са-ам понимаешь, не-ет в таком де-еле наибо-олее опытного и пре-еданного импера-атору челове-ека…—министр заметил, как у Лобича заинтересованно растянулся лоб, даже бакенбарды поднялись над ушами.—Да-да, нет. Надо взять под контроль бакинский нефтепромысел. Там, понимаешь, с нефтью много в последнее время и мути разной всплывает,—и министерский тон снова начал превращаться в медовый.—Вот, пожалуйста, ей прежде всего и займитесь. Порядок, охрана, государственные интересы и так далее, словом… Встретитесь с Нобелем, ну, знаете—нынешний руководитель Общества нефтяного производства… Скажете, что моё, и не только, личное поручение. Он объяснит, чем помочь. Соответствующие документы о чрезвычайных полномочиях на подпись подготовите сами: кому, как не вам, аксакалу канцелярии, известно всё наперёд?..—и, видя в глазах подчинённого острое лукавство, Пётр Иванович завершил как отрезал:—И не коли меня, Николай Львович, своими зрачками, потому как ещё благодарить устанешь! После этой командировки денежного довольствия тебе на несколько жизней хватит. И, прости, не только на карты да казино всякое…—министр напоследок дал понять о своей осведомлённости в непростой и извилистой судьбе генерала Лобича.—Ну давай, с Богом!..

VIII.

После присоединения к России это был уездный центр Каспийской области, позже влившийся в Шемахинскую губернию. Но в 1859-м Шемахи разрушило землетрясение, и новой столицей стал он—Баку. В то время в его окрестностях уже пробурили несколько первых нефтяных башен. Теперь же они—как огромные пиявки—присосались ко всему Апшеронскому полуострову. А вокруг—мёртвый песок, известняк, колючки… сонные антилопы, мерзкие змеи возле берега… и снова—чёрные лужи смердящей нефтяной жижи, скелеты (деревянные или ржаво-металлические) скважин, кишки трубопроводов, дощатые мостики, песок, известняк, колючки… и лужи нефтяной жижи.

О «горящей чёрной воде» тут знали ещё с древности. Копали колодцы и кожаными мешками черпали нефть, которая в этих краях так и называлась—на азербайджанском, персидском и турецком: нэфт. Затем неутомимые верблюды, обвязанные бурдюками, везли её в Шемахи, Нахичевань, а также в Грузию и Персию. И использовалась эта нефть по всему Востоку прежде всего как мазь от потёртостей и чесотки у верблюдов…

Заканчивался октябрь, но здесь было по-летнему тепло. Они—Эммануил Нобель с главой своего петербургского конструкторского бюро Карлом Нордстремом и недавно приставленным телохранителем из штата Бакинского военного гарнизона—обошли почти всё западное побережье Пираллахи и сейчас, уставшие, сидели возле маяка, за которым виднелись несколько бараков для рабочих, старое здание перегонного завода «Бранобиль» с конторой, и наблюдали, как погружается в воду малиновое солнце. Для Нордстрема, шведского инженера-мечтателя, эта поездка была экскурсией: в нефтедобыче он мало что понимал, а когда услышал от Нобеля название—остров Пираллахи—переспросил: «Это где-то в Финляндии?» Нобель улыбнулся и ответил: «Почти… Поехали со мной, покажу. Развеешься и, может, отдохнёшь от своей мастерской».

За полмесяца до них Пираллахи, выкупленный Нобелем, посетил со своими помощниками его превосходительство генерал-лейтенант Лобич. Взошёл на маяк, выкурил сигару, к которым пристрастился в скучном поезде, и удовлетворённо покачал головой: «Как-то вот так… А то, понимаешь, развели тут неуставные отношения и другие скользкие антимонии…—пыхнул дымом, прикрыл один глаз.—Как мне доложили, Пираллахи означает Святыня Бога, или, как здесь говорят, Аллаха… Отныне же и впредь здесь также должно быть тихо и спокойно. Вот так!—он остро осмотрел свою „свиту“: губернатора Андрея Дмитриевича Одинцова, городского голову, начальника штаба Бакинского гарнизона, командира местного казачьего полка, начальника жандармерии,—и удивлённо хмыкнул:—А по-местному „пир“—это святыня, святое место,—снял фуражку, вытер мягким носовым платком пот, пригладил раздутые ветром бакенбарды.—Так что без пира мы с вами сегодня не обойдёмся…»

В древности на этом месте находилась святыня—то ли зороастрийцев, то ли мусульман. Сейчас там поклонялись прежде всего его величеству рублю. Ну и изредка, не обращая внимания на мусульманские запреты,—зелёному змию. Но порядок и спокойствие на Апшероне воинскими частями и жандармерией были восстановлены: утихли и поджоги, и грабежи, и забастовки…

Здание перегонного завода было около маяка, перед бараками, старое, возведённое ещё отцом Эммануила Людвигом Нобелем. И они, безусловно, не могли его не посетить.
— Да всё ты тут поймёшь,—успокаивал Нордстрема хозяин и сам становился спокойнее (наверное, потому, что говорил с тем—как и когда-то с родителями—по-шведски, что при его службе случалось редко).—Всё поймёшь,—повторил Нобель.—Не сложнее обычного самогонного аппарата, только бóльших размеров.

И на самом деле, размеры впечатляли, а в остальном…

Почти восемьдесят лет назад российские крепостные мастера братья Дубинины впервые осуществили перегонку нефти, применив принцип… самогоноварения. Нефть (как спиртовую брагу) доводили до кипения в железном кубе, вмазанном в кирпичную печку. Из куба в водный резервуар-холодильник спиралилась медная труба (=самогонный змеевик), после чего на выходе собирался продукт конденсации—керосин (=першак). Раньше из сорока вёдер нефти получалось около пятнадцати осветительного керосина. Теперь же могли добывать чуть больше пятидесяти процентов от используемой сырой нефти. И прежде всего—благодаря разработкам Менделеева, который впервые сконструировал куб непрерывного действия. Его принцип успешно применил на Пираллахи ещё отец Эммануила Нобеля.
— Русские не успевали перерабатывать нефть и продавали её за бесценок. Или попросту сжигали в паровозных топках вместо угля. А гениальный Менделеев,—Нобель поднял палец вверх, а затем обвёл им заводскую перерабатывающую конструкцию,—возразил: «Сжигать нефть—это как жечь денежные ассигнации». Мудрейший человек! Несмотря на то, что имел споры и недоразумения с моими отцом и дядьями… Его кубовая перегонная батарея—в основе и этого завода. Выкачанная нефть тут разделяется на бензин, керосин и мазут. Мазут отстаивается и идёт на подогрев в печах новой партии сырца.

В помещении было не продохнуть: влага, жара, дым… Но Нобель словно не замечал этого. Нордстрем же вынужден был поднять рубашку и прикрыть ею нос. Затем осторожно рассмотрел ёмкости конечной переработки, долго, как ребёнок, играл с выпускными кранами, подставляя стеклянные бутылочки, в одну набрал керосина (понюхал, улыбнулся, отставил), во вторую налил мазутного отгона, также понюхал, закупорил, посмотрел на свет—и подошёл к Эммануилу:
— Им подогревают сырец?
— Да… Это—соляройл[6], —Нобель уже был утомлён «экскурсией».—Ну не уголь же сюда с края света привозить? А с древесиной тут—сам видел…
— Да, конечно…—ответил Нордстрем, запихнул бутылочку в карман и задумался о чём-то своём…

Они дошли до барачных комнат уже в темноте, светя электрическими фонариками. Почти сразу попрощались и без ужина легли спать.

Через час Нордстрема разбудил незнакомец и с сильным местным акцентом сообщил:
— Уважаемый Карл! Хозяын Нобель срочно звать вас на завод! Там что-то случылась…

Наспех одевшись, швед выбежал за человеком в пропахшей нефтью робе, повернувшись, глянул на невысокий серп луны—и неожиданно получил чем-то тяжёлым и твёрдым по голове. Бедолагу, как мешок, взвалили на острый конский хребет, ткнули в рот вонючий кляп, чёрная земля закачалась—и Нордстрем потерял сознание…

А утром владелец Пираллахи не нашёл своего друга. Время завтрака перешло в обед, затем малиновое солнце снова собралось окунуться в Каспий, и нервы Нобеля не выдержали. Послав рабочих по всем островным окрестностям на поиски Нордстрема, он верхом, в сопровождении молчаливого телохранителя, отправился к пристани, откуда пароходиком через полчаса добрался до материка и снова верхом до ночного Баку. И напрямую—на квартиру Лобича на Великокняжицкой, возле собора Александра Невского.

Ошарашенный генерал, стряхивая остатки сна и похмелья, чесал седые бакенбарды и в ответ что-то монотонно бубнил. Нобелю было не до благородства:
— Я разобрался с американцем Рокфеллером, я укротил француза Ротшильда, а тут из-за вашего разгильдяйства никак не могу справиться с какими-то вонючими недоносками! Вы со своим Куропаткиным получаете от меня деньги, на которые можно нанять целую армию, а моих людей всё равно похищают среди ночи, как овец!
— Я попро-ошу…—начал было генерал, но Нобель уже хлопнул дверью и вышел.

Ещё через час он был на северной окраине Баку—на шикарной вилле «чёрного шаха Апшерона» Мирзоя. Но его люди продержали Эммануила до утра. Только тогда в инкрустированную по-персидски гостиную к нему вышел хозяин виллы—в отутюженном смокинге, chapeak à la Garibaldi, белоснежной накрахмаленной рубашке с галстуком à la Biconsfield и лакированных ботинках.
— Твой друг исчез с места Святого Аллаха? И остров обыскали? Значит, если он сам не может ходить по воде, то его доставили к берегу на лодке…—Мирзой задумался, медленно пригладил бороду, на толстых пальцах сверкнули перстни с дорогими

6. Название «солярка» образовалось от немецкого «Solaröl» (солнечное масло). Со времени создания двигателя Дизеля стала его основным топливом и обрела новое название—дизельное.

бриллиантами.—Что ж, я помогу. Надеюсь, и ты когда-нибудь отблагодаришь. До захода солнца твой желтоголовый друг будет на месте—или меня зовут не Мирзой!

Но Нордстрем сидел в столовой Пираллахи уже в обед: с аппетитом ел тава-кебаб, запивал гранатовым шербетом и виновато улыбался.

— Ничего страшного, не переживай...—твердил он Нобелю.—Я узнал, что они требуют за меня выкуп—десять тысяч рублей. Представляешь, как я дорого сто́ю!

— А ты сомневался?—улыбнулся наконец и Нобель.—Вот только одежду твою поменять надо. Провонялся нефтью, как старый кожаный бурдюк!

— А... Это вот...—он достал из кармана залоснившегося пиджака бутылочку.—Здесь твой солярройл был, ещё на заводе набрал... И вылился, когда я на конском хребте вверх ногами трясся...—и вдруг Нордстрема словно подменили.—И мне там, связанному, вот о чём подумалось... А если этот солярройл попробовать через форсунки впрыскивать в наш двигатель Дизеля?—и неистово взглянул на Нобеля.—Гореть же должен не хуже, чем в заводских кирпичных печах?

Так генеральское разгильдяйство, не обеспечившее надлежащую охрану нобелевскому конструктору, и стяжательство апшеронских бандитов поспособствовали появлению идеи, которая будет стоить в миллионы миллиардов больше, чем те десять тысяч выкупа,—идеи безотходного нефтепромысла...

IX.

«А всё же жизнь не такая и плохая,—думал Виктор Александрович Берг под манерный перестук вагонных колёс.—Когда бы я ещё получил внеочередной отпуск с сохранением пенсиона?! Не говоря уже о новой зарубежной поездке...»

Поезд без пересадок привёз его с женой в Вену, укрытую золотой осенью. Было тепло и возвышенно. На ратушах и железных крышах улыбалось солнце, а в клумбах и на подоконниках цвели красные розы.

Город замер у подножия Альп на берегу суетливого Дуная. Уютные домики в старом центре заботливо связывала Рингштрассе (Кольцевая улица), переплетённая жёлтыми, коричневыми, малиновыми, а кое-где ещё и зелёными бульварами.

С вымышленным родственником—двоюродным дядей Генрихом Бергом—они встретились на площади возле собора Святого Стефана. Пошли в заранее заказанный отель неподалёку. Пообедали в местном ресторане, поговорили обо всём и ни о чём. Елизавета выпорхнула на прогулку по ближайшим магазинчикам, а мужчины закрылись в номере. Берг настоящий долго не мог преодолеть смущения: слушал невнимательно, суетился, раскладывал на кровати и снова собирал в чемодан свои вещи.

— Виктор Александрович, может, успокоитесь? Вы должны мне кое-что передать,—наконец не выдержал и почти без акцента заговорил по-русски агент отдела III-в немецкого Генштаба.—Известный вам господин Генрих фон Люциус поручил мне получить все материалы, об этом он предупредил вас ещё в Петербурге.

— Да-да,—заторопился Берг и начал распаковывать кожаный чемодан.

Выложил фарфоровую китайскую вазу с изображением зелёного дракона на оранжевом поле и стал аккуратно расправлять и складывать в стопку измятые бумажные листы, которыми был бережно переложен сувенир.—Здесь... сто десять страниц машинописи... годового отчёта по Военному министерству... Мне было поручено подготовить по нему всеподданейшую записку для ознакомления императора...—от непреодолимого волнения голос Виктора Александровича задрожал.—Здесь материалы из... из главных управлений... вопросы организационные, по строительству крепостей, по перевооружению российской армии и... и по созданию интендантских запасов...—сложив, Берг аккуратно прижал все бумаги и, передав их «родственнику», немного успокоился.—Министр опасался, что государь будет недоволен темпами возведения крепости в курляндской Либаве, поскольку это создаёт опасность для тамошнего флота... Но во время доклада главнокомандующий одобрительно отозвался прежде всего о запланированном испытании пулемётов и формировании отдельных пулемётных рот, интересовался развёртыванием Балтийской флотилии, защитой Черноморского бассейна и укреплением Прикаспийской армии.

— Ausgezeichnet![7]—довольный агент быстро перелистал скомканную стопку и внимательно взглянул на Берга.—А детальное штатное и фортификационное описание Прикаспийской армии и Балтийской флотилии здесь есть?

Лицо Виктора Александровича и всё его тело словно сдулись.

— Позвольте напомнить...—он нервно облизнул губы, поводил воспалёнными челюстями, поправил пенсне и заговорил быстро и почему-то полушёпотом, с надрывом: —...что я служу помощником начальника канцелярии, и в моей непосредственной компетенции—только представление Военному совету хозяйственных, законодательных, сметных и юридических вопросов... А по морской военной части всем занимается отдельное Морское министерство!

— Да-да, мы понимаем. Не волнуйтесь...—поспешил успокоить полковника нежный куратор,

7. Отлично! *(Нем.)*

ещё раз перелистал машинописные страницы и подытожил:—Мы благодарны вам за информацию. Следующие директивы получите непосредственно дома,—щёлкнул замок кожаного портфеля, в котором скрылась стопка переданного доклада и из которого появился пухлый конверт цветных ассигнаций.—Пожалуйста, ваш гонорар.

И в ту же минуту в дверях гостиничной комнаты шевельнулась ручка. Берг сунул конверт под подушку и пошёл открывать. Прервав мужской разговор бодрым шорохом платья, Елизавета присела на широкую банкетку и зазвенела:

—Вы не представляете, какую необычную колонну я видела! Ей двести лет! Она облеплена мраморными облаками, на которых застыли фигуры святых, ангелов и амуров. А над всем—позолоченные шары, черепа, кресты! Я поинтересовалась, а её назвали чумной… Вот… А я так ничего и не купила. Очень всё здесь дорогое…

«Венский родственник» улыбнулся, встал и кивнул головой:

—Что ж, позвольте на этом откланяться. Был чрезвычайно рад встрече и знакомству. Отдыхайте. Надеюсь,—он взглянул на фрау Елизавету,—моего подарка вам хватит на много покупок. Будьте здоровы!

Берги охотно вышли проводить его. От собора Святого Стефана все молча спустились вниз по Ротентурмштрассе и через десять минут были возле Дуная, где и расстались.

—Хотя он и дал тебе деньги, но мне не понравился. Какой-то холодный слизняк… На самом деле этот человек—не твой родственник?—уже в отеле спросила Елизавета, но ответа не услышала…

Наутро, словно сбросив невидимую тяжесть, они новым поездом отправились в Венецию, представшую в солнечном блеске сказочной красавицей: нежно прилегла погреть свои каменные плечи на Адриатическом побережье.

За Венецией была средневековая Болонья. Она запомнилась красными башнями, площадью Нептуна с милым фонтаном, базиликой Сан Доминика со скульптурными работами самого Микеланджело и готическими дворцами. Услышав, что Болонью называют кулинарной столицей Италии, Берги посещали рестораны, дегустировали местное вино и смаковали суго болоньезе, который оказался обычным свиным рагу, как сказали бы французы, запечённые колбаски сальсичча, тортеллини, показалось—обычные пельмени. Об этом и намекнули чернявому кельнеру. Однако тот, прекрасно понимавший и говоривший по-немецки, не согласился:

—Существует легенда, что тортеллини придумал влюблённый болонский повар: тесто с начинкой он обернул вокруг пальца и таким образом вылепил пупок своей девушки. Но более опытные кулинары утверждали, что у него получился бутон розы или…—молодой официант опустил глаза, поводил головой влево-вправо и ушёл.

Основательно запивая легендарные тортеллини полусухим вином, Берг бросал глубокие взгляды на Елизавету и по дороге в шикарные апартаменты «Palazzo del Podestà» был медовым и возбуждённым, но жена—в который уже раз!—отклонила его ухаживания.

С этих пор они перестали разговаривать. Всю дорогу до швейцарской границы через Милан в Белладжио угрюмо смотрели в вагонное стекло, не замечая пейзажей. Поезд выскочил из тоннеля, и навстречу ему раскрылся огромный осенний сад над волшебным треугольником горного озера.

Из отельчика Берг вытащил жену пройти туристической тропой на вершину, чтобы оттуда полюбоваться необыкновенной красотой леса, гор и воды. Подъём оказался долгим и трудным. Вокруг—ни души. Елизавета устала, захотела пить. Начала ругаться, оскорблять полковника последними словами… А тут—такая райская благодать! Нетронутое каменное ущелье, бездна под ногами, синяя гладь манящей воды под обрывом… А она, как заведённая, кричит и кричит на него, и глаза—далёкие, холодные… Сколько ж можно?

—Всё!!!—одной рукой он рванул ворот пиджака, а другой—правой—толкнул женщину от себя. Сильно. В последний раз. В каменную пропасть…

С Белладжио он добрался до Лугано. Весь день насыщался необычными местными пейзажами, а на ночь через гостиничного администратора заказал самую дорогую на курорте проститутку.

—Я хочу после отставки жить здесь и встречать старость. Милые места!—словно о чём-то далёком и непостижимом сказал он по-русски.

Девка с недоумением сузила туманные глаза и пожала плечами…

Всю дорогу через Берлин в Петербург он проспал, а дома сказал кухарке, что жена решила погостить у его венских родственников.

—Так а вы почему не побыли ещё тама, Виктор Александрович?—искренне удивилась кухарка.

—Мы бы и рады были, но—служба…—многозначительно развёл руками полковник Берг, а назавтра уволил любопытную, хотя и заботливую, женщину.

X.

В ремонтный док Ганноверского порта пришвартовался российский эскадренный броненосец «Святой Андрей». Команда по-прежнему несла боевую вахту, хотя и вынуждена была просить технической помощи у немецкого берега: на корабле при открытом замке выстрелила трёхсотпятимиллиметровая пушка главного калибра, после мощного взрыва крышу башни отбросило на носовой мостик, сдвинулись с места плиты брони, были повреждены паровой котёл, мачтовая

стеньга и световые люки. Погибли пять матросов и мичман, семь раненых. В корабельным лазарете не хватало мест, и наиболее тяжёлого—контуженного, с разорванным животом капитана третьего ранга Николая Баранова—отвезли в ганноверскую больницу.

За неделю вместе с инженерами дока корабельная команда ликвидировала неполадки, но немецкие специалисты, оформляя смету для Петербургского адмиралтейства, удивлённо признались:
— Корабль всего три года на воде, а кажется железной развалиной… Не наше, конечно, дело, но как его можно было отправлять в рейд? От верхнего канта брони по всему борту идёт тридцати-сорокамиллиметровая щель, скрытая замазкой… Заклёпки в перегородках вывалились.

Младший офицер, переводивший это, неловко опустил голову, а капитан громко отрезал:
— Если есть щель, значит, она должна быть. А клёпки лучше у себя ищите!

Броненосец «Святой Андрей» загрузился углём для паровых машин, пополнил запас воды и снова вышел в море, а капитан третьего ранга Баранов остался в больнице. Когда немного пришёл в себя, ему передали заклеенный сургучом конверт. «После выздоровления добирайтесь нашими коммерческими судами в Кронштадт,—приказывал капитан броненосца.—От всей команды желаю успехов».

И Николая Баранова полонила грусть. Она донимала больше, чем боль. Какие тут успехи? Живот зашили, а вот глаз не спасли. И кому он теперь такой нужен? Спишут с флота, и всю жизнь—под якорь…

Немного веселил новый сосед по палате—русый докер Адольф с забинтованной рукой. Родом он был откуда-то из-под Мемеля-Клайпеды и немного мог говорить по-русски. На ночь часто уходил «к фрау» и однажды соблазнил сделать это и Баранова.
— Отметим выздоровление!—предложил.—На пристани отличная пивная есть…—и, заметив неловкость моряка, достал из кармана чёрную атласную ленту, прикрыл ей свой глаз: мол, сделай так,—и подытожил:—Гут! Зэр гут! Корошо! Ду бист Кутузоф!

В ответ Баранов даже улыбнулся.

За богато накрытым столом он на некоторое время забыл о своём горе. В раскрытое окно залетал слащавый морской ветер, вино и виски взбодрили ещё молодую кровь, о чём-то весело стрекотали женщины напротив, Адольф озвучивал тост за тостом…

Очнулся капитан-лейтенант в полицейском участке с ещё большей головной болью, чем после контузии. На руках—наручники, под спиной—грубый матрас. Порванная рубашка в крови. Пощупал—никаких ран, кровь не его…

И вот—допрос.
— Ну что, господин капитан?—через переводчика спросил его человек в штатском с белыми бровями и ресницами.—Можете что-либо сказать в своё оправдание?
— А что… случилось?—Баранов попытался привстать, но «альбинос» нахмурился, сердито указал на табурет и энергично мотнул головой:
— Шайзе… Он ещё дураком прикидывается… Вы, герр Баранов, вчера убили подданного германского императора, квалифицированного докера Адольфа Фишера!—слова взрывались, как короткие пулемётные очереди, и рикошетили по горящему мозгу арестованного. «Альбинос» выдержал паузу, отодвинул ящик, выложил из него нож и продолжил буднично:—На предмете преступления—ваши отпечатки… Свидетели—две фрау, ужинавшие за соседним ресторанным столиком, и официант. Повторяю снова: что-то в своё оправдание заявить можете?

Мрачная серая комната закружилась перед глазом Баранова. Его чуть не стошнило.
— Что ж… Нет так нет,—следователь наскоро собрал какие-то бумаги и подытожил:—Передаём дело в суд. Лет двадцать тюрьмы вам гарантированы. Время подумать будет. Как говорят, die Zeit heilt alle Wunden[8].

Баранова словно ударило током:
— Как убил?! Адольфа?!!—Баранов силился вспомнить окончание страшного вечера, но дальше новопринесённой бутылки виски с позолоченной этикеткой и гортанного смеха рыжей немки с накрашенными губами возбуждённые клетки его мозга не доходили.—Как?..

Вызванный конвоир прижал его к табурету, а следователь-«альбинос» продолжал спокойно:
— Обычно… И вы не спишете всё на постконтузийный синдром. Два удара ножом под сердце за то, что герр Фишер попытался защитить от ваших пьяных приставаний немецкую женщину! Бедняга скончался по дороге в больницу и всё время повторял: «Für was? За что?» Раньше медиков появились репортёры—и я представляю, какими будут завтрашние газетные передовицы! Да вы, думаю, ещё успеете с ними ознакомиться, как и ваши сородичи в России… Прощайте!—следователь сложил бумаги в папку и пошёл к железным дверям, возле которых остановился.—Хотя… Газеты могут выйти и без тех зловещих передовиц…—он вернулся и бросил папку на стол.

Баранов вопросительно, едва дыша, уставился уцелевшим глазом на белокурого следователя.
— Совершённое бросает тень на братские отношения и между нашими армиями, и между нашими императорами. И мы бы могли обо всём забыть… Да! Забыть, как страшный хмельной сон… если бы

8. Время лечит *(нем.)*.

с вашей, герр капитан, стороны, почувствовали раскаяние и получили в вашем лице советника, помощника. И вы бы смогли тогда спокойно вернуться домой…

— Что… что я должен сделать? — Баранову по-прежнему не хватало воздуха.

Следователь пренебрежительно отодвинулся от стола и откинул назад своенравный чуб:

— Вначале — заплатить семье Фишера триста тысяч марок…

— У меня нет столько денег! — в руках Баранова, казалось, порвалась последняя спасительная ниточка.

— Ну, то и нет больше разговора… — следователь наклонился над столом к ошарашенному убийце и прошептал: — Впрочем, попробуйте их заработать! Три-четыре ваши информации — важные информации — о состоянии дел на военном флоте, и вы будете иметь больше!

Глаз Баранова выразил в одночасье немой упрёк, испуг и задумчивость.

— Только не начинайте сейчас об измене, присяге и прочем! Вы, как опытный морской офицер, знаете, что немецкий флот намного отстаёт от российского, и ваше возможное сотрудничество только на милю приблизит нас к пониманию ваших успехов. А под знамёнами немецкого флота ваша родина, в конце концов, будет иметь ближайшего союзника, — и без паузы: — Если согласны, подпишите вот здесь — и спокойно езжайте в свой Кронштадт.

— А что же я буду знать? — голос капитана третьего ранга дрогнул. — Меня же по инвалидности спишут на берег…

В душе «следователя» заиграли трубы. Он понял, что прочно зацепил на свой шпионский крючок очередную жертву — и едва сдерживал экстазное наслаждение. Он — граф Генрих фон Люциус — чувствовал себя в подобные минуты счастливым вампиром, и если бы ему удалось в эту же минуту подбить вражеский крейсер — радость была бы во много раз меньше.

— Думать об инвалидности в вашем возрасте рано! — в ход пошли заранее продуманные заготовки. — И не настолько, поверьте, ваше адмиралтейство богато, чтобы разбрасываться капитанами! По возвращении сразу же письменно обратитесь к морскому министру и к его величеству императору с просьбой оставить вас в штатных рядах, упомяните причины инвалидности… Впрочем, если всё будет хорошо, мы вам сделаем второй глаз — сами не поверите! Думаем, вас оставят при штабе, при адмиралтействе, в худшем случае — при Морской академии. Вот и всё.

Баранов ужасно захотел пить, но он не мог сказать об этом и проглотил твёрдый комок, не отрывая глаза от следователя.

— Всё… — повторил тот. — Собирайтесь домой. Когда устроитесь на новом месте, дайте в газету «Кронштадтский вестник» объявление: «Мужчина среднего возраста ищет помощи в изготовлении глазного протеза. Адрес…» К вам придёт наш человек. Его слова: «Вам, уважаемый, который глаз нужен — левый или правый?» Ответите: «Взял бы два. Пусть один в запасе будет». За каждое стоящее сообщение о военном флоте будете получать по две тысячи российских рублей, за подводные лодки — пять. Так что постарайтесь трудоустроиться повыше. Ну и не вздумайте вилять. Знайте: если что не так, ваше дело об убийстве сразу же будет передано в российский розыск, а в дело добавится ещё побег с места преступления. Вам, как и нам, это нужно? — и «альбинос» снова колким взглядом просверлил — как удав зайца — Баранова, а напоследок хлестнул поговоркой: — Как говорят у вас на флоте, große Schiffe machen große Fahrt!..[9]

Пока с онемевшего капитана третьего ранга снимали наручники и наливали ему воды, Генрих фон Люциус бодро шагал по тюремным коридорам и улыбался. «Чуть не ляпнул этому одноглазому дураку: „Besser ein Auge verlieren als den guten Ruf — Лучше потерять глаз, чем хорошую репутацию“. Надо завязывать с этими филологическими букетами… — и неожиданно перескочил на другое: — Наверное, не стоит краситься в чёрный. Белое пленит быстрее… И не забыть бы проставить Фишеру пива…»

XI.

— А может, всё же вместе поедем? — спросил Адам Мацкевич, когда узнал о своей командировке на промышленную выставку в Петербург.

— К сожалению… — развёл руками Дизель. — Должен в это время быть в Лондоне. Закончились пятилетние патенты на двигатель. Ну и ещё подписание нескольких договоров… А тебе, думаю, будет интересно познакомиться с родиной родителей… Да и с Тугиевыми встретишься. Айдар — один из основных участников выставки, — Дизель заметил, как оживился друг, лукаво улыбнулся и закончил: — Не забудь только, что от петербургского общества «Братья Нобель» поступили письменные предложения. Я оформлю на твоё имя доверенность. Если нужно, возьми с собой юриста…

О том, что семейство Тугиевых проведёт весь май в Петербурге, Адам уже знал из писем Ханым. После её с братом отъезда из Парижа между ними началась переписка. Первое письмо («Как добрались? Не утратили ли желание продолжать практиковаться во французском языке?») Адам послал Зафару, а ответ получил, написанный рукой Ханым. Оказалось, что связать пару французских слов в предложение её брат насилу мог, а вот с написанием, как и чтением, были проблемы. «Но Вы, пожалуйста, пишите по-прежнему. Я охотно прочту

9. Большому кораблю — большое плавание! *(Нем.)*

и переведу. Для нас это будет и языковая практика, и возможность узнать о Вашей жизни»,—аккуратно, без единой ошибки вывела в конце Ханым.

Адаму этого было более чем достаточно! Порывистый образ восточной птицы над решётками Эйфелевой башни лишил его покоя.

Письма писались ежедневно, складывались в конверт и высылались раз в неделю (об этом, чтобы не вызвать ненужный интерес родителей, попросила сама Ханым). В Париже же они не пробыли наедине ни минуты. Постоянно—только в присутствии брата. И вот французский язык стал для них той ширмой, за которую не проникали посторонние глаза и уши…

Обычно Адам первые абзацы посвящал описанию погоды и некоторым вопросам к Зафару. А затем, уже мельче и менее разборчиво, писал предназначенное Ханым: о своём увлечении, душевных переживаниях, воспоминаниях, желании новых встреч, разбавлял возбуждение расспросами о заботах девушки. Читая это и побеждая на щеках румянец, Ханым «переводила» брату известное ей из энциклопедий: об улицах Парижа, о французских провинциях, писателях и художниках… Пока в одном из Адамовых писем не появилось: «Je t'aime beaucoup, ma princesse de Bakou!»[10], —а в ответ не написалось: «Moi aussi»[11]…

И было это за несколько дней до разговора с Дизелем. Узнав о своём визите в Петербург, Адам поспешил сразу же доверить свои чувства бумаге (после обычных дежурных абзацев к Зафару Тугиеву):

«Милая Ханым! Мне так много надо сказать Вам, сказать о нашем счастливом будущем… Позвольте мне верить, что и Вы счастливы, как и я, в ожидании нашей встречи. Сердце моё полнится нежностью и лаской, и я неотступно люблю Вас, волшебная Ханым, и при встрече хочу повторить это Вам с той нежной искренностью, которая, поверьте, свойственна моему характеру и душевному состоянию… До свидания! Пусть радостно улыбаются Вам новые дни и ночи! Сам же я не могу скрыть горячего желания появляться в Ваших снах… Остаюсь весь Вашим, моя любимая…»

Старый Мацкевич, услышав новость о поездке сына в Россию, долго молчал, словно сквозь сон, что-то припоминал, а затем—как очнулся—заговорил возбуждённо, громко и быстро:

—Голубь мой! Ты езжай через Варшаву и Белосток до Гродно. Это по царской Северо-Западной железной дороге. Остановись там до следующего поезда… Найми повозку да заедь в наши Мацки. Это севернее Гродно, перед самой пущей. Там было наше родовое поместье… Дом каменный с двумя готическими башнями на холме. Там, если помнишь, я тебе рассказывал, в Неман впадает Заречанка… И дубы… дубы старинные ещё, может, стоят… Поклонись могилам дедов-прадедов наших. И земли оттуда горсть привези…

Глаза старика помутнели. Он что-то ещё хотел сказать, но только вздохнул и неуверенно пожал плечами…

И сын отыскал и то пущанское наднеманское место, и дом тот каменный на холме… Но серый, с осыпанной штукатуркой. От дубов даже пней не осталось. Попросил кучера—мужика с соломенными немытыми волосами и прокуренной бородой—остановиться у большака, прилип глазами к строению, но сойти на землю не осмелился… Черепица башен обрушилась, окна нижнего этажа забиты досками. На крыльце какие-то тряпки сушатся, вёдра опрокинутые висят… Вышел, скрипнув дверью, сгорбленный мужчина, закурил, посмотрел на подводу, накинул на плечи не то пальто, не то шинель и заковылял к ним.

В грудь Адаму словно налили холодного олова.

—Назад, скорее!—приказал он и закрыл глаза.

И опомнился только перед вокзалом, не замечая неожиданного майского ливня, не слыша любопытных вопросов кучера. Поблагодарил, заплатил втрое больше названной суммы—и только тогда вспомнил об отцовской просьбе…

—Подожди, пожалуйста!—он вынул платок и аккуратно сложил в него налипшую на окованное колесо землю, завязал и спрятал в карман. Краем глаза заметил, как кучер бросил недокуренную самокрутку и с недоумением помотал головой…

А через два дня Адам Мацкевич был в Санкт-Петербурге. На выставке самый большой павильон занимало товарищество «Братья Нобель», и найти его было несложно. Встретил сам Эммануил.

—Господин Дизель телеграфировал, что сам приехать не сможет и командирует вас,—Нобель был подчёркнуто дипломатичен.

Он сделал небольшую экскурсию по павильону, а затем позвал Нордстрема и по-заговорщицки подмигнул ему:

—Ну а сейчас—наша новинка…

Через стеклянный коридор они втроём вышли на улицу, где возвышался зелёный шатёр. Вокруг него собрались с четыре десятка посетителей и репортёров. Мацкевичу и Нобелю поднесли ножницы, чтобы перерезать вертикальные ленты. Брезентовые стенки враз опали, зрители увидели на невысоком пьедестале вычищенный до блеска экспонат—первый и единственный в мире двигатель Дизеля, работающий на сырой нефти.

—Уважаемые господа! Перед вами—образец двигателя нового поколения, созданный по патенту инженера Рудольфа Дизеля нашим конструкторским бюро под руководством инженера

10. Я тебя очень люблю, моя принцесса из Баку. (По-французски это звучит в рифму: «Же тэм боку, ма принцэсс дэ Баку».)

11. И я… *(Фр.)*

Карла Нордстрема. Главные особенности двигателя—мощность и экономность. При одинаковых силовых показателях он потребляет всего около одной седьмой части топлива бензиновых или газовых двигателей. А питается...—Нобель сделал паузу и удовлетворённо улыбнулся,—всего лишь нефтяными отходами. И притом неплохо чувствует себя, экономя своим будущим хозяевам кучу денег! Господин Нордстрем, пожалуйста, покажите его в деле!

Златоглавый швед только этого и ждал. Он энергично кивнул, подошёл к пульту, постучал, словно будя двигатель, по цилиндрам—и нажал на кнопку пуска. Стальной зверь вздрогнул и заурчал. Над палаткой из выводной трубы вывалил чёрно-серый чуб выхлопа и под аплодисменты присутствующих растаял над павильонами.

После коротких интервью подали шампанское. Мацкевич первым подошёл поздравить Нобеля.

—Господин Дизель внимательно изучил предварительно присланные вами чертежи и попросил выразить своё восхищение. Как вы знаете, он согласен продлить патент. В свою очередь интересовался: не имеете ли намерения от своего имени начать патентацию модели двигателя на сырой нефти?

—Нет,—Нобель отставил бокал, взглянул на Адама своими голубыми глазами и увёл за палатку, подальше от присутствующих.—Всё охватить невозможно. Мы заинтересованы, чтобы подобные двигатели появлялись повсеместно как можно быстрее. В частности, и на ваших заводах. Они должны заменять громоздкие паровые котлы на заводах, поездах и кораблях. Вот наша задача. Надеюсь, общая,—наверное, он увидел недоумение на лице Адама и поэтому пояснил:—Мы будем более чем довольны сбытом топлива для них—солярного масла. Ну а наши нефтяные скважины, о чём вы, может, наслышаны, богатейшие в мире...

Нобеля опять окружили журналисты, и он, пожав руку Адаму, пригласил того на сегодняшний ужин.

—Прошу извинить,—поклонился Адам.—К сожалению, не смогу. Вынужден быть в другом месте...

—Что ж, тогда—до утра,—попрощался Нобель и повёл репортёров в палатку.

Ну а «другим местом», где вечером ожидали Адама Мацкевича, был, конечно же, дом Тугиевых. Он всем выделялся среди питерских построек: и красно-коричневым цветом, и персидскими фронтонами, и внутренним убранством с огромными инкрустациями из ценных пород дерева на стенах и потолке, с бесконечными разноцветными коврами-килимами...

Его встретил Зафар и провёл в просторную гостиную. Из-под золочёных люстр, от картин с изображением кавказских пейзажей, золотых и серебряных канделябров на расшитом кафельной мозаикой камине—от всего веяло богатством и уверенностью.

—Музейный дворец...—выразил восхищение домом Адам, но Зафар скромно возразил:

—Нет, это не самый лучший из наший дом. Всех нас гордость—петербургский мечеть,—Зафар делал ошибки и в русском языке...—Толка когда завершить ту постройку, отец взялся за этот дом.

Ещё в год рождения сына Зафара Тугиеву принадлежал один невзрачный нефтяной заводик. Затем с двумя компаньонами он арендовал в апшеронском Эйбате несколько акров земли. Спустя три года выкупил все доли, а из скважин полилось чёрное золото. К нему добавились текстильное и рыбное производства...

В комнате появилась Ханым—звонко поздоровалась с гостем, моргнула длинными ресницами, сдержанно улыбнулась и позвала ужинать.

За длинным столом уже сидели старшие Тугиевы. Впрочем, о хозяйке, Зэйнаб-ханум,—второй жене Тугиева и матери Зафара—сказать «старшая» никак нельзя было: она выглядела ровесницей Адама и имела от силы тридцать пять вёсен. Поприветствовав гостя, они предложили вначале чай и закуски.

—Какие впечатления от сегодняшней выставки?—начал разговор Айдар Тугиев.

—Разные. Я же приехал непосредственно с документами по двигателю Дизеля... Кстати, господин Дизель передавал вам свой привет и спрашивал, не подводила ли вас морозильная установка.

—Спасибо, всё отлично,—Тугиев пригладил уже седеющую бородку и закрыл глаза.—Признаться, он и меня удивил. Это я о двигателе. И вы уверены, что в этом деле будет успех?

—Да.

—Значит, нефть будет дорожать?

—Без сомнений!

Пока меняли тарелки и подавали горячее—запечённую в тесте рыбу и мясные рулеты под грибным соусом,—Адам обменялся взглядами с Ханым. Показалось, её большие глаза заискрились... Старший Тугиев предложил гостю бокал вина, себе же налил воды и вновь обратился к Адаму:

—А расскажите нам, пожалуйста, о своей семье. Дети упоминали, что ваши родители тоже выходцы из Российской империи, дворяне...

—И родители, и деды, и прадеды мои—из бывшего Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского. Ну а от их имущества и дворянства после восстания осталась одна память. Я родился уже в эмиграции,—Адам ещё не притронулся к угощению и только пригубил вино.

—Эге,—словно сам себе о чём-то сообщил Тугиев.—Без родной земли трудно жить, пусть украсит и продлит Аллах годы вашему отцу. Я вот, кажется, и в своём доме—а больше недели тут пробыть не

могу, опять в Эвлах или Ичеришехер хочу…—он вздохнул и словно проснулся:—И, пожалуйста, угощайтесь, а то вон на меня уже Ханым косится из-за того, что я своими расспросами вас от ужина отрываю.

И только уже за десертом и чаем продолжил:

— А что было за восстание, о котором вы упомянули?

Адам сильно удивился неожиданному интересу.

— За независимость ранее самостоятельных земель, присоединённых к Российской империи. Сегодня это—шесть губерний так называемого Северо-Западного края.

— Политика-а…—подытожил Тугиев.—Я в ней с самого начала не соображал. Помнится, во время визита в Баку Александра Третьего меня, ещё черноволосого молодца, уполномочили приветствовать его от имени городского населения. Посмотрел царь недовольно на мою папаху и спросил: «Ты чей подданный?»—«Вашего величества»,—шепчет-подсказывает мне губернатор, а я ляпнул по своему разумению: «Подданный этой земли». Списали всё на темноту дикого горца, а могли бы и выслать…—он отхлебнул из армуды—традиционного азербайджанского грушевидного стакана—свежезаваренного зелёного чая.—Наш, атлыханский… Прекрасный напиток! Я хочу в Петербурге чайхану открыть. Бесплатную. А то оскотинились здесь со своими корчмами да водкой…—он снова громко отхлебнул и отставил армуду к настольному канделябру, полюбовался цветом и формой.—Как всё просто и гениально… Стакан напоминает девичью фигуру. Зауженная «талия» не даёт чаю остывать снизу, а верх не опекает губы. Чудо! Я даже предложил такой формы делать цистерны. Под солнцем раньше нефть в них нагревалась и начинала испаряться, а большое давление разрывало стенки. Ни одна цистерна с «талией» не взорвалась!—он наконец допил чай, опять пригладил бороду и обратился к Адаму:—Ну а теперь милости прошу в мой кабинет. Не волнуйтесь, только на миг оторву вас от молодёжи, так как сам я человек восточный и засыпать люблю вместе с солнцем…

Кабинет Тугиева был ещё больше гостиной. Высоченные потолки с коллекцией огромных, в большинстве безвкусных картин, длинные шторы на окнах, шикарные, ещё новые диван и кресла, блестяще-золотистые угли в камине. На столе—фотография Менделеева с автографом.

— Так, говоришь, нефть будет дорожать?—заново начал Тугиев (уже на «ты»), когда они мягко уселись у камина.

— Без сомнений,—теми же словами ответил Адам, помолчал и добавил аргументы:—Особенно лет через пять-десять, когда железная дорога и корабли сменят паровые турбины и начнут питаться не углём, а солняркой.

— Разумно,—Тугиев внимательно просверлил гостя каштановыми зрачками.—Значит, пока свою апшеронскую скважину я не стану продавать—ни англичанам, ни вашему Ротшильду. А то распавлинился: я вместо вашей старой тут новую нефтяную башню Эйфеля поставлю… Кстати, насчёт Эйфеля… Около той башни в Париже, неподалёку, есть ресторан… «Бикон» или как-то так называется…

— «Vikon»?

— Вот-вот, «Vikon»!

— Прекрасно знаю и часто захожу туда. Я там и с Дизелем познакомился!—оживился Адам и вопросительно уставился на Тугиева.

— Когда-то и мне то место приглянулось. Зашёл я пообедать, сел и жду официанта. Полчаса, час—никто не подходит! Словом, вышел я оттуда злым и голодным. Перекусил в другом месте и посетовал там на этот «Vikon». А назавтра ко мне в отель—целая делегация: хозяин ресторана, повар, ещё какие-то люди. Извинились и пригласили к себе на обед. И стол неплохой накрыли, и чаем настоящим угостили—всё бесплатно. Ну а мне, к тому времени уже безбедному миллионеру, интересно стало! «А что же,—спрашиваю через переводчика,—уважаемые, случилось?»—«Пардон,—говорят,—ошибся наш официант. Посмотрел он на ваше убранство да бороду—и подумал, что какой-то нищий из Азии подсел… Официанта мы уже уволили…» Вот как! Подумал я и снова спрашиваю: «А скажите мне, уважаемые мусью-монсеньоры, сколько стоит у вас одно место в сутки?»—«В среднем—столько».—«А за месяц?»—«Столько».—«А за год?» А у них уже и глаза округлились—по тем сантимам стали! Не понимают, что к чему. «Так вот,—завершаю я.—Хочу с вами контракт заключить. На сто лет. И там будет такой пункт: любой азербайджанец, посетивший этот ресторан, сможет вот так чудесно и бесплатно тут пообедать».

Тугиев улыбнулся, поднял большой палец вверх, встал и медленно подошёл к сейфу, открыл и достал из него толстенную связку денег.

— Не в службу, а в дружбу… передай, пожалуйста, тем рестораторам,—и положил деньги на стол.—Этого на лет тридцать должно хватить…

Увидев, что взгляд гостя прилип к раскрытому сейфу, понял причину удивления: на дверце с внутренней стороны висел огромный щербатый секач.

— Это мой талисман! Такие топоры—во всех моих сейфах. И на вывеске банка Тугиевых. Я начинал зарабатывать свои первые деньги каменотёсом, таким устройством. И оно мне сейчас напоминает об изменчивости и превратности судьбы. Вот…

Тугиев опять сел за стол напротив Адама, посмотрел на него исподлобья, хоть и дружелюбно, и заговорил уже сухим тоном:

— Ну а напоследок—ещё о судьбе… Не буду разводить антимонию, не люблю этого. Спрошу прямо: у тебя какие намерения к Ханым?

От неожиданности Адам только раскрыл рот и заморгал, как виноватый гимназист. Хотел вздохнуть, но воздуха не хватало: показалось, что его — как ту стеклянную армуду — крепко сжали в талии…

— Ханым — прекрасная девушка, — наконец выговорил он. — И в своих лучших мечтах я хотел бы соединить свою жизнь с её… И… — Адам встал и приложил ладонь к сердцу, — и просить у вас на то родительского благословения…

Тугиев, показалось, и сам в эту минуту не ожидал подобного. Кашлянул, откинулся на спинку кресла, приподнял правую бровь и внимательно посмотрел на Адама, затем махнул рукой: мол, садись, — выдвинул верхний ящик стола, достал кипу исписанных листов и бросил на край столешницы.

— Это переводы твоих писем к Ханым…

— Как?! — Адам снова вскочил, а за ним и Тугиев.

— А вот так! Ханым об этом не знает и знать не должна. Будешь сам отцом — поймёшь, — он подошёл к Адаму, положил ему руку на плечо и силой заставил сесть. — Дорогой мой, ты нравишься мне как возможный зять и член семьи. И род твой, по всему, — люди мужественные и достойные уважения. Но мы — мусульмане. Ты согласен принять нашу веру? — зрачки Тугиева словно прилипли к Адамовым.

— Я… Я думаю, что Бога, как и родителей, не выбирают. Рождённый христианином, я и должен им отойти к Всевышнему… — слова Адама прозвучали тихо, хотя и уверенно.

— Вижу перед собой достойного мужчину! И надеюсь, таким ты и останешься для меня. Пойми: Ханым мне очень дорога, и я, забрав её от матери, должен ей вдвое… — Тугиев взял со столешницы кипу исписанных листов — переводов писем — и аккуратно положил в камин. Над ними сразу возникло сизое облачко, а затем вспыхнул огонь. — Вот такими, дорогой мой, видятся мне и ваши судьбы, — он указал на камин. — Как эти дым и огонь… Кажется, и близки, и рядом, а объединиться не могут…

«Вот и попросил благословения», — смущённо думал Адам, вскоре покидая дом Тугиевых. А в свой дом он вернулся уже сиротой… На столе его ждала записка.

«Любимый сын, — неровным дрожащим почерком было написано в ней по-белорусски. — Должен неотлагательно отправиться к своим предкам, к твоей незабываемой маме… Будь счастливее меня. Пусть Господь Бог пошлёт тебе долгую жизнь, в которой найдётся место и воспоминаниям о нас…» А снизу — как постскриптум: «Может, оно так и лучше: запомнишь меня живым. А ту горстку земли, коли не забыл, высыпь на нашу с твоей мамой могилку. И будь счастлив!»

XII.

Варвара Михайловна Михайлова из подмосковных Люберец встречала светлую апрельскую Пасху «по-осеннему»: крестница Елизавета Берг в своём письме поздравляла её с октябрьскими Покровами… Незамужняя и бездетная, с нерастраченными сантиментами к человечеству, Варвара Михайловна на целый вечер задумалась, разогрела самовар, несколько раз перечитала письмо — от начала, где рассказывалось о заграничном путешествии с деспотом-мужем, который раздражает на каждом шагу и продаётся тщеславным немцам за их поганые марки, до конца с упоминанием о своём слабом здоровье, с поклонами и вот этим странным запоздалым поздравлением. Даты нигде не стояло, штемпель на конверте размыт… Ну не могло же письмо задержаться на полгода!

Варвара Михайловна выпила третью чашку чая с любимым сливовым вареньем — и почувствовала какую-то непонятную тревогу. Сходила в туалет, погрела, прислонившись к печке, спину, опять присела за стол, ещё раз покрутила в руках конверт — и, сжав губы, принялась писать свою эпистолу, в которой, среди прочего, и высказала удивление по поводу запоздалого поздравления крестницы.

Прошёл месяц, но ответа не было. Тогда Варвара Михайловна послала телеграмму, которая, как сообщил почтальон, возвратилась ввиду отсутствия по указанным дому и улице адресатки.

Сердце беспокойной женщины ещё с месяц наполнялось нехорошими предчувствиями, а летом позвало в Петербург, где Варвара Михайловна и сама сподобилась убедиться в том же.

— О, барыня! Его милость господин полковник ещё прошлой осенью пожелали выехать отселя, — поведал ей дворник.

— А куда же?

— Ентого сообщить не обнаружили желания…

Сердце огорошенной Варвары Михайловны совсем разболелось. Со своим беспокойством она направилась в ближайший полицейский участок.

Молодой жандармчик в голубом мундире с сияющими пуговицами на погонах тщательно записал имена, отчества и фамилии пропавших, их прежнее место проживания и приступил к определению внешнего вида. Начал с мужчины.

— Да я, по правде, его уже давно и не видала. Кажись, с венчания. Крестница-то приезжала погостить… А он… Ну как все вы, служивые: усы, чуб, форма военная…

— Форма? — очнулся жандармчик.

— Ну да, форма. Муж моей Лизоньки при военном ведомстве служит, здесь, в Петербурге, и не в простых чинах. Ведь мог себе позволить и по заграницам с женой ездить. Вот и в письме этом запоздалом о тех Италиях мне Лизонька писала…

— А в каких чинах её муж?

— Да бог их знает, я в энтом не особо чтобы разбираюсь…

— А что за письмо?—машинально спросил жандармчик, и Варвара Михайловна положила ему на стол конверт.

«Милая тётенька!—пробежали по аккуратному почерку пытливые глаза.—Пишу тебе из пограничья Италии и Швейцарии. Здесь очень красиво… Одно никак не избавлюсь от раздражения на своего мужа. Жить с ним в одной комнате стало просто невозможно…—и тут жандармчик начал привставать над столом.—Только на гешефты с этими немцами и способен. Переписывает дома для них какие-то бумажки и получает за то большие деньги…»

Туристическая тропа на вершину белладжийской горы была последней в жизни Елизаветы Берг. Мужу думалось, что каменная бездна навсегда скроет от него жену. Так и случилось бы, если б не старый пастух-швейцарец, с младенчества живший под той горой и неустанно пасущий там коз. Собирал он однажды их в стойло, как одна повернула свой глаз на куст—и ни с места. Вернулся подогнать—и уже сам заметил на ветке красную женскую сумочку. Оглянулся по сторонам, щёлкнул замочком—а там ворох купюр. Итальянские лиры, марки, конверт с адресом заклеен… Вновь обернулся, прокричал вокруг, пожал плечами, сунул сумочку в карман кожаной безрукавки и поковылял домой. Дома опять пересмотрел находку, подоил коз и подался в городок. На почте наклеил на чужое письмо необходимое количество марок и отправил, куда было написано. Купил муки, круп, табака, а остальные найденные деньги отнёс в ближайшую кирху…

Так из потусторонней пропасти дошло до петербургского полицейского участка (с помощью, конечно, и Варвары Михайловны) приветствие от Елизаветы Берг. Молодой же жандармчик с новенькими пуговицами на голубом мундире отнёс то письмо своему ротмистру, откуда оно незамедлительно попало в 7-е отделение военной разведки Генштаба. Где-где, а в Генштабе полковника Берга знали…

Вечером того же дня начальник военной разведки был у министра Петра Ивановича Куропаткина. В окнах его кабинета спокойно дремал Садовый мост над Мойкой, на инкрустированном столе из морёного дуба мирно светила лампа под зелёным абажуром—а тут такое! И это письмо—почти как донос от пропавшей жены.

Глаза Петра Ивановича сузились, ровный нос, казалось, ещё больше вытянулся.

— Помощник начальника канцелярии нашего министерства—шпион?!

— Ваше превосходительство… Без следствия рано так утверждать, но наши предыдущие мероприятия и эти новые обстоятельства… Целесообразно, полагаю, задержать полковника Берга и допросить насчёт всех предметов.

Пётр Иванович нервно сжался и тяжело оперся на стол.

— Вот куда привели поганца заграничные поездочки к каким-то новоявленным дядьям! А его же собирались возвести в генеральский чин и представить государю императору… По осени мог бы стать начальником канцелярии!—сердито выговорил он и почувствовал, как что-то напряглось и запекло под печенью.

Вспомнил обед в ресторане любимого доходного дома. «Данилова, небось, перестаралась со своей уткой… Или это грибы её не пошли?»—подумал и громко сказал:

— Что ж, полковник, задерживайте, коли целесообразно. Только, прошу вас, сделайте это на его квартире, а не в нашем ведомстве. Дабы, сами понимаете, тень не падала…

После возвращения от «заграничного двоюродного дяди» Виктор Александрович Берг снял новую просторную квартиру в доме №6 по Вознесенскому проспекту—через улицу от канцелярии Военного министерства. Туда сумрачным утром и подъехала объёмная карета, в которой вместе с начальником военной разведки были министерский адъютант по особым поручениям, штабс-ротмистр охранного отделения Департамента полиции, пристав местного полицейского участка в чине капитана и два околоточных.

Полковник Берг только что побрился и собирался предаться лёгкому завтраку, как гостиную заняли неожиданные гости.

— Виктор Александрович, хочу принести извинения за вынужденное беспокойство,—казённо начал начальник разведки,—но мы должны задать вам несколько вопросов…—он снял фуражку и, не сводя с хозяина квартиры глаз, присел.

За ним присел и Виктор Александрович; то надевая, то снимая пенсне, он недоуменно рассматривал военную и жандармскую форму присутствующих.

— Скажите, пожалуйста, где ваша жена, Елизавета Никодимовна?

Неожиданно Виктор Александрович улыбнулся:

— Она… она осталась пожить, полечиться в Италии. Петербургский климат, знаете, не для её нежного здоровья…

— А где, позвольте полюбопытствовать, она там проживает?

— Скромный частный отель в Белладжио… А что случилось?—и он нахмурился.

— А, так это она оттуда недавно своей крёстной в Москву письмо прислала? Узнаёте?—оживился начальник разведки и с наигранным равнодушием передал конверт.

Виктор Александрович напрягся, как пронизанный током. Губы стали вздрагивать, а искрящиеся зрачки—остывать, словно перегорели.

— Почитайте внимательно, особенно о ваших военных гешефтах…— начальник разведки, скрипнув портупеей, закинул ногу на ногу и холодно добавил:— Нам же, думаю, она ещё и не такое расскажет.
— Так она… жива?!— не удержался Виктор Александрович и понял, что тонет.

Дальше начальника разведки не надо было учить.
— А вы что, её похоронили уже?!— приподнялся он над увядшим шпионом.— А только что заверяли, что оставили её лечиться… Вот так новость! Дорогой Виктор Александрович, думаю, не мне вам напоминать, что за измену отечеству и государю императору, выраженную в преступной продаже иностранному государству тайной информации о военной обороне, согласно статье сто одиннадцатой Уголовного уложения Российской империи присуждаются восемь лет каторги. И это лицам штатским, а военных, к которым имели честь относиться и вы, ожидает пожизненная каторга. Так что мой вам искренний…
— Не надо, полковник…— перебил его Виктор Александрович.— Я стал жертвой… Я готов помочь следствию…

Он попытался встать, но только поднял голову и, потеряв сознание, упал на лакированный пол…

XIII.

Ветер скользил по Финскому заливу, тормошил над ним овечьи тучи, бился в пустые бойницы старых фортов, прорывался на улицы Кронштадта, проказничал на чердаках горделивых домов, шуршал в майских кронах парковых деревьев— и затихал.

Адам и Ханым медленно дошли длинными аллеями до центра плац-парада и остановились у памятника Петру I. Ограждением монументу служили вкопанные вниз жерла пушек. Царь привычно смотрел в туманную даль, поставив правую ногу на флаги шведской эскадры…

Они увиделись ещё в Петербурге. Адам узнал, что Ханым учится в Смольном институте, и решил встретить её там во время прогулки. Долго сидел на ближайшей к входной двери скамейке, пока на ступени медленно не выплыла группа старших курсисток: все в белых платьях и шляпках, в одинакового кроя коричневых плащиках. Но Ханым он узнал сразу. Вскочил, поднял руку с букетиком и неловко опустил… Девушки прошли мимо него, несколько из них заинтересованно скосили глаза, а Ханым, держа за рукав подругу, с дрожью в голосе спросила по-французски:
— Вы… здесь?
— Ханым…— у Адама вдруг изменился голос.— Я здесь по работе. Уже более двух месяцев… И не мог не увидеть. Через два дня я возвращаюсь домой…

Они присели на скамейку, а девушки удивлённо заулыбались неожиданному «французу» и отошли.

Назавтра была суббота, когда студентки свободны от занятий, и утренней канонеркой (перевозившей не только моряков, но и гражданских, если те могли предъявить паспорт) они и добрались до Кронштадта. Заканчивалась весна, но северный балтийский ветер, одержимо носившийся по палубе, успел не на шутку застудить, и теперь они в объятиях островных улиц и аллей радовались затишью и теплу.

От памятника Петру прошли к Якорной площади с нововозведённым Морским собором, закрытым пока ещё в леса. Площадь была выложена ровным тёсаным камнем, и Ханым остановилась, постучала башмачком и тихо проговорила:
— Когда-то мой папа был каменотёсом. Представляешь, он руками высекал вот такое…

Они загляделись на золочёный купол собора, откуда им улыбнулось солнце.
— Какой необычный орнамент!— прошептала Ханым и показала вверх.

Медный купол храма, уменьшенной копии Святой Софии в Константинополе, был окаймлён якорями и спасательными кругами.
— Пойдём, я тебе ещё что-то покажу!— предложил Адам и за руку повёл Ханым к недалёкому оврагу, через который был перекинут необычный пешеходный мост.

Его удивительные металлические конструкции с ажурным переплётом балок и тяг создавали впечатление лёгкой паутины, но клёпаные формы надёжно застывали на гранитных сваях-быках.

Ханым улыбнулась:
— Эти металлические растяжки напомнили мне твою башню Эйфеля…

Они остановились на середине деревянного настила, и Адам обнял девушку, а та не оттолкнула его. С минуту помолчали, и он заговорил первым:
— Я тебя больше не отпущу! Мы всегда будем вместе.
— Где?— испуганно дрогнули её губы, а глубокие чёрные глаза— как овраг, над которым они стояли,— наполнились туманом.
— Завтра в Щецин отплывает теплоход. У меня отдельная каюта. Ты с паспортом… А из Щецина через сутки будем в Париже!
— Это безумие…— едва не простонала Ханым.— И невозможно. Мы разной веры…
— Но я люблю тебя!— Адам отпустил девушку и отчаянно схватился за голову, наклонился на железные перила, а потом повернулся к Морскому собору и поднял руки.— Смотри: храмы возводят люди! Вера… Вера в нас самих. В наших душах. И выше любви нет костёла, церкви, мечети или синагоги! Безусловно, если любовь взаимная…— Адам прижал Ханым к себе, влился

в её добиблейские глаза под высокими бровями и прошептал: — А ты… любишь меня?

И в ту минуту под ним зашатался гранитный фундамент моста, а бархатные губы, с которых слетело тихое «да», одарили Адама персиковой усладой…

Необычный Макаровский мост был сконструирован в цехах Кронштадтского морского завода, в котором на протяжении двух месяцев переоборудовали и пароход «Роберт». По заказу Эммануила Нобеля на этой старейшей российской верфи был создан корабль, которому пока что не было названия. Теплоход… соляроход… дизельход. Паровые котёл и турбина были заменены новым реверсивным двигателем Дизеля, забитые сажей трубы демонтировали — и «Роберт» с новым сердцем, сделанным на Аугсбургском моторном заводе «Товарищество Дизеля», готовился к своему новому плаванию из Петербурга в Щецин и обратно.

Тысяча пятьсот морских миль. Пароходы на этой линии съедали за маршрут около пятидесяти тонн угля, а нобелевский теплоход тех же габаритов и с намного большей общей загрузкой обещал потратить не более восьми тонн отходов сырой нефти![12] Такой, по крайней мере, расход подсчитал и гарантировал Эммануилу Нобелю Адам Мацкевич. Новость сенсационно растиражировали сотни журналистов, приглашённых на «дизельный» рейс.

Наутро, когда запустили и начали прогревать двигатель, Адам вернулся в каюту и спешно написал в блокноте:

«Многоуважаемый господин Айдар Зэйналабдин! Я имею величайшую честь соединить свою судьбу с Ханым. Уверяю, что сделаю всё возможное и невозможное для её счастья. Если можете, поймите и простите. При необходимости связаться с нами можно через администрацию известного Вам ресторана „Vikon“. Ваш Адам Мацкевич».

Подошла Ханым, обняла его сзади, прочитала, а потом забрала ручку и добавила:

«Любимый папочка! Не волнуйся. Всё будет хорошо. Твоя Ханым».

Адам аккуратно оторвал страницу, свернул, дописал бакинский адрес и вызвал помощника капитана.

— Я прошу выслать этот текст телеграммой, — и достал из кармана сторублёвую ассигнацию.

— Этого слишком много, — удивился помощник, а потом выпрямился и кивнул головой. — Сдачу я непременно возвращу.

Через час они отплыли из Кронштадта. Справа им салютовал маяк Морского канала. Словно каменные черепахи, проскользнули оборонительные форты, некогда охранявшие фарватеры-подходы к стольному Петербургу, а теперь ставшие ненужными: корабельная техника и военное оборудование не стояли на месте…

На палубе, любуясь солнечными переливами во взбудораженной винтами воде, Адам мягко обнял Ханым и повторил:

— Всё будет хорошо.

Около Баку в особняке Тугиева шли тяжёлые переговоры о покупке нефтяной скважины французской компанией Ротшильда. Некогда удачливому каменотёсу она досталась за пять тысяч рублей, а сейчас за неё готовы были выложить целый миллион.

Дверь тихо отворилась, и к хозяину спешно прошагал охранник, поклонился и положил на стол бланк неожиданной телеграммы.

Прочитав, Тугиев некоторое время оставался неподвижным, затем перевернул бумагу тыльной стороной, встал, снял со стены тяжёлую кавказскую саблю в позолоченных ножнах и снова присел. Окаменевший, посмотрел на собравшихся (только вздрогнула чёрная бровь), левой рукой накрыл телеграмму, вздохнул — и вдруг над его головой блеснул кривой клинок сабли. Она рубанула по столешнице и впилась в дерево. На лакированной поверхности — как на поломанном льду — появились трещинки-жилки, а ещё — фаланга мизинца…

Тугиев откинулся на спинку кресла, достал карманные часы, щёлкнул крышкой, посмотрел на стрелки, закрыл — и только тогда заметил, что из раны на пиджак и брюки капает кровь. Он спокойно обмотал, пережал обрубок пальца цепочкой от часов, опять посмотрел на собравшихся и хрипло спросил:

— Так на чём мы остановились?

Ошеломлённый представитель Ротшильда напрягся, часто заморгал и почти без акцента произнёс по-русски:

— Мы предлагаем два миллиона. Больше не сможем…

XIV.

За солнечными брызгами над винтами «Роберта» с кронштадтского Александровского форта печально наблюдал капитан третьего ранга Николай Баранов.

— И правда — без парового котла… — прошептал он и добавил ещё тише: — И никакого демаскирующего угольного дыма из труб…

Он вытер платком набежавшую от ветра слезинку и ещё долго смотрел вслед теплоходу. Смотрел, как можно было подумать, на все два глаза, хотя там, где больше не появлялось слёз, был неподвижный протез…

……………………

12. По окончании круиза в теплоходном резервуаре осталось ещё полторы тонны солярки.

По возвращении из Ганновера Николаю Баранову пришлось долго помаяться по министерским кабинетам, военным докам и морским школам. В Александровской фортеции располагалось водолазное училище, в котором он двум офицерским классам преподавал корабельную тактику. Снимал у контр-адмиральской вдовы комнату в двухэтажном доме напротив Якорной площади, куда после публикации соответствующего объявления в «Кронштадтском вестнике» и пришёл сухой пожилой человек с неказистой внешностью.
— Вам, уважаемый, который глаз нужен — левый иль правый?
— Левый, — ответил Баранов и ткнул пальцем в пустую глазницу, но, опомнившись, поправился: — Взял бы два. Пусть один в запасе будет.

Незнакомец и действительно принёс протез. Омыл его какой-то жидкостью и помог вставить. И даже зеркальце поднёс:
— Ну как?

Баранов смотрел и не мог поверить: словно настоящий! И даже зрачок такого же серо-зелёного цвета, как и в живом.
— Я работаю в аптеке на Петровской, — не дождавшись ответа, сообщил незнакомец. — На ночь промывайте протез борной кислотой, одна чайная ложка на стакан кипячёной воды, — и передал бутылку с жидкостью. — Раз в месяц приходите ко мне за новой. Там, если будут, и новостями поделимся…

С тех пор он сменил пять бутылок, но ничего достойного сообщить не мог. А тут вот — корабль без угля и дыма!

В столовой Баранов поговорил с инженерами пароходного завода (его погоны с одной большой звездой подкупали собеседников), сплавал в Петербург и походил по кабинетам оживающего адмиралтейства. После поражения в русско-японской войне начальник флота и морского ведомства был освобождён от своих обязанностей; появился морской министр, соответствующее министерство и Морской генштаб. Обо всём этом подробно Баранов и сообщил в своём письме к «аптекарю» (стараясь неузнаваемо менять почерк), а в конце рассказал о начале строительства российской флотилии на нефтяных двигателях и активном переоборудовании паровых кораблей в дизельные. Инициатором этого было товарищество «Братья Нобель», оборудование доставлялось с Аугсбургского завода Рудольфа Дизеля. А недавно в Русском технологическом обществе был прочитан доклад «О применении нефтяных двигателей в кораблестроении», и, по расчётам инженера Нордстрема, такое судно средних размеров могло совершить рейс из Одессы до Владивостока и обратно без дозаправки.

А затем выяснилось, что не только беда не ходит одна, — повторяются и счастливые неожиданности. На приёме по случаю дня создания Российского флота (это когда молодой Пётр I приказал «морским судам быть…») капитан третьего ранга Баранов встретил тёзку и бывшего однокашника по Морскому кадетскому корпусу Николая Дунина-Бартовского. Невысокий коренастый друг уже носил погоны капитана первого ранга, послужил и повоевал, был преподавателем Минной школы, а теперь, как скромно отметил, просиживает штаны в Морском генштабе.
— Знаешь, а я тебе завидую… — неожиданно признался Баранов. — После контузии и этого вот ранения (указал на «мёртвый» глаз) я списан на берег. Даю в Кронштадте на неделю три лекции десятку подводников, смотрю из форта на залив — и всё чаще хочу прыгнуть в его холодные воды…

Поговорили — и распрощались. Кронштадт сковала зима. Прошли два скучных месяца, и на квартиру Баранова в контр-адмиральский дом посыльный привёз письмо. «Дорогой Николай Иванович! — размашисто было написано в нём. — Имею честь предложить немедленно явиться в Генштаб для отдельного разговора. У дежурного офицера узнаете номер моего кабинета. Кап. 1 р. Н. Дунин-Бартовский».

Опохмелившийся с раннего утра, Баранов явиться в тот же день в Петербург не мог. Мощные двери здания Морского генштаба открыл только назавтра и выглядел свежим и возбуждённым.
— Приёмная его благородия начальника морской контрразведки на четвёртом этаже, — пробасил дежурный офицер, а Баранов окаменел и не мог сдвинуться с места: ему показалось, что произошла ошибка.
— Пожалуйста, проходите, о вас докладывали, — снова бас офицера.

Да, назначенный на новую должность однокашник не забыл о товарище…
— На наш отдел возложена задача по охране секретов построения военных судов, подводных лодок, разработки артиллерийского вооружения и подобное. Штат пока невелик, но я запомнил нашу беседу на приёме и хочу предложить перевестись к нам. Сам понимаешь, здесь нужны надёжные люди. Если согласен, прикомандируем тебя на Балтийский завод начальником секретной службы…

Ещё на рубеже веков командование флотом и высшее руководство России убедились в важности подводных лодок. Было принято решение проектировать их собственными силами. Первой на верфи появилась «Минога», на которой в феврале 1906-го начали замену бензинового двигателя на дизельный. Фирме «Людвиг Нобель» в Петербурге были заказаны два трёхцилиндровых двигателя Дизеля морского типа мощностью по сто двадцать лошадиных сил каждый.

После знакомства с начальником завода Баранов закрылся в отдельной комнате и начал изучать систему документации — и к ночи успел скопировать секретные чертежи подлодки и переписать основную часть судостроительной программы Российского флота. Он прекрасно понимал: чтобы отвести от себя подозрения, информация должна уплыть немедленно — мол, была похищена ещё до его назначения. И через три дня всё Морское министерство уже напоминало растревоженный улей: немецкая газета «Maschinenbau» опубликовала тезисы проекта Российской военной морской программы, который пока не был рассмотрен даже на заседании Государственной думы (морской министр считал его настолько секретным, что не раздал даже думцам). Начальнику же завода тот проект был представлен для надлежащего оформления ходатайства о выдаче наряда на постройку первой подводной лодки…

Начальник был уволен, а при новом вышел высочайший указ о закладке в доке второй подлодки «Акула» с вдвое мощнейшими двигателями Дизеля. Их выпускал машиностроительный концерн «Аугсбург-Нюренберг», но после скандала с рассекречиванием предварительной документации доверие к немецким партнёрам уменьшилось. В то же время «Людвиг Нобель» предложил изготовление подобных двигателей по более низкой цене — и заказ передали петербургскому заводу.

XV.

…Голова раскалывалась, и казалось, кто-то пытался в неё закрутить большие болты, не боясь сорвать резьбу. Сквозь боль Дизель доиграл 5-ю сонату Бетховена и поднялся в кабинет. Открыл окно, рухнул в кресло и медленно выкурил сигару. Затем — подтянутым и бодрым — появился за вечерним столом.

— Сделали уроки? — загадочно осмотрел детей и насунул пенсне.

— Да, — заверил Рудольф-младший, а дочь искренне закивала головой, дожёвывая пирог.

— А напрасно поспешили… Завтра прогуляете школу. Мы отправимся в гости.

— К кому? — оживились в одночасье дети и жена.

— К его величеству кайзеру, — шокировал Дизель.

Появилась горничная и удивилась молчаливой паузе. Нерешительно спросила:

— Разрешите, господин Рудольф, подавать вам?

— Нет, спасибо, мне только чай…

Назавтра они проехали на авто через Бранденбургские ворота, минули зелёную Unter den Linden и после Дворцовой площади, перед самой Шпрее, повернули направо — в центральный въезд Берлинского городского дворца, главной резиденции немецких императоров. Пока дети рассматривали фонтан Нептуна, два караульных из полосатых будок проверили документы и, козырнув, подняли шлагбаум.

По длинным коридорам их провели в гостиную и предложили присесть. Ровно в двенадцать распахнулись двери, и вошёл кайзер. Сначала он поздоровался с Дизелем, затем — с его женой и детьми.

— Начнём с торжественного, — император улыбнулся и вручил гостю Почётный диплом изобретателя. — Мы очень впечатлены вашими, герр инженер, успехами и надеемся, что ваш талант будет работать и на процветание нашей империи. Я хочу познакомить вас с шефом военного кабинета генералом Хюльзеном, — кивнул генералу и сказал уже обоим: — Думаю, у вас должны появиться общие темы. А сейчас, пожалуйста, в столовую.

Справа от себя кайзер посадил Дизеля (с женой и детьми), слева — генерала Хюльзена. Стол был накрыт просто, только на фоне белой посуды выделялся золотой звонок (которым Вильгельм II пользовался, когда наступало время очередного блюда). Подали рыбный суп, жаркое и красное вино (детям — сок), затем — фруктовый десерт и чай.

Кайзер всё время говорил, поворачиваясь к Дизелю. Инженер внимательно слушал и почти не притронулся к еде. Сам же кайзер успевал очень быстро расправляться с блюдами — хоть и одной рукой. Он пользовался специальной вилкой, имевшей с другой стороны лезвие. Родился кайзер с повреждённой рукой, на пядь короче, и вынужден был скрывать этот недостаток.

— Мы знаем, к каким революционным изменениям могут привести ваши двигатели. Ими в первую очередь интересуются зарубежные страны. Российское морское министерство заказывает их для своих канонерок и даже подводных лодок. Не отстают и французы с англичанами. В свою очередь, и мы, герр Дизель, надеемся, что вы, как немец, не откажетесь поработать на экономику и оборону немецкой империи… — кайзер перестал жевать, вытер салфеткой усы и проникновенно посмотрел на гостя.

— Ваше величество, позволю себе упомянуть о том, что со всеми своими изобретениями я первоначально обращался на немецкие заводы и в министерства, но там моими разработками не заинтересовались. Многие даже не отвечали на мои письма. Более того, меня стали называть врагом промышленных интересов Германии, потому что мой двигатель стал конкурировать с паровыми, а это значит — с угольными монополистами. Но я же не виноват в том, что основным источником энергии в недалёком будущем будет нефть!

Кайзер поднял брови, кивнул и, аккуратно распрямив отутюженные треугольники воротника белой рубашки, пощупал под ними серебряный императорский крест и сухо заверил Дизеля:

— Подобное больше не повторится. Мы будем активно участвовать в обновлении нашей экономической и военной машины и использовать ваши разработки.

Кайзер бросил взгляд на своего военного министра.
— Именно!—повеселел генерал Хюльзен.—Несмотря на то что у нас масса запасов угля, а не нефти, мы заинтересованы в оперативном техническом обновлении как армии, так и экономики. Я недавно прочитал в одной из газет следующую фразу, которая видится знаковой: «Правительство, которое может следить за производством нефти, необходимой для армии,—такое правительство выиграет битву, ещё не начав её». Вот! А если к нефти приложится и то, что её потребляет… Имею в виду ваши, герр Дизель, моторы. Мне доложили, что российский завод Нобеля выпустил новый двигатель вашей системы, в десять раз мощнее всех известных. И уже есть предложения использовать его на электростанциях, заводах, мельницах, не говоря о флоте.
— Да! Мы катастрофически отстаём,—кайзер охотно поддержал шефа военного кабинета и неожиданно предложил:—А что, если герр Дизель отзовёт свои патенты на двигатель? Мы готовы найти средства, чтобы охладить финансовые претензии зарубежных производителей.

Дизель вначале подумал, что кайзер шутит, но по глазам и серьёзному выражению лица монарха было видно обратное.
— К сожалению, ваше величество, это… невозможно,—подбирал необходимые мягкие слова Дизель.—И вообще, через год срок действия моего патента на двигатель, работающий на соляройле, заканчивается, и его смогут производить и совершенствовать тысячи инженеров на сотнях заводов. Такая судьба всех изобретателей: прощаться со своим детищем…
— И вы так просто об этом говорите?!—удивился кайзер.

Дизель улыбнулся:
— Самое счастливое время у изобретателя—момент возникновения идеи. Его никто у него не отнимет. Это время раздумий и творчества. Выполнение идеи—период преодоления сопротивления природы. А внедрение изобретения в жизнь—это борьба с глупостью, завистью, злобой и чужими интересами. Это страдания, даже если всё, как в моём случае, заканчивается победой.

Они уже допили чай, и кайзер предложил продолжить разговор в канцелярии, а фрау Дизель с сыном и дочерью повели на экскурсию по дворцу.

В канцелярии подали сигары, и кайзер начал монолог о международном положении. Он увлечённо говорил о политике Германии на Кавказе и отношениях с султанской Турцией.
— Все силы народа и руководства должны работать на экономическое и политическое господство Германской империи. И помнить мы должны как об угольных, так и о нефтяных месторождениях. Сами подумайте: тонна российской нефти сейчас стоит вдвое дороже, чем год назад! И мы не можем не видеть, что с каждым днём обостряется борьба за нефтяные рынки и территории. Зашевелились все, в том числе и Англия, недавно заключившая союз с Россией. Армии их сильно модернизируются. Но мы не будем смотреть на это сквозь пальцы. Наши конструкторы и весь военный маховик не стоят на месте. Вот, к примеру, предложение профессора Фидлера об использовании в оборонительных линиях огнемётов… Попробовали—ошеломляющий результат! Пусть теперь те англичане попытаются высадиться в Шлезвиге… Сгорят за несколько секунд!—кайзер уверенно скомкал сигару и продолжил:—Это только один пример. Вообще же мы все,—и кивнул на генерала Хюльзена,—заинтересованы в использовании и вашего интеллектуального потенциала. Надеюсь, вы не против работать во имя будущего своего народа?—и, не дожидаясь ответа, закончил:—Распорядитесь, генерал, чтобы нашего гостя познакомили с профессором Фидлером. Хотелось бы, чтобы герр Дизель помогал ему совершенствовать огнемётные системы. Ну и, соответственно, не забудьте о достойном финансовом обеспечении…[13]

XVI.

В то время в Баку жили два очень богатых человека, которые ничего не делали. Но делали они это по-разному. «Чёрный шах» Мирзой своим авторитетом обеспечивал спокойствие в местном бизнесе, а старый генерал Лобич мантыжил до поздних петухов в лучшем ресторане города да играл в карты.

Однажды они встретились. Генеральский трубный голос не понравился горячему сыну Востока, и Мирзой подсел за покерный столик к Лобичу:
— Сыграем?
— Почему бы нет?..—и Лобич заказал ещё виски.

Карты складывались и разлетались, банк переносился на новый круг, раскрывались свежие колоды, меняли карты (Мирзой спокойно, аккуратно собирал их пухлыми пальцами, пережатыми дорогими кольцами; Лобич—возбуждённо, и когда тащил из колоды очередной прикуп, закрывал один глаз), увеличивались ставки, и у дилера, озвучившего банк, начали дрожать руки…
— Ну что, открываем?..—генеральский бас прозвучал победно и взволнованно.—Вот!—и он гордо выложил на стол свой червонный флеш.

13. Спустя несколько месяцев после этого разговора разгорится газетный скандал, в центре которого окажется кайзер. Вильгельм II уедет на юг Германии, в Донауэшинген, и «впадёт в большую депрессию». Шеф военного кабинета Хюльзен постарается развеселить кайзера, танцуя перед ним в костюме балерины. Во время одного из «пируэтов» генерала настигнет инфаркт, и он упадёт мёртвым возле кайзеровской кровати.

— Здорово...— тихо подытожил Мирзой и скривил свой острый нос.— Правда, у меня сложилось лучше...— и лениво раскрыл пиковый стрит-флеш.

Николай Львович Лобич ошеломлённо взглянул на неприятную комбинацию из пяти карт — от короля до девятки, потёр свои бакенбарды, что-то хотел сказать, но не смог и закашлялся.

— Что ж, бывает и так...— Мирзой прервал паузу.— Понимаю, генерал, что деньги большие, но, думаю, вы ответите за банк.

Лобич одержимо кивнул:

— Да, непременно, через день-два...

Сказать так заставляла генеральская честь. Но сказать — не сделать. Где взять эти деньги — пятьдесят тысяч?!

После неудачных приключений российской армии в Порт-Артуре и проигранной войны с японцами «опекун» Николая Львовича министр Куропаткин попрощался со своей должностью и уже около пяти лет тихо жил в оставленном ему доме на Садовой — без щедрых гонораров Нобеля. До этого последнего покера Лобич не очень о том переживал: хватало накопленного. В прошлом году, правда, когда Эммануил Нобель приезжал на Апшерон, генерал встретился с ним и между прочим напомнил, что ждёт продолжения сотрудничества, но нефтевладелец сделал вид, что не понял...

На третий день к генералу пришли люди Мирзоя.

— Необходимую сумму везут из Петербурга. Подождите,— был холодный ответ.

Через месяц с Лобичем встретился сам Мирзой:

— Я понимаю, что денег у тебя, генерал, нету,— он прошёл кругом по гостиной, посмотрел через большое окно на жаркую улицу, а затем на молчаливого Лобича.— Я возьму этот дом. Завтра утром приедет мой человек с юристом, вы оформите дарственную,— и вышел, не попрощавшись.

Генерал скрежетнул зубами и злобно выругался:

— Хрен ты, говнюк, получишь, а не мой дом!

Когда утром под окнами остановился лёгкий «Форд» модели «Т», ещё сонную улицу разбудили выстрелы. Одутловатый от бессонницы и коньяка генерал стоял у раскрытой двери с револьвером в тяжёлой руке. «Форд» зарычал и рванул с места, а вдогонку ему полетели пули...

Через полчаса двухэтажный дом возле собора Александра Невского окружили полицейские. Генерал успел забаррикадировать окна и — было слышно — трубным басом орал себе команды. Когда городовые начали ломать дверь, над крышей всплыло сизое облачко и быстро начало расти. Затем дым вырвался из окон, почернел и, сплетаясь с огненными языками, взметнулся ввысь.

— Как-то вот так...— проговорил Николай Львович и застегнул верхнюю пуговицу парадного мундира.— А то разводят, понимаешь, свои скользкие антимонии!

Он по широким дубовым ступеням неторопливо поднялся на второй этаж, откашлялся, взял большую бутыль керосина — и со всего размаху швырнул вниз...

А через три месяца на другом краю империи, около другого моря — Балтийского, прервал свою жизнь ещё один отставной офицер...

Когда Николай Баранов услышал о «Миноге», перед ним всплыли плоды его двоедушия. Подлодка отходила от пирса и столкнулась с баржой (откуда там появилась?). С ахтерштевня упал в воду золочёный орёл. Затем боцман по семафору передал конвойному судну намерение погружаться и засунул флажки под настил мостика рубки — и те попали в клапан шахты вентиляции. Вода хлынула в моторный отсек, и «Минога» затонула.

Прошёл год — и не стало «Акулы». Она вышла в очередной поход к немецкому Мемелю-Клайпеде, чтобы установить там мины,— и не вернулась. Причины и место гибели подлодки остались неизвестными.

Всё морское военное ведомство охватила паника. Только капитан третьего ранга Баранов выглядел спокойным. Вечер он просидел в одиночестве в своей служебной квартирке, затем разделся, сел за письменный стол, вынул протез глаза, положил его в ящик, из которого машинально взял чёрный парабеллум, вставил дуло в пустую глазницу и нажал на курок.

XVII.

За их спинами, за улицами, городами, странами и океанами заходило сентябрьское солнце.

— Кажется, она увеличилась?— Рудольф Дизель поправил пенсне и затянулся сигарой.

Адам Мацкевич вздохнул:

— Это только кажется. В жизни же растут не вещи, а тени от них...

Они стояли у перил второй площадки Эйфеля и задумчиво смотрели вниз — на треугольную копию башни, накрывающую зелёный ковёр Марсова поля и остриём касавшуюся Сены.

— А люди? А мы с тобой — не становимся в старости такими же тенями?

Адам внимательно посмотрел на друга:

— Ты не начал писать философские трактаты?— а затем через паузу добавил:— Не нравится мне сегодня твоё настроение.

Рудольф горько улыбнулся:

— Что настроение... Я сам многим не нравлюсь. Вот, посмотри...— и достал из внутреннего кармана пиджака сложенную гармошкой газету.

«Вымышленный инженер» — резанула жирная надпись по-немецки. А под ней некий Отто фон Шульц уверял: «Мы должны открыто констатировать: Рудольф Дизель, самопровозглашённый изобретатель двигателя на солярном топливе, не

имеет к нему никакого отношения. Ни впрыскивание топлива при помощи сжатого воздуха, ни самовозгорание топлива в сжатой камере не были придуманы им первым! В своём патенте Дизель декларировал двигатель пылеобразного топлива, а не нефтяного. А посему новый вид двигателей, работающих на нефтяных отходах, надлежит правильно называть не дизельными, а нефтяными…»

Адам хмыкнул и, положив газету на широкий поручень башни, свернул несколько раз, расправил остроносым треугольником и сделал самолётик. Через мгновение тот, наткнувшись на дуновение ветра, поднялся над площадкой, а затем, опустив клюв, начал плавно планировать к земле, пока не исчез из виду.

— Так исчезнет и забудется и эта газетная ахинея,— бодро констатировал Адам.— Но сильно ты кому-то не угодил! Что у тебя с кайзером и его огнемётами?

Рудольф ответил после долгой паузы:

— Думаю, всё из-за этого и началось. Бросил я работу в лаборатории Фидлера, а самого профессора послал к чёртовой матери. У этого ростовщика одни деньги в голове… Ну а главное: не могу я конструировать смертоносные штуки!— инженер достал новую сигару и закурил.

— А ты не боишься разозлить кайзера? Все императоры мстительные, а Вильгельм— наиболее…

— Его недовольство ограничивается немецкой империей. А я могу жить и работать и вне её пределов.

— Кроме Англии…

— Почему?— не понял Дизель и внимательно посмотрел на друга.

— Вряд ли кайзеровское правительство позволит спокойно жить во враждебном государстве человеку, посвящённому в секретный проект «греческого огня». Да и не только в него. Ты же сам знаешь, как нервно относится немецкое военное командование к поставкам твоих двигателей флотилиям Англии, Франции и России.

Дизель снова задумчиво молчал, а на прощание подытожил:

— Поживём— увидим. Завтра еду на всемирную выставку в Гент. Там бельгийская фирма братьев Карель экспонирует мои двигатели. Оттуда и поплыву в Англию— подписывать большой контракт с тамошним адмиралтейством. Затем— свадьба дочери Луизы. Ну а после и решу: что, как и где…

— Море вас ждало!— сказал капитан и обвёл потухшей трубкой водную гладь.— Ещё день назад здесь были в два метра волны, а сейчас, видите, пароход идёт спокойно, как утюг по простыне.

— Я всегда подозревал, что капитаны— в душе поэты,— дружелюбно улыбнулся Дизель.

— Сравнение и действительно отличное, но сейчас в моде электрические утюги, а не дымящие углём, как ваш пароход…— лукаво покосился на капитана старший Карель и договорил:— Надеемся, что и ваши трубы вскоре перестанут чернить небо и что место неуклюжей паровой турбины займёт двигатель уважаемого герра Дизеля.

— Звучит как тост,— бодро кивнул Люкман и высоко поднял рюмку.— За новые успехи!

Карель, владелец бельгийского машиностроительного завода, и Люкман, его главный инженер, были полными противоположностями: первый— невысокий, плотно-одутловатый, лысый, с басистым голосом, второй— писклявый худой великан с неукротимыми длинными прядями. Но оба старательно делали одно и то же и были надёжными компаньонами «моторных дел мастера», как называли они Рудольфа Дизеля.

— За успехи,— повторил капитан, отпил белого сухого вина и добавил:— С месяц назад мне попалась на глаза лондонская газета с изложением выступления господина Дизеля на конгрессе судостроителей в Глазго и его призывом активнее, по примеру России, использовать дизельные двигатели. Публикация заканчивалась высказыванием, если не ошибаюсь, председателя конгресса: «Сегодня английские судостроители услышали, что их ждёт впереди». И я убеждён: впереди— только успехи.

После продолжительного ужина они вышли на палубу покурить. (Впрочем, этой вредной привычки придерживались только трое, и поскольку Карель был заядлым курильщиком, его антипод Люкман табачный дым не переносил.) Хотя и море было Северное, и заканчивался сентябрь, ранняя ночь удивляла спокойствием и теплом. Низко над водой застыла луна.

— Что ж… успехи успехами, но перед ними должна быть работа,— прервал молчание педантичный Люкман.— Позволю господам напомнить: завтра в Ипсвиче мы присутствуем на собрании объединённого общества «Дизель», где инспектируем тамошние мастерские, затем направляемся в Лондон подписывать договоры с адмиралтейством. Заказывать, как и обычно, «Кайзер Роял отель»?..

Затем компаньоны провели Дизеля к его каюте и попрощались.

Утром рейс Зеенбруге— Гарвич заканчивался…

Берег Англии тонул в тумане, а над морем рождалось последнее сентябрьское утро 1913 года.

В залитом электрическим светом ресторане подали завтрак. Многие уже заканчивали трапезу, а Дизель к столу не пришёл. Карель взглянул на часы и, борясь с одышкой, позвал стюарда:

— Пожалуйста, напомните господину Дизелю, каюта номер восемнадцать, что нужно поторопиться. Пароход придёт в порт по расписанию?

— Да,— кивнул стюард— и через несколько минут вернулся ни с чем.— Извините, но в каюте господина Дизеля нет.

…Уже около пяти часов не было его ни на пароходе, ни вообще—в живых. Ещё глубокой ночью Дизеля разбудил человек в морской форме и, представившись помощником капитана, спешно позвал в командную рубку:
—У нас чрезвычайная ситуация, герр инженер! Капитан и старший механик ждут вас!..

Спросонья одеваясь, Дизель успел подумать, как помощник попал в каюту, но тот опередил:
—Герр инженер, извиняюсь, я постучал, но дверь была открытой… Умоляю вас, скорее!

У трапа между каютным отсеком и палубой человек в форме помощника капитана остановился и пропустил Дизеля вперёд, затем вытащил из рукава завязку и накинул инженеру на шею. Появился ещё один человек неброской внешности—ухватив за подмышки и ноги, принесли затихшее тело Дизеля к фальшборту и сбросили в слепой туман…

Эпилог

Они поздоровались и несколько минут сидели молча, отводя взгляды. Затем Тугиев вздохнул и, приподняв чёрную бровь (сам уже был наполовину седой), прошептал:
—Ну вот и увиделись… Спасибо, что хоть, убегая, этот ресторан назвали,—он занервничал, потрогал обрубок мизинца и взглянул на Адама.—Хотя тебя, зятёк, я и не уполномочивал оплачивать обещанный мной остаток за столетнее тут столованье…
—Папа, ну не начинай…—улыбнулась Ханым.—Мы сделали это вместе. Расскажи лучше, как ты живёшь?
—Хвала Аллаху, хорошо… Вас вот даже сподобился увидеть. Живой—и слава небу.

В кафе «Vikon» зажгли свет. По стеклу окон брызнули электрические блики, запрыгали по тарелкам, бокалам, вилкам.
—Всё имущество отдал народу,—продолжил Тугиев.—Перебрался в деревню, подальше от комиссаров. И ваш Нобель с Апшерона подался. Поговаривали, пешком вынужден был переходить границу с Финляндией.
—Да,—наконец отозвался и Адам.—К сожалению, инженер Нордстрем, его помощник, погиб на льду около Кронштадта…

Подали горячие блюда, но Тугиев только пил чай и к еде не прикасался.
—Папа, а ты надолго в Париж? Может, поехали к нам?—мягко проговорила Ханым.—У нас хороший дом. Внучку с внуком увидишь…

Что-то неожиданное вспыхнуло в старческих зрачках:
—Как их зовут?
—Джамиля и Казимир. Они уже почти взрослые.
—Казимир и Джамиля…—повторил Тугиев и задумчиво помолчал.—Сюда я ненадолго—что мне тут последние дни растрачивать? Должен встретиться со своим достам-другом Тапчибаши. Может, слышали? Он тут возглавлял дипмиссию Азербайджанской Республики, пока в Баку не пришли большевики…
—Да, мы имеем честь с ним быть знакомыми,—огорошил Тугиева Мацкевич.—Он живет в «Hôtel Claridge Paris», возле Елисейских полей, три квартала от Сены.
—Он был гостем в нашем доме,—добавила Ханым.—Читал детям стихи Физули.

Тугиев улыбнулся и опустил глаза.
—Дорогой Айдар, чем мы вам можем помочь?—во время очередной паузы спросил Адам.

Тугиев очнулся, глубокие морщины покрыли лоб, и он чувственно забасил:
—Когда-то ты говорил, что после антироссийского восстания на земле твоих родителей от дворянства-богатства осталась одна память… Богатство, сам знаешь, вещь наживная, да и не основная. Главное, чтобы дети моего народа не оказались под властью чужаков…—он внимательно посмотрел на Адама и заговорил тише.—Через несколько дней мы с Тапчибаши, да поможет нам Аллах, будем в Варшаве. Забота там одна… с Расулзаде, главой нашей республики, нынче эмигрантом. Он сопредседатель Лиги угнетённых большевистской Россией народов. Женился на племяннице Пилсудского…
—Пилсудского?—переспросил Адам.—Его отец был знаком с моим… Во время упомянутого вами восстания его выбрали комиссаром Национального правительства. А теперь его сын—Иосиф Пилсудский—и координирует ту Лигу!

Лицо Тугиева окаменело в изумлении, а Адам поспешил объяснить:
—Год тому назад в Париже проходила мирная конференция, на неё съехались и представители новопровозглашённых после войны республик. Вместе с другими—и моей Беларуси. Так вот Тапчибаши и познакомил меня с сородичами, а они—с Пилсудским. Пилсудский и его правительство обратились ко мне с предложением о сотрудничестве. Сотрудничестве по модернизации техники. Двигатели, турбины…
—И что ты надумал?—преодолел немоту Тугиев.
—Что?—Адам провёл широкой ладонью по редким уже волосам. Вздохнул. Подозвал официанта и заказал свежего чая. Медленно разлил в стеклянные армуды солнечный напиток—Тугиеву, жене, себе. И спокойно произнёс:—Хочу и вам показать родину своих предков. Поедем вместе?..

Виталий Молчанов

Русские

1.

Память — копилка из прошлого,
С горлышком узким бутыль,
Звякнет монеткой подброшенной —
Сразу припомнится быль…
…Вдаль поездами недальними,
Вглубь от неглупых столиц,
Мимо избёнок со ставнями,
Стаек резвящихся птиц,
Где самобранками полюшки
С цепью дерев по кайме.
Русская вольная волюшка
Льнула раздольем ко мне.
Вздохи случайной попутчицы,
С чаем вприхлёб разговор:
— Ночку в купе бы отмучиться…
С горки да вновь на бугор…
Книжка занятная? «Русские»? —
С краешка сдвинула снедь,
Пряди пригладила русые:
— Можно её посмотреть?..
— Что ж, посмотрите, пожалуйста,
Если по нраву стихи…
Двадцать последнего августа,
Осени близкой штрихи,
В окнах вагонных заметные:
Стёкла в потёках дождя,
Небо ознобное, бледное,
Тучи легко бороздят,
В каплях кармина черёмушки
Скромный украсили сквер…
Звякнет монетка на донышке
С надписью «СССР».

2.

Мама из ложечки пичкает:
«Кушай, сыночек, не плачь».
Ёкнет загрудное, личное…
Ветер подхватит кумач,
Шумно расплещет по площади,
Тысяч коснётся голов.
Ленточки в гриве у лошади,
Варится праздничный плов.
Первое мая неистово
Бьётся в сердцах и речах.
Волны бушуют у пристани,
Я на отцовских плечах.
Тень от чинары прохладная,
Стол в чайхане на двоих,
Чайка взлетает и падает
В пену накатов морских.
Близкая и незнакомая
С русской мешается речь.
Время советское, дома я,
Рядом с церквушкой — мечеть.
Разные виделись равными,
Равные — братьев родней.
Смуглая девушка славная
Стала подругой моей.
В дворике школьном, неспиленный,
Помнит столетний инжир
Наш поцелуй… Обескрылено
Всё, чем тогда дорожил.
Нацией титульной гордая,
Яростна и слепа,
С кровью облитыми мордами
Ближних терзала толпа.

3.
Станций столбцы перелистаны,
Долгий—с главу—перегон.
Рельсы, бубнящие истины,
Трубный гудок, словно стон:
«Не отвечай на недоброе,
Надо учиться прощать…»
В паспорте—свёрнутой коброю
Беженца злая печать.
Хочет ужалить, да некуда,
Смутной душе всё равно—
К смерти обрядится рекрутом
В саванное полотно,
В яму падёт эмиграции
Тлеть средь чужих языков
Или клыками заклацает,
Плоти алкая врагов…
…В узкое горло бутылочки
Втиснулся медный алтын.
К русскому—русский на выручку,
Чтоб содрогнулся Батый,
Вскрикнула мать поседелая,
Чёрный отбросила плат…
Скачет с рязанцами смелыми
Вечно живой Коловрат.
Гении Жуков с Кутузовым,
Князь благоверный Донской
Подняли рати союзные
Снова на праведный бой!
Мифы о дружбе развенчаны.
Наши гонители—тли,
Вместе с Беспалым и Меченым
Сброшены с лика земли.

4.
Повесть о нас пишет небушко—
В облачной папке хранит.
Спрятала книжку соседушка,
Чтоб не бросалось на вид,
Взгляд раздражая, название
«Русские»—мол, ни к чему:
Мы россиян рассыпание,
Нам лишь суму да тюрьму.
Сколько кровей перемешано,
Стали не всем, а ничем…
Глупая, бедная женщина—
Жертва крушенья систем…
С Банком России в бутылочку
Брошу блестящий кругляш.
Русскому ль жить в половиночку,
Жадно вцепившись в багаж?
Только вперёд! Смыты горести
Напрочь святою водой,
Жизнь—как поездка на поезде
К станции Вечный Покой.
Полки все заняты узкие—
Снизу, вверху, по бокам.
Мир защищать едут русские,
Полный трагедий и драм.
Хлебом делиться с голодными,
Страждущим раны лечить,
Степи засеять безводные…
Не почивать на печи!
Выстроить вместе неломкую
Русь до конца всех веков,
Вспомниться добрым потомками
В строках нетленных стихов!

5.
К вечеру вдруг распогодилось—
Лета прощальный аванс.
Милая женщина, Родина
Очень похожа на Вас.
Цвета пшеничного волосы,
Очи—во ржи васильки,
Только о детушках помыслы—
Блудные так далеки.
В Штатах, в Европе и в Азии
Ищут они барыши.
«Бедных сманили да сглазили»,—
Крик материнской души:
—Вдруг Миссисипи, не Волга им
Станет всех речек родней?..
Будут холодными, горькими
Слёзы осенних дождей.
«Русские дали бескрайние,
Русскую ширь не объять.
К отчей земле бы старания
Вам приложить»,—молит Мать,
Чтоб впереди остановочка
Вечною славой звалась,
Не порвалась, как тесёмочка,
С Родиной кровная связь,
Где самобранками полюшки
С цепью дерев по кайме,
И наслаждаюсь я волюшкой,
Льнущей раздольем ко мне,
В каплях кармина черёмушки
Между склонившихся верб…
Там, где в копилке на донышке
С молотом встретился серп.

Анастасия Астафьева

Для особого случая

Непутёвый

Бабка Паня ждала приезда сына. И боялась его.

Получив телеграмму, она лишилась сна, всё валилось из её корявых пальцев, кусок не шёл в горло, и никакой радости не стала она получать ни от всходящей на её маленьком огородике картошки, ни от любимой козы Вальки.

Паня скрюченно сидела на табуретке у окна, уронив руки в подол выцветшего сатинового платья, и смотрела вдаль, не видя ничего и никого.

Федька был пьяницей. Горьким, страшным. Ещё парнем пристрастился он к вину, и не было с сыночком никакого сладу. Пил и с дружками, и вместе с отцом, пил на работе и дома, когда на халяву, когда в долг, а когда и вещи таскал. За вещи отец бил его и выговаривал, что-де последний вахлак из избы добро на водку тянет, за этим — край, амба! Федька и на мотоцикле с пьяными собутыльниками бился, по костям собирали, и на тракторе не один раз на бок ворочался, и замерзал в сугробе — никакой чёрт его не брал…

Бабка Паня — в те годы ещё Павла Афанасьевна, кладовщица колхозной МТС — грешным делом благодарила судьбу за то, что та не послала ей больше детей и не нарожала она ещё таких вот вахлаков себе на погибель.

Передышка в Федькиных загулах случилась, когда его забрали в армию. Два года прожила Паня в покое: сыночек на дисциплине, а отец, захворав, от выпивки отступился сам, в одночасье. Ждали, что сын из армии вернётся другим человеком. Не тут-то было: как начал отмечать сыночек свой дембель, так остановиться не мог. Все дни слились для Пани в один: так бывает поздней осенью, в октябре, когда беспросветное, набрякшее дождём небо уляжется на поля и перелески и неделями сеет, сеет нудную зябкую мокреть. Конца-края не видно…

Конец Федькиному пьянству пришёл внезапно и почти чудесно.

Однажды к соседке, точнее, к её дочке Натахе, приехала на майские погостить подружка из города. Учились они там вместе, ПТУ заканчивали. Как положено, вечером пришли в клуб, на танцы. Натаха — та крупная, бойкая, чернявая, а подружка полная ей противоположность: невысокая, аккуратненькая, блондиночка, имя редкое — Лиля, одета хорошо, духами пахнет. В общем, Федька влюбился, что называется, «с первого взгляда». Обычно в клуб попрётся, так ни спецовки, ни сапог не снимет, а тут в бане вымылся, рубашку у матери чистую попросил, брюки, ботинки, как положено. Лежащий на кровати больной отец, собрав силы, поднялся, сел, подколол сыночка грубой шуткой и, получив в ответ свирепый взгляд, зашёлся в кашле. Федька ушёл, хлопнув дверью, и явился только на заре. Совершенно трезвый. И на следующий день так же. И на третий…

Праздники пролетели быстро. Городская гостья укатила домой. Федька неделю ходил мрачнее тучи, ни с кем не разговаривал. Трезвый! Потом собрал вещи, ничего толком не объяснил родителям, не попрощался как следует и усвистал на вечернем автобусе вслед за своей зазнобой.

Через три месяца после его отъезда пришло письмо: женился, работает на заводе, живут пока в общежитии. Так и осталось для всех загадкой, чем улестил деревенский пьяница Федька городскую красавицу по имени Лиля и что за сила была у этой хрупкой девушки, способная напрочь отбить молодого мужика от водки…

Долго Паня не верила, что союз этот навсегда. Думала, пройдёт немного времени, заглянет Федька в рюмку, и всё опять покатится под гору. Но прошёл год, молодые родили пацана-первенца, через три года произвели на свет девчушку. По письмам и слухам, доходящим до родной деревни, жили хорошо: и материально, и промеж собой. Спиртного Федька в рот не брал ни капли, вышел в бригадиры. Когда помер отец, приезжали всей семьёй на похороны, привезли бабке Пане внуков. Она смотрела на сына, как на чужого, так разительна была перемена. За поминальным столом вместо Федьки сидел солидный мужчина, с прямой спиной, строгим взглядом, густые чёрные усы делали его старше… Паня смотрела на него и физически чувствовала, как по капельке уходит из неё, из её сердца, из её памяти, из каждой клеточки тела многолетний ужас перед сыном, невыносимое напряжение, тоска, вина… Паня решила, наконец, отпустить себя, поверить и расслабиться. И такое это было счастье, такая невыносимая лёгкость, что она сразу после похорон слегла с гипертоническим кризом. Не справилась со своей свободой.

Дальше Паня жила одна. Сдала корову и завела вместо неё козу. Собиралась потихоньку дорабатывать до заслуженного трудового отдыха. Да грянули перемены в стране, колхозы обнищали, сначала перестали платить зарплату, потом и вовсе сократили. Паня, как и все оставшиеся на селе люди, выживала на подножном корму, научилась приторговывать на рыночных развалах, плела половики-кругляши, варежки-носки вязала, заготовки овощные, грибы в баночках продавала. Чтобы было на хлебец, на сахар… Так и дожила, дотянула до пенсии.

Федька матери писал исправно два раза в год: летом на её день рождения и на Новогодье. Иногда присылал деньги, небольшие, но всё равно приятно. Она их никогда не проедала, использовала либо на ремонт, либо дров покупала. Сын давно получил квартиру. Звал в гости, но она так ни разу и не собралась. Внуки уже окончили школу, пошли в институт. Как они растут, Паня видела только на фотографиях, которые выпадали вместе с письмами из конвертов.

Потом Федька писать перестал. Паня понимала, что времена трудные, не до того, работу бы не потерять, детей выучить. Но однажды не выдержала и села писать сыну сама. Долго и трудно выбирала слова, чтобы письмо не вышло жалобным, а всё равно съехала на грустное и одинокое своё житьё-бытьё и разревелась под конец, даже уронила на тетрадный листок несколько слезинок, под которыми тотчас же расплылись мелкие ровные буковки её почерка.

Ответ пришёл на удивление быстро. Писала невестка. Письмо, короткое и резкое, поведало Пане, что вот уже больше года Лиля с Фёдором не живут вместе, завод, на котором он трудился всю жизнь, давным-давно встал, её тоже сократили, найти новую работу в их возрасте в эти времена практически невозможно. Фёдор перебивался случайными заработками, потом запил… Дети уехали учиться в другие города. Ничего их больше не связывает. Обратной дороги нет. Развод назначен на пятое июня…

Давно забытым ужасом и тоской скрутило Панино сердце, всё вернулось в один миг, словно и не было почти двадцати лет её спокойной жизни. Письмо принесли седьмого. Значит, уже всё. Развелись. В таком-то возрасте! Уж не потерпелось невестушке, не поддержала мужика в трудную минуту. Худо ли прожила-то за ним? Он ради неё себя об колено смог переломить и столько лет держался. А она… И как теперь они все, и Паня в том числе, будут жить?

А вскоре пришла телеграмма от Федьки: «Буду субботу. Топи баню».

До субботы оставалось два дня, и вот эти два дня Паня ходила как в воду опущенная. Она хотела и очень старалась отыскать в своём сжавшемся нутре хоть какой-то, хоть самый крохотный огонёчек радости: сын приезжает, она теперь будет не одна!.. Но ничего, кроме страха, там не было. Ей навязчиво представлялось, как ввалится пьяный Федька в дом, заорёт, заблажит, в грязных сапогах протопает по половикам, завалится на постель, захрапит… а утром, ни свет ни заря, начнёт трясти её, требовать на опохмелку…

— Господи… — зашептала Паня в отчаянье, — Господи… прости ты меня, я и сама не понимаю, как так… сына, своего собственного и единственного сына боюсь… ещё не видевши ненавижу… как жить?.. Господи…

Хуже нет: ждать да догонять. Два дня и две ночи промаялась Паня, а в субботу встала раненько и сказала себе: будь что будет. Подоила козу и выгнала её пастись, затворила пироги, накачала воды и затопила старую прокопчённую баню, сходила в магазин и сама, словно хотела какую-то точку поставить в своих метаниях, купила бутылку водки, а к ней хлеба и две банки рыбных консервов. Пусть сын не знает о её страхе, пусть ему в родном доме будет уютно.

Утренним автобусом Федька не приехал. Стало быть, нужно ждать вечерним, в пять. А у неё к полудню уже и баня, и пироги поспели. Чем занять себя? Паня взяла тяпку и отправилась пошевелить картошку.

Всходы были ровные, густые, один к одному. Земля после вчерашнего дождичка влажная, податливая. Парило. Растревоженная мошка лезла в глаза, в рот. Не обращая на неё внимания, Паня работала споро, с охоткой. Когда от однообразной позы слегка заныла спина, она разогнулась, опершись на тяпку, огляделась и вздрогнула: у забора стоял рослый тёмный мужик. Ослеплённая ярким солнцем Паня не сразу признала в нём Федьку, только после того как тот подал голос:

— Здорова, мать!

— Здравствуй, сынок… — отозвалась Паня. — Ты на чём же приехал? Я тебя утром ждала.

— Да с попуткой, — отмахнулся Федька, заходя во двор.

Мать скользнула взглядом по фигуре сына: одет он был чисто, опрятно, из вещей только большой рюкзак за плечами. Обнялись, вошли в дом.

— Ты покушать с дороги или в баню сразу? — спросила Паня тихо.

— Успеется… — неопределённо ответил Федька, присел на табурет у стола, подтянул к себе рюкзак, стал выкладывать скромные гостинцы. — Конфеток вот тебе… сыр, ты любишь… тут консервы кой-какие…

— Да будет тебе, Федя… — оборвала его Паня, с тревогой приметившая, что бутылку он не выставил, припрятал уже где-то. — Чего случилось-то меж вами? Чего разбежались-то?

— Дак...— пожал сын плечами, не глядя матери в глаза.— Как у всех, ничего нового... Куда мне вещи свои положить?
— Оставь, я вон в комоде ящик освободила. Уберу. Иди в баню-то, выстынет.

Паня выдала ему банное, отправила мыться. Сама разложила немногую привезённую им одежду в нижнем ящике комода, сапоги и ботинки поставила к порогу, куртку и пиджак повесила на плечики и прибрала в шкаф. Немного нажил сын с невестушкой за двадцать-то лет. Сколь увёз — столь привёз...

Пока Федька мылся, Паня успела сварить картошки, достала с подпола солёных огурцов, накрыла на стол, выставив на середину запотевшую бутылку. Рюмочки поставила себе и ему, по-хорошему чтобы, по-человечески.

Распаренный, краснолицый Федька сел за стол, с жадностью навалился на еду, а когда мать потянулась за бутылкой, устав гадать, чего это он фасонит и не наливает, остановил её:
— Не надо. Я это... закодировался. Убери её...

Паня оторопела сперва, а потом послушно встала и спрятала бутылку в узкую щель между холодильником и стеной. Почему туда? И сама не знала.

Наевшись, Федька сыто потянулся и предложил матери:
— А пойдём, пройдёмся по родной деревне? Поглядеть хочу, как тут у нас всё изменилось.

И они пошли. Высокий широкий Федька и едва достающая ему до плеча седая Паня. Она даже под руку его взяла! Небывалое дело! Неспешно шагали они по родной улице, где каждый второй дом стоял теперь с заколоченными окнами, за разобранным забором, завалившись на угол. Поля за деревней зарастали сорным березняком и ёлкой. Три фермы на взгорке, бывшие когда-то богатыми, зияли пустыми чёрными окнами, провалившейся крышей, раззявленными воротами. В овраге ржавел остов комбайна...

За всю прогулку им встретилась только старуха, выползшая на лавку за калиткой погреться на солнышке, да почтальонка проехала на велосипеде.
— Вот они, наши перемены, Федя,— горько сказала Паня.— Зря ты приехал. Ничего тут тебя не ждёт... Работы нет. Пенсию и ту нерегулярно носят. Третий месяц уж дожидаемся. Хорошо, своя картошка. А хлеб да чай под запись в магазине дают...
— Думаешь, в городе лучше? — перебил её сын.— Нам на заводе зарплату утюгами и женскими китайскими пальто стали выдавать: иди, перепродавай, если жить хочешь. А потом и вовсе в бессрочный отпуск... Я и на стройке, и на рынке... надоело.— Он помолчал, собираясь с мыслями, и заговорил тихо, глухо: — Мама, ты не бойся меня... не рада ты мне, вижу ведь... думаешь, на шею твою приехал?.. гулять, думаешь, опять?..

У Пани острый ком встал в горле, до боли, она и дышать перестала, и идти дальше не смогла. Слёзы сами покатились по её щекам, и она стыдилась их и никак не могла сдержать. А Федька продолжал:
— Летом огород, сенокос, дом подлатать надо, хватит работы. А к зиме — в лес. Мужик, что меня подвозил, звал в артель, говорил, можно заработать. Дрова-то всегда нужны, и кругляк они гонят на продажу в Москву... Ты прости меня, мама, прости, что я... непутёвый такой у тебя... хочу новую жизнь начать. Сорок пять лет — самый срок...

Они давно вышли за деревню и сидели в берёзках на краю оврага, на прогретой солнцем мягкой траве, среди которой часто белели маленькие цветки земляники. Сын всё говорил и говорил, мать слушала и плакала и старалась верить в его слова и обещания. Ей так хотелось любить сына. Просто любить, легко, светло, ничего не боясь, ничего не ожидая плохого. Так, как любила она его маленького, чистого, до всех этих бед. Ведь любила же? Как давно это было. И было ли? Словно в другой жизни...

Для особого случая...

«Ну вот... теперь платье покупать...» — с досадой думала Галина, шагая через поредевший перелесок, через почерневшее от холодных октябрьских дождей поле к своей деревне.

Рано утром её вызвали в посёлок, в контору ТОО и огорошили. Она села на стул перед столом директорши и, услышав «радостную весть», не сразу смогла подняться. Всё надеялась, что обойдётся. Не обошлось.

«...надо в райцентр, на рынок... да чего там выберешь? Нормальный рынок только по воскресеньям...— Галина обошла большую глубокую лужу, рискованно пробираясь по самой бровке дороги, отодвигая ветви кустов и одновременно держась за них же. Платок с её головы съехал, и ветер трепал тускло-пепельные, тронутые сединой пряди волос, кидал их в лицо, в глаза, в рот.— Нет, пусть бы Светка Захарова ехала, она молодая, весёлая... вот бы самое то... сейчас до дома дойду и позвоню и скажу, чтобы её...»

Эта мысль принесла Галине облегчение. Встав лицом к ветру, она перевязала покрепче платок и пошагала к дому увереннее, тем более что крыша его уже завиднелась над дальним взъёмом дороги.

Дома, скинув у порога резиновики, она сразу бросилась к телефону и принялась звонить в контору. Никто не ответил. Галина сняла куртку, заглянула в залу на звук богатырского храпа: пьяный Колька, прямо в грязной измазученной спецовке, спал поперёк разложенного дивана. Один резиновый сапог-бродень, облепленный глиной, валялся рядом с диваном, на полу, другой снять, видно, Кольке было уже не под силу, и он удобно расположил ногу в нём на мягкой спинке.

Галина снова позвонила в контору. И снова долгие гудки.

— И куда Машку унесло?—рассердилась она вслух на директоршу, с которой они вместе ходили когда-то в школу, потом заканчивали сельхозучилище. Теперь вот почему-то оказались в разных социальных слоях: одна руководитель крупного ТОО, другая—доярка, хоть и заведующая фермой, хоть и ведущая в районе, а подчиняться Галина, бывшая отличница, должна той—бывшей троечнице.

…Но сегодня Машка, Мария Геннадьевна, и разговаривала с ней иначе, чем всегда, даже с каким-то подобострастием:

— Ты только представь: это не с одной области, со всей страны люди посылали кандидатуры, а выбрали нас! Тебя, Галина, выбрали! Потому что ты на сегодня—герой! Ты—доярка номер один в России! В *России!* Понимаешь?! Потому что твои коровки надоили больше всех молока! И какого молока!

— Да так уж и мои…—безрадостно проворчала Галина в ответ.

— Ты, пожалуйста, эти свои мрачные настроения брось! Другая бы радовалась на твоём месте: в Москву едешь, в Кремль!—Мария Геннадьевна поднялась из-за письменного стола, от экрана компьютера, за которым она обычно пряталась от посетителей, и подошла к окну, распахнула форточку. В полное раскрасневшееся лицо её ударил порыв ветра.—Кольку приструним. Тебе неделя отпуска. Ферму передашь Анисимовой.

— Ага!—вскинулась Галина.—Чтобы потом после неё месяц коров в чувство приводить? Они у неё в навозе утонут! Если ферму на Анисимову—точно никуда не поеду!

Директорша обернулась от окна и отрезала:

— Это не обсуждается, это—приказ. Иди, собирайся…

В контору Галина так и не дозвонилась, да и уверенность в своих доводах насчёт Светки подрастеряла. Назавтра она уехала с «молочкой» в райцентр, побродила по рынку, который в будний день состоял из привычных не тесных рядов с овощами, фруктами, мёдом, ягодами и четырёх палаток с промтоварами. По воскресеньям такие палатки запруживали всю улицу перед рыночной площадью, и товару было полным-полно. Сегодня здесь предлагали только резиновую обувь, мужские рабочие костюмы, раскрашенные под маскировочную военную форму, шерстяные носки и варежки, другую разную мелочь: от батареек и фонариков до пластиковых вёдер и тазов. Какие уж тут платья!

Последний раз Галина покупала праздничную обновку—голубой костюм из тончайшей шерсти, импортный, дорогущий, с вышивкой люрексом по груди и рукавам—на свадьбу собственной дочери. Та рано выскочила замуж и уже дважды сделала её бабушкой. В этом же костюме была и на юбилее у матери, и на вручении премии на 8 Марта. В нём же прошлой весной отгуляла она и на свадьбе сына… Бабы и ругали её, и смеялись: мол, что, тебя и хоронить в этом костюме будем? Сами они всегда старались большие события в жизни встречать в новом наряде: много ли их, событий таких, в судьбе деревенской женщины? Она и вспоминает-то, что женщина, лишь когда скидывает с себя вечные штаны, сапоги, платки, куртки, рабочие рукавицы. И ничего здесь не изменилось, хоть и XXI век на дворе, хоть и сделаны в некоторых деревенских домах модные евроремонты, появились стиральные машины-автоматы, а у кого и плазменные телевизоры, и компьютеры. На ферму, на огородную или лесную работу не отправишься в туфельках на каблучке и в нарядной блузочке.

Галина ушла с рынка ни с чем, разве что прикупила бутылку постного масла и килограмм винограда. «Кыш-мышь», как она его привыкла называть вслед за мужем. Без косточек, как она любит. Отщипывала по ягодке, кидала в рот, катала на языке, выдавливая южную солнечную сладость.

…Когда-то этим виноградом угостил её возвратившийся из армии жених Колька. Служил он в жаркой советской республике уже на излёте существования СССР и по нищете солдатской смог привезти в подарок ожидавшей невесте только тяжёлую прозрачно-янтарную кисть кишмиша. Было нестерпимо, приторно сладко, особенно ей, северной девушке, привыкшей к терпкости лесных ягод. Она просила пить, а Колька хохотал и целовал её липкие ладони, пальцы, губы. Потом крепко сжал её плечи, и взгляд его сделался очень серьёзным. Над брошенной в траву виноградной кистью кружили запоздалые сентябрьские осы…

В магазине «Одежда для вас» Галине приглянулось одно платье: строгого коричневого цвета с белой оторочкой по вороту и рукавам, чем-то похожее на дореволюционную школьную форму, только ткань очень уж тонкая, холодная. Время-то не летнее. Всё же она решилась его померить. Долго и неловко возилась в маленькой кабинке за неплотно прикрытой занавеской. Не сразу открыла замок на спине: тот застрял на полпути, заставив поволноваться—вдруг изломала! Но всё обошлось. Платье село как влитое, выгодно скрыв недостатки её плоского изработанного тела. Даже талия какая-то появилась, которой у неё сроду не бывало.

Продавщица похвалила наряд, одёрнула и поправила подол, зацепившийся за простые тёплые колготки:

— Это платье нужно после стирки обязательно в кондиционере прополоскать,—вскользь заметила она и улыбнулась:—Вам идёт! И цвет хорошо! На свадьбу?

Галина посмотрела на молоденькую продавщицу с грустной усмешкой:

— Свадьбы все отгуляли… это для другого… для особого случая…

— Берите! Это ваша вещь. Редко бывает, чтобы вот так сразу и по фигуре пришлось, и по длине, и рукавчики… К этому вороту хорошо будут бусы по шейке, например, гранат. Ну… или платочек шёлковый, акварельной гаммы.

И тут Галина вгляделась в себя, отражённую в зеркале, и увидела свои растрёпанные некрашеные волосы, своё худое с сухой загорелой кожей лицо, свою тонкую шею, торчащую из выреза платья, схватилась за неё рукой, провела, будто пытаясь убрать что-то лишнее, давящее. Рука тоже была сухая, длинная, тонкая, ногти коротко обрезанные, словно обгрызенные. Галина огладила уютную вещь ладонями по подолу, по невысокой груди, поймала ценник, болтающийся на рукаве на верёвочке, и в одно мгновение сняла платье. Она поспешно отдала его разочарованной продавщице и, ничего не объясняя, выскочила из магазина.

Галина тихо брела золотой берёзовой аллеей, по-девчоночьи подкидывая носками туфель опавшие листья, выражая так своё презрение и равнодушие к ситуации. Но, конечно, ей было больно, как-то почти по-детски обидно. Как могло платье, которое она наденет, наверное, один раз в жизни, стоить две её зарплаты? То есть пусть оно столько стоит, пусть его покупает кто-то, но тогда пусть оно будет ей мало или велико, пусть оно сидит на ней, как на корове седло! А оно, это шоколадного цвета платье с белой оторочкой, было «её вещью». И она это понимала, помня всем телом его ласково облегающую шелковистость. В таком платье сразу хотелось распрямить свою по привычке ссутуленную спину. Надеть модные туфли. Сумочку на тонком длинном ремешке. Причёску сделать!

Ну, причёску, допустим, она могла себе позволить. Галина свернула в узкий проулок между деревянными двухэтажными домами, где-то в одном из них располагалась парикмахерская. Почти через час она вышла оттуда с коротким каре на голове, выкрашенным в тёмно-каштановый цвет.

Гуляя и маясь от безделья в ожидании автобуса до деревни, Галина дважды прошлась мимо «Одежда для вас». Воровски, чтобы не заметила продавщица, перед которой ей было почему-то стыдно, заглядывала в витрину, за которой висело на манекене «её платье».

Когда автобус отъехал от автовокзала, она вздохнула с облегчением и подумала, что устала за этот бессмысленно потраченный день больше, чем если бы отработала его в две смены на ферме.

И как так случилось, что она проговорилась сыну про это треклятое платье! Без всякой задней мысли, просто он спросил: зачем ездила? Она рассказала. На следующий день он вдруг собрался и уехал в райцентр и вернулся с пакетом. И одним движением разложил перед матерью на кровати платье, коричневое, с белой оторочкой, блестящее, плывущее. И ещё шейный платочек к нему, как и посоветовала продавщица, в акварельной гамме.

Галина просто заплакала. Она ничего не могла сказать ему, ни ругать, ни хвалить, ни обнимать, ни говорить спасибо. Её обуял ужас оттого, что сын отнял от своей молодой семьи, от беременной жены, от хозяйственных нужд эту страшную денежную сумму!

— А чек, Серёженька, чек где?—сообразила она вдруг.

— Ещё чего!—захохотал сын.—Знаю я тебя, не хитри! Только попробуй обратно в магазин отвезти—до конца жизни разговаривать не буду.

Проснувшийся взлохмаченный Колька постоял рядом, посмотрел, почесал затылок, хмыкнул и побрёл куда-то в мыслях о том, чем бы и где похмелиться.

Последний день перед отъездом в столицу прошёл в суете, сборах, перебранках с мужем. Забежала дочка—принесла две пары капроновых колготок, заставила примерить платье, похвалила и его, и причёску. Вместе попробовали подобрать обувь, но рядом с роскошным платьем все Галинины туфли смотрелись уродливо! Дочка принесла свои чёрные полусапожки, только два раза надёванные. Галина с трудом натянула их:

— Малы…

— Ничего, мам, это ты на простой носок надела. А на капрон свободнее будет!—уверяла дочь.

— Косточку на правой давит ка-ак!

— Потерпишь! Ну нет больше вариантов! Покупать, что ли, опять?

— Окстись!—отмахнулась Галина.—Купило притупило… Ой, Серёжка… что наделал, дурень.

— Да ладно тебе, мам! Один раз в жизни такое! Стыдно же—в фуфайке, что ли, ехать?

Дочка вдруг порывисто и крепко обняла её и прошептала:

— Я тобой горжусь, мамочка, ты у нас молодчина…

Галину бросило в жар от этих объятий и признания: дочь была сдержанна на ласку и тёплые слова говорила редко и отмеряла по чуть-чуть. Да и было в кого…

Они пили чай, разговаривая уже о бытовых и семейных делах. Зашла соседка, быстро проглотила с ними чашку чая и попросила передать сыну, который учился в Москве, сумку с домашними продуктами. Но дочка отрезала, что матери там не до этого будет. Соседка убралась несолоно хлебавши.

Вернулся с работы Колька, на удивление—трезвый. Жадно поел горячего супа и ушёл затапливать баню.

Заехал зять с внучками. Те пообнимались с бабушкой, напились молока, наперебой рассказывая о своих радостях и горестях.

И потом все уехали.

И в доме стало очень тихо.

И тоска скрутила душу Галины.

И всё показалось зряшным…

Она выключила свет и выглянула в кухонное окно во двор, где уже смеркалось. Муж сидел на лавочке около топящейся бани, закинув ногу на ногу, неторопливо курил папиросу. Рядом с ним лежал белый дворовый кобель.

Галина подняла взгляд вверх: среди звёзд, усыпавших прояснившееся не иначе к заморозку небо, медленно двигалась мигающая точка—летел самолёт.

Завтра в таком же самолёте, который будет казаться с земли только мигающей точкой, полетит она.

Во вторник Галина вернулась. Зайдя в дом, сразу услышала богатырский храп пьяного мужа. Устало присела на стул у порога, опустив на пол сумки с гостинцами. Выдохнула:

— Слава богу, дома…

На следующее утро она шагала привычной дорогой по бодрому октябрьскому морозцу, покрывшему инеем и голый перелесок, и сухую чёрную траву в поле, и большую глубокую лужу. Солнце, ёжась от холода, нехотя поднималось из-за горизонта. А Галине было тепло от быстрой ходьбы, в рабочей телогрейке, в рейтузах и сапогах, надетых с толстым шерстяным носком. Она знала, что работы предстоит много: выпивоха Анисимова за неделю наверняка запустила ферму, коровы грязные, полуголодные. Но Галине было радостно и легко, потому что она понимала, куда и зачем идёт. Она была в своей стихии. Именно «как рыба в воде», лучше и не скажешь.

В четверг вышла районная газетка, где на первой полосе, занимая всю её центральную часть, красовалась фотография: «Лучшая доярка России 2010 года Галина Кудряшова принимает поздравления от Президента РФ Дмитрия Медведева».

Галина стоит рядом с руководителем страны в неудобной зажатой позе, ссутуленная, с испуганным взглядом. На груди у неё блестит медалька, приколотая лично президентом. От прокола навсегда останется след на её новом платье—платье шоколадного цвета, с белой оторочкой по вороту и рукавам, которое некрасиво собралось между ног, задравшись на коленях и прилипнув к капроновым колготкам. В суете перед отъездом Галина совершенно забыла прополоснуть его в кондиционере, как это советовала сделать молодая продавщица из магазина «Одежда для вас».

Муж Колька, хмыкая и потешаясь, вырежет из районки эту фотографию и приколет булавкой к обоям в углу над кухонным столом.

Через три дня Галина снимет вырезку и спрячет вместе с платьем в самый дальний угол комода.

Измена

Беда пришла внезапно. Как ей и положено.

Голова у Лизы разболелась ещё с вечера, кружило сильно. Она даже стирку отложила, хотя Володя специально подтопил баню, нагрел воды. Легла пораньше, подумала: высплюсь, всё пройдёт. К утру боль не утихла, но Лиза поднялась, растопила печь, взяла подойник и пошла к корове. Доила, сидя на низенькой скамеечке, упёршись головой в тугой горячий коровий бок. Перед глазами плавали цветные пятна. Смирная Ромашка флегматично хрустела сеном, в брюхе у неё сыто бурлило. Закончив дойку, Лиза тихонько встала со скамеечки, взяла тяжёлое ведро с парным молоком, выпрямилась, сделала несколько шагов и упала у дверей хлева. Подойник опрокинулся, молоко вылилось и мгновенно впиталось в подстилку. Ромашка потянулась мордой к лежащей хозяйке, понюхала её и коротко взмыкнула.

Из больницы Лизу выписали через десять дней. Сын Павлик на своей машине довёз из райцентра до дому. Вдвоём с Володей они осторожно завели Лизу, приволакивающую правую ногу, в избу, помыли, переодели и положили на застеленную свежим бельём высокую кровать. Павлик уехал обратно. С Лизой остался муж.

Володя приставил к кровати табуретку, тихо сел и мягко взял холодную Лизину руку с истончившимися жёлтыми пальцами в свою большую ладонь. Вглядывался в измождённое, перекошенное на правую сторону лицо жены, гладил и поправлял свободной рукой её растрепавшиеся потускневшие волосы.

— Лизонька, матушка, скажи чего-нибудь…

Лиза смотрела прямо на него своими густо-серыми глазами, из уголков которых медленно стекали по щекам, куда-то за уши, на подушку крупные слёзы.

— Давай я покормлю тебя…—ласково предложил он, но Лиза в ответ только прикрыла веки и выдохнула какие-то нечленораздельные звуки.

Володя переспросил:

— Что, милая?

— и ачу…

— Чаю?

Лиза отрицательно мотнула головой.

— паать буу…

— Что?

— паать буу!

Она снова закрыла глаза и отвернула голову к стене. Володя выпустил её руку:

— Ну… спи… если чего — зови.

Он поднялся с табуретки, вышел из комнатки, отгороженной дощатой перегородкой, задвинул тряпичную занавеску на дверном проёме. Подумал и оставил щёлочку, чтобы следить за женой, не тревожа её лишний раз. Сам прихватил папиросы, больничные документы и выписки и вышел на крыльцо: посидеть, покурить, подумать, как дальше жить…

Лиза не спала. Она лежала в полутёмной комнатке, прислушиваясь к звукам, к кашлю и вздохам мужа, к его шагам, пытаясь угадать, что он делает, а главное, что он думает. Слёзы, капля за каплей, так и стекали из её глаз. Она вытирала их левой действующей рукой, но они бежали снова. Наволочка промокла. Лежать на ней было неприятно. А как лежать, если… Лиза даже думать об этом боялась. Решила терпеть, пока не разорвёт. И не есть, и не пить, чтобы нужды не возникало. Как она допустит, чтобы Володя из-под неё дерьмо выносил!.. Ласковый какой, «матушка» сказал… Вовек не слыхала от него… Надолго ли мужика хватит?.. Сколько ей так валяться бревном? Лучше бы сразу… и всё… И всех освободить…

Лиза скосила глаза на правую отнявшуюся руку, лежащую поверх одеяла. Попыталась пошевелить ею. Да что там! Это она мыслями своими пошевелила. А рука как лежала, так и лежит сучком бессмысленным. Врач говорил: надо массаж делать. Лиза попробовала дотянуться до неё левой, живой, но не смогла. Она хотела бы лечь на бок, хотела бы сесть, свесить с кровати ноги, но всё это стало для неё непосильным делом.

«Да как же это! — вскричало всё внутри. — Господи! Ведь мне же ещё пятидесяти нет! Работа, дом, огород, корова — всё на мне держалось! Теперь же как? Отбегала своё Лизонька?.. Зачем же ты меня оставил, Господи? Зачем Володьке моему такой хомут на шею? И здоровая-то не сильно нужна была, а такая…»

Лиза зарыдала.

Вернувшись в избу, Володя услышал из-за занавески странные пугающие звуки и бросился к жене.

— Что ты?! Что ты, Лиза?! Больно тебе?

Он подхватил её под плечи, обнял, приподнял, усадил, подоткнул вокруг высокие подушки и одеяло.

— Сейчас попить принесу! Ты только не упади, ради Христа!

Володя бросился на кухню, побрякал там посудой и принёс тёплого чаю в детском поильничке: от внучки остался. Лиза как увидела этот поильничек, так ещё пуще зашлась, отвернулась.

— Ну, мать, ты давай как-то… надо ведь и лекарство пить, и есть, и вставать осторожно. Что там за мысли у тебя завелись? Врач сказал: прогноз положительный, организм крепкий. Так что давай, попей… и кашки я сварил, жиденькой.

Он развернул жену к себе и почти насильно напоил, потом заставил съесть несколько ложек каши, выпить таблетки. После еды уложил и принялся неумело массировать ей отнявшуюся руку, растирать ноги, приговаривая:

— Если в туалет захочешь — стукни в стенку два раза, если попить-поесть — один. Если больно — кричи, скучно — зови. Я тебе телевизор сюда экраном развернул, будешь свой сериал смотреть… Ни о чём не переживай…

— аота а-ак?

— Чего? Работа? Так я отпуск взял. Я с тобой буду, пока не поправишься, а поправишься ты обязательно. Только мысли правильные в голове заведи — и поправишься… Уф! Всё, родная, поспи…

Володя коротко поцеловал жену в сжатые губы и ушёл справлять домашние дела.

Ночью Лиза видела какие-то вязкие, яркие и бессмысленные сны, походящие на кошмар, охала, вскрикивала. Под утро сновидение привело её к знакомому до ужаса дому, и она, подняв с земли горсть камней, стала кидать их в окна. Стёкла посыпались с оглушительным звоном, и кто-то закричал.

Лиза испуганно открыла глаза: над ней склонился заспанный встревоженный муж. Ещё не отойдя от ночного морока, она махнула на него рукой:

— уди-и-и… уди-и-и… еа-ижу…

— Да что ты, Лиза, что ты! — Володя приподнял её, дал лекарство.

С трудом сглотнув таблетки, Лиза устало повалилась обратно в подушки и уставилась в окно, за которым розовел рассвет. Нет, не верила она мужу, не хотела она, чтобы именно он видел её такой — униженной, слабой… Лучше бы чужие люди за ней ходили, пусть бы грубили, пусть бы в сырости и грязи она лежала, только бы не дотрагивались до неё его руки. Она никогда не забудет, что эти руки обнимали чужую женщину. Она не смогла простить тогда, не сможет и сейчас. И его виноватый вид, и его забота, и фальшивая ласка были неприятны ей. Господи, какое наказание, какая пытка оказаться совершенно беспомощной в руках человека, который тебя однажды так подло предал!

Ей в то лето исполнилось тридцать шесть, а Володя перешагнул сорокалетний рубеж. Сын Павлик заканчивал девятый класс и собирался поступать в техколледж. За хорошую учёбу отец отдал ему свой старый мотоцикл «Минск», а для себя присмотрел тяжёлый крепкий «Юпитер» с коляской. Стоял тот без дела в гараже у соседки Нинки уже лет пять. Покойный Нинкин муж немного и поездил: скрутила молодого ещё мужика чёрная болезнь. Многие подступались к ней насчёт

покупки мотоцикла, но вдова заламывала неслыханную цену и уступать не собиралась, мол, память дорого стоит. Володя трижды пробовал торговаться с жадной вдовушкой, и на третий раз та вдруг сдалась: и цену снизила, и согласилась получать деньги частями, да ещё и предложила держать мотоцикл в своём гараже, пока Володя себе новый не построит.

Тут бы и насторожиться Лизе: утром идёт муж к Нинке в гараж за мотоциклом, вечером едет опять же к ней—ставить технику на место. А то, глядишь, хитрая Нинка попросит подвезти её до работы: в одну контору едут, жалко, что ли! Уже и лето к концу подошло, и осень в окно дождём стучится, а доски для гаража как привёз, как бросил Володя дома во дворе, так они там лежат и киснут.

Бабы над Лизой стали откровенно посмеиваться: «Твой-то всё по вечерам Нинкин мотоцикл чинит? Трубу выхлопную прочищает?!» А ей и горько, и стыдно, и хочется спросить в глаза родного мужика про тайное и горькое, и страшно, и больно. Она грешным делом рубашки его осматривала, обнюхивала, как собака какая: не пахнет ли чужой. Родным потом пахли эти рубахи. И Володя домой как ни в чём не бывало приходит, обнимет её, пошутит, поест хорошо, и ночью когда дак… не часто, конечно, столько лет прожито, сын взрослый, уже и не до утех, вроде, но бывает… Значит, не подкармливается у Нинки? Зря бабы языками полощут. От всех этих вопросов без ответов начало у Лизы давленье пошаливать.

Обнаглел Володя, когда сын стал уезжать на учёбу. Неделю парня дома нет. Колледж в райцентре расположен, Павлик там в общежитии живёт, только на выходные приезжает: постирать привезёт да продуктами затарится—и обратно.

И вот, как уедет Павлик, так муж всё позже домой приходит, иной раз в ночи. Прокрадётся тихо, ляжет рядом в постель и не шелохнётся. И стала она чуять: то вином от него напахнёт, то духами, но главный, самый страшный запах ни вино, ни духи перебить не могли. Он въедался в мозг, этот запах чужой самки. Лиза бессонно лежала рядом с похрапывающим мужем и знала, что его губы, его руки, его тело пахнут чужими женскими соками. Какая это была пытка! Нинка эта ладно бы молодуха была—ровесница! И красотой не блещет. Дома у неё, как в сарае: занавесок на окна не повесит!

А в один из вечеров Володя, вернувшись и подвалившись под бок к жене, вдруг принялся её тискать.

— Уйди-и, кобель…—зашипела на него Лиза.—Не дала тебе сегодня твоя мотоциклетка?

Она слышала, как Володя, яростно скрипнув зубами, вскочил с постели, схватил одежду и вылетел из дому, шарахнув дверью так, что на кухне что-то упало и разбилось.

На следующую ночь он не пришёл ночевать совсем. Лиза протряслась в рыданиях и нервном ознобе до трёх ночи. Потом что-то надела на себя, сунула голые ноги в резиновые сапоги и пошла в непроглядную сентябрьскую темень через проливной дождь на соседнюю улицу, к дому разлучницы. По пути споткнулась о кучу гравия, сваленную посреди дороги, туго набила карманы куртки тяжёлыми камнями.

В ненавистных окнах не было ни отблеска. Крепко спят в обнимочку, голубки! Так нате вам! Лиза выхватила из кармана горсть гравия и запустила им в окна. Зазвенело разбившееся стекло, вспугнутым хором залаяли по деревне собаки, завизжала проснувшаяся Нинка, в избе включился свет. Лиза кидала и кидала в её мечущийся силуэт камни. Звенело и звенело бьющееся стекло. Там и тут по деревне зажигались окна разбуженных домов. Кто-то уже бежал на крик и шум…

Володи у Нинки не было.

— Аодя!—позвала Лиза и прислушалась к тишине.—Аодя!

Дом молчал.

Нет! Только не это! За три прошедших дня они уже приноровились к её нуждам. Володя выпилил в старом стуле отверстие, под него ставил ведро, поднимал и усаживал Лизу. Она махала ему живой рукой: уйди, не смотри… Но он не мог её оставить на этом сооружении, она тут же заваливалась набок. Придерживал, отвернувшись. Лиза выдавливала из себя по капле. Она всю жизнь и с бабами-то стеснялась сесть под кустик рядом. А тут при мужике! Он к Павлику-то маленькому ни разу не прикоснулся, ни одной пелёнки не выполоскал.

— Сё…—шептала Лиза, и Володя поднимал её со стульчака, укладывал на постель и—ужас какой!—обтирал интимное детскими влажными салфетками. Павлик специально привёз. Павлик и памперсы для взрослых привёз, но Лиза не могла в них справлять нужду. Это было выше её сил и разума.

И вот случилось! Три дня она крепилась, отказывалась есть. А муж пичкал её кашками, супчиком… Попросился супчик наружу.

— Аодя!!!—закричала Лиза отчаянно и, упираясь живой половиной тела в стену, стала сползать с кровати на пол. Только не в постель! Только не под себя! Но вместе с непослушным отяжелевшим телом пополз на пол и матрас с бельём. Лиза запуталась в простыне, уронила подушки и, выбившись из сил, повисла головой вниз. Отдышалась, ухватилась за спинку кровати, подтянулась назад, и от натуги с ней случилось то, чего она боялась.

Лиза обмякла всем телом. Закрыла глаза. Господи, умереть бы…

Володя пришёл через пять минут: бегал за хлебом.
— Ну, ничего, ничего…—приговаривал он сосредоточенно, снимая с Лизы перепачканную сорочку, вытаскивая из-под неё простыню.

Он всё перестелил, обмыл и переодел жену. Она ни на секунду не разомкнула плотно сжатых век. Не могла видеть своего позора. А когда Володя решил причесать её, неожиданно даже для самой себя перехватила его руку и коротко ткнулась губами в ладонь. И сквозь слёзы зашептала:
— П-пасибо, п-пасибо…
— Да ну, Лиза!—отдёрнул он руку.—Давай я тебе телевизор включу…

Тот отчаянный Лизин поступок вернул мужа домой. Но не разговаривали они больше месяца. Володя построил гараж, перегнал мотоцикл. С работы приходил вовремя, ужинал, помогал обрядить скотину. Потом либо смотрел телевизор, либо читал газету или книгу. Спали они отдельно.

Но сучка-Нинка проходу не давала:
— Когда должок вернёшь, Лизавета?
— Я тебе верну. Я тебе так верну!—цедила сквозь зубы Лиза.
— Добром не отдашь, в суд подам! За мотоцикл остаточек, за окна за ремонт. А главное, моральный ущерб! Володьку своего плешивого приревновала, смеху подобно! Меня в городе такой мужчина дожидается, тебе и не снилось! С квартирой, с машиной, бизнесом занимается. Всегда ухоженный, пахнет хорошо. А твой соляркой провонял на всю жизнь.

Ох, как хотелось Лизе врезать наглой Нинке! Но она стискивала кулаки и шла по своим делам. И так позора навек хватит, будут односельчане кости до гроба перемывать. Павлика жалко, надуют в уши, что было и не было. Переживанье парню.

Но Лизу и саму точило изнутри сомненье: ведь не застала она мужа с поличным. Чтобы ткнуть носом—на! Не было у неё неоспоримых доказательств его измены. Только пересуды да собственная бабья чуйка. А что если подвела она на этот раз? Что если не виноват Володя?..

В выходной приехал Павлик. Вместе с отцом они хорошенько намыли Лизу в бане. Она разомлела, отмякла. Как старательно ни ухаживал за ней Володя, а кислый запах от своего слежавшегося тела она ощущала и мучилась этим. Мужики приспособили матери над кроватью толстую верёвку с петелькой для руки, чтобы она могла понемногу подтягиваться и садиться, когда ей захочется. Ещё Павлик привёз ей игрушку—маленький детский мячик. Нужно было удерживать его в расслабленных пальцах, стараться сжать. Они с Володей подзадоривали Лизу, дурачились, заключали шуточное пари на «сожмёт—не сожмёт». Ей передалось их настроение, она кривилась-кривилась и вдруг смогла улыбнуться, а следом дрогнули и пальцы правой руки. Мячик зашатался в скрюченной, как огородная грабалка, Лизиной ладони, но не упал.

В этот вечер в душе Лизы поселилась надежда на выздоровление.

Она так люто ненавидела Нинкин мотоцикл, что отказывалась на нём ездить. Доходило до маразма: они собирались в лес или на покос, Володя садился на «Юпитер» и медленно ехал, уговаривая идущую рядом пешком жену не смешить народ. Так они двигались километра два, потом Володя психовал, давал газу, а Лиза гордо, молча шествовала дальше.
— Продай… Отдай обратно Нинке. Сожгу!—ежедневно пилила Лиза Володю.
— Ты отстанешь или нет?!—огрызался муж.—Не было у нас ничего! Что у тебя за сыр-бор в голове? Ты баб больше слушай! Они наплету-ут!

Лизин сыр-бор тем временем шумел и звенел всё сильнее, навязчиво нашёптывая «советы» не верить, не слушать, не допускать до себя изменника. Лиза сделалась подозрительной и мнительной. Куда бы Володя ни пошёл, ни поехал, она допытывалась, к кому и зачем, заводила себя и его. Вся вполне сносная и даже местами счастливая семейная жизнь их разладилась. Давление у Лизы стало прыгать постоянно, побивая рекорды высоты, в пальцах поселилась дрожь. Из-за регулярных скандалов Павлик перестал ездить домой на выходные, а потом встретил в городке девушку, и родная деревня ему стала вовсе не интересна. Нинка и вправду переехала куда-то, говорили, что и впрямь к мужику…

Покатились годы под горку. Ругаться со временем перестали, но прежняя близость и доверие не вернулись. Жили, будто соседи, разговаривали только по делу. И в доме их словно сквозняки завелись: стала Лиза всё время мёрзнуть.

Однажды весной отправились её мужики на рыбалку на том самом распроклятом мотоцикле, да и кувырнулись. Павлик сломал руку, у отца—трещины в рёбрах. Пока оба были в районной больнице, Лиза подняла на уши всю родню и за бесценок сплавила битый мотоцикл «в добрые руки».

Тут бы ей и успокоиться, и помириться с мужиком, но стал ей сниться один и тот же сон, как идёт она к Нинкиному дому и бьёт окна. Стена дома разлучницы разверзается, и видит Лиза на постели два сплетённых в страсти тела. Она подходит к любовникам, дотрагивается до плеча мужчины, он начинает поворачивать к ней лицо… На этом месте Лиза всегда просыпалась.

Дни тянулись медленно. Крохотными шажочками продвигалось Лизино излечение. Она упорно тренировала правую руку и уже могла сжимать её

в неплотный кулачок, сама садилась, сама ела — неаккуратно, проливая, роняя на сорочку крошки, но сама! Она уже чётче произносила слова и фразы. Опираясь на Володю, осторожно прохаживалась по избе. Но по-прежнему не могла без его помощи справить нужду. И это оставалось для неё самой что ни на есть китайской пыткой. Да и муж, она видела, заскучал. Месяц его отпуска подходил к концу. Дальше либо увольняться, либо искать сиделку. А на какие шиши? Да и кто побежит в деревне за чужой больной ухаживать, своих забот полон рот.

Вечером, уже к полуночи время шло, они смотрели телевизор: Лиза из своей комнатки, сидя в подушках, Володя в зале, в кресле. Он похудел, осунулся за это время. Слишком много курил. Непонятно что ел. Всё время был настороже, как гончая, прислушивался к каждому шороху в Лизиной келье. Боялся лишний раз выйти из дома. Лиза умом жалела его, но короста недоверия, покрывавшая её душу, хоть и начала трескаться и крошиться, до конца ещё не сошла.

Утомившийся за день муж то и дело дремотно ронял голову на грудь, но вздрагивал, ёрзал в кресле и снова бессмысленно пялил спящие глаза в мерцающий экран.

Лиза, улыбаясь, следила за ним, что-то забытое, горячее подмывало её изнутри, пульсировало в солнечном сплетении.

Она тихо позвала:

— Алодя… иди к-ко м-мне.

Муж сразу подскочил, пришёл:

— А? Чего?

— П-посиди, — похлопала она ладошкой по постели.

Володя сел рядом. Она дотянулась до его плеча, погладила.

— Чего ты? Чего? — испуганно посмотрел он на неё.

— С-с-спасиба т-тебе, с-с-спасиба…

Лиза потянула к себе его руку: всегда грубая, шершавая и чёрная от машинных масел его ладонь за этот месяц постоянных стирок сделалась мягкой, белой. Лиза прижалась к ней щекой и шепнула:

— Обни-ими м-меня… — она слегка пододвинулась. — Л-л-ляаг…

Володя напряжённо прилёг рядышком, на самый край, и обнял жену одной рукой, боязливо прижал к себе.

Лиза уткнулась в него лицом куда-то между шеей и плечом, втянула забытый мужской запах. Слёзы сами потекли из её глаз.

— П-п-прааа-сти… п-п-прааа-сти м-ме-еня, Алодя… яаа в-ведь… яаа с-сме-ети тебе жеаа…

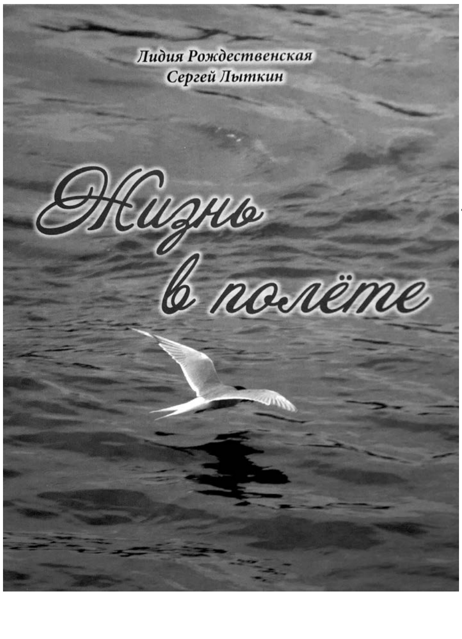
Володя промолчал, только крепче прижал её к себе и очень глубоко вздохнул.

Лиза всхлипывала, как ребёнок, уткнувшись в его подмышку. Вдыхая, вбирая в себя его родной запах, пропитываясь им и вновь становясь с мужем единым целым.

Володя потихоньку баюкал свою исхудавшую седеющую жену, словно маленькую девочку, и повторял про себя:

«Всё будет хорошо… всё будет хорошо…»

Литературное Красноярье ∴ Д*и*Н ревю



Лидия Рождественская, Сергей Лыткин

Жизнь в полёте

Красноярск: ид «Класс Плюс», 2015. — 256 с.

Это книга о Надежде Ивановне Кольбе, заместителе губернатора Красноярского края по социальным вопросам, может быть, в самые непростые для края годы (1999–2002). Это книга о девушке, приехавшей в Красноярск по комсомольской путёвке и ставшей одним из руководителей огромного края. Это книга памяти о чиновнице, никогда не думавшей о себе, и поэте, не опубликовавшем при жизни не единой строчки. В книгу вошли воспоминания людей, знавших и работавших с Н. И. Кольбой в разные периоды её жизни. Начиная с первых шагов в комсомольской организации автобазы и до трагического финала, случившегося 28 апреля 2002 года в Саянском ущелье.

Виктор Чигир

Пластилиновый мальчик

Так повелось, что о Серёже Колотилове всегда судили по выпискам при госпитализации: «*Не позволяет дотрагиваться до себя, вырывается, кричит, нецензурно выражается, игнорирует вопросы о самочувствии. Жалобы: „Оставьте в покое, везите обратно“ + брань. Фон настроения неустойчивый, легко аффектируется. Активно мысли о суициде не высказывает. Настороженность в плане побега присутствует*».

В детдом он попал в день своего рожденья, в тринадцать лет. Месяцем раннее его отец убил его мать. Узнав фамилию новосёла, детдомовцы встречали его с улыбками. В тот же вечер его госпитализировали с переломами рёбер. Он потрясённо вырывался и обещал всем отомстить. Ребята смеялись в подушки.

Очень быстро Колотилов понял, как ему не повезло быть воспитанным мамой. Взращённая на женской любви слабость не давала никаких шансов утвердиться. Драться у него не получалось в принципе. Его били хором и смеялись его жалким потугам отбиваться. Он призывал к справедливости, но его били даже самые слабые. Те, кто не бил, становились для Колотилова ещё бо́льшими врагами, так как жалость, он понял, ещё хуже слабости. Он проклинал отца уже не за убийство матери, а за то, что тот не помешал ей сделать из него послушного мальчика. Он понял, что послушание — удел слабых, а слабые не едят.

Первые шесть месяцев он вообще не знал, что такое компот на завтрак и хлеб на обед. Процесс отбирания «колотиловской харчи» был расписан по дням на месяцы вперёд. Это оскорбляло даже больше побоев.

Немного погодя он обжился увесистым камнем и сломал два пальца Метису, который в «свой» день потянулся за «своим» компотом. Метис упал, заорал, а Колотилов, опьянённый неизвестным для него чувством, стоя выпил отвоёванный компот. Компот оказался кислым. Столовая притихла, и Колотилову показалось, что так молчат солдаты, ждущие приказа своего полководца. Но это только казалось. Его потом долго били друзья Метиса. Сам Метис обещал отомстить и отомстил, вернувшись с госпиталя: Колотилов хромал потом месяца два.

После компот, хлеб и конфеты по праздникам отбирались исключительно Метисом. Он стал живым кошмаром для Колотилова. Теперь его били только с разрешения Метиса, а могли и не бить, если Метис не хотел. По привычке Колотилов пытался сопротивляться, но обжиться новым камнем ему не давали. На большее его не хватало.

От частых побоев он стал истеричен и вспыхивал по любому поводу. Но чувства собственного достоинства никто из него так и не выбил. От бессилия что-либо изменить Колотилов прыгал первым, наперёд зная, что его сейчас скрутят, повалят и изобьют. Так и было, и не было здесь места потаённому уважению к проигравшему и прочей ерунды, которую показывали в фильмах по выходным. Когда его, избитого и стонущего, поднимали санитары, он всегда вырывался. Смириться с очередным унижением было не так-то просто.

Он терпеть не мог, если его задерживали в госпитале. Там, в белых комнатах с большими окнами, где работали некрасивые, но добрые женщины и никто не отбирал еды, слабость Колотилова приобретала объём и не давала дышать. Ему казалось, что покой и уют делают его ещё слабее и беззащитнее, чем он есть, а значит, для детдомовцев он вообще теряет всякие права на существование.

Уют госпиталя всегда заканчивался одним и тем же: Колотилов просился назад, его не выписывали, и он совершал побег. Его ловили, сажали на лекарства, но побег вскоре повторялся. Его ловили опять, но он опять пытался бежать. И продолжалось так до тех пор, пока справка не была готова.

К пятнадцати годам он стал расторопнее и обзавёлся гвоздём. Гвоздь был оцинкованный, в двенадцать сантиметров. Несколько дней Колотилов искал детали для рукояти, чтобы сделать шило, но вовремя понял, что это будет слишком громоздко для него — обязательно заметят и отберут. Конечно, можно было расплющить его на рельсах и сделать нож, но побеги, даже временные, у Колотилова не получались. Так что гвоздь решено было прятать в носке. Твёрдая шляпка до крови натирала щиколотку, и Колотилову приходилось перекладывать гвоздь в другой носок, пока кровь не выступит и там. Так и чередовал: одна нога страдает, другая — заживает.

Однако ничего существенного с появлением гвоздя в его жизни не поменялось. Побои и унижения продолжались, и конца им видно не было. Конечно, он научился смотреть обидчикам в глаза и выкрикивать правильные слова, но это было обыкновенным привыканием. Ощущения того, что у него есть козырь в рукаве, он не испытывал. Когда было нужно, о гвозде не вспоминалось, и Колотилов ловил себя на мысли, что не вспоминалось из страха. Потому что не мог он просто взять и ударить. Одно дело — бить человека камнем, и другое — протыкать гвоздём. Он корил себя на ровном месте и ненавидел за ещё не существующее поражение.

Однако мысль о том, что когда-нибудь он себя переборет и всё-таки сможет, грела ему душу. Оставаясь один, он вытаскивал гвоздь из носка и упражнялся в ударах. Представить цель было нетрудно: Метис, рослый, толстый, синеглазый, с оттопыренной губой. Трудно было другое — уверить себя в том, что всё получится. Тонкие ручки и слабые пальцы только подтверждали эту неуверенность. Нужно быть слепым паралитиком, чтобы позволить мне ударить, думал он.

Но, несмотря на такой настрой, однажды начав, больше он не останавливался. Он доводил себя до такого состояния, что гвоздь уже выскальзывал из потной ладони и гремел о стенку. В такие моменты Колотилов улыбался, считая это личным достижением. Чуть позже он додумался считать удары, и дело пошло веселее. Теперь можно было вести учёт и увеличивать нагрузки, если прежние уже не годились. Начинал он с двадцати ударов за раз. Потом дошёл до тридцати пяти. А через месяц мог делать все восемьдесят. Восемьдесят ударов стало нормой. Он повторял их три-четыре раза, а если рука не болела, мог довести себя до шести повторений, но это был предел. Со временем пределом стало и сто семь ударов за раз. Он проделывал их на свежую руку или перед сном в туалете и с каждым днём всё больше удовлетворялся скоростью их нанесения. «Стосемки» стали предметом его гордости, и он очень жалел, что никому не может похвастаться ими.

Были дни, когда ударная рука немела и отказывалась что-либо делать. Тогда Колотилов устраивал перерыв и занимался теорией. Расспрашивать кого-либо было опасно, так что он ограничивался подслушиванием — семнадцатилетние ребята частенько хвастались своими знаниями. Вскоре он понял, что, как и везде, тут всё довольно просто, главное — включить воображение. А этого у него всегда хватало. Можно было смело закрывать глаза и придумывать сотни вариантов расправы. С поправкой на подслушанные знания, бóльшая часть отвергалась, но многое шло на заметку. В глаз — противно, со спины — низко, да и куда там бить? В голове — кости толстые, ниже живота — только покалечу, а нужно обязательно убить… Почему-то он сразу решил, что только смертью что-то докажет. Варианты крутились в голове, бубнились под нос и вскоре стали наваждением. Многое ему снилось. Поначалу Колотилов пугался таких снов, но потом привык и увлёкся. Теперь по утрам его приходилось бить подушкой, чтобы разбудить.

Через полгода с того дня, как «стосемки» стали нормой, он точно знал, как всё случится. Удар будет нанесён в шею, ближе к уху, туда легко и наверняка. Главное, чтобы Метис не успел подставить руку. А значит, нужно просто наращивать скорость. И он наращивал. Изо дня в день он отрабатывал один и тот же удар — снизу вбок — и удивлялся, видя, как это легко — просто быть способным.

Наверное, тогда Колотилов и решил, что всё-таки будет бить. Это пришло так же легко, как и всё остальное. Больше он не нервничал, представляя Метиса после удара, и совсем не боялся реакции его дружков — гвоздь-то останется в руке, а рука способна будет нанести ещё сто шесть ударов.

А ещё он помнил компот. Тогда было непонятно, но он знал: компот был грушевый, с клюквенным вареньем и шиповником. Ему так и не довелось попробовать такого снова, а очень хотелось. За право выпить его без опаски стоило рискнуть.

Теперь, когда Колотилова били, он берёг правую руку. Он больше не орал проклятья, а просто молча дожидался, когда все устанут и разойдутся. Некоторых это даже пугало. Поначалу ребята пососообразительней отходили в сторонку, но при следующей потасовке били Колотилова чуть ли не сильнее самого Метиса. Колотилов всё терпел. Мысль о том, что скоро всё случится, помогала ему оставаться спокойным.

Потом он вдруг начал ловить в отражении совершенное чужое лицо. Парень в зеркале равнодушно ухмылялся, даже когда был один. Это пугало и настораживало. Колотилов понимал, что выдаёт себя с головой, но всё же не мог налюбоваться. Вот что значит быть кем-то, думал он. Всё чаще и чаще он ловил себя на мысли, что будь он на месте Метиса, то был бы таким же. Это естественно и обязательно, уверял парень в отражении. Как дыхание. Как боль от удара. Можно жалеть и понимать того, кого бьёшь, но не бить — значит отдавать это право кому-нибудь другому. А другой никого жалеть не будет… Тогда-то Колотилов и подумал, что, может быть, Метис не такая уж сволочь, каким кажется. Может, он действительно жалеет и является просто жертвой своего статуса?.. Но такие размышления он обрывал. Нельзя было ему так думать. Именно это, он понял, и заставляло забывать о гвозде, когда было нужно. А он чувствовал, что уже готов всё сделать. Метис вдоволь наглумился, а он вдоволь натерпелся. Оставалось последнее — сделать рывок и насладиться победой.

Этот день был на его шестнадцатилетие. Вечером перед сном должно было случиться традиционное избиение, а пока на завтраке ребята радостно отпускали Колотилову многообещающие подзатыльники. Уткнувшись в миску, он жевал утреннюю перловку и даже не замечал ударов. Краешки губ его улыбались. Он был уверен, что всё это в последний раз. Подтверждением тому был стакан компота на краю подноса—солнечный зайчик играл на мутной грани и, казалось, ободряюще улыбался Колотилову.

Стакан вот-вот должны были взять. Метис всегда делал это напоказ. Колотилов же был приучен не дотрагиваться до стакана.

Но в то утро Метису компота не хотелось. За стаканом потянулся его дружок и очень удивился, когда Колотилов стукнул его по пальцам ладонью.

— Обойдёшься!—с вызовом отрезал Колотилов и продолжил есть кашу.

Дружок Метиса непонимающе сел напротив.

— Ты чего?

Его голос пугал своей прокуренностью, но Колотилов знал, что за этим ничего не стои́т—бить этот парень совсем не умел.

— Метису надо—пусть подходит и забирает,—заявил Колотилов пренебрежительно.

Дружок Метиса раскрыл рот в удивлении. Такого Колотилова он ещё не знал.

— Я—беру,—сказал он с расстановкой и снова потянулся за стаканом.

Но Колотилов опередил его и резко дёрнул стакан на себя, отчего треть компота разлилась по подносу.

— А ты что, подачками питаешься?—процедил он злобно.—Только если Метис не будет, да?

Это дружка Метиса разозлило. Он ещё не знал, как ему поступать, но предугадать, что будет дальше, было несложно. Вопрос стоял в другом: решится ли он бить Колотилова прямо сейчас или будет ждать вечера?.. Но нет, этот был не из тех. Колотилов давно вычислил таких. Они лишь поддакивали главарям, но сами всегда стояли за их спинами. Таких он перестал бояться очень давно.

— Падальщик,—добавил Колотилов с издёвкой.

У того покраснели щёки.

Что-то подсказывало Колотилову, что сейчас нужно непременно вот так вот, в лицо, выпить свой компот и утереть с вызовом подбородок, а потом будь что будет. Но он также знал, что стакан будет непременно выбит с губ, а это больно и жалко. Одно он решил точно: компот этому падальщику он не отдаст.

Метис, сидевший через несколько столов, уже начал поглядывать в их сторону, но Колотилов не волновался. Он небрежно толкнул одного отчаянного рубаку за соседним столом и, прежде чем получить подзатыльник, протянул ему свой компот.

— Держи.

Рубака смягчился и принял стакан. Колотилов ликовал, наблюдая кислую рожу падальщика. Теперь можно было и получить. Но тут рубака перехватил недовольный взгляд Метиса, который что-то ему показывал, и нехотя протянул стакан обратно. Только не Колотилову, а падальщику.

Это был проигрыш. Колотилову вновь показали его место. Он покорно уселся на лавку… Но тут же вскочил и, рыча от несправедливости, толкнул падальщика в грудь. Компот расплескался по полу мутной ароматной кляксой. Падальщик застыл в удивлении. Колотилов молча сжал кулаки, уставившись на врага остекленевшими глазами. Говорить уже не получалось, язык прилип к нёбу. Вдобавок что-то твёрдое и противное где-то в горле, а может, и в груди,—было непонятно—мешало дышать. Колотилов задыхался. Его обступили довольные сытые рожи, и Метис был среди них.

— До вечера не мог подождать?—голос у Метиса был заботливый.—Подарок-то в спальне.

Хихиканье оглушило Колотилова. Не понимая, он сделал шаг назад и вытащил своё оружие. Вот он, промелькнуло в голове. Вот он я! Взрыв радости на миг захлестнул его.

— Назад!..

— О-о!—зашумели рожи.

— Назад!—повторил Колотилов охрипшим от страха голосом.

— Смотри-ка, Метис, взрослеет твой сынок,—уважительно проговорил давешний рубака.

— Баловство,—отмахнулся Метис.

От его бесстрастной улыбки Колотилову хотелось плакать.

— Назад… назад! Прибью!—лепетал он, чувствуя, как слёзы застилают глаза.

Взрыва радости как не бывало. Обыкновенная вспышка, которой больше не было.

— Не ударит,—сказал Метис уверенно.—Мелочь пузатая,—и сплюнул.

— Прибью, суки!—твердил Колотилов.

— Спорим, ударит?—сказал давешний рубака.

— Нет, не ударит,—сказал Метис.—Я сынка знаю.

— Да ударит,—сказал ещё кто-то.—Ты посмотри на него. Р-р-ры!

Все захохотали. Колотилов дёрнулся, будто на него уже набросились. Но рожи оставались на местах.

— Так споришь или нет?—спросил рубака.

— Обоссытся,—сказал кто-то.—Помните, как он в штаны ссал?

— Заткнись!—крикнул Колотилов.

— Не ударит,—сказал Метис и протянул руку, требуя, чтобы Колотилов вложил в неё гвоздь.

Колотилов в отчаянии замотал головой.

— Нет, давай спорить,—сказал рубака.

— Ладно,—сказал Метис.—Спорим. На что?

— Две пачки.

— Две?—переспросил Метис.—Сынок стоит больше. Три.

Рубака задумался.

— Да ты просто подговоришь его не бить,— сказал он.

— Так мы спорим?— спросил Метис.

Рубака помахал Колотилову рукой, обращая на себя его внимание, и сказал:

— Малой, ты куришь? Дам две сигареты, если ударишь. И тебя больше никто не будет трогать, обещаю.

— Э, э, э!— запротестовал Метис.— Мы так не договаривались! Ты его подговариваешь!

— Это ты его подговариваешь!— сказал рубака.

Метис возмутился.

— Я?! Да я даже не знал, что он гвоздь носит! Откуда он у тебя?— строго спросил он у Колотилова.

Но Колотилов уже ничего не мог. Такая реакция на его потуги сопротивляться подкосила его. Он дрожал от липкого пота, выступившего на спине, и ничего не видел из-за горячих слёз.

— Сейчас захнычет,— мяукнул кто-то издевательски.

— Прочь!— не своим голосом заорал Колотилов.

Он вдруг понял, что если потянуть время, в столовую войдёт воспитатель, или повар, или уборщица, или ещё кто-нибудь, и всё закончится. Нужно лишь вытерпеть, не сдаться, сохранить лицо. Или хотя бы его остатки.

— Ладно, давай,— махнул рукой рубака.— Три пачки! Малой, смотри, на тебя ставлю,— добавил он Колотилову.

Метис скрутил губы трубочкой, обдумывая, затем сказал:

— Давай!

Они обменялись рукопожатиями, и Метис толкнул на Колотилова падальщика: разбирайся, мол. Падальщик оказался очень близко; стоило Колотилову рвануться немного вперёд и сделать свой удар, всё бы было кончено. Но нет, он дал противнику отойти. В голове намертво засело, что бить нужно Метиса и только его.

— Мне оно надо?— спросил падальщик у толпы, снова подставляя себя под удар.

— Одна пачка,— отозвался Метис.

— Маловато,— сказал падальщик.

Все засмеялись. Колотилов угрожающе дёрнул гвоздём, и падальщик отступил окончательно.

— Да и сопливый он ещё,— сказал он, оправдываясь.— Не хочу.

— Всё, я выиграл!— заявил рубака.

— Э, э! Мы так не договаривались!— возмутился Метис.

— Давайте быстрее,— сказал кто-то.— Сейчас набегут.

— Лезь тогда сам,— предложил Метис рубаке.

— Ага, и чем я буду выигрыш курить, если вдарит?— спросил рубака.

Опять хохот. Колотилов непроизвольно дёрнулся, и все наконец поняли, насколько он напуган. Метис уверенно шагнул навстречу выставленному гвоздю, протянул руку и сказал:

— Так и быть, сына, за три пачки тебя прощаю. Дай сюда.

Толпа притихла. Те, кто не вмешивался, тоже притихли.

Вот оно, мелькнуло в голове Колотилова. Он готов был поклясться: были люди в столовой, убеждённые в том, что удар будет нанесён. Ведь так просто представить. Метис не такой проворный. Протянуть, отдавая, руку пониже, а затем— раз!.. И отскочить. И ещё сто шесть ударов! А может, и меньше. Может, рубака всех остановит. Обещает ведь что-то. Лучше уж под ним…

— Дай!— сказал Метис требовательней.

Это был прямой, хлёсткий приказ сильного.

Рука с гвоздём непроизвольно расслабилась и потянулась в сторону раскрытой ладони. Как можно ниже, чтобы не успел, думалось скороговоркой. Вот ненавистная шея оказалась открытой, теперь рывок и… нет! Не буду. Гвоздь оказался у Метиса. Глаза Колотилова последний раз блеснули ненавистью, затем он закрыл их потными ладонями и беззвучно зарыдал. Толпа разочарованно загомонила, рубака выругался, а Метис по-отцовски потрепал Колотилова по голове и сказал на ухо:

— Завтра с меня компот.

— Ненавижу,— прошептал Колотилов в отчаянии.

Но Метис услышал. Он взял Колотилова за ухо и потянул к себе. Колотилов вырвался.

— Ненавижу,— повторил он громче сквозь слёзы.

Метис равнодушно поманил его пальцем, но Колотилов сорвался с места и выбежал из столовой.

Он знал, что нельзя убегать, что будет только хуже, но по-другому не получалось. Ему было физически больно от обиды за свою слабость. Теперь он точно знал, что всё вокруг сделано не по его меркам, что всё зло и враждебно, и нет ничего, кроме враждебности, и если хочешь перестать бояться этой враждебности, нужно самому стать враждебным, а на это он не был способен.

За спиной слышались голоса. Метис и ещё несколько неспешно семенили следом. Кто-то из них ласково звал Колотилова по имени, но Колотилов не поворачивался. В конце коридора была лестница на второй и третий этажи и вход в туалет. Быть избитым в туалете было низко даже сейчас, и Колотилов выбрал лестницу. Он побежал вверх сразу через три ступеньки и очень быстро оказался на третьем этаже. Обе двери в спальни оказались закрыты на замки, а значит, спешить было некуда. Колотилов устало сел на холодный линолеум и облокотился на перила. Нужно было хотя бы отдышаться.

Напротив стоял шкаф с полками, на полках— кипы пыльных журналов и пластилиновые фигурки. Прислушиваясь к голосам внизу, Колотилов

искал свою фигурку, которую когда-то лепил. Ему понадобилось время, чтобы вспомнить, что это был охотник с тушей медведя на плечах. Внизу скрипнули дверьми. Это Метис с дружками зашли проверять туалет. Колотилов вспомнил, как его ругала воспитательница, доказывая, что человек не может взвалить на спину целого медведя, а он спорил, что может, что сам видел, хотя на самом деле видел всего лишь рисунок в книжке. Потом, когда воспитательница ушла, фигурку у него отобрали, и больше он её не видел.

— Три пачки! — послышалось снизу восхищённое.

Колотилов просунул голову между перилами и увидел Метиса. Расстояние между лестничными пролётами было порядочное, и Метис был как на ладони. Он стоял, широко расставив ноги, лицом к троим собеседникам, и хвалил Колотилова. На третий этаж долетали обрывки фраз:

— Нет… Ударил бы… Я б ему ударил… Кишка тонка!.. Не!.. Но молодец… Расслабиться… Прячется сына…

Колотилов отвернулся, безжизненно опустил голову на колени и стал ждать. Фигурка охотника с тушей медведя никак не выходила из головы. Посидев немного без движения, он вдруг встал и, утирая сопли, приблизился к шкафу.

— Сорок семь килограмм плюс… — тихо зашептали его губы.

На глаза попалась фигурка с мечом — кто-то пытался сделать римского легионера. Неправильно было всё, вплоть до шлема и формы меча. Колотилов взял фигурку и сунул в карман.

— Сорок семь килограмм плюс…

Затем в карман последовал всадник на бегемоте, из копыт которого торчал проволочный каркас. Колотилов вспомнил, что для его охотника с медведем проволоки не хватило, но и без неё охотник прочно стоял на деревянной подставке. Жаль, что отобрали…

— Сорок семь килограмм плюс… — шептали губы.

Фигурка в широкополой шляпе рук какого-то неумёхи тоже последовала в карман. Динозавр с ветвистым хвостом. Лошадь, якобы щипающая траву. Девушка с вёдрами, больше похожими на брёвна. Все фигурки были болотно-зелёного цвета, потому что другого пластилина у детдомовцев не было. От воспоминаний, что когда-то дома у него был цветной пластилин, Колотилов заплакал.

Когда карманы переполнились, он заправил майку в штаны и стал совать фигурки за пазуху. Они оседали на животе и приятно холодили кожу.

— Сорок… сорок…

Слёзы мешали говорить, он замолчал и теперь просто беззвучно хныкал. Вскоре на шкафу не осталось фигурок, и Колотилов направился обратно к перилам. Метис всё так же стоял внизу, никуда особо не спеша. Обрывки фраз, долетавшие оттуда, почему-то стали неразборчивы.

— Я вам покажу, — шептал Колотилов, перелезая через перила.

Пластилиновые фигурки под майкой очень мешали. Со второй попытки у него получилось. Теперь он стоял прямо над Метисом, громко и неуклюже сопя. Один шаг — и всё, главное — ни за что не зацепиться.

— Я вам покажу…

Нужно было выждать немного времени, чтобы решиться, но, вдруг вспомнив, что всё уже давно решено, он прыгнул так, не решаясь и не дожидаясь…

Георгий Янс

Кошкин дом

Как он и предполагал, она вернулась.

После педсовета Милосердов засобирался было домой, но уже на выходе из учительской его окликнула директриса:

— Андрей Николаевич, если не трудно, задержитесь.

— Хорошо, Анна Сергеевна. Мне спуститься в ваш кабинет?

— Да, да, Андрей Николаевич. Ждите меня там.

Милосердов, перекинув пальто через руку, направился вниз. Так как в другой руке он нёс портфель, шапка осталась на голове. С не завязанными ушами она смотрелась на голове Милосердова по-шутовски. Несвежая сорочка с неаккуратно повязанным галстуком только усиливала это впечатление. И сам он был как бы несвежий: мешки под глазами, плохо побритое лицо, почти беззубая улыбка. Через несколько минут вниз спустилась и директриса:

— Проходите, Андрей Николаевич.

В кабинете Милосердов никак не мог найти, куда ему приткнуть своё пальто. Директриса заметила его замешательство:

— Да положите свои вещи в кресло и присаживайтесь.

— Благодарю вас, Анна Сергеевна.

Директриса Анна Сергеевна — очень приятная и уверенная в себе женщина. Настолько уверенная, что позволяла себе приходить в школу в джинсах и в джемпере. Но сейчас она была в смущении и не знала, как начать разговор. Наконец решилась:

— Андрей Николаевич, вы знаете, с каким уважением я к вам отношусь. Вы и Наталья Павловна были самыми моими любимыми учителями. Именно благодаря вам я и пошла работать в школу. Мне очень неудобно, стыдно, но, как директор, я вынуждена с вами серьёзно поговорить. Я даже не знаю, как начать, — чувствовалось, что эту фразу директриса репетировала не один раз. — Даже через столько лет я ощущаю себя вашей ученицей.

— Анна Сергеевна, забудьте, что я вас учил. И говорите со мной как начальник с подчинённым. И тогда будет очень легко начать, хотя начинать всегда трудно. А может, и заканчивать. Извините, я перебил вас.

— Ничего, мне всегда было интересно вас слушать. И всё-таки я попробую начать, — директриса всё же была ещё в нерешительности. — После смерти Натальи Павловны вы очень здорово изменились.

— Конечно, изменился. Всё-таки умер близкий мне человек.

— Не перебивайте меня, Андрей Николаевич. Я и так волнуюсь. Вы даже внешне изменились. При Наталье Павловне вы не были таким… таким… — директриса запнулась, стараясь подобрать нужное слово.

— …Неопрятным, — подсказал Милосердов.

— Вот видите, — обрадовалась Анна Сергеевна. — Вы и сами понимаете, о чём я. Андрей Николаевич, миленький, взгляните на себя со стороны. Если бы я вас не знала, то приняла бы за бомжа. Я уж не говорю о том, как мы гордились вами, вашим вкусом, умением держать себя. Вы же у нас в школе были самым интересным мужчиной. Мы даже мальчишкам своим всегда говорили: «Посмотрите на Андрея Николаевича. Вот так должен выглядеть настоящий мужчина». А что сейчас? Даже год назад вы таким не были.

— Год назад была жива Наталья Павловна. Она меня и обихаживала.

— Андрей Николаевич, что вы говорите? Наталья Павловна последние два года жизни практически не вставала. Как она могла вас обихаживать?

— Очень просто. Своим присутствием. Ради неё я держал себя в тонусе. Но если вас так беспокоит мой внешний вид, я постараюсь привести себя в порядок.

— Если бы только внешний вид! Ещё, Андрей Николаевич, и ученики, и родители, и учителя жалуются, что на уроках от вас разит перегаром. Так это или не так?

— Иногда по вечерам я выпиваю в свободное от работы время.

— А запах?

— Что запах? Видно, так у меня устроен организм. Но с запахом будем бороться. Помните, у Жванецкого: «Чем запах хорош? Не нравится — отойди»? Буду чаще чистить оставшиеся зубы.

— Я рада, Андрей Николаевич, что вы всё правильно поняли. Поверьте, это был для меня очень неприятный разговор.

— Верю, конечно, верю.

Директрисе действительно тяжело дался разговор. Когда-то, десятиклассницей, она, как ей казалось, была безумно влюблена в Милосердова. И на выпускном вечере в атмосфере всеобщего прощания и братания она в этой любви ему призналась. Выслушав её сбивчиво-сумбурное объяснение, он поцеловал её в щёку, а потом сказал: «Я рад, что вызвал у тебя такое красивое и светлое чувство, но я герой не твоего романа». В следующий раз они встретились через пять лет, когда Анна Сергеевна пришла работать в школу.

Милосердов вышел из школы. На улице было слякотно и неуютно, как может быть только в марте. От школы до дому было пять минут ходу. За тридцать лет хождения по одному и тому же маршруту ему были знакомы каждое деревце, каждый камушек. Милосердов был человек-моно: одна жена, с которой он прожил двадцать девять лет, одна школа, в которой он проработал без малого тридцать лет, одна машина, которая служит ему двадцать лет, одна дочь, которая родила ему внука, но, правда, дважды побывала замужем.

Открыв дверь, Милосердов тут же в прихожей положил на тумбочку портфель и крикнул в глубь квартиры:
— Натусь, это я пришёл, на минуточку. Я на пару часиков отлучусь, съезжу покалымлю маленько. Так что не скучай без меня. Когда вернусь, сотворим царский ужин.

Милосердов не без труда завёл свою «шестёрку», почистил от снега и порулил в сторону метро. Когда заболела жена, он стал подрабатывать по вечерам. Наталье Павловне требовались постоянно дорогостоящие лекарства, которые на учительскую зарплату купить просто невозможно. Жена умерла, а привычка калымить по вечерам осталась. Конечно, приработок играл немаловажную роль, но главным для Милосердова всё-таки была возможность общения, пусть поверхностное, но знакомство с новыми людьми. Именно общение с людьми, с которыми он, может быть, больше никогда и не встретится, Милосердов считал украшением своей жизни. Если случайный собеседник-попутчик был ему очень интересен, он мог позволить себе и широкий жест — не взять денег, а то и пригласить в гости на рюмку чая. Всякое бывало. Вот и сегодня так случилось.

— Натусь, я вернулся. Но я не один, — едва войдя в квартиру, прокричал Милосердов. — Со мной Константин Иванович. Я не перепутал имя-отчество? — обратился он к новому знакомому.
— Нет, всё правильно, — Константин Иванович нерешительно топтался в дверях.
— Это у меня профессиональное. С ходу запоминаю имена-отчества. Константин Иванович, да вы не смущайтесь. Раздевайтесь и проходите на кухню. Сейчас что-нибудь соорудим перекусить. Представляешь, Натусь, еду уже домой. Мужчина стоит, голосует. Как раз Константин Иванович. Он садится в машину, и выясняется, что живёт в соседнем доме, вон в той башне. Её из окна комнаты хорошо видно. Вот мы и решили по-соседски отметить это событие. Мы потихонечку по рюмашечке выпьем да чуток за жизнь поговорим. Не возражаешь, Натусь?
— Какая у вас жена спокойная и деликатная, — заметил Константин Иванович, когда расселись за столом. — Моя бы не постеснялась, такой бы хай подняла.

Константин Иванович выглядел помоложе Милосердова, но мешки под глазами и красные прожилки на носу делали его похожим на хозяина.
— Ну, давайте за знакомство выпьем. Закуска, правда, не бог весть какая.

Они чокнулись рюмками и выпили. Ни тот, ни другой в закуске не нуждались. Запаха чёрного хлеба было достаточно.
— Давайте повторим, Константин Иванович.
— Не возражаю.

Выпили уже не чокаясь, но закусили. Милосердов запил водку водой, а новый приятель отщипнул чёрного хлеба.
— Ваша жена не будет возражать, если я здесь закурю? — спросил Константин Иванович.
— Курите, курите! — замахал руками Милосердов, словно уже приготовился разгонять дым. — Жена даже и не заметит, что здесь накурено. Константин Иванович, позвольте поинтересоваться, в какой сфере деятельности находятся ваши профессиональные интересы?

Подвыпив, Милосердов любил изъясняться сложно и витиевато.
— Это вы о чём? — не понял Константин Иванович.
— Кем работаете? — пояснил Милосердов.
— А-а… В охране банка тружусь.
— Понятно. А в прошлой жизни вы кем работали?
— Инженером. По технике безопасности.
— Значит, так сказать, техническая интеллигенция. А я всю жизнь в школе работаю. Тридцать лет. Учителем русского языка и литературы. И жена моя в школе работала.
— Интересно… Никогда не пил с учителем. А зовут-то вас как?
— Что, разве я не представился? Милосердов Андрей Николаевич.
— Ну, Николаич, тогда наливай.

После третьей рюмки их разморило. Но хотелось побыстрее допить водку, чтобы с чувством исполненного долга разойтись восвояси и никогда больше не встречаться.

— Вот и Натуся пришла,— сказал Милосердов и указал глазами на дверь.

Константин Иванович посмотрел в ту сторону.

— Но там только кошка.

Действительно, в дверях стояла кошка и вопросительно-недоуменно смотрела на людей. Это была самая заурядная кошка, кремового цвета, с белой грудкой и чёрным пятнышком на носу. Милосердов взял кошку на руки и ласково почесал ей между ушей. Кошка радостно замурлыкала.

— Это и есть моя Натуся.

— Ты же говорил, что у тебя жена Натуся?— в некотором недоумении заметил Константин Иванович.

— Я и сейчас говорю, что вот моя жена Натуся.

— Почему бы и нет?— неожиданно легко согласился Константин Иванович.— Раз ты считаешь её женой, пусть будет женой. Я где-то читал, что в древности жили и с ослами, и с козами. Почему бы тебе не жить с кошкой? Я бы тоже, может, поменял свою жену на какую-нибудь животину. Хотя ведь за животиной, как ни крути, ухаживать надо. А я сутками работаю. Кто за ней присматривать будет? Жена же хоть и стерва, но никакого ухода не требует. Поэтому давай лучше, Николаич, выпьем за твою жену. Вон какая ласковая сидит.

— Давай выпьем.

Выпили.

— Это моя жена, с которой я прожил тридцать лет. Та моя Натуся умерла год назад. И вот неделю назад вернулась.

— Что-то я не пойму. Ты что, с этой кошкой живёшь уже тридцать лет? Но кошки так долго не живут.

— Я и не живу с ней тридцать лет. Натуся у меня только неделю живёт.

— А с кем же ты тогда тридцать лет прожил?

— Объясняю ещё раз. Жена моя умерла год назад. С ней я и прожил тридцать лет. А на прошлой неделе прихожу из школы, а у дверей квартиры Натуся сидит.

— Как она может сидеть, если умерла? У тебя с головой всё в порядке?— Константину Ивановичу определённо такая пьянка уже не нравилась.

— Да не псих я, не пугайся. Ты мне лучше скажи: ты в переселение душ веришь?

— Не знаю. Как-то не приходилось сталкиваться,— нерешительно ответил Константин Иванович.

— А я верю, потому что столкнулся. Душа моей Натуси переселилась в кошку.

— Откуда ты знаешь?

— А как объяснить её появление у дверей квартиры? И в квартире она себя повела так, как будто всё ей здесь знакомо. И меня признала. Не испугалась. Я позвал её: «Натуся»,— так она сразу откликнулась и пошла ко мне на руки. Нет, нет. Это моя Натуся вернулась.

— Убедил. Давай выпьем за переселение душ.

Бутылка была допита, и Константин Иванович без сожаления отправился домой. Тяжело по трезвости с ненормальным в одном помещении находиться. Милосердов также без сожаления расстался с собутыльником, так как ему хотелось пообщаться с Натусей. Он прилёг на диван, а кошка устроилась у него под рукой.

— Что, Натусь, гость не понравился? Мне тоже. Ты и раньше не любила таких незваных гостей. Да, впрочем, и званых не любила. Я с гостем на кухне, а ты засядешь в комнате, как сычиха, только дуешься. А новый человек— это ведь как книга. Может быть, интересно, а может, и нет. Но чтобы понять, надо хотя бы до половины дочитать. Ты меня упрекала в том, что я назло тебе вожу в дом всяких мерзавцев. Да, да. Так и говорила: «Всяких мерзавцев». Что молчишь? Возразить нечего. Если б могла, ты и Константина Ивановича мерзавцем бы назвала. А может, и назвала. Я не привык пока ещё к твоему мяуканью.

Милосердов проснулся в семь утра. Во сколько бы и в каком бы состоянии он ни ложился, позже семи никогда не просыпался. «Надо же, как устал вчера, что так и заснул в костюме»,— подумал Милосердов. Он машинально посмотрелся в зеркало. «Ладно, ещё разок можно сходить в таком костюме». Мяканье кошки отвлекло его внимание от своего внешнего вида. «Совсем забыл про Натусю. Она наверняка кушать хочет». Он прошёл на кухню, насыпал кошке «Вискаса» и в миску налил молока. Кошка потёрлась о его ноги и принялась за еду.

— Извини, Натусь, что забыл про тебя вчера. Сегодня я весь твой. Сразу после школы— домой. Ты что, мне не веришь? Я же сказал, что после школы сразу домой.

Кошка никак не реагировала на его разговоры. Она сосредоточенно, но не жадно ела. Милосердов накинул пальто.

— Ладно, я пошёл. Жди меня. Не скучай.

Только подойдя к школе, Милосердов выяснил, что сегодня воскресенье. И уроков сегодня не будет. Неожиданное открытие обрадовало Милосердова. Значит, он сможет весь день провести с Натусей. Это событие необходимо отпраздновать, поэтому в ближайшем магазине он прикупил водки.

— Представляешь, Натусь? Пришёл в школу. А в школе никого нет. А знаешь почему? Догадалась? Правильно, сегодня— воскресенье. А я что-то запамятовал. Стар становлюсь. Сейчас мы с тобой отпразднуем это досадное недоразумение. Ты знаешь, а характер твой почти не изменился. Ты сейчас, как и тогда, спокойно относишься к моим причудам. Никогда не ругаешься. Ты просто замечательная жена. Мы сейчас с тобой заживём по-другому, по-новому. В нашей жизни будет

больше радости. Ведь радости нам и не хватало. Так что — за радости.

Милосердов налил водки в стакан и выпил залпом, как всегда, не закусывая. Захотелось горячего чая. Всё-таки воскресенье. Только Милосердов налил себе в кружку чая, а в стакан водки, как в дверь позвонили. «Кого ещё нелёгкая несёт?» — подумал он, направляясь к двери.

— Маша, здравствуй. Вот не ждал тебя сегодня.

— Привет папа. Вот, решила навестить тебя. Как ты тут?

Маша — единственная дочь Милосердовых. После очень раннего (забеременела в выпускном классе) и, как следствие, неудачного замужества у неё разладились отношения с родителями, особенно с матерью. Мать так и не поняла, почему в семье, где главным делом было «сеять разумное, доброе, вечное», завелась такая развратная дочь. Это непонимание было настолько глубоко, что она решилась на размен замечательной трёхкомнатной квартиры на две однокомнатные. Милосердовы себе нашли квартиру в том же доме, а дочь отправили в квартиру на другой конец Москвы. Милосердову было жалко и жену, и дочь, поэтому он почти каждую неделю навещал дочь, надеясь, что всё как-нибудь образуется, но на всякий случай скрывая свои визиты к дочери от жены. Скрывать поездки Милосердову не составляло большого труда. Жена и раньше засиживалась в школе допоздна, а после разрыва с дочерью и вовсе приходила домой только переночевать. Но «как-нибудь» не образовалось. Наталья Павловна не могла поступиться принципами, а дочери было вполне достаточно общения с отцом. После смерти матери уже дочь стала навещать отца, но не так часто, как бы ему хотелось.

— Опять выпил? — недовольно втянула воздух Маша.

— Так чуть-чуть. Представляешь, пришёл в школу, а сегодня воскресенье. Вот и решил отметить это недоразумение небольшим количеством спиртного.

— Сколько же ты вчера выпил, если путаешь дни недели?

— И вчера чуть-чуть. Исключительно за компанию. Гость у меня был. Очень интересный человек, Константин Иванович. Очень мы с ним душевно поговорили.

— Пап, но нельзя же так, — дочь пыталась говорить спокойно, но чувствовалось, что она еле сдерживает раздражение. — Неужели ты не чувствуешь, что деградируешь? Посмотри на себя! Опустившийся человек. Вот это что? — схватила она его за пиджак.

— Как что? — удивился Милосердов. — Костюм.

— И ты это называешь костюмом? Весь засаленный. А брюки? А рубашка? Воротник стал уже чёрным. Неужели тебе не стыдно?

— Я как раз сегодня собирался привести его в порядок. Кстати, об этом же мне вчера говорила и Анна Сергеевна. Вы случайно с ней не сговорились? Ладно. Завтра надену всё чистое. И вообще, моя жизнь изменится.

— Будем надеяться, — выговорившись, дочь немного успокоилась. — Пап, но почему так? Я всегда тобой гордилась. Все говорили, какой замечательный Андрей Николаевич учитель. А сейчас что?

— Что сейчас? Я говорю, что всё изменится. Не могу пока сказать как, но изменится.

— Ох, пап. Хочется верить. Если бы стал таким после смерти мамы. Но ты ещё при её жизни стал… — Маша пыталась подобрать нейтральное слово.

— …Опускаться, — подсказал Милосердов.

Маша, как и Анна Сергеевна, была его ученицей.

— Но почему? — не унималась дочь. — Я понимаю, что мама была непростым человеком и всю жизнь делила на то, что можно и что нельзя. И «нельзя» было гораздо больше. И всегда расстраивалась, если что-то было у нас не так, как у всех людей. Только разъехавшись с вами, я поняла, как тебе было нелегко. Но всё равно это не оправдывает тебя. Прости за цинизм, но ты сейчас в таком выгодном положении: никто тебя не обременяет. Живи в своё удовольствие да радуйся жизни. Неужели, кроме бутылки, у тебя не стало других интересов?

— Это сложный вопрос. И давай не будем его сейчас решать. Чаю хочешь?

— Не знаю.

Отец с дочерью зашли на кухню.

— Господи, а здесь какой у тебя бардак! Ты хоть иногда убираешься?

— Иногда убираюсь. Вот хотел попить чайку и заняться домашними делами.

— Ты хоть закусываешь, когда свой чаёк пьёшь?

— Обязательно.

— А это что ещё такое? — дочка увидела лежащую на табуретке кошку.

— Кошку вот себе завёл, чтобы не было мне одиноко.

— У тебя есть голова на плечах или нет? Шестой десяток идёт. Ты себя-то обиходить не можешь. А тут ещё кошку завёл. Давно она у тебя?

— Неделю.

— Давай, пока не поздно, выкинем её.

— Нет, дочка. Никуда мы её не выкинем, — неожиданно жёстко ответил Милосердов. — Это моя жизнь. И её остаток я хочу прожить по своему разумению. Только что сама мне об этом говорила. Ты сейчас очень напоминаешь мне свою покойную мать. Откуда такая непоколебимая уверенность, что именно так мне будет лучше, а не иначе? Ну да ладно. Не так часто с тобой видимся, чтобы ещё тратить время на выяснение отношений. Как у тебя дела? Как Иван? — перевёл разговор Милосердов.

— Да нормально. У меня сплошная работа. Иван весь в футболе. Хотела его с собой взять, а он на тренировку поехал. Заехал бы к нам как-нибудь. Сам всё бы и увидел. Ведь после смерти мамы ты у нас ни разу не был.
— Как-нибудь заеду.

На этом разговор закончился. Маша перемыла отцу всю посуду. Прибралась в квартире. Приготовила ему на работу чистую одежду. Между делом пару раз пнула кошку, которая пыталась к ней приласкаться.
— Ну, пока, пап. Извини, если что не так.
— Ладно, дочка, всё нормально. Не забывай меня.
— Ты нас тоже.

Как только за дочерью захлопнулась дверь, Милосердов стремительно метнулся на кухню. Так же стремительно выпил водки, запив её уже остывшим чаем. Пришло успокоение. Милосердов взял кошку на руки и уселся с ней на диван.
— Что, Натусь? Извиниться за прошлое пыталась? А Маша тебя не признала. Выкинуть хотела. Может, и надо было тебя выкинуть? Ведь ты с ней за двенадцать лет даже словом не перекинулась. Но и я ведь виноват не меньше. Помнишь, как мы её чуть не убили? Ты уже писала диссертацию. Тема была очень забавная. До сих пор название помню: «Роль школьной комсомольской организации в формировании активной жизненной позиции». А какая может быть активная жизненная позиция при беременности? Правильно, никакой. До больницы шёл сто девяносто седьмой автобус. А мы сели на сто девяносто третий. Помнишь? И уехали, конечно, не туда. В больницу опоздали. Как мы упрашивали врачиху, чтобы тебя приняли. Но врачиха вредная попалась. Раз опоздали, говорит, делать ничего не будем. Так наша Машенька и родилась. Диссертация твоя накрылась. Я, если честно, был рад. Разве это диссертация? Сплошная позиция. А Ваньку мы всё-таки убили. Тебя как раз только завучем назначили. Ты была перспективным работником. И Ванька был тебе совсем нежелателен и неперспективен. И мне тоже. А почему и мне тоже? Наверное, по ночам не хотел вставать качать, а по утрам на молочную кухню ездить. Не помню. Помню только, что и на автобус правильный сели, на сто девяносто седьмой, и выехали заранее, и врачиха не была такой вредной. Всё сложилось как нельзя лучше. Через три дня ты была уже на работе. На тебе же была почти вся школа. Только знаешь, что я, Натусь заметил? Ты меня тогда перестала Дрюней звать. Только Андрей да Андрей. Да и я тебя перестал Натусей звать. Это я сейчас тебя Натусей кликаю, потому как вроде мы с тобой жизнь по новой начали. Вот сидишь ты у меня на руках, и вспоминаем с тобой нашу жизнь прошлую.

Кошка спрыгнула с рук Милосердова, громко замяукала и направилась на кухню. «Жрать, наверное, хочет»,— догадался Милосердов.
— Ну, пойдём, покормлю я тебя. Да и сам заодно перекушу.

На кухне он налил кошке молока, а себе водки. Милосердов хотел погладить кошку, но та зашипела и бросилась прочь, не допив молоко.
— Обиделась. А что обижаться? Маша правильно подметила (наблюдательная всё-таки у нас дочка), что так называемая моя деградация никак не связана с тобой. Просто жизнь так сложилась. И знаешь, мне очень жаль, что никто и никогда больше меня Дрюней не назовёт. Ты, может быть, и хотела бы теперь, да не можешь. Что с тебя взять? Хоть ты в душе и Натуся, а всё равно животина бессловесная.

Утром Милосердов позвонил в школу, сообщил, что приболел и что его дня три не будет. Но вместо трёх дней он отсутствовал уже неделю.

Директриса забеспокоилась, позвонила дочери Милосердова, и решили они вечером сходить к нему домой. Маша долго и безрезультатно звонила. Дверь никто не открывал. Тогда она вспомнила, что у неё есть ключ от квартиры. Ключ никак не входил в замочную скважину. Женщины переволновались и готовились к самому худшему. Наконец после нескольких попыток дверь поддалась.
— Папа, ты где? Это я. Папа, отзовись!

Дверь в комнату была закрыта, но за ней явственно слышалось какое-то бормотание. Директриса, как более решительная женщина, открыла дверь. На полу, облокотившись спиной на диван, сидел Милосердов. На нём был тот же костюм, что и неделю назад. Судя по всему, он так и не успел его снять. Волосы были всклокочены, а лицо заросло редкой бородкой. Глаза были прикрыты. В ногах у него сидели кот и кошка. Кошка дочери Милосердова была уже знакома, а кот был гладкошёрстный, непонятной расцветки, с порванным ухом и заплывшим от гноя глазом. Они сладко спали, обняв друг друга лапами, а Милосердов равномерно и в такт обеими руками поглаживал животных, при этом приговаривая:
— Натуся и Дрюня снова вместе. Натуся и Дрюня снова вместе. Натуся и Дрюня снова вместе.

Елена Жарикова

Одинокая ветка сирени

Пуговичка

Миниатюры пишутся из ничего. Из таких пустяковин, что мелочью пересыпаются в старой шкатулке, задвинутой в угол нижней полки комода. Овдовевшая серёжка, осиротевшая янтарная бусина, записка столетней давности… Стоит устроить генеральную—бац!—и выпадет из уголка памяти какая-то ниточка, чепуховинка, газетный клок, пуговка… И, казалось бы, что в ней, в этой пуговке? Ан нет—как из того кувшина джинн, из пустяковины этой—всплывает, разрастается, клубится, вспоминается… И вот уже касается тонко плеч, дует тихонько в ухо сквозняк прошлого.

Ну вот же—пуговица. Обычная, чёрной тканью обтянутая, от моего костюмчика учительского отвалившаяся… В тот далёкий мартовский день держалась она на честном слове, и некогда было остановиться, прихватить—минутное же дело!—нет, летела, сбивая каблуки новых ботиночек…

…Знакомо ли вам ощущение, когда что-то давнее, тяготеющее, как долгая зима, сходит с вас, тает, как сугроб,—в один только день! И *невыносимая лёгкость бытия* подхватывает на крыло, холодок щекочет щёки, солнце из тайников сердца выплёскивается наружу… Какие-то слёзы струнами оплетают горло, и точно, совершенно точно с самого утра знаешь, что всё будет так, как задумано,—и ещё лучше, слышишь!..

Почуяла спиной шаги, услышала всего-то «здравствуйте»… и провалилась в бархатную яму голоса, и куда-то вглубь нырнуло сердце, притаилось. Посметь не могла взглянуть в его сторону.

…Пишу из прошлого. Из того длинного дня весеннего равноденствия, где расточительное солнце и привольно разлившиеся лужи… Неужели не помнишь? А мне в этот день наконец блеснул свет; просто—кончилась зима.

Отчего это с утра так летелось, пелось, дышалось? Предчувствие встречи. Чуда. «*Моя надоба от человека—любовь. Моя любовь, и—если уж случится такое чудо—его любовь. Но это—в порядке чуда. В чудесном, чудном порядке чуда*».

После взгляда в упор гипнотически голубых глазищ, после пары пустяковых реплик в рабочем порядке мне уже ничего не оставалось… Думаешь, были пути отступления? Оказалось—до дома два шага, оказалось—живём в одном доме! А лужи, как на грех, оказались непроходимыми-необходимыми…

И вот уже стемнело, и ледком подёрнулись непроходимые лужи, и земля морозно цокает под каблучком, а я лечу, едва дыша, к первому подъезду, взмываю на девятый (кто не знает, на мне новое чёрное пальто, чёрная шляпа, чёрные ботиночки элегантного фасона, кудри вьются, а очки посверкивают!)… Звоню, вхожу, уверенная *(резкая, как нате!)*, а у него озадаченный взгляд: раньше пришла, чем ожидал. Хлопочет, спотыкается о косяки, роняет посуду—*вот это кино! И на экране твой любимый герой!* Смеюсь! Мне легко и неловко, как никогда.

Бесконечно прекрасен в своих нелепостях—огромный, двухметровый, с непропорционально большой головой, с необычайно манким, в ресницах пушистых, взглядом…

Каким соловьём разливался ты, какие пируэты выписывал: включал восточную музыку, взвивался в лезгинке, выводил рулады дурным басом, «*козлом свадебным прыгал*»! И с блюдами что-то начудил, приправами заморскими сдобрил. А пальцы-то, маменька моя родимая,—как у музыканта, самостоятельной жизнью живут, эдакие фортеля выкидывают! А мне ничего—сижу и улыбаюсь: мели Емеля, твоя неделя!

И подступиться-то к такой недотроге не знал как, с какого боку на кривой козе подъехать—не ведал! Удивленно брови вскинул, когда я, отряхнув крошки с юбки, легко встала: «А ты разве не останешься?» В этот момент нижняя пуговка моего пиджачка (что весь день на ниточке едва дышала!) бесшумно отвалилась, скользнула по юбке на пол. Успела заметить, быстро подняла—в карман. «А что, ты рассчитывал на такой вариант?»—засмеялась. «А вот смотри, пуговичка твоя другое задумала…»

Стояли, голову задрав, в мартовской ночи уставившись на комету—далёкую огнеглазую запятую…

А я её больше пришивать не стала, она необязательная, нижняя (без неё удобнее). Бросила в шкатулку. С тех пор и лежит. И выбросить жалко—и ни к чему не пришьёшь.

«Одинокая ветка сирени»

Учительская история

Типовое бело-голубое здание детсада густо обнесено кустами сирени, один из них нагло ломится в наше с Симой окошко. Предгрозовая майская духота, открытая форточка не спасает. Сиреневое благоухание удушливым облаком взяло детсад в круговую осаду.

«*Плыл по го-о-о-р-о-ду запах сирени, до че-го ж ты была красива…*»

— Сима, заткни, ради бога, свой оголтелый шансон — тошно!

«*Я тво-и целовал колени…*»

— Чё?

— Глухня, радио своё тупое заткни!

— Ну ты сильно-то не нарывайся!

— Ну убавь хотя бы эту пошлость! Урежь! Башка болит!

— Давно пришла? — Сима входит в комнату с уже выключенным транзистором.

— Только что.

— Чё, мать, опять вдрызг? — Сима чутьём, не глядя, определяет градус моего настроения. — Давай рассказывай.

— Да нечего рассказывать. Стою, жду его на лестничной площадке, слышу: кто-то поднимается, воркует, словно бы в райских кущах. Проходят мимо меня, как мимо стенки. Ведёт себе за ручку какую-то щучку. Очкастую! Зашли, чего-то взяли и смылись. Как будто помоями окатили. А у меня столбняк.

— Вот блин! И он что, ничего не сказал?!

— Почему? Сказал: «Проходи-проходи, мы на минуточку. Надо одну кассету забрать».

— Ну ты дура! Попробуй только к этому Глебу ещё раз — хоть ногой! Чё делать будешь?

— Тошно.

— А-а! Я в таких случаях знаешь, куда иду…

— Дай угадаю: в храм или к гинекологу?

— Пошла ты!

— Вот и иди!

— Спать, что ли, будешь? Обедала?

— Не помню.

— Всё, я на кухню. Сыпани чуток. Гречку сварю — позову. «*Плыл по го-о-роду запах сирени…*»

— Си-ма! Умоляю!

«*О чём печалиться, о друг? Было бы в изобилии книг…*» Какой-то древний дурак сморозил. Видимо, был уже преизрядно стар и превратностями судеб надорван. Книг-то у нас в изобилии…

Комнатка, по правде говоря, тесновата для двух девиц изрядного возраста. Мы обе учительницы-словесницы. Обеим за тридцать. У нас нормальная ориентация. Нам просто негде жить. Первый этаж детского сада, служебная квартира для учителей. Школа за углом.

Сима — колоритная, сочная еврейка: брови с изломом, ресницы с загибом, глаз с поволокой, грудь колесом, попа ящичком. Все принимают за свою — цыгане, чечены, евреи… Все любят напропалую.

У обеих — нескончаемые кипы тетрадок. У обеих — непотопляемые плоты бумаг. А ещё — *в изобилии книг.* У обеих криво-косо и никак — с личной жизнью.

Май. Грозовых туч клочки. Неживая зелень чахнет. Под окном душным маревом — разлапистый сиреневый куст. В кусту, очумев от духоты, орут воробьишки. Их не видно в густой листве и сиреневых гроздьях — и кажется, это сам куст трещит, кипит, верещит… Почему-то хочется бросить туда камень.

Сима на кухне с гречкой возится. Сначала перебирает полчаса, потом моет в трёх водах… И впрямь вздремнуть… Старенький продавленный диван кряхтит, дует в левое ухо, шепчет: спи, моя хорошая, спи… *Колют ресницы. В груди прикипела слеза.*

Даже во сне запах сирени вплывает в комнату и стоит томным облаком над изголовьем. Оттого, должно быть, сны такие странные. *Глубокий обморок сирени.* Во сне я сидела в сиреневом кусту, пела сиреной, чирикала воробьём, щёлкала соловьём, проверяла тетради и жаловалась на тесноту куста. Ещё клевала гречку. Потом плевалась гречкой прямо из куста на всех проходящих мимо Глебов.

…Очнулась поздним вечером, когда натягивало сумерки. В форточку веяло сиреневой и земляной сыростью, дождевой свежестью, мокрой травой… Где-то в углу позванивал злодей-комар. Видимо, пока спала, прошёл дождь.

На подоконник натекла лужа. Пытаясь задвинуть шторы, увидела: прямо на подоконнике лежит, очевидно, заброшенная в форточку, растрёпанная мокрая ветка сирени и какой-то мятый тетрадный листок. Подоконник усыпан сиреневыми звёздочками. Чёрт-те что! *Одинокая ветка сирени!* Ветка, наверное, была сломлена прямо под окном, а записка накарябана на ходу: почерк неровный, листок вырван кое-как из тетради. Лист сложен вчетверо и подписан: «Поэтессе от Артура». И запутанно-витиеватый росчерк.

Сначала ничего непонятно; перечитываю странный текст ещё и ещё: «*Каждый день я прохожу мимо этого окна и замираю, видя ваш образ в окне. Вы моя тайная любовь. Я не могу прожить и дня, не увидев Вас. Я Вас (маленькое «в» исправлено на большое). К моему великому сожелению я незнаю вашего имени, но я знаю, что Вы поэтесса, а я поэт. И одно из моих стихов написанных для Вас:*

Моя любовь к вам горяча
Я Вас люблю и что же?
Моя любовь ведь не спроста
На что она похожа?

Она похожа на цветы,
На солнце и на ветер.
Люблю я Вас
Любите Вы меня, как солнце ярко светит.

Артур».

— Сима! *Откуда мне сие?*
— А?
— Ты, дочь израилева, смотришь хоть, чё нам в окна кидают? Я в отключке, а ты чем хату сторожишь? Ходила, что ль, куда?
— А тож. К Артаку.—У Симы маслено-сыто блестит зелёный, мастерски подведённый глаз.
— Ну, ты, мать, даёшь!
— Не без этого. Всё почище твоего Глебушки! А это чего?
— Загадка мирового океана! На подоконнике нашла. Какой-то кретин кинул. Тебе, что ли?
— И что пишут?
— Тайная любовь, пишут!
— Ого! Тебе или мне? А подписано? Дай-ка!
— Да, подписано—«Артур».
— Шутишь! Таких имён-то в природе нет. Только в книжках.
— Ага, Артур нету, а Артак—есть. Аж два.—Сима падает на кровать, давясь хохотом. У неё в настоящий момент и вправду два знакомых Артака, и оба вожделеют её страстно.
— Не, Ленка, это тебе! Вишь, он пишет: «Я знаю, что Вы поэтесса…» На Вы зовёт, собака! А мож, это судьба! Какой-нить Желтков из соседнего дома. И стиль—глянь, какой утончённый: «Вы моя тайная любовь…»
— Ага, Желтков. Только браслет не прислал. И ошибок вагон. Ты кому своё окно показывала?
— Да вся округа знает, что мы здесь кантуемся. Небось, пятый год в этом садике паримся. Тоже мне, тайна.
— Нет, ну кому это надо? Это ж надо изловчиться, дотянуться до форточки и закинуть!
— Ага, и знать, что нас в этот момент нет дома. Или мы спим.
— А ты прикинь, он должен быть верзила, форточка высоко.
— Баскетбóлит, однако. Да плюнь, Ленка, дурак какой-то, и шутки у него дурацкие. Иди гречку поешь. Сделала с грибами, с морковкой и с лучком. И капустки квашеной достала из маминой банки, сделала, как ты любишь.
— Спасибо, Сима, я выйду за тебя замуж.

Сима ржёт и опять валится на свою старомодную кровать с пружинной сеткой.

Вот ведь ерунда же, а застряло: «*Каждый день я прохожу мимо этого окна…*» Нет, если человек хочет подурачить, он основательней к делу подойдёт: пожалуй, и приличный текст из книжки перепишет, и листок надушит, и время встречи назначит… Этому же воздыхателю было некогда—спонтанно писал, на импульсе. И листок, криво вырванный из тетради—из тетради?—меня щекотнула догадка…
— Сим!
— Ну!
— А ты тетради сегодня собирала?
— Есть пара пачек. Хочешь помочь?
— Дай глянуть!
— Ты что, думаешь?..
— На почерк глянь! Никого не узнаёшь?
— Да как-то сразу…
— Хорошо. Пойдём логическим путём. Автор записки часто ходит мимо нашего окна. Вот ты, Сим, кого в окно часто видишь?
— Ну, Гена ходит каждый день… Лёха-сосед… Да туча народу ходит!..
— Не, Гена вряд ли… ошибки такие дикие. Сим, погоди, а вон этот—кто? Знаешь его? Высокий такой, *ражий, рыжий…* С собакой.
— А-а-а,—Симочка протискивается между столом и шкафом к окошку,—это Митька Михайлов! Ну, со спины лет двадцать можно дать. Из Германова класса, из 9 «Е».
— Из 9-го?!
— Ну. Ничё так кабанчик, да? Ну, вспоминай, у Германа в классе, где Юрка Шалашников и Коля Гамузов… Вымахал парняга!
— А он стихов случаем не пишет?

Симочка закатывает глаза и мелко-мелко трепещет ресницами. Прикидывает.
— Я у них как раз завтра тетради собираю. Вот и проверим. Почерк сличим.
— Точно! У меня и книжка по графологии есть!

На встрёпанном от дождя сиреневом кусту продолжают верещать воробьишки.
— Сим, форточку на ночь закрой. Кинут ещё какую-нить фигню. Да и комары налетят.

Феньки, обожамчики и халды каблукастые

Студенческая история
Общага. Филфак. 416-я комната.

Фенька, блаженно вытянув голенастые ноги в комариных укусах, лежит на втором этаже двухъярусной кровати и с высоты коечного небоскрёба взирает на бренность и тщету общаговской жизни.
— Луда-ак, не финти! Давай кыш до кина! Пущай душа дохнёт свободой!
— Не смею. «Не лепо ли ны…» Лубак, я сегодня несносен и горд…

Лубак и Лудак—старшухи, последний курс. Заурядные имена их оснащены для крепости непробиваемым заднеязычным и звучат сурово, как кивок топора: лубак—лудак! Плоскогрудый и узкоплечий Лудак по-кроличьи дёргает лапками, угрожающе приподнимает величавый том

классика марксизма: мол, отвяжись, не видишь — прикасаюсь к великому? Лубак сероглаз, прост и ясен. У него деревянные выпуклые икры лыжницы.
— Обожамчик, оставь дядю Маркса тёте Жене. Кинь под подушь — и прыгай в свою калошь! Чешись уже!

У Лубака яблочно-крепкие щёки с вкусными ямками и убедительный донельзя голос.

Лудак сдаётся. Ей самой хочется посмотреть на Жана Маре с тонкой тальей. Нырнула в шкаф, метнулась к вешалке.
— Были сборы недолги… Лу, беретку мою — а? Не узришь?
— Шевели колготками, краля! Кака беретка — теплынь!

Лубак уже в дверях, Лудак прискакивает, надевая туфлишку. Лубаку всё ништяк: серой (под глаза!) кофтой-лапшой обтянута весенняя грудь; упруго-круглые икры готовы к несметным километрам лыжного бега… Но самый перец — их базар. По их фене ботают немногие. В первый день Фенька разинула рот от этой гремучей смеси одесской мовы, филологического цитатника и забубённого студенческого арго.
— Фенчик-птенчик, за дежурство погутарь с Жанной! Чики!

Фенька делает под козырёк, поворачивается носом в серую наволочку квёлой общаговской подушки и сладко роняет веки. Э-эх, дремануть часок, штоб завернулся сала кусок да лени шматок!

Но только-только потянули Феньку в зелёную глубь сонного омута водяные, как в коридоре завопили полоротые девицы из комнаты напротив:
— Опаликова, тушёнку на кухню! Рысью! Кастрюля кипит!
— У меня голова в шампуне!
— Жан, Прилепа был? Отмечал?
— Чья сковородка, сёстры? Че немытую кинули?
— Опаликова, ты чё, уснула?
— Ори-ори, морда шире будет!
— Завали свой хорошенький ротик!

В дверь деликатный стукоток:
— Вы позволите?
— Э-э-э… А ты кто? — Фенька нехотя вылезает из своего убежища.

Могучегрудая статная девица, с каштановой гривой, вся до невозможности в красном, кривит полумесяцем рот:
— Соблаговолите ознакомиться, — кисть с оттопыренным мизинцем презрительно машет перед Фенькиным носом пропуском в общагу. — Позвольте представиться: Элла.

Фенька с ужасом понимает, что с этим *позвольте-извольте*, с этой Эллочкой-людоедкой придётся соседствовать, и — прямо с нынешней минуты. Неужто особа, таранящая Феньку своей харизмой, разделит с ними 16 квадратов? Мать честная, картина маслом!

Боги, боги мои, как церемонно и величественно опускается на стул корма в красном; как томно извлекается из сумочки мужской носовой платок; как с усталым достоинством промокается кожное сало на лбу и щеках; затем платок используется на манер веера (если не сказать — вентилятора) — и, наконец, применяется по прямому назначению: следует оглушительное поочерёдное освобождение, пардон, полостей носа от гнусного содержимого.

(Сдаётся мне, это был недвусмысленный привет от Николая Васильевича :-) *Дама, приятная во всех отношениях,* презрительно швырнув клетчатый комок на свободную, как ей показалось, железную койку, вальяжно вынула себя из красных каблукастых туфель и стала потрошить огромную суму. На божий свет размашистым жестом явились новый ситцевый халат в розовый горох, комбинация *цвета тела испуганной нимфы* и зелёные тапки с утиными носами. Преображение последовало без промедления. Изумлённому взору Феньки на мгновение предстали разнузданно грицацуевские формы, жаждущие *большой и чистой любви,* — и вот уже Элла, облачённая в горохово-розовый халат, восседает на единственном табурете и пьёт чай, картинно, по-купечески держа на отлёте наманикюренный мизинчик.

Фенька, смирившись с гнётом судьбы, забирается на второй этаж студенческих нар и вгрызается в солёные баранчики и мифы Древней Греции. Античные мифы трещат по швам, баранчики крошатся прямо на постель, боги и герои расползаются, как тараканы, по углам и зияют оттуда укоризненными взорами. Фенька вытягивается всем своим долгим деревенским телом, её свободолюбивая плоть постанывает от здорового желания сна, но завтра семинар по античке, надо будет пару слов мякнуть…
— Девочки, надо же дежурство установить! — опять эта бледная моль и мелкая зануда завела шарманку. Не успела дверь открыть — опять за своё. Маленькая, худосочная, местами словно прозрачная — неиссякаемый фонтан нудятины.

Поджав и без того крохотный ротик, сведя к переносью белёсые бровки, Жанна демонстративно водружает посередь комнаты зелёное эмалированное ведро с плавающей тряпкой.

Фенька отворачивается к стене:
— Вот сама и дежурь!

Фенькина вольнодумная натура с первого общаговского дня взбунтовалась: думала, на простор речной волны вырвалась, а тут со всех сторон достают: одним взносы комсомольские плати, другим в субботниках участвуй, третьи заставляют мыть километровый общаговский коридор.
— Вот ведь свиньи, каждый день гадят, а убирать за них другие должны. Засранки, и обувь не помыли! А под кроватью… — дальше Жанкино возмущенье

захлёбывается благородным негодованием, а может, просто неудобно изрыгать брань, вползши под кровать и елозя вонючей тряпкой по углам.

От Жанкиных слов, сквозь зубы плюнутых прямо на мокрый пол, внутри Феньки стремительно и туго закручивается какая-то пружина, петля обиды охлёстывает горло, в глазах темнеет… Тело рывком слетает вниз — и увесистый зелёный тапок соседки, попавший Феньке под горячую руку, припечатывает блюстительнице чистоты мокрую оплеуху! Онемевшая от беспредела Жанна успевает замахнуться на Феньку половой тряпкой, теряет равновесие, шлёпается на мокрый пол и, зацепившись, опрокидывает с грохотом ведро. Грязная вода чёрным морем окатывает полкомнаты, нагло заливается в красные каблукастые туфли Эллочки — она, задремавшая было, с круглыми от потрясения глазами и всклокоченной шевелюрой вскакивает, едва запахнув халат, вся — сплошной филологический коллапс и когнитивный диссонанс: рот корчится в немой попытке речи, но, видимо, провода сильно разомкнуло — у неё выходит только: «Па-а-звольте!!!» Фенька молча кидает ей злополучный тапок, берёт ведро и шлёпает до туалета — набрать воды.

Жанна вихрем, рыдая в три ручья, уже выбежала из комнаты, ища защиты и приюта от Фенькиных зверств у соседей.

— У-у-у, профурсетки чёртовы, — Фенька, сцепив зубы, широкими полукруглыми махами собирает воду, выжимает… и роняет тряпку в ведро от новой напасти: оказывается, пока шло суровое побоище, в самом пылу сражения кто-то нечаянно смахнул на пол премногоуважаемого дядю Маркса — и теперь его репутация окончательно подмокла, покоробилась и утратила былое величие.

Фенька с тупой усталостью и виноватой мукой смотрит на промокшую до самого корешка книгу — и в это момент, по-весеннему разгорячённые красотой Жана Маре и неминуемой близостью ужина, вваливаются в комнату Лубак и Лудак.

— А шо такое? Лудак, мы не там кина искали! — трезво оценить обстановку может только морально устойчивый Лубак.

Лудак уже видит несчастного Маркса, не вынесшего потопа и пренебрежения:

— О, нет! Читально-зальный! Сердешный друг! Кто посягнул?

Эллочка обиженно сопит, раскинув грицацуевские телеса на койке Лубака. Она не шутя уверена, что это её законное лежбище.

— Я дико звиняюсь: вы кто на белом свете будете? Скоко вам заплатить за обогрев матраса? — Лубак терпеть не может, когда берут её полотенце или красятся её помадой, а уж на постель свою она и присесть никому не даёт. Элла, бедняжка, и не догадывается, что влипла.

— Чем обязана? — Элла, ещё не остывшая от обиды за новые туфли (они сушатся на подоконнике, набитые газетой), ширит ноздри и не двигается с места. — По какому праву вы тут распоряжаетесь?

— Кыш без слов с моего ложа! Права качать будешь в суде, — добродушный Лубак суров и непреклонен, когда задето её чувство чистоты.

Элла, недовольно фыркнув, перебирается на другую кровать и оказывается в связке с Фенькой. От такого соседства Фенька ещё крепче сжимает челюсти и устало прикидывает перспективы грядущих сражений… Панцирная сетка угрожающе скрипит под могучим телом новой соседки.

Лудак тем временем пытается реанимировать подмоченную репутацию Маркса и тщится облагородить покоробленные мокрые страницы, орудуя старым утюгом. Одно неловкое движение — и бессмертные строки, вопреки булгаковскому убеждению, чернеют и превращаются в пепел.

— Всё тлен. Лубак, нажрёмся с горя, а? Вари звёздочки!

В дверь бочком протискивается Жанна — жалкая, зарёванная, с красными пятнами на щеках и груди; за её спиной высится чей-то суровый широкоплечий торс — пришла с поддержкой. У Феньки напрягается спина, но она безразлично переворачивается на другой бок, продолжая усиленно вгрызаться в мифологические дебри.

— Кукусик, ты чего, кидаешь нас? На кого оставляешь?

Жанна, презрительно игнорируя вопрос Лубака, сгребает с полки и суёт в сумку свои пожитки. Прощальной музыкой звучат ссыпаемые как попало (вопреки педантизму и аккуратности хозяйки) вилки-ножи-миски…

Лубак и Лудак, переглядываясь, видимо, выбрали политику невмешательства. У них опыт, им видней: если девки с первых дней так дерутся, лучше, если кто-то уйдёт.

Когда дверь за Жанной демонстративно хлопает, резкий сквозняк швыряет деревянную раму прямо на красные каблукастые туфли, стоящие на подоконнике. Элла, взметнувшись с ложа, бросается к окошку, но уже поздно: пара хороших вмятин украсила носы её многострадальных каблукастых.

— Х-халды паршивые! — одно движение мощной руки — и пара красных птиц выпархивает из окна комнаты 416.

Стрелки общаговского будильника неумолимо склеиваются — полночь. Лубак помешивает звёзды в супе, Лудак бережно переворачивает страницы пострадавшего Маркса; Элла украдкой хрустит под одеялом солёной хлебной соломкой; Фенька, безмятежно вытянув долгие деревенские ноги в комариных укусах, то сопит, то бормочет что-то невнятное о космосе, хаосе, занудах и халдах…

Юлия Лалуа

Ореховая сказка

Вечер падает на плечи лёгким пуховым платком, паутиной перекрещенных нитей, столбиками с двойным накидом крючковатых веток на фоне темнеющего неба. Шуршат под ногами листья. С каждым днём их всё больше — между машинами на стоянке, между белыми щербатыми бетонными бордюрами, из ромбовидных клумб которых поднимаются пятнистые стволы с толстыми пластами коры.

Успокаивающе занимаются первые фонари. Ветви с остатками листьев смешиваются с облаками, облака с сумерками, физическая реальность со скользящими где-то в пространстве мыслями.

После рабочего дня мышцы хранят в себе сжатые пружины. Они ещё не получили сигнала «вольно».

Вокруг так непривычно тихо, и лишь чуть свежо, пустынно и спокойно. И ничего особенного не происходит. Просто ещё один день прошёл. Он пробеган, прослоён стрессом и нервами, требованиями заказчиков, настроениями подчинённых, реакциями начальства, правилами поведения, нормами обращения, восприятием происходящего и поминутной адаптацией к непредвиденным ситуациям, плановыми встречами, повседневными обязательствами…

Просто водружён ещё один кубик в пирамиде недели. И есть ещё место до верхушки — выходных. Завтра будем строить дальше!

Как эта на две трети опустевшая стоянка не похожа на утреннюю, полную нервной настороженной возни в начале рабочего дня. Ни на обеденную, когда со всех сторон спешно заводятся моторы, хлопают дверцы, динамично звучат повеселевшие к перерыву голоса, шуршат колёса.

В голове гудит усталость. Плечо оттягивает сумка, в руках папка, которая мешает искать ключи, узкие носки туфель и каблуки посылают ритмичные сигналы и жужжат в сознании назойливой мухой — снять, снять, снять.

А срывающиеся листья хрустят как засахаренный арахис. И те, что ещё на ветках над головой, висят скрюченные, подсохшие, как цукаты. В свете фонарей, которые на глазах уже полностью заменили дневной свет, так уютно-празднично манит эта корочка. Ореховые трубочки, обсыпанные сахарной пудрой? Ореховый пирог? Или просто грецкие орехи, залитые мёдом? Чищеные орехи, пощёлкивающие на раскалённой сковороде? Их подрумянивающиеся рельефные половинки так напоминают это сухое курчавое небо, эту шуршащую землю. Этот тёплый не по сезону вечер. Это домашнее спокойствие, в котором хочется раствориться так, чтобы чаши весов внутри и снаружи нашли равновесие, а колбы сообщающихся сосудов заполнились умиротворяющим эликсиром. Это тот редкий благодатный миг, когда впору перемещаться во времени, устанавливать связь с другими мирами, телепатировать в пространство, познавать гармонию мира… Расслабиться, наконец… Раствориться… в листьях, в орехах, в домашней атмосфере, подумать о чём-то приятном. О хрустящих рулетиках ореховых трубочек… Вот с них ссыпается сахарная пудра, и хочется облизывать пальцы. Трубочки белые, лежат горкой на блюдечке, из-под них выглядывает подстеленная на дно красивая бумажная салфетка с золотыми завитками. Всё так празднично. Надо бы испечь как-нибудь. А ещё стол накрыт, и закуски ждут своего часа в хрустальных салатницах, а в них воткнуты серебряные, по случаю, ложки, и расставлена нарядная посуда, две бутылки с вином на равных расстояниях, розовый графин с некрепкой настойкой для женщин, зелёный «тархун» для детей. Витает аромат запечённого в духовке мяса. Курица? Наверное… Тонко нарезаны сулугуни и салями, копчёная грудинка. Фигурные дольки болгарского перца и помидора украшают блюда. В салаты вставлены веточки укропа и петрушки. Рядом овальный поднос со свежей зеленью: в ней выделяются сиреневые листья рейгана. Хлеб на доске, ромашки в вазе на подоконнике. Открыто окно, и ветер колышет тюлевый занавес. Совсем скоро придут гости. С шумными приветствиями, улыбками и цветами. С орехами? С цукатами? С шуршащими листьями? С папками? С узкими туфлями? С ореховыми трубочками?.. И так тепло, и пахнет ванилью и корицей, ещё чуть-чуть горячей выпечкой… застольем, приятным вечером, душевными разговорами и жаркими спорами, нестройными песнями, витиеватыми тостами под звон вилки о рюмку и беспричинным хохотом, детской вознёй…

Уууу-аааа-ууу-ааа! — громом взрывает пространство стремительно приближающаяся сирена.

Внезапно ослепляющая отчаянно-ярким синим светом мигалка яростно вертится на крыше кареты скорой помощи.

Машина несётся по соседней улице: *ууу-ааа!* Разит тишину резким тревожным воем: *ууу-ааа!* Внезапно озаряет дома мечущимися отсветами: рассту-питесь, пропу-стите, дайте-дорогу!

Я вздрагиваю, прижимаю к себе папку и съёживаюсь, кубарем слетев в тартарары чужого страдания.

А деревья с засахаренными листьями растерянно разводят руки…

Сваровски

Солнечные зайчики бегают по полу, по стенам, по столу. Никак не пойму, кто же их пускает. Ведь в комнате пусто. Уж не сосед ли какой из дома напротив?

Ой, а вдруг в меня кто-то тайно влюбился и это сигнал? Да нет, это была бы странная мысль, мы же не в школьном классе, где можно играть циферблатом часов, отсвечивая бликами от окна с последней парты, через все ряды, на стеклянную дверцу шкафа у противоположной стены. Вряд ли зайчик может скакать через всю улицу. Но тогда откуда? Вот он опять побежал наискосок! Что за наваждение! Кто меня разыгрывает?

А, вот они откуда! Это люстра! И никого больше здесь нет—ни сзади, ни сбоку, ни напротив. А я и не подумала даже, совсем не поняла! Ну вот, а она как живая! Стёклышки покачиваются, поворачиваются и пускают зайчиков!

Красивая всё-таки! Она мне тогда сразу понравилась. В магазине их висело три разных на выбор. Все Сваровски. Но эта была одна, вот именно такая—тонкая, изящная, в редких хрупких подвесках, которые так нежно искрятся, поблёскивают, струятся вниз каплями с золочёных осей, с чашечек канделябров. В этой модели хрусталя не пригоршни килограммов, нагромождённых многоэтажным тортом, а лишь отдельные кристаллы, развешенные на расстоянии друг от друга. Чтобы взгляд падал на каждый в отдельности: как на редкую жемчужину, как на кулон из драгоценного камня на бархатной шее безголового манекена в ювелирном магазине. Свет преломляется, и у каждой подвески появляется индивидуальность. На них даже какой-то номерок выгравирован, фигурка такая, как проба на кольце.

Но самое интересное начинается обычно вечером. Только бы не спугнуть. Лишь бы в этот момент муж не заорал из соседней комнаты от телевизора: «А что у нас на ужин? Не пора ли нас кормить?!» Или сын с голодными глазами не проскочил на кухню с хрустом отламывать половину батона—действовать психологической атакой на совесть. Тогда придётся всё бросать и ставить на плиту кастрюлю под макароны и шипеть на сковородке мясом, солить-перчить, закрывать от запаха двери, приоткрывать окно, греметь тарелками, выискивать в посудном шкафу одинаковые ножи и вилки, накрывать на стол… Ну а там вдобавок и телефон зазвонит!

Нет, надо, чтоб не так. Тсс! Выключи эту орущую по радио музыку. Это даже и не музыка, это звук. Подними глаза, задержи взгляд, затаи дыхание. Видишь? Смотри на большую подвеску, прикрученную по центру. Она как маятник, да? Покачивается! Но это не гипноз. Это… Ну вот сейчас, сейчас, чувствуешь, вот—смотри!

Раз-два-три, раз-два-три: кружатся в вальсе пышные платья, разлетаются лепестки роз, и приподнимаются кружевные юбки, и мелькают маленькие туфельки на фигурных каблучках, и выбиваются пряди из причёсок, и теряются как бы случайно обронённые надушенные батистовые платочки с вышитыми инициалами, и взмахивают гофрированные веера. Шуршат по паркету лёгкие шаги… Горят глаза…

— Кто эта прелестная незнакомка? Она так и порхает!..

— Впервые вижу, однако она, безусловно, обворожительна! Так свежа и нежна…

Партнёры меняют партнёрш, для поцелуя протягиваются новые руки в перстнях, опускаются новые поклоны.

Часы бьют полночь. Их подхватывает какой-то воздушный водоворот вроде американского торнадо. А в нём крысы, тыква, тонкий силуэт, растерянным вихрем слетающий по лестнице…

А может, это и не зеркальный зал, а сцена. Смычки в оркестровой яме, партитура Прокофьева. Мягкие складки в драпировке занавеса. Чуть ниже, на заднике декорации, сотня лакированных туфелек на шпильке, а ещё ниже—тщательный перебор пуантов и миниатюрная прима-балерина в лёгком струящемся шёлке, почти как Суок или та, что сгорела со стойким оловянным солдатиком… Крепкие руки партнёра на талии. Воздушные, отточенные до совершенства па в такт музыке, туники в тонах пастель…

Ой, где это я? А, да… Вообще-то, если честно, сейчас эффект не в лучшем виде. Отблески на люстре не так играют, столько пыли насело. Просто заповедные места. Стыдно сказать, уже и не помню, когда я её серьёзно мыла в последний раз. Наверное, как минимум год прошёл. Как подумаю, сколько терпения и времени нужно, то всё никак не соберусь. Ну и мухи слегка засидели, конечно. Издалека-то не видно, вроде как всё красиво, всё блестит, а вот если встать на стул и наклонить люстру за цепь, не очень только, конечно, а то подвески сразу подозрительно дадут о себе знать. Пальцем если вот так провести внутри чашечек или по изогнутым снизу вверх золочёным

осям — так сразу полетят вниз пушинки, если не хлопья.

Смотри! Снежинки. Вот они разлетаются, как узоры в калейдоскопе, и смешиваются с новогодней мишурой, серпантином и хлопушками, с воздушными такими сердечками и прозрачными, медленно расползающимися колечками, с аппетитными пряниками и кренделями. Что это? Неясные очертания игрушек на ёлке? Морозные узоры? Или тополиный пух? А может, облачка пара, из которых у Барбацуцы получаются волшебные причудливые зверьки, когда она мешает в котле огромной ложкой… В окружении заворожённых поварят в белых колпаках. Манную кашу королю.

Брр, голова закружилась. А пыли-то, пыли, хорошо, что никто не видит! Вот позор! Да уж!.. Нет, в этот раз мне никак не отвертеться. «Припёрта к стенке люстрой Сваровски»…

Спокойствие, только спокойствие. Спасибо, мой милый Карлсон!

Сейчас сделаем по уму. Сначала надо со стола всё убрать, газету постелить на всякий случай. Вот тазик, влажная тряпка. Несколько капель раствора. Боже мой, как же всё это муторно. Работа такая кропотливая, тонкая. И руки на весу. Изящно так кончиками пальцев подцепляешь каждую подвесочку и осторожненько протираешь, и обязательно не спеша — как бы не оторвалась. Они ж не припаяны, а прикручены проволокой. Сначала там маленькая круглая стекляшка, а в ней дырка и ниже гвоздик для остроугольной гранёной сосульки. Вместе они отсвечивают всеми цветами радуги. И металл оправы, если начистить, тоже заблестит!

А на потолке, прямо над люстрой, прикреплена гипсовая розетка из рельефной лепнины: листья, арабески и обручи закручены по кругу так искусно, совсем без совмещения по шву, просто без конца и начала. По часовой стрелке. Или против? Розетка трогается с места и плавно кружится, набирает ход, как карусель. Белые, пышные выпуклые фрагменты оживают под скрипки и аккорды фортепьяно, и вот уже открываются бутоны, рассыпаются фейерверками огненные фонтаны брызг, кавалеры подают руки дамам, взмывают ввысь белые кружевные манжеты, жабо, напомаженные парики, туфли с пряжками, икры в белых гольфах и банты… А где-то вдалеке в панике пятится Мышиный король, и как скорлупа ореха, на части раскалывается деревянный уродец с оскалом зубов, а конопатая девушка в белом переднике и тяжёлых уродливых сабо выпускает из рук метлу, стремительно уменьшается, складывается в трепещущий цветок лилии и летит на ладонь худенького молодого человека с огромными глазами, длинными ресницами и тонкой зубчатой короной на голове. Вот он тоже становится меньше. И как космонавты в невесомости, они протягивают друг другу руки, парят, и кружатся, и кувыркаются в хороводе красок.

Щелкунчик? «Вальс цветов»…

Да, если такая подвеска размотается, она, во-первых, сразу упадёт и может разбиться. Во-вторых, может даже поранить остро заточенным стеклом (например, клюнет в темечко, как Золотой петушок. Тра-ля-ля-ля пал Дадон — охнул раз, — и умер он…). Пушкин… И главное, я же ни за что не прикручу её потом на место. Не дай бог!

А если вся люстра рухнет? Вдруг она отцепится? Кстати, как она вообще там держится? Кажется, там какой-то крючок внутри внешней чашки. Какой-то цоколь… цокает. Цок, цок, цок. Как подковы арабского скакуна? А что это, кстати, такое, цоколь? Может, такую люстру и вообще не стоит наклонять, даже немножко? Кто его знает. Да, а вот так бы взять её за хвост, как пучок морковки, раз — и окунуть в таз с пышным мыльным раствором! И делов-то. Всё отмокнет зараз. А потом поднять, как Венеру, возрождённую из брызг. Вода торжественно стечёт Ниагарой в блеске сверкающих искр… Нет, конечно, это так, крамольная мысль из другого века. Нет. Продолжим по старинке. По подвесочке, по стекляшечке, осторожненько, медленно, деликатно.

— Ай! А! Тихо! Чуть со стула не навернулась. И так неудобно держать всё время руки на весу. А что если залезть прямо на стол? Он из цельного дерева, выдержит же? Не помню, как было в прошлом году. Ну-ка! Вот, точно, теперь лучше! Только теперь каждый раз надо слезать на пол, чтобы мыть тряпку. Физкультура Сваровски!

Снизу-то не видно, сколько тут микропятнышек, которые надо оттирать. Вот и заблестит скоро. Учёные подсчитали, что чистые лампочки экономят двадцать процентов энергии! Мы ж с ней, между прочим, чокаемся хрустальными бокалами, когда на Новый год приходят гости. Это уже ритуал такой. Ждём, когда наступит полночь, наполняем бокалы и — хрусталь с шампанским о хрусталь Сваровски! С Новым годом!

Да, сколько ей уже? Десять лет? Правда? Так это ж прямо юбилей! И в самую пору обмыть! В смысле не тряпкой с химраствором, конечно.

Ну вот, уже почти все подвески чистые! Уф, дело идёт к концу. Жаль, солнце зашло за тучу. Теперь здесь ни солнечных зайчиков, ни блёсток. И не проверить сразу качество уборки! А сколько времени понадобилось! И это только для того, чтобы вымыть одни подвески. Хоть они и есть самые трудные элементы, но между тонкими латунными перегородками ещё придётся чистить ватными жгутами. Или попробовать палочками для ушей?

Пока закончу эту операцию, будет как минимум шесть вечера, скоро сын вернётся, голодный, после тренировки, и муж заскочит на кухню с вопросом в глазах…

Пора уже, что ли, слезать со стола и творить фирменное блюдо, типа зимнее панаше из остатков сосисок и трёх видов злаков с двух сковородок и одной кастрюли? А там и глажки набралось, и на работу на завтра надо собраться, ещё и сапоги кремом натереть, а то их носки начинают терять цвет, и машину поставить стирать на программу «хлопок», да и хоть на какие-то письма ответить, ведь в почте полный завал.

…И всё-таки металлические детали в отделке люстры так похожи на фрагменты музыкальных инструментов! В них что-то явно от духовых и что-то непременно от струнных…

…Магазинчик Сверчков в одном маленьком городе. На улице Заколдованной розы…

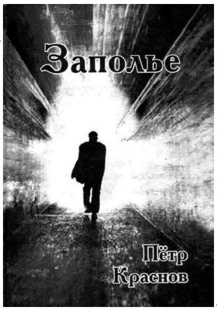
Помните, когда Пан Теофас притрагивался смычком к своей скрипке, от её нежных нот в воздух взмывали прозрачные бабочки? А Пан Боло играл на трубе, и по всей комнате кружились бархатные маргаритки.

Но одним ранним утром, от надоедливых мух, они уехали.

А куда — не сказали.

На пане Теофасе был его любимый костюм табачного цвета, а на пане Боло — розовая жилетка с цветочками…

ДиН ревю



Пётр Краснов

Заполье

Оренбург: Печатный дом «Димур», 2015. — 564 с.

Первая половина 90-х годов прошлого века, самый разгар очередной русской Смуты, пресловутые псевдодемократические «реформы». Известному в губернии журналисту Ивану Базанову некие деловые круги предлагают создать с нуля и возглавить «газету народного мнения, в какой заявить патриотическую оппозицию, зрячей и говорящей сделать её, пути-дороги в будущее поискать…». Яркие и сильные характеры ведущих персонажей, глубокие размышления над судьбой народа и страны, личная экзистенциальная трагедия Базанова — всё это составляет динамичный, исторически и философски насыщенный сюжет романа, развязывающий многие узлы противоречий и тайн нашего драматического времени.

«Без бога это — всё, и ничего больше, только это. Он подумал о том как-то неожиданно для себя, с полным согласием мгновенным внутренним: без бога, как олицетворения высшей воли, человеческое — лишь гнусная пародия не только там на смысл существования разума, но и на разум сам. Что-то есть в человеческом вообще, в самой этой задачке земного, личного и общего, самоусовершенствование безнадёжное, неисполнимое вовек… предчувствие конца есть, апокалипсиса, не меньше, а значит, и бога самого, избавителя, высвободителя из всё сужающегося тупика прогресса во зле, в недоумии. Ведь уже и тысячелетия этого само-творения человеческого прошли, сломились, смололись в горькую пыль, и вот не в кухонные, в столичные салоны переместившиеся витии, не заряженные бесцветной ненавистью гуманитарии на симпозиумах Римского клуба, а колхозный пастух Ширнин Фёдор Яковлевич, присев на берегу суходонного степного овражка, расправляет, разглаживает на коленке и едва не по складам читает вслух затасканную свою бумажку, что-то вроде прокламации всех времён, да и народов тоже, ни имени под ней, ни даты: «Живём хуже, нежели язычники, утопаем в скверне. Правда у нас в тесноте, злочестивая ложь великое пространство имеет, любовь злонравием больна. Вера раздробляется, покаяние страждет, грех нераскаяньем прикрылся, истина осиротела, правосудие в бегах, благодеянье под арестом, сострадание в остроге сидит — и дщерь вавилонская ликует…» И качает головой, подымает глаза и говорит: как, а?!

Без высшего всё это не имеет ни смысла, ни цели, вся дурная бесконечность недалёкого человеческого произвола, себе довлеющего, себя не разумеющего…»

Марат Валеев

Непридуманные рассказы

Звонок

Жена купила дверной звонок. Он вообще-то и не был нужен, потому что у нас есть домофон и любой визитёр, прежде чем попасть к нам в подъезд, может сообщить о своём намерении через это дверное средство связи. Так что обычно гостя ждёт уже открытая дверь.

Но звонок был установлен в квартире ещё строителями. При капитальном ремонте после заселения звонок куда-то затерялся, напоминая о своём былом присутствии лишь двумя проводками с залепленными изолентой концами.

Проводки долго торчали из дырки в стене поверх красивых обоев, и эта уродливая инсталляция портила настроение моей жене каждый раз, когда попадала в её поле зрения. То есть ежедневно.

Но вот на этой неделе Светка приволокла-таки из магазина новый звонок, чтобы закрыть наконец эти нахально торчащие провода.

Повесить звонок на стене и присоединить к проводам, конечно, должен был я, как всякий уважающий себя мужчина. Но честно скажу — я боюсь электричества. Меня это, вне сомнения, полезнейшее изобретение за всю историю человечества невзлюбило с самого детства и било по любому поводу по самым разным местам.

Вот потому я и попросил пристроить новый звонок сына. Он хоть и биолог по образованию, но за годы студенчества и одинокого проживания на разных съёмных квартирах насобачился ладить с электричеством.

— Ладно, — сказал сын, когда я ему позвонил. — Время выберу, подъеду, сделаю.

Ну, неделя прошла, вторая, а сыну всё некогда. А тут объявляется мой друг детства, Сашок. Тут, наверное, надо сделать небольшое отступление и рассказать немного о нас, как мы повстречались здесь, в самом сердце России, в Красноярске, тогда как детство наше и юношеские годы прошли далеко от Восточной Сибири, в Казахстане.

Жили мы и росли в прииртышском сельце Пятерыжск, по соседству. Сашкин дом, в котором он обитал со своей старшей сестрой Валей и родителями, был через забор от нашего.

Мои родители были обычными совхозными крестьянами, а Сашкиных можно было отнести к сельской элите. Потому что мама его, Елизавета Михайловна, была директором нашей восьмилетней школы, а папа, дядя Толя, учётчиком.

Но это не мешало нам дружить. Мы бегали рыбачить и купаться на Иртыш и пойменные озёра, иногда ночевали друг у друга. Случалось, ссорились, а то и дрались, но легко шли на примирение. И снова начинали дружбанить.

Наши пути разошлись ещё в детстве. Я после восьмилетки уехал продолжать учёбу в райцентр, а Сашкина семья перебралась в областной центр, и с тех пор мы не виделись.

Пока однажды я не получил по электронке письмо от него — уже где-то в 2009 или 2010 году, незадолго до моего выезда с Крайнего Севера на «материк». Туда меня занесло из Казахстана ещё в 1989 году, по договору с редактором тогдашней окружной газеты «Советская Эвенкия». Как оказалось, Саня нашёл меня в Интернете.

Он писал, что работает с женой на Саяно-Шушенской ГЭС, живёт в посёлке Черёмушки рядом с этой самой гидроэлектростанцией, у них трое взрослых детей, ну и т. д. Я ответил, завязалась переписка, созванивались.

Мы всё уже друг про друга знали, оставалось только встретиться и посмотреть, что с нами сделало время (не виделись более тридцати лет). Хотя, что я говорю, — к тому времени мы уже плотно общались и через «Одноклассников», где, разумеется, были выложены и наши фотографии. Но лучше один раз выпить с глазу на глаз, чем сто раз посмотреть на фотку.

Я как раз собрался съездить хотя бы на недельку в родные места. Известил об этом Сашку, предложил составить мне компанию. Но ему до отпуска было ещё далеко, а вот встретиться со мной в Красноярске, откуда мне надо было лететь в Омск и далее добираться на автобусе, он был готов.

В красноярском аэропорту Емельяново я Сашку сразу узнал среди встречающих, хотя он и был с окладистой такой бородой. Приятель мой так же, как и в детстве, резко, по-птичьи, вертел головой и поблёскивал очками, высматривая меня. Мы обнялись, невнятно что-то восклицая, похлопали друг друга по плечам и спинам и пошли на выход в город.

Оказалось, что Саня прикатил из своих Черёмушек в Красноярск на старенькой «Таврии».

Это он пилил всю ночь полтыщи километров! Ну, погрузились, поехали. А дело было в июле, во второй половине дня. На улице жара, а у Сани кондишена в его раскалённой жестянке, разумеется, нет. Пока ехали на скорости по трассе, это как-то не особенно замечалось, сквознячком обдували сквозь открытые окна.

Ну а как в город заехали да встряли в обычную для этого времени пробку, «Таврия» начала греться со страшной силой. И Саня, чтобы хоть как-то снизить градус двигателя, врубил печку в салоне. Мать ты моя женщина! Пока добрались до моего дома (квартира в Красноярске дожидалась нашего переезда с Севера уже несколько лет), сварились фактически вкрутую.

На нас от пота не было сухой нитки. А с Саниной бороды ему на пузо и колени низвергался самый настоящий потопад! Он впервые попал в такое сильное движение (в Саяногорске, да и Абакане, куда Саша иногда ездит из своих Черёмушек пошопиться с женой, автомобильные потоки всё же куда жиже—признавался он мне потом), сильно нервничал и оттого потел куда сильнее меня.

Когда мы, наконец, подъехали к гастроному «Зеленогорский» около моего дома—надо ж было затариться как следует на предстоящие пару дней,—и стали бродить по его отделам, то на кафельном полу даже следы от наших башмаков были мокрые!

Саша потом сказал, что ни в жисть больше в Красноярск на машине не приедет, и когда через пару дней проводил меня в аэропорт, домой отправился через какую-то многокилометровую объездную дорогу, хотя пересечь город для него было бы гораздо короче.

Кстати, сам-то я до сих пор в Красноярске без машины, хотя планы купить её после переезда с Севера были. Я как поглядел на эти километровые пробки, как бьются водилы битами на дорогах и стреляют друг в друга из травматов, как ежедневно в груды металла превращаются десятки машин, убивая и калеча своих хозяев, то элементарно струхнул.

«Зачем мне этот геморрой?— подумал я.—Дачи у меня нет, на работу ездить не надо, а в тот же театр, зоопарк или цирк раз-другой в месяц нас и сын отвезёт на своей «японке», ну или на такси смотаться можно. На худой конец, у нас с женой бесплатный проезд на общественном транспорте».

Что-то я опять отвлёкся. Вернёмся к Сане. С ним мы потом ещё не раз встречались. Когда я уже бросил Север и окончательно обосновался в Красноярске, мы как-то вместе ездили в родную деревню.

Потом он приезжал навестить сына в Красноярск, и мы пили водку сначала у меня, потом у него (Сашкин непьющий сын, страшно похожий на него, недовольно косился на нас, когда заходил за чем-нибудь на кухню), вспоминали наши золотые детские годы.

Потом была страшная авария на Саяно-Шушенской гэс, и мы видели по телевизору эти жуткие кадры, как взбесившаяся вода захлёстывает машинный зал и как служащие станции, спасаясь, прыгают, как зайцы, через турникет на проходной и убегают прочь от громады плотины, с которой вот-вот неизвестно что может произойти.

И в какой-то момент мне показалось, что в одном из убегающих мужиков—по его сутуловатой спине, по обернувшейся на миг бородатой физиономии с выпученными и увеличенными линзами очков глазами,—я узнал бедного Сашку.

—В синей рубашке?—уточнял он у меня потом при нашей очередной встрече.—В кепке? Нет, не я. С меня кепка слетела…

Сашка и его жена, слава богу, в той техногенной катастрофе не пострадали—их рабочие места были в другом здании. Но Сашку, как инженера, который составлял какие-то сложные компьютерные программы для обеспечения деятельности гэс, потом не раз допрашивали представители спецслужб. Его вины, к счастью, ни в чём не нашли и оставили в покое.

Тут и время выхода на пенсию подошло, Сашка начал собирать всяческие справки, которые дают ему право, кроме основного пенсиона, получать ещё и какие-то корпоративные выплаты. Мы потом подсчитали с Сашкой, у него пенсион будет в два раза больше моего, северного.

Но я чужому счастью не привык завидовать. Тем более что получать такие деньжищи Сашок будет всего пять лет. А потом его пенсия снова сравняется со среднероссийской и снова станет в два раза меньше моей. Если только, конечно, мы оба доживём до того времени.

Но что думать о том, что будет когда-то, когда Сашка снова, буквально сейчас вот, приехал в Красноярск. Позырить, как живёт его всё ещё холостякующий наследник, а заодно навестить и меня.

Утром он слез с автобуса, а во второй половине дня уже сообщал своим глуховатым голосом в домофон, что это он «припёрся».

Я его, конечно, уже ждал. Сам плов приготовил—правда, не классический, из баранины, а из свинины. Но зато такой плов не так быстро остывает. А ещё у меня на столе были куриные голяшки в кляре, селёдка в винном соусе, кета малосольная, сало копчёное, сало с чесночком, огурцы там, помидоры, лучок зелёный… В общем, всякая вкусная фигня под водку. А водка стояла, родимая, и потела в холодильнике.

Когда Сашка поднялся к нам, мы со Светкой ахнули—рубашка у него была насквозь мокрая и прилипшая к телу.

—Духотища на улице,—сообщил Сашка. Борода его была уже не столь тёмная, как раньше, а какая-то пегая из-за обилия в ней седых волос.

Эх, Сашок, стареем мы с тобой, брат! Я в нём, шестидесятилетнем, видел и своё отражение. Правда, бороды у меня нет. Зато на темени лысинка наметилась. Одна отрада—я её сам не вижу, а лишь Светка время от времени с ехидцей напоминает о ней и пугает, что плешка-то моя увеличивается в размере! Как будто не она её мне и проела…

Мы заставили Сашку снять его мокрую рубаху и повесили сушиться на балконе, а взамен я дал ему свою футболку. Потом Сашка ринулся к своей оставленной в прихожей сумке и выволок оттуда двухлитровую банку абрикосового варенья—«Со своей дачи!»,—коробку конфет и бутылку красного вина.

И начал, зануда, рассказывать, как полезно пить не водку, а именно красное вино, из-за которого кровь становится лучше. Светка стала ему поддакивать. Но я задал резонный вопрос:

— А водку я тогда зачем нахолаживал? Ну, ладно, как хотите, сам потом выпью…

Разговор про полезные свойства красного вина был тут же свёрнут, и я торжественно извлёк из холодильника и поставил на стол исходящую слезой бутылку водки.

Выпили по одной стопочке, крякнули, похрустели огурчиком, заели селёдкой, за ещё тёплый плов принялись. Тут и вторая стопочка ко времени пришлась. Пошли разговоры—о том, о сём, Светке не интересные, и она ушла к телевизору.

Здесь я и проговорился Сашке про звонок, про то, что сам никак не удосужусь поставить его, а сын, хоть и обещался, тоже времени никак не найдёт.

— Так в чём дело?—загорелся Сашок.—Перед тобой энергетик с двумя высшими образованиями! Пошли, показывай свой несчастный звонок…

Я пытался отговорить приятеля от этой затеи—так хорошо сидим, а тут на какую-то фигню отвлекаться. Но Сашка был непреклонен: «Я хочу оставить о себе память в твоей квартире! И пусть это будет поставленный мной звонок!..»

Ну, память так память. Велел ему тащить стремянку с балкона в прихожую, а сам расчехлил дрель, приготовил пластиковую пробку с ввинченным уже в неё шурупом, вытащил и звонок.

Светка выглянула на шум: «Вы чего это там?»

— Да ты смотри свой телевизор,—отмахнулся я.—Мы с Сашкой тут решили заняться мужским делом. Звонок вот подключим!

— Вы там поосторожнее,—всполошилась жена.—Сколько уже выпили, а? Может, не стоит? Владик рано или поздно приедет, сам установит.

Но что нам Владик, когда мы сами энергетики? По крайней мере, один из нас.

Сашка сначала со знанием дела развинтил на звонке разъёмы клемм, чтобы проводки свободно входили. Потом поднялся по скрипучей дюралевой стремянке к этим самым проводкам, примерил к ним звонок, попросил карандаш, чтобы сделать отметку, где сверлить.

— Смотрите, там скрытая проводка может быть, не попадите в неё!—крикнула из гостиной жена.

Мы с Сашкой переглянулись: ещё нам бабских советов не хватало!

— Ну что, даёшь мне санкцию на сверление в этом месте?—обернул свою бороду ко мне Саша.

— Да сверли, конечно!

Саня приставил сверло к отмеченной точке, включил дрель. Она басовито загудела, потом завизжала, на пол посыпалась пыль.

— Хорошо идёт!—прокричал Саня сквозь шум инструмента. И тут раздался оглушительный хлопок, под потолком что-то ослепительно полыхнуло, завоняло палёным, и в квартире погас свет. А на меня следом свалилось тяжёлое тело, которое я успел подхватить и мягко опустил на пол. Рядом грохнулась дрель.

Из гостиной послышалось крепкое ругательство. Это Светка среагировала.

«Убило, на хрен, Сашку!»—полыхнуло у меня в мозгу.

— Ну что, электрики несчастные?—сказала, выходя в прихожую, жена и громко вскрикнула. В квартире от проникающего через окна уличного света было ещё достаточно светло, и Светлана разглядела, что у стремянки валяются два мужика.

Она метнулась к домашнему телефону, стала судорожно набирать короткий номер—явно скорую.

Сашка зашевелился.

— Живой?—спросил я, пытаясь спихнуть его с себя.

— А куда я денусь!—бодро ответил Сашок, сам вставая на ноги.—Вот это долбануло, да? Надо же, точно на провод попал, блин! Третий раз! Первый раз в Новосибирске, второй в Черёмушках, и вот у тебя…

— А говорят, снаряд в одну и ту же воронку дважды не попадает,—рассудительно заметил я, подбирая с пола дрель и нажимая клавишу пуска—она работала.—Ещё как попадает!..

— Вы… Вы… Раздолбаи!!!—завопила жена, поняв, что мы живые, и с треском бросила трубку на аппарат.—Говорила же—не лезьте! Как я теперь свой сериал досмотрю, а?

— Свет, не переживай—это просто коротнуло, вот автомат и выбило,—виновато сказал Сашка.—Щас мы устраним…

Мы живенько вышли на площадку, открыли щиток, Сашка чем-то там щёлкнул, и в прихожей снова загорелся свет.

— Только суньтесь мне ещё сюда, я у вас водку отберу!—пригрозила Светка, сметая под местом сверления в совок пыль и крошки штукатурки, бетона.—Мастеры-ломастеры…

И мы, прибрав инструменты и стремянку, переместились на кухню. Светка, убедившись, что

никто больше не покушается на энергообеспечение квартиры, ушла к телевизору.

— Надо было выше или ниже сверлить,— изрёк я глубокую мысль, когда мы, доев плов, взялись за куриные голяшки в кляре.

— Неа,— помотал Сашка бородой, от которой явно попахивало палёным.— Вспомнил! Вообще-то сначала надо было пройтись по стене хитрым таким прибором, детектор скрытой проводки называется. У тебя его нет?

— Нет,— сокрушённо сказал я.— Наверное, надо будет купить. Повтори, как он называется?

А через пару дней приехал-таки сын. Он также влез на стремянку, потрогал торчащие из дырки провода для звонка, пошевелил их туда-сюда, хмыкнул:

— Ты смотри, какие грубые!

И просто взял и подвесил звонок на эти самые провода, без забивания пробки с шурупом, и придавил к стене. Звонок повис как прибитый. Владик вышел в прихожую, нажал на кнопку, и квартиру огласила весёлая птичья трель.

— Вот молодец!— похвалила Светка сына.

— Да так-то и мы могли бы,— сконфуженно сказал я.

— Но не смогли же! Иди, сына, я тебе котлетку согрела…

А на другой день Сашка заявился. И показал нам со Светкой какой-то прибор со стеклянным экранчиком.

— Вот,— важно сказал он.— Купил индикатор скрытой проводки. Щас мы быстренько проверим, где у вас тут проложен провод, и просверлим дырку уже наверняка!

Он задрал бороду кверху и увидел звонок.

— О! Подвесили уже! А кто вам сделал?

Мы с женой переглянулись, и я поспешно сказал:

— Да это Владик наш взял у кого-то на время такой же вот индикатор, нашёл нужную точку и засверлился. Ну его, этот звонок! Пошли лучше, Саня, разопьём твою бутылочку красненького. Сам же говорил, что полезно…

Серко

Вижу иногда, как мимо нашего дома по тротуару верхом на лошади, негромко цокающей подковами, проезжает молоденькая наездница, лет, наверное, пятнадцати-шестнадцати. По тому, как она держится в седле, видно, что они давно уже единое целое— эта девчонка и пегая лошадка с вплетёнными в гриву легкомысленными бантиками.

Откуда и зачем здесь лошадь, среди тесно, впритык стоящих друг к дружке десятиэтажных панельных и кирпичных домов, с закатанными в асфальт и бетон дворами? Могу только догадываться, что живёт лошадка в каком-нибудь гараже, приспособленном под конюшню. А используется для катания горожан за небольшую плату— недалеко от нашего дома есть площадь, вот там лошадка, видимо, и трудится.

Вообще более трудолюбивой скотинки, чем лошадь, на земле нет. Вон даже в каменных джунглях ей дело нашлось. А в деревне на ней держалось (да кое-где и сегодня держится) если не всё, то многое. И работать на лошадях сельские дети приучались с ещё более раннего возраста, чем упомянутая мной девчонка. Что и понятно— лошадь не трактор, специального обучения не требует.

Я не могу сказать, когда впервые взял в руки бразды управления лошадью. Но рано, очень рано. А если быть точнее, то уже где-то лет в десять-двенадцать, когда отец счёл возможным доверить мне это ответственное дело.

У отца моего определённой специальности не было, и потому он трудился на разных работах. Помню, что был он и сеяльщиком, и молотобойцем, и кузнецом. Меня эта его, несомненно, полезная для общества трудовая деятельность никоим образом не касалась. И я рос себе потихоньку, бегал со своими сверстниками на рыбалку на Иртыш, купаться в тёплых пойменных озёрах.

Но к тому времени, когда отец ушёл работать гуртоправом (а проще— коровьим пастухом), я уже заметно подрос, учился в местной восьмилетке, и он решил, что хватит мне без толку топтать пыльные сельские улицы и торчать с удочкой на берегу реки. Настала пора помогать и ему.

В принципе, всё было правильно. Нас у родителей было уже трое «спиногрызов», из коих я был старшим, и чтобы прокормить всех, обуть-одеть, отец с матерью тянули жилы не только в совхозе (там платили тогда очень мало), но и на собственном подворье.

Бате выделили лошадь, верхом на которой он пас совхозных коров. Эта же лошадь запрягалась им в телегу или сани при необходимости что-нибудь перевезти. И чаще— не по работе, а дома, на что руководство отделения смотрело сквозь пальцы. Если бы у тружеников села отобрали этот «бонус», трудно сказать, кто бы остался работать в совхозе с его вшивыми зарплатами в начале 60-х годов.

Отец сначала брал меня с собой в поездки за водой на Иртыш, за дровами в пойменные леса, а потом уже стал доверять и самому совершать эти поездки. Я, в свою очередь, брал с собой подросшего среднего братишку. И мы лихо гоняли в громыхающей телеге или в визжащих полозьями по снегу санях по сельским улицам и просёлочным дорогам.

Кого-то, может быть, смутило бы такое незаурядное зрелище: едущий в несусветную жару на телеге пацан с озабоченным видом зачем-то ковыряется хворостиной у лошади меж ног. И лошадь, а если быть точнее, жеребец, воспринимает это

спокойно, и на его обычно бесстрастной морде как бы даже можно прочитать выражение благодарности. Ещё бы — таким образом я сковыриваю и смахиваю палкой впившихся в конскую мошонку оводов и слепней.

Это у Серко (а дальше речь пойдёт только о нём) самая нежная часть организма, кровососы причиняют ему нестерпимую боль. Конь крайне раздражён и гневно фыркает, пытает сам сбить их своим длинным и густым, как метла, хвостом или достать копытом, но у него это плохо получается. Хвост то и дело со свистом пролетает рядом с моим лицом, а копыто бьёт в передок телеги. Серко может взбеситься и понести, поэтому я и сковыриваю вампиров прямо по ходу езды.

Вспоминается также, как я однажды чуть не угодил под конские копыта. Это случилось уже в ту пору, когда отец доверял мне заменить его на пастбище на пару-тройку часов, когда он приезжал домой пообедать и немного отдохнуть.

Не сказать, чтобы я с большим удовольствием шёл ему навстречу, потому что, откровенно говоря, и лошади побаивался (вы когда-нибудь видели вблизи это, без сомнения, красивое, но очень сильное, исключительно мускулистое животное с тяжёлыми копытами на мощных ногах и трехсантиметровыми зубами, прячущимися за бархатными губами?), и ковбоем быть совсем не хотел.

И я ещё не забыл, как в прошлом году отца отвозили в районную больницу зашивать большую рваную рану на предплечье. Это он повздорил с Серко, когда тот вдруг заупрямился во время запрягания его в телегу и не хотел пятиться назад, хотя никогда ранее с этим проблем не было.

Отец взял и с досады треснул ему кулаком по морде. А Серко обиделся и, недолго думая, ухватил его своими зубищами, как собака, за руку, и ещё помотал башкой… Рёву было тогда, матов на весь двор! Батя пару недель потом филонил на больничном.

А когда снова вышел на работу, то хотел отказаться от Серко. И уже попросил было у конюха дяди Тимоши подобрать ему другого коня. Но когда Серко увидел отца, то подошёл к краю загона у конюшни и радостно заржал, скаля те самые зубищи, которыми совсем недавно так здорово покусал отца. Он явно приглашал хозяина помириться с ним и возобновить трудовые отношения. И батя растрогался и сказал дяде Тимоше, что никого другого ему не надо.

Ну так вот, когда отец приехал пообедать домой на том самом Серко и попросил меня подменить его на пару часов (я знал, где обычно пасётся табун, всего километрах в трёх от деревни), я вздохнул и поплёлся во двор.

Серко стоял в тени раскидистого клёна, привязанный к изгороди палисадника, и лениво отмахивался хвостом от вездесущих паутов. Открыв входную калитку, я отвязал Серко и вскарабкался в седло, вставил ноги в стремена, заранее подвязанные отцом повыше, потому что росточком я пока ещё не вышел. И сказав: «Н-но!», тронул бока коня пятками, и мы поехали со двора.

И хотя мал-то я был мал, но по селу должен был проехаться как заправский всадник — если не галопом, то хотя бы рысью. Вдруг меня увидит объект моих тайных воздыханий, одноклассница красавица Любочка? Так пусть увидит осанистым и бравым, мчащимся во весь опор.

Я уже знал, как надо вести себя в седле при том или ином аллюре: при езде рысью, чтобы не отбить себе задницу, особенно худую мальчишескую, надо, уловив ритм бега лошади и привставая на стременах, слегка отрываться от седла и вновь опускаться в него, и всё будет тип-топ.

А при галопе, напротив, угнездиться в седле плотно, держась одной руку за луку, и тогда будешь чувствовать себя, как на мягко вздымающейся и опускающейся волне. В общем, как-то вот так мне это запомнилось (с тех-то пор я в седло больше и не садился).

Я пристукнул стременами по бокам Серко, понуждая его ускорить ленивый шаг, и он перешёл на рысь. И я, гордо не смотря по сторонам, поскакал по главной сельской улице, распугивая кур и оставляя за спиной облачка пыли, вздымаемой копытами жеребца.

Но далеко не уехал — седло вместе со мной вдруг сначала медленно, а потом всё быстрей стало крениться набок, и я, ничего не понимающий, с застрявшим в глотке криком ужаса, внезапно очутился под брюхом у Серко, вместе с провернувшимся седлом.

Ноги мои застряли в стременах, и потому я не вывалился из седла, а остался висеть вниз головой, между двумя парами конских копыт, во время скачки почти встречающихся между собой. А сейчас в месте их встречи болталась моя голова, и копыта эти должны были по ней непременно настучать. А если жеребец ещё и напугается и понесёт галопом, то мне точно будет хана.

Но умница Серко, как только почуял неладное, тут же встал как вкопанный посреди улицы. И подбежавшие ко мне мужики (уже не помню, кто это был) высвободили мои ноги из стремян и выволокли меня из-под конского брюха.

Оказалось, что отец, когда приехал домой, на несколько дырок ослабил подпругу (широкий такой кожаный ремень, фиксирующий седло), чтобы дать передохнуть коню, и забыл сказать мне об этом.

Седло сразу не поползло набок, когда я в него взбирался, только из-за моего небольшого веса. Ну а во время скачки ослабленная подпруга съехала по брюху коня назад, вот тогда-то седло и

провернулось вместе со мной по оси и я повис вниз головой. Как хорошо, что Любочки в этот момент рядом не оказалось и она не увидела моего позора!

А я тогда, подтянув при помощи тех же мужиков подпругу (там нужна немалая физическая сила, которой у меня тогда ещё не было), снова взобрался на покорно дожидающегося меня Серко, и мы с ним продолжили путь к месту выпаса коров.

Я практически и не управлял жеребцом — он сам знал, куда ему скакать. И уже на месте, в знак благодарности за своё спасение от увечья или чего похуже, я скормил Серко всю прихваченную с собой и посыпанную сахаром горбушку хлеба — обычный пацанский «бутерброд» в деревне в те годы.

Потом Серко исчез, а вместо него у отца появилась другая лошадь — Карька. Я тогда спросил отца:
— А где же наш Серко?

Отец немного замялся, потом сказал, что Серко заболел и его отправили в ветлечебницу, в райцентр. И как же я горько плакал, когда узнал правду, выболтанную мне нашим пьяным ветеринаром.
— На колбасу отправили. Но… ногу он сломал, ик!.. — почти добродушно ответил мне небритый и воняющий перегаром и креозотом (в нём купали овец после стрижки) дядя Витя на мой вопрос — когда Серко вернут обратно из ветлечебницы.

Конечно, я был уже тогда не настолько маленьким, чтобы не знать предназначения всех животных, разводимых как в нашем отделении совхоза, так и у себя во дворах трудолюбивыми моими односельчанами.

Но Серко-то был не глупой коровой или жирной свиньёй, чтобы просто так вот отправить его на заклание лишь потому, что он сломал ногу, на полном ходу угодив ею в сусличью норку.

Ведь он же был трудяга и очень сообразительный, и отношения к себе заслуживал совсем иного, чем прочие животины (которых, впрочем, мне тоже всех и всегда было жалко). Ведь можно же было его вылечить и вернуть домой!

Всё это я со слезами на глазах выпалил в лицо пьяному нашему ветеринару, сидящему на бревне под стеной конюшни с папиросой в зубах рядом с конюхом дядей Тимошей.

Дядя Тимоша конфузливо отводил глаза в сторону, а ветеринар разозлился и, выплюнув измочаленный окурок, сказал мне сиплым своим голосом:
— Иди-ка ты отсюдова, сопляк, если ничего не понимаешь в нашем деле…

Нет, я всё понимал, но жалость к Серко продолжала душить меня ещё долго, и отец, видя это, несколько дней ходил с виноватым видом. Хотя, оказывается, он и сам чудом не пострадал в тот день, когда в степи упал вместе с оступившимся Серко на землю.

Потом он, оставив тоскливо ржавшего и время от времени пытавшегося встать на ноги Серко, ушёл в деревню за помощью. Хотя что это была за помощь — мне наш вечно пьяный ветеринар уже разъяснил в доступной ему форме..

Вот что я вспомнил, провожая взглядом удаляющуюся по городскому тротуару неожиданную пару — цокающего копытами коня и ладно сидящую в седле молоденькую девушку. Ну, удачи вам, ребята! И смотрите, пожалуйста, под ноги…

Не чужие

— …Многое я себе могу простить из того, что, вольно или невольно, сделал порой поперёк своей совести. Но только не это. Только не тоскующий и всё ещё на что-то надеющийся взгляд своей шестилетней дочери, когда я уходил из семьи.

Много лет назад со мной случилось то, что иногда с нами, мужиками, случается. Я безоглядно влюбился в чужую женщину, чужую жену, ставшую мне роднее, ближе и желаннее своей. И пошёл за ней, как зачарованный.

Рано или поздно всё тайное становится явным. Город наш небольшой, и вскоре добрые люди известили мою жену, что у меня есть другая женщина. Я поначалу малодушно отпирался, как мог, но к тому времени к жене охладел, и она это чувствовала, а потому не верила мне. И однажды случайно увидела нас вдвоём.

Нет, ничего такого, мы просто вместе ехали в автобусе, но жена потом сказала, что я так на неё смотрел, так нежно и бережно её касался, что она всё поняла. Ну и всё, попёрла меня из дома. А я как будто только и ждал этого. Моя возлюбленная тоже ушла из семьи, мы втайне от всех сняли однокомнатную квартирку и наслаждались друг другом и нашей относительной свободой.

Но там у меня оставалась совсем ещё маленькая дочь. И она всё никак не могла взять в толк, почему её любимый папка, который в ней души не чаял, перестал приходить домой. А объявлялся лишь раз в неделю, в воскресенье, чтобы сводить её в парк, в кино, угостить мороженым, поцеловать и опять исчезнуть на неделю.

И каждый раз, когда я приводил её к условленному времени обратно во двор и отправлял к вышедшей встречать из подъезда матери, дочь начинала плакать и звать меня домой. А я… А я уходил. Уходил, унося с собой её укоризненный и непонимающий взгляд: почему я ухожу, почему не возвращаюсь вместе с ней домой. Она и спрашивала меня об этом. А я бормотал что-то о том, что мы с мамой поссорились, что когда-нибудь помиримся и тогда я снова буду жить дома. Хотя и сам ни одному своему слову не верил.

Вся моя беда была в том, что, даже находясь рядом с дочерью, я не переставал думать о той, что стояла между нами.

Конечно же, я был не железный, и сердце моё каждый раз больно сжималось при виде страданий

любимого существа. Да и сам я с трудом дожидался очередного воскресенья, чтобы пообщаться с дочуркой, кстати, очень похожей на меня. И, конечно же, я всегда думал о том, а как же она будет расти без меня? А вдруг жена выйдет замуж и дочь будет воспитывать чужой мужик, равнодушный к ней, а то и с трудом терпящий её?

И я уже начал колебаться: а может, вернуться домой? Наступить на горло собственной песне, то есть отказаться от своей любви во имя дочери? Но тут случилось непоправимое, из-за чего я уже не мог дать обратного хода.

Во время моего очередного свидания с дочерью она, как обычно, невинно лепеча о разных разностях, вдруг сказала такую вещь, что я споткнулся и чуть не упал.

— Кто у нас ночевал? — стараясь быть спокойным, переспросил я.

— Дядя Валера, — повторила дочь. — А пошли, папа, мороженое купим…

— Идём уже, идём. А где он спал, дядя Валера?

— С мамой, — наивно сказала доча. — На маминой кровати…

У меня сжались кулаки. Может, ребёнок фантазирует? Хотя зачем это ей. Дядю Валеру, нашего соседа, доча знала хорошо. Он жил в соседнем подъезде. Мы дружили семьями, вместе отмечали, то у них, то у нас, праздники, какие-то семейные торжества.

Потом Валерина жена Люба тяжело заболела, у неё оказалась опухоль мозга. Её готовили к операции в областной больнице, но не успели. Так Валера остался один, с восьмилетним сыном. Но тосковал он недолго. Мужик симпатичный, компанейский, он и при Любе не упускал возможности сходить налево.

Люба об этом знала. Знала, очень переживала, но терпела — любила, наверное, Валерку, да и семью рушить не хотела. А теперь он, козёл, и до моей жены добрался.

Валера давно на Зинку мою косился, а тут такая возможность — я ушёл от неё. Заявился, как обычно, в гости, распили, наверное, бутылочку на двоих, жалуясь друг дружке на одинокую жизнь, да так, жалеючи друг дружку, и оказались в постели. У, сволочи!

«Сдавая» дочь после нашей воскресной прогулки жене, я не сдержался и едко сказал ей:

— Ну что, нашла уже себе утешителя?

Зинаида покосилась на дочу, поняла, что та её каким-то образом выдала, и с вызовом ответила:

— Нашла! Не тебе же одному кувыркаться с бабами…

И всё. Она мне тут же опротивела. Это была не ревность. Это было чувство оскорблённого собственника. Никто не был вправе притрагиваться к моей жене, моей собственности. А раз уж Зинка позволила это — неважно, из мести ли ко мне или у них там с Валерой какие-то чувства зародились, мне на это было плевать, — теперь она уже не кто иная, как сука и проститутка.

Я был вне себя. Но всего лишь молча развернулся и пошёл к остановке. И услышал за спиной отчаянный крик:

— Папа!

Только этот родной голос мог меня сейчас остановить. Но я был настолько уязвлён и оскорблён признанием жены в измене, что лишь мельком оглянулся и досадливо махнул рукой — «Да идите вы все!». И снова меня по сердцу царапнул этот взгляд дочери, такой, знаете, исподлобья, преисполненный и обиды, и надежды.

…Мой попутчик поперхнулся, закашлялся, провёл рукой по лицу — мне даже показалось, что он смахнул слезинку, — потянулся за пивной бутылкой, отпил из неё и снова поставил её на стол. Мы познакомились в купе СВ скорого поезда «Тюмень — Хабаровск», мчавшегося сейчас, чёрной осенней ночью, сквозь бескрайнюю сибирскую тайгу на запад.

Я в последнее время избегал полётов на самолётах, особенно после того как в катастрофах, один за другим, погибли двое близких мне людей, и у меня, по сути, возникла самая настоящая аэрофобия. Почему быстрому перемещению на самолёте также предпочёл этот считающийся скорым поезд мой сосед — не знаю. Может, по тем же причинам. За двое суток мы почти сдружились, хотя разговоры наши дальше обсуждения растущих цен на бензин и ситуации вокруг Сирии не продвигались.

Сегодня вроде ничего и не пили, кроме холодного пива, любезно предложенного нам хлопотливой проводницей. Но этого хватило, чтобы Вадима Сергеевича, достаточно интеллигентного на вид мужчину лет пятидесяти, вдруг пробило на откровенность.

Сказался, видимо, синдром «попутчика», перед которым можно вывернуть свою душу, зная, что больше его, вероятнее всего, уже не встретишь. Правда, говорил Вадим Сергеевич не так гладко, как я сейчас излагаю его рассказ, — волновался всё же, мысли перескакивали с одной на другую, иногда он сжимал кулаки, пару раз даже скрипнул зубами.

Я же деликатно помалкивал, лишь изредка кивая головой да отделываясь неопределённым хмыканьем, как бы поощряя собеседника на дальнейшие откровения.

Но тут Вадим Сергеевич и сам надолго замолчал, отрешённо уставившись в оконное стекло, за которым проплывали тёмные зубчатые силуэты подступающей к железной дороге тайги.

Я не выдержал первым и, тоже отпив большой глоток уже начавшего теплеть светлого чешского, спросил:

— И что же было дальше, Вадим Сергеевич?

— Дальше? — встрепенулся мой попутчик. — А что дальше? Уехали мы с моей новой любовью на Дальний Восток, у неё там родственники. А по сути, не просто уехали, а удрали. Жена моя, поняв, наконец, что я не собираюсь прощать её и возвращаться домой, стала таскаться по всем органам, чтобы нас там пропесочили и заставили-таки разбежаться по своим семьям: в профком там, к руководству треста, где работала моя Светлана, ко мне на автобазу, я там начальником колонны был. А муж Светланы как-то подкараулил меня со своими дружками… Ох, и вломили они мне! Хорошо, наряд милицейский рядом проезжал, и они вовремя смылись. Напоследок муж Светланы ещё разок пнул меня, уже лежащего, и прошипел, что в следующий раз меня убьют и чтобы я делал выводы. Но милиционерам я не сказал, кто это был, — хулиганы, мол, обычные, закурить попросили, а я не курю.

В общем, потрепали нам наши бывшие супруги нервы, ну вот мы и решили уехать ото всех куда подальше. И оказались в Биробиджане. Вот уже двадцать с лишним лет там. Нормально живём. Я, правда, простым механиком работаю, Светка кадровичкой у нас же на базе. Квартиру успели там получить и приватизировать, дачей обзавелись — там же всё растёт, климат замечательный. Светка мне и сына родила, хороший парень вырос, сейчас в армии, по контракту остался…

— А там как у вас?.. — осторожно спросил я, когда в нашем разговоре опять возникла пауза.

— Да вроде ничего, — тут же отозвался Вадим Сергеевич. — Я о дочери никогда не забывал, да и как забудешь, когда вот этот её последний взгляд преследовал меня всю жизнь. Чувство вины так и не оставляло меня за то, что я её, так любившую меня, бросил на чужого дядю. Зинка-то моя потом вышла замуж за этого самого соседа моего, Валерку, представляете. И доча, как выяснилось потом, так и не стала его называть папой — только дядей Валерой. Мы переписывались, созванивались. Я ей честно выплачивал алименты, да сверх того, когда мог, деньги посылал. Учёбу ей оплатил в колледже, потом на лечение денег посылал, когда она в аварию попала. На свадьбу денег дал…

Вадим Сергеевич как будто отчитывался передо мной об исполнении своих отцовских обязанностей по отношению к оставленной дочери, и я понимал, почему это он делает, — его по-прежнему точила совесть, и он таким вот образом очищался перед незнакомым ему человеком. Хотя что особенного было в том, что он сделал? Миллионы разводятся и оставляют своих детей. Этот-то хоть материально помогал дочери, а большинство-то, я вот читал недавно, находится в бегах, лишь бы не платить и копейки на содержание собственных детей. Так что по сравнению с другими отцами Вадим Сергеевич практически безгрешен. Эх, знал бы он!..

— Вот впервые еду туда, к ней, — вдруг неожиданно потеплевшим голосом прервал ход моих мыслей Вадим Сергеевич. — Жена отпустила — внук у меня родился! Доча позвала, чтобы увидел!..

И столько радости было в его голосе, что я ему невольно позавидовал.

— Ну, а вы-то что всё отмалчиваетесь? — спросил неожиданно Вадим Сергеевич, отхлебнул пива и поморщился. — Совсем тёплое стало.

И он вопрошающим взглядом уставился на меня. То ли предлагая и мне пооткровенничать, то ли сходить за пивом. Я выбрал второе. Хотя если принесу не пива, а чего-нибудь покрепче, может быть, тоже поделюсь с попутчиком, что и меня самого гложет. Я ведь тоже бросил своего ребёнка. Сына. Ему было уже двенадцать, когда я вот так же сорвался, очертя голову, за другой женщиной.

Мы, правда, никуда не уехали, а продолжали жить в одном городе. И сын меня не простил. Он требовал, чтобы жена, то есть мама его, не принимала от меня никаких денег, заявив, что они и сами прокормятся, не шёл ни на какие контакты со мной. Жена воспитывала его одна, поскольку замуж так больше не выходила. И довоспитывалась — сын сел за ограбление. Через полгода я разузнал, где он сидит, и поехал к нему на свидание. И вот возвращаюсь, что называется, несолоно хлебавши. Не вышел сын ко мне. За что же он так меня? Ведь не чужие вроде…

Ирлан Хугаев

Чёрный ход

— Куда? — строго и нетерпеливо спросил водитель.

Я немного опешил и не сразу вспомнил адрес.

— Но если вы торопитесь, я готов дождаться другой оказии, — добавил я дружелюбно и на всякий случай улыбнулся.

— А деньги есть? — дёрнул он подбородком и, не выдержав паузы, натужно рассмеялся: — Шучу, шучу. Садись давай. Я никогда не тороплюсь. У меня времени — куры не клюют. Я человек свободный.

Я бросил сигарету в урну и сел, поздно и тщетно сожалея, в изрядно просаленное сиденье. С первого раза дверь не захлопнулась. Я повторил; теперь звук получился как молотком в зубы, но дверь всё же за что-то зацепилась, не отскочила.

— Во-от! — похвалил водитель. — А то мало каши ел.

Когда мы тронулись, он интенсивно, будто у него чесались ягодицы, поёрзал и спросил:

— А знаешь, почему я так пошутил?

— Наверное, у вас были проблемы с клиентами.

— Как ты угадал?! — неожиданно поразился он и повернулся ко мне всем торсом.

Мне показалось, что он забыл о дороге.

— Даже не знаю, что вам ответить. Однако ручаюсь, что я не Сатана.

— Очень жаль, — сказал он серьёзно. — А то вчера ко мне садится один такой клиент и говорит: на Луну и обратно. На тебя, между прочим, похож. Только он был без шапки, а ты в шапке… А ну, сними-ка шапку!..

Я улыбнулся левой щекой, давая ему понять, что с уважением отношусь к его чувству юмора. Он заржал, как мерин; я даже не сразу понял, что это смех.

— Слушай, что ты мне про Луну рассказываешь? Я что, не знаю, что такое Луна?.. На Луну его привёз, а он там вышел и пропал. Целый час его ждал. Не потому что денег жалко. Деньги для меня — мусор, тьфу. Хлебом клянусь. Просто думаю: мало ли что, вдруг придёт?.. Обратно пустой поехал.

Он включил радио; сентиментальные горцы отжигали про чёрные глаза, злоупотребляя арабскими модуляциями.

— Да. Нехорошо, — сказал я.

— А что с наркомана возьмёшь? Нет: мне всё равно, кто ты, но совесть же надо иметь! Если у тебя денег нет — так и скажи, не стесняйся. Сегодня у тебя нет, а завтра — у меня. Я что — без понятий? Я, конечно, не кололся, я не дурак, но анашу по молодости курил дай бог каждому.

В салоне стоял такой дух, как будто мышка где сдохла. Или две.

— Разрешите, я покурю?

— Подожди слушай, — возмутился он. — Только что же бычок выкинул! Вот даёшь. Потерпи немножко. Просто я не курю. Совсем. Уже пять лет. И тебе не советую. Лучше водку выпей — и телу полезно, и душе, как говорится, приятно. Так что я не курю. Даже нюхать противно. А знаешь, как я бросил?..

Он снова повернулся анфас.

— Нет, — ответил я быстро, чтобы он смотрел прямо по курсу.

— Сразу. Сказал себе: стоп, так не пойдёт. И с тех пор ни одной затяжки не сделал. Главное — характер. В любом вопросе. Бабы — другое дело. Без них никак нельзя. Ну, ты понимаешь, о чём я говорю…

Он хмыкнул, и мне невольно польстило такое доверие к моему пониманию. Я хотел опустить стекло, но у меня не было уважительной причины: вдруг небо потемнело, и пошёл дождь. Не мог же я ему сказать: «У вас воняет».

— А наркоманы — народ конченый. У них ничего святого нет. Родную мать продадут. Я их за километр чую. Хлебом клянусь.

— Да. Тяжёлый народ, — сказал я почти одними губами, чтобы реже вдыхать.

— Да не то слово! — горько и разочарованно протянул он. — Нет, ну! Ты подойди и скажи: так и так, подожди слушай, сейчас денег нету, потом отблагодарю как-нибудь! Мы же все люди, ёлки-палки… О! видишь ту девятку?!. — вскричал он с внезапным восторгом. — Спорим, баба за рулём? Баба хуже пьяного водит. Обязательно подрежет. Если ты её увидел, уже поздно. Она думает, ей все должны уступать. Но здесь асфальт, мадам, а не паркет!

— Не сокрушайтесь так. Бог ему судья.

— Кому? Бабе?

— Вашему вчерашнему пассажиру.

— Да при чём здесь бог! — крикнул он почему-то презрительно, и я подумал: «В самом деле». — Мир тесен: когда снова увидимся, тебе стыдно будет. Мне твои деньги не нужны, но ты будь че-ло-ве-ком. Правильно я говорю?.. Так и так, скажи, денег нету, выручи, отвези на Луну!

— Может быть,— предположил я,— он так и хотел поступить, но что-то ему помешало?
— А что ему могло помешать? Я с ним вежливо разговаривал, вот как сейчас с тобой. Я тоже, как видишь, культур-мультур понимаю.

«Ах, какая женщина, какая женщина!..»— застонало радио, и водитель встрепенулся и утроил децибелы.
— Ну, мало ли,— сказал я,— времена трудные.
— Что-что?!— крикнул он.
— Я говорю,— закричал я,— что времена трудные! Человек человеку волк! Возможно, это был несчастнейший... из волков! Возможно, у него не осталось веры к другим волкам!! Возможно, он присматривался к вам и думал: сказать серому или не сказать?! поймёт серый или не поймёт?!— и что-то ему помешало! Возможно!— вы понимаете?— возможно!.. Возможно, он почему-то решил, что вы его не только не поймёте, но ещё и зарычите или, чего доброго, покусаете! Пожалуйста, сделайте тише!

Он покосился на меня вроде как с подозрением, потом выключил радио и сказал:
— Подожди слушай. Я же на тебя не рычу?
— Хотя и могли бы,— ответил я с благодарностью.
— Конечно. Но мы пока что нормально, интеллигентно разговариваем. Или нет?
— Никаких сомнений,— поспешил я.
— Твоё дело попросить прощения— а там посмотрим, прощу я тебя или нет.
— Совершенно верно.
— Я не виноват, если он меня испугался. Доверие надо заслужить. Вот, например, ты: ты же мне доверяешь?
— Абсолютно.
— Что и требовалось доказать! А я— тебе доверяю. Спрашивается, почему?..

Он снова уставился на меня, ожидая выражения солидарности.
— Итак?
— Очень просто,— он глухо постучал кривым указательным пальцем себе в грудь,— потому что я разбираюсь в людях!
— В волках!— сказал я и улыбнулся, чтобы не быть заподозренным в каких-нибудь хищных намёках.— У вас редкий талант.

Перед нами перебежала дорогу мокрая дворняга с беспокойными и жалостными глазами; водитель притормозил и сделал резкое заявление по поводу всего семейства собачьих.
— Сучка была,— сказал я, но он этого не понял.

Костяшкой пальца я протёр дырочку на запотевшем боковом стекле.
— Знаете что? Притормозите у этого магазинчика. Надо хлебушка домой купить. И поедемте дальше.
— Что?.. Здесь?— он видимо чем-то расстроился.
— Ну да. Разве здесь запрещено?
— Нет, я просто думал...
— Что я не ем хлеб?— засмеялся я.

Он обиженно насупился и что-то пробурчал.
— Ты же недолго там?— спросил он на всякий случай, пришвартовавшись.
— Шесть секунд. Не гасите мотор. Может быть, и вам хлеба прикупить?— спросил я, уже стоя на обочине и придержав дверцу, и с удовольствием поймал за шиворот крупную каплю.
— Нет, не надо.
— Может быть, лимонаду? Или жвачку? Не стесняйтесь.

По небу от горизонта до горизонта мягко прокатился гром.
— Не надо, не надо,— ответил он сердито и быстро, как человек, у которого времени в обрез, и опасливо посмотрел в небо через лобовое стекло.

Дождик был прекрасен, но всё-таки мокр. От души хлопнув дверью, чтобы не пришлось повторять, я повернулся и, набрав в лёгкие озона, легко взлетел по ступенькам. Внутри было тихо, светло и торжественно и красивые люди праздно ходили вдоль витрин и переговаривались неслышно, как будто были в музее. Вероятно, они прятались здесь от дождя.

За прилавком стояла девушка в лазурной униформе, похожая на стюардессу или ангела, и читала в глянцевом журнале.
— Добрый вечер,— сказал я, подойдя, вполголоса.
— Добрый вечер,— ответила она так же тихо и, заложив страницу пальцем, подняла на меня скучающие глаза.
— Вам покажется странным,— сказал я и не сдержал улыбки,— вам покажется странным, но мне нужна ваша помощь. Выручайте.

Она немного растерялась, и я поспешил добавить, всем сердцем уповая на её милосердие:
— Меня преследуют; мне нужен чёрный ход.

Павел Веселовский

Три стороны одной пуговицы

Апокалиптический дебют

Когда сомнений уже не осталось, а президент сделал пусть успокаивающее, но всё же официальное заявление; когда всем почему-то дали отгул на три дня, а патрули в бронежилетах заняли позиции вблизи банков, вокзалов и администраций; когда временно отменили все гражданские рейсы, а перистые следы истребителей исчертили июньское небо своими бесконечными иероглифами; когда все замерли в своих квартирах, пожирая глазами свежие новости,—тогда он отмыл от кофейной накипи кружку, прибрался на рабочем столе, выбросил из ящиков всё лишнее (наскреблось немало: слипшиеся с зимы пастилки от кашля, одноразовую вилку со следами торта, несколько согбенных скрепок, записку с надписью «Сосиски, яйца, мочегонное не забыть», просыпавшуюся заварку и визитку про всегда трезвых грузчиков); после чего пожал руку как-то сразу постаревшему, слонявшемуся по офису без дела шефу и уехал домой. Автобусы ещё ходили.

Он решил, что писать завещание будет глупо и, пожалуй, преждевременно; родители давно умерли, жена пять лет назад улетела в Канаду на конференцию по бракоразводным процессам, да так и осталась; детей у них не было. Друзья… Он всегда был рад друзьям, но странным образом именно сегодня ему хотелось побыть одному. В сущности, оставалось лишь ждать; но привыкший к порядку и целеполаганию ум требовал действия, и он стал собираться.

Он почему-то вспомнил увиденную некогда в Интернете выставку коллажей на апокалиптическую тему. Что-то вроде «А что бы вы захватили с собой, если бы вашему дому грозила опасность и на сборы оставалось пять минут?». Забавные были картинки, между прочим. Кто-то брал с собой перочинный нож и бумажник, а кто-то старый проигрыватель, кошку и пластинку «Битлз». Кошки у него не было, «Битлз» он недолюбливал—считал слишком крикливыми. Или наивными. Да, пожалуй, слишком наивными. Уж если брать, так «Лед Цеппелин». С другой стороны, они тяжеловаты—голова разболится. Может быть, тогда «Энималз»? Быстро надоест. «Аквариум»? Навеет тоску—в такое-то время. О чём ты вообще рассуждаешь, встрепенулся он, у меня и пластинок-то нет. Все свои музыкальные коллекции он привык держать на сетевых хранилищах, а их-то, как предвещали военные аналитики, накроет в первую очередь. Как и всю прочую электронную инфраструктуру. Это будет совсем нетрудно сделать существам, которые сумели полностью вывести из строя системы ПВО всех крупных государств на планете, находясь в миллиардах километров от неё. Любопытно, как они выглядят, подумал он без особого любопытства. На этот счёт военные аналитики молчали.

Он не представлял себе, куда нужно бежать, если начнётся… если начнётся что? Война? Как можно воевать с врагом, который в десятки, сотни раз могущественнее тебя? Бежать в бомбоубежище? Неужели они прилетели с другого края Галактики лишь затем, чтобы побросать нам на головы куски начинённого огнём металла? Нет, это полная чепуха.

Если они несут смерть, то она будет быстрая, безболезненная и неотвратимая. Так он решил для себя. И договорился сам с собой, что не станет развивать варианты. Просто хлопок, яркое пламя или, напротив, угольная чернота—и всё, конец. И ничто не сможет помешать этому—даже сотни наших истребителей, высокоточные компьютеры которых превратились теперь в груду цветного лома. Странно, что они вообще ещё летают.

По правде говоря, никто не знает, зачем они летят к нам. Не было ни писем, ни предупреждений, ни звонков. «Алло, это мы, зелёные человечки, ждите нас к чаю. Всем постричь бороды и поставить клизму для последующего зондирования». Нет, ничего подобного.

Возможно, они не собираются нас убивать. Или ещё глупее—порабощать. И тем более ставить какие-то нелепые опыты. Вот почему, кстати, он терпеть не мог фантастику—за обилие нелепейших предположений, грубо играющих на примитивных человеческих чувствах. У тех, кто летит из такого «далеко», что воображение отказывает, вряд ли будут человеческие чувства. Если у них вообще будут какие-то чувства.

Но как-то же нужно приготовиться, растерянно подумал он. Наверняка будет паника, возможно—бунты, неуправляемая толпа, мародёры… Армия не сможет, да и не захочет контролировать всё.

И во дворах, в переулках, на лестничных площадках начнётся хаос. Сильные будут сметать слабых, подлецы—выживать, благородные—гибнуть. В такие моменты многие быстро сбрасывают тонкую шкурку общественного приличия, разве не так бывает всегда?

Он задумался: а ты-то сам, ты кто такой? Пожалуй, в каждой из категорий—слабых, подлецов и благородных—он мог бы претендовать на законные баллы. Иногда он бывал и сильным, это правда; но в такие минуты ощущение непреклонности и даже какой-то власти в себе больше удивляло, чем радовало.

Так что же он взял бы с собой? Ну, прежде всего, заученное ещё в школе—соль, спички, сахар… Нет, постой, соль и спички нужны, если готовишься к длительной осаде. Много сахара с собой не унесёшь. И гречневой крупы тоже. Хорошо, пусть будут соль и спички. И перочинный нож.

Он пошёл на кухню, перетряхнул ящики, выудил оттуда замусоленный коробок купленных ещё при Горбачёве спичек, наполовину пустой пакет соли и старенький складник. Не без труда раскрыл его, подозрительно оглядел приржавевшее лезвие, понюхал. Им, кажется, ещё в прошлом году резали грибы, да так и не помыли. Пожал плечами, положил всё найденное на кухонный стол. Кучка выглядела сиротливо. Он представил себе, как руками выкапывает на чужом поле картошку, чистит ржавым ножом, запекает в углях, солит и ест. Нет, чистить не нужно, вспомнил он. И почему, собственно, нож должен быть перочинным? У него есть прекрасный итальянский кухонный нож, очень острый. Вот только в карман его не положишь…

Бессмысленным взглядом он окинул свою холостяцкую кухню. Всё это он бросил бы без сожаления: несколько разнокалиберных тарелок, ложек и вилок, где отыскать пару одинаковых—уже проблема; кастрюли с подгоревшим дном и чугунная сковорода антрацитового цвета, запечатлевшая вкусы и запахи сотен поколений яичниц и жареной картошки; изрезанная деревянная доска, которая пахла уже отнюдь не хлебом… Всё это хлам, до которого у него просто-напросто не доходят руки. Он всегда тщательно следил за чистотой рубашки и стрелками на брюках, но с тех пор, как Марина прислала ему из Канады то самое письмо, кухню забросил совершенно. Итальянский нож да новый кофейник были исключением—он любил, чтобы ломтики сыра, полагавшиеся к вечернему кофе, были порезаны ровно.

Ну и к чёрту, рассердился он. Быть может, все мы доживаем свои последние дни на этой планете, а я буду выбирать, какой ложкой хлебать крапивный суп на крысином бульоне?

В гостиной он долго стоял перед книжными полками. Он сразу понял, что выбрать одну или даже три книги не удастся. Он где-то читал, что человеку, пережившему крах цивилизации, нужнее всего учебники по физике и механике, а также медицинская энциклопедия. Ничего такого у него не было. Было полное собрание сочинений Бунина, семь томов Хемингуэя, ещё немного классики—русской и европейской, пёстрый набор современной беллетристики и, как ни странно, детские автобиографии Джеральда Даррелла. Он любил эти искромётные рассказы со множеством персонажей и ещё большим числом зверей. Интересно, если мы погибнем, сохранят ли они животных?

Он нашёл в шкафу старый засаленный рюкзак, где на дне болтались сухие еловые иголки и шкурка от колбасы, вытряхнул его и стал как-то машинально накладывать одежду. Понял, что придётся выбирать между Хемингуэем и свитером с курткой. Вместо Хемингуэя положил «Мастера и Маргариту», а вместо свитера—почему-то два тома Толстого, те самые, в которых были его дневники. Всё равно ещё лето, хватит и куртки. Немного подумал и добавил книжку Рубиной—«Почерк Леонардо». Пусть будет.

Письмо от Марины он решил не брать. Не надо. Статуэтка курящего Будды, привезённая из Таиланда,—он дорожил ею, но она слишком тяжёлая. Сотовый телефон—пожалуй. Деньги и пластиковую карточку—да. Блокнот! Он чуть не забыл про блокнот и ручку. А ещё таблетки! Он вернулся на кухню и открыл холодильник, где в отделении для яиц как раз хранился набор лекарств на все случаи жизни. В холодильнике было темно. Отключили электричество?

Только сейчас он осознал, что вентилятор в гостиной молчит. Затихла и стиральная машинка у соседей сверху, ещё пять минут назад исправно сотрясающаяся в эпилептическом припадке. Он прислушался: топот на лестнице, какие-то крики. Он выглянул в окно—кто-то бежал по направлению к продуктовому ларьку, в доме напротив несколько человек вышли на балконы и с тревогой смотрели в небо. Началось? Он раскрыл окно и тоже глянул вверх. Небо как небо, бледное, без малейшего намёка на закат.

В этот момент в дверь постучали. Сердце его забилось, как кролик в клетке. Так, так… Он аккуратно взял итальянский нож и нарочито медленно подошёл к двери. Отодвинул металлическую щеколду, отпустил, сделал шаг назад. В образовавшемся проёме он увидел Моисея Юрьевича в халате и шахматной доской под мышкой. Старик, как всегда величественный и ироничный, опустил взгляд ещё острых глаз на импровизированное оружие.

—Готовите ужин?—приподнял он седую профессорскую бровь.

—Да нет,—он замялся,—это так, на всякий случай…

— Всякие случаи случаются,—согласился Моисей Юрьевич и демонстративно приподнял доску,—не забыли, надеюсь?
— Ах да,—пробормотал он,—сегодня же пятница… Вы, полагаю, требуете реванша?
— Я настаиваю,—мягко подтвердил старик.

Тут по бетонным ступеням застучали каблуки, и с верхней площадки стало спускаться семейство Незлобиных—все пятеро плюс тёща. Сам Незлобин нёс на руках годовалую дочь, лицо его было красным и испуганным. Жена и тёща, напротив, были бледны.
— Вы слыхали, нет?—крикнул сосед на бегу.— Только что передали: военные опять просчитались. Летят они, уже скоро здесь будут! И прикиньте, тут же свет отрубили!
— Как… скоро?—растерянно переспросил он.
— Да вот уже вроде на подлёте,—Незлобин бубнил уже снизу, его жена торопила старших детей,—мы уезжаем, короче… Чёрт знает, чего ждать! Валим!
— Так мы идём?—переспросил Моисей Юрьевич, за время разговора ни разу не оглянувшийся назад.

Стариковские глаза, выцветшие, но исполненные пронзительной ясности, смотрели на него не отрываясь.
— А вы никуда не торопитесь?—он кивнул неопределённо, то ли в направлении двора, то ли вверх, на небо.
— Мне семьдесят шесть, я уже давно не тороплюсь,—усмехнулся старый еврей,—а вас там кто-то ждёт?

И он тоже кивнул неопределённо, повторяя жест. Какое-то время они помолчали, глядя друг на друга. А ведь действительно…
— Я сейчас, переобуюсь только…

Моисей Юрьевич чинно кивнул.

Когда они спускались мимо квартиры профессора, в дверях стояла Аделаида Михайловна и смотрела на них мокрыми глазами. Годы и развал Союза оставили на её лице глубокие следы, но не смогли вытравить печать породы. Вот они, подумалось ему, определённо из благородных. Но, к несчастью, вряд ли из сильных.
— Моша, вернись домой, прошу тебя,—произнесла она трясущимися губами.
— Одна партия, дорогуша, ставь пока чай,—ответил Моисей Юрьевич как-то нарочито официально и продолжил спускаться.

Они вышли во двор, уступили дорогу двоим несущимся со всех ног и матерящимся на бегу подросткам, зашли в беседку, смахнули с прожжённого сигаретами столика мусор и расставили фигуры. Он зажал в кулаках по пешке, и Моисей Юрьевич выбрал чёрных. И когда неожиданно резко стихли птицы и зашумел предгрозовой ветер в кронах тополей, когда завыла вдали какая-то нереальная в нашем веке заводская сирена, когда посреди чистого летнего вечера, напитанного запахами сирени и медуницы, легла на город необъятная и плотная тень—он умиротворённо вздохнул и двинул королевскую пешку.

Возвышение инженера Мори

Сказка на русском языке в иероглифах

…в результате чего Юки Мори приплёлся домой поздно. Он всегда возвращался с работы поздно, но сегодня пришёл далеко за полночь. Снял туфли, отодвинул перегородку, привычно коротко поклонился спящей на татами жене и крадучись проследовал в кабинет. Нужно было кое-что доделать.

Ноутбук откликнулся быстро: в отличие от Юки, он-то прекрасно выспался за день. Замелькали схемы новой трансмиссии, документации по винтам и топливопроводам. Проклятый беспилотник, совсем без злобы подумал Юки, растирая костяшкой указательного пальца уголок глаза. Ты у меня полетишь, апатично добавил он, доставая из портфеля спецификации, захваченные из офиса. Осенний ветер сердито шумел сухими листьями за тонкой стеной, словно осуждая Юки за недостаток усердия.

Сегодня шеф был очень зол. Господин Исикава никогда не позволял себе несдержанности, но сегодня он был очень зол. Он стремительно ворвался в бюро, не ответил на вежливое «Хай» согнувшегося в поклоне Юки, ходил кругами и неодобрительно поглядывал на госпожу Кобаяси, кротко ровняющую линейкой стопку ватмана. Госпожа Кобаяси всё делала аккуратно.

Густые брови Исикавы сошлись к переносице, челюсть выдвинулась вперёд. Он начал говорить и не останавливался по крайней мере двадцать минут. Он напомнил господину старшему инженеру Мори, какое сегодня число. И про заказ министерства обороны. И указал на корпоративные ценности. И на их бесценность. И ткнул пальцем в чертежи беспилотника. А потом в небо. И припомнил прошлогоднюю премию на День благодарности труду. И намекнул, что благодарности не ожидается. И сказал, что в компании «Тэйто Механикс» принято работать самоотверженно. Само-отверженно. Два иероглифа. Вот они, висят на стене. Вы понимаете, господин Мори? Хай, господин Исикава. Хай! Хай…

Юки вдруг понял, что лежит щекой на клавиатуре. Он поднял голову и посмотрел на часы: была половина третьего. Потом взглянул на монитор: щека здорово порезвилась на клавишах, и в спецификации нового сверхпрочного винта вкрались несколько бессмысленных, но странным образом лирических хокку. В одном из них воспевалась радость цветка лотоса, попавшего в реактивную

струю пассажирского лайнера. Юки без малейшего ужаса вспомнил, что вставать придётся в пять. Тогда, может быть, и не ложиться?

И не ложись, сказала жена. Посиди здесь, в этом кресле. Кресло-качалка из настоящей гевеи, наследство незабвенного дедушки Кадзуки. Дедушка знал толк в удобствах. Как отдыхает спина! Вперёд-назад, вперёд-назад… Жена, не забудь завести будильник. Конечно, милый, я обязательно заведу. Ты пока побеседуй с дедушкой, а я пойду и заведу будильник. А вот и дедушка Кадзуки. Какой седой и улыбчивый. Наверное, доволен тем памятником, что мы поставили ему на Филиппинах. И не пищи, жена, не пищи. Хватит пищать, как я смогу выспаться в таком шуме?

Кто сказал «выспаться»?! Юки открыл глаза: пищал будильник. Половина седьмого! Беспилотник! Господин Исикава!

…понял, что не помнит, как доехал до работы. Впрочем, кое-что задержалось в памяти. В электричке какая-то женщина сжалилась и отдала ему свою чашку мисо-супа. И у него не хватило сил отказаться, хотя деньги в кармане были и он мог бы сходить в вагон-ресторан. К тому же дома он успел проглотить лапшу. Или лапша была вчера? Нет, вчера лапшу проглотила жена, потому что ей нужно было выезжать пораньше из-за профилактики конвейера. Тогда где была жена сегодня? Он не помнил.

Официально рабочий день в «Тэйто Меканикс» начинался в полдевятого; Юки зашёл в бюро около восьми, то есть, по негласным корпоративным меркам, опоздал на час. Он воровато оглянулся: господина Исикавы нигде не было видно. Госпожа Кобаяси бросила на Юки презрительный взгляд и врезала ладонью по степлеру, скрепляя листки отчётности. Юки не любил госпожу Кобаяси; она всем сердцем разделяла его чувства.

Юки едва успел расстелить чертежи и запустить компьютер, как в коридоре послышался шум. Аккуратно расчёсанный на пробор, вошёл господин Исикава, а следом… сам Акихиро Тэйто, правнук основателя корпорации, её нынешний президент и совладелец. За их спинами толпилось ещё десятка полтора директоров и менеджеров компании, все в одинаковых пиджаках и галстуках. Ревизия, с внутренней пустотой подумал Юки, и его вдруг замутило. Чёртов мисо-суп! Или это от усталости? Он понял, что сильно наклоняться не стоит, и остался стоять прямо, надеясь, что его просто не заметят.

И правда, Исикава не удостоил Юки взглядом. Он почтительно повёл Тэйто вдоль стен бюро, где были развешены чертежи и макеты летательных аппаратов, и принялся объяснять, какого технологического совершенства добился их отдел за прошедший квартал. Господин Тэйто слушал рассеянно, изредка вежливо кивая. Они подошли к натурной модели беспилотника, и господин Исикава удвоил напор в голосе, жестами показывая, как именно будет осуществляться вертикальный взлёт и посадка вслепую.

В этот момент Юки почувствовал, как его желудок поднимается вверх. Он судорожно заметался в поисках мусорного ведра, но… его не вырвало. Он вдруг понял, что вверх поднимается не только его желудок, но и другие внутренние органы. Словно кто-то потянул его за копчик к небесам: его ступни утратили связь с землёй, носки ботинок бессильно шаркнули о линолеум, и Юки… взлетел. Он плавно всплыл в воздухе спиною вверх и причалил к потолку, как детский воздушный шарик. Госпожа Кобаяси беззвучно открыла рот и замерла с поднятой для очередного удара ладонью.

Исикава закончил лекцию о беспилотнике и широко повёл рукой, собираясь представить Тэйто своего старшего инженера. Однако его рука указала на пустоту. Он недоумённо нахмурился, а потом перевёл взгляд выше. Тэйто уже увидел Юки, и впервые в его взгляде инженер заметил признаки интереса. Юки сделал попытку согнуться пополам и начал тихо произносить «Хай…», но тут его всё-таки вырвало на господина Исикаву…

…не имеющее равных революционное открытие, возбуждённо рапортовал Исикава, оттирая тряпочкой рукав. Наш отдел день и ночь работал над идеей антигравитации, и вот первые результаты получены (здесь он свирепо глянул на Мори) — нам удалось избавить от силы тяжести своего работника. Хай, госпожа Кобаяси? Хай, господин Исикава! Тэйто сосредоточенно кивал и что-то диктовал секретарю, бешено строчившему в блокнот. Строгие пиджаки и галстуки за их спинами гудели, как потревоженный улей, в дверь периодически заглядывали ошалевшие сотрудники других отделов.

Конечно, осторожно продолжал Исикава, до полного практического применения ещё пройдёт какое-то время… возможно, потребуется ряд лабораторных испытаний… благодаря самоотверженным усилиям инженера Мори и его, Фудо Исикавы, совершён кардинальный прорыв… значительное увеличение подъёмной силы, а в будущем, возможно, и полный отказ от роторных двигателей…

Юки молча висел под потолком. Все слова куда-то пропали, и возникло странное чувство лёгкости. Но лёгкости не телесной — она вроде бы была совершенно естественной, не мешала и не удивляла; а лёгкости душевной, непонятно откуда берущейся. С высоты трёх метров господин Исикава, и так-то не отличавшийся большим ростом, казался совсем маленьким.

У него немного кружилась голова, но дедушка Кадзуки был рядом и знаками давал понять, что

гордится внуком. Он улыбался и пританцовывал на месте, кистями рук изображая традиционную хореографию с веером. Кажется, он даже что-то пел, но Юки не мог расслышать его.

К обеду его попытались спустить вниз. Господин Исикава ухватил Юки за кисть и начал тянуть к полу, привстав на носочки. Однако вместо желаемого результата Исикава сам повис в воздухе, рубашка вылезла у него из-под брюк, он покраснел и неловко свалился на пол. Госпожа Кобаяси бросилась ему помогать, но он сердито отстранил её руку.

Тогда позвали Ёсиду из транспортного отдела, мужчину рослого и немного грубого. Хватит валять дурака, Мори-сан, заявил он и взял того за брючный ремень. Однако всё, что удалось сделать Ёсиде,—передвинуть Юки по потолку в сторону окна. Потом ремень порвался, и Ёсида с грохотом упал на стол госпожи Кобаяси, разломав его на части. Содержимое одного из ящиков вывалилось на пол, и все увидели несколько американских глянцевых журналов с мускулистыми неграми на обложках. Госпожа Кобаяси густо покраснела, а Ёсида стал часто-часто кланяться и что-то смущённо бормотать. Президент Тэйто крутил в руках порванный ремень Юки, одобрительно цокал языком и переглядывался с директорами.

Когда Тэйто, наконец, ушёл вместе со своей свитой, пообещав грандиозную пресс-конференцию в Токио, Исикава без лишних слов пододвинул под Юки оставшийся целый стол, сверху поставил стул, взобрался на него и оказался лицом к лицу с висевшим у потолка инженером. Да что он, старший инженер, такое себе позволяет? Что за недопустимое выпячивание индивидуальных талантов на фоне похвального единства коллектива? И почему это инновации внедрены без его, начальника отдела, ведома? Разве не на его плечи ложится вся ответственность? Что он должен рассказать совету директоров?

Юки хотел было ответить, что он сам понятия не имеет, что с ним произошло и почему; но как-то передумал и только молча кивал. К его удивлению, это устроило господина Исикаву: тот подвигал челюстью, пробурчал «Вот именно!» и слез вниз.

А потом Юки захотел писать, и выяснилось, что мужской туалет этажом ниже. И тогда Хига, молодой техник из отдела испытаний, забежавший поглазеть на летающего Юки, предложил…

…а вечером прибежала перепуганная жена и потребовала вызвать доктора. Юки, рыдала она, я так и знала, что работа в городе доконает тебя. Говорил же нам дедушка Кадзуки—уезжайте в пригород, там воздух свежее и сакура цветёт дольше; а где сакура цветёт дольше, там и жизнь счастливее… Так нет же, тебе бы всё твои чертежи, всё твои планеры, всё твои компьютеры… Куда это ты собрался лететь? Как я буду одна выплачивать ипотеку? А дети? Ты не забыл, что летом вернётся из Осаки сын, и мы все вместе должны ехать к бабушке Эри, чтобы сжигать бумажные деньги на могиле дедушки Кадзуки? Ох, Юки, сердцем я чувствовала—не доведут тебя твои вертолёты до добра; сейчас работал бы вместе со мной на заводе, как бы было хорошо! Вместе бы вставали в шесть, вместе бы приходили в девять!

Юки молча кивал и виновато поднимал глаза: по-хорошему, их следовало бы опускать, но так как он висел под потолком, то смысла в этом никакого не было. Дедушка Кадзуки тихо стоял за шкафом с чертежами и лишь изредка заговорщицки прикладывал указательный палец к губам.

В углу кабинета были сложены узлы и панели беспилотника: в обед молодой техник Хига сумел привязать их к рукам и ногам Юки, отчего тот заметно потяжелел и приобрёл, что называется, «нейтральную плавучесть»—его можно было свободно тянуть за руку, и он послушно плыл за ведомым примерно на уровне груди.

Господин Исикава долго совещался с начальником охраны и звонил президенту Тэйто; в конце концов они всё же пригласили врача из какой-то частной клиники. Это оказался живой, весь какой-то круглый мужчина лет пятидесяти, черты скуластого лица которого заставляли подозревать корейское происхождение. Он смешно задирал редкие брови, всё повторял «Ну и ну!», щупал Юки пульс и просил показать язык. Когда узнал, что Юки недавно водили в туалет, неожиданно спросил, левитировала ли моча. Обращался он при этом почему-то к госпоже Кобаяси, чем вызвал бурю возмущения жены Юки. Молодой Хига, запинаясь, ответил, что с мочой всё было в порядке, то есть он слышал, как она… опускалась, нет, падала… в общем, нормально приземлялась. Юки неловко улыбался и разводил руками. Доктор важно покивал, заметил, что зубы у пациента в целом хорошие, но нужно лучше питаться. Налицо определённое недоедание, отчего, кажется, и проистекает избыточная легковесность господина Мори. Ешьте больше мяса, Мори-сан,—рис и водоросли полезны, но не вам. Хай!

Когда совсем стемнело, жена всплеснула руками и сказала, что не знает, как же им теперь ехать в электричке домой. Господин Исикава, весь день беспрерывно отвечающий на звонки и не отходящий от Юки ни на шаг (за исключением походов… полётов в туалет: эта почётная миссия легла на плечи молодого Хиги), кашлянул и сказал, что президент Тэйто строго запретил Мори-сан покидать пределы здания. Ведь завтра утром ехать на пресс-конференцию в столицу. Да как же это так, всхлипнула жена. А вы не беспокойтесь, живо отвечал Исикава, если хотите, оставайтесь ночевать здесь, мы вам приготовим комнату отдыха и психологической разрядки, закажем еды

из китайского ресторана, здесь рядом,—отлично проведёте время! А если хотите, я сам останусь здесь с вами, закажем чайную церемонию или будем играть в го. Вы любите го?

Я не против чайной церемонии, нерешительно ответила жена, бросая взгляд на Юки. Тот ничего не сказал, только неслышно прошептал «Хай».

А потом все ушли по домам, и охрана везде погасила свет, кроме комнаты отдыха. Техник Хига честно кормил Юки едой из китайского ресторана, поднося ему кусочки свинины палочками. В конце концов Хига заснул прямо на полу, подстелив большой лист ватмана. Дедушка Кадзуки улёгся рядом с ним, свернувшись клубочком и посасывая большой палец.

А Юки ещё долго не мог спать, слушая, как жена и господин Исикава наливают друг другу чай и двигают камешки на доске. Галантный баритон Исикавы и сдержанное хихиканье жены сливались в орнамент маругику. Потолок начал натирать Юки затылок, и он, изловчившись, перевернулся лицом вверх. Его сон был на удивление сладким и беспамятным.

…рама беспилотника на редкость удачно легла на спину, а на животе ремнями закрепили аккумуляторы. Они и вес давали, и позволяли всю дорогу мигать аварийным лампочкам, которые ловко смонтировал на плечах Юки молодой техник Хига. Это чтобы вас автобусом случайно не сбило, Мори-сан, робко улыбнулся тот. На груди у Юки была застёжка, от которой спускалась вниз металлическая цепь—тонкая, но прочная. Держаться за неё и увлекать за собой Юки доверили, конечно же, Исикаве.

Сказать, что конференция имела оглушительный успех,—значило не сказать ничего. Президент Тэйто был особенно красноречив, он с искренним волнением рисовал собравшимся журналистам и учёным перспективы отрасли, намекнул на новое, гуманистическое толкование духа камикадзе, скромно упомянул ведущую роль «Тэйто Меканикс»… Исикава стоял рядом по струнке и часто вытирал пот со лба большим клетчатым платком. Сверкали вспышки фотоаппаратов, бегали операторы с видеокамерами, корреспонденты совали Юки под нос гроздья микрофонов. Но он лишь слабо улыбался, покачиваясь над сценой конференц-зала, и непрестанно повторял «Хай». Дедушка Кадзуки сидел в самом первом ряду на коленях у какого-то пожилого господина и увлечённо облизывал леденец.

Весь следующий месяц Юки возили и водили по выставкам, симпозиумам и даже закрытым бизнес-тренингам. Сам премьер-министр многократно пожимал ему руку, у него пытались брать интервью многие авторитетные издания мира (и всё—безуспешно), у него постоянно брали анализы и снимали данные эхо-кардио-энцефало-тахио-томо- и других грамм. Поначалу его таскал за собой на цепочке гордый Исикава; потом, когда выяснилось, что Исикава не в состоянии внятно объяснить, в чём именно заключается ноу-хау левитации «Тэйто Меканикс», его отстранили и присматривать за Юки поставили Хигу. Юки не возражал—ни до, ни после.

Первое время жена приходила навещать его каждый вечер, после работы. Потом она стала приходить через день; потом—по воскресеньям. Юки не возражал.

Однажды он увидел её из окна бюро: она куда-то шла с господином Исикавой, придерживая его под локоть. Юки протянул к ним руку и хотел что-то сказать, но из горла вырвалось лишь глухое и невнятное «Хай». Он растерянно оглянулся, но дедушки Кадзуки нигде не было видно.

…Хига решил немного срезать путь и пройти через городской парк Уэно. На ходу он жевал рисовую булочку, свободной рукой небрежно придерживая цепочку от Юки. За эти полгода Хига вполне свыкся с молчанием Юки и без стеснения рассказывал ему свои самые сокровенные тайны. Сегодня на полигоне предстояла серия испытаний с навесным оборудованием, в ходе которых Юки, движимый компактными реактивными моторами, должен был пролететь сквозь ряд колец и выйти к заданной точке. Ожидалась большая комиссия из головного офиса «Тэйто Меканикс» и ещё группа учёных из Токийского университета, с кафедры авиационной инженерии. Поэтому Хига вывел Юки из бюро пораньше, чтобы пешком дойти до университетского корпуса, без пробок и лишних любопытных глаз.

Был конец марта, и сакура уже начинала цвести. В тающих сумерках утра её розоватый туман стелился по ветвям зыбким весенним сном. Юки ощутил странное волнение: дедушка Кадзуки не шёл впереди Хиги, как обычно, спиною вперёд, приплясывая и строя уморительные рожицы,—а плавно перепархивал от одного дерева к другому, ненадолго задерживаясь на ветках с самыми густыми соцветиями. Он совсем как пчела, подумал удивлённо Юки. Хига не обращал на них никакого внимания, вполголоса объясняя сам себе, как здорово он продвинулся по службе последнее время, как довольна теперь его девушка, Изуми, какую квартиру в центре они собираются вскоре купить и чем обставить… И купят машину, но не какой-то там «Ниссан», а сразу «Лексус», шестицилиндровый, и непременно серебристого цвета…

А потом дедушка Кадзуки отделился от деревьев и быстро полетел вперёд. Его тщедушная фигурка с седой головой сделала круг над прудом с лотосами и опустилась на загнутый угол крыши беседки. Дедушка уселся там, болтая ногами,

и помахал Юки: дескать, тут здорово, давай сюда. Юки посмотрел на Хигу сверху вниз.

А Хига был очень занят. Он повстречал двух студенток, очевидно, спешащих на ранние пары, и с важным видом рассказывал им, что за человек летит по парку на цепочке. Одна девушка была рыженькая, а другая мелировала волосы чересполосицу: белая прядка, зелёная прядка. От удивления они закрывали рты ладошками и косились на Юки широко открытыми глазами. Хига был счастлив.

Дедушка Кадзуки призывно махал рукой; первые — нет, не лучи, только намёки солнца коснулись вершин деревьев и краёв небоскрёбов вдали. Юки снова посмотрел на Хигу, потом на светлеющее небо, потом снова на Хигу. Тёплая волна прошла по его телу. Юки медленно нащупал застёжки ремней и начал расстёгивать их. Хига не оборачивался. Юки закончил с застёжками и принялся за карабин цепочки. Освобождённые, её звенья глухо звякнули об асфальт парковой дорожки. Девушки испуганно посмотрели на Юки и начали показывать на него пальцем. Хига снисходительно улыбался и что-то успокаивающе им объяснял.

Юки медленно перевернулся и стал выбираться из-под рамы беспилотника. Девушки вскрикнули, и Хига, наконец, повернул голову. Юки выскользнул из-под рамы, и та с грохотом грянулась оземь. Хига выронил надкусанную булочку и с вытянутыми руками кинулся к Юки, но инженер уже поднялся на высоту второго этажа. Дедушка Кадзуки радостно смеялся и беззвучно хлопал в ладоши. Юки взлетал.

Снизу неслись какие-то крики, жалобные просьбы и угрозы Хиги, топот ног. Слабым весенним ветерком, лишь едва-едва подкрашенным тонким ароматом сакуры, Юки относило на восток. Судя по всему, он набирал скорость и поднимался всё быстрее. Становилось прохладнее. Это как гравитация, только наоборот, — была последняя умная мысль, что пришла ему в голову.

Кто-то взял его за руку. Дедушка Кадзуки, спокойный и серьёзный, увлекал его за собой, жестом показывая вперёд. И Юки увидел.

За частоколом едва затронутых солнцем токийских небоскрёбов, сквозь густую лазурь тумана и фиолетовую мглу смога, виднелась Фудзияма. Небо за нею начинало наливаться соком, словно бы цветы сакуры всех садов города отжали и распылили экстракт в воздухе. Лабиринт просыпающегося Токио шевелился тусклыми огоньками, солнечные искры уже поползли в зеркалах высоток, машинный гул становился всё тише и тише. В ушах Юки свистел ветер, редкие волоски на голове дедушки Кадзуки трепетали, да и сам он весь дрожал и переливался, постепенно превращаясь просто в воздух. И вот — совсем исчез.

Солнце, эта древняя богиня Аматерасу, восходило с одной стороны; величественная Фудзияма — с другой. Юки летел где-то между ними, раскинув руки и полуприкрыв глаза. Солнечный лучик коснулся его замёрзшей щеки, потом другой. В глазах защипало, и Юки открыл их. Аматерасу смотрела прямо на него, немигающим божественным взором. Он слабо улыбнулся.

— Кто ты такой? — спросила богиня.

— Я не знаю, — просто ответил Юки.

Больше никто и никогда не видел инженера Мори.

Три стороны одной пуговицы

Пролог

Январское море беснуется и плюётся. Слишком далеко до берега, чтобы брызги волн долетали сюда, но их влажное, зябкое дыхание прорывается сквозь частокол скал. Ночь тяжела, ночь наваливается сырыми тучами на остров и заставляет людей плотнее закрывать тонкие дощатые двери и подбрасывать больше поленьев в камин. Впрочем, одному, кажется, всё нипочём. Он хоть и кутается в плед, но походка его тверда и неспешна. Слабое мерцание фонаря почти не освещает тропинку в скалах, но ему и не надо: он знает все повороты, он здесь свой. Фонарь — дань традиции, не более.

Поднявшись на склон, он пересекает небольшую кипарисовую рощу и выходит к подножию храма. Ступени давно перекосились и расколоты, однако он уверенно ставит ногу. Когда-то толпы жрецов ходили здесь босиком, и царевна сбегала лёгкой поступью, спеша на свидание с рассветом Средиземноморья. Когда-то эти ступени были гладкими. Время покарало и камни, и жрецов, и только он остался наедине с Этим.

Тенью среди теней проскользнув в глубину развалин, в кромешной тьме он пробирается через несколько залов. Обходит завалы и трещины, распугивая летучих мышей. Здесь ещё холоднее, чем на берегу, потому что дневное солнце не делится теплом с руинами. Он отсчитывает шаги почти бессознательно, нащупывает нужный кирпич, давит с силой и резко отступает в сторону. Плита, на которой он только что стоял, с тяжким вздохом валится вниз, пронзая внутренности храма скрипом пыльных петель. Наконец-то фонарь что-то освещает: силуэты щербатых ступеней. Он начинает спуск, с каждым шагом сильнее ощущая Его запах. Сколько тысяч — нет, сотен тысяч раз он проходил здесь, а мурашки на спине опять… нет, он не может справиться с собой. Ничего, слабо улыбается он, это пустяки. Это всего лишь древний рефлекс, как дрожь от холода или вздрагивание руки от подкравшегося огонька спички.

Он уже внизу и идёт вперёд. Тяжёлые слова заклинания падают с губ, не находя в кромешной

темноте эха. Он почти расслабился и ждёт встречи. Повороты сменяют друг друга, входы и выходы похожи, как близнецы, звук его шагов глух. Пахнет пылью, затхлой водой и хлевом. Запах Этого уже повсюду, он мешает вспомнить, что наверху есть море и солёный ветер.

Он прошёл достаточно далеко и понимает: Это здесь. Словно услышав его мысли (пожалуй, Оно их слышит… немного, ведь заклинание почти полностью скрывает его от ненавидящего взора), где-то вдалеке звякает цепь. Потом он слышит металлический лязг совсем близко, и совсем далеко, и в стороне. Подземелье зашевелилось, и чугунные нити пробуют себя на прочность. Дуновение затхлого воздуха, шуршание—и волосы его встают дыбом. Он покорно ждёт, он привык. Совсем рядом проходит массивное тело, обдавая его смрадным дыханием. Под копытом хрустит песок. Но фонарь снова бессилен—он лишь рисует тени на его лице, не достигая стен. В какой-то момент ему кажется, что Оно ворочается слева, но голос раздаётся сзади:

—Когда?..

Быть может, это и не голос вовсе: он похож на басовую фугу органа, пропущенную через оружейное жерло, тревожащую внутренности и свербящую мозг. В который раз он думает, что лишь один он умеет слышать Это, и сожалеет об этом. С тех пор, как они двое оказались заперты в этом мире, чужом для них обоих, он постоянно о чём-то сожалел. В разные века о разном.

—Скоро.

Голос нарастает, вибрируя на грани воя и грохота:

—Когда же?!

Он невольно содрогается, но берёт себя в руки и позволяет себе улыбнуться: увидь кто-то из ныне живущих эту улыбку, непременно испугался бы.

—Я уже нашёл остальных покупателей… Думаю, что в этот раз ошибки не будет. Они те, что нужно. Тебе осталось совсем немного, ты, тварь.

Он говорит эти слова совершенно спокойно: в его устах это определение, а не ругательство. Ответ не заставляет себя ждать: безудержный смех—или плач?—сотрясает подземелье горной лавиной.

—Когда я освобожусь, тебя накажут, человек. Ты знаешь это, смертный, который не умирает?

Он пожимает плечами: всё это обсуждалось многократно. Мольбы, угрозы, даже дружеские беседы—всё было исчерпано много веков назад и пережило циклы повторения. Порой ему казалось, что у Этого просто девичья память. Но легче ему от этого не становилось.

—Мне не место здесь…—Оно издаёт полустон, полурычание,—ты будешь наказан, наказан… Ты принёс мне еды? Я голоден!

Он молча извлекает из-под пледа свёрток, разворачивает его, бросает содержимое на каменный пол. В короткое мгновение своего торжества хилый фонарь освещает край потрёпанной книги. Оно утробно взвизгивает и набрасывается на пищу. Слышен треск разрываемых страниц. Он стоит безучастно, не пытаясь разглядеть хоть что-то во тьме: знает, что бесполезно. Оно поглощает всё, что написано, как поглотило бы и его самого, вместе со всеми его помыслами и памятью,—если бы не заклинание.

Наконец, Оно заканчивает. Прямо перед своим лицом он слышит хриплый шёпот, как если бы шептать умел паровой котёл:

—Этого мало… ты всегда приносишь мало, человек… Почему?!

Некоторое время он не отвечает: посторонний мог бы подумать, что он издевается над Этим. Однако всё проще: ему уже наплевать. Вскоре всё это закончится, и он сможет вернуться. Он отстоял эту вахту и перестал гневаться на Них ещё тысячелетие назад. Или раньше—он не помнил. Звёзды завершили своё схождение, и пророчество осуществляется неотвратимо. Оно не ведает времени, Оно ошибается: он уже наказан. И теперь просто хочет домой. Мысли его блуждают, рука с фонарём опускается всё ниже. Оно разгневано его безразличием: не в силах причинить ему вред, Оно с рёвом бросается на стену и проламывает лбом древнюю кладку.

—До завтра, тварь,—тихо произносит он, разворачивается и шагает обратно.

—Будь ты проклят, Дедал! Будь ты проклят! Проклят…—раздаётся ему в спину трубное рокотание, и грохот не умолкает, пока он не покидает пределы лабиринта.

Первая сторона

Фитцгилбер всегда пил кофе с мороженым: этому его научил один французский коммерсант, иногда промышлявший контрабандой. Каждое утро он посылал кухарку на угол Оксфорд и Риджентстрит, где продавались стеклянные стаканчики с чудесным пломбиром. Однако эспрессо варил исключительно сам, не доверяя тонкое искусство прислуге.

Терпкая, горячая горечь взбодрила мозги, а холод глясе, как всегда, служил вызовом погоде: промозглый дождь лил всю ночь и, судя по всему, не собирался останавливаться. Утро он не делил ни с кем: только камин, горячий кофе и газета. Дворецкий вошёл неслышно, поставил на столик поднос с омлетом (тонкие струйки пара, нежная корочка) и чинно удалился. Фитцгилбер умел подбирать аккуратных и молчаливых людей в своём окружении.

Первые страницы «Морнинг кроникл» он пролистал рассеянно, скользя взглядом по заголовкам; чуть задержался на новости о последних биллях Торговой палаты—они могли сказаться на сбыте

антиквариата, но лишь к весне; с презрением прочёл короткую заметку с названием «Счастливчик Фитцгилбер скупает золото Короны», где был выставлен алчным дельцом, бессовестно обманывающим правительство (и где очередной газетный писака допустил минимум три ошибки в экономических определениях); на разделе объявлений остановился подробно. Продавали две вазы династии Сун — опытным взглядом он распознал перекупщиков (это были бельгийцы: ловкачи, каких мало) и двинулся дальше; несколько египетских безделушек требовали проверки и сейчас его не интересовали; коллекционный сервиз богемского стекла с библейскими инкрустациями мог быть стоящим, он уже потянулся за карандашом, чтобы сделать пометки в блокноте, как увидел её. Маленькая фотография в нижнем углу страницы, между жирной колонкой о наборе рекрутов в Пакистан и карикатурой на спикера палаты общин. Он замер, потом закрыл глаза и открыл их снова: ничего не изменилось.

Рисунок падшего ангела, разрывающего оковы бытия, девиз на греческом «Познай самого себя», по окружности бежит античный узор — и всё это на пуговице с одной маленькой дыркой в центре. Дырка целомудренно исключала бы из обзора причинное место ангела, будь у того признаки мужественности. Фитцгилбер резко отставил чашку с кофе, облив при этом пальцы, чертыхнулся, вскочил, вытер пальцы салфеткой и нетерпеливо позвонил в колокольчик. Дворецкий, сухой и длинный, как палка, материализовался в дверях, словно бы поджидал снаружи.

— Сэр?

Фитцгилбер наскоро написал записку на листке из блокнота, сложил вдвое и протянул дворецкому:

— Да, Патрик… пошли-ка курьера на… Мейденлейн, тридцать семь, там есть антикварная лавка Ольсена. Пусть передаст ему это. Срочно! Пусть скажет, я жду ответа немедленно. Денег не жалей, дай курьеру соверен. Нет, дай три.

— Три соверена, сэр? — дворецкий лишь слегка приподнял седеющие брови.

— Да, ты прав, это может вызвать лишние пересуды… Соверен сейчас и ещё один получит, если обернётся за полчаса.

— Слушаюсь, сэр.

Дворецкий растворился. Фитцгилбер кинулся к полкам с книгами, отыскал «Вест-Индский каталог нумизматики», открыл раздел «Прочее», начал листать. Вот же она: всё точно, ошибки нет. Рисунок на пуговице совпадал до последней чёрточки, надпись в каталоге гласила: «Пуговица ритуальных одежд жрецов крито-микенской цивилизации. Бронза. Ориентировочно XVI–XVII вв. до н. э. Несколько подлинных экземпляров утеряны вместе с грузом антиквариата на бриге «Мария Селеста» при невыясненных обстоятельствах».

Фитцгилбер нервно ходил по кабинету, заложив руки за спину. Любой коллекционер на его месте заподозрил бы подделку — уж слишком невероятной была находка; но у него насчёт своей интуиции имелось твёрдое убеждение. Твёрдость его выражалась весомыми аргументами: собственный дом в центре Лондона, поместье в Челси, состояние в несколько десятков миллионов фунтов-стерлингов и личный музей на Уитком-стрит, некоторым экспозициям которого позавидовал бы Лувр (он и завидовал: не далее как вчера Фитцгилбер написал два вежливых отказа французам на просьбы продать серию статуэток майя), — всё это не украдено, но… тут Фитцгилбер на мгновение задумался. Нет, не украдено; но было ли соревнование честным, джентльменским?

С детства он верил в свою счастливую звезду, и она никогда не разочаровывала его: и когда пятилетним мальчишкой свалился в колодец у тётушки Мэри и остался жив; и когда в колледже рухнули строительные леса, а его лишь обрызгало краской; и когда на бирже он каким-то непостижимым способом угадывал нужные лоты. Пожалуй, он не видел будущее; однако же почти всегда знал, куда *не* стоит идти. Объявление в газете виделось ему прозрачным алмазом, в его подлинность он поверил сразу. Эти пуговицы — лишь небольшая часть легендарного клада, сокровища, о котором он мечтал ещё мальчишкой. Отец рассказывал ему страшные истории про покинутый корабль-призрак; уже тогда маленький Джон был влюблён в старинные вещи и любил проводить время на чердаке их скромного дома, того, старого, на окраинном берегу Темзы: перебирал старые дедушкины письма, отпаривал марки с конвертов и терпеливо сушил их, пытался самостоятельно починить разбитые карманные часы. С десяток тех марок он отнёс старику-еврею в соседней прачечной: тот слыл коллекционером всякого старья. Старик долго разглядывал марки под лупой, поджимал губы, кряхтел; потом очень серьёзно предложил Джону полгинеи. Это было целое состояние для мальчишки, и Джон согласился, пылая от радости. Позже Фитцгилбер узнал, что среди марок было несколько «Чёрных пенни» и «Красных пенни», на аукционах их продавали по триста-пятьсот фунтов за штуку. Старый еврей обманул его; но удача — нет. Когда Фитцгилбер осознал свой талант (когда точно? Пожалуй, после экзамена в Кембридже, когда он выучил как следует лишь один билет — тот, который вытянул), деньги перестали быть для него проблемой.

Но эти пуговицы — иное дело. Это было детской мечтой, сказкой; за них он не пожалел бы и состояния. Если Ольсен не обманщик и он купит эту пуговицу, его коллекция будет практически совершенна. Разумеется, она не так грандиозна, как у старейших музеев мира, он не заблуждался

на этот счёт — но важно другое: он собрал у себя самые спорные, самые таинственные артефакты богоборческой тематики, окружённые гроздью легенд и прошедшие в веках через цепь самых невероятных, часто кровавых приключений. Критская пуговица с «Марии Селесты» могла бы стать венцом, короной музея Фитцгилбера.

Он перестал ходить по комнате, подошёл к окну. Редкие, беспорядочные капли швыряло порывами ветра в стекло; прохожие, лошади, кэбы и лужи составляли русло одной грязной реки, струящейся по направлению к Уайт-холлу.

В прихожей раздался шум и голоса. Фитцгилбер сдержал себя от порыва сбежать вниз с расспросами: если это очередная подделка, он не выдаст своего разочарования.

Дворецкий вошёл, как всегда, не спеша.

— Сэр, мистер Ольсен передал вместе с курьером записку. Прочтёте сами?

— Нет, отчего же, читай ты, — ответил Фитцгилбер как можно спокойнее.

Дворецкий прокашлялся:

— Здесь написано, сэр: «Диаметр два дюйма с четвертью, толщина по краю — две линии, точный вес — половина унции. Сохранилась хорошо, рисунок отчётливый, не погнута. Дополнительное кернение заметно на греческих буквах «омега» и «лямбда». Готов составить сопроводительный документ, но требуется ваше личное присутствие». И подпись, сэр.

Фитцгилбер ощутил беспокойное покалывание у корней волос — как это бывало всегда, когда крупная, невероятная удача шла к нему в руки.

— Прикажите подать карету, Патрик. И немедленно пошлите в банк за поверенным, пусть дадут Фергюссона, ему я доверяю. А лучше съездите в банк сами. Скажите, буду ждать его через час на Мейден-лейн.

— Слушаюсь, сэр.

Фитцгилбер посмотрел на чашку с кофе: мороженое давно растаяло и плавало на поверхности молочными разводами. В их очертаниях Фитцгилберу померещился крылатый ангел с рогами.

Вторая сторона

Надо признать, голос был чертовски обворожительным. И у голоса был запах — да, такой, бьющий в самые чувствительные девические воспоминания: чуть-чуть ментоловых сигарет, чуть-чуть терпкого одеколона (не дорогого, нет, но именно того, отцовского), немного накрахмаленной рубашки и кожи ремня. Хорош, подумала она с уважением, хорош.

— Настэлла… чем бы всё это ни закончилось, нам стоит встретиться.

— Неужели?

— У нас слишком много общего, чтобы вот так просто взять и расстаться. Постой, постой, я вижу… тайский ресторан? Да, тайский ресторан. Настэлла?

Подлец, опять попал в точку. Впрочем, не он первый, не он последний. Сжав зубы, она отвела его призрачные руки, протянутые к её талии. Он галантно улыбнулся и попытался прибавить интимной полутьмы. Ей стало некомфортно перебирать комбинации в сумерках, и она решительно перевела его в циклический стек. Он состроил трагическую гримасу, поник головой. Ай-ай, бедняжка. Свет вернулся, исчез манящий запах. Вторая волна блокираторов приближалась, нужно было поторопиться. Она на секунду задумалась, потом перевернула картинку и инвертировала стереограмму. Вот, так намного лучше. На периферии сознания замигала иконка предупреждения — пришло письмо, и судя по цвету — в разделе «Приват». Кто бы это мог быть… Впрочем, подождёт.

Расправившись с последним гигабитным замком, Настя подала напряжение на виртуальные шлюзы сейфа. Пошёл отсчёт полной реструктуризации защитных систем. Демон-обворожитель, уже полчаса морочащий ей голову, беззвучно молил о пощаде под колпаком стека, слёзы блестели на его глазах. Мастерски сделано, восхитилась она. Нужно навести справки, кто же автор. Конечно, программисты — в основном скучнейшие «ботаники», но так тонко подкатить к ней, сыграв на глубинных женских слабостях… Она хихикнула: может, и правда, тайский ресторан?

Красные цифры обратного отсчёта неумолимо приближались к нулю. Демон рванул рубашку на мускулистой груди и прокричал что-то яростное и отчаянное… ну, это, пожалуй, всё же немного чересчур. Вспыхнул виртуальный взрыв, покосились ворота периметра, пошла трещинами стена хранилища. Запоздавшие блокираторы слепо тыкались друг в друга, уже не видя заданной цели. Сейф оплывал дискретными текстурами, обнажалось содержимое. Ещё пара секунд — и дело сделано.

Настя мгновенно создала себе пять «умных» рук и рассовала содержимое сейфа по карманам. Запустила модуль чистки, огляделась последний раз — демон был ещё жив и с ненавистью указывал на неё окровавленным пальцем; она послала ему воздушный поцелуй и дала отбой. Ничего личного, милый!

…и реактивные облака идут в малиновое пике, и — ура! — не счесть числа разбитых чашек чая… что же это… вот же они, облака, но никакой малины… Настенька, Настенька, вставай, пора в школу… я уже взрослая, мама… Мама?

Она окончательно очнулась от когнитивного похмелья, потянулась, отлепила со лба конфетти виртуального брэйн-проектора (он делал бы её похожей на индианку, если бы не причёска), скомандовала «свет» и «ионизатор». Бросила взгляд на голографический рабочий стол — отряд её «умных

рук» завершал сортировку кодовых ключей и рассылал их клиентам. На втором экране медленно, но неуклонно пополнялся её личный банковский счёт. Сегодня администрация Гонконгского Банка Реконструкции будет неприятно удивлена сбоем в системе безопасности, который, впрочем, будет быстро—за две-три минуты—нейтрализован. И банк продолжит работу. Только под внимательным присмотром каких-то очень дотошных джентльменов, которых Настя знать не знала. И не собиралась знакомиться.

Она встала с татами (когда блуждаешь в дебрях чужой виртуальности, лучше лежать: разбитые при падении с кресла носы и вывихнутые предплечья были пройденным этапом), подошла к иллюминатору. Флайер огибал по западному побережью Исландию, и она полюбовалась на ледник Снайфелс-йёкюдль. Когда-нибудь—может, к старости?—она купит дом с видом вот на такую дикую ледяную красоту, удалит из головы все чипы, разведёт костёр у подножия вулкана и сожжёт их все, вместе с кучей дорогостоящих лэптопов… Когда-нибудь она это сделает, да… А демон был хорош… Она уже собралась запросить досье на стафф программистов гбр, как вспомнила про письмо.

— Открыть почту.

«Уважаемая мисс Томм! Не беспокойте себя вопросами, как я узнал ваш почтовый адрес. Я не причиню вам вреда и никому не передам эти сведения. Но в ваш век на слово не верят, и это правильно: поэтому сразу к делу. Вы, должно быть, слышали о так называемом парадоксе криптологии? Уверен, слышали. Универсальный Ключ является бесконечно сложным и не может быть вычислен рациональным числом конгломерата машин Тьюринга… и так далее. И это правда, мисс Томм: вычислить его нельзя. Но найти случайно—пожалуйста, теория это не запрещает. Что, если я предложу вам этот Ключ? Не спрашивайте, откуда и как: просто взгляните на картинку. Если вам о чём-то говорит этот лабиринт, пуговицу я вам продам. Будьте в девять вечера в антикварной лавке Ламонда, Париж, улица Божоле, и я расскажу вам условия сделки. Ваш Д.

P. S. Фотографию я разрезал пополам ради сохранения интриги и своей коммерческой выгоды: вы оцените этот тонкий комплимент вашим талантам».

На фотографии—старинная чёрно-белая плоская картинка—виднелся полукруг, исчерченный спиралевидными узорами неправильной формы; на прямой стороне обрезка была выемка: очевидно, отверстие в пуговице. Глаза Насти потеряли осмысленное выражение, дыхание почти остановилось: она вошла в Лабиринт. Никто в мире не мог разгадывать головоломки и раскалывать сложнейшие шифровальные системы так, как умела это Анастасия Томм. И сейчас, стоя в ультрасовременном салоне мчащегося над вулканами со скоростью три Маха частного флайера, она пировала: все эти многобитные кодировки, скрытые цифровые замки и капканы, эвристические методики—всё это было постной пищей для её гиперчувствительного разума. Ей было скучно, просто скучно. Годами она коллекционировала старинные головоломки, наслаждаясь прелестью и нехитрым обаянием китайских, вавилонских, тамильских криптологов. Она решала их за секунды, иногда—минуты; но ещё ни одна шифровка не сопротивлялась ей дольше получаса. А вот эта… она пока не понимала, *что* это такое, но степень глубины смысла была настолько выше всего встреченного раньше, что Настя едва не застонала от предвкушения победы… или поражения? А что, если этот Лабиринт ей не по зубам?

Конечно же, без второй половины картинки ничего не решить. Значит—в Париж! Правда, встают два важных вопроса. Первый—кто такой, чёрт возьми, этот Д.? Он взломал её почту—это ерунда, она никогда не хранила там по-настоящему ценных документов. А вот как он вообще узнал о существовании этой почты? Ну да ладно, вот и спросим при встрече. Если он хотя бы наполовину столь же обходителен, как тот демон из Гонконга, может получиться забавный вечер. Да…

Второй же вопрос был куда серьёзнее: она летит в Париж, а ей совершенно нечего надеть!

Три стороны

Она входит почти сразу же вслед за ним, заставляя его обернуться: платье до пола с шёлковым тиснением, утянуто на талии так, что он не понимает, как она дышит. Её плечи безупречны, вырез глубок, но глаза… глаза ещё глубже. Её глаза… И волосы… Волосы прихвачены гребнем сверху и спадают на спину каштановым водопадом. Он берёт себя в руки и сдержанно кланяется: она окидывает его беглым взглядом и не отвечает. Он скорее удивлён её манерами, чем рассержен: благородство её лица не вызывает никаких сомнений. Она проходит вглубь лавки, рассеянно рассматривает безделушки на витринах, берёт в руки нечто бесформенное, составленное из обрывков верёвок и деревянных брусочков. Смотрит на вещь туманным взглядом, затем быстро переворачивает игрушку, развязывает какие-то узелки, разъединяет и соединяет деревяшки—и вот в руках у неё трёхмачтовый корвет. Он поражён и смотрит на неё во все глаза. Она усмехается странной усмешкой и присаживается на тяжёлый стул у конторки, подбирая оборки кринолина.

Входит Ольсен: плотный, коренастый швед лет пятидесяти, рыжий и веснушчатый, на носу нелепое пенсне.

На лестнице в подвальчик Ламонда её опережает подтянутый моложавый человек, одетый

несколько старомодно: джинсовый костюм и карбонитовые кроссовки. Он оглядывается, задерживает на ней взгляд и как-то неловко кланяется. Похоже, ты произвела на него впечатление, детка, усмехается она, отворачиваясь: усмехается, впрочем, не без удовольствия. Конечно, мини-юбка слишком дерзкая даже для неё, да и шпильки высоковаты… но какого чёрта, она не каждый день бывает в Париже. Поправочка: не каждый месяц, дорогуша… Ей часто говорили, что такие ноги сулят большое будущее: все ошибались. Зарабатывала она головой. Но кто-то же должен на эти ноги иногда смотреть?

Ну, что у нас тут? Старьё, старьё, старьё… а, вот милая головоломка, кораблик. Краем глаза она подмечает внимание вошедшего вместе с ней мужчины. Один из клиентов Ламонда? Агент-перекупщик? Лицо хорошее, открытое. На запястье какие-то совсем уж немыслимые старинные часы — кажется, настоящее золото. Возможно, он богат.

В отражении запылённой витрины она видит себя: легкомысленный топик, расчётливо сползающий с одного плеча, пятно синей помады, короткий ёжик тёмных волос. Она мысленно представляет себя рядом с ним: никаких внутренних возражений. Хм…

Шаркая ногами, входит Ламонд, сгорбленный тощий старик с лысиной в старческих пятнах, вместо правого глаза поблёскивает протез совмещённой 3д-реальности.

Дедал входит не спеша и пристально оглядывает обоих. Фитцгилбер… в нём чувствуется сила, немного разбойничья, азартная, но не злая; Томм… она гораздо глубже, чем пытается казаться, умна, и красива, бесспорно… Каждый из них одет в соответствии с обычаями своей эпохи, но для него это не имеет значения: он смотрит внутрь. Для Фитцгилбера он — Ольсен, для девушки он — Ламонд. А кто ты такой для самого себя? Эта мысль возбуждает в нём давно позабытую, истоптанную столетиями печаль. Ты, мастер на все руки, великий инженер, великий лицемер, погубивший собственного сына своим непокорством. Твой первый сын сгорел, трое последующих разбились… прочие просто умерли от старости, не дождавшись, когда же их отец состарится. Сегодня всё это закончится, когда он солжёт в последний раз.

Он долго сидел на берегу истории с закинутой сетью, перебирая чужие судьбы в поисках нужных ингредиентов. Он испил чашу тюремщика до дна и даже надкусил края: сегодня Тварь выйдет на свободу. Успеет ли он избежать встречи с Этим, хватит ли у него сил покинуть этот мир? Посмотрим.

— Мистер Фитцгилбер, мисс Томм, Георгий Дедалопулос к вашим услугам. Можете считать, что это моё настоящее имя. Господа, прошу за мной в кабинет, — спокойно произносит он, щуря больной правый глаз, когда-то выжженный яростным Солнцем.

— Господа? — удивлённо поднимает бровь Фитцгилбер. — Разве у нас аукцион? Я полагал, что являюсь единственным покупателем. Или вы отменяете сделку?

— Да, именно, — Томм поднимается со стула, — с каких это пор нас двое?

Они смотрят друг на друга с напряжением и затаённым интересом; похоже, между ними что-то возникает. Какая теперь ему разница…

— Успокойтесь, господа, — он примирительно поднимает ладонь, — все наши договорённости в силе. Пуговица будет продана каждому из вас, разумеется. Немного терпения, хорошо? Здесь, в Афинах, не принято обманывать благородных людей. Пройдёмте.

Фитцгилбер слышит «в этом районе Лондона», девушка — «в нашем парижском филиале»; они полны подозрений, конечно же, но следуют за ним: их влечёт и тайна, и зарождающееся чувство. Вот и отлично.

— Мой поверенный, — Фитцгилбер вдруг что-то вспоминает, — сейчас сюда придёт мой банковский агент…

— Я попрошу боя проводить его к нам, — хладнокровно лжёт Дедал: у него здесь нет никакого боя.

Фитцгилбер, по-видимому, удовлетворяется таким ответом; Томм пожимает плечами — в её век уже давно нет никаких поверенных.

Он отпирает длинным ключом тяжёлую дверь, обитую железом: перед ними открывается тёмный коридор, освещённый чадящими толстыми свечами (каждый из них видит его по-своему). Когда они, все трое, делают первые шаги по пыльному каменному полу, их пробирает дрожь; когда Дедал со скрипом прикрывает за ними дверь, они больше не в Афинах. Их влечёт неумолимым течением, на границе света и тьмы, и каждый не в силах промолвить ни слова. Наконец, движение прекращается, и они оказываются, казалось бы, перед той же самой дверью. Дедал отпирает её обратной стороной ключа, и в коридор врывается запах моря. Они на Крите — когда? Этого он не знает.

— Что за шуточки у вас, мистер Дедалопулос? — холодно произносит Фитцгилбер.

— Пуговица в подземелье, — Дедал делает приглашающий жест, — это недалеко и совершенно безопасно.

Они идут знакомой ему тропой: на этот раз закатное солнце помогает им не споткнуться. Дедал замечает, что женщина инстинктивно жмётся поближе к Фитцгилберу. Они оба упрямы и совсем не трусы: он понимает это и идёт вперёд не оглядываясь. В руинах он зажигает фонарь, припрятанный им вчера в щели между камнями.

Плита со всхлипом уходит вниз, Дедал начинает спускаться по лестнице; напряжённое дыхание Фитцгилбера и стук её каблуков слышатся позади.
— Это ведь... критский Лабиринт? — еле слышно вопрошает она.
— Всё так, мисс Томм, — мягко соглашается Дедал, — но бояться нечего: я хорошо знаю здешние места.

Фитцгилбер молчит.

Наконец, они на месте. Через расположенные высоко бойницы подвала пробиваются слабые лучи заходящего солнца: в серо-розовом свете руины выглядят просто брошенной каменоломней. Дедала лихорадит, но он не показывает волнения. Неужели они не чувствуют Его запах?
— Здесь что, был кондитерский цех? — вполголоса спрашивает Фитцгилбер. — Я слышу аромат патоки... и шоколада, кажется.
— А по-моему, пахнет озоном, — зябко поводит голыми плечами девушка, — здесь какая-то подстанция?

Ах, вот значит как... Каждому — своё.

Дедал подводит их к треугольному столу, больше похожему на небольшую тумбу или постамент. Приглашает их встать у двух вершин; сам занимает третью.
— Я смотрю, мистер Дедалопулос, вы любитель театральных представлений, — уже нетерпеливо произносит Фитцгилбер, — к чему всё это?
— Мне здесь не нравится, — объявляет Томм, — давайте закругляться. У меня не ловит Сеть, я отбила палец ноги на этой чудесной лестнице, и я до сих пор не услышала от вас, Дедапопу... Деладо... как вас там, ни слова об условиях сделки.
— Тогда слушайте, — смиренно наклоняет голову Дедал, — вот мои условия. Мне не нужны ни ваши деньги, мистер Фитцгилбер, ни ваши, мисс. Однако у вас обоих есть нечто, что я готов принять в оплату за свой товар. А именно, ваши врождённые таланты, господа.
— Да ну? — фыркает Томм и, лишь слегка наклонившись к Фитцгилберу, шепчет отчётливо: — По-моему, нас дурачат.
— Я всё же надеюсь, что нам повезёт, — в тон ей отвечает тот странным тоном, выразительно глядя на Дедала, — продолжайте же, Дедалопулос, не берите трагических пауз, право.
— Итак, мистер Фитцгилбер, готовы ли вы расстаться со своей интуицией и вечным везением? А вы, мисс Томм, со своей способностью разгадывать загадки и... распутывать верёвки?

Как только он произносит эти слова, в дальнем конце подвала слышится звон цепей. Глухой стон разносится по Лабиринту, огонёк фонаря колеблется и моргает. Фитцгилбер и Томм смотрят на Дедала не отрываясь.
— Да кто вы такой, мистер? — осторожно начинает Фитцгилбер, ощущая лёгкую вибрацию пола. Томм хочет сделать шаг назад от каменного стола и вдруг понимает, что не может. Ступни словно вмурованы в древние плиты.
— Я тот, кто построил этот Лабиринт, — честно признаётся Дедал, — и тот, кто обманом заманил вас сюда... впрочем, я не лгал по поводу сделки. Я просто не всё вам рассказал.
— И о чём же вы умолчали? — брови Фитцгилбера хмурятся, чья-то тяжёлая поступь всё ближе.
— Ну... — пожимает плечами Дедал, — скажем так: от вас не требуется согласие, господа. Пленник этих мест уже рядом, и сделка состоится в любом случае. Прошу меня простить за эту... маленькую подлость; а впрочем, как вам угодно.

Фитцгилбер тоже дёргается в попытке сдвинуться с места и с ужасом ощущает чугунную недвижимость ног.
— Мерзавец! — цедит он сквозь зубы, стараясь дотянуться до горла Дедала: но каменная тумба построена как раз с расчётом на длину человеческих рук.
— Здесь ничего не работает... — Томм судорожно перебирает в уме все номера экстренных служб, все её потайные сигналы, срывает мини-шокер с подвязки на бедре, направляет его на Дедала, но... аппарат не подаёт признаков жизни. Все приборы и устройства, которыми вдоволь напичкано её тело, безмолвствуют.
— Да, господа, вас принесут в жертву, — голос Дедала возвышается, — но и я пойду на корм Ему. Я был мастером на все руки, но взамен мне обещано нечто иное. Разве вы не знали, что у этой пуговицы три стороны? В вашем плоском мире до такого трудно додуматься, я понимаю... Кто-то должен быть третьим — и это я. Такова цена свободы, мистер Фитцгилбер; разве вы не хотите вновь стать свободной, мисс Томм, вновь ощущать прелесть тайн и маленьких загадок, удивляться им? Вам не надоело быть женщиной-вундеркиндом?

Оно уже здесь: Дедал слышит его хриплое дыхание возле уха.
— Ну вот и расплата, человек, — рёв-шёпот быка стелется по каменным закоулкам строения, — я заберу то, что моё по праву, что было отобрано Ими! Не тобой, человечишка, не тобой...

Оно топчет стальными копытами мягкий гранит, крошит его в пыль, Оно торжествует.
— Господи, — бормочет Фитцгилбер в оцепенении, — вы его видите? Вы видите Ангела?
— Я вижу Лабиринт! — восклицает Настя, позабыв обо всём на свете, — я вижу его целиком! Я понимаю его!
— Ведь у него и правда рога, бог ты мой, кто бы мог подумать, что это правда! Дедалопулос, чёрт побери, что вы такое делаете?

Дедал тянет свою руку вперёд, к центру каменной тумбы; Фитцгилбер и Томм делают то же самое, не в силах сопротивляться этому рефлекторному движению. Их ладони накладываются одна на

другую точно по центру, и в небольшом углублении гранитного массива они видят пуговицу: каждый — свою сторону. Перед глазами Дедала — древний критский петроглиф доахейских времён, означающий «Корабль».
— Так вот оно что! — кричит он, осенённый страшным открытием, — тебе не нужно моё мастерство, тварь, тебе нужно моё судно!
— Оно — моё! — грохочет Оно, становясь всё плотнее и плотнее, обретая свой истинный вес и размеры. И произносит то Слово, которое известно лишь ему одному.

Нестерпимо яркая вспышка затмевает и свет, и тень; плиты под ногами Фитцгилбера шевелятся, он чувствует, что падает спиной назад; в резком броске он переворачивается и старается поймать Настю. Они приземляются на краю глубокого котлована, куда с грохотом ссыпаются обломки Лабиринта. Он видит на самом дне чудовищной ямы нечто, отдалённо напоминающее вертикально поставленный пароход, прошитый вдоль острых рёбер золотыми заклёпками; она видит на этом месте полупрозрачный шаттл, в носовом отсеке которого бешено вращаются три шаровые молнии. Но и он, и она видят одну и ту же картину прежде, чем их накрывает ударной волной: нелепо изогнувшись, с перекошенным лицом, бежит по направлению к челноку человек в греческой тунике; а за ним, взрывая блестящими копытами каменное крошево, мчится галопом гигантский бык гротескных пропорций, с крыльями в серебряной упряжи… Мгновение спустя всё исчезает во тьме, и они теряют сознание.

Эпилог

— Сэр! Вы британец, сэр?

Кто-то хлещет его по щекам, в рот пытаются налить виски. Он закашливается, открывает глаза.
— Где я…
— Очнулся, кажись… Сержант Файнс, быстро машину сюда. Вроде наш, хотя одет как-то чудно.
— А что за баба?
— Да чёрт её разберёт: может, шлюха какая, а может, певичка из театра… ты видел её туфли?
— Эй, парни, хорош болтать! Грузите их в кузов, и делаем ноги! «Юнкерсы» на подлёте…

Он с трудом поднимает голову, пытается сесть. Чья-то рука властно, но мягко прижимает его к земле:
— Лежи, голубчик, у тебя вся башка в крови. Дама-то твоя вроде цела, только в шоке; а вот тебя надо в лазарет. Машину, машину давай, ближе!

Наконец он видит её. Она в полном сознании, глаза её дики, платье превратилось в неопрятные лохмотья. Она остервенело вцепилась в какую-то тряпку и напряжённо перебирает пальцами.
— Что ты делаешь? — язык слушается его с трудом. — Где эти двое, из Лабиринта?

Она поднимает на него глаза, полные слёз:
— Я не могу… я не могу развязать узелок.
— Это морской узел, мэм, — снисходительно замечает рядовой, стоящий рядом с грузовиком, — штатский хрен развяжет.

Она смеётся диким, хриплым смехом, потом умолкает. Он начинает понимать. У него разбита голова… просто чёртов камень неудачно упал ему на голову.
— Самое смешное, — говорит она медленно, улыбаясь почти нормально, — что сделка состоялась. Я получила Ключ.
— Получила… что?
— Ключ! Ключ с большой буквы! Отмычку отмычек! Властелин замков! — она хихикает. — Но знаешь что, Фист… Фитц… прости, нас забыли представить…
— Джон, — он смотрит ей прямо в глаза.
— А я Настя. Я вообще-то русская. Так вот, Джон, Ключ отпечатался у меня в голове — но применить я его не могу. Я утратила все навыки… А ты? Ты получил своё?

В это время трое британских рядовых подхватывают их под руки и начинают грузить в кузов грузовика. Где-то далеко разрастается вибрирующий гул, незнакомый Фитцгилберу и почти уже забытый Анастасией Томм, дитём двадцать второго века. Вслед за этим раздаётся дробный, хлопающий стук — это работают двадцатимиллиметровые зенитки береговой охраны.

Когда солдат подхватывает Фитцгилбера под мышки и тащит, что-то врезается ему в кожу. Уже полулёжа в кузове старенького «Рено», он нащупывает в кармане что-то твёрдое. Дотягивается ослабевшей рукой, извлекает бронзовый диск. Вертит его и так, и этак. Ухмыляется, протягивает его Насте. Тем временем грузовик трогается.
— Посмотри… у неё всего одна сторона. Видишь ангела? Он с обеих сторон один и тот же… как тебе объяснить: это не копия другой стороны, а просто *одна* сторона!
— Да, я вижу, — тихо соглашается она, — Лабиринт и там, и там. И он только один… И я как будто в нём, но мои руки меня не слушаются.
— Послушайте, любезный, — морщась от шума в голове, обращается Фитцгилбер к раскачивающемуся рядом на скамейке сержанту, — мы где?
— Какой же я тебе любезный, — качает головой сержант, — мы на Крите, известное дело. Ни черта не помнишь, да? И что за акцент у тебя — ты, может, профессор какой? Или ирландец?
— Да, — легко соглашается Фитцгилбер и смотрит на Настю.
— Давай пока не будем спрашивать, *когда* мы, — тихо произносит она.

Он кивает головой и снимает пиджак, чтобы укрыть ей плечи.

Вдалеке гулко бабахает, стучат пулемёты. Десантная дивизия генерала Штудента при поддержке «Люфтваффе» высаживается на аэродроме Малеме. До официальной сдачи острова Крит британским командованием остаётся десять дней. Далеко за орбитой Плутона мчится сквозь звёздную изморозь странный корабль с одиноким пассажиром на борту. Взгляд его безумен, а лик страшен. Теперь он точно знает, *когда* он… но понятия не имеет, *где*.

Кто вы, мистер Шульман?

Пригород Варшавы, городок Зомбки, весьма недалёкое будущее.

«Если долго сидеть на берегу реки, в конце концов мимо проплывёт труп врага…» Утром Дэн поставил этот афоризм Сунь Цзы своим статусом в новомодной сети «Мы журналисты» и в течение пары минут получил несколько язвительных комментариев: один бездельник пригрозил геморроем от долгого сидения; кто-то написал, что если напротив сидит твой враг, то вы рискуете увидеть трупы друг друга; другой посоветовал быть мужчиной и поискать врагов среди живых… Трепачи! Дэн не без труда различал тонкую грань между просто хохмой и иронией абсурда, поэтому отправил шутникам неприличный жест и усмехнулся: если бы они только знали, что этот день значит для него!

Скорый безрельсовый пролетел расстояние от Варшавы слишком быстро, и выпить неторопливую чашку кофе не удалось. Едва он успел освежить в памяти воспоминания о суетливой польской столице — и вот уже Зомбки. Экспресс астматически вздохнул дверьми, исторгая редких пассажиров. Редких — потому что никто не сходит в Зомбках, все едут в Гродно или Каунас. А Зомбки… Разве это город? Кроме Дэна, ещё от силы пяток заблудших странников — а скорее всего, местных — сошли на мокрый от октябрьского дождя перрон.

Из одежды на нём были лишь джинсы, графениловая футболка да пляжные туфли на босу ногу. Дэн зябко поёжился — польская осень нынче выдалась прохладная, а он всё ещё жил ритмами и температурами тропической Кубы. «Ромовый» фестиваль ещё только разгорался, когда пришла долгожданная телеграмма. И несмотря на протесты далёкой бостонской редакции, он чуть ли не с пляжа рванул в аэропорт (собрать сумку было делом пяти минут). Шутка ли — искать человека почти шестнадцать лет, и вот — наконец! — настоящий след. Ну а в редакции потом ещё спасибо скажут…

Дэн Айронхед принадлежал к породе тех людей, возраст которых трудно угадать по внешности. На удивление мало морщин для человека, ещё помнившего виниловые пластинки Rolling Stones; плотные курчавые волосы без признаков седины, при этом на затылке — тонкий шрам импланта-социализатора, какие вышли из моды двадцать лет назад; толстые губы африканца, но кожа светлее, чем у многих коренных поляков; и взгляд серых глаз, порою тяжёлый, а чаще — острый как бритва, слишком прямой, сбивающий собеседников с толку. В редакции его интуицию и хватку боготворили; среди коллег он пользовался дурной репутацией провидца, с лёгкостью перехватывающего чужие сенсации. Когда Дэн хотел заручиться чьим-то доверием, он надевал тёмные очки. По правде говоря, он почти не снимал их.

Здание вокзала, похоже, было построено ещё до Испанских событий и носило отпечаток какой-то старинной умиротворённости, присущей Европе на границе тысячелетий. Колонны с намёком на античность, настоящий кирпич стен, окрашенный древней синтетической краской. В небольшом зале ожидания (ну кто здесь, скажите на милость, кого ждёт?) даже имелись стрелочные настенные часы, вполне возможно — настоящие механические.

Пройдя сквозь пахнущий упаковочной бумагой вокзал, Дэн сверился с коммуникатором и уверенно свернул к выходу направо — там, как обещалось, должны были стоять экипажи такси. Однако машин с шашечками он не увидел. Мокрая асфальтовая площадка была завалена ящиками из гофрокартона и беспорядочными мотками нейлоновой бечёвки. Несколько хмурых арабов закидывали тару в длинный трёхосный фургон. Один ящик отставили в сторону, он был сломан и через прорехи в боку выглядывали красные яблоки с выращенными на кожице иероглифами. Так или иначе, никаких такси и близко не было видно.

Дэн собрался было уже звонить своему варшавскому контакту, как вдруг позади раздался хрипловатый сигнал клаксона. Он обернулся — сквозь лобовое стекло по-настоящему древнего «Мерседеса» (чего доброго, ещё на газовом ходу) махал рукой и радостно улыбался Войтех. Ну надо же, «Искра польска» всё же читает свою электронную почту!

Войтеха он знал ещё по конференции в Дублине, где они втроём с русским репортёром (его имя, а также фамилию Войтеха Дэн никак не мог припомнить) напились до неприличия после дебатов о Восстановлении Европейских третей и учинили что-то скандальное в номере отеля. Что именно — Дэн тоже не помнил, а прислуга тактично умолчала: просто предъявили чек. Это было три года назад, с тех пор Войтеха он встречал ещё несколько раз на всяких медиатусовках, и между ними установились поверхностно-дружеские отношения, вообще характерные для пишущей братии.

Дэн плюхнулся на переднее сиденье, спасаясь от вновь начинающегося дождя, и они обменялись крепкими рукопожатиями. Войтех был длинный,

худощавый, с копной соломенных волос и вечно любопытным горбатым носом. По-английски он говорил практически без акцента, лишь иногда выдавая себя славянскими шипящими.

— Войтех, дружище, я не ожидал! — ухмыльнулся Дэн. — Тебе не сиделось в уютной Варшаве и ты решил развеяться на деревенских просторах? Почему ты? Могли ведь послать любого стажёра с факультета журналистики или просто шофёра?

— О, я не мог упустить случая повидаться с легендарным Дэном Айронхедом, — в тон ему ответил поляк, нажимая кнопку стартера. — Ты ведь здесь не случайно? Разнюхал что-то горяченькое, не иначе?

Дэн неопределённо пожал плечами. Посвящать Войтеха в подробности поездки, при всей к нему симпатии, не входило в его планы. Собственно, и плана-то никакого пока не было. Была лишь цель, и вот о ней Войтеху совершенно точно не нужно было знать. Чёрт его знает, как могли повернуться события… Поэтому Дэн отделался общей фразой о стандартном журналистском расследовании, детали которого редакция попросила пока не разглашать. Войтех с понимающей улыбкой погрозил ему пальцем:

— У тебя феноменальный нюх на скандалы и детективные истории, Дэнни, меня не проведёшь. Но расслабься — я не собираюсь воровать твои пирожки, просто шеф попросил покрутиться рядом с тобой, может быть, сделать пару снимков, — поляк кивнул назад, где на сиденье лежал кофр с аксессуарами, — тебе ведь наверняка понадобится хороший оператор?

— Как знать, как знать, — загадочно повёл бровями Дэн, которому, на самом деле, человек с камерой не помешал бы. Если, конечно, дело выгорит, и выгорит в правильном направлении.

— Ладно, отмалчивайся, если хочешь, Дэнни-бульдог, — Войтех аккуратно объехал яблочную тару, — скажи лучше, куда едем?

— Для начала — в местную полицию, — Дэн неопределённо тыкнул указательным пальцем вперёд, — кстати, печка у тебя работает?..

В полицейский участок он вошёл уже обсохший и согревшийся — «Мерседес» Войтеха хоть и казался музейным экспонатом, но климат-контроль функционировал отлично. Старые машины вообще делались на совесть — не то что нынешние пластиковые фан-боксы, плей-кары и прочий тактильный Интернет на колёсах… Начало XXII века вообще казалось Дэну чрезмерно искусственным — сплошные нанополимеры в пище, автомобили-андроиды и контекстно-ориентированный секс. Отчасти поэтому он всегда держал свой чип-социализатор в пассивном режиме: микросхема есть микросхема, и мир давно уже не такой оглушающе тихий, каким он являлся ему когда-то в жёлтые рассветные часы перед очередным артобстрелом в предгорьях Анд. Молодой начинающий репортёр в лагере сепаратистов, беспечно рискующий своей шкурой каждый день? Сейчас это казалось невероятным. Дэн словно покатал на языке далёкие воспоминания, пробуя их на вкус. К ним было сложно привыкнуть, несмотря на прошедшие годы.

Однообразной унылостью казённого офиса веяло от зомбского околотка. Стеклянные перегородки, кофе-машина, регистрационная стойка. Впрочем, одна достопримечательность имелась — секретарша каких-то немыслимых монгольско-нигерийских корней, чья роскошная грудь в обрамлении форменного декольте вызывающе возлежала на офисном столе. Длинные ногти служивой девы беспрерывно барабанили по панели софт-пада. Разумеется, двое мужчин обратились за справкой именно к ней.

— Не соблаговолит ли любезная пани… пани? — Дэн изобразил самую обаятельную улыбку, на которую только был способен, не снимая солнечных очков.

— Пани Домбровска, — блеснула белыми зубами метиска, не переставая, впрочем, печатать. Было немного странно слышать от темнокожей дамы английскую речь с явным польским акцентом. После пакта о Третях и универсализации границ призрачная угроза Вавилонской башни в короткие сроки стала назойливой обыденностью всего человечества.

— Да, пани Домбровска, будьте добры, подскажите нам, как поговорить с шефом полиции паном Ядвижным?

— О, очень просто, прямо по коридору и в последнюю дверь налево, — наманикюренный перст девушки изящно вытянулся в нужном направлении. Но на посетителей она так и не посмотрела — то ли не сочла интересным, то ли работала в режиме совмещённого стереовидения. Несколько разочарованные, Дэн и Войтех проследовали в указанном направлении.

Пану Ядвижному на вид было лет шестьдесят-шестьдесят пять; круглый, румяный, небольшого роста, он явно был в хорошей форме и не злоупотреблял пластикой лица и пересадкой волос. Стилизованная звезда шерифа на двери кабинета, небольшая коллекция старинных револьверов на стене, книжная полка с романами Конан Дойла и Хмелевской (это уже перебор, пожалуй, отметил Дэн), а также седые вислые усы — всё выдавало желание начальника зомбской полиции подражать если не Эркюлю Пуаро, то хотя бы комиссару Мегрэ. Впрочем, рукопожатие у пожилого полицейского было ещё крепким, а взгляд голубых глаз — спокойным и цепким. Дэн решил для себя, что с преступностью в Зомбках определённо всё в порядке.

— Итак, мистер Айронхед, — шеф жестом пригласил журналистов присаживаться, — мне позвонили из Варшавы и попросили оказать вам всяческое

содействие — в рамках закона, разумеется. Чем же я могу вам помочь?

— В сущности, дело пустяковое, — Дэн говорил не торопясь, стараясь произвести максимально благоприятное впечатление, — мы с моим приятелем ищем одного человека. Мы давно хотели взять у него интервью, но он, так сказать… не слишком общителен. И вот вчера я получил сообщение от старого друга из Варшавы, что следы этого человека теряются в Зомбках. Я решил, что местный шериф знает всех в этом городе, — поэтому мы обратились к вам.

Дэн специально употребил слово «шериф», рассчитывая, что старику будет приятно. И хотя улыбка едва тронула уголки губ пана Ядвижного, Дэн счёл это хорошим признаком.

— И как же зовут этого человека? — спросил Ядвижный.

— Роберт Шульман, — без промедления ответил Дэн, пытливо вглядываясь в глаза начальника полиции: блеснёт ли искорка узнавания или нет?

Искорка не блеснула. Хотя, возможно, пан Ядвижный просто великолепно владел собой. С другой стороны, Дэн полагал, что скрывать старику нечего — ведь если его предположения верны, Роберт Шульман вёл предельно незаметный образ жизни. Даже по меркам такого городка, как Зомбки.

— По правде говоря, не слыхал о таком, — покачал головой Ядвижный, доставая из кармана портсигар (хотя Дэн был почти уверен, что пан курит трубку), — я, конечно, неплохо знаю местных, но Зомбки слишком близки к столице: люди приезжают, уезжают, за всеми не уследишь. Дайте больше информации: адрес, место работы, может быть?

— Пан Шульман, вероятно, на пенсии, вряд ли он где-то работает, — предположил Дэн, — что же касается адреса, мой друг упомянул район Дубровицы — это название вам о чём-то говорит?

— Дубровицы? Да, — шеф полиции пыхнул зажжённой сигаретой и гостеприимно протянул портсигар журналистам, — это лесной массив на западе, там несколько коттеджных посёлков. Курите?

— Благодарю, нет, — отказался Дэн; Войтех тоже отрицательно покачал головой. — Пан Ядвижный, может быть, у вас есть какой-то каталог проживающих там, реестр или электронная база данных? Нам просто нужен точный адрес, мы сами можем проехать туда.

— Гм, надеюсь, господа, что ваше интервью не станет вторжением в частную жизнь — в противном случае помощь полиции в этом деле будет несколько неуместной, — шеф развёл руками, как бы извиняясь за строгие формальности.

Войтех разразился длинной тирадой на польском, из которой Дэн расслышал лишь несколько раз повторенное «Варшава» — видимо, объяснял Ядвижному, какие они милые, тактичные и корректные ребята, которым, безусловно, можно доверять.

Шеф полиции слушал Войтеха невозмутимо, попыхивая сигаретой в сторонку, и спокойно переводил взгляд с одного приятеля на другого. В какой-то момент Дэн понял, что опытного служаку ничем не проймёшь, и в ответ на дипломатические пассажи Войтеха пан Ядвижный может с одинаковой лёгкостью произнести «Да, разумеется» или «Нет, ни в коем случае». Но в конечном счёте всё завершилось в их пользу.

— Сделаем так, — провозгласил с вежливой улыбкой Ядвижный, — я дам сопровождающего офицера, он съездит вместе с вами и поможет найти этого… господина Шульмана. К тому же, знаете, навигаторы не слишком дружны с местными просёлочными дорогами — а мои ребята уж точно не заблудятся. Уговор?

— Вы сама любезность, пан Ядвижный! — Дэн с энтузиазмом пожал руку полицейского. Пусть в полиции точно знают, куда он поехал, — лишние свидетели, а тем более в погонах, не повредят.

Надеждам приятелей не суждено было сбыться — в провожатые им выделили отнюдь не сексапильную пани Домбровску, но рыжего и толстого сержанта средних лет с лицом таким мягким, что полицейская форма выглядела на нём насмешкой. Пока Войтех что-то объяснял сержанту, Дэн грелся в «Мерседесе» и обдумывал свои дальнейшие действия. Внутренним чутьём, которое столь обострилось у него в последние годы, Дэн ощущал близость развязки. С тех памятных событий на орбите Титана, когда почти весь экипаж корабля МСС-1025 «Золотой Меркурий» был найден мёртвым, он искал этого человека повсюду. Его, единственного из выживших на борту тогда. Угроза, исходившая от него, не давала Дэну по-настоящему расслабиться ни днём, ни ночью. И хотя этот человек никак не проявлял себя — напротив, уволился из Космического Флота, поменял фамилию, вёл образ жизни отшельника, — Дэн понимал, как опасно это молчание. В любой момент всё могло перемениться, и тогда само существование Дэна было бы поставлено на карту. А этого он не мог допустить.

Вот почему он попросил Войтеха одолжить ему куртку-ветровку. Под безобидным предлогом согреться. На самом деле под курткой не была заметна рукоятка пистолета, того самого, что Дэн потихоньку извлёк из рюкзака и засунул за ремень джинсов. Старый добрый вальтер со спаренным разрядником, лёгкий и безотказный.

Наконец, Войтех решил все вопросы и побежал к машине под усиливающимся дождём. Едва он хлопнул дверью, как стоящий впереди полицейский «Пассат» мигнул габаритами и тронулся с места. На этот раз Войтех не стал крутить баранку, просто кликнув на сенсорном экране навигатора

по силуэту передней машины. Теперь умная электроника не отстанет от «Пассата», куда бы он ни поехал.

— Итак, Роберт Шульман?—поднял правую бровь Войтех, пытливо глядя на приятеля.—Этот рыжий здоровяк кое-что мне рассказал по доброте душевной. Говорит, слышал про этого старика Шульмана, тот живёт совершенно один, гости к нему не ездят, даже Сеть не стал себе подключать—ну не чудак ли? Не хочешь немного просветить польского товарища о цели поездки? Брось, Дэн, хватит издеваться—что за тип этот Шульман и что нам от него нужно?

Дэн вздохнул—и правда, сохранять молчание было бессмысленно.

— О'кей, вот тебе легенда… Ты помнишь события на «Золотом Меркурии» в 2099-м?

Войтех поднял теперь уже обе брови:

— Кое-что помню… Писали об этом немало, да как-то всё сумбурно и бездоказательно. Похоже, администрация Флота быстро замяла инцидент. А может, и военные вмешались. Кажется, весь экипаж задохнулся, да?

— Да, смерть астронавтов никто так и не объяснил. Хотя слухи ходили разные… Но главное не это. Знаешь ли ты, кто первым обнаружил аварийный «Меркурий»?

— Патрульный катер с Титана, кажется… Но точно не вспомню—пятнадцать лет уже прошло.

— Шестнадцать… Так вот, дружище Войтех, тот катер был вторым. Первым было пассажирское судно, частная яхта мультимиллионера Ллойда Гринвуда. На которой присутствовали и журналисты, кстати.

Войтех внимательно посмотрел на Дэна. Прищурился, пытаясь понять, не дурят ли его.

— Не может быть… Ты хочешь сказать…

— Да. Я был там. Я тогда писал статью для «Нью-Йорк магазин», я брал интервью у Гринвуда, и мы были первыми, кто поймал сигнал бедствия с «Золотого Меркурия». Войтех, старина, я видел этих мёртвых астронавтов так же близко, как сейчас вижу тебя.

— Пся крев!—не сдержался Войтех.—Брешешь! Я не помню ни одного твоего материала об этих событиях!

— Нам запретили,—покачал головой Дэн,—клянусь, туда слетелось столько военных и разного рода агентов, что нам просто заклеили рот. Взяли подписку о неразглашении и всё такое… Так что сенсация не состоялась, Войтех.

— Сенсация… Но какая сенсация, Дэн?—поляк почти молитвенно сложил руки у груди.—Что именно там произошло? Обещаю, всё сказанное тобой не пойдёт в печать!

Дэн криво усмехнулся: доверять тайны журналистам—это всё равно что оставлять лиса стеречь курятник. Но сейчас уже было всё равно.

— Неужели ты не догадываешься? Когда мы подлетели к «Меркурию», он был на орбите Титана не один. К нему был пристыкован второй корабль, и отнюдь не патрульный катер. Другой корабль, не наш, чужой, понимаешь?

Войтех ничего не ответил, только молча таращился на Дэна широко раскрытыми глазами.

— Да, дружище, это были инопланетяне… И боюсь, что астронавты погибли вовсе не в результате несчастного случая.

— Ты видел их?—спросил Войтех таким тоном, что стало понятно, *кого* он имеет в виду.

— Нет. В этом-то и есть самая большая загадка «Золотого Меркурия»—никаких чужеродных тел или организмов обнаружено не было. Ни на нашем корабле, ни на чужом. Только трупы и один выживший. Лишь один человек не погиб, он вовремя успел надеть скафандр. Странно, не правда ли? Но, как я уже сказал, военные всё быстро позакрывали, выжившего увезли, а нам указали на дверь. И с тех пор, Войтех, я пытаюсь найти этого выжившего…

— Дэн,—сглотнул слюну Войтех,—то есть этот Роберт Шульман и есть?..

— Я надеюсь, мы скоро это узнаем…

Полицейская машина вынырнула из чащи кряжистых дубов, и перед путниками открылось сочное зелёное поле, кое-где подсвеченное лучиками начинающего просыпаться солнца. Вдали виднелась одинокая ферма. Дождь закончился, и автоматические дворники «Мерседеса» наконец-то успокоились. Остаток пути проехали молча, Войтех нервно крутил в руках мультикамеру и вопросов больше не задавал.

Машины остановились у кромки изумрудного моря пшеничных бобов—чуткий радар авторобота вовремя нащупал канаву поперёк просёлочной дороги, в которой запросто можно было оставить колесо. Особенно ночью. Журналисты переглянулись—хозяин фермы явно гостей не ждал. Или, наоборот, ждал? Дальше нужно было идти пешком.

Сержант хмыкнул, осмотрев импровизированную траншею, но от комментариев воздержался.

— Прошу, пане, нам, должно быть, сюда. Пан Шивек, я попрошу воздержаться от съёмки до получения надлежащего согласия от владельца недвижимости. Уж будьте добры.

Вот Дэн и вспомнил фамилию Войтеха—Шивек. Они бросили машины в поле и пошли вдоль обочины к ферме. На самом деле, идти было недалеко, не более сотни метров. Однако из-за прошедшего дождя чернозём прилипал к подошвам, и путники двигались медленно, боясь поскользнуться. Дэн, по правде говоря, недолюбливал сельскую жизнь с этой вечной грязью на ботинках, комарами, коровьими лепёшками и соседскими сплетнями. Ему как-то довелось пару месяцев

прожить в деревеньке под Вэньчжоу, что на юге Китая,—хватило на всю жизнь, нахлебался соевой похлёбки вдосталь. Природа—это замечательно, но только если где-нибудь на островке в Адриатике или норвежских фьордах…

Впрочем, эта ферма выглядела образцово. Основание дома было выложено крупными серыми булыжниками, крыльцо красного кирпича, чисто побелённые стены, тёмный брус деревянных перекрытий—этакое альпийское шале в пригороде Варшавы. И никаких коровьих лепёшек, даже запаха. Напротив, долгоиграющее бобовое поле, несмотря на позднюю осень, источало терпкий травяной аромат, к которому подмешивался слабый голос медуницы. Уютненько, ничего не скажешь, подумалось Дэну.

Между тем он давно уже острым взглядом приметил некоторые признаки людского присутствия—дорожка, ведущая от невысокой ограды к крыльцу, была аккуратно отсыпана мелкой жёлтой галькой; кусты смородины чуть поодаль выглядели подстриженными, а на первой ступеньке стояла маленькая красная лейка и резиновые галоши. И если хозяин дома, он наверняка уже видит нас—подумал журналист, глядя на матовый глаз маленькой камеры наблюдения под навесом крыльца. Тук-тук-тук, пан Шульман, к вам гости!

Рыжий сержант, по долгу службы первым взошедший на крыльцо, нажал кнопку звонка. Из-за двери раздалась приглушённая и весьма банальная трель электрического «соловья», спустя несколько секунд послышались и шаги. Войтех поджал губы от напряжения, словно ожидал увидеть клыкастое чудовище за дверью; Дэн вёл себя куда спокойнее, спрятав руки за спиною, поближе к оружию; и только полицейский явно скучал, выпятив вперёд пивное пузо и безучастно разглядывая резной орнамент, бегущий вдоль деревянной рамы окна веранды.

Но пан Шульман на чудовище совсем не походил. Им открыл обычный пожилой мужчина, довольно высокий, ещё сохраняющий признаки военной выправки, в крупных, совсем уж старомодных очках (ну кто же носит очки в наш век?) и клетчатой шерстяной рубахе навыпуск. Он гораздо больше был похож на заслуженного профессора математики, чем на злобного пришельца. Однако от Дэна не укрылась глубоко упрятанная застарелая боль во взгляде старика. Он сильно постарел за прошедшие годы, резко обозначились мешки под глазами и жёсткие морщины в углах рта; тёмных волос почти не осталось.

— Пан Роберт Шульман?—привычно козырнул сержант.—Это вы владелец дома и участка номер 27 в Спелых Дубровицах?

— Да, это я,—после секундной задержки не торопясь ответил Шульман,—что вам угодно?

Голос у него был густой и негромкий, совсем не стариковский. И Дэн заметил, как цепко Шульман ощупывает пришедших глазами. На его лице старик задержался явно подольше—неужели узнал? Дэн всё же надеялся, что полтора десятилетия времени и тёмные очки спасут его от быстрой идентификации. Так или иначе, а представиться всё равно придётся…

— Сержант Анджей Святкович, зомбская полиция. Эти господа из варшавской газеты, они хотели бы побеседовать с вами и сделать несколько фото. По закону вы, конечно, можете отказаться,—сержант посмотрел на журналистов с некоторым сомнением,—а я здесь, чтобы зафиксировать ваше согласие. Или несогласие.

— Всего несколько вопросов, пан Шульман,—как можно учтивее улыбнулся Войтех,—мы из газеты «Искра польска»…

— Что ж, тогда зафиксируйте моё несогласие, сержант,—Шульман долго не раздумывал,—я не даю интервью и в опросах не участвую. Не знаю, что вас интересует, господа, но вы приехали напрасно.

Рыжий сержант обернулся к приятелям и развёл руками, как бы извиняясь за неудачу. Бог ты мой, как он вообще может кого-то арестовать? Дэн понял, что нужно брать инициативу в свои руки.

— Мне кажется, нам есть о чём поговорить, Роберт,—Дэн намеренно назвал отставного астронавта по имени, опустив фамилию.—Если вам дорога память Стрельцова, Шнайдера, Эверетта, Маады—то уделите нам немного времени, прошу вас.

Шульман замер на мгновение, глаза его прищурились.

— Эти имена больше ничего не значат для меня,—тон Шульмана стал холодным, а взгляд ощупывал Дэна—он физически ощутил опасность, исходящую от отставного капитана,—и обсуждать это я не намерен. Никаких комментариев. Сержант, я попрошу вас покинуть мои владения вместе с этими людьми.

— Паны, мне жаль, но нам придётся уйти,—растерянно заторопил их полицейский, немного подталкивая к спуску с крыльца, слегка растопырив руки и напирая объёмным пузом.

— А помните ли вы последние слова Маады, Роберт?—пятясь к ступеням, Дэн пошёл своей козырной картой.—Помните, он сказал вам: «Почему ты не с нами, Роб, с нами тебе будет лучше!»? Ведь вы не забыли, Роберт? Роберт Коморовски?

Сказать, что Шульман изменился в лице,—значит, ничего не сказать. Он побледнел как полотно, на лбу выступили капельки пота. Говорят, что самые храбрые люди в моменты опасности бледнеют. Дэн был уверен, что Шульман—а точнее, Коморовски—был храбрым человеком. И он был опасен, очень опасен.

— Никто на свете не мог слышать этого,—хрипло произнёс астронавт,—кто вы такой, мистер?

— Меня зовут Дэн Айронхед, я был на «Золотом Меркурии» шестнадцать лет назад. Мы нашли вас первыми, помните? Яхта «Независимость», Ллойд Гринвуд и компания.

Дэн снял очки и впервые посмотрел старику в лицо.

— В тот день там побывало немало людей,—пробормотал старик, в конце концов опустив глаза,—я не помню вашего лица… Что вы хотите от меня, мистер?

Отлично—старый пилот не стал долго отпираться. Дэн мысленно потянулся к Шульману, постарался нащупать канал эмпатии, но что-то мешало ему.

— Ведь вы до сих пор ищете причину той трагедии, Роберт. Возможно, я могу вам помочь и объяснить кое-что. Мы, журналисты, ужасно въедливый народ и часто видим то, что другие не замечают. Так вы согласны побеседовать? Это не займёт много времени, уверяю вас. Что такое десяток минут в сравнении с шестнадцатью годами?

Дыхание Шульмана было учащённым, он несколько секунд прожигал Дэна глазами, напряжённо обдумывая услышанное. Рыжий сержант недоумённо переводил взгляд с журналистов на пожилого фермера, очевидно, не понимая сути происходящего. Войтех тоже молчал—на протяжении всей беседы он не отводил взора от Шульмана, видимо, всё ещё ожидая, когда из живота у того выпрыгнет мерзкая зубастая тварь и набросится на гостей.

— Проходите в дом,—наконец, вымолвил Шульман, поедая взглядом Дэна,—и никаких фотографий, я настаиваю на этом! Я запрещаю снимать!

— Как скажете, Роберт, как скажете,—Дэн сделал знак Войтеху убрать камеру. Мало кто знает, что у репортёров, работающих в связке, всегда есть набор тайных жестов, который позволяет им общаться друг с другом, не выдавая намерений. Вот и сейчас Дэн махнул рукой в сторону камеры Войтеха, но при этом соединив большой палец и мизинец—это означало «включи видео, но скрытно». Войтех всё прекрасно понял и ответил Дэну утвердительным взглядом. Немного непорядочно, но такова профессия журналиста. Запись никогда не будет лишней, даже если её и не публиковать, не так ли?

— Э-э-э, пане, я так понимаю, моё присутствие вам уже не нужно?—обеспокоенно спросил полицейский.

— Можете ехать, сержант,—твёрдо кивнул Шульман,—мы сами разберёмся.

Судя по его тону, отставной пилот уже полностью взял себя в руки и определил стратегию беседы. Это немного беспокоило Дэна, но, в конце концов, он знал, на что идёт, и готовился к этой встрече долго и тщательно. Риск ошибиться был, но молодость, реакция и подготовленность были на его стороне. Главное, чтобы Войтех не выкинул какую-нибудь глупость прежде времени.

Часы над камином мерно тикали, вернувшийся грибной дождь нежно беспокоил стёкла. В сравнении с мультимедийным дизайном современных квартир обстановка в гостиной Шульмана напоминала музей. Настоящая газовая печка в углу, камин с дровами, минимум пластика и никаких сенсорных панелей. Да, дед и вправду настоящий ретроград, усмехнулся Дэн.

— Я вас внимательно слушаю, мистер Айронхед,—напряжение в голосе Шульмана-Коморовски не укрылось от Дэна. Старик не прост, но он далеко не актёр. Войтех делал вид, что расслабленно отдыхает в кожаном кресле, небрежно придерживая камеру на подлокотнике. Значит, снимает.

Наступал момент истины. Ну что ж, Дэнни-бой, сделай всё правильно. Он украдкой бросил взгляд на часы: это была специальная модель, подаренная ему по пьяни бывшим цээрушником, способная сканировать любые записывающие и передающие устройства в радиусе десятка метров. Любые последовательности нулей и единиц отслеживались в радиодиапазоне, считывался электронный шум, сигналы даже могли быть скорректированы по его желанию. Сейчас на циферблате высвечивалась только камера Войтеха и ещё одна—та, что над крыльцом. Всё шло как по маслу!

— По неофициальной версии спецслужб, Роберт,—начал Дэн, пристально глядя на Коморовски,—корабль пришельцев оказался пустым не случайно. А точнее говоря, он лишь казался пустым! Когда яхта Гринвуда причалила к «Золотому Меркурию», все пришельцы находились там и не собирались его покидать. Они, в некотором смысле, перебрались со своего корабля на «Меркурий». Я прав?

— Да будет вам известно, никаких инопланетных тел ни на «Меркурии», ни на шлюпе пришельцев обнаружено не было,—пожал плечами старый пилот, прищурившись,—о чём вы сейчас говорите?

— Конечно,—усмехнулся Дэн,—чужих тел не было. Пришельцам не нужны были свои тела—они воспользовались вашими. Думаю, так они проникают на чужие планеты—просто сливаясь с населением, полностью завладевая сознанием аборигенов. Разумеется, это всего лишь моя гипотеза, но она многое объясняет. Кто вы, мистер Шульман? Ведь вы не просто так ушли на пенсию на пять лет раньше срока и не просто так сменили фамилию? Вы долго скрывались, пан Шульман… или пан Коморовски. Откуда вы на самом деле, Роберт? С какой планеты… или галактики?

Краем глаза Дэн увидел, как вытянулось лицо Войтеха. А Коморовски и так был натянут, как стрела: казалось, вот-вот прыгнет. Да, прыгни, Роберт, прыгни, пожалуйста!

— Даже так?—ледяным тоном произнёс Коморовски, костяшки его пальцев, вцепившихся в подушки дивана, побелели.—Так я, по-вашему, ещё и пришелец? Чужак в человеческом теле? Чем

же я так понравился *им?* Почему они не выбрали Стрельцова или Маады, например? Они были моложе, сильнее меня… они были, да…

— Вам виднее,— настал черёд Дэна пожимать плечами,— быть может, ваше тело оказалось лучше совместимо с их типом сознания? Расскажите сами. Я понимаю почти все, кроме одного: зачем вы погубили своих товарищей, Роберт? Зачем открыли аварийные шлюзы и выпустили давление из корабля? Четыре ни в чём не повинных астронавта — как вы жили с этим все шестнадцать лет? Хотя… простите, я увлёкся: позабыл, что *вам*, должно быть, глубоко на них наплевать. Наплевать на любого из нас, правда, Роберт? Или как мне лучше вас называть?

Дэн бил наверняка, используя заготовленные фразы, острые, жалящие, провокационные. Выводить человека из себя, вызывать его на откровенность — это пожалуйста, это его хлеб. Реакция последовала незамедлительно: Коморовски улыбался. Войтеху было страшно это видеть, Дэн это понимал. Кажется, старик прошёл точку невозврата и готов к действию. Развязка близка, Дэнни-бой, не зевай!

— Дэн Айронхед, да? Так значит, это вы… Хотите знать, чем я жил эти годы?— кажется, старый пилот испытывал облегчение.— Я ждал этой встречи шестнадцать лет, вот чем я был занят. Гадал, кто из вас найдёт меня, из тех, что прилетели на яхте Гринвуда. Признаюсь, я хотел было поначалу выследить вас всех, но потом понял — вас слишком много. Это задача не по плечу одному человеку, да ещё пожилому… Дэн Айронхед… Ну что ж, вы не против, если я расскажу свою версию произошедшего?

— Валяйте, Роберт,— Дэн усиленно сканировал пилота, но не мог отыскать нужный ключ к индивидуальной мозговой матрице… что-то шло не так, Коморовски не раскрывался. Его сознание оставалось закрытым, как раковина. Неужели он догадывается? Поставил какой-то блокиратор?

— Моя версия в том, что я поддался слабости,— во взгляде старика читалась тяжесть и болезненная решимость,— мне следовало убить Маады быстрее, убить вместе со всеми. Маады был последним. Ты был последним, Дэн! Тебя я должен был убить! Но не посмел… Тянул до последнего, всё надеялся, что он возьмёт себя в руки… и упустил момент. Он ведь был моим другом, Дэн. Понимаешь ли ты, что такое друг? Ставлю десять против одного, что нет… Но знаешь что, Дэнни? Старый Марек, мой приятель из варшавской нейрохирургии, много лет назад кое-что вшил мне в голову. Щит, мембрану, да. Ма-аленький такой чип, полностью закрывающий матрицу от внешнего вмешательства. Мы оба тогда с Мареком немного бредили теорией заговора, всё искали шпионов и пакистанских вербовщиков… А оказалось, пакистанцы до нас не успели добраться. Зато *вы* — успели. Но чип спас меня тогда, на корабле… а как насчёт сейчас? Ты читаешь меня, Дэн? Я вижу, у тебя не получается?

— Читаю? Я не понимаю, о чём вы…— Дэн весь превратился во внимание, подобрался, запустил физиологическое ускорение. Адреналин понёс его на крыльях бешеного воодушевления. Проклятье, он действительно натыкался на какой-то шумовой барьер. В спешке его не преодолеть. Впрочем, это не меняет расклад ситуации… Коморовски говорил всё медленнее, странно растягивая слоги:

— Пони-маешь, по-ни-ма-ешь… Я не убил тебя тогда, потому что не был готов, потому что пожалел Маады. Пожалел друга, близкого мне человека. Я ведь не был убийцей, Дэн. Но сейчас всё по-другому, мистер Айронхед. Я долго готовился — и я готов!

И Коморовски выстрелил. У старика почти не было шансов — что он мог знать о приобретённой реакции Дэна. Пока пилот запускал руку под подушку и тягуче медленно, как во время футбольного повтора, вытаскивал пистолет, Дэн уже скатился с кресла на пол и целился из вальтера. Сухой хлопок — армейский глок пилота выпустил дымный след, спинка кресла, на которую только что опирался Дэн, вспучилась лохмотьями… Разрывной? Ах ты вредный старикашка, серьёзно приготовился!

Вальтер Дэна в ответ пыхнул коротко и зло, выбивая из груди Коморовски кровь и обрывки сердца. Пилот обмяк и начал заваливаться набок. Вот и всё, шестнадцать лет ожидания. А впрочем, ещё небольшая деталь. Дэн ослабил предельную концентрацию, выходя в мир реального темпа времени. Это тело не выдержало бы длительной акселерации. Как старинный паровоз, тормозящий у полустанка, сердце Дэна замедляло свой стук.

— …!— что-то орал Войтех, роняя камеру и судорожно вскакивая на ноги.— Дэн! Что это было? Он стрелял в нас? А ты…

— А я стрелял в него,— кивнул спокойно Дэн, вынимая из мёртвой руки пилота оружие,— необходимая самооборона. И кстати, в тебя он тоже стрелял.

Войтех лишь открыл рот, когда первая пуля размозжила ему голову, а вторая — в общем-то уже лишняя — живот. Журналист мешком перевалился через кресло, с грохотом приложившись всем телом об пол. Сколько крови, ай-ай-ай, покачал головой Дэн. А сейчас будет очень, очень больно…

Дэн сжал зубы и, приставив ствол глока к бедру под нужным углом, спустил курок. Кажется, он всё равно закричал — пуля вырвала значительную часть мышцы. Дэн упал на ковёр, и так уже заляпанный красными пятнами, и позволил себе отключить болевые рецепторы. К счастью, в этом теле делать изоляцию тактильного фона было легко.

Дэн часто дышал, Дэн улыбался. Последний свидетель устранён, он может расслабиться. Кто теперь сможет помешать им, воплощающим вселенское терпение? Теперь его руки развязаны.

Значит, блокиратор чипа? Это всё объясняет… Никто не ожидал тогда, на «Меркурии», что Коморовски успеет надеть скафандр и ударить по кнопке разгерметизации. Никто не успел понять, почему он не поддался процедуре инфильтрации. Что их выдало тогда? Тремор мимических мышц, распространённый побочный эффект при работе с гуманоидами? Или замедленная поначалу моторика речевых центров? Или у Коморовского тоже была отменная интуиция? Уже неважно… Ему чертовски повезло: во-первых, что в этот момент Гринвуд уже причаливал к «Золотому Меркурию», и во-вторых, что оглушённое декомпрессией тело Маады продержалось ещё пару минут—это было сильное, молодое тело, тут Коморовски прав. И он нащупал сознание Айронхеда на яхте, успел уйти из гаснущего разума, перетечь. Был небольшой риск несовместимости матриц, но ему ещё раз повезло. Ему всегда везло.

Превозмогая слабость, Дэн потыкал пальцем в часы, уничтожил ту часть записи на карте памяти Войтеха, где он наговорил лишнего. Остальные данные тут же отправил по почте в газету—железное алиби, как ни крути: отставной капитан нападает с оружием на известного журналиста, вынужденная самооборона, отличная реакция бывшего участника боевых действий… Всё гладко. Дополз до Войтеха, вынул флэш-память, для большего правдоподобия пальнул ещё разок в объектив мультикамеры, вставил карту обратно. Ещё раз тщательно проверил помещение на предмет скрытых камер. Всё было чисто, никакой электроники. Эх, Роберт, Роберт…

Теперь спешить некуда. Можно не торопясь собирать сведения о планете, подбирать ключи к головам ведущих учёных и политиков, аккуратно, понемногу кого-то вербовать, оттачивать стратегию. Возможно, на это уйдут годы, возможно, придётся сменить несколько тел. Неважно—База подождёт, миллионы капсул с заключёнными в них душами-матрицами могут ждать столетия. А потом, когда всё будет подготовлено, он вызовет их. И этот мир станет нашим—без единого выстрела, без разрушений и нелепых партизанских войн. Как и всегда.

Дрожащими руками, перепачканными в крови, Дэн набрал телефон службы спасения. Это хорошая планета, гуманная. Они заботятся друг о друге и не дадут ему просто истечь кровью. Более того, он станет героем—здесь, на Земле, в либеральной Европе, военным вряд ли удастся замять происшествие. А когда пресса опубликует записи—а они их опубликуют!—то генералам придётся допустить репортёров к его инопланетному кораблю, тому самому, что последние годы тщательно охранялся в секретных доках на орбите Марса. И знаменитый Дэн Айронхед будет одним из первых, кто вновь ступит на его палубу. Как всегда!

Вежливый девичий голос диспетчера задавал тревожные вопросы, Дэн терпеливо отвечал, изредка вполне натурально постанывая. Да, пострадавшие есть. Да, Дубровицы. Да, огнестрельное ранение. Чертовски больно, девушка! Помощь в пути, ожидайте.

Он осмотрел рану. Кровь заливала ковёр, но кость не была задета. Ногу жаль, но медицина здесь неплохая. А когда планета будет ассимилирована, станет ещё лучше. Веками скитаться в глубинах Галактики, подыскивая цивилизацию нужного профиля, веками в тягостном беспросветном сне… Бр-р! Теперь всё будет иначе, и они заслужили этот успех. Дэн устало лёг на окровавленный ковёр и стал терпеливо ждать полицейских. Терпение—важное качество, когда долго сидишь на берегу…

Теперь всё будет хорошо. Словно в подтверждение его мыслей, шёпот дождя стих, и в окошко запрыгнул солнечный зайчик. Он коснулся застывшего зрачка Коморовски, перебежал через забрызганный кровью паркет, задел неестественно вывернутую ногу Айронхеда и упёрся в странную архаичную конструкцию, которую Дэн принял было за газовую плиту. Это был старинный катушечный магнитофон, громоздкое, несовершенное творение аналогового двадцатого века—никаких ноликов и единиц. Удивительно, но он всё ещё работал!

Юлия Петрусевичюте

На звёзды смотрим изнутри

* * *

От вечерней зари до рассветной зари
Полыхали за городом монастыри,
И скользили беззвучно по рыжей земле
Тени птиц, приносящих огонь на крыле.

Полыхали огни, и кружили в ночи
Остроклювые тени, стальные грачи.
Над распаханной глиной, над пашней немой
Пахло гарью и копотью, пахло золой.

И безумный художник метался в полях,
И взахлёб рисовал свой отчаянный страх
Пеплом, сажей, углём, ржавым краем монет,
На больничном белье, на обрывках газет.

Хлопья сажи летели, как стая грачей,
Над сожжённой землёй, над деревней ничьей,
Над безлюдной дорогой вдоль мёртвых оград.
И никто никогда не вернулся назад.

* * *

Пусть болтают слепые ловцы простаков
О неволчьем уделе твоём.
Слишком часто мы видели мёртвых волков,
Мы по горло набиты враньём.
Человек человеку эпоха и мор,
Человек человеку ловец.
Ты по крови был волк. Ты по крови был вор.
Ты по крови птенец и певец.
Из заветных углов серебристую тишь
Воровал ты у всех на виду.
Ты повадкой был мышь. Ты повадкой был стриж.
Ты был рыбой, замёрзшей во льду.
Мы вмерзаем меж стёклами мёртвых домов,
Онемев или остекленев.
Ты ловец и улов. Вереницами слов
Ты из смыслов выводишь напев,
Волчью песню, стрижиный бессмысленный свист,
Водной глади беззвучный мотив.
Остаётся пробитый прожилками лист,
Каплю крови твоей сохранив.

* * *

Проблема идентификации себя.
Проблема идентификации эпохи.
Мы оборвали штурм на полувдохе
И начали движение с нуля.
Но область неизвестна, и число
Не определено, и цель невнятна.
И, в общем, совершенно непонятно,
Куда на этот раз нас занесло.
Железом пахнет воздух. Стынет ртуть,
И током бьют поверхности предметов.
Давай-давай, классифицируй это,
Ищи ему название и суть.
Ищи его в таблицах и рядах,
Логарифмических и звёздных схемах,
Среди имён, ещё не нареченных,
Ищи его на стенах и устах.
Найди ему лицо и сотвори
Явление эпохи. Ход столетий
Оплёл историю железной сетью,
И мы на звёзды смотрим изнутри.

* * *

И ничего не будет, кроме слёз,
Которых ты ещё прольёшь без счёта
Над теми, чья окончена работа,
О тех, кто умер сразу и всерьёз.

И ничего не будет, кроме снов
О тех, кого ты больше не увидишь,
Хоть забреди за ними в самый Китеж—
Но даже и следов их не найдёшь.

И ничего не будет, кроме слов,
Чтоб выговорить самое такое
И обрести хоть толику покоя,
Но всё же не увидеть их следов…

● ● ●

Так смотри на дорогу, бледней и молчи, и молчи —
все слова уже сказаны.
Самым ценным подарком во все времена оставались ключи,
если руки развязаны.

Это знак обретённой свободы, её воплощённая суть,
атрибут и орудие.
Дверь откроется в осень, счастливым окажется путь
и счастливым беспутие.

Талисман, амулет сохранит тебя в долгом пути,
твоё медное царство.
Ты сумеешь уйти, и обратно дорогу найти,
и остаться.

Ключ и яблоко, дом и ладонь, горизонт и тропа,
колокольчик у входа.
Тихо звякнут ключами босые подружки — судьба
и свобода.

● ● ●

Через тысячу лет или более тысячи лет
Мы открыли глаза, а у неба другое лицо,
И на ощупь земля непохожа на земь праотцов,
А у ветра отчётливый привкус горелых газет.

А на листьях травы непонятные нам письмена,
Адаптация древнего текста под нынешний день.
Стройность архитектуры ветвей камуфлирует тень,
Маскировочной сеткой на землю ложится война.

Но принюхалось море к тебе и лизнуло ладонь,
И взревело, и сжало в объятиях, разом признав,
И уже показался вдали над верхушками трав,
И летит, распластавшись по ветру, осёдланный конь.

● ● ●

Над городом птицы, как проклятых чёрные души,
Их жалкие крики — упрёки провидцам грядущим
О том, что случилось, о том, что уже не случится.
Кричит и кричит с обожжёнными крыльями птица,
Кричит и кричит, и кружится над улицей тёмной
Безумная стая химер, или просто вороны,
Парад авиации адской, нашествие с Марса,
Вторжение, пепел горящих небес, вопиющая плазма,
Над городом кружится ужас, проклятие века,
И гадит на головы граждан так щедро и метко,
И метит, и мечет прохожим на скорую прибыль,
Всем прочим злорадно суля непременную гибель,
И громко кричит, предрекая грядущее пламя,
В котором дотла догорят времена вместе с нами.

Николай Вдовин

Деревенские куплеты

В нашей деревне играют на свадьбе те же, что «на жмуре»,
под Рождество на колёсах лысеет резина,
завтрашний день копошится в толстом настенном календаре,
и преет над лесом хлипкая мешковина.

Мне довелось караулить комбайны, жечь на полу самогон,
быть то серьёзным как дуб, то пластичным как липа.
Однажды меня за оврагом, к счастью, не встретил дед Варион,
а если бы встретил, заметил бы что-то типа:

«Экий, милок, торопыга ты… Всё б тебе действовать сгоряча,
всё б на последних страницах мусолить задачник.
Только запомни: шибко не потешайся над лысиной Лукича,
когда по ней тупо пройдёт асфальтоукладчик».

Услышал бы я его? Вряд ли… Кто тут прислушивался к старикам,
кроме тех бедолаг, что клянчат у магазина?
А Лукич, раскурив козью ножку, шёл в сельсовет, как будто во храм,
где забивал шелухой кипячёной корзины.

Он ещё та окаянщина,—мажет печной золой потолки,
прячется в свежих зародах, когда на рассвете
ветки крыжовника девки вплетают в праздничные венки
и дарят ему, пока парни тайком ставят сети.

В клубе художник лик чудотворца писал, вырезал, лепил,
а выходит обратно Лукич в разных ракурсах! Впрочем,
мой сосед, разминувшись с любовью,—сто пудов бы его подстрелил,
если бы он сфокусировался в одной точке.

Что до меня, так и я куролесил, хоть вызывай врача,
путаясь в ворохе дров, горбыльков и прожилин,
а у господской калитки белела лысина Лукича,
только вот плечи под ней были чьи-то чужие.

…Быть может, поэтому в нашей деревне как-то неладно идут дела,
редьку ли, хрен виртуально берёшь на съеденье.
Тыквы садил я с чистейшей молитвой—ни одна так и не взошла,
и дровосек, взяв аванс, прогулял мои деньги.

Всё понимаю. Готов проповедовать: жалоба—смертный грех,
а начнёшь вспоминать, так ведь вспомнишь как пить дать про это…
Кистью черёмухи падаешь в воду,—слышишь русалок нездешний смех,
но ни в нём, ни в классических формулах нет ответа:

быль или небыль витает над нами? Отчего залихватский гопак
пляшет на грядках град, словно жемчуг крупный?
Где та развилка, сойдя с которой, что-то пошло не так?
Или как раз так и надо всем нам?.. А вот друг мой,

столяр с инициалами маршала, будучи той ещё лисой,
мне до пожара поведал секрет успеха:
«Если полировать лысину Лукича сырокопчёной колбасой—
всё проканает». Правда, тут уже не до смеха.

Тут уж выходит, что лучше в подполье пересидеть злодейку-пургу
и, коль повезёт, дотянуть до скончанья марта,
а там с богородским ножом за поясом—вырваться в тайгу,
пока интернет выдаёт прошлогоднюю карту.

ДиН ПАРОДИЯ

Евгений Минин

Модератор жжёт!

Модераторное свыше

«Ай-пи» чужой отчаянной судьбы
Определит небесный модератор.
Лилия Кликич

Алеет ярко монитор лица,
Стучит тук-тук клавиатура сердца,
Курсор бежит быстрее беглеца,
И модератор жжёт сильнее перца.
Он скажет сверху: «Лилия, терпи!
Все люди для меня сплошные пешки!»
Но как определит Он мой Ай-пи,
Когда нет у него обычной флешки.

Мы у тебя одни

ты у меня одна
партия и страна
мне уже двадцать два
я ещё нет никто
Любовь Глотова

я у тебя одна
партия и страна
знаю писать слова
мне уже двадцать два
я попиваю квас
мне наплевать на вас
не говорите стоп
завтра—гляди ж—потоп
не заберёт всех Ной
как там ни плач ни ной
но на ковчеге том
«Знамя» с моим стишком!

Назидательное

Если долго смотреть на воду
Очень долго смотреть на воду
Бесконечно смотреть на воду
Ты наверное станешь рыбой
Андрей Баранов

Если долго смотреть на водку
Очень долго смотреть на водку
Бесконечно смотреть на водку
Ты наверное станешь воблой
Если долго смотреть на строчки
Сочинённые мною строчки
И смотреть читая на строчки
Станешь ты пародистом.

Не можется

и пока за пределы посуды
выкипает кровавая муть
на стекле застывают сосуды
и не можется внутрь заглянуть
Марианна Плотникова

снова замерло всё до рассвета,
гармониста до хаты несут
стихотворю про то и про это
и мутнеет кровавый сосуд
откипел мой анапест до точки
утром встану не скрипнет кровать
и глазеется после на строчки
но не можется заумь понять

Александр Дьячков

В больнице

В больнице

1.

Вдоль наркологички
шёл я по делам.
Из окна больнички
мне сипит мадам:

— Нету сигареты?
Слушай, угости!
Я сказал, что нету,
тут бы и уйти.

Я был неофитом
и уйти не мог.
Начал с кротким видом
затирать урок.

…У окна больнички
нынче сам залип.
Никакие спичи
мне не помогли б.

В общем, если… это…
человека жаль,
выдай сигарету,
проглоти мораль.

2.

Курить не хочется,
но как в бреду,
от одиночества
курить иду.

Маньяки, нарики,
бытовики.
Коплю чинарики,
курю бычки.

А то и целую
стрельну порой.
Что здесь я делаю?
Пора домой.

Светы

Машина проедет где-то
у дома невдалеке.
И пробегают светы
в детской на потолке.

Стоит на окне алое.
На окнах решёток нет.
О, детство моё голубое,
почти что фаворский свет.

Родители смотрят телек,
мне хочется тоже до слёз.
Сяду за дверью, у щели,
на старенький наш пылесос.

Байковый мамин халатик
рядом висит на крючке.
И снова машина прокатит
где-нибудь невдалеке.

Такое вовек не забудешь,
нет-нет да и вспомнится вдруг,
как превращались в чудищ
тёмные вещи вокруг.

Залезу под плед с головою.
Надёжней защиты нет.
О, детство моё голубое,
почти что фаворский свет.

И, может быть, стал я поэтом
(надеюсь на твёрдую «пять»),
чтобы про эти светы
эти стихи написать.

● ● ●

Она звонит,
её звонок
могу узнать
из ста других.

Звонит сказать:
ты одинок,
а от меня
сбежал жених.

Лет пять назад
я был бы рад,
я б всё отдал,
я снял бы крест

за мягкий тембр
и нежный взгляд,
за лживый взгляд
и пошлый жест.

Её сожгли —
она сожгла.
И вот теперь
мне суждено

продолжить цепь
измен и зла
или порвать
в цепи звено.

Сергей Тенятников

Послежитие

Послежитие

После того как меня убили, я поднялся на небо и приземлился на облаке Семь. Мой отец подошёл ко мне и обнял меня. Он налил мне водки. Мы выпили. Я посмотрел на Землю. Она была похожа на одноклеточный организм. Отец спросил меня, как поживают люди и доступны ли им плоды дерева познания. Я ответил, что у людей — как всегда — всё хорошо и что плоды дерева познания я никогда не видел в свободной продаже. Зато даже зимой есть свежая клубника и бананы. Мы выпили ещё пару рюмок. Стемнело, и отец ушёл спать. Я уселся на облаке поудобнее, достал микроскоп и стал разглядывать Землю: грязные, бородатые мужчины гнались за другими грязными, бородатыми мужчинами. Некоторые из них падали и оставались лежать на Земле.

Мои немцы

мои немцы строили дома и дороги,
ходили за плугом, ковали железо,
служили царю, молились Деве Марии,
пекли хлеб, кочевали по Сибири,
жили среди татар, мордвы, староверов,
теряли глаза, существительные, могилы,
целовали землю снова и снова
и уходили под утро, будто домой — из дома.

Личное дело

я кончился на этом месте.
и тень, и отражение, и шаг
теперь живут отдельно от меня.
махнув рукой направо,
я сказал: сворачивай налево.
и тень, и отражение, и шаг
мои ушли направо от меня.
остался только голый голос —
и, как мясник спускает жертвы кровь,
я говорю с людьми о человечьем.
как тонок день, как кровь моя сладка.

Памяти П. Д. З.

не верь никому: ни веку, ни внуку.
из ветки растут твои уши,
из ветра растут твои губы.
там, где ты плывёшь,
воде не нужен стакан,
там, где ты живёшь,
из твоего глаза вылупляется кукушка.
не верь никому, что сумма
сошедшей с ума материи — мертва.
ты сам теперь — распаханная земля:
в тебе больше правды,
чем во всех словах,
в тебе больше надежды,
чем во всех делах.

Титаники

кто не утонет тот будет плыть
будто в океане Надежды нет суши
кто не умолкнет тот будет петь
«Оду к старости»
трепаться о воре
спорить о Боге
пока не поперхнётся ледяным суффиксом
как Титаник веривший в своё железо
больше чем в воду

• • •

за ночным горизонтом
что-то брякнуло
и стало тихо
и прохладно
будто разбился
стакан моего
событийника

Сергей Смирнов

Куда улетают птицы

Женщины, вы таинственны, как птицы,
порхая ли с ветки на ветку,
преодолевая ли стихию за стихией;
звучит из-под небес ваш печальный голос.
Куда зовёте вы нас?

1. Тюльпан для Лизы

В бюро комсомола Лизе сразу сказали:

— Такие нам нужны!

Такие, кто попадал бы из малокалиберной винтовки в огонёк свечи за пятьдесят метров. Не в саму свечу, а в огонёк, в фитиль. Кто защищал бы честь райкома комсомола на соревнованиях и спартакиадах. Кто бы бегал, прыгал, плавал и стрелял, зарабатывая почётные грамоты и нагрудные значки «Готов к труду и обороне».

Нужно же думать о будущем. И ведь действительно,—а если завтра война?

Серый бетонный зал районного тира видел много стрелковых достижений, но того, что делала рыжая девчонка с двумя косичками… Тут и заслуженные биатлонисты одобрительно кивали головами. Может! Через горлышко бутылки—в дно! Посуда не шелохнётся. Через зеркальце? С правого плеча или с левого, всё едино—в цель.

Только остренькие локотки и коленки мешали, стрельба лёжа не нравилась. А вот с колена (подушка с песком подкладывалась) или стоя—нормально. Мастер прирождённый, не зацеливалась, стволом не водила.

Ах, что это была за девчонка! Скромная, отличница, на кафедре её хвалили. Молодого инструктора по стрельбе прислали из райкома комсомола, прозвище прилипло само собой—Снайпер, заглядывался на худые коленки, а она краснела, но не кокетничала, не умела или не хотела.

Снайпер, человек опытный, стрелял и по другим целям. Цветочки мог подарить, простенькие подснежники или ландыши, но со значением,—получалось это у него ненавязчиво и сразу сближало. Девушки таяли, посматривали в его сторону, надеялись на продолжение. А его не было, «динамо» сплошное.

Лизке же букет тюльпанов подарил, отметил особо, а та цветы в сторонку положила и пошла стрелять дальше. Снайпера задело, конечно,—цыплёнок, пигалица же! Но он никак не мог подумать, что у такого цыплёнка уже дочка есть. Мужа не было,—так получилось, а дочка была. Лизкина мать забрала внучку к себе в кубанскую станицу, чтобы молодая мама спокойно училась в институте, и так уже в одну «академку» сходила, хватит.

Тир был на двадцать первой линии, у райкома комсомола, ходили туда. А потом разрядников соединили в одну группу, и они на стрельбище стали ездить. Какая радость—с занятий в институте снимают, и за город! Здесь, среди трескотни выстрелов и особого оружейного запаха, и Снайпер после пыльных бумаг становился самим собой. Стрелял как бог.

А тут эта… Даже без выкрутасов сорок девять очков из пятидесяти—стандарт. Один раз сорок шесть получилось, да и то, потому что на ногу наступили. Вот инструктор её и выделил, преподнёс букет тюльпанов:

— Это тебе, Лиза.

Снайпер был не прост и «динамил» не от скверного характера. Никто не знал, что у него ранение есть, афганская пуля попала туда, куда совсем ей не следовало попадать. Пулька была наша, советская, из АК-74, со смещённым центром. Повезло Снайперу, очень повезло. Комиссовали по ранению, вылечили то, что осталось, направили на оргработу. Оставшееся работало, любовь, как у всех, влечение даже посещало. Но в голове сидело—инвалид-д-д… Цветочки дарил, как все нормальные, не раненные делают, но толку-то что? По-настоящему оттягивался только среди пороховых газов, слушал смачное вхождение свинца, слышал артиллерийский гром и разрывы, лицо плющило, мозг болтался внутри черепа—как в настоящем бою. Помогало не всегда, ночью иногда падал с кровати, хватался за пустое место.

Тюльпаны Лизке подарил и тут же спохватился—так глубоко в него война проникла. В Афгане тюльпаном совсем другое называлось, транспорт с телами погибших ребят, шедший в Союз, «чёрный тюльпан». А потом решил, нет, всё правильно—отвяжись, война проклятая! Цветок красивый и ни в чём не виноват.

Да и эта, девятнадцатилетняя Лиза, Лизонька, всё равно ход мысли «афганца» не поняла бы, про войну не вспомнила, ведь не обстрелянная,

не настоящая, что ли, снайперша, хоть и сорок девять из пятидесяти. Понятно, в тире все уверенно стреляют, а попробуйте, когда «духи» в тюрбанах мельтешат в диоптрическом прицеле и рядом с тобой рикошет за рикошетом! Потом всю вату, какая была, в брюки, озноб и бесконечное ожидание: вот, вот сейчас цвирканье лопастей…

Оргработа — что это? Это не «Альфа» и не «Вымпел». Оргработа — подбирать людей, способных качественно убивать других людей. И знал Снайпер, что будет у Елизаветы судьба не скромного учителя математики, а бойца спецподразделения советской армии. Когда она профессию поменяет и сколько в ней жить будет — другой вопрос, но то, что из снайперского дела так просто не уходят, знал твёрдо. Оно на всю жизнь.

Это и был результат его не очень сложной работы. Он же за два месяца из обычного человека мог убийцу сделать, это тоже мастерство.

И было ему жалко глядеть на худые коленки, представлял, как неудобно ей будет ползать по острой щебёнке где-нибудь под Кандагаром и во что превратятся под шлемом её золотые волосы…

А у девчонки, у Лизки, весна в глазах, апрель. Тающий снег и освобождение от учёбы, сессия ещё далеко, и вся будущая жизнь — нипочём, вот что в глазах было. А про дела государственной важности ничего не знала, не догадывалась, просто стреляла. Для неё это был процесс, движение, сама конечная цель терялась где-то на отрезке между окуляром и мишенью.

До полигона неблизко: полчаса на автобусе или трамвае, час на электричке в сторону Кавголово, там, у пятого вагона, встречал Лейтенант, сопровождал до автобуса с армейскими номерами. Дальше юные стрелки ехали мимо погоста. «Проезжаем кладбище. Пока — мимо», — всегда плоско шутил Лейтенант, а мальчишки и девчонки смеялись, кусали мороженое крепкими зубами: «И правда, рановато нам ещё».

Лейтенант всегда рассказывал что-нибудь смешное, веселил, подмигивал хорошеньким, словно ехали они на дачу, а не на стрельбище, где оружие серьёзное, и подготовка серьёзная, и жизнь уже не детская. Снайперская. И если задуматься — путь в вечную жизненную тень, в двойное дно. Никто из молодёжи зелёной не понимал, куда идёт, кого из них делают. Не понимали, не задумывались, просто спорт, соревнование. И гордость, бахвальство — чемпионы!

Стреляли из траншеи по поясным мишеням: из «калаша», из мосинской винтовки и даже из гранатомёта. Стреляли одиночными и очередями, днём и ночью, с трассерами и без. Учились поражать быстро движущиеся мишени. Разглядывали полигон в оптический прицел, запоминали и анализировали.

Инструктор старался, хотел научить всему, что умел сам. Уметь выживать на войне — это вам не девочек кадрить. А он вернулся «оттуда» живой.

Под конец обучения высший пилотаж:
— Теперь будем стрелять по малоразмерным целям, показывающимся в поле зрения стрелка на короткое время.

Закреплённая за Лизой старая винтовка Мосина-Нагана образца 1891/1930 года хранила прикосновения прежних хозяев — лак на цевье был стёрт до ореховой древесины. На остром ребре приклада — пять едва заметных засечек.

Снайпер со знанием дела пояснил:
— Пятёрка. Пустая цифра. Видимо, стрелку не везло. Пятого фигуранта надо быстро проходить, с ходу, а то можно и самому пулю получить. Примета такая.

Смысл этой фразы дошёл до Лизкиного сознания к вечеру. «Ведь всё это оружие придумано для убийства. Значит, и я элементарно могу превратиться в мишень…» После этого она особенно тщательно стала изучать приёмы маскировки. Зачем — непонятно, объяснить это себе она не могла. Она же не собиралась становиться настоящим боевым снайпером, хотя сразу оценила, понимая кое-что в стрельбе и оружии, снайперскую винтовку Драгунова, которая имела прицельную дальность и скорострельность в два раза большие, чем мосинская.

Рыжая-золотая действительно была лучшей.

Подружка Лизкина тоже ездила, но стреляла не выше сорока пяти. Из пистолета — одно молоко. Конфузилась. А глазки — мохнатые от туши, бордовый маникюр на рифлёной рукояти, — амазонка! Подмигнёт, с коня упадёшь. Для кого глаза и ногти накрашены — вечная женская сущность нравиться, — для Снайпера или Лейтенанта, это уж у неё нужно спрашивать, у Тамары. Глаза серые с синевой, ноги стройные, грудь четвёртого размера. Снайпер, понятное дело, стороной её обходил, она как воронка затягивала, да и Лейтенанту страшновато было вопросы задавать, хотя и очень хотелось.

Прошло два месяца учёбы на полигоне. Обычную программу уже все выполняли, воздух ещё морозный, а поправки на плюс 35 по Цельсию брали. К чему бы это? Инструктор снова терпеливо объяснял, помявшись слегка: «Это теория. Теоретически, так сказать. Понятно?»

Нет, стрелкам было непонятно. «Но если теоретически… тогда ладно».

Из другого спортивного общества Снайпер привёл Ирину. Стреляла она неплохо, девяносто три — девяносто шесть из ста, что говорило о внимательности и настойчивости стрелка, но по морально-волевым качествам отставала от Лизы, так же как не могла сравниться по боевым характеристикам мягкая мосинская пуля с драгуновской, оснащённой стальным сердечником.

Перед весенней сессией инструктор всё же не выдержал, Лизку за грудь взял, но как-то совсем уж неловко, а она на палец его профессионально натруженный и заскорузлый посмотрела так презрительно, что, мол, и ты туда же, а начинал-то красиво, с тюльпанов. Богу Стрельбы пришлось руки убрать и взгляд потушить и извиниться. Тогда-то Лиза про себя горько усмехнулась, а поняла намного позже—попрощаться хотел, только вышло неуклюже.

Через несколько дней Снайпер пригласил в свою каморку при оружейной комнате, где помещался старый кожаный топчан, письменный стол с двумя стульями и облупленный громоздкий сейф. Лиза удивилась—после неловких объятий-то! Но пошла.

За столом вполоборота сидел военный. Пыльное окно находилось позади него, и лицо рассмотреть было непросто, лишь матово лоснилась на горбатом погоне майорская звезда. Стало ей неуютно и страшно, майор же! Он, как Лейтенант, анекдоты травить не будет.

Она не заметила, как Снайпер оставил их вдвоём.

Разговор состоялся быстрый и жёсткий.

— Ну что, на соревнования поедешь в Москву?— спросил майор.

— А учёба, сессия?—поторговалась Лиза.

— Деканат против не будет. Зачётную книжку отдашь секретарю.

Глядя в холодные глаза военного, она подумала: «Ласковые генералы только в сказках встречаются».

— А ехать когда?

— Сегодня. Форму получишь на складе, паёк тоже.

Какой паёк? Какая форма? Ни о чём таком Лиза не думала. Мозолистый палец Снайпера кое о чём, конечно, говорил, но чтобы вот так сразу! И паёк этот армейский, и форма. Форма-то зачем? Может, соревнования окружные?

Майор будто угадывал мысли:

— Наш военный округ—самый большой в СССР, от Питера и столицы, считай, до Владивостока. Потому и форма, и паёк.

— А ещё кто из наших едет?

— Да… Ирина, кажется. Фамилии не помню. Вторым номером.

— А почему вторым?—спросила Лиза. Любой другой вопрос был бы лишним.

Майор некрасиво улыбнулся, будто ощерился:

— Потому что первый—ты. Сколько мы на тебя времени потратили. Кто же ещё будет нашу честь защищать и Родину? Конечно, вы, молодёжь, подрастающая смена! Так… вот, давай-ка, распишись здесь… и… здесь.

Лиза, не читая, расписалась.

— Ну и отлично.

Вот так к трусам и носкам в Лизкиной сумке добавилось три банки тушёнки, буханка чёрного хлеба и аптечка в зелёном противогазном подсумке. Шампунь дефицитный там ещё болтался, удачно приобретённый. Десять рублей в кошельке. Думала, на поезде повезут, а поехали в аэропорт.

Снайпер перед вылетом предупредил и напутствовал шутливо, но по-отечески:

— Москва бьёт с носка, а в Ташкенте яблоки! Жду вас, девчата, с победой!

Он ведь и вправду переживал за своих воспитанниц, знал всё наперёд. Какой такой военный округ защищать поехали.

В салоне самолёта минералки было хоть залейся, и вдоль бортов двадцать глазастых мальчиков-офицеров в голубых беретах, внимания хватило и на Лизку, и на Ирину. Спать хотелось, но глаза сами открывались: внизу пустыни и горы: советская земля, оказывается, так огромна, и вот как почётно увидеть её во всей красе первый раз с самолёта, не каждому посчастливится!

Только почему Москву стороной облетели? Ну, ничего. Зато в Ташкенте, как известно, и тепло, и яблоки!

Офицерики научили портянки мотать, кителя побольше подобрали, чтоб на груди сходились. Подарили по значку с парашютом. Теперь обе девушки были похожи на новобранцев, в коротких сапогах с раструбами и тропических панамах. Лизины длинные волосы тщательно заколоты, а Иринины кудряшки распрямились и ушли туда же, под панаму.

Ира, поглядывая вниз, всё беспокоилась:

— Куда же нас везут?! Экзамены скоро, а вечером мы с Валеркой в кино идём! Зачем соревнования так далеко устраивать? Вот дура я, дура, ещё колготки новые надела!

Ресницы её мелко подрагивали в такт вибрации фюзеляжа, она чуть не плакала.

Лизе тоже было страшновато, но теперь, после разговора с майором и ощущая себя первым номером, а значит, старшей в тандеме с Ириной, она не могла показать своей слабости. «Что тут скажешь!—рассуждала она.—Дура не дура, но думать надо, каким спортом занимаешься». И посмотрев на свой указательный палец, с удовольствием обнаружила, что он ничем не отличался от Снайперского,—подушечка была такой же твёрдой.

От этой поездки ничего плохого или неправильного, что ли, она уже не ожидала. Мысль, что вот едут они, простые спортсменки, от райкома комсомола на окружные соревнования по спортивной стрельбе, совершенно естественно прижилась у неё в голове,—старшие товарищи всё организовали, и действия, и слова их вызывали полное доверие.

Некоторые накладки и непонятности начались, когда самолёт приземлился на грунтовую полосу и в клубах красноватой пыли отрулил к вагончику с анемометром и полосатой «колбасой» на длинном шесте.

Лизка вначале не поняла, куда они с Ириной попали,—силикатные кирпичные бараки под шифером, коровники или конюшни, пыльные вихри в пустых проулках, фанерные туалеты с оторванными дверками, жара и больше ничего. Никаких вам яблок.

Что это и где? Железные кровати, краска казённая, синяя и зелёная. «Это что, такая гостиница?»—на закрытых наглухо окнах копошились мухи.

Встретил их капитан, холёный, лет тридцати, предупредил насчёт присяги и государственной тайны:

— Вы же бумаги подписывали?

Лизка обомлела: государственной тайны?! В чём же тут тайна, в соревнованиях? А может, аэродром этот заброшенный? Так она ни в каком случае не определит, где он находится, в Таджикистане или в Туркмении, в Азии или в Африке?

Но внизу живота похолодело.

— На соревнования—да! А-а…

Капитан нахмурился, и Лиза промолчала. Она ведь не знала точно, что за бумаги подсунул ей майор, и подписала тогда не глядя.

А Ирина, второй номер, тут же подтвердила, что да, если так нужно, то… А капитан хмыкнул—ну-ну! Легенды у вновь прибывших каждый раз были разные.

— Смотрите, ни с кем тут не разговаривайте. Если что, можете сказать, что связистки, летите в штаб дивизии.

Ночью девчонки шептались почти до утра: выхода из этой странной ловушки не было. Они обсудили и то, что никакой это не Ташкент, и яблоками здесь даже не пахнет. Вышли в туалет и тут же вернулись: по кафельному полу шустро передвигались два желтовато-серых паука размером с чайное блюдце. С Ириной чуть истерика не приключилась.

— Это фаланги,—обрадовал их на следующий день капитан,—на мух охотились. Да вы не бойтесь, они только по ночам приходят. Если что, у меня койка есть свободная.

— Одичали вы тут, в своей Кушке!—сразу осадила капитана Лиза. Она и не догадывалась, насколько была близка к истине по поводу их местоположения.

Глаза у него сразу забегали.

И ещё она подумала, что после возвращения расскажет обо всём этом безобразии майору: «Мы всё-таки в советской стране живём, а не на Диком Западе».

И узнать бы хорошо, что она там такое подписала, чтобы каждый встречный капитан не распоряжался ими, как куклами.

Через сутки в четыре утра Лиза и Ирина сидели в вертолёте. Вертушка была старая, с закопчёнными бортами и круглыми залатанными пробоинами. Юный солдат в такой же панаме, как у девчонок, только выгоревшей, и красными погонами на кителе задвинул в салон деревянный ящик и длинную брезентовую сумку. Суеты по поводу вылета не было, всё тихо и спокойно, как на колхозном аэродроме.

Однако думала Лиза лишь об одном—куда и зачем их везут. Может, всё-таки солдат обучать, поправки вводить на плюс 35? Или на военную игру? Вот только личные вещи и даже документы пришлось почему-то оставить в гостинице.

Летели часа два. Хмурый мужчина в плащ-накидке сидел возле открытой двери и, не отрываясь, смотрел вниз, держа автомат Калашникова на коленях. Иногда поглядывал на девчонок красными, казалось, злыми глазами, взгляд был неприятный и оценивающий. Потом достал откуда-то армейский термос и широко улыбнулся:

— Чай будете?

А глаза не улыбались.

Вертолёт шёл по рельефу, проваливаясь в ущелья и взмывая перед крутыми склонами хребтов, потом без прицеливания, с ходу, сел на водоразделе, словно прилепился.

Хмурый взял брезентовую сумку и свой автомат, солдатик с видимым усилием поднял ящик на плечо, и они вчетвером начали спускаться в распадок. Вертолёт с еле слышным посвистыванием винтов остался за гребнем.

В распадке было сумеречно, солнечные лучи только начали пробивать сизую плоскость неба. Нарисованным казался тонкий ранний месяц и рядом с ним яркая помаргивающая звезда. Лиза смотрела на этот мирный пейзаж и уговаривала себя: «Ничего страшного, только чужой и незнакомый».

Тем временем группа перевалила ещё один адыр, голую каменистую складку местности, и остановилась у развала глыб. Склон уходил дальше, вниз, утыкаясь в серую ленту галечника и корявые кустики перед ней.

Солдатик опустил ящик на землю и утёрся рукавом, показав тёмную от пота спину. Хмурый развязал сумку, достал оттуда два автомата, а из отдельного свёртка два оптических прицела и отдал девушкам. В ящике оказались снаряжённые патронами магазины.

Потом показал огневую позицию, и Ирина не удержалась:

— А где же мишени, по чему мы будем стрелять?

Мужчина посмотрел на неё тяжёлым взглядом и усмехнулся:

— Ты бы лучше с машинкой своей разобралась. Видела когда-нибудь такую?

Не дожидаясь ответа, он протянул руку и продолжил:

— Значки вдв—сюда! Дальше, задача: бить по движению. По любому. Желательно прицельно, на поражение.—И махнул рядовому:—Пошли!

Девушки растерянно оглядывались, неловко держа автоматы. Лиза положила свой на левый локоть, как держат ребёнка.
— Э-эй! — тихо крикнула она вслед уходящим.
Старший оглянулся и рявкнул:
— И не спать, девки, не спать! Всё!
Первые несколько часов Лиза и Ирина пролежали за камнями в десяти метрах друг от друга тихие, как мышки, вглядываясь в дикую безжизненную долину. Иногда казалось, что там что-то движется, и сердца их замирали от страха. Через оптику хорошо было видно, что это движется воздух, поднимая камни, кусты, чёрные тени над разогретой солнцем поверхностью.
— Вот теперь понятно, зачем нужна поправка на жару, на 35 градусов, — первой сообразила Лизка. — Я, кажется, поняла, где мы находимся… в Афганистане.
— В Афганистане?!.
Слово это повисло между ними, словно ожившее привидение.
— У вас что, в институте политинформации не было? Ограниченный контингент советских войск уже два года там воюет. А инструктор наш, Снайпер, ничего тебе разве не говорил?
— Мамочка, — пролепетала Ирина, — я домой хочу.
«Я тоже», — подумала Лиза, а вслух сказала:
— Успокойся. Попали так попали. Дорогу домой теперь ещё заслужить надо.
И добавила уже по-солдатски:
— Ничего, заслужим. Ты успокойся только.
Ирина немного утихла, но ресницы её продолжали дрожать, как в самолёте перед слезами, она часто моргала и одёргивала китель. Плохо затянутый форменный ремень совсем ослаб, и бляха со звездой смотрела в сторону.
Попробовали загорать, сняв гимнастёрки и отогнув поля шляп, улеглись на плащ-палатки, но страх тут же вернулся. Показалось, что кто-то холодно и пристально смотрит на них, полуголых, из-за ближайших глыб. Сначала Ирина, затем и Лиза испуганно вскинулись и, озираясь по сторонам, быстро оделись и расползлись по своим местам.
Потом они вспомнили про еду и, развернув бумажные пакеты, обнаружили в них сухую колбасу, по пять варёных яиц, соль в пакетиках, по два огурца и немного хлеба. Лиза сразу подсчитала, что такого количества еды им едва хватит на день. Ещё было четыре фляжки нагревшейся на солнцепёке воды.
— Так нас же скоро заберут, — радостно сказала она, чтобы поддержать напарницу.
— Или вообще не заберут, — с детской обидой ответила Ирина. — Зачем им на нас ещё и продукты тратить.
— Ты что, Ирка! — почти крикнула Лизка. — Ну-ка соберись! Это же просто военная игра! И Ташкент совсем рядом!
— И патроны холостые, — уже улыбаясь, добавила Ирина.
— Да, вот, давай посмотрим, — засмеялась Лизка.
Но патроны оказались настоящими, боевыми. В каждом магазине по десять штук, жёлтеньких и остреньких. Таких «машинок», как сказал старший, девчонки действительно не видели, поэтому решили пристрелять оружие, как их учили на стрельбище.
За этим занятием, увлёкшись, они и провели остаток дня. Но когда солнце приблизилось в своём неторопливом движении на запад к вершине горы позади них, осветив золотистым светом скучный пейзаж галечниковой долины, они услышали ответный выстрел. Лизе показалось, что она даже видела вспышку.
— Вон там, сзади кустов! — крикнула она, но получился не крик, а еле слышное сипение из разом пересохшего горла.
— Где?! — Ирина лихорадочно водила стволом, пытаясь поймать в оптический прицел малоразмерную цель.
— Не торопись, — снова просипела Лизка, — вон ещё один.
— Они живые. Стрелять? — опять спросила Ирина.
Лиза не смогла ответить ей, потому что увидела пятикратно приближённую фигуру в бесформенной защитного цвета одежде со странным колпаком на голове. Низкое солнце било нападавшему прямо в лицо, и Лиза с ужасом увидела бронзовые щёлки его блеснувших глаз.
«Да он же совсем рядом», — ужаснулась она и оглянулась: нет ли сзади старшего, который привёл их сюда и который мог бы сейчас сказать, что делать: стрелять или не стрелять, игра это или нет, ведь человек, мелькнувший в прицеле, не сделал ей ничего дурного, не обругал, не ударил, от него не исходило никакой угрозы, и имеет ли она право вот так легко и спокойно убить первого попавшегося человека, пусть и вооружённого, выстрелить в него, как в обрезок дерева.
Но сзади никого не было. Быть может, это солнце ослепило её, потому что она всё время ощущала присутствие третьего, но не того, что прятался внизу за кустами. Лиза увидела всю картинку с большой высоты, как бы глазами этого третьего: две фигурки за камнями, ползущих к ним из долины и стреляющих людей. За горизонтом на севере светилось зарево Ленинграда, а в стороне по левую руку одиноким островом белел станичный родительский дом…
Снизу ударило два раза, потом три очередью и ещё один. Пули прошили вечереющий воздух и ушли за гребень. Следом запрыгало среди камней эхо. Справа в десяти метрах напряжённо вглядывалась в сторону долины Ирина, щека её некрасиво морщилась, а узкая спина выглядела совсем беззащитной.

Время, показалось Лизе, побежало в десять, в сто раз быстрее, и этот ужасный человек с огненными глазами, которого она видела в прицеле, уже где-то рядом, стремительно перемещается в её сторону, к ней, только к ней одной, так нелепо выглядящей с вывернутой шеей и приподнятой винтовкой на обнажённом каменистом склоне.

Внезапно всё стихло. Ни шороха ветра, ни птичьего пения,—только звон в ушах. И никакого шевеления в долине.

Девчонки полежали, прислушиваясь и вглядываясь в наступающую темноту. Они снова были одни, и они были живы.

Ночью они поспали, вернее, впали в чуткое забытьё, завернувшись в негреющие плащ-палатки; очнулись до рассвета, ожидая каждую минуту низкого гула летящего за ними вертолёта. Они ни о чём не думали и ни о чём не говорили, только ждали, как два маленьких испуганных зверька ожидают, прижавшись друг к другу, спасительного восхода солнца.

Утром вертолёт не прилетел, и никто за ними не пришёл.

Осторожно приподнявшись над бруствером, они оглядели местность вокруг своей маленькой крепости. Внизу, в проснувшейся долине, тоже не было никаких видимых изменений. И у них не возникло мысли спуститься туда и проверить это. Они собрали стреляные магазины и гильзы, как делали это в тире и на стрельбище, прикинув, что на пристрелку израсходовали по два магазина.

Получилось, что по людям они не сделали ни одного выстрела.

Ирина высказала здравую мысль:

—А что, если они нас просто обошли?

—И ушли совсем,—продолжила Лиза.—А если нет, то мы об этом узнаем очень скоро.

Странная военная игра продолжалась, стрелки перешли на следующий уровень, и нужно было к нему готовиться. Однако на подсчёте патронов подготовка, собственно, и закончилась. Они легли валетом, чтобы наблюдать местность в обе стороны, и болтали обо всём, что придёт в голову.

Когда солнце прошло зенит, за кустами опять замелькали зелёные силуэты. Раздалась автоматная очередь, потом ещё и ещё, количество выстрелов уже нельзя было сосчитать.

—Не обошли! Не обошли-и!—радостно кричала Ирина.

Лёжа за камнем, Лиза слышала тупые удары пуль, летящих из долины, их завывающие стоны после рикошета, когда они, разбрызгивая каменные осколки и бешено вращаясь, улетали дальше в поисках незащищённого, так легко пробиваемого человеческого тела.

«Да, они хотят нас убить, потому и не обошли,—спокойно и отрешённо думала Лизка.—Земли вокруг очень много, и они могли бы пройти мимо, если бы им была нужна земля. Но им нужны мы, только мы. Когда они нас убьют, они пойдут дальше, такая игра».

Лиза приподнялась и посмотрела в прицел.

«А как же дочка будет без меня? Как она будет на такой гигантской земле одна, кто ей подскажет, кто научит, как жить, с кем дружить, кого любить, а кого… стрелять!»

Она сосредоточилась и начала выбирать ближайшие цели и без размышлений заученным движением указательного пальца нажимать на спусковой крючок. Палец этот очень быстро устал и казался ей огромным и распухшим. После каждых двух-трёх выстрелов Лиза переползала или перекатывалась то вправо, то влево, вспоминая наставление по ведению снайперского боя, и мысленно делала засечки на прикладе. Так было спокойней.

«Пятого фигуранта проходи быстро, с ходу»,—вспомнила она слова Снайпера.

Лизка услышала, как ойкает Ирина после каждого удара неприятельской пули о камни.

«Ну, давай же быстрее, где ты, пятый!»

Нападающих в прицеле было много, но Лиза догадывалась, что они просто быстро перемещаются, переползают за камнями и кустами, поэтому надо стрелять и стрелять, и тогда они отобьются. Позиция у них с Иркой хорошая, и ещё подсветка солнцем. О том, что будет через час или два, когда наступит темнота, не думалось.

И ещё пришла мысль, что надо экономить патроны. Она прекратила стрельбу и прислушалась. Издалека прилетел звук последнего выстрела. Солнце, как по команде, скрылось за горой, и тень горного хребта поглотила их стрелковую позицию и спустилась в долину, снова сделав её серой и безжизненной.

Они отбились! Отстрелялись!

Лиза не задавала себе вопрос, кто и, главное, зачем, подверг их такому неженскому испытанию, бросив зелёных и необстрелянных в настоящий смертельный бой. Она просто радовалась, что осталась здесь, на земле, дышать, вдыхать горький ветер, стекавший сверху в долину, смотреть на звёзды, пусть незнакомые и чужие, пить тёплую с привкусом металла воду и… жить дальше, не оглядываясь назад и не гадая, какие ещё испытания приготовила ей судьба, изменившаяся за последние несколько дней, и особенно круто за эту сорокаминутную перестрелку…

—Ира, Ирочка!—негромко позвала Лиза.—Они ушли…

Но Ирина не отвечала и даже не шевелилась, панама валялась рядом. Лизка испуганно оглянулась в наступающей темноте и поняла, что осталась одна. И это, пожалуй, было пострашнее, чем заглядывать в нечеловеческие, расплавленные яростью глаза вражеских стрелков. Стиснув зубы,

она подползла к Ирине, тронула её за плечо, потрясла, потом взялась за голову и тут же отдёрнула руку: там было что-то мокрое, холодное, скользкое.

— Так вот как живёшь ты здесь, ограниченный контингент,— еле выговорила она, трясясь мелкой нервной дрожью и слыша стук собственных зубов.

…Очнулась Лиза ночью, от холода. Перевернувшись на спину, она с тоской смотрела на мерцающие звёзды и думала, что нет на свете такой силы, которая могла бы забрать, унести её отсюда. Ей стало жалко себя, маленькую дочку, мать в далёкой Кубани, Ирину. Слёзы текли по щекам, щекотали за ухом. Звёзды стали двоиться, перемещаться по куполу, оставляя за собой голубые огненные хвосты. Они падали и падали и никак не могли долететь до земли.

Линия их вчерашнего огня разграничивала теперь Лизкину жизнь на «до» и «после». В «до» Лиза не хотела, потому что снова надо было бы стрелять и снова умирать от страха быть убитой или, ещё хуже, раненной, искалеченной или захваченной этими страшными людьми с горящими глазами.

А в этой, «после»? С неба, как сгоревшие судьбы, летели звёзды, ничего не освещая, проживая свои земные жизни за доли секунды. Рядом лежала мёртвая Ирина и чёрная чужая ночь.

Куда идти? Что делать? Чего ждать?

Стреляться, что ли?

Она вспомнила старшего, человека с пустым взглядом, который привёл их сюда и бросил, ничего не объяснив, не сказав ни одного ободряющего человеческого слова, и ушёл, вычеркнув их, двух девчонок, из текущей мирной жизни, как будто захлопнул глухую тяжеленную дверь. А тот капитан со своей присягой и государственной тайной? Неужели в Советском Союзе никто не знает, что здесь идёт настоящая война и наших парней убивают, просто так, ни за что! При чём здесь присяга! Сами они, что ли, напросились?!

«Он что, совсем того?!— распалялась она.— Мы с Иркой здесь тоже не по собственной воле объявились! А он, он наверняка знал, всё знал!»

Холёный его вид и тогда вызывал в Лизке отвращение, как и его мерзкие многозначительные взгляды, гнусные предложения и пугающие паузы, когда он говорил о подписке. Сейчас, под этим звёздным дождём, всё стало настолько ясно и очевидно… Так бы и всадить ему пулю в лоб!

«И потом,— вдруг зло подумала Лизка,— а что мы тут защищаем? Родину? Да это же просто наивняк! Мы же захватчики! Агрессоры!»

Ей стало страшно.

«Да что же нужно со мной, с…— «комсомолкой», хотела она сказать,— сделать, чтобы у других охота пропала лезть с этими пушками и вертолётами в чужую страну! Растереть и по ветру пустить!.. Кого — меня?.. За что? Я же ни в чём не виновата! Они привели меня сюда, не объяснили, не сказали — зачем… Как же мне убежать, скрыться отсюда, ведь земля такая большая, ведь земля… такая…»

И тут же лихорадочно решила: «Я хочу и должна вернуться… они должны за мной прийти… ну как же мне бежать отсюда?.. Еды мало, значит — они придут, обязательно придут, Ирку заберут или закопают, а меня оставят, точно, я даже не ранена! А присягу они мне подсунули! Что-то же я подписывала! Везде обманули, везде подставили! Но раненых же не заставляют воевать? Пусть они сами тут разбираются… Господи, я жить хочу, мне домой надо, в институт, к ребятам, к дочке…»

Так рассуждала рыжая наивная девчонка с двумя косичками, лёжа в обнимку со снайперской винтовкой в глубине афганских гор.

Тут ей так некстати вспомнились тюльпаны и сам Снайпер со своим бессмысленным напутствием. А ещё обниматься лез! Ей стало до невозможного обидно.

В предутреннем сумраке Лиза осторожно заглянула в бездонную черноту ствольного зрачка, долго смотрела в него. Попробовала дотянуться рукой до гашетки, не смогла. Вспомнила, что нужно сапог снять, и большим пальцем ноги… Нет! Не-ет…

Секундная эта задержка отрезвила, просто спасла. Лиза перевернула винтовку прикладом к себе, оглядела светлеющие горы.

Тихо. Тихо… Могильная тишина.

…Серый бетонный зал районного тира видел много стрелковых достижений, но того, что делала Лизка, не мог никто,— тут и заслуженные биатлонисты одобрительно кивали головами. Может!..

Она крепко-накрепко зажмурила глаза, приставила к пыльному кирзовому сапогу дульный срез винтовки и нажала на спуск…

2. Дважды краснознамённая, или Гарнизонные новости

…И однажды Лейтенант всё-таки решился спросить у не очень меткого стрелка Тамары, для кого она ресницы красит, а та неожиданно ответила:

— Может, и для тебя! Сам догадайся!

Лейтенант был на два года старше, на полигон попал после артиллерийского училища, говорил, что повезло, на дальний гарнизон не отправили.

— Ну и что, что стрельбище, зато в Питере,— говорил он ей, а сам мечтал, конечно, о суровых походах, но Тамаре не признавался, а вдруг откажется от далёкого гарнизона. Девчонка-то огого, и фигуристая, и с норовом. Да и не только в удалённости службы было дело — за границей, в горах шла война. Как молодая жена посмотрит на то, что муж поедет исполнять долг перед Родиной и обратно не вернётся? Была определённая боязнь.

Любовь! Любовь…

Водил её в Дом офицеров на улице Пестеля, танцевали, прижимались. Тамара подружек с собой

приглашала, и Лизку, и Ирину, но те как-то быстро отказались, Лизке далеко из общаги ездить, а Ирина сказала, что ей военные не нравятся, грубые они какие-то, наглые и дешёвым одеколоном пахнут, «Шипром». Не захотели подружки генеральшами стать. А Тамара, наоборот, на тренировки стала опаздывать или вообще не являлась, говорила, из парикмахерского училища не отпускают, надо зачётные стрижки сдавать, а сама старалась, вытаскивала летёху в большую жизнь, за забор стрельбища, приглашала в театр, на концерты, в кафе, повышала гражданский кругозор артиллериста.

Тот и рад был уйти от казармы и казёнщины, одеколон поменял, считал, так и должно быть,—девушка подтягивала под свой уровень. В училище с культурой плоховато было, всё больше по военно-патриотической теме проходились,—комсомольские собрания в «Ленинской комнате», рефераты писали на тему «Подвиг Александра Матросова», как в школе, или—«Действия военных дипломатов в Карибском бассейне». Ещё бы русско-турецкие войны вспомнили, на заре артиллерии!

Зато в увольнении было всё культурненько—по портвейну, и в общагу к торфоразработчицам, дурака под кожу загнать. На халяву сладенького всем хотелось, не только курсантам.

Но с Тамарой другое было, не на одну ночь, не на неделю, закружило, понесло, весна—дело серьёзное. Тома обороты набирала, тащила лейтенанта Вову со стрельбища, как с кладбища, о котором он так глупо пошучивал.

—Мимо, мимо!—смеялась грудастая Томка.—В светлое будущее по законам артиллерии! Вы же сами не знаете, куда стреляете!

Лейтенантская мать жила в деревне на экологически чистом молоке и картофеле, выкармливала свиней, а сад давал гигантские урожаи яблок, сливы. Не было недостатка в вине и самогоне, и денежки водились,—крепкий колхоз попался. Но ехать из города в деревню было не модно, хоть для лейтенанта, хоть для генерала, поэтому двинулись в сторону столицы, поближе к генеральному штабу, а значит, подальше от войны, бедности и голода. Верили—голода всё-таки не допустят; бедности, вкусив её, не боялись, а военные конфликты—это не навсегда. И потом, интернационалистами были в большинстве своём срочники, всё больше курские и орловские, брянские ребята, мотострелки, пехота.

Свадьбу играли в колхозе, конечно. Богатая мать-колхозница всплакнула:

—На что жить-то будете…

На что жить, у молодых всё ясно было, а вот где жить—стоял вопрос! Не в деревне же.

—Я тут кого стричь-то буду, коров или лошадей?!—скривив губы, плевалась Томка.—Я что, свой диплом на помойке нашла?!

Летёха от такой грубости черствел, замыкался в себе, думал о дальних гарнизонах: как же там-то будет, если здесь уже бежать хочется! А-а, ладно, сегодняшним днём надо жить, и тёмна ночка брала своё, ночью у них всё было нормально.

Перебрались к Томкиному отцу, в захолустный городишко в ста километрах от столицы. Со службой повезло: через товарища по училищу устроился старлей Владимир в пожарники в ракетную часть. Тамара к тому времени окончила своё парикмахерское училище, заняла на выпускном конкурсе второе место, съездила в Прибалтику, то ли в Литву, то ли в Латвию, там ещё один диплом получила, то есть работой, а главное, вниманием и средствами к существованию была обеспечена, но только на своём уровне, до генеральского ещё… ой, шапка падает!

А вот с жильём вышел прокол: отец Тамарин, дед Лёша, инвалид без обеих рук, так прижился в двухкомнатной квартире после смерти Тамариной матери, что пускать туда никого не хотел, кроме квартирантов. И помощь дочери по обиходу тоже отверг, так как имел подающую надежды на совместную жизнь приходящую женщину. Пришлось молодой семье делать своего первенца в гарнизонной общаге.

У Тамары была ещё старшая сестра Нина, безропотное работящее существо. После института она скоренько выскочила замуж за москвича и совершала трудовые подвиги на почтовом поприще, а точнее в посылочном отделе. Мощный поток отправляемых на периферию фанерных и картонных ящиков держался довольно долго, лет десять или пятнадцать, и Нина пересидела всех заслуженных работников, в основном одиноких женщин, став начальником отдела. Но это потом, потом… А сейчас никак, кроме небольшой денежной помощи, не могла помочь молодой семье.

Мать Тамарина умерла, когда Томочке было всего четырнадцать лет, так она без матери и отца мыкала дальше.

Дед Лёша попивал с квартирантами, смерть бывшей жены на него впечатления не произвела:

—Да-а, девчонка совсем была, на ткацкой фабрике работала. А уж мужики её любили! Ладно, Вова, давай по махонькой. Ты там за Томкой-то приглядывай. Она вся в мать, бедовая, не то что Нинка. Да и Нинка не подарок, корова коровой! Ну, Москва, ну, квартира, а внуки-то воздухом должны дышать, а не бензином. Я-то, вишь, инвалид, жить надо, а вы молодые, заработаете.

Сначала дед Лёша говорил, что в партизанах воевал и ему в гестапо руки отбили, прикладом или колуном, а потом рассказал, как оно, видимо, и было на самом деле. Когда немцев отогнали, много всего взрывоопасного по сараям и лесам валялось, вот они с пацанами и попробовали рыбки глушануть. Дед Лёша один в живых и остался, но без рук.

— Ну, по махонькой…— культяпки у него были раздвоены, чтобы рюмку взять или папиросу, спички тоже сам зажигал.

Лейтенант Вова рассматривал фотографии новой родни, тёща молодая в белом платье и белых же носочках, то с одним в обнимку, то с другим, темноволосая и смеющаяся, Нинка на горшке, Томка в коляске, двоюродный брат деда Лёши, несостоявшийся генерал, тоже улыбчивый, в полковничьей форме и папахе.

— Здесь на кладбище похоронен…— дед Лёша прослезился.— Ну, за упокой, по махонькой…

— Убили его,— крикнула Тамара из кухни.— После академии, генеральской должности не поделили.

— Во-от, лучше в штабы-то не лезть, на пожаре тоже можно орден получить и выслугу.— Дед Лёша очередную прикуривал.

— И то пра-авда, но я всю жи-изнь в парикмахерской сидеть не бу-уду,— пропела Томка.— И лысых май-оров стри-ичь! Ха-ха-ха! Поехали домой, тебя хочу.

Лейтенант слушал все эти разговоры с нарастающей тревогой, генеральская должность отодвигалась дальше и дальше.

Первенец родился здоровенький, Альбертом назвали, на имена мода такая была.

В общаге как в общаге, кто женатый, кто холостой, а жизнь у всех общая. Старший лейтенант уже по выслуге к капитану подбирался, людьми командовал, а после бессонной ночи с орущим бутузом на руках, на разводах по утрам еле языком ворочал, слово «коммунистический» еле выговаривал, в глазах меркло, спал, где сидел или стоял. На пожарах только не до сна было, показывал чудеса храбрости. Но в гарнизоне почти не горело, сельсоветы в основном просили: то изба, то сарай.

— Милай, приезжай скорея, уся дерёвня сгорить!— кричали ему в трубку. А ему — только до постели бы добраться. Но ехал и тушил. Погорельцы за помощь меньше литра не давали. Вваливался домой «на автопилоте» и падал под вешалкой.

Поначалу Томка терпела, встречала после службы не растрёпой — малыш сопит накормленный, щи на столе, котлеты. Разморённому лейтенанту только бы до постели добраться, а жена, прихорашиваясь:

— Очень мы уж это дело любим.

Обнимала мягко, держала твёрдо.

Как второй родился, не поняла, вроде предохранялась. Альберт тёмненький, а этот, Мишка, светленький. Тамара лисий глаз свой прищурила, вспоминать стала.

— М-м, на пограничника похож… Или на особиста?

Капитан Вова виду не подал, напился на службе, выговор от полковника получил, зубы сжал, а дома разбуянился:

— Н-на вот тебе… Не всякая парикмахерша до генеральши доживёт!

Тамара с синяком на оба глаза, капитан на бессрочной службе, всех друзей подменил, две недели дома не ночевал, потом отгулы взял по уходу за ребёнком и зарплату в ресторане прогулял с молодухами из санчасти. Ему ещё выговор, уже от замполита, по партийной линии. Томка, ласковая, простила, плакала, слёзы фонтанными струйками били, как у клоуна.

Через неделю опять загул. А тут в соседний полк вертолётный пополнение пришло. Молодые, лихие, крылышки на плечах, и голодные, как волки. И времена удобные, безответственные,— одна война уже кончилась, другая ещё не началась.

Один, лейтенант Олежка, как был в комбинезоне, так после полётов к ней и завалился, фурага набекрень.

— Я тебя давно… приметил,— прохрипел он, волнуясь. Но сказал твёрдо:— Ты — моя!

«Салабон же, господи,— опять всплакнула Тамара.— Ну и ладно, мой-то там тоже не у старушек».

— Пожрать-то дай чего,— скомандовал из кровати Олег,— а то так на тебе и загнусь без орешков, зверушка ты моя.

«С таким мотовилом ведь и правда загнётся»,— подумала она и перекрестилась. А у самой всё дрожало внутри, и от сладости, и от страха — что будет?! Двое детей, не девочка, и опять с летёхи начинать?

Подруга, жена пограничника, так ей рассудила:

— Надо сразу за генерала выходить, а ты с лейтенантов начинаешь, так и жизни не хватит, прикинь.

Но лейтенант Олежка был слишком уж сладкий и на четыре года моложе, это тоже плюс.

— Генералы-то старые уже, да и где их найдёшь, а с милым рай и в шалаше.

— Если милый — атташе.— Это умная подруга ей. Но помогла: и с детьми посидела, и ключи от огородного бунгало дала.

— Ты, Тома, моему майору только ничего не говори, а то и меня в одну кучу с тобой свалит, мне как-то обратно в лейтенантши не с руки, сколько сил в него вложила.

Долго прятаться по сараям Тамаре с Олегом не пришлось — осенью капитан Вова, пьяный, попал под электричку. Кому повеситься суждено, тот не утонет.

Через полгода, выдержав траур, краснознамённая вдова капитана ракетных войск Владимира Петрова вышла замуж за лейтенанта-техника Олега Дубосекова. Им дали малогабаритную квартиру в семейном общежитии, и через семь месяцев у них родилась дочка Женечка.

Бывшая свекровь семью погибшего на рельсах сына не оставила — внуки же там. Кому, как не им, свою жизненную философию передавать. Снабжала и банками, и деньгами, картошку мешками, мясо

тазами, Альку с Михой к себе на всё лето. Свёкор сам в себе жил, его и не видно было, под полотенцем прятался от горя и позора и винил во всём невестку. Внучат по головке только погладит, и опять на рыбалку, благо озеро рядом. А если б не было озера, в лес бы ходил,—нашёл бы куда спрятаться.

Олежка за жену и мальчишек Томкиных горой стоял и почти не ревновал. Но если что, бил один раз, второй—«по крышке гроба». Хотя бить нужно было по другому лицу, по скуластенькому, в колокола—уже бесполезно, Тамара мужиками крутила, как хотела.

Ну, Олег и моложе был, и просто молодой, неопытный, жену обнимал крепко, целовал нежно, верил. Мало ли что у неё в прошлом было, это капитан Володя со своей задачей не справился, пустил на самотёк. Вот и результат: дети от разных отцов. От кого—неизвестно.

Дубосеков решил младшего, Миху, усыновить. Тамара нарадоваться не могла на такую заботу, вообще забыла, что в генеральши собиралась, расцвела от счастья.

Олег был родом из Полесья—мать работала в школе, отец в детской поликлинике, старший брат ни в мать, ни в отца, никакой рассудительности: то рыбу удить, то в автосервисе «зайцы» на «долари» пересчитывать. А младший—умненький такой, в техническое училище поехал, вот и будет опора в старости.

Соседи судачили:

— Зачем мальчика в военное училище отпустили? Россия всю жизнь оружием бряцает, не пожалеет она и этого! А он ещё и на москвачке, дурак, женился, и жена старше него да с двумя дитями! Ой-ёй!

А им-то, молодым,—хорошо! И в семье командует уже не Томка со своими закидонами, а упругий, как лопасть вертолётная, лейтенант Дубосеков. Порядок железный, всё по расписанию, профессия обязывала. Тут Тамаре нелегко пришлось после пожарной-то вольницы. Ладно, бабушка Альберта к себе в деревню забрала молодой семье помочь, а Миху Олег усыновил—слово дело!—чтоб всё по-честному. Пытался, правда, выспросить у жены, почему разные такие, и по лицу, и по характеру, один чёрный, другой—белый. Жена руками разводила—эволюция, дарвинизм проклятый, а про себя-то: пойди, догадайся, когда особисты по пять раз в году меняются.

Короче, вертолётчик под прошлой Томкиной жизнью подвёл жирную черту.

Подруга Тамарина, жена пограничника, никак не понимала:

— Ты прикинь, прикинь,—не ревнует! Ты за кого замуж вышла?!

Майор пограничных войск в руках жены был как чебурашка, глаза на лбу и уши колыхались. Изитская народность катала его женщину со спины на живот, не успевала она коленки подгибать, а дома всегда были лаваш и свежая зелень. И куда только пограничная наблюдательность подевалась!

— Да ты что,—говорил он Дубосекову,—я её в деле видел, на таджикской границе. Она, как собака, на нюх их брала!

Так со стороны посмотришь, сидят люди у мангала—хорошо всё, по-семейному. Одна пара в зелёном камуфляже, другая—во всём синем авиационном, баранину жарят. Разговоры о будущем, одному большой звезды хочется, другому маленькой. Радио свои темы добавляет, музыкальные, танцуют женщины. Одна как боксёр в грушу лупит, другая как птица—крыльями колышет, нет, перьями, или как рыба—плавниками. Улыбки, смех, в глазах—сплошная тайна, без неё скучно. Охотники и рыбаки смотрят, оторваться не могут—какую же выбрать, а их самих уже выбрали, есть уже выбор, состоялся: любимые с любимыми, огонь, текущая вода… Уже нет сомнений: моя-то лучше всех, а мой-то, мой!

Эх, любовь… Любовь!

А в декабре началась следующая война.

Это только так кажется, что войны как-то по-разному начинаются, и не будет никогда, как в сорок первом: как гром среди ясного неба, после сообщения по всесоюзному радио и заметки на первой газетной полосе. Нет, всегда это одинаково больно и страшно. Сердца матерей и жён заранее чувствуют, и свечка у них всегда припасена, чтоб за родного попросить. Только Бог, Он для того и Бог, чтоб никому ничего не обещать.

Люди, сами разбирайтесь!

Пограничник трудился в должности зампотеха, заведовал складом гсм—соляра, бензин, керосин авиационный,—жена его так захотела и устроила и точку на рынке открыла, пограничник и там и тут успевает, и бензинчику отлить, и товар привезти и разложить, а потом и забрать.

Олег в первых рядах в командировку—транспортно-десантная же авиация, переброска войск, боеприпасов, продовольствия. Через полгода вернулся, целый и невредимый. Возмужавший. Иномарку сразу к подъезду. Детям обновки и игрушки, обожаемой супруге Томочке—серьги с бриллиантами.

Любовь? Любовь! Счастье? Счастье! Улыбки с лиц не сходят! А очередного особиста собака покусала! Хуже новости в гарнизоне нет! Значит, отличные новости! Ну а двенадцатого августа и двадцать восьмого мая общий с соседями сбор, пьют не напьются—под чистым небом граница на замке. Вот такой коленкор.

Дочка Женечка уже говорить начала, третье слово—«пропеллер», вся в папу. А папа снова на войне, на жёстком креслице,—«бортач». Пистолет не смазывал. Если что, комэска волю рукам даст, не скажешь, что жестянка в небе летает. Второй пилот туда стажёром ещё пошёл, но звезду очередную

уже за хвост прихватил. И на земле они — боевой экипаж, держатся дружно, не подходи!

Семье старшего лейтенанта Олега выделили квартиру в городе-спутнике, рядом с аэродромом. Боевые товарищи через день в хлам, Тамара жарит-парит, диплом литовский или латвийский уже не помнит и на кого училась — тоже. Конечно, на жену боевого офицера!

Да и при чём тут это? Детей трое, любящий муж. Семья. Полная чаша. Норковая шуба — всего-то одиннадцать боевых вылетов…

Тамара к мужу льнёт:

— Олежка, неужели так будет всегда?

Сглазила. Нельзя такие слова произносить!

Тут же и началось. В соседнем доме беда — штурман пропал без вести. Тамара не верила, чёрный платок на голову и туда — в горе. Жена пограничника закуску готовит — сама ни жива ни мертва, майор на два дня запьёт где-нибудь, так и то тревожно, а тут…

Разговоры до утра. Уже не тревожно, а страшно, — восточные люди подходят к детям на детской площадке:

— А отэц твой — кто?

Дитя несмышлёное:

— Лётчик!

— А гдэ он?

— В командировке.

— Ну, на конфэтку. А фамылия твой?

Олег ещё не вернулся, а слухи дошли: штурмана-наводчика свои забыли, увлеклись, бомбы успешно покидали, а про него, наводчика-то, и не вспомнили… «Чехи» голову героя к КПП подбросили. Значит, не без вести пропавший, семья будет пенсию получать, позаботились…

Гвардии старший лейтенант Дубосеков прилетел, визги послушал, бабам сразу мозги вправил, не глядя в глаза и на возраст. От себя добавил:

— Знали, за кого замуж выходите. Другого ничего не умеем…

Комэска вертолётный молчал, держал паузу, папиросы курил одну за другой, руки не дрожали, но взгляд был пристальный, пробивал до самой души, до последнего закоулка, и желваки ходили. С ненавистью смотрел на пьяную растрёпанную жену:

— Ты мне ещё попробуй только к самолётчикам сходить! Всю их поганую общагу на капот поставлю!

Поминальную рюмку поставили в красный угол, под икону Святого Георгия. А пилось с бомбёрами тяжело, с драками и похмельем. Самолётчики были виноваты в гибели штурмана, и комэска, воевавший пятую войну, перестал помнить их.

А с домашними и друзьями — опять река, фиолетовые угли, ракеты до утра, но веселья поубавилось. Тамара и про гордость, и про спесь забыла, целовала, как в последний раз. А Олег как деревянный стал, война не взяла, так и спирт теперь, как вода, не берёт.

Война всё больше поворачивала свой внимательный взгляд к стране, которая её начала, заглядывала во дворы и окна. После штурмана погиб целый экипаж — два лётчика и бортач, про рядового-стрелка едва вспомнили, нашли через два месяца, — хоронили всем гарнизоном, на кладбище стоял вой. Беременную гражданскую вдову второго пилота несли на руках.

Комэска Курнашов выскочил, вынырнул с кладбища, как из омута, хватая ртом воздух, без шапки, под куцым распахнутым бушлатом на парадном кителе боевые ордена трёх государств, шёл, не видя ни белого снега, ни солнца, дыхнул морозным паром:

— Не могу… мужики… не могу-у…

Такие же седые не по годам смотрели ему вслед.

«Ни пенсии у неё не будет, ни квартиры, только сирота», — пожалела вдову Тамара.

А дома, глядя на норковую шубу, на одиннадцать боевых вылетов, робко спросила мужа:

— Олежа, а сколько… ты убил?

Муж ответил как-то совсем по-взрослому, как будто прожили они вместе лет тридцать:

— Да ты что, мать, успокойся! Мы ж харчи и водку возим! Не веришь, у комэски спроси.

Четыре вдовы собирались иногда вместе, пили водку, но не помогало, говорить было не о чем. На улице, казалось им, все на них смотрят — одиночество медленно поедало их, а горькие мысли о несправедливости жизни лишили сна и надежды, — это был замкнутый круг, память об их погибших мужьях стала символом геройства и беспримерной большой жизни, но не пускала их в будущее.

В гарнизоне торжественно и скорбно открыли памятник с портретами штурмана-наводчика и сгоревшего экипажа МИ-8МТ. Местное общество смотрело на вдов пристально и оценивающе.

И жизнь теперь потекла по инерции, продолжалась, словно на излёте, никто не знал, что будет завтра, и старался не вспоминать, что было вчера. Срок командировки приближался, Олег всё больше и больше пропадал на аэродроме. Жена комэски пила вчёрную, сам комэска Курнашов сидел в кафе, где наливали, до последнего.

Тамара обиделась, взбрыкнула, стала похаживать с женой пограничника к изитам — жарили шашлыки, пили вино и коньяк, всё было по-восточному витиевато и непонятно, вечерняя заря путалась с утренней, от этого становилось легче, всё забывалось. Не танцевали — пьяно дёргались, до упаду, до изнеможения, махали уже не крыльями, шевелили не плавниками — истрёпанными обломками. Подруга неутомимо «лупила грушу», подмигивала: с изитами хорошо, нормально. Вечно усталый пограничник ждал, спал в машине.

Олег ругался и ночевал на кухне, через два дня улетел… Простился с Тамарой холодно, она улыбалась. Улыбка, как приклеенная.

Из этой командировки в часть пришли три «груза двести». Одним из них был Олег. Днём к Тамаре в пустую квартиру (дети на лето уехали к бабушкам) пришёл замполит и подруги-вдовы. Тамара спросонья ничего не могла понять, улыбалась и вяло махала сразу обессилевшей рукой.

Извещение, приказ, орден Мужества. Он был цвета потемневшей запёкшейся крови. Несколько кусочков оплавленного дюраля и такие же оплавленные самолётные часы. Всё, что осталось…

Любовь? Любовь…

Всё. Конец. Всему конец. Любви конец.

Любви? Любви!

Через трое суток Тамара осознала себя на незнакомом продавленном диване с бутылкой водки в руке. Вокруг был искажённый, вывернутый наизнанку мир, состоявший из цветовых пятен и неприятных резких вскриков, похожих на пение безумной птицы. Птица действительно была безумна, она кричала, била клювом в пустые стены и несуразно размахивала полуоблетевшими остатками крыльев…

А Олега не было.

И никто и ничто не могло помочь, хотя всё двигалось, всё происходило, совершалось, но в пустоте, через больничную марлю, с запахом ихтиолки и нашатыря.

Дети гостили у бабушки в деревне, Тома иногда о них вспоминала, но ей было всё равно, что с ними происходит.

Жена Курнашова, знавшая, что такое дождаться мужа с войны, высохшая и постаревшая, несколько дней жила у Тамары, уговаривала: всё будет хорошо, сколько раз так было — Курнашов возвращался, а сейчас могла случиться ошибка, кто-то кого-то заменил в последний момент, может быть, Олега отбросило взрывом, может, в плен попал, да мало ли… ведь это война, сплошная неразбериха.

Тамара не верила ей, она просто знала, что Олега больше нет, и старая планета по-прежнему накручивает круги вокруг солнца… Это и есть конец всего — бесконечность.

Комэска вернулся, рассказал, как сбили его ведомого, и он, вопреки инструкции, облетел гору с другой стороны, но там уже некого было спасать. Он вызвал «горбатых», и они проутюжили аул, находившийся рядом с катастрофой.

— Этого аула больше нет на карте, — помолчав, сказал он.

И так всегда потом говорила Тамара, хищно оскалив зубы, когда речь заходила о её погибшем муже.

Она ходила в кафе на люди, не боясь своего вдовства, уже второго, рассказывала, ей верили, наливали, потом хватали руками, но она уходила танцевать одна, взмахивала крыльями, и это было, как и раньше, красиво, но подняться она уже не могла. Потому что в обычной приземлённой, придавленной горем жизни законы аэродинамики не работают.

А Олега больше не было. Перед приходом особистов она выгребла антресоль, в вещмешке нашла две гранаты, патроны россыпью (ещё подумала, хорошо пацаны не нашли), полевые капитанские погоны, шлемофон и чужой розовый шарфик.

Сердце тут же зашлось…

3. За рекой мёртвых

…Когда Тамара первый раз выходила замуж, Нина, старшая сестра, сама поднимала двоих пацанов и никак, никак не могла ей помочь. Приезжала в гости, везла гостинцы, давала то трояк, то пятёрку. Разница у них была всего пять лет, а жизни получились разные, и свою покойную мать, Марфу, они помнили по-разному.

Четырнадцатилетней школьницей Тамара осталась сиротой. Её и Нинин отец, Алексей Дермидонтыч, ушёл из семьи, когда Марфа была жива и о болезни её никто не знал. Марфа и сама вряд ли догадывалась, что больна неизлечимо: там кольнёт, здесь потянет, да мало ли что может в женском организме происходить, — рассуждала по-деревенски — если болит, значит, живое.

Нина, студентка Института связи, училась на первом курсе, выпорхнула уже из гнезда, а гнездо внезапно и беспощадно растрепало ветром и сбросило с дерева. Нина потом замуж за москвича вышла и осталась в столице.

И Тамаре, конечно же, любви меньше досталось, чем толстухе Нинке.

Дед Лёша, так называли в посёлке Алексея Дермидонтыча, с детства маялся без обеих рук — граната немецкая в руках разорвалась. И то, ушёл не оглянувшись, не побоялся остаться один, без женского присмотра. Достали его молодость и весёлый жёнушкин нрав. Ладно, со своими заигрывала, местными; на ткацкой фабрике. Хотя там, известно, два наладчика на сто прядильщиц. Но надо же себя везде показать! И подругам нос утереть. А подруги, как в стаде, стоят в унылой очереди к производителю, в которой как каблучками ни стучи, не достучишься.

А Марфа не таковская была! Товара залежалого или бабами избалованного — не признавала. Выбирала, кого хотела, да ещё могла в кошки-мышки поиграть. Личико скуластенькое своё вполоборота как повернёт! Глазищами синими из-под ресничек накрашенных как глянет! Как-то плечиком ещё сделает, да ручкой тоненькой как-то так! Вроде и не приглашает, а мужик уж весь заколодел, столбом встал! Хошь его на дрова пили, хошь фонарь вешай — на всё готов!

А с лётчиками или ракетчиками из соседних воинских частей вообще сладу не было! Те сами приходили, в галифе и надраенных сапогах, и веточкой так по голенищу.

Ещё в домишке жили, штакетник дед Лёша раз в месяц чинил, как по расписанию,—ухажёры скакали напрямки, по-заячьи, не видя заборов. На чужом огороде капуста всегда слаще.

Один даже морячок в её сети попал, настоящий, в тельняшке и бескозырке. Как он из того трала-невода рванулся на волю, всю морскую науку по дороге позабыл. Лёша (не дедом он тогда был) из тёмных сеней рявкнул по-медвежьи, клеша флотские с красными вставками на заборе и остались, вроде как вымпел на корабле. До-олго висели…

А этой хоть бы что! Посмеётся над кобелями, мужа повеселит и к нему же на шею:

— Лёшечка ты мой безруконько-ой! Да как же я тебя люблю-ю-то!

А взгляд—ну сплошное лукавство!

Вот и пойми женщин: кого и за что они себе в мужья выбирают.

Весело жили.

Ну да Лёшка по молодости своей тоже не терялся, что в конторе счётами щёлкать, что в чужих палисадах девок щупать. Рук вот только не было—беда!—приходилось сразу другим органам ощущения давать. А на что ещё парень-инвалид сгодится, война только кончилась, кого убило, кто не вернулся ещё, а девки вот они, куда ни глянь, везде они!

Не успели Нинка с Томкой повзрослеть, а уж кто-то из соседок-кумушек—и чему завидовать-то?—нашептали им про разгульную родительскую жизнь, заронив сомнение в неокрепшие детские души. Стали они тогда друг друга разглядывать, рассматривать и сравнивать, да не в один день и не в один год, и каждая что-то и про себя, и про сестру, и про родителей поняла. Но страшно же правду знать, да и не нужна она, правда-то; промолчали обе—всё равно же родня, сёстры! Вот так и не поговорили: а-а, всё равно ничего не изменишь.

Так и пошло—что вслух не сказано, того как бы и нет.

Но настолько сёстры уродились разными! Пососедски, без дальнего прицела, им и напели: мать у них одна, отцы разные. И не факт, что Алексей Дермидонтыч хоть одной, но отец! Вот так, как в анекдоте: сын моего отца мне не брат.

Понятно, наверняка никто не знал, но тайна-то, тайна-то—родилась, будь она неладна!

А безрукий инвалид со временем квартиру получил, старый домишко использовал как дачу. От женщин отбою не было, и в огороде покопать-посадить, и дома постирать-прибрать, жених-то богатый, при квартире и пенсии, и не старый ещё. Пенсия—дай бог каждому,—можно и не работать. Одна бутылочка кончается, дед Лёша бабу за другой посылает, предпочитал, конечно, самогон.

Так, «по махонькой, по махонькой», как дед Лёша любил приговаривать, он домишко и пропил, потом из двухкомнатной в однокомнатную переехал. Младшей дочери, Томке, только крохи перепали с того достатка, а когда она уже второй раз замуж вышла, за вертолётного техника, так папашка ей совсем уже «в дуду не тарахтел». А Нинке и так, считалось, в Москве свезло, как дуракам не везёт,—ни кожи ни рожи по сравнению с красавицей Томой, а всё уже имеет.

После гибели Олега комэска Курнашов как-то, напившись, объяснил Тамаре, как ведёт себя подбитый вертолёт,—говорил профессионально лаконично и образно,—как его болтает, кренит, как стрелки-контрактники из него вываливаются, в полном боевом, в разгрузках и с оружием, прямо в воду, блинчиками не прыгают, на дно без пузырей… и что будет, если вертушка при падении за высоковольтную линию зацепится—а они везде там!—так упадёт обязательно на двигатели, дутиками кверху, а махалки, лопасти то есть, могут при взрыве на несколько километров улететь. А что же там от человека остаётся? А ничего. Керосин сам себя зажигает, огонь ревёт, как в печи, и боеприпасы рвутся, а расплавленный дюралюминий ртутью в ямки стекает…

Но пришёл комэска по другому поводу. Он вдруг замолчал и хряпнул пудовым кулаком по столу:

— Я тебя, сука, убью, зачем Олегу изменяла?!

Потом, трезвый, извинялся:

— У меня в Афгане ни один экипаж не погиб! А тут… кто моих пацанов защитит, кроме меня? Эх-х… Давай лучше выпьем!

— Послушай, комэска,—Тамара всегда так его называла, когда была в чём-то виновата.—Понимаешь, знак у меня такой, летучий… и бегучий. Понимаешь? Я ничего не могу с собой поделать. И потом… я же не изменяю… Вот вы же, мужчины, победы свои считаете!

Курнашов на это только улыбнулся, как будто вспомнил что-то, и воткнул в рот папиросу.

— А шарфик розовый я на антресолях нашла, он чей, Курнашов? Ну?!

— Да какая теперь разница… Брось ты, Тамара!

Комэска слишком много времени провёл на войне, чтобы не знать, как ответить на такой вопрос.

После того как Тома узнала, как погиб муж, она перестала надевать шубку, за которую он мог погибнуть одиннадцать раз. Только, действительно, теперь это не имело никакого значения.

Солнце вставало и садилось каждый день, капитан Дубосеков лежал в родной земле, в белых полесских песках, под чёрным камнем-лабрадоритом, а его лётная кожанка висела у Тамары в шкафу на плечиках. Дочь Женечка жила у бабушки с дедушкой и забывала русский язык. Мальчишки,

сыновья Тамарины,—в колхозе-миллионере, только миллионы те съела перестройка или ещё что-то или кто-то—совсем непонятно было, утекло меж пальцев, и всё, хорошо школу не закрыли.

Война отдалилась, копошилась в далёких предгорьях, а над Среднерусской возвышенностью, над её кущами и урочищами, по вторникам и четвергам рокотали вертолётные двигатели: очередная смена экипажей налётывала часы перед командировкой.

Как уж жила Тамара в своём вдовстве, и жила ли… Впрочем, живут же птицы, и никто на них внимания не обращает.

Так бы и ушла она во всеобщую неизвестность и ненужность, но кто-то сильный и чёрный вспомнил вдруг о своей крылатой лошадке и решил поддать жару.

Тамара попала в серьёзную клинику—то, что родилось в ней в день смерти капитана Дубосекова, выросло, разрослось до неимоверных размеров и вывело её опять на передний край гарнизонных новостей.

Юный докторёнок любознательно тискал сначала одну её грудь, потом другую, и чуть было не впал от этого в транс, она терпела, сжав зубы. Диагноз поставили уверенно: без вариантов. И с этого момента Тамара стала ждать смерти, неотвратимой и конкретной, которая снизойдёт к ней и освободит и от всех грехов, и от душевного смятения, и от одиночества. Умереть казалась ей легче, чем жить.

После операции она отказалась от лечения, подписав какую-то бумагу, и навсегда покинула клинику…

А стрелка весов ещё колебалась, и никто не знал, на какую из чашек упадёт следующая гирька. Тамара не думала об этом, но боялась жить, как раньше. Сегодня было сегодня, завтра—не было. Дни шли за днями, недели за неделями. Ни дети, ни окружавшие её люди, ни сама природа не могли вложить в неё целительную жизненную силу, чтобы высохшая былинка снова превратилась в гибкий упругий стебель.

Тамара съездила в Москву к сестре, прожила у неё дня три, дни были похожи один на другой. Свекровь ругала невестку, хвалила сына, Нинкиного мужа, который днями напролёт лежал на диване с газетой и, подрёмывая, смотрел телевизор. Перед приходом Нины одевался и куда-то уходил, возвращался утром, когда Нина чуть свет уходила на почту. От него пахло хмельным.

Но Тамаре было всё равно, кто находится рядом и что они делают. А чужая беда словно говорила: смотри, у всех одно и то же, что в достатке, что в бедности.

«Меня же нет,—рассуждала она.—Осталась одна телесная оболочка, которая должна есть, пить, спать, иметь какую-то форму. Может быть, я уже какой-нибудь камень на дне морском или снежинка, выпавшая из снеговой тучи, и я растаю, и эту каплю впитает земля, как и миллионы других капель… А из морской пучины меня выкинет ужасный шторм, и я разобьюсь о скалы и превращусь в кучку песка…»

Это был бред. Она собралась и уехала домой. Вечером надела узкую чёрную юбку, чёрные колготки в крупную сетку, чёрную же блузку с широкими рукавами, под чёрный бюстгальтер пристроила протез.

—А не сошла ли я с ума?—приговаривала она.

И, боясь увидеть собственное отражение, заглянула в зеркало.

На неё смотрела незнакомая, очень усталая женщина, но это была она, Тамара, и глаза её блестели, словно внутри неё бушевал огненный жар.

«А ведь действительно, не знают артиллеристы, куда падает снаряд! Спасибо тебе, мой бравый наводчик Вова».

Подумав, она повязала на шею красный платок,—протез, наполненный пшённой крупой, бесстыже вылезал из-под кружев.

«Ну, держитесь!—воскликнула она про себя.— Теперь я—чёрная вдова! В такие игрушки мы ещё, кажется, не играли!»

И угрожающе ухмыльнулась зеркалу: «Нет больше на карте такого аула!»

Вспомнив Олега, она чуть не разрыдалась, но, всхлипнув, удержалась, затем убрала уголком платка выкатившуюся слезу и вышла в ночь.

Как ни мал и некрепок был Тамарин невод, но в первый же заход она выловила длинноволосого рябого мужчину, который усердно подливал ей дорогущий шотландский виски и рассказывал о своём прибыльном бизнесе. Все звали его по фамилии—Гусаров. Он и сам не заметил, как затянулся на нём простейший женский узел.

—Гусаров,—спросила она,—кто ты по восточному календарю?

—Кабан,—ответил пьяный Гусаров.

—А я Лошадь,—сказала Тома.

—Ну и что? Очень даже близкие животные,—он хохотнул.

—Ты не понял,—сказала пьяная Тома,—я Огненная Лошадь. Скачу куда хочу.

—Хм… И я хочу туда же.

—А удержишься?

—Конечно,—помедлив, ответил он.—Я же Кабан.

—Ну, тогда попробуй!

И чёрной птицей вспорхнула на стол, уставленный посудой с питьём и закусками. Не-ет, это был не танец, это был плач. Осязаемый плач по всему и по всем, живущим и ушедшим, и ещё не родившимся, которым предстояло прийти в этот страшный мир одиночества, горя и не сбывающихся надежд.

Гусаров ничего не понял, только таращил глаза. В голове у него вертелось: «Чёрный фламинго!

Танец чёрного фламинго! Какая там Огненная Лошадь?!»

Изящный и порывистый, печальный и яростно поминальный, рассчитанный с такой точностью, что ни одна рюмка или бутылка не опрокинулись.

Официант бежал к их столику, но Тамара уже упала в объятия Гусарова, взмахнув напоследок чёрными рукавами-крыльями.

Зал аплодировал.

Из ресторана они уехали на такси в пустующую квартиру гусаровского приятеля.

Трудно назвать каким-либо словом то, что испытала, а скорее, не испытала Тамара в этой квартире. Она безумно стеснялась своего протеза. В этом была причина казуса, причём обоюдного, но она ловко списала всё на особые свойства иностранного напитка. И добавила специально для Гусарова, так их учили в клинике:

— Даже у американского президента Рейгана жена была с одной грудью!

Как оказалось, сделала она совершенно правильно, потому что через неделю всё наладилось, хотя она постоянно вспоминала Олега и представляла падающий объятый пламенем вертолёт…

А Гусаров влюбился по уши. Он был дважды женат, имел от первого брака исполнительный лист, от второго — ещё одного ребёнка, прибыльное дело и возраст сорок лет, на семь лет старше Тамары. У него было всё, не хватало только любовницы. А Тома оказалась в таком положении первый раз, то есть не её величество Тамара Алексеевна были в центре вселенной, а ей самой нужно было приспосабливаться и быть частью чьей-то души. И только огненный ветер восточных степей и пустынь, поднимавшийся со страниц гороскопа, изредка овевал её холодный лоб, не давая забыть, вокруг какой точки крутится вселенная.

В данном случае радовало её то, что он, Гусаров, даже не моргнул, услышав, что у неё трое детей, но судорожно глотнул, когда услышал одну из её коронных фраз:

— Уж очень мы это дело любим.

Он тут же перевёл:

— Мы любим любовь. Прикольно!

Жена пограничника поздравила подругу с новым статусом:

— Прикинь, тебе просто повезло, не надо замуж выходить! Ты остаёшься свободной, у тебя есть своя пенсия, плюс пенсия за Дубосекова, пока Женечке не исполнится восемнадцать. Бабло само плывёт тебе в руки, и прикинь, ты остаёшься при этом ещё и честной вдовой! И ты ещё раздумываешь! Посмотри на моего тюфяка, я бы давно с ним разошлась, но тогда я теряю свободу, прикинь! Бабла у меня от этого меньше не станет, как ты понимаешь.

Пограничница по-прежнему лелеяла свою главную потайную мысль: нельзя отпускать такую подругу в семью, в замужество, подруга не вернётся оттуда, а не будет Тамары, не будет вокруг богатых мужчин, ресторанов и компаний, где можно выхватить для себя кусочек счастья!

«Изиты… А что изиты?! — думала она. — Так, шашлыка поесть. Не слишком экзотическое удовольствие. Ну-у, например, как в Турцию съездить. Надоели уже эти «прямоточные» кавказцы и «ваньки» деревенские. Муж-пограничник… Тоже мне герой! Да когда он был пограничником! Когда последний раз был на границе?! Сейчас он просто тряпка, полуоторванная набойка на каблуке! И генеральным директором фирмы я стала без его помощи. Что, так и буду хромать дальше?»

Майорша, правда, уже не помнила, что это с её подачи бывший майор-пограничник покинул и границу, и поля недавних тыловых сражений, и сидел на автотрассе оператором АЗС. Ездил он на потрёпанном «жигулёнке», а она на новом «Гольфе». Так положено начальству.

Жена пограничника «лупила» по Тамариным мозгам, как по боксёрской груше.

Окончательно проблему разрешила первая свекровь, когда Тамара приехала с Гусаровым на годовщину смерти мужа, павшего на рельсах:

— Ну, если только ради благополучия, — скороговоркой благословила она их непонятный союз, пробормотав эти слова прямо в лицо Гусарову, и поджала губы.

«Внуков?» — хотела переспросить Тамара, но вовремя одумалась и только кивнула:

— Хорошо, мама.

Через месяц она уже свободно разговаривала с женой пограничника на одном языке:

— Прикинь, как же я раньше не сообразила, давно нужно было завязывать с этими военными!

В новом союзе её обязанностями были: сидеть дома и ждать любовника или ждать любовника и сидеть дома. Иногда вместо любовника приезжала машина, и Тамара отправлялась по магазинам, покупала всё, что понравилось или захотелось, что купить было надо, или не надо, но захотелось. Однажды она решила проверить своего возлюбленного и потребовала новую стиральную машину. Ей тут же привезли. Тогда она занялась ремонтом. Бригада ломала перегородки, штукатурила, укладывала плитку, меняла сантехнику.

Чаша опять начала потихоньку заполняться.

Но между поступлениями в доход продолжалась скучная никчёмная жизнь: ожидание, ожидание, ожидание… поезда, вычеркнутого из расписания.

«Может быть, он хотя бы разведётся, этот тупой Гусаров?» — мечтала она.

Прозрение пришло через год: «Женатый любовник — это «золотая клетка»! И ему так удобно! Он никогда не разведётся! Как же я раньше-то!.. Та-ак, где ты, моя лучшая подруга, жена пограничника?! Это твой был совет?!»

Даже к изитам Тома не могла теперь поехать, мешал и образ «честной» вдовы, и ремонт в квартире, произведённый за счёт Гусарова, а подруга вытворяла, что хотела, каждые полгода избавлялась в больнице от нерусского семени.

…И вдруг в январе ей позвонила некая тётя Маша.

— Томочка, деточка моя, держись, твой папка умер.

И заголосила в трубку.

Тётя Маша оказалась соседкой деда Лёши с нижнего этажа, дебелой крашеной блондинкой лет шестидесяти пяти. Энергия била из неё ключом, говорила она очень быстро, проглатывая окончания слов.

Тамара сразу подумала об отцовской квартире и тут же согласилась встретиться. Она никогда не бывала в этом последнем обиталище отца, но разглядывала спартанскую обстановку без особого интереса, сидя на расшатанном табурете, прикидывала, сколько может стоить такая однокомнатная квартира в рабочем посёлке.

Тётя Маша показала завещание, по которому половина стоимости квартиры отходила ей как сиделке и домоправительнице, другая половина — Тамаре Алексеевне, младшей дочери. Про Нину не было ни слова.

Та самая простенькая, как считали они с сестрой, тайна показала новую грань и перестала быть простенькой. Что-то тяжёлое и дремучее просунулось вдруг в маленькую, крашенную синим кухоньку, и встало у неё за спиной: Тома ощутила родственную близость к своему почившему отцу, не только по метрике, но близость по крови. И чувство это в какой-то степени перешло на тётю Машу, сопровождавшую отца в его последние часы. А Нина опять осталась где-то в стороне.

— Сын у меня работает в милиции, — сказала тётя Маша. — Сделаю всё по закону. Как только продам квартиру, тут же отдам деньги. Не волнуйся, деточка.

Приехала Нина. Сёстры ни о чём не говорили, тайна стояла между ними, и тот давний немой уговор был ни при чём. Завещание всё расставило по своим местам.

…Стоял лютый январский мороз, гроб, казалось, плыл над крестами и оградками, пока не поставили его на две табуретки. Прощались быстро, тётя Маша хлопотала возле усопшего, поправляла ленту с молитвой, заботливо подтыкала простыню, которой был укрыт дед Лёша, как будто ему могло быть холодно. Она как-то излишне суетилась, то роняла искусственные цветы на комковатую, выброшенную из могилы землю, то начинала причитать в голос, то торопила с прощанием и, наконец, зло выговорила землекопам:

— Ну, заколачивайте, заколачивайте, видите, стужа какая!

Народ тоже как-то сразу засуетился, промёрзшие комья гулко ударились о крышку, и у холмика остались Тамара с Ниной и Гусаров. Сёстры хмуро оглядели могилу, поставили стаканчик с водкой и зажгли сигарету. Гусаров отстранённо стоял в стороне и курил.

— Ну что, пошли, — сказала Тамара. — Холодно.

Нина, вытирая слёзы и всхлипывая, первой двинулась по узкой тропинке.

Поздно вечером, после поминок, сёстры, Гусаров и жена пограничника сидели на кухне у Тамары и пили водку. Гусаров вдруг сказал:

— А тётя Маша ему голову поправляла.

— Что? — спросила майорша.

— И когда его несли, у него всё время голова набок валилась.

Нина округлившимися глазами смотрела на Гусарова.

— А до этого он три дня в морге пролежал.

— Ты что, хочешь сказать… — дрожащим голосом начала Нина, — что мы отца живым, что ли, похоронили?

— А вы — сами не видели? — ответил Гусаров.

— Не знаю, — задумчиво сказала Тамара, — она в самогон что-то добавляет, чтоб позабористей было.

Теперь Гусаров в изумлении смотрел на свою чёрную женщину.

— Так ты всё знала? — Гусаров отставил наполненную рюмку.

Тамара молчала, нервно шевеля побелевшими губами.

— Знаешь, Тома, у меня слов нет! Какая же ты… — сказал Гусаров. — А я-то! Размечтался! Да ни за что и никогда! Поехали, Нин, иначе я этого никогда себе не прощу.

Дальше был перепуганный таксист и освещённое морозными звёздами кладбище. И Нина с горящей церковной свечой в ладонях. Огонёк свечи колебался, выхватывая из сумерек фигуру Гусарова, лежавшего на могиле, прижавшегося ухом к промёрзшему суглинку…

Весной сёстры собрались на кладбище у матери, а теперь и у отца, расчищали широкие могилы родственников от будыльев и диких кустов. С кладбищенского бугра виден был Свято-Пафнутьев монастырь, белые его стены отражались в мутной паводковой воде, горбом несущейся меж зазеленевших берегов. На заливных лугах слышался птичий гомон, из ближних весей несло горьким травяным дымком, взлаивали от весенней истомы деревенские цепные собаки. И над всем, над всем этим — зелёный, отчётливо видимый плотный воздух, особенно густой у корявых прибрежных вётел, по вершинам холмов, вдоль тополиных, берёзовых, липовых рядов. А уж за и над ними отмытые первым весенним дождичком позолоченные купола с горящими во весь рост крестами били жёлтым зеркальным светом Богу в глаза.

Огонь был белый и неяркий, не обжигающий, а согревающий, и не хотелось от него отрывать взгляда; наоборот, необходимо было вглядеться в него, в каждую искорку и чёрточку, как и в каждую травинку народившегося русского пейзажа, уловить что-то забытое, вспомнить брошенное, найти потерянное и вдохнуть полной грудью, расправить плечи и раскинуть руки и выдохнуть: «Я здесь, Господи! Я жив! Спасибо Тебе!»

Тамара рвала неподатливую зимнюю траву, взглядывая изредка в застывшее лицо матери на металлическом овале. Казалось ей, что Марфа улыбается, но не призывно, не зовёт к себе.

— Мама, я же просила тебя, забери меня к себе.

Помалкивает Марфа и таинственно улыбается.

— Зачем же ты, мамочка, родила меня? Зачем? Чтоб так мучиться?

Улыбается Марфа и помалкивает, не открывает тайну.

Нина ворчит:

— Томка, что это ты! Дали тебе жизнь — терпи!

И вдруг обе разгибаются, и смотрят друг на друга, и начинают смеяться, и тут же замолкают и смотрят вдаль, как две летучие мыши, прищурив глаза от нестерпимого света.

4. Здравствуй, война

...Ведь глупейшая же вещь — самострел из снайперской винтовки. Во-первых, неудобно, во-вторых, догадаются сразу, поймут, что самострел. Из винтаря столько огня вылетает, что хэбэ загорается. И потом, просто страшно. Это как в первый раз помирать, — какой силы последний удар? Горизонт на голову падает, накрывает одеялом, и все мысли — внутрь: что там? как там? тепло или холодно? спокойно? Вряд ли. Скорей тревожно. Ещё не больно, и ещё живёт мозг, и ещё жива надежда, особенно когда ты не один, товарищи боевые рядом, — вынесут, спасут, бинт накрутят, не дадут глазам закрыться, потому что там темно и нет никаких коридоров или проходов и переходов.

Там ничего нет.

Очнулась Лиза перед рассветом, и первая мысль: а вдруг в живот пуля отскочила, а вторая — может, вовсе ничего этого не было, сон кошмарный? Ничего же не болит, лежишь, как в тёплом озере, в парном молоке, и шевелиться не хочется, плывёшь, качаешься, растворяешься; молоко это парное, как материнское, всасывается, лечит, заживляет рану, а над головой листья покачиваются, на них роса крупными ягодами, наполнились они живой водой, еле держатся — вот сейчас скатятся!

Мимо! Мимо капля упала! В горячую пыль! И там снова свернулась в шарик. Теперь уж не взять, ни руками, ни губами, надо следующих ждать. Ждать, сколько ждать? Нет уже сил, терпения нет, пить хочется! А что это наверху, что это горит так нестерпимо, бьёт в глаза лучистым светом?!.

...Носилки покачивались в такт глухому перестуку грубой армейской обуви, а наверху, рядом с молодым месяцем, горела всё так же ярко негреющая христианскую душу мусульманская звезда.

С ранением этим бестолковым разбираться никто не стал, в хлопающей на ветру палатке медсанбата разрезал медбрат короткое голенище, штанину, ткнул шприцем. Потом приложил тампон, забинтовал и пошёл дальше по проходу между кроватями в лучах пыльного солнца.

И всё-таки обернулся — девушка же, — сказал:

— Через две недели бегать будешь.

А Лизку вместе с носилками загрузили сначала в продавленный металлический кузов грузовика, потом в вертолёт, потом... словом, по всей цепочке, только в обратном направлении.

И когда самолёт приземлился, она сразу же поняла: да, вот это — Ташкент! Здесь яблоки!

Лиза вернулась в институт, когда сессия уже закончилась, получила в учебной части зачётку, секретарь деканата вложила её в потную Лизкину ладошку и сказала, глядя куда-то в угол:

— Поздравляю с окончанием второго курса. Отдыхайте. Начало занятий 1 сентября.

В коридоре Лиза с любопытством заглянула в зачётную книжку: пять пятёрок и четвёрка, по высшей математике. Вот те на, любимый предмет, который она знала на пять с плюсом!

И тут же поняла: это — предупреждение. Мы сделали, как обещали, но и ты держи язык за зубами, и... до встречи. Она поразилась, что ясно понимает это послание, а значит, думает так же, как они. Странно, но никакой неприязни она не почувствовала, а даже наоборот, ощутила что-то новое как выход из тусклого, мучавшего её бытия, уже как член нового сообщества, некой тайной ложи, имеющей безграничную неявную власть и взявшей её под защиту. Ведь она — о Боже! — выполняла задание, и выполнила его, и те люди, которые сопровождали её при этом, майоры, капитаны и тот, старший в наряде, — почему-то называла его так, — тоже выполняли своё задание, каждый на своём уровне, безусловно и беспрекословно. Она поняла, что ей симпатичны эти люди, независимо от их личных качеств и характеров, — они уверенно делали своё дело в океане хаоса и растерянности.

«Иринка бы тоже это поняла, — размышляла Лиза, — она просто не дожила. Она же любила Родину. И те парни, «груз двести», тоже любили. И то, что я осталась в живых и приняла эту военную... игру, — может быть, я её, Родину, люблю как-то не так, как они? Но люблю же!»

...Прошло несколько лет, Лиза, окончив институт, распределилась в министерство образования, забрала от бабушки дочку и уехала жить

в небольшой городишко под Питером. Работы в школе было много, она занимала не только ум, но и душу, поэтому Лиза вышла замуж как-то неожиданно для самой себя, без любви и страсти, не задумываясь о серьёзности такого шага и не предвидя в будущем какого-либо семейного счастья. Тем более муж ей достался с коммерческой жилкой, которая не давала ему покоя, толкая на авантюры в безбрежном перестроечном море.

Он создавал какие-то однодневные предприятия, кооперативы, те тут же банкротились, но бумажные реки уставных документов, договоров, накладных и платёжек бурлили и пенились, втекая в тухлые экономические заводи. Не всякий корабль мог справиться с непредсказуемой погодой и шкодливыми ветрами, блуждавшими между голыми тоскливыми островами будущих корпораций и холдингов. Серые волны выбрасывали на замусоренные берега трупы неудачливых мореплавателей и пловцов.

Но где-то в глубине этого хаоса, словно в «глазу» циклона, не ускоряясь и не тормозя, сухо били щелчки метронома, и всё, что должно было произойти дальше, контролировалось самим движением зацепленных меж собой шестерёнок, вращаемых силой гигантской социальной пружины.

Ещё не сорвался стопор, ещё не упал флажок с последнего зубца и не раздался грохот предрассветного будильника, а мирное будущее уже стало военным настоящим…

В новостях заговорили о контртеррористической операции на Кавказе — значит, кто-то опять рвался к свободе в разваливающемся государстве, а государство формировало всё новые неучебные полки и дивизии, в которых узкоплечих вчерашних школьников учили маршировать и правильно стоять «на тумбочке», а потом ничего не подозревающих мальчишек эшелонами везли в бывшие курортные места, откуда возвращались они в вагонах-рефрижераторах, уложенные штабелями, в чёрной, изорванной пулями и осколками форме российской армии.

И в городок под Питером стали приходить казённые письма с извещениями. Лиза с горечью и ужасом узнавала о гибели своих учеников. С чавканьем и хрустом засасывала юные жизни необъявленная война в свою ненасытную утробу…

Лиза проснулась с чувством тревоги — ей приснилась Ирина. Они стояли на своём маленьком пятачке, где когда-то расстались навсегда. Странный свет поднимался из-за ближайшей горы, и Ирина показывала туда рукой. Лиза смеялась: «Ирка, это же зарево, там же город, там Ташкент, глупенькая!», а из глаз почему-то текли слёзы, и она не могла вздохнуть, потому что сдерживала их изо всех сил. Но Ирина молчала, переводя взгляд с Лизы на горы и обратно.

Утром Лиза сбегала в школу, попросила подменить её на двух уроках и поехала на стрельбище. Муж уехал куда-то с неделю назад к своим бесконечным подрядчикам.

На той железнодорожной платформе ничего не изменилось, в сторону полигона ходил автобус, проезжая, как и раньше, мимо кладбища, которое разрослось за перестроечные годы, и Лиза вспомнила того смешного лейтенанта Володю, что пытался заигрывать сразу со всеми девчонками, приезжавшими на тренировку. Вспомнила, как Томка положила на него глаз и быстро утащила замуж.

«Уже, наверно, до полковника добрался, — улыбаясь, подумала Лиза. — Быть Томке генеральшей».

Проехали кладбище. Выйдя на остановке, Лиза увидела, что на месте стрелкового полигона разбежались в разные стороны посыпанные щебнем дорожки и кое-где поднялись над заборами и плодовыми кустами стропильные ноги дачных домиков. Стучали молотки, визжали циркулярки — народ вовсю готовился к зиме.

Лизе стало грустно, словно лишилась она родного тёплого угла, и куда теперь, в какую сторону шевелить опавшие листья?

Она поехала на Васильевский остров, в райком комсомола, долго разговаривала там с незнакомой пожилой женщиной о старых и новых временах, пытаясь вспомнить фамилию или хотя бы имя того парня, что учил их стрелять по «малоразмерным» целям. Вот и он, учитель боевого искусства, остался для неё просто Снайпером, а тогда думали, может, это фамилия такая, и было ему тогда лет тридцать. Какой уж там комсомолец! А сейчас, значит, под сорок. Женщина вспомнила его, сказала, что женился лет пять тому назад («Цветы дарил — значит, неженатый был?» — подумала Лиза.) Женщина посоветовала искать в военкомате, потому что в райкоме он появлялся по линии ДОСААФ, Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, где вручали торжественно те самые заслуженные и забытые теперь значки ГТО — «Готов к труду и обороне».

В военкомате дежурный офицер с двухцветной повязкой на рукаве выслушал её и проводил в учётный стол, галантно открыв дверь.

— А вы кто ему? — неприветливо спросила незаметная и серая, словно посыпанная пылью, женщина.

Лиза объяснила.

— А вы знаете, — сказала она грустно, — он умер… а я его… вдова… Может, чаю?

Закрыв дверь на ключ и уединившись за пыльным шкафом, где стоял чайный столик, помянули Снайпера ликёром «шартрез» из липкой бутылки.

— Ещё доперестроечный, — сказала женщина. — А муж не пил, ему нельзя было, буйным делался. А о вас он рассказывал… Или была какая-то другая Лиза?

— Нет-нет, обо мне,— ответила Лиза, опустив глаза.— Он даже провожал нас… как-то… на соревнования…
— Да-да, я знаю,— быстро перебила её вдова,— а вторая девушка, Ирина, кажется, она же в автомобильной катастрофе погибла, да? Сильно обгорела, говорили, хоронили в закрытом гробу…

Лиза смотрела женщине в глаза и не могла отвести взгляд.
— Ой, ну что мы всё о грустном. Знаете, после смерти мужа я нашла тетрадку, он записывал туда некоторые… э-э… свои мысли. Вот послушайте. «Данное Богом назначение нужно исполнять, иначе жизнь получится кривая, неискренняя, попросту не удастся, ведь судьбу обмануть нельзя».
— А как его определить, это назначение?— вздохнув, спросила Лиза.
— Возможно, это то, куда человек стремится или достигает в этом деле наилучших результатов.
— А если это дело— убивать?— опять спросила Лиза.
— Ну, не просто же убивать, наверное, а остановить, уничтожить врага, неприятеля. Слушайте, Лиза, дальше, здесь уже о вас. Послушайте его слова: «Суждено мне было вернуться с войны, я и вернулся. А если бы на войну не попал или не вернулся, то кто бы меня на ней заменил? Знаете, Суворов, по-моему, сказал: ожидание подвига— отдых героев».

Она помолчала и добавила:
— А ведь я знаю, почему вы сюда пришли.

…Над ханкалинским аэродромом падал мокрый снег. Раскисшее небо, раскисшая земля, лопасти вертолётов пристёгнуты растяжками, тряпкой свисает полосатый «колдун». У погоды свои законы, и как бы ни хотелось командованию поднять экипажи в воздух, приходится с ними считаться. Как и тем, кто находится на марше или в глубокой разведке. Лучше, конечно, сидеть в засаде, на точке, как зайцу или кабану, чтобы снег спрятал следы подхода и само место и наблюдательный взгляд снайпера-охотника проскользнул дальше, ни за что не зацепившись…

Лизу поставили в строй быстро, за полтора месяца, присвоили позывной «Кукша». Навыки стрельбы восстановились, инструктор сделал упор на маскировку, обманные приёмы, физическую подготовку, ориентирование. Теория шла легко, математический ум мгновенно рассчитывал траектории и легко считывал вводные. Особенно выводили из характера прямолинейность, учили хитрить, лавировать, путать следы, принимать нестандартные решения.
— Шпионку из меня готовишь,— говорила она инструктору.
— Нет,— смеялся он в ответ,— снайпера. А заодно разведчика, альпиниста, сапёра, психолога. И ножом ты должна владеть так же, как винтарём. Голова у тебя хорошо работает, фантазия на пять с плюсом. Если что, сама что-нибудь придумаешь, по учебнику жить не будешь. Так?
— Это уж точно, не буду!

А сама думала: «И зачем я это сделала? Оставила дочь, бросила мужа, работу и уехала на войну. У-би-вать! Не женское это дело».

С этим ещё нужно было разбираться, мысли и фразы были общие, хотя решение и действие уже состоялись. Она слушала себя внутри: там не было никаких чувств против. Тогда, в Афганистане, их с Ириной использовали «втёмную», игру с душманами отрабатывали с их помощью. Да, пытались направить банду по другому пути, думала Лиза. И что? Получилось, хотя они с Ириной не принимали никаких стратегических решений, так, мелкая тактика. Да они и были, по сути, учениками, «пушечным мясом», они ничего не умели. И наверняка там были другие снайперские пары, о которых им ничего, конечно же, не говорили.

Далёкая от военных дел и, главное, от военного образа мысли, Лиза с удивлением и неподдельным интересом слушала лекцию о ведении современной войны, войны локальной, которую и войной-то нельзя назвать, так, конфликт. Бронетехника и крупные неразворотливые мотострелковые соединения бессильны против мобильного дерзкого неприятеля, воюющего мелкими группами, особенно на сильно пересечённой местности. Привычной каждому военному линии фронта нет. По ту и по эту стороны— снайперы, диверсанты и разведчики, трудноуловимые одиночки, обученные принимать нестандартные решения. Они— главная сила сегодняшней войны.

…В один из унылых серых непогодных дней Лиза встретилась с мальчишкой-вертолётчиком. Он был похож чем-то на Лизиных десятиклассников. Вихры торчали в разные стороны, и каблук на правом сапоге был скособочен.

Вертолётчики держались обособленно и ходили всегда вместе. Лиза восприняла это как должное: экипаж, как и снайперская пара, есть боевая единица.

Вертолётчика звали Олегом. Они случайно разговорились,— по метеоусловиям дали задержку вылета и ему, и ей. Олег улыбнулся:
— Сколько же вам, хрупким женщинам, приходится таскать на себе снаряжения и боеприпасов. Мою бы Томку сюда— поняла бы, как боевые достаются.
— Томка— это жена?
— Жена…

Какое дело было Лизе до этого мальчишки и его жены. Спросила так, для поддержания разговора, потому что парень показался ей настоящим, было что-то в его глазах, несвойственное молодым людям. И она вдруг рассказала Олегу часть своей

жизни, тот небольшой эпизод из афганской войны, приведший её сюда, в Чечню.

Олег слушал, и глаза его всё больше темнели, и Лиза увидела другого человека, увидела его другое, взрослое лицо. И ещё она ощутила, как была одинока до этой встречи. Школа, муж и даже дочь отодвинулись куда-то далеко назад, словно смотрела она на них в перевёрнутый бинокль. В той прошлой жизни было сумеречно и скучно и не было любви. Неизвестно кем назначенная прямолинейная дорога терялась в серой дымке, и Лиза уже не видела себя на ней.

Олег не стал отшучиваться и «просить телефончик», а серьёзно заговорил о своей работе, о том, что такое жить в военном городке, о загулявшей жене.

Лиза слушала и понимала его так же, как только что поняла себя.

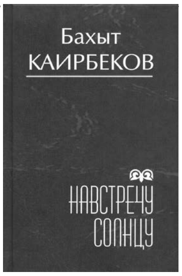
И сердце её забилось чаще, она посмотрела на затянутые снежной пеленой здания аэродрома, притихшие боевые машины и едва различимые силуэты пирамидальных тополей, как будто видела их в первый раз. И сероглазый парень в потёртой кожаной куртке с уверенным взглядом военного лётчика уже не казался ей вихрастым мальчишкой, случайно попавшим в зону боевых действий.

Олег замолчал и, обернувшись, слушал приглушённый снегом звук разогреваемых двигателей. Снежинки густо ложились на его непокрытую голову, выпрямляя торчащие вихры, словно белая шапка или бинтовая повязка.

— Это за мной,— сказал он. И добавил:— Ты знаешь, я не хочу быть генералом.

— А мне генерал и не нужен,— Лиза смотрела ему прямо в глаза.— Я буду тебя ждать, возвращайся,— твёрдо сказала она.

Потом достала из-под бушлата розовый шарф и протянула Олегу.



Бахыт Каирбеков
Навстречу солнцу

Алматы: жк «Нуракынов», 2014.— 420 с.

Новая книга стихов Бахыта Каирбекова — поэтический дневник-портрет городов и стран, в которых он побывал, каждый раз видя в облике окружающего мира приметы своей кочевой души. Но главное в этой книге — любовь к родной земле, просторами которой навек очаровано его сердце. И, кажется, нет такой точки в Казахстане, где бы не побывал поэт.

Совершите путешествие в страну Великих трав, вглядитесь в облик цветов и гор, погрузитесь в легенды озёр и рек, в которых сохранились истоки мироощущения кочевого народа, привыкшего жить в согласии с природой и космосом звёзд, так близко летящих над казахской степью!

Акжал[1]

Полморды в снег глубокий окунув,
Мохнатые в сугробах бродят кони.
Так неподвластна никому
Безмолвная зима Средневековья.

● ● ●

Печальные седые старики
По пояс в ледяной воде застыли…
Как древки стрел космической тоски,
Они не озеро — меня навек пронзили!

● ● ●

Туман печалью дерева обнимет —
Безруких и бездомных стариков…
Лишь утки прокричат над вечными немыми
В краю вечнозелёных снов.

Құс жолы[2]

Над вечною тайной Любви и Печали,
Великих земных превыше чудес,—
Путь Птиц перелётных сияет ночами,
Мерцая манящею далью небес.
Кто в путь тот пустился —
далёкий, безмолвный,
Душой обнимая ночной небосвод?
Ласкают его только ветер и волны
И музыки вечной алмазный полёт!

1. Акжал — Белая грива.
2. Птичий путь — созвездие Млечного Пути.

Андрей Любченко

Бездельник

Я пустился в путь через город, без всякой цели. Пока я шёл, мне казалось, будто некая доля вещей обретает смысл. Конечно, это было не так. Но там, в подворотне, мне вряд ли стало бы легче.

Ч. Буковски. В моём супе печенье в форме зверюшек

На веранде дома стояло моё старое бюро с откидной крышкой, где хранились все неопубликованные рукописи. За ним я вдруг понял, что работал так же прилежно, как и любой другой человек на свете, поэтому за что я себя упрекаю, наедине с собой или иначе?

Дж. Керуак. Ангелы опустошения

Я загнал какому-то мужику на кой чёрт нужные ему деревянные ложки, забрал полученные взамен гроши и теперь спускался по лестнице. Ещё я вырезаю всякие фигурки навроде медведей, лесовиков, домовых и прочую ерунду, и их продажа сродни продаже снега якутам. На самом деле я получаю от этого удовольствие — от их изготовления, — так что не обессудьте, и вообще — это мой единственный стабильный, и вообще, практически единственный заработок. А вообще — я поэт. И, скорее всего, безнадёжно бездарный.

Я вышел из подъезда — дом был в центре — и покинул через металлическую решётчатую дверь в воротах двор — ненавижу закрытые дворы. Перепрыгивая лужи и стараясь скрыться от пьяных подростков, думающих, что они умеют играть на гитаре и петь свои дерьмовые песни, я пошёл в кафетерий «Нива», что на первом этаже пятиэтажного здания около остановки, находящейся через дорогу от сквера. Мне нравятся эти летающие вокруг, отскакивающие рикошетом ритмы звона кружек, стаканов, вилок, ложек, ножей и тарелок. Лишившись трети денег, я стал обладателем трёх свердловских булок и стакана кефира. Так я и сидел и ел, помешивая в белой густой жиже сахар. «И отдохнул только в кондитерской за шестым слоёным пирожком». Привет, Иван Сергеевич. Только вот за третьей булкой я снова вспомнил о том, что уже третий год занимаюсь непонятно чем, изо всех сил стараясь уверить себя в том, что обладаю каким-никаким талантом и что всё идёт правильно и вовсе ничего не потеряно. Я протёр губы салфеткой, из которой только что сам же сложил кораблик, и вышел на улицу.

Рядом находилась популярная в определённых кругах кофейня, поэтому то тут, то там мелькала поганая творческая молодёжь, которую я ненавидел так же, как закрытые дворы, хоть и отличалась она от меня, скорее всего, немногим, кроме того, что в их правые дырявые кроссовки не попадала вода. Они все сидят в подобных богемных харчевнях, все сидят и что-то пишут в своих дико дорогих блокнотиках, имитируя бурную деятельность, захлебываются инициативой, своей исключительностью, успешностью, талантливостью и сетуют на закрытый Wi-Fi. Латте-мокиато им надоел, капучино — для мещан, а эспрессо и американо — невкусные. Что делать? Отвечай, Николай Гаврилович. Ответ: ковёркинг, шоу-румы, пространства, леттеринг.

Я поправляю шапку и иду на улицу Войны, дочитать, наконец, за третий присест Гамсуна и его «Голод», сидя на скамейке около здания педуниверситета. Кнут дал мне в руки зеркало, таких зеркал много повсюду, но это стекло было на порядок чище, такое, каким бывает далеко не часто. Может, и мне пора проститься, наконец, с городом Христианией, где в окнах повсюду уже зажглись яркие огни? Впрочем, в той Христиании, где обитаю я, огням ещё зажигаться рано, разве что только это не огонь в глазах, который я едва ли когда-нибудь видел и которому пора бы уже вспыхнуть. Да и на главного героя я, на самом деле, похож не особо, а если бы и мог быть его копией, если бы и мог на это претендовать, то только как на чрезвычайно пошлую, взращённую на знакомствах и связях; кататься как сыр в масле довольно рискованно — можно выскользнуть, что я, собственно, и сделал. В институт меня, конечно же, пропихнули, дальше должна была ждать подогретая работа. Однако после диплома случился сбой, и теперь я тот, кто я есть, хоть и уверен, что и отец сдастся, и я, и в итоге мой зад всё равно будет плесневеть в тёплом кресле. И диплом этот не мой, а непонятно чей, ибо специалист не удался. Зато — какой очаровательный ноль.

В конце концов, самым мерзким было бы притворяться обладателем такого же Голода, хоть и мой с ним в чём-то схож. Грубо говоря, мне есть что есть (хоть и не всегда) и есть где спать (хоть и не всегда) — я вновь вернулся домой, и мама

вновь простила меня. «Что же касается матери, другой такой на свете нет, это точно. Когда я бывал слишком болен или слишком печален, чтоб жить самостоятельно с жёнами и друзьями, и возвращался домой, она полностью содержала меня, пока я, тем не менее, писал свои книги (безо всякой надежды когда-либо их опубликовать, просто художник)». Привет, Джеки! А простил ли отец — не знаю, хотя, наверное, тоже, просто злоба его, конечно же, произрастает из любви, из обиды за меня, за мою «будущность». Зато в младшего теперь вцепились знатно, хех.

Раньше я не любил весну, но не теперь. Весна стала для меня самодостаточна, в ней есть всё: и зима, и осень, и лето; все состояния и чувства. Она — концентрат. И в данное мгновение проявила себя зимняя грань — я подмёрз и встал размяться.

Вернёмся к Голоду. Повторюсь, в своих мыслях, в своём внутреннем мифе я позиционирую себя как поэт, но при этом я ни разу нигде не читал — ненавижу поэтические чтения, как ненавижу закрытые дворы и поганую творческую молодёжь; и ни разу нигде не печатался. Хочу быть, хочу сбыться (привет, Мераб Константинович), но сам себя не выпускаю. Рискну предположить, что это работа инстинкта самосохранения: боюсь столкнуться с действительным положением вещей. Может, именно она и поддерживает мои жизненные процессы. Но ведь через всю жизнь протащить ложь (а ложью оно, скорее всего, и является) гораздо ниже и трусливее, правда?

Я медленно хожу вокруг скамьи и разглядываю лежащую на ней книгу, будто не зная, как к ней подобраться. Объект исследования должен быть изучен с разных сторон. Она под моим прицелом.

Когда в моих мыслях проносится слово «трусливее», вспоминаю о том, что пора бы уже прочитать «Трус» Гаршина. Когда я сосредоточенно двигаюсь в ритме транса ходьбы или чего-то вроде маятникового движения вокруг скамейки, мне гораздо легче думается, поэтому, ещё будучи студентом, мне стало ясно, что, например, прогулы — это есть неотъемлемая часть процесса обучения. Этакие прогулки мысли, открытые лектории, ведь так как мысли свойственно движение, нужно двигаться ей в такт. Вспомнились слова Торо о том, что «мыслям нужен разбег, чтобы они пошли плавно; им надо пройти один-два галса, прежде чем войти в порт…». Читать его, кстати, лучше всего опять же весной, когда вновь в нас оживает жизнь, только тогда достижим унисон состояния духа книги с нашим.

Ладно, я — король прелюбодеев мысли, князь демагогов, граф пустословия. Мне неохота искать, где подешевле согреться чаем, и вообще, взвешивая варианты — придётся ехать домой. Я иду на остановку. Вообще, по-хорошему, надо бы мне ещё ложек да подобной всячины настругать… чтобы в случае чего были деньги.

Проехав немного — плюю и выхожу, прыжками через препятствия луж добираюсь до вокзала. Я сам себе третий год продляю студенческий, поэтому доеду за гроши. Хитрости непрактичного скитальца. Купив билет, некоторое время греюсь в зале ожидания, но моя паранойя по поводу длины волос заставляет искать спасение от жителей необитаемых селений — возвращаюсь на улицу. Кругом милые глазу завсегдатаи: бродяги, бездомные, менты, пенсионеры со своими неизменными тележками, гастарбайтеры и таксисты. И у всех вечная проблема — у кого есть сигареты и как бы мелочи добыть. «Куда едем?» — и десятилетиями крутящиеся на пальце ключи. Времени нет.

Ждать придётся долго. Пока что я шастаю тут и там, разглядываю с виадука товарняки, играюсь с собаками, за плечами мирно шуршит полупустой, но со всем необходимым ещё школьных лет рюкзак. Я вижу себя шалопаем-псом, и мне хорошо и уютно так. Немного переживаю, что в деревне холоднее, но это не проблема.

Наконец загружаюсь в электричку. Старые вагоны, я думал, таких уже и не осталось — давно на подобные не натыкался: деревянные лавки и милая сердцу затхлость; тесный тамбур и даже боюсь представить какие туалеты. Сажусь у окна спиной к стороне движения. Последняя электричка — вокруг хмурые работяги с жёнами и детьми. Сегодня понедельник, значит, можно спокойно пожить там, куда я еду, до обеда пятницы, ибо в пятницу вечером и по выходные родители и брат приедут тоже. Брат-то ладно, а вот портить выходные родителям мне совестно.

Работяги кормят своих ребятишек сладостями и поят газировкой. Любовь прекрасна. И вот спустя пару минут вагон почти забит. Милые бородатые дедушки в шапках «лыжня» и бабушки с тележками и внучкиными рюкзаками «барби». И огромные толстые мощные очки. Втискивается настойчивая нота перегара. «Поезд отправляется до станции Белореченская со всеми остановками…» Здесь должен быть Венечка, но мне лениво вспоминать. Я любуюсь прекрасными радостно-тревожными чувствами и рождающимися из-за правого края окна сначала чертами города (депо, гаражи, дома, склады, пара станций, некоторые дома слишком ворошат память и щемят сердце), а потом лесами, полями и домиками — кто во что горазд.

«Следующая остановка — Пожарское». Я немного жду, а потом протискиваюсь в тамбур. Компанию мне составляют два серьёзных и дымящих мужика и неожиданно встреченный товарищ Сашка Подорожный — местный, знаю с детства. Он недавно ненадолго уезжал на Багамы, теперь же работает на железной дороге и говорит, что больше на Багамы не хочет. Он одет в один только свитер, пьёт из литровой банки Zatecky Gus и со своей широкой белой улыбкой на смуглом

лице напоминает, чёрт возьми, Чарли Паркера. Предлагает покурить травы, я, понятное дело, отказываюсь (высочайшая степень спокойствия (или беспечности?) носить с собой столько, когда ты на поруках). Сходимся на том, что если у меня будет желание, то я подойду потом на магазин — «пивка попьём, поугораем». Ещё он обещает зайти, но это, к счастью, только обещания.

Выходим. Свежо, наконец-то дышится. Смеркается. Это давно уже в большей мере дом, хоть и бываю здесь реже. Попрощавшись с Сашкой и подождав, пока электрон освободит дорогу, спускаюсь с перрона по крутой металлической лестнице и бреду сначала вниз к озеру, а потом в гору домой, по пути купив хлеба (но там, где меня не знают и, следовательно, никому не сообщат о моём прибытии). Снежно-грязе-ледяное нечто хрустит под ногами — здесь хорошенько подморозило и пока гораздо меньше тает; изо рта пар, посильнее тону в своей утеплённой недокофте-недоветровке-недокуртке; под низом ещё одна толстовка, рубаха и футболка — уютно. Хруст-хруст, десять минут, я добежал.

Соседей нет. Меня встречают местный бродяга Рекс и две его безымянные спутницы. Потрепав и почесав его (остальные не даются), извиняюсь, что нечем угостить, открываю калитку и захожу. Ну, привет. Обхожу дом — на соседнем участке моего двоюродного брата тоже никого — хорошо. Отпираю баню, я был прав — холод здесь невероятный. В итоге я до полуночи топил и боролся за тепло, в промежутках сварив себе на маленькой плитке какой-то старый рис, который съел с хлебом и чаем; а и теперь, лёжа на лавке завёрнутым в ватное одеялу — погрызываю кубик рафинада и таращусь на звёзды. Смейтесь, но здесь они действительно настоящие, здесь они действительно есть, и здесь они ближе. Сколько человек смотрит сейчас на ту же звезду, что и я? Почти последний способ истинного единения, что остался нам, — телевиденье не в счёт, не так ли?

Вернувшись в баню, уже относительно поборов холод, я прогрел одеяло и, полураздевшись, укутался в него и уснул мирным сном.

Проснулся я часов в девять — нос замёрз, мороз требует реванша. Полежав ещё немного и прогрев под одеялом оставшуюся ледяную одежду, я быстро оделся и высунулся на веранду. Ночью шёл снег! Но сейчас он всё же подтаял и оставался практически только на ветках — красота! Я убрал теперь уже грязные волосы в пучок, подбросил дров и наскоро умылся. Перетащил плитку и чайник в предбанник — так гораздо теплее. Сварил рис и снова проглотил его с чаем и хлебом. Я монах в горах! Теперь надо браться за работу. Я немного черкнул в блокнот, надел старую куртку — дачное облачение, шапку, взял ключи и вышел на улицу. Брр. Отпер сарай, выковырял изо льда (постоянно весной затапливает) киянку, стамески и другой инструмент и пошёл к верстаку. Выбрал несколько довольно сносных брусков. Но всё-таки счёл необходимым их просушить, поэтому разложил в парилке. Работы временно приостановлены. Я ненадолго вернулся к записям, а потом просто шатался по участку, запасался чистым воздухом, читал, грелся, время от времени подбрасывал по полешку в печь — не слишком сильно. После вновь рисового обеда я уверил себя в том, что заготовки успешно просохли, и принялся за своё скромное ремесло. Расчертил карандашом, всё как полагается, движения уже отточены. Полетела первая стружка, запахло прекрасным чистым ароматом дерева. К темноте вышло две почти что готовые ложки, осталось только сделать их более округлыми и шлифануть — я прямо конвейер. На самом деле я трудился довольно медленно, потому что старался искренне наслаждаться работой. Сосед через дорогу громко слушал радио «Маяк». Я анонимно составил ему компанию — было слышно практически всё, — но потом мне наскучило, я вернулся в дом, поужинал, почитал (сегодня это, кстати, найденное здесь же в сарае «Слово о полку Игореве» в переводе Лихачёва и с его же вступительной статьёй), почёркал в блокноте, подбросил дров и, по-деревенски рано сморённый, лёг спать.

Утром (среда) ко мне в голову явились две чудесные мысли: помыться и попробовать вырезать на этот раз кулинарную лопатку. Воодушевившись, я быстро позавтракал (рис, рис, рис), выбрал два бруска, подбросил дров и решил пройтись, пока сушатся заготовки. За калиткой меня снова встретили Рекс и его команда. Дурачусь с ними, а они ещё некоторое время провожают меня вниз по дороге к озеру. Теперь я иду всё время вверх. Свежо и тихо. Не сильно скользко, и грязь подмёрзла, снеголёд приятно похрустывает. Может, минут через двадцать я вхожу в лес. Ещё тише, ещё холоднее. Снега не так много, как я боялся, но ноги всё равно промокнут. Птицы нежно пересвистываются-переговариваются, деревья аккуратно постукивают дробью трелей и свистяще скрипят. Я стараюсь не задевать веток, дабы не обрушить чудесный снежок, лежащий на них. Стараюсь не тревожить красоты, ничего не нарушать. Вдруг Природа осталась чрезвычайно довольной своим искусством, а я всё испорчу? На ветке сидит белка, крупная и серая. Привет! В её маленьких лапках что-то сжато, и теперь она сосредоточена на трапезе. Будьте здоровы, детки леса! Я иду здесь неторопливо, всматриваюсь в окрестности, прислушиваюсь, пытаюсь рассмотреть, например, где же стучит дятел. Наконец преодолеваю последний подъём и выхожу на естественную природную смотровую площадку: продуваемый обрыв, под ногами камни, далеко внизу видны спички лесопилки, стёклышки разбитой бутылки садовых

обществ и волны, волны, волны тайги. Обычно здесь сильный ветер (высоко), но сегодня мне повезло. Решаю спуститься чуть ниже, в место, где руками экскаваторов работники карьера вырыли в горе полку. Перед этим сбрасываю туда неожиданно найденный мной сухой хворост.

Он настроит дымных келий
По уступам гор;
В глубине твоих ущелий
Загремит топор,
И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь.
Уж проходят караваны
Через те скалы,
Где носились лишь туманы
Да цари-орлы!
Люди хитры…

Прости же нас!

А солнце пока хорошенько согревает меня. И вот я уже скольжу на корточках по огромной ледяной корке вниз и, чтобы не улететь в бездну, врезаюсь ногами в ель. Выбираю на полке местечко получше и развожу огонь. Ничего особенного—просто костерок. Выдумываю, что сжигаю в дыму духов города. Становится ещё теплее—теперь совсем хорошо. Полчаса—костёр потух. Что ж, заваливаю его кусками замёрзшего снега, карабкаюсь обратно, хватаясь за ветки сосняка, и ещё некоторое время сижу с восточной вроде бы (или западной? или южной?) стороны на выступе в скале и смотрю туда, где где-то далеко извечно течёт Великая река. В голове много мыслей, но я специально ничего не записываю—они хороши в своей сиютности, и это прекрасно. Теперь я бреду обратно, на выходе из леса меня встречает, возможно, та же белка. «Ну что,—говорю я ей,—товарищ белка, какие новости? О чём говорит беличье радио? Поведай мне лесные вести…» Белка пыхтит и прерывисто упрыгивает в чащу. «Пока!»

Я негу люблю,
Юность люблю,
Радость люблю
И солнце.

Жребий мой—быть
В солнечный свет
И в красоту
Влюблённой.

О, Сапфо! Твоя поэзия почти так же прекрасна, как поэзия Природы! Ох, друзья, нужно всегда оставлять немного времени для чистой радости!

По пути обратно я покупаю гречку, хлеб на завтра и полпятницы, а также перловку и самые дешёвые сосиски для Рекса и его команды. Надеюсь, они это съедят, потому что денег теперь у меня осталось всего ничего. Прихожу домой, ставлю сушиться кроссовки, переобуваюсь в старые дачные ботинки, что на размер меньше, и ставлю перловку вариться. Сосиски потом брошу туда же, выбора нет. Обедаю хлебом с чаем и принимаюсь стругать лопатки. Первая выходит после долгих мучений совсем уж неуклюжая, но милая сердцу. Вторую же уже не так стыдно обменять на деньги. Пока готовится собачье варево—добиваю Игоря и слово о его полку, потом псы довольные, хрум-хрум. До блеска начищаю кастрюлю, банька топится. Уже вечер, бурлит гречка. Съедаю полпорции, потом хорошенько отмываюсь, парюсь и только тогда проглатываю остатки. Звоню младшему брату (он теперь тоже студент), узнаю последние вести и убеждаюсь в том, что родители приезжают в пятницу вечером; прошу обо мне молчок, он всё понимает—свой в доску. Довольный—черкаю в блокноте и ложусь спать. Хорошо.

За четверг я настолярничал ещё две ложки и две лопатки. Воистину хорошая работа. Осталось только довести в городе всё это дело до ума и покрыть моим хитрым лаком. В пятницу я проснулся, позавтракал, хорошенько посидел на улице, потом прибрался предельно чисто, как могу. Попрощался, и вот уже мчусь на трёхчасовой обратно в город, где до вечера скитаюсь по улицам и мыслям, потом прихожу-таки домой и, почистившись, отужинав деревенскими гречкой и остатками хлеба, чудесно завершаю день в прекрасной компании Брубека и Розового Флойда. В субботу доделываю утварь и выкладываю на аукцион.

Воскресенье. Утром разбудил звонком тот же мужик из центра, в итоге я снабдил его теперь ещё и двумя лопатками, а он вдобавок поинтересовался, могу ли я сделать пару подсвечников. Вспомнив школьные уроки труда, соглашаюсь. Остаток дня я вылизываю квартиру (хренова домохозяйка, утихомириваю совесть) и ищу способ выкрутиться и всё-таки сделать обещанные подсвечники. Вечером возвращаются родители и брат. Неловко. Пытаюсь черкать в блокноте—ничего не выходит. Тихонько и виновато, как побитая собака, почитываю (то одно, то другое, ничего не идёт), в итоге—ложусь спать.

Так и прошла неделя.

Вообще-то так быстро у меня редко кто покупает—кому вообще это нужно? Поэтому решаю держаться за этого мужика. В кои-то веки у меня вторую неделю подряд есть деньги. На самом деле я пробовал работать в других местах: в книжном магазине и в том чаду творческой молодёжи—всё это было не для меня (моя особа была не для этого), но, скорее всего, я просто невероятно ленив и слишком тону в своём любительском самоанализе (уровень «дилетант»).

Для того чтобы выполнить заказ, мне нужен был токарный станок. Вчера я всё-таки каким-то чудом выбил себе рабочее место: в гаражах моего любимого Нижнего Академгородка есть небольшой завод; хотя это даже, скорее, не завод, а просто несколько цехов со своим производством. Мне разрешили поработать там до двенадцати утра с условием, что я всё уберу, приду со своими инструментами и материалами и ещё разберу какой-то мусор на хоздворе. Я понимаю, что, скорее всего, это одноразовая акция, но хочется верить, что это не так. Беру всё необходимое и на заре мчусь вместе с рабочим людом совершать своё скромное ремесло. Руки всё помнят (кто бы мог подумать, что мне это когда-нибудь пригодится?), поэтому я успеваю выполнить всю работу в срок. Выходит сносно, дома залакирую, и готово.

Выполнив уговор, иду на остановку мимо автостоянки с огромным количеством автомобильных трупов, потом направо вдоль забора дендрария, вот и пришли. На мой взгляд, остановка одна из живописнейших: рядом недостроенная церковь, за ней—обрыв и Великая Река, за ней—бескрайние горы, обрамляющие её. И как всегда кажется, будто они ненастоящие, будто это творение Рериха или, конечно, Каратанова. И как всегда—ветер. Сколько раз я бывал здесь в истязании, когда мне было слишком невыносимо, когда была слишком тяжела эта чёртова ионова тоска или делирий Ти Жана—называйте как хотите, мне всё равно; в прямом смысле слова—на краю, всего лишь шаг, а единственным якорем, единственной причиной остаются те, кому ты всё ещё не в состоянии нанести этот слишком подлый удар; поэтому ты делаешь шаг назад. И это, естественно, не объясняет, почему всё устроено так беспощадно глупо, почему всё так невероятно горько и абсолютно не поддаётся пониманию. И нет нигде решения, нет спасения—только не говорите мне о боге, не надо. Я искренне хотел бы любить его, отдаться в его руки, признать его волю и идти за ним; но в очередной раз посмотрев на всё вокруг—не могу быть такой сволочью. «Он падал спьяну, утыкаясь головой в их столы, и они не убили его, когда он очень хотел, чтобы его убили, когда смерть была единственным выходом». Бук, как раз поэтому твою писанину считают дерьмом, потому как понимают, что это дерьмо—на три четверти мы, мы его главная составляющая, это прямая демонстрация наших уродств и со слепым бездумным усердием скрупулёзно рукотворимой нами жизни вслед за всеми, а кому приятно, когда их тычут в собственные же недостатки? Мы банально слишком любим себя—всё всегда слишком банально и пошло, но пошло только потому, что сказано бессчётное количество раз, хоть и при этом не перестало быть правдой, но тем не менее так ни до кого и не дошло. В итоге мы будем дальше ржать, ломая челюсти, над теми, кто носит в себе чистейшую картину всего этого и потому, к примеру, пьёт, потому не в силах делать хоть что-то, кроме этого; он бросает камень в храм, а люди дальше ржут, клеймят—они умеют делать это лучше всего,—а то, что храм кишит чертями, видит только он, только он живёт с этим, каждый день просыпается и ложится спать, и нет никакого выхода, и нет никакого спасения. Как же с этим жить?

А потом ты делаешь ещё один шаг назад, и всё это становится только фарсом и лицемерием, и теперь тебе ещё хуже, хотя казалось бы—куда. И тебе некуда от себя скрыться, нет сил и способности перестать думать, остановить эту кружащую свору пустоцветных, но таких тягостных и убивающих мыслей; некуда бежать от этой муки, и негде взять сил. Вы считаете, что говорить о том, что ты изгой—притворство? О том, как ты всегда и везде не к месту, некстати, лишний, плетёшься где-то позади, говоришь, а прервавшись на середине слова, понимаешь, что тебя никто не слушает, и потом портишь всем жизнь своим серым лицом и ворчанием, люди говорят тебе, а когда ты начинаешь отвечать—устало вскакивают и оставляют тебя одного, делай что хочешь,—это притворство? Когда ты сам того не желая всех достал, всем из-за тебя тяжело—это притворство? Или как всегда: отец и мать мило сидят внизу на кухне, смотрят какой-нибудь наивный отечественный сериал про очередных шпионов или какой-нибудь фильм, который ты им посоветовал после того, как они с доверием тебя об этом попросили; мать что-то не может понять, а отец спокойно и с любовью тихонько ей объясняет; а ты сидишь пауком над всем этим на втором этаже в своей маленькой комнатке (за стенкой брат тоже что-то смотрит) и выгрызаешь себя в одиночестве, истязаешь себя и других, не даёшь жить ни себе, ни им в силу своего гнусного характера узколобого брюзги—это притворство? Да, возможно, но какое вы право имеете презирать и осуждать за это, когда даже понятия не имеете, о чём говорите и с чем имеете дело? Здесь нет никакой романтики, элитарности, упоённого самолюбования и прочего подобного бреда, здесь только мука, невыносимая и неизбывная. «Никак не растолковать её непьющим невеждам, обвиняющим пьющих в безответственности».

Но силы откуда-то берутся или это просто шлейф отчаяния?

Слова, слова и приторно высокий пустой слог.

Я сажусь в автобус и еду домой заканчивать работу, чтобы скорее всё продать и вновь исчезнуть, вновь сбежать к своему спасению, пока не поздно. Скажите мне—откуда пробка в полдень? Это ловушка, западня, я загнан. «Они приходят на рассвете, я это знал. И все ночи напролёт только тем и занимался, что ждал рассвета. Трудней всего давался тот смутный час, когда, как я знал, они

обычно принимаются за работу». Да, Альбер, я знаю, что они должны были прийти и за мной, все эти ржущие, без умолку говорящие, валящие и сыплющие свои поганые словечки, схваченные своими телефонами, как удавами, заворожённо и с улыбкой смотрящие в эти свои горящие сверкающие экраны смерти, прижимающие поплотнее эти иерихоновы трубы к своим насмерть глухим ушам, они пришли и почти схватили меня, обступили со всех сторон, бесконечная поездка, сраная скважина. Я выскакиваю. Асфальт вязкий, резиновый, и всё вокруг такое же, тягуче проваливается, скалится, щерится, щетинится, кричит, громыхает, скачет—резко, но слишком медленно, как падение во сне,—я иду, иду, иду, иду, всё дальше, дальше, дальше, дальше, прочь, к чёрту, час, два, чуть больше, этажей жилых домов всё меньше, да и самих жилищ—тоже, всё больше баз, складов, дорога ревёт и вздымает эту круговерть, да так, что совсем нечем дышать, ноги ноют—молчать, и вот уже озеро, мост, дачи, грязь, другое озеро, выше, легче, вырываюсь—холмы, поля—бесконечные. Прохожу ещё чуть дальше и ложусь на краю. Земля—невыразимое чудо. Каждая травинка, весь этот мох, это что-то невероятное. Просто прильнуть к ней щекой, она обнимает тебя действительно как мать. Она всегда заберёт все твои невзгоды и печали и освободит тебя. Словно обнимаешь человека и чувствуешь, как всё дурное покидает тебя, уходит к нему; так хочешь ли ты этого, чтобы всё то, что мучает тебя, безвозмездно в ущерб себе самоотверженно забрал кто-то другой? Всё то, от чего ты сам жаждешь избавиться? Хватит ли у тебя совести и чувствуешь ли ты ответственность? Или лучше проявить стойкость и любовь и оставить всё при себе?

Звон в ушах от тишины—вот что такое благодать, вот что такое благословение, когда слышно, как тихо перешёптываются прошлогодние жёлтые колосья и греет солнце, и всё вокруг цветом такое же, как это тепло. Вступает ненавязчивый, но сильный голос ветра, и небо такое синее, что шумит в глазах. Ожидание потрясений движет жизнью, этих редких неуловимых сиютных откровений, секундного явления реальной, истинной сути вещей, *реальной* действительности, когда действительность на самом деле действительна. И каждый стремится к достижению этого состояния теми способами, в которых он более всего хорош или которые ему более всего удобны, привычны, которые, как ему думается, более всего эффективны. От точки к точке. Непостижимо точное сложение обстоятельств: внешние факторы и состояния духа и тела идеально сочетаются, дополняют друг друга, границы исчезают, именно в этот миг ты становишься действительной частью этого мира, всё обретает целостность, завершённость, всё становится единым, всё становится одним и поэтому ясным и чистым. Что же произойдёт, если по какой-то чудесной случайности все люди на земле единовременно испытают это состояние? Что же станет тогда со всем тем, что мы привыкли знать? Что мы привыкли думать? Как привыкли смотреть на вещи? Ведь сложившийся порядок—не единственный, так какой же тогда тот, что другой? Вся житейская грязь—ничто.

Птица! 16:48—это время спасения, время возобновления работы сердца. Трасса нечастыми порывами дышит вдали. Я улыбаюсь. Далёкий гул—реактивный самолёт преодолел звуковой порог. Встаю с земли и начинаю спускаться ниже, к ещё одному, теперь уже совсем крошечному озерцу. Вниз к лугам голосит вода. И в самом деле—у лесов и полей разный характер. Гляжу на всё вокруг. Посреди поляны стоит одинокий старый столб. В оврагах, что чуть выше, всё ещё лежит снег. Фольга от пачки сигарет играет в траве изумрудом. Оставляю рюкзак и взбегаю к озерцу, что чуть выше, чем луг, но ниже холмов и полей. Мёрзлые кочки болота, камыш и гнёзда на редких деревьях. Оглядываюсь, всматриваюсь в линию горизонта города и линию горизонта иных далей. Спускаюсь обратно, вслушиваясь в шуршание моих шагов,—ещё один звук к этому удивительно гармоничному букету. Холодает. Брызги зелёной травы среди жёлтой слишком прекрасны. Повсюду тонкий слой воды. Я великан—перешагиваю эти реки. Быть как дитя—значит не потерять способность удивляться, восторгаться, восхищаться, очаровываться простыми чистыми суть великими вещами. С важным видом инспектора расхаживаю по лугу с блокнотом в руках. Солнце отражается во льдах корки замёрзшего озерца. Замёрзли руки. Глаз дневной луны. Иду по естественному природному молу. Теперь припекает. Птичье гнездо в густых зарослях. Греюсь на солнышке. Вода шумит, гулко бурля, образуя реку. Лёд брызжется осколками. Пахнет тиной и сыростью. Ищу глазами птицу, что спряталась в зарослях и снегах. Беру рюкзак—теперь пора обратно.

Сегодня вторник. Пасмурно. Асфальт мокр. Голуби, широко раскинув крылья, садятся ко мне на подоконник и наблюдают, как я варю себе овсянку. Хохлятся, чистят пёрышки, что-то клюют и непрестанно курлыкают. Истинно английские джентльмены явились к завтраку: «Овсянки, мистер Пижон?» «О, благодарю вас, сэр. Как здоровье вашей достопочтенной матушки?» «О, всё замечательно, сэр…» Где-то расселись крикливые воробьи. Вспоминаю, как когда-то давно у нас на балконе в щели между плитами свили гнездо их сородичи, вспоминаю чистый писк птенцов. Собираюсь, но выхожу только к обеду. Еду на работу к тому мужику, что заказал подсвечники. Какой-то офисный центр, вхожу в вестибюль, звоню. Охранники наготове—я опасен. Сообщаю

девушке о цели своего визита. Проваливаюсь в холодные кожаные объятия дивана. Мужик выпрыгивает из лифта и машет мне. На нём дорогой костюм, и свободный нрав выдаёт только не совсем соответствующий местным порядкам галстук. Как же чудовищно невыносимо всю жизнь делать то, что тебе не по душе. Но, может, если есть ради кого, то уже становится не так страшно? Да и ещё ведь может оказаться, что того, что по душе, попросту и нет. Душа никчёмно пуста. Машу в ответ, улыбаюсь и встаю. Расстёгиваю рюкзак, отдаю обещанное. Он вертит их на вытянутых руках, кажется, он доволен. Забираю деньги. Вот и всё. Всё просто.

Остаток дня слоняюсь по улицам, ошиваюсь в дешёвой столовке и, наконец дождавшись электрички,—снова мчусь на волю.

Среда. Утро. Подбрасываю дров, хватаю книжку и выхожу завтракать на улицу. Греюсь на солнце, сидя на скамейке с южной стороны дома. Снег большими серыми пластами лежит лишь в тени. Птицы шуршат в кормушке. Слева под калиной мелькает мышка—ищет и грызёт семечки. Не тревожу её. Вода в лужах дрожит от ветерка. Солнце светит в лицо и припекает. Подвязка постукивает по теплице. Сэр Бернард Шоу, видимо, чересчур вдохновлялся Чеховым. Из-под самого большого сугроба из оставшихся высовывают свои носы парники. Дрожит прошлогодняя травка. Округло щекочут ветер крылья синиц. Не могу всем этим насладиться должным образом, внутри зудит холодно-тревожное дребезжание раздражения—ведь не вижу явной красоты, да ещё и чёртов сосед (отличный мужик) слишком громко орёт по телефону.

Синица копается в кормушке, прям-таки ныряет с головой, потом садится на калину и стучит клювом в стремлении извлечь зерно, стук несётся по всей ветке и, выскользнув,—исчезает. Убираю посуду, набрасываю куртку и ухожу в сторону леса. Солнце не щадит себя, повсюду, не замечая преград, мчатся ручьи. Бежит знакомая собака, радостно брызгаясь лужами. Вхожу в заросли. Здесь не так ярко, но тоже жарко, иду в одной рубахе, куртка висит на левой руке. Небольшие сквознячки приятно холодят. Снег искрится на свету, а свет пляшет на нём. Здесь совершенно иной мир, казалось, спрятанный, но на деле—доступный каждому. Между деревьями вьются следы куропатки. Природа сбрасывает дрёму—оживают муравейники. Не понимаю тех, кто сравнивает с ними здания, похожие только сами на себя. Эти чудовища с чёрными дырами пустых глазниц. Смотришь, думаешь, что апокалипсис уже наступил, а потом из них высыпают люди и разбредаются по своим работам.

На узкой лесной дороге люди застряли на (как им казалось) внедорожнике. Незаметно оставляю их в стороне, вот я и снова на горе. Ветра нет, тепло, парит. Где-то далеко лают собаки, и кричит ворона. Внизу даже изредка слышны голоса и звуки то ли топора, то ли выстрелов. Металл крыш светится на солнце. Летит самолёт, в тайге шумят деревья. Птицы слышны лишь изредка. Первые мухи. Звон в ушах. Голые деревья в низинах кажутся серым дымом, туманом. Склон усеян маленькими сосенками. Быть может, повезёт, и они возмужают раньше, чем это святое место захватит человек. Люди вели войны—дерево росло. Гибли цивилизации—дерево росло. Туда нам и дорога. Мы, сидящие всю жизнь за столом в пустом пространстве пустых бумаг,—видели ли мы всю эту невозможность и невообразимость? Всё здесь, а мы проходим мимо.

Как же важно что-то чувствовать. Вспоминаю те глаза. Её улыбка—значит, можно прожить ещё один день. Я снова нуждаюсь в твоей помощи. Прости меня, умоляю, прости меня. Спаси, как ты всегда спасала. Всё приходит невероятно поздно или, как всегда,—слишком далеко. Отсутствие способности поймать настоящее, закрепиться в нём, вот в чём невыносимая печаль.

Если не умру, то после спада вновь последует подъём, но где же он?

К вечеру погода снова испортилась. Стояли насыщенно синие сумерки с яркими просветами. Ветер—крыши и карнизы хрустят под его порывами. Деревья скулят, воют и бьются ветками. Всё сжимается перед взрывом, который не суждено увидеть—только его последствия утром.

Закрываю глаза, здравствуй, милый сон. Что бы я делал без тебя? Мы действительно чувствуем солнце только после грозы. Джинсы, рубаха и куртка висят на гвозде—сколько в этом поэзии?

Чего стоят все эти блокноты?

Треск печи, треск ночи, за окном ветер упрямо бьётся в стену—последнее, что я слышу перед тем, как уйти во тьму в сыром холоде.

На улице моросит дождь. Наскоро умывшись и позавтракав, я надел дедов флотский длинный чёрный брезентовый плащ («военно-морской», как он говорил), нырнул в свои резиновые сапоги и был таков. Природа благоухает свежестью, повсюду стрекочут, постукивают, отскакивают, семенят и звенят симфонии дождевых дробинок. Я поудобнее натягиваю капюшон и теперь вижу себя призрачным и тихим странствующим монахом, не хватает только посоха и котомы. Спокойным шагом я двигаюсь сквозь дома и небольшие пролески. Вокруг ни души, все сидят дома около тёплых печек и погружены в свои сладкие дрёмные грёзы или же тяжёлые рабочие думы (в этой пыхтящей кочегарке—уж точно). Водостоки извергают все эти хляби. Встреченная мною собака жалобно и смиренно смотрит мне в глаза, с её короткой мокрой шёрстки лениво сбегает вода. Животное, что любит тебя просто за то, что ты есть.

Перейдя мост через ручей и свернув с дороги, я наконец вхожу в лес. В некоторых не слишком доступных солнцу зарослях снег всё ещё сравнительно глубок, ровно как и на северных склонах. Здесь холмистый нрав окрестностей, поросший густым смешанным лесом. Я миную две «бухточки» (на деле же—открытые местности среди всё тех же холмов) и вхожу в третью, самую большую. Шепчущий и шипящий по левую сторону ручей теперь уже вполне претендует на статус бурного потока: неистово пузырится, бурлит, порой захлёбываясь, кипит, хрипит и непоколебимо несётся своим стремительным глиняно-серым ледяным потоком, выходя из берегов. Бескомпромиссный, идеалистически-максималистски настроенный юноша. Справа от него аккуратно умещается совсем небольшое озерцо, скорее всего—искусственного происхождения. Ладонью я сбрасываю с капюшона скопившиеся капли и стою себе наблюдаю эту картину. Бездельник-эстет. Птицы редко и недовольно перебрасываются своими перепевками: сыро и мокро—кому так уютно? Смогли бы они когда-нибудь оказать мне великую честь и спрятаться в полах моего плаща, полностью доверившись?

Шурша жухлой травой, я двинулся ещё правее, в гору по размытой глубокой колее, и вышел к спрятанным в деревьях и под землёй двум бетонным резервуарам—если не знаешь, что они там есть, то почти наверняка не заметишь. Неизвестно, сколько лет они уже обитают здесь и использовались ли они когда-то по своему назначению (едва ли). Скорее всего, это объекты ГО, которые должны были отвечать за пожаробезопасность, и искусственное озеро тоже явно с ними связано. Они удивительно хорошо научились вписываться в окружающую действительность, высшее проявление маскировки. Поросшие мхом, деревьями, кустарниками, муравейниками, полуразрушенные, они пробуждают воспоминания о далёких исчезнувших цивилизациях; быть может, это была их дума или алтарь, храм невероятных извечных богов, ну и с таким же успехом они могли служить уборной для рабов или всё же для вождей.

Я посильнее захлопнул полы плаща и сел в более-менее сухое место, облокотившись спиной о сосну. Как прекрасен запах хвойного леса во время дождя. А сколько запахов иных земель мне не знакомы? Внизу раскинулось бескрайнее одеяло леса, над ним—по-левитановски насыщенное небо (Исаака Ильича природа явно считала своим, так близко подпуская к себе). Людские жилища выдают себя лишь столбиками дыма, постукиванием топоров и пунктирным покрикиванием пил. Ну и собаки не отстают. Дождь перестал, солнце, отражаясь во всех этих каплях, поистине являло собой гротеск. И я сидел себе, осознавая свою, может, сперва и неприметную, невозможную, но имеющую место быть причастность ко всему этому, я сидел себе, понимал и наблюдал это единение.

Чтобы не заболеть, я сбежал, поскальзываясь, вниз с горы и дальше, пока позволяло дыхание.

Вернувшись, я заварил чай и писал стихи, и они мне казались жалкими.

Я не находил в себе сил уехать или не находил в себе сил более переносить одиночество и пятничным вечером встретил родителей и брата робким взмахом руки и такой же робкой улыбкой и переместился из бани в дом. За ужином отец рассказал о возможном возвращении статьи за тунеядство—намёк ясен; дескать, уклоняющихся от трудоустройства свыше шести месяцев при наличии подходящей работы предлагается наказывать исправительными работами сроком до одного года. Давайте, мол, пропишем в Конституции, что труд—это не только право, но и обязанность каждого гражданина. Снова разглагольствования среди тех, кому мы доверили осуществление собственной воли, о том, что «люди сейчас воспринимают свободу как некое право на тунеядство и социальное паразитирование». Один господин заявляет, что «это неправильная практика, когда население не пользуется услугами службы занятости,—государство должно обеспечить работой каждого. Тогда будет намного проще контролировать тех, кто отклоняется от работы». Ну он хотя бы почти откровенно говорит об очередной попытке расширить рамки контроля, скрывающейся, как всегда, за мнимой заботой. И никто вроде как не скрывает, что данная инициатива зиждется на элементарной и вечной идее ещё больше увеличить налоговые доходы государства. Стало быть, акцент ставится на результате, в то время как для труда на первом плане находятся усилия, труд не анализируется, в отличие от работы, в терминах результата. Следовательно, в поправке речь идёт не о труде, но о работе, то есть роде деятельности, полезном для общества и одобренном им, а также о привязанности к работодателю и итоговом результате. Используя их же формулировку, что каждый обязан трудиться, можно с уверенностью говорить, например, что труд-то мой—внутренний, он привязан к работодателю, приносит обществу благо, о котором, конечно же, и идёт речь. С него тоже нужно взимать налог? А как же люди свободных профессий, путешественники, священнослужители неугодных государству конфессий? А как же те, кто трудом исключительно своих рук, землёй способны прокормить себя? Они тоже тунеядцы и социальные паразиты? И как быть всем тем, чей род деятельности отсутствует в Трудовом кодексе,—всячески изощряться, лишь бы заплатить вожделенный налог? Ладно, хватит, это всё смешно, я просто тупой и ничего не понимаю.

Брат сообщил, что снова пришли повестки, но я слишком неуловимый бездельник.

Для чего нужна армия? Самый элементарный ответ—защищать. От кого? От других армий. Тогда если нет других армий—нет потребности в защите. «Постоянная армия—руки постоянного правительства»,—подсказывает мне один мой знакомый инспектор. Голова защищает себя (в лучшем случае) от неугодных ей рук других Голов, внушая своим Рукам, что и им они неугодны, даже, быть может, в первую очередь. Руки теперь становятся больше похожими на протезы—настолько они теряют свой живой облик, почему же они не осознают зависимости от них непутёвой Головы? По её принуждению они вынуждены совершать поступки, противоречащие совести, которой они, как это ни странно, как раз таки обладают, в отличие от своей Хозяйки. «Миролюбие—естественное свойство человека». И почему же тогда мы обязаны потакать отклонениям и уродству Головы? Потому что так написано в паршивенькой книжечке «чьей-то дрожащей рукой, дрожащей от собственной фальши».

Я никому не хочу причинять неудобств и потому удаляюсь в свою паучью комнату.

На выходных каждый занят своим делом—я занят тем, что стараюсь никому не мешать,—уже помощь. Проверяю, чего стоит поэт Багрицкий. Тем не менее—мы всё-таки строим с отцом дровяник. «Высокий, чтобы ты не бился головой». В воскресенье природа перестала быть дружелюбной. Стоял до ломоты в висках густой кисельный воздух. К вечеру поднялся сильный ветер, словно прогоняющий и без того уезжающих нас. Мы ехали по трассе, вдалеке в серой мгле стоял труп города. Вокруг полыхали холмы, подступая к нему вплотную и зияя чёрными дырами дымящих кратеров, даже в машине чувствовался этот запах, и было нечем дышать. Никто не боролся с огнём, не было ни пожарных, ни местных жителей—ни души. Город совершал самосожжение. Пламя отражалось в окнах, и потому казалось, будто пылают уже и здания. На месте чёрной пустоши зелень родится раньше.

Ветер глухими ударами колотил в борта машины, едва её не переворачивая. Всё вокруг сжималось в одну большую серую точку. Брат показал на сгоревший автобус, одиноко тлеющий в поле. Мы едем на кладбище—сегодня Родительский день. Широкая разбитая трасса теперь высечена вдоль заводов и огромного количества полуразложившихся бетонных недостроев. Провода, теплотрассы, трубы, асфальт, бетон. Здесь нет ни одного дерева, сплошная пустошь, всё отравлено на веки. Из последних сил сияет завод Coca-Cola. Рядом с ним огромный пустырь с бессчётным количеством останков грузовиков, развозивших их продукцию. На дороге мы видим совсем недавнюю аварию. Сворачиваем на кладбище—бескрайнее, теряющееся за горизонтом. Вокруг огромное множество лавок, торгующих камнем, венками и прочим. Ветер уносит всё это, многие торговцы сворачиваются и уезжают. И вот мы на месте. Здесь мой дед и прабабушка. Убираем мусор и наводим порядок. Ещё более пасмурно, ветер неумолим. За низким сетчатым забором стоят многоквартирные дома, в паре километров отсюда, и ни в одном окне не горит свет, где же кончается кладбище?

В небе птица тщетно борется с ветром. Я смотрю на своего брата, он стоит серьёзный в своей неизменной кепке, из-под неё вьются светлые волосы. Я смотрю на него и вижу великого человека. Не нужно больше слов. В моих венах бегут чернила. Я держу в руках дешёвую ручку, в ней почти кончилась паста, по стенкам стержня рябят чёрные капли—это всё я. Я буду верить в добро, во всеобъемлющую красоту, её частичка есть даже в самом уродливом и страшном, и есть всегда; она—бог—всё доброе, светлое, хорошее, простое, искреннее, праведное, радостное, истинное, вечное и чистое; это просто общее слово; это всё равно что сказать, что деревья, ягоды, трава и звери—это лес, где лес—это бог. Вот и всё—ни слова больше.

Михаил Закавряшин

Человек за стеной

Вечерний танец

Десять лет прошло.

Я сижу в кабинете, спрятавшись от всего мира за белой пластиковой дверью. В руках у меня фотография — стройная загорелая девушка с тёмными волосами, собранными в хвост. Рядом стоит маленький белобрысый мальчик. Пронзительными голубыми глазами он смотрит на меня из прошлого.

В голове проносятся события тех июньских дней.

Эта загадочная история произошла в самый расцвет моей бурной молодости, когда я только окончил институт и мало-помалу начинал вставать на ноги, превращаясь в солидного человека. Мне было двадцать четыре, я работал помощником в одном адвокатском бюро и параллельно преподавал криминалистику будущим юристам, немногим моложе меня.

Как и в студенческие годы, я старался не упускать возможности вырваться из душного города, чтобы наведаться в родительский дом, с которым было связано так много тёплых воспоминаний. Приезжая в родную деревню, я с удовольствием предавался нехитрым удовольствиям, будь то охота или рыбалка; мог часами бродить по лесу, слушая пение птиц и полной грудью вдыхая чистейший воздух. Казалось, ничто не могло нарушить царившее умиротворение, пока однажды не произошёл тот ужасный случай. Сегодня, оглядываясь назад, можно смело сказать, что он до сих пор остаётся самой странной, необъяснимой и кошмарной страницей всей моей жизни.

Те жаркие июньские дни были наполнены жидкой рябью раскалённого воздуха и горячим дурманом цветущих трав. Роса по утрам не успевала упасть серебристыми бусинами, как тут же исчезала в рассветной испарине. Солнце сушило и жгло, и вся деревня погрузилась в растянувшуюся полуденную дрёму, не в силах противиться летнему зною.

Приехал я в тот раз вместе с Алисой — стройной, загорелой брюнеткой, чьи пышные волосы всегда были собраны в длинный хвост, падающий на гибкую спину. Из-под глубоких вырезов её летних маек бесстыдно манили упругие груди, движения девушки были плавны и по-кошачьи изящны, а запах кожи сводил с ума древесно-мускусной смесью гвоздики и мускатного ореха. Одним словом, Алиса была так же горяча и томна, как те долгие знойные дни, что мы проводили с ней, наслаждаясь друг другом. И я, и она прекрасно понимали мимолётность нашего романа и не строили иллюзий о совместном будущем, взамен этого всецело отдаваясь пьянящим любовным порывам, оставляя наутро помятые влажные простыни.

Мы пили друг друга до дна при каждой возможности. Уходили гулять далеко за реку и, бывало, возвращались домой лишь на заре, проведя ночь в сладострастном танце двух пышущих жаром тел. Подобно крикам лесных зверей, сладкие стоны Алисы разносились над спящей деревней. Люди, услышав эти звуки, начинали шептаться о русалках, что поселились на том берегу реки, и осеняли себя крёстным знамением.

Однажды на закате мы вновь перешли через старый деревянный мост и отправились на облюбованную нами полянку, скрытую от чужих глаз зарослями красной смородины.

— Сегодня мне позвонил Кирилл, — сказал я, расстилая на траве мягкий плед, — они с Полиной заскочат завтра на пару дней. Предлагают посидеть у реки, отдохнуть, поболтать.

Алиса повернулась ко мне, чуть прищурилась и улыбнулась.

— А Ванечка с ними приедет? Я так хочу увидеть этого маленького красавца.

Ванечкой звали моего племянника. В отличие от меня, мой старший брат Кирилл был человеком серьёзным, семейным, а потому очень скоро стал примерным мужем и в придачу молодым отцом. Три года назад у них с Полиной родился сын, который сразу стал всеобщим любимцем семьи и, по признанию Алисы, был самым харизматичным из всех встречавшихся ей мужчин. Ванечка унаследовал правильные черты лица и светлые волосы матери, а от отца ему достались большие голубые глаза. Прибавьте к этому детское обаяние и славный задорный характер, и вы получите настоящего ангела.

— Приедет, — улыбнулся я. — Он уже ждёт не дождётся, когда сможет поиграть с «тётей Алисой». Ты ему определённо понравилась в прошлый раз.

— Знаешь, милый, если у тебя будет такой же сын, то может, мне стоит выйти за тебя?

Я не нашёлся, что ответить, и лишь крепче прижал к себе Алису, чтобы вместе с ней упасть на клетчатый плед и раствориться в долгом обжигающем поцелуе. В её тёмных влажных глазах блестели, отражаясь, лучи закатного солнца, дыхание стало прерывистым и горячим. Моя рука заскользила по гладкой коже её спины. Я стянул с девушки прилипшую маечку и припал губами к обнажённой груди, чтобы в долгой мучительной ласке спускаться всё ниже, заставляя Алису терять рассудок и прижиматься ко мне всем своим разгорячённым телом.

И когда весь мир уже почти исчез для нас двоих, со стороны реки вдруг раздался хриплый ужасный визг.

— Что это было? — оцепенев, спросила Алиса.

Я замер и прислушался к доносящимся звукам. Визг вновь повторился, и на этот раз были отчётливо слышны слова:

— Отдай! Отдай! Отдай! — кричала какая-то женщина.

Мне стало не по себе.

— Кто это? — шёпотом спросила Алиса.

— Не знаю. Я схожу посмотрю.

— Стой! — девушка вцепилась в мою руку. — Может, не надо?

— А что, если ей нужна помощь?

Алиса хотела было мне возразить, но затем передумала. Кивнув, она спешно оделась, и вместе мы вышли на тропинку. Раздвигая руками ветви смородины, осторожно спустились к реке.

Мы увидели её почти сразу. Истощённая женщина, лет тридцати на вид, в чёрном траурном платке. Опустившись на колени, она стояла на другом берегу и сквозь сдавленные сухие рыдания хрипло кричала кому-то через реку:

— Отдай! Отдай! Отдай!

Алиса испуганно сжала мою ладонь.

Я внимательно присмотрелся к взгляду рыдающей женщины. Вскоре я понял, что отчаянная мольба была адресована вовсе не нам. Женщина визжала, заламывала руки и смотрела в сторону зарослей мёртвой черёмухи, чуть правее нашей поляны. Именно в том месте красное закатное солнце коснулось горизонта, отчего искорёженные ветви кустов были словно охвачены пожаром.

Никого среди усохших растений я не увидел. Но женщина всё кричала и кричала, обращаясь к кому-то невидимому:

— Отдай! Отдай! Отдай!

Я не знал, что делать. Женщина нуждалась в помощи, но подходить к ней было страшно. Она казалась готовой наброситься на первого встречного в слепом припадке безысходной ярости. Где-то с минуту мы стояли в нерешительности, и когда я всё-таки набрался смелости, женщина вдруг замолчала. Упав лицом в траву, она тихо заплакала.

Мы перешли через мост и приблизились к несчастной.

— Здравствуйте, — осторожно сказал я, — с вами всё в порядке? Мы можем вам помочь?

Женщина вздрогнула, услышав мой голос, подняла голову и посмотрела на нас с Алисой покрасневшими затуманенными глазами.

— Никто уже мне не поможет, — охрипшим голосом сказала она, — уходите!

— Но…

— Уходите!!!

Я растеряно оглянулся на Алису. Девушка кивнула и взглядом дала понять, что нам и вправду лучше уйти. Так и не узнав ничего толком, мы оставили несчастную на берегу, не став вмешиваться в её горе.

Солнце меж тем окончательно скрылось за горизонтом, и небо стало понемногу темнеть. Весь романтичный настрой бесследно исчез, поэтому мы с Алисой решили вернуться домой и хорошо выспаться перед завтрашним днём.

Однако набраться сил в ту ночь так и не удалось. До самого рассвета меня мучили дурные сны, от которых я просыпался в холодном поту, в ушах продолжал звучать пронзительный визг: «Отдай! Отдай!» Было душно, и я то и дело поднимался с кровати, чтобы выйти во двор и глотнуть свежего воздуха.

Лишь когда в небе появились первые рассветные лучи, я наконец почувствовал накатившуюся дремоту и, уткнувшись носом в тонкую шею Алисы, задремал, вдыхая горячий запах гвоздики и мускатного ореха.

На следующий день, где-то после обеда, в деревню приехал Кирилл вместе с женой и сыном. За то время, что я их не видел, Ванечка успел подрасти и стал ещё более умилительным. Кирилл с Полиной тоже выглядели посвежевшими, словно помолодели на пару лет. Видимо, остались позади бессонные ночи, младенческие крики, и молодые родители теперь могли вздохнуть немного спокойнее.

Пока женщины во дворе играли с ребёнком, мы с братом неспешно укладывали в машину продукты и вещи, делились друг с другом последними новостями своей жизни. Я с любопытством слушал, как Кирилл говорит о Полине, о Ване. В какой-то момент поймал себя на мысли, что немного завидую ему.

— Ты сам-то как? У вас с Алисой всё серьёзно или как обычно? — спросил Кирилл, заметив мой интерес к семейной теме.

Я пожал плечами.

— Да ты знаешь… странная вещь. Она и не требует от меня ничего, не планирует. И из-за этой лёгкости я к ней всё больше привязываюсь.

— Так может, стоит попробовать?

— Ты же знаешь мой подход, Кирилл.
— Да-да, помню.

Он закинул в машину последний пакет с продуктами, сел на лавочку и закурил.
— Ну и жара,— сказал Кирилл, вытирая вспотевший лоб.
— Уже с неделю так,— кивнул я.— Ох! Ты глянь! Что за викинг к нам бежит?!

Со двора, топая сандалиями по деревянной дорожке, на всех парах нёсся Ванечка. За спиной у него, наподобие рыцарского плаща, развевалось подвязанное полотенце, а в руках была здоровенная палка вдвое больше его самого. Позади, улыбаясь, шла Алиса, следившая за тем, чтобы юный воин не покалечил сам себя.
— Патите тань! Патите тань!— звонко закричал племянник.
— Что-что?— не поняли мы с Кириллом.
— Патите тань!

Алиса взглянула на наши озадаченные лица и засмеялась.
— Ну и что сидим? Слышали, что сказал сэр Иван? Платите дань, да поживее! Вы— его подданные!
— Да! Патите тань, потаные!
— И чем тебе платить, сэр Иван,— подыграл Кирилл,— зерном, златом или, быть может, девицами непорочными?

Юный рыцарь задумался на секунду, посмотрел на Алису, а затем радостно закричал:
— Тевицами! И конфетами!
— Мне кажется, он скорее пошёл в тебя, братец,— засмеялся Кирилл.— Алис, где там Поля? Скоро она?
— Переодевается. Сейчас выходит.

Полина вышла через пару минут. Проверив, всё ли на месте, мы заперли дом, сели в машину и отправились к реке. Местом для пикника выбрали поляну неподалёку от старого моста. Там открывался чудесный вид и был небольшой песчаный пляж, на котором в самый раз валяться, купаясь в ласковых лучах летнего солнца.

Минуты беззаботного отдыха как-то незаметно стали складываться в часы. Мы плавали, грелись на песке, слушали музыку, болтали о разных вещах и много смеялись. Ваня носился по всей округе, гонялся за бабочками, сражался с зарослями тростника, и постоянно норовил убежать из-под нашего присмотра.
— Тигрёнок, не надо бросать бабочек в воду,— сказала Полина,— нет, они не умеют плавать. Они умеют только летать, видишь у них крылышки? Алис, ты далеко?
— Пойду, схожу за реку. Хочу собрать цветов.
— Хорошо. Нет, Тигрёнок! Без крылышек бабочки всё равно не поплывут!

В какой-то момент мы с Кириллом остались вдвоём, и наш разговор снова вернулся к обсуждению моей холостяцкой жизни.
— Слушай, ну с женой понятно,— задумчиво кивнул брат,— ну а как же дети? Неужели нет желания стать отцом?
— Честно говоря, есть,— признался я,— с каждым днём всё чаще задумываюсь об этом. Видимо, какие-то инстинкты начинают во мне просыпаться. Бывает, гляжу на твоего Ванюху, улыбаюсь, радуюсь, а у самого тоска под сердцем.

Кирилл удивлено взглянул на меня.
— Тоска?
— Ага. Такая паршивая, сосущая, где-то глубоко засела. Знаешь, вот так бегаешь, носишься как белка в колесе, а стоит остановиться на секунду, и сразу тошно делается. Думаешь, а нафиг сдалась эта работа, эти достижения? Для кого всё это? Я как спичка— горю, изгибаюсь весь в пламени. Только зачем? Кому я, спрашивается, свои свет и тепло отдаю? Никому. Вот и получается, что вроде как и зря я живу.
— Нет-нет, подожди. Но есть ведь студенты. Разве им ты не светишь?
— Ну, отчасти. Я, честно говоря, только за этим в институт и вернулся, чтобы хоть через студентов как-то себя передать, вложить в них частичку своих знаний и умений. Только не всегда выходит. Бывает, чуть ли не танцуешь перед ними, а результата ноль. Хотя, конечно, есть и толковые ребята. Ради таких и сплясать можно.
— И что, помогло тебе возвращение? Уходит тоска?
— Только во время занятий. Домой приходишь, и снова накатывает. Вот и приходится бегать, суетиться, лишь бы не утонуть в этой серости. Чего там греха таить, Кирилл, я уже давно понял, что ты всегда был прав. Главное— это семья. Ничто её не заменит. Хоть ты тысячу студентов выучи, хоть ты мессией стань, которому поклоняться будут, всё равно одиноким останешься. Нужна-нужна семья. Дети нужны. Нужны те, для которых ты гореть будешь, танцевать будешь, просто потому, что они верят в тебя. Ты для них— всё. И они— всё для тебя.
— Что я тебе и пытался в голову вбить,— улыбнулся Кирилл,— ну а если дошло наконец, почему до сих пор боишься попробовать?

Я отвернулся. Говорить не хотелось, казалось, что брат посчитает меня трусом. Но всё-таки я признался:
— Потерять страшно.
— Не понял тебя.
— Помнишь, что мама сказала, когда умер отец?
— Что больше никогда не сможет полюбить другого мужчину…
— Как думаешь, почему?
— Хм… кажется, я догадываюсь, к чему ты клонишь. Думаешь, она боялась вновь пережить утрату?
— Ага. Это как со студентами. Ты им светишь, отдаёшь всего себя, а через пару лет они уходят,

и никто уже не вспомнит про какого-то преподавателя. Но со студентами — это ерунда, на самом деле. А вот с близкими… Близким ты не просто светишь, нет, ты отдаёшь им частицу своего огня. Вырываешь у себя из груди. Помнишь, как у Горького? Вот. А потом… Потом ты её теряешь. И никогда уже не станешь цельным. Поэтому я боюсь. Я помню, как мы потеряли отца. Как умерла мама. Нет, Кирилл, я не смогу потерять ещё кого-то.

Кирилл посмотрел на меня с жалостью.

— Звучит красиво. Вот только скажи, братец, зачем хранить огонь, который никому не светит?

Я не смог ему ответить.

Незаметно для всех солнце начало клониться к закату. Небо в западной стороне вновь покраснело. В голове у меня сама собой ожила вчерашняя картина, и я украдкой взглянул в сторону засохших кривых кустов на другом берегу.

— Кирилл, ты не в курсе, что с черёмухой стало? — кивнул я брату.

— С той-то? А чёрт знает. Сколько себя помню, там ничего не росло. Мама, когда жива была, говорила, что в один год гусениц много развелось. Они всю листву и сожрали.

— Странно как-то, — хмыкнул я, — вокруг всё цветёт, а тут такой клочок, как будто выгорел.

— Есть такое. Аномалия.

— Вот и я про то же.

Мы подошли к мангалу. Я поворошил угли и подкинул немного дров. Шашлыки уже давно были приготовлены и съедены, поэтому теперь в железной коробке танцевал аккуратный костерок, разведённый скорее для уюта.

Кирилл вытащил за край небольшую полешку, подкурил ей и кинул обратно в огонь.

— А что ты вдруг спросил?

— Да вчера случай был. Мы с Алисой гуляли…

— Ваня, стой! Вернись! Вернись!!! — прервал меня крик Полины.

Я обернулся, и сердце моё ушло в пятки. В двух метрах над стремительным потоком реки, на самом краю моста стоял Ваня. Он заворожённо смотрел на заходящее солнце и совершенно не двигался.

Не сговариваясь, мы с Кириллом бросились к нему, позабыв обо всём на свете. Но ближе всех оказалась Алиса, которая в этот момент возвращалась с другого берега. Букет цветов выпал из её рук. Увидев страшную картину, она что есть сил помчалась к ребёнку и, схватив его под мышки, вынесла мальчика к нам.

— Тётя! Тётя! — говорил Ваня.

— Господи, Ванечка! Тигрёнок! Как?! Как ты там оказался? Я же… Господи! — держалась за сердце Полина.

— Всё хорошо, Поль, уже всё хорошо, — успокаивала её Алиса.

— Я же на секунду… Он рядом был… я на секунду…

— Тётя! Тётя!

— Да, скажи спасибо тёте Алисе, — севшим голосом произнёс Кирилл, — куда же ты пошёл, Тигрёнок?

— Вон! Тётя! Танцует! Танцует! Тётя танцует!

Ваня, оттопырив палец, показывал в сторону солнечного диска, что краснел посреди чёрных лап мёртвых растений.

— Тётя танцует! Тётя танцует!

— Какая тётя, Тигрёнок?

— Вон там! Вон! Зовёт!

Я встретился взглядом с Алисой и по её побелевшему лицу понял, что она думает о том же самом. «Отдай! Отдай! Отдай!» — зазвучал у меня в голове пронзительный крик.

— Кирилл, надо уезжать отсюда, — сказал я тихо.

— Что такое?

— Не могу тебе объяснить. Это какая-то чертовщина. Давай, родной, надо убираться отсюда подальше. Поехали, по пути расскажу.

Мотылёк тихо бился крыльями о тусклую лампочку, отбрасывая причудливые тени на деревянные стены. Вместе с Алисой и братом мы сидели за столом летней кухни. Полина в доме укладывала спать Ваню. С момента нашего возвращения с реки она ни на секунду не отходила от сына.

— И кто эта баба? — спросил Кирилл. — Ты её раньше видел здесь?

Я отрицательно покачал головой.

— Нет. Но я плохо знаю местных.

Кирилл достал сигарету и закурил. Синие клубки дыма плавно заструились к потолку.

— Чёртова мистика, — произнёс он, — как же я не люблю такие истории.

— Я тоже, — тихо сказала Алиса.

Она сидела, прижавшись ко мне всем телом, и изредка поглядывала в окно, словно боялась там увидеть кого-то. Время приближалось к полуночи, и на улице стояла идеальная тишина.

— Может, завтра поспрашивать у деревенских? — предложил я Кириллу.

— О чём?

— О том месте за рекой. Кому-то ведь эта женщина кричала вчера. Заодно, может, и про неё саму выясним.

— Тебе это интересно?

— А тебе нет?

Кирилл промолчал. Разумеется, ему, как и мне, хотелось узнать, кого же увидел Ваня на том берегу. Почему ребёнок, забыв обо всём, вдруг зашагал по мосту в сторону мёртвых зарослей? Почему, когда мы ехали домой, он не переставал твердить одну и ту же фразу: «Тётя летит. Тётя зовёт»?

Брат докурил и кинул бычок в ведро.

— Ладно, ребят. Вы как хотите, а я спать. Давайте не будем больше вспоминать про это. Главное — Ваня цел и невредим. Не засиживайтесь долго.

Мы пожелали Кириллу спокойной ночи. После того как хлопнула дверь дома, Алиса повернулась ко мне и сказала:
— Слушай… Я не стала говорить при нём. Там, на другом берегу, я слышала детский смех. Со стороны тех кустов. Не знаю, может, мне показалось, но это не Ваня смеялся точно…
— Не переживай, Алис,— не сразу ответил я.— Завтра узнаем, что за ерунда здесь происходит.

Я старался говорить тихим спокойным голосом, чтобы не выдать того холодного липкого страха, что охватил меня после её слов.

Ночью я опять не сумел выспаться. До самого рассвета мне снилось, будто я стою на старом деревянном мосту, не в силах пошевелиться от развернувшегося передо мной кошмара. На другом берегу бушевал пожар. Небо застелил столп чёрного дыма, кусты черёмухи гудели и трещали, объятые безумной пляской взмывающих к небу языков пламени.

А посреди этого огненного урагана танцевала черноволосая девушка в белом платье. Она кружилась, скакала босыми ногами по раскалённым углям, вскидывала к небу свои тонкие бледные руки. Она танцевала, как языческая богиня, танцевала с огнём на пару, словно пыталась переплясать саму стихию. А вокруг неё хороводом бегали маленькие дети, смеялись, дёргали плясунью за подол и не обращали никакого внимания на пылающую бездну, что охватила их со всех сторон. Околдованные, они падали к её ногам, чтобы быть затоптанными в диком неудержимом танце ужасной и прекрасной колдуньи.

И вдруг я услышал крик:
— Отдай! Отдай! Отдай!

Я повернул голову и увидел ту самую женщину в траурном платке. Она стояла на коленях и в истеричном припадке молила у танцующей девушки на другом берегу:
— Отдай! Отдай!

Её голос не был осипшим и хриплым, как в прошлый раз. Нет, он был звонок и чист, и кроме того, казался очень знакомым.
— Отдай!

Это был голос Полины.

Я вновь посмотрел в самое сердце огненной бури, и на этот раз в хороводе ребятишек я разглядел маленького мальчика с голубыми глазами и копной светлых волос. Ваня поймал мой взгляд, пристально посмотрел на меня и улыбнулся.

Я открыл глаза.

Моя вспотевшая спина прилипла к простыне, в груди разлился сосущий ужас, и мне казалось, что даже здесь, в спальне, стоит запах гари. Я поднялся, провёл по лицу рукой, пытаясь скинуть с себя наваждение ночного кошмара, и повернулся к Алисе.

Растянув рот в безумной улыбке и пронизывая меня неотрывным тёмным взглядом, в моей кровати лежала черноволосая девушка в белом платье.
— Милый! Милый, что с тобой?!— разбудил меня голос Алисы.

Я понял, что сижу на кровати и задыхаюсь от накатившейся волны паники.
— Господи, милый! Тебе плохо? Я сейчас, милый, подожди-подожди. Надо вызвать скорую.
— Нет… нет… всё нормально,— дар речи начал понемногу возвращаться ко мне,— всё хорошо, Алис.

За окном было уже почти светло. Алиса сидела рядом и испуганным взглядом смотрела на то, как меня бьёт мелкой дрожью. Её распущенные волосы каскадом лились по смуглым плечам, лицо было заспанным, но всё таким же прекрасным. Вид любимой девушки понемногу вернул меня в нормальное состояние, и в конце концов я сумел успокоиться.
— Всё хорошо, Алис. Просто дурной сон.

Она пришла после полудня.

Услышав, как кто-то стучит в ворота, я вышел за двор и увидел её, в стареньком платье и всё том же траурном чёрном платке.
— Эм… Здравствуйте,— слегка растерялся я.

Женщина посмотрела мне в глаза— долго, неотрывно, а затем тихо спросила:
— Он жив?
— Кто?
— Ваш сын.

Мне понадобилась пара секунд, чтобы догадаться— речь идёт о Ване.
— Это сын моего брата.
— Неважно. Он жив?
— Да.

Женщина кивнула, и на её уставшем лице отразилось что-то вроде облегчения.
— Я присяду?— указала она на скамейку рядом с домом.
— Пожалуйста.
— Вы— добрый человек. Это видно.
— Спасибо, конечно,— смутился я,— но мы ведь даже не знакомы.

Незнакомка присела на лавочку, вновь посмотрела на меня разбитым потухшим взглядом. Под глазами у неё темнели глубокие мешки, да и вообще, весь вид женщины говорил о том, что в последнее время она либо мало спала, либо много пила. А скорее, всё разом.
— Вы предложили мне помощь там, на реке,— голос её был тихим и хриплым,— но, видит бог, вы не сможете.
— Может быть, если вы расскажете…
— Молчите!— резко оборвала меня она.— Помолчите, пожалуйста! Нет, моё горе— это мой крест. Мне и только мне нести его теперь до конца дней. Видит бог, я бы давно наложила на себя руки, не

будь это страшным грехом. Но не обо мне речь. Речь о жизни вашего ребёнка.
— О чём вы? Я не понимаю.
— Понимаете. Понимаете. Я наблюдала за вами вчера. Я видела, как ваш мальчишка шёл к ней. Она позвала его, и он пошёл. Простите меня, прошу, простите. Я должна была предупредить вас сразу. Но… простите. Я так хотела увидеть его ещё раз… моего Димочку… Простите…
— Успокойтесь. Вот, возьмите.

Я достал из кармана чистый платок и протянул его женщине.
— Спасибо. Вы — добрый человек. Поэтому я и пришла к вам. Прошу, послушайте меня, да, именно вы. Другие не поверят. Никто мне не поверил. Но вы… Это вы заставили всех уехать вчера с реки. Это вы весь вечер косились на то проклятое место. Скажите, вы уже видели её?
— Кого? — спросил я, хотя сам знал ответ.
— Вечерницу. Белую ведьму. Ту, что танцует в огне.

В горле у меня пересохло, а перед глазами, словно наяву, пронёсся ночной кошмар.
— Да, вы видели её, — ещё более тихим голосом произнесла женщина, кивая сама себе.
— Во сне. Она приснилась мне ночью.
— Нет-нет! — замотала головой женщина. — Она не приснилась вам, нет! Она была в вашем доме. Она пришла к вам вчера. Я видела, как она летела над землёй, прямо за вашей машиной. И ваш ребёнок, он тоже видел её.

«Тётя летит! Тётя зовёт!» Ледяная волна пронеслась до самых пяток. Женщина не врёт. Она не могла слышать того, что говорил Ваня, когда мы возвращались домой.
— Вы сами привели её к себе, — продолжала незнакомка, — простите меня… Если бы я сказала вам сразу… Но поздно, теперь она уже рядом. Прошу, послушайте меня. У вас есть лишь один выход. Уезжайте! Уезжайте немедленно, чтобы успеть до заката! Потому что на закате ваш ребёнок умрёт. Она заберёт его к себе. Это чудо, что ваша девушка смогла спасти его вчера. Не упустите этот шанс! Потому что белая ведьма не оставит мальчика в покое. Вечером, когда солнце покраснеет, она снова выйдет с проклятого места, чтобы забрать вашего ребёнка. Она забрала моего Димочку. Она забрала многих. Послушайте меня, уезжайте отсюда немедленно и никогда больше не возвращайтесь. И может, тогда белая ведьма не найдёт вашего племянника. Иначе — смерть.
— Вам бы сказки писать, — раздался голос позади.

Я обернулся. В арке ворот стоял Кирилл, по его недовольному лицу было видно, что слова незнакомки вызвали у него негодование.
— Вы думаете, что это ерунда, но я говорю правду, — сказала женщина.
— Почему же ерунда? — Кирилл закурил и смерил незнакомку холодным взглядом. — «Белая ведьма», страшные проклятия. Отличная история! Если не брать во внимание один момент: вы сидите у моего дома и пророчите смерть моему сыну.
— Кирилл…
— Помолчи, братец. Не с тобой разговор! — Кирилл не на шутку завёлся. — Вы! Кто вы вообще такая? Почему позволяете себе прийти сюда и угрожать жизни…
— Нет, нет! Я пытаюсь помочь. Ваш брат…
— Хотите помочь? Так не вредите! Не лезьте к нам! Моя жена и так до смерти перепугана, вчера мы чуть не потеряли ребёнка. А вы приходите на следующий день, чтобы потравить байки, поиграть на наших родительских страхах. Убирайтесь!
— Кирилл!
— Я сказал, помолчи! Белая ведьма, …! — Кирилл выматерился. — Не дай бог, Полина услышит этот бред. Она и так вся на нервах. Убирайся …, я сказал!
— Простите… — женщина была раздавлена, — я лишь пыталась помочь.

Она встала и, перед тем как уйти, повернулась ко мне:
— Вы верите мне, я знаю. Послушайте, уезжайте из этого дома. Она знает сюда дорогу.
— Я считаю до десяти, — Кирилл побагровел.
— Не стоит, я уже ухожу. До свидания. Не будьте глупцами, уезжайте.

Когда женщина отошла от дома, я в ярости накинулся на брата:
— Какого хрена? Что ты, чёрт возьми, здесь устроил?
— Это ты, …, что устроил? Не видишь, что ли? Эта баба — поехавшая!
— Она потеряла ребёнка!
— Тем более! Кроме того, это она тебе так сказала? Откуда ты знаешь, что это правда? В любом случае, ты совсем спятил, если веришь в эти байки. Что с тобой, братец? Ты же умный человек! Преподаватель криминалистики! Атеист, чёрт тебя дери!
— Кирилл… Нам нужно уехать. Ты не веришь этой женщине, так поверь хотя бы своему брату.
— Пошёл ты …, братец. Кажется, здешняя жара вконец расплавила тебе мозги. Сам уезжай, если хочешь. Мы останемся здесь до завтра, как и планировали. Разговор окончен.

Кирилл выбросил в урну докуренную сигарету, развернулся и, не говоря больше ни слова, ушёл в дом.

Всё, что мне оставалось, это отправиться вслед за ним.

Солнечные лучи тонкими полосами разрезали комнату, с каждой минутой меняя свой цвет. Сначала они пожелтели.
— Милый, что с тобой? — потрясла меня за плечо Алиса.

Я ничего ей не сказал. Незачем ей знать. Страх — он, как зараза, передаётся воздушно-капельным путём. Не стоит раскрывать рот, если ты болен им.

Страх сковал меня. Не позволял оторвать взгляд от окна, где садилось солнце. Не позволял думать ни о чём, кроме той, что танцует в огне.

Желтизна сменилась золотом.

— Ми-и-илый… Ты вообще слышишь меня?

— Не обращай внимания, Алис, — махнул рукой Кирилл, — он сегодня слегка не в себе. Жара.

Алиса посмотрела на меня обеспокоенно, покачала головой.

— Тигрёнок! — Полина не сводила глаз с сына. — Не бегай так быстро, упадёшь.

— Я лыцаль! Лыцаль!

Ваня носился по дому с подушкой в руках, прикрываясь ею, словно щитом, и с наскока прыгал на отца, пытаясь столкнуть того с края дивана.

— Я лыцаль!

— Перехвати подушку поудобнее, рыцарь, — улыбался Кирилл.

— Это не потуша! Это щит!

— Сам ты подуша! — засмеялся брат.

— Нет! Не потуша! Щит!

Ваня вновь разбежался и прыгнул на Кирилла. Тот театрально ахнул, подыгрывая, съехал с дивана на пол.

— О, великий рыцарь! Ты победил меня!

— Пати тань!

— Что? Опять? Вчера же платили! Мне кажется, сэр Иван, вы душите свой народ налогами.

— Ребята! — Алиса замерла посреди комнаты. — Вы чувствуете?

— Что именно?

— Запах. Как будто…

— Что-то горит! — вскрикнула Полина.

В следующую секунду запах гари ощутили все. А ещё через мгновение мы увидели, как под потолком коридора собирается дым.

— О боже, Кирилл! Ты курил в доме?!

— Я… нет… я не…

Я сорвался с кресла и помчался на кухню.

— Горим!!! — заорал я. — Все из дома! Кирилл, быстро за водой!

Деревянный угол был объят пламенем, которое распространялось с чудовищной быстротой. Я схватил ведро с питьевой водой и попытался залить огонь. Бесполезно. Брёвна дома тлели и источали жар, как будто горели уже давно. Пламя, словно живое, поползло по стене, охватило тряпичные шторы и полыхнуло с новой силой. Через секунду я не мог разглядеть даже вытянутую перед собой руку. Всё заполнилось чёрным едким дымом.

— Из дома! Быстро! Бросайте всё!

Я выбежал в коридор и толкнул входную дверь. И обомлел.

Дверь была заперта.

Золото сменилось кровавым багрянцем заката.

— Что ты стоишь? — крикнул Кирилл.

— Закрыто!

— Что?

Он толкнул дверь. Затем ударил ногой. Дверь не поддалась. Я увидел, как изменилось его лицо.

— Назад! — махнул я рукой остальным. — Все назад! К окну!

Закашлявшись, я натянул футболку на лицо, прикрыв рот и нос. Поймал за руку брата и потащил его обратно в комнату. Через пару секунд коридор был заполнен пламенем, которое с громким треском танцевало в облаке чёрного дыма.

Алиса открыла окно. Взяла с полочки ножницы, разрезала ими москитную сетку и ловко перепрыгнула через подоконник, оказавшись на улице.

— Поля, давай Ваню!

Полина схватила на руки сына, подбежала к окну.

— Тётя! Тётя танцует!

Ваня широко раскрытыми глазами смотрел в пылающий коридор.

Кирилл выругался.

— Полина, давай! Теперь сама! Отлично! Давай, родной, теперь ты!

Чувствуя спиной жар, от которого волдырями пузырилась кожа, в одном невероятном прыжке я перемахнул через подоконник. Обернулся. Кирилл выскочил следом.

— Машины! — я пытался перекричать нарастающий гул. — Там бензин!

— Твою мать. От дома! Быстро! Подальше!

— Тётя танцует! Туда! Зовёт!

— Полина, не отпускай его! — заорал я.

— Звоните в пожарку! Деревня сгорит нахрен!

— Телефоны дома!

— У меня с собой есть, — крикнула Алиса, дрожащими руками доставая телефон из кармана.

— Не сейчас! Подальше! Отойдём подальше!

Я не верил своим глазам. Огонь не может распространяться так быстро. Он уже перекинулся на летнюю кухню, затем на сараи.

Чёрный столб дыма. Гул. Жар.

Взорвались покрышки автомобилей. От неожиданного громкого хлопка Полина вздрогнула, потеряла равновесие, споткнулась, упала. Во дворе снова что-то громыхнуло, и яркая вспышка ослепила меня на пару мгновений.

Когда зрение вернулось, нас было уже четверо.

— Тигрёнок? Ваня… Ваня? Ваня!!! — на Полину обрушилась паника. — Кирилл! Кирилл, его нет! Ваня! Господи, Кирилл, его нет!

— Что? Что значит «нет»?

В растерянности мы оглядывались по сторонам.

— Он был здесь! Только что! Господи! Я держала его!

— Чёрт возьми, что значит «его нет»?!

— Кирилл! Он исчез! Кирилл, его нет! Господи, Ваня, где ты?!

Я замер на месте. Страшная догадка вспыхнула в голове, словно молния в ночном небе. Я знал, где сейчас Ваня.

В дом! Плевать на всё! Нужно бежать в дом. Он там в огне. Вместе с танцующей.

Я проскочил во двор. Ничего не видя перед собой, по одной только памяти нашёл входную дверь. Она была открыта. Пригнувшись, чтобы не сразу задохнуться в этом дыму, вошёл в самое пекло.

Она кружилась посреди комнаты, скакала босыми ногами по раскалённым углям, вскидывала к потолку свои тонкие бледные руки. А у её ног сидел Ваня и потускневшими голубыми глазами следил за диким неудержимым танцем этой ужасной и прекрасной колдуньи.

— Отдай мне его!—закричал я.—Зачем? Зачем ты это делаешь?!

Она махнула гривой чёрных волос, повернулась ко мне. Её глаза были темны. В них танцевали языки пламени.

Она раскрыла рот, и я услышал собственный голос:

«Нужны те, для которых ты гореть будешь, танцевать будешь, просто потому, что они верят в тебя. Ты для них—всё. И они—всё для тебя».

Глаза заслезились от дыма. Одежда на мне вспыхнула, но я не мог ничего поделать, потому что угарный газ уже разливался по жилам. Я падал в темноту.

Чьи-то крепкие руки схватили меня, потащили куда-то. Меня били, пытаясь потушить огонь.

— Идиот! Снимай! Снимай одежду! Куда ты попёрся, чёрт возьми?!

— Кирилл… она там… Ваня…

— Снимай одежду, …!

— *Не-е-ет!!! Не-е-ет!!! Ваня!!!*—дико, до хрипоты, закричала Полина.

В пылающей избе у окна стояла белая ведьма, широко улыбаясь и глядя на нас. А на руках у неё был Ваня.

Полина метнулась, но не успела. Через секунду с грохотом обрушилась крыша.

Дом развалился. Остался лишь танцующий огонь да густой чёрный столб, тянущийся до самого неба.

Солнце скрылось за горизонтом.

Десять лет прошло.

Я сижу в кабинете, спрятавшись от всего мира за белой пластиковой дверью.

Я не видел Алису с того самого лета. После похорон Вани мы расстались. Я не стал привязываться к ней. Не стал вырывать ещё одну частицу огня, которую мог потерять.

У Кирилла с Полиной двое детей. Две девочки. Светловолосые, голубоглазые.

Десять лет прошло.

Сегодня утром я узнал, что Алиса погибла. Вместе с мужем они попали под автобус, вылетевший на встречку.

В руках у меня фотография. Алиса улыбается. Я чувствую древесно-мускусный запах гвоздики и мускатного ореха.

Ошибся. Мне казалось, что я храню огонь. Но все эти годы, все десять лет, я был привязан к ней. Горел для неё. Танцевал для неё. Она никогда уже не узнает об этом.

Солнце за окном опустилось. Город раскрасился закатным огнём. Где-то далеко в сибирских лесах, там, где раньше стоял дом моих родителей, сейчас танцует черноволосая девушка в белом платье. Вокруг неё хороводом кружат дети. Среди них белобрысый мальчик с голубыми глазами—настоящий ангел. Белая ведьма пляшет для него.

Десять лет прошло.

А мне? Для кого мне теперь исполнять свой вечерний танец?

Человек за стеной

Недалеко к востоку от Красноярска, посреди бескрайнего моря сибирских лесов, стояла когда-то деревня, имя которой я давно уже позабыл. Деревня эта, окружённая цепочкой невысоких холмов, была спрятана от чужих глаз, и мало кто из проезжающих по столичному тракту мог догадаться о её существовании.

В деревне было всего две улицы—Верхняя и Нижняя. Лежали они параллельно друг другу. Асфальт уложили лишь на Верхней, и на ней же стояли единственные в деревне дома, выложенные не из дерева, а из кирпича. Выкрашенные в белый цвет здания расположились в ряд на одном из концов посёлка и имели внутри по две просторных квартиры, разделённых панельной перегородкой.

В одном из таких домов жила Людмила—моя тётя. Мы с сёстрами называли её просто тётей Люсей и очень любили приезжать к ней в гости, чтобы остановиться на пару-тройку дней. В доме у тёти Люси всегда было уютно так, как возможно лишь в деревенском жилище, где вечерами в растопленной печи трещат дрова, а над столом клубится пар свежезаваренного чая. За кухонным столом мы засиживались до глубокой ночи и могли обсуждать что угодно, но очень часто разговор приводил нас к воспоминаниям о жутких, необъяснимых случаях, которые когда-то давно происходили в деревне.

В любом русском селении, чья история насчитывает хоть пару десятков лет, непременно отыщутся такие легенды. Колдуны, живущие на перекрёстках, коварные лесные духи и проклятые места—это не просто сказки, но неотъемлемая часть деревенской жизни. Пугающие предания витают здесь в воздухе и сгущаются с наступлением темноты. Когда заходит солнце, они, подобно

ведьмам, начинают летать над крышами изб и пробираться в дома сквозь дымящие отверстия печных труб, чтобы в итоге оказаться прямо на вашей кухне. Их приход можно заметить по волне лёгкого холода, вдруг ни с того ни с сего пробежавшей по позвоночнику, и по тому, насколько разреженным становится воздух, в котором отчётливо слышатся странные шумы и шорохи.

Именно так всё и было, когда однажды летом мы с сёстрами вновь собрались в доме у тёти Люси. За окном стояла безлунная ночь, лампа на кухне светила слабо и тускло, и на стенах плясали отблески пламени, гудевшего в кирпичной печи. Нас было четверо за столом — я, тётя и мои младшие сёстры. Полина и Таня давно повзрослели, но, к счастью, сохранили способность испытывать ту необъяснимую, перемешанную со страхом детскую радость, что просыпается в груди от добротной пугающей байки.

Я рассказывал сёстрам одну из услышанных когда-то историй, как вдруг в соседней комнате раздался мужской хрипловатый голос. Слова звучали приглушённо и долетали до нас, словно из бочки:

— Сидят, сидят, сидят… Бубнят, скоты… Языками как помелом метут!

Полина выронила кружку с чаем, а Таня отчаянно вцепилась в моё запястье. Я и сам невольно вздрогнул, но через мгновение взял себя в руки и, вопросительно взглянув на тётю Люсю, спросил:

— Саша?

Сашей звали тётиного мужа, который спал в соседней комнате. Через секунду его храп донёсся до моего слуха, и стало ясно, что в доме находился кто-то ещё.

К моему удивлению, тётя Люся лишь махнула рукой и, улыбнувшись, сказала:

— Не дрожите. Сосед буянит, а стены тонкие.

Судя по тому, как спокойно она отреагировала, подобное происходило уже не в первый раз.

— Часто так? — спросил я, кивнув на стену.

— С прошлой зимы моду взял, — ответила тётя. — Как напьётся, так начинает сам с собой лясы точить. Иногда, бывает, и нам что-нибудь крикнет. Маты в основном. Самое смешное — на следующий день ходит как ни в чём не бывало. Вежливый такой, здоровается, улыбается. Короче, в психушку ему пора.

— Хм, странно… Мне казалось, Толя всегда спокойным был. Его же вроде Толей зовут?

— Ага, — кивнула тётя. Она развела руками и произнесла: — Нет, ну а что ты хотел? Старость мозг рушит, а этот, — она кивнула в сторону стены, — ещё и водкой себя добивает. Неудивительно, что у него гуси полетели.

Из-за стены вновь донёсся хриплый скребущий голос:

— А-а-а… Бубнят, скоты, бубнят… Слышишь, кисонька, как бубнят? Всё им не спится, проклятым!

Я не выдержал и тихо засмеялся. Вместе со мной заулыбались и сёстры.

— Он с кошкой, что ли, разговаривает? — спросила Таня.

Тётя Люся пожала плечами и, отпив чая, ответила:

— Да бог его знает, — сказала она. — Может, и с кошкой. А может, допился до чёртиков. Кто их, алкоголиков, разберёт? Живёт один, вот и сходит с ума потихоньку. Главное, что не сильно буйный.

— Мне казалось, у него жена была, — сказал я. — Разве нет?

— У Толи?! — тётя посмотрела на меня удивлённо. — Да откуда ей взяться?.. А-а-а, погоди, я поняла! Ты про ту училку? Светленькая такая, да? Ну да, была. Правда, не жена, а так — просто баба, сожительница. Ну да, жила у него прошлой осенью. Вот уж ума не приложу, где он её откопал. Это ж как надо женщине себя не любить, чтобы с таким дурачком жить согласиться.

— И всё-таки, — сказал я, — куда она делась?

— Уехала, наверное, — ответила тётя. — Она не местная была. Он её вроде из Красноярска привёз. Наверное, не выдержала и сбежала обратно.

— Неудивительно, — хмыкнула Полина. Указав глазами на стену, сестра присвистнула и покрутила пальцем у виска.

— Вот-вот, — засмеялась тётя. — Потерянный человек. Ну его к чёрту, этого Толю! Наливайте лучше ещё чаю.

Вскоре мы позабыли о беспокойном соседе. Да и старик за стеной смолк, словно почувствовал, что его бормотание больше никого не интересует. Какое-то время мы пили чай в тишине, слушая, как мурлычат пригревшиеся у печи кошки. Изредка на улице поднимался ветер, и тогда берёзы, растущие во дворе, начинали царапать окна ветвями, постукивая по стёклам, словно незваные гости. От этих скрипов и шорохов становилось слегка не по себе. Нам с сёстрами, росшим в большом шумном городе, царившее здесь ночью безмолвие казалось мёртвым и неестественным. В нём слишком громко звучали собственные мысли.

Сидя за столом, мы ещё немного поговорили, но через пару минут все почувствовали, что разговор теряет былую искру. Он превращался в вялое сонное бормотание.

— Кажется, засиделись, — сказала тётя Люся, взглянув на часы. — Не пора ли по койкам?

Спорить никто не стал. Убрав со стола посуду, мы отправились спать.

Лёжа на спине, я смотрел в окно. Рядом, за тонкой панельной стеной, находилась квартира соседа, и мне казалось, что я слышу его тяжёлые хриплые вздохи.

В комнате сестёр ещё какое-то время горел свет, но вскоре и он погас. Дом погрузился в кромешную, безмолвную тьму.

Через минуту я отчётливо услышал скребущий болезненный голос:

— Не кричи, кисонька, не кричи… Сейчас-сейчас… Одеялко поправлю.

За стеной скрипнули пружины старой кровати и раздалось старческое кряхтение. Сосед что-то пробормотал, а затем я услышал, как хлопнула входная дверь в его квартире.

Пару минут стояла тишина. Вскоре сосед вернулся и улёгся обратно.

— Не кричи, кисонька…—говорил он.—Пожалуйста, не кричи… Не кричи, кисонька…

Он бубнил и бубнил, повторяя одно и то же, и я никак не мог уснуть из-за его бормотания.

Наконец, мысли мои успокоились, и голос старика затерялся в потоке образов и сонных видений. Я уже было уснул, как вдруг странный, похожий на щенячье скуление звук выдернул меня из полудрёмы.

— Не кричи, кисонька… Умоляю, не кричи!

Голос старика стал тонким и прерывистым. Прислушавшись, я услышал стон, а затем и частые судорожные всхлипы. Меня охватил ужас.

Старик плакал.

На следующее утро я встретил его на улице. Толя был таким же, каким запомнился мне при нашей первой встрече лет десять назад. Низкий морщинистый мужичок в перемотанных изолентой очках на облезлом носу. Его глаза, выглядывающие из-под толстых треснувших линз, казались огромными. Меня удивляло, что и зимой, и летом Толя ходил в одной и той же одежде. Стоял ли на улице лютый мороз или беспощадно палил июльский зной, на мужичке всегда болталась драная фиолетовая куртка, мятые брюки и старые китайские кеды. На лысеющей седой голове Толя носил перекошенную ушанку, уши которой он подвязывал кверху чёрным шнурком. Те торчали кривым треугольником и напоминали сломанный военный локатор.

Заметив меня, Толя слабо кивнул и поспешил пройти дальше. Мелкой хромающей походкой мужичок направился в сторону магазина. Он не смотрел по сторонам и лишь изредка останавливался, чтобы пнуть лающих псов, которые бросались на него целой сворой.

Толя и сам напоминал больного подбитого пса. Выкинутый на обочину жизни старик был никому не нужен, точно так же как и его самого не волновало, что происходит вокруг. Единственное, что интересовало умирающего старика,—это водка. Ради неё он и заставлял себя время от времени выходить из дома.

Помню, два года назад мы праздновали юбилей тёти Люси. Ей исполнилось сорок пять, и народу в доме собралось видимо-невидимо. Приехали почти все родственники. Накрыли большой праздничный стол. В разгар веселья я вышел из дома покурить и увидел, как по дороге неспешно ковыляет Толя. Тогда я подозвал его к себе и попросил подождать пару минут. Вернувшись в дом, я налил стакан водки и, взяв со стола бутерброд, вышел, чтобы угостить соседа. Никогда не забуду, как засветились его глаза в тот момент. Я так и не понял, чему Толя обрадовался больше—спиртному или самому факту оказанного внимания. Наверное, спиртному. Я помню, как старик жадно пил, и водка лилась по его небритому подбородку, стекая на грязную куртку. От этого вида мне вдруг стало мерзко, и я поспешил оставить соседа, даже не забрав стакан.

Было время, когда Толя слыл в деревне порядочным человеком. Жил с матерью, был спокойным и тихим. Он где-то даже работал, теперь уж и не вспомнить, где именно. Но после того как мать умерла, всё изменилось. Толя стал пить. Много пить. В короткое время старик умудрился пропить все скудные сбережения, что ему удалось скопить в течение жизни. Порой дело доходило до белой горячки, и тогда соседа видели бегающим по двору, сжимающим в руках топор или поломанные вилы. Толя кричал, убегая от преследующих его галлюцинаций, и кидал вилами в несуществующих чертей. В такие моменты мы старались держаться подальше от его двора, чтобы не попасть под горячую руку.

Теперь таких представлений давно уже не было. Старик попросту тихо умирал, и единственное, чем он мог нас побеспокоить,—это невнятное бормотание из-за стены.

Греясь в лучах июльского солнца, я закурил и прокрутил в памяти вчерашнюю ночь. Мне вдруг стало интересно, куда же ходил Толя в столь поздний час. Не по нужде точно—уборные в этих кирпичных домах располагались внутри. Подумав, я твёрдо решил: если сегодня Толя вновь начнёт болтать сам с собой, стоит внимательнее прислушаться к его монологу.

Я докурил и вернулся в дом, чтобы поторопить сестёр. Вместе мы отправились на реку, и до самого вечера я больше не вспоминал про беспокойного соседа. Погода в тот день стояла ясная и солнечная.

— Не кричи, кисонька, не кричи… Сейчас, одеялко поправлю.

Голос старика разбудил меня. Открыв глаза, я вслушался в шорохи за стеной. Раздался скрип пружин, затем тяжёлый вздох. Было слышно, как сосед одевается и выходит на улицу.

Осторожно, стараясь не издавать звуков, я на ощупь нашёл одежду, валявшуюся рядом с кроватью. Натянув штаны и футболку, поспешил сквозь темноту к двери.

Выйдя на улицу, я подошёл к забору, что разделял два соседских двора. Между досками были

крупные щели, и сквозь них я прекрасно видел чёрный силуэт старика. Толя медленно прошёл через двор. Откинул калитку, ведущую в широкий, поросший бурьяном огород. Там он устремился к зарослям крапивы и на какое-то время скрылся в их тени.

Через минуту Толя вышел из крапивы. Так же медленно он вернулся в дом. Я тоже забежал в квартиру. Устроившись поудобнее, я припал ухом к стене.

— Не кричи, кисонька… Пожалуйста, не кричи… Мне больно, кисонька…

Его голос, сперва скребущий и хриплый, теперь вновь превратился в тоненький фальцет. Старик стонал и плакал. Он умолял не мучить его.

— Не надо, кисонька… Не кричи, прошу…

Я никак не мог понять, почему меня так пугали эти слова, доносящиеся из-за стены. Что не так было в безумном диалоге старика?

— Не кричи, кисонька… Я ведь не специально… Я не хотел… Не кричи, пожалуйста… Спи… Умоляю, спи, кисонька.

Моё сердце вдруг пропустило пару тактов, а затем застучало с удвоенной скоростью. Наконец я понял, какая деталь всё это время не давала мне покоя и рождала в груди смутную тревогу.

За всё это время из-за стены ни разу не донеслось мяуканье кошки.

— Не кричи, кисонька… Прошу, не кричи…

Кого старик называл «кисонькой»? Кого умолял не кричать?

Разгадка была там — в заросшем бурьяном огороде. Вскочив с кровати, я устремился в кладовку и нашёл маленький налобный фонарь. После чего вышел из дома и убедившись, что меня никто не видит, перепрыгнул через забор. В соседском дворе я ступал почти бесшумно и старался держаться тени. Наконец, прокравшись к калитке, я вышел в огород и включил фонарик.

Среди кустов белены и крапивы я без труда обнаружил вытоптанную тропинку, которая вывела меня к старой больной берёзе. Я огляделся вокруг. Трава рядом с деревом не росла, и в окружении зарослей крапивы образовывалось что-то вроде округлой поляны.

На небольшом земляном холмике лежало драное одеяло.

Подойдя ближе, я запнулся о ветку, а когда опустил глаза, то с ужасом увидел, что это был маленький крест, сделанный из двух штакетин.

Страшная догадка прошила моё сознание, и я что есть сил побежал обратно домой. Там я схватил лопату и, не обращая внимания на удивлённые крики проснувшихся сестёр, метнулся обратно в огород соседа. Откинув одеяло с холма, я начал копать, и вскоре штык лопаты уткнулся во что-то твёрдое. В земле оказались старые сгнившие тряпки, а под ними что-то ещё. Я надавил сильнее, и металл отвратительно скрипнул, корябнув пожелтевший, напоминающий камень предмет.

Ноги мои затряслись, но я продолжил копать. Вскоре предмет был извлечён, и я понял, что держу в руках человеческую берцовую кость.

В глазах помутнело. Не помню, как добежал до дома. Оказавшись в квартире, я схватил телефон и трясущимися пальцами набрал двухзначный номер.

— Когда, вы говорите, видели эту женщину в последний раз?

— Прошлой осенью, — ответила тётя Люся, — кажется, в ноябре.

За окном уже рассвело. Мы сидели на кухне и по очереди отвечали на вопросы молодого следователя. С уставшим видом парень заполнял протоколы и время от времени глядел на часы.

Тётя Люся ёрзала на стуле, любопытство не давало ей покоя. Наконец она не выдержала и спросила:

— Так это он её убил?

Следователь кивнул, не отрываясь от бумаг.

— А как именно?

— Говорит, что не помнит. Судя по всему, в белой горячке зарубил.

Тётя Люся испуганно ахнула и закачала головой.

— Кошмар какой! — воскликнула она.

— Не то слово, — вновь кивнул следователь. — Знаете, что самое смешное? Ваш сосед даже имени этой женщины не помнит. Говорит, всегда «кисонькой» называл. Теперь пойди попробуй личность её установи…

Следователь устало вздохнул и продолжил заполнять протоколы.

Я почувствовал, как мне становится дурно. Голова кружилась, а в животе начала собираться неприятная тяжесть. Извинившись, я сказал, что мне нужно ненадолго выйти на улицу.

Около дома стоял полицейский «УАЗ» и жёлтый микроавтобус. У последнего были распахнуты задние двери, и, заглянув в них, я увидел накрытые синим покрывалом носилки. Из-под ткани торчали обрывки сгнившей одежды и клочки грязных светлых волос.

Я закурил и отвернулся, перебарывая отчаянное желание взглянуть ещё раз.

Вскоре из соседнего двора вышел Толя, его вели двое мужчин в штатском. Руки старика были заведены за спину и закованы в наручники. Толя был всё в тех же очках, мятых брюках, драной фиолетовой куртке и старых китайских кедах. Пропала лишь потрёпанная ушанка. На плешивой голове старика блестели слипшиеся седые пряди.

Сосед меня даже не заметил. Растерянными глазами он смотрел на оперативников и никак не мог взять в толк, что именно происходит.

— Так это что получается? — спросил старик тоненьким голосом. — Вы меня сейчас в тюрьму повезёте?

Опер окинул мужичка оценивающим взглядом и устало усмехнулся.

— Сначала в отдел, — сказал полицейский, — потом в изолятор. А там уже и до тюрьмы недалеко.

Толя вдруг улыбнулся и отчаянно закивал.

— Да! — крикнул он. — Так и сделайте! В тюрьму! В тюрьму! Боже мой! Да как же я сам не догадался! Увезите меня скорее!

Мужичок завизжал. Он засмеялся, совсем как счастливый ребёнок, которого отправляли в летний лагерь. Полицейский, изумлённый такой картиной, украдкой взглянул на напарника и покрутил пальцем у виска.

Через пару минут полицейские закрыли Толю в уазике и увезли из деревни. Вскоре уехал и следователь.

Погода в тот день стояла ясная, как и всю прошлую неделю. Но ни яркое солнце, ни тёплый летний ветер не могли прогнать серую тучу, что зародилась в моей груди.

В тот вечер я, как и прежде, сидел за кухонным столом и слушал, как гудит пламя в кирпичной печи. Рядом мурлыкали уснувшие кошки, а за окном шумели раскачиваемые ветром берёзы. Тётя Люся и сёстры всё ещё бурно обсуждали ночное происшествие и никак не могли успокоить переполнявшие их эмоции. Я же почти не принимал участия в разговоре. Мною овладели мрачные мысли.

Думал я о том, как мало мы знаем о людях. О тех людях, что долгие годы живут с нами по соседству и чьё бормотание мы время от времени слышим за тонкой стеной. Какие мысли посещают их в долгие безмолвные ночи? Какие страшные тайны витают в разреженном воздухе, сгущаясь с наступлением темноты?

В тот вечер я понял: колдуны, живущие на перекрёстках, коварные лесные духи и проклятые места — ничто из этого не сравнится с ужасом, которое способно навести одно-единственное могущественное чудовище. Древнее, как сама вечность, оно незримо живёт в каждом селении, и, когда заходит солнце, его чёрные липкие щупальца пробираются в дома сквозь дымоходы печей, сковывают и душат несчастных жертв. Чудовище сводит с ума, каждый день понемногу убивая рассудок, и в конце концов обессиленная жертва сдаётся. И человек, попавший в капкан этого монстра, становится опустошённым и уже никогда не сможет вернуться в мир счастливых людей.

Чудовище это — вовсе не сказка, но кошмарная часть нашей жизни. И имя ему — одиночество.

ДиН анонс

Литературный конкурс «Справедливой России»

Молодые, талантливые писатели, поэты и журналисты могут стать победителями конкурса на соискание Ежегодной литературной премии «Справедливой России». Девиз премии — «В поисках правды и справедливости».

В 2015 году политическая партия «Справедливая Россия» совместно с журналом «Роман-газета» учредила литературную премию, посвящённую Году литературы в России. В 2016 году литературная премия «Справедливой России» стала ежегодной.

Возглавляет жюри премии председатель политической партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов.

Премия включает три номинации:

— *«Молодая проза России»* (романы, повести, рассказы);
— *«Молодая поэзия России»* (поэмы, стихотворения);
— *«Молодая публицистика России»* (очерки, статьи).

В каждой номинации предусмотрены 1, 2, 3-е места. Учреждён специальный приз жюри. Возраст участников — до 35 лет. С положением о премии вы можете ознакомиться на официальном сайте партии «Справедливая Россия»: spravedlivo.ru.

Работы победителей будут опубликованы в журнале «Роман-газета». Предусмотрен призовой фонд.

Заявки и материалы должны быть переданы оргкомитету до 1 сентября 2016 года по адресу:

Москва, Тверской бульвар, д. 13 или присланы по почте: 107031, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 12/1, стр. 3. Контакты: (495) 787-85-15 или моб. тел. +7 926-188-92-72, e-mail: srkonkurs@yandex.ru

Сергей Петров

Курортная история

В приоткрытом окне — пронизанная лучами играющего солнца — трепетала синь моря. Под порывами свежего ветерка тяжёлая ткань столь же синих бархатных штор вздувалась пузырями и недовольно приподнималась. Завтрак ещё не начался, и только за крайним столом сидели двое. Стильно одетый коренастый мужчина с крупными, но мягкими чертами лица, — и театральной внешности дама, лет под шестьдесят, полная и, как говорится, со следами былой красоты.

Беседовать им явно было не о чем, так что стороннему наблюдателю оставалось предположить, что это «новенькие», только что прибывшие на курорт отдыхающие. И верно — вот уже к столу не спеша приближается администратор в белом халате и с ней молодая женщина, из тех, которых за глаза зовут «премиленькими» и которые, где бы ни появлялись, неизменно притягивают мужские взгляды.

— Вот ваше место в столовой, — грудным голосом пропела администраторша и добавила: — Мы всегда новеньких комплектуем вместе. Люди склонны к постоянству, даже к соседям за столом.

Все улыбнулись: мужчина снисходительно, дама — понимающе, «премиленькая» — с некоторой растерянностью.

— У меня за столом будет номер четыре? — уточнила новая соседка, привычным жестом поправляя причёску.

— Всё верно, — степенно заверила администраторша и с чувством исполненного долга удалилась.

Вновь неловкая тишина повисла над столом. Все трое невольно избегали взглядов друг друга и делали вид, что рассматривают столовую. Интерьер был выдержан в светлых тонах, столы накрыты выглаженными клетчатыми скатертями, на каждой столешнице — вазочка с искусственными цветами.

Наконец дама, стараясь быть непринуждённой, сказала:

— Давайте знакомиться. Светлана Георгиевна. Можно просто Света.

— Наталья, — представилась молодая.

— Антон, — смущённо буркнул мужчина.

— Уже дело, — продолжила Светлана. — Я психолог. И, возможно, кое-что могу сказать о вас. Вы, Антон, — бывший военный.

Антон растерянно заморгал и пожал плечами.

— Разгадка проста. У вас выправка военного. Почему «бывший»? Брюшко, знаете ли, выдаёт новую нестроевую офицерскую жизнь. Отель дорогой, не всякому офицеру по карману. Да и офицерам редко дают отпуск летом. А на новом месте работы вы хорошо получаете. Хотя могу и ошибаться.

— Всё так. Попали в точку, — Антон заметно оживился.

— Мало того, — успех подзадорил Светлану, — вы порядочный. Ещё не встречала приехавшего на курорт мужчину, предусмотрительно не снявшего с руки обручальное кольцо. На отдыхе все мужчины холостые, и у каждого в голове, как муха, назойливая мысль, что маленькая интрижка в отпуске не помешает. Некоторые уверены, что это пойдёт только на пользу семейной жизни и обострит супружеские чувства.

— Да, я женат, — смутился Антон и посмотрел на Наталью, которая тут же тактично опустила глаза.

— Теперь я попробую применить метод дедукции, — воодушевлённо заявил Антон. — Итак, Светлана, вы разведены. Психология всё-таки для вас хобби. Но ваша дочь успешна и прилично зарабатывает.

Теперь Светлана с нескрываемым удивлением смотрела на Антона.

Тот, торжествующе улыбаясь, ответил на её немой вопрос.

— У вас нет обручального кольца. А женщины в отличие от мужчин даже на курорте его не снимают. Не то чтобы они порядочней мужчин, просто это придаёт им уверенность, как бы защищая от назойливых. И ещё, у вас взгляд незамужней женщины… оценивающий, изучающий. Теперь объясню, почему психология для вас только хобби. К сожалению, пока эта профессия не настолько востребована обществом, как на Западе, и не может служить источником существования. Вместе с тем вы в дорогом отеле, разведены, значит, дочь в состоянии сделать маме дорогой подарок.

— А почему дочь, а не сын? — с удивлением, но явно польщённая, спросила Светлана.

— У вас изысканные серёжки, не просто дорогие, но в современном оформлении и в молодёжном стиле. Вряд ли такой выбор мог сделать мужчина. Соответственно, их могла подарить именно дочь,

которая, как женщина и притом молодая, следит за модой и знает в этом толк.
— Угадали!— засмеялась Светлана— Но могли и не угадать.
— Мог,— согласился Антон.— Но угадал!
Затем, окинув обеих женщин длинным загадочным взглядом, азартно заявил:
— Наталья, попробую и вас «расшифровать».
Та покраснела и испуганно покосилась на соседку.
Но Антона было уже не остановить. Сузив глаза, он медленно начал говорить:
— Вы замужем. Работаете учителем в средней школе. Преподаёте математику.
Наталья вздрогнула и, так же прищурившись, выпалила:
— Может, вы мне скажете, кто у меня муж?
Антон от растерянности приоткрыл рот. Однако ему на помощь пришла Светлана: бросив укоризненный взгляд на соседку, она с неподдельным интересом спросила:
— А почему вы определили её в учителя и в математики?
— У Натальи математический склад ума. Она сразу уточнила номер места. А «учитель»— у неё на лбу написано,— уверенно отчеканил Антон.
— Ну, по лицу учителя не определить. Хорошо, допустим, она учитель, но на её зарплату даже угла в этом отеле не снять,— начала наседать Светлана, но, спохватившись, повернулась к соседке:— Кстати, он прав?
Наталья кивнула.
Добивая спорщицу, Антон выпалил:
— Путёвку замужней женщине не обязательно самой покупать, это может сделать преданный муж.
— Ну да,— стушевалась Наталья,— преданности у него не отнять, он как-то в мороз целый час прождал меня у театра, а я не пришла. Он даже уши отморозил.
— Мы, женщины, такие,— почему-то гордо заявила Светлана и развела руками.
Между тем столовая наполнялась шумом и возгласами отдыхающих.
— После завтрака сразу на пляж,— жизнерадостно пропела Светлана и добавила:— А вечером предлагаю взять билеты на экскурсию по вечернему городу. Время даром нельзя терять.
Соседи согласились.
Антон уже выходил к автобусу. Но невольно сбавил шаг, засмотревшись на разговаривающего по телефону старичка в кресле:
— Как отдыхаю? Завтракаем, идём на пляж минут на двадцать. Читаю книги. Здесь неплохая библиотека, есть что почитать. Газеты в руки даже не беру. Гуляем. Тут прекрасные пейзажи, а воздух просто целебный! Потом отдыхаем. Глядишь и обед. Затем полуденный сон. Просыпаемся к полднику. Отдыхаем. Читаем. Тут и ужин. Дальше на полчаса на пляж. А вечером снова гуляем от души. Иногда позволяем себе бильярд. Ещё могу шарик в лунку загнать! Это меня радует.
Тут к нему подошла старушка, заботливо поправила на нём сползающий плед.
— Кирюша, сегодня прохладный ветерок, с севера.
Пока Антон наблюдал за ними, Наталья поднялась в экскурсионный автобус, увидела Светлану. Но её соседка по столу уже оживлённо разговаривала с рядом сидящей женщиной.
«В общительности ей не откажешь»,— подумала Наталья и села на свободное место.
Автобус уже был почти заполнен, когда появился Антон. Он огляделся, увидел Наталью, рядом с которой было свободное место, и... пока он переминался с ноги на ногу, место рядом с Натальей заняла дородная тётка в белой панаме. Наталья виновато улыбнулась. Светлана иронически рассмеялась. А ему ничего не осталось, как пройти в самый конец салона, где располагалась семейная пара с тремя детьми. Автобус тронулся.
Все курортные города схожи солёным ветром, запахом моря, никуда не спешащими, вальяжными отдыхающими. Автобус шёл так же медленно, величаво. Мимо за окнами проплывали рестораны, кафе, закусочные, хинкальные, шашлычные, из которых вываливались сытые посетители. Вкусные запахи проникали в автобус через окна. Акации и пальмы, вытянувшись в шеренгу, приветливо смотрели на отдыхающих. Убегающий день сменился приятной прохладой вечера. И уже проплывающие увеселительные заведения засветились переливами и сиянием вывесок, соединяясь в манящем карнавале. А рядом притихли, осторожно мерцая из-под занавесок, жилые дома.
— Всё имеет свой закат, и только ночь заканчивается рассветом,— философически сказал кто-то из пассажиров.
На завтраке Светлана сразу упрекнула:
— Антон, что же вы вчера растерялись и не подсели к Наталье? Это было даже не по-джентльменски.
— Да как-то не сориентировался,— буркнул он.
— А вот мой муж отбил меня у трёх ухажёров. Я тогда ходила на танцы кому за тридцать. А он принёс большой букет роз и пригласил меня при всех на танец. И меня этим покорил!— ни с того ни с сего заявила вдруг Наталья.
Светлана многозначительно посмотрела на неё.
— Могу поспорить,— говорила Светлана на пляже новой знакомой, глядя на мощные гребки еле различимого в воде Антона,— мои соседи закрутят любовный роман.
— И правильно,— поддержала её собеседница.
— Что же тут правильного, если она замужем и он женат?
Дамочка сначала поперхнулась, но затем наставительно отчеканила:

— На то и курорт! Я бы сама с удовольствием сейчас закрутила интрижку! Хотя курортный роман — краток, как афоризм!

Обе засмеялись.

А перед ними расстилалось зелёно-голубое море. Иногда лёгкий ветерок, набегая, взъерошивал, как против шерсти, барашки волн, набегающих на берег и растворяющихся в песке. И казалось, нет ничего в мире прекрасней, чем это море и этот пляж.

Между тем день шёл за днём, а Светлана, к своему удивлению, не наблюдала романа своих соседей. Если бы это произошло, она по взглядам и поведению всё бы уловила.

До окончания срока путёвки осталось два дня. И тогда она решилась.

— Так, — твёрдо сказала она за столом. — Завтра будет экскурсия в горы с кавказскими народными танцами. Это пропустить нельзя!

Что может быть зажигательней кавказского танца? Молодой танцор в национальном костюме увлёк всех. Поднявшись на носки и горделиво, подобно орлу, раскинув руки-крылья, он плавно описывал круги, словно собираясь взлететь. Потом, неожиданно остановившись около Натальи, закружился, то припадая на колено, то вскакивая вновь. Смутившись, а затем встрепенувшись, Наталья смело вышла на танцплощадку и, плавно поводя руками, засеменила перед пригласившим её джигитом. Танцор, согнув одну руку у груди, а другую отведя в сторону, стал сопровождать её по кругу. Гордость и задор сквозили в их движениях, и пьянящий аромат танца, казалось, воспламенил всех присутствующих.

Неожиданно Антон неловко вскочил с места и тоже ворвался в танец, ревниво оттесняя танцора. Тот с пониманием уступил ему место. Танец закончился под бурные аплодисменты.

Вот объявлен медленный танец, но почему-то поникший Антон так и не пригласил Наталью.

В аэропорту было шумно, люди сновали, сдавали багаж, вытянувшись лентой перед стойками регистрации. Пассажиров встречали, провожали, и лишь трое в этой суматохе стояли молча, глядя друг на друга.

— Объявили мой рейс, — грустно сказала Светлана и, простившись с Натальей и Антоном, пошла на посадку. «Век живи, век учись. Вот пример любви к своим вторым половинкам», — думала женщина.

— Поехали домой, — нерешительно сказала Наталья, заглядывая в глаза Антону, и закончила: — Я давно там не была. Больше года.

— Один год, два месяца и девять дней.

— Ты считал?

— Ты ушла от меня двадцатого апреля. Тогда лил сильный дождь, и я два часа простоял на улице, посередине двора, и не чувствовал себя промокшим. Так бы ещё долго стоял, если бы случайный прохожий не сказал: «Всё проходит. И это пройдёт». Не прошло.

— Когда мне принесли путёвку, я сразу поняла, что это ты. В первый день была как в тумане. На второй была взвинчена до предела, всё из рук валилось. На третий решила, что поеду. Хотя меня летом могли и не отпустить, могло быть такое?

— А если бы не отпустили? — эхом прозвучал вопрос.

— Я всё продумала, нашла аргументы. Всё равно бы добилась своего. Ты мне веришь?

— У меня нет выбора, я же тебя люблю до сих пор.

— Я тоже.

Елена Игнатова

Соблазны пошлости

Статья «Соблазны пошлости» написана в 1979 году. Поводом для её появления стала книга Андрея Вознесенского «Соблазн» (Москва, 1978); она произвела на меня сильное впечатление и заставила задуматься об эволюции творчества поэта и перечитать предыдущие сборники. Сразу оговорюсь: в мою задачу не входит хронологический обзор творчества Андрея Вознесенского, мне интереснее другое: попытаться рассмотреть его поэзию как одну из тенденций в развитии современного литературного процесса. Критики нередко упрекали Вознесенского в чрезмерном модернизме, в отрыве от традиции, но эти упрёки неправомерны: поэзия развивается по своим законам, а во всякой традиции заложена способность изменяться, модернизироваться. Кроме того, нравится это критикам или нет, но поэзия Вознесенского — яркое явление в современной литературе, и он, безусловно, один из самых популярных поэтов нынешнего времени.

Помимо таланта, Андрей Вознесенский обладает ещё одним важным свойством — чуткостью к запросам современников, которые он зачастую отражает подобно зеркалу. Идеалы и устремления его героев совпадают с душевными устремлениями читающих масс (иначе как объяснить его популярность?), а его слабости — лишь фиксация слабостей современной культурной жизни. Я писала статью с мыслью не только о поэзии Андрея Вознесенского, но и о запросах читателей, которые она удовлетворяет.

Вознесенский — новатор

С начала 1960-х годов, со времени появления первых сборников Вознесенский заявил о себе как о поэте-модернисте, новаторе в теме и слове. Что же является новаторским в его поэзии? Первое, на что обращаешь внимание, — на фонетическую яркость стихов. Их мелодическая насыщенность свидетельствует о таланте поэта, придаёт стихам особую выразительность:

Мимо ярмарок, где ярки яйца, кружки, караси,
По собольей, по соборной, по оборванной Руси…
(«Мастера»)

Но даже при виртуозном владении звуком существует опасность того, что увлечение им становится самоцелью, а это приводит к легковесности образов, а порой к бессмыслице. В стихах Вознесенского образы то и дело возникают из звуковой ассоциации:

С обмолвки началась религия.
Эпоха — с мига.
И микроусик гитлеризма
в быту подмигивал.
Микробрижжит, микрорадищев
и микрогегель…
Мильон поэтов, не родившихся
от анти-бэби.
(«Доктор Осень»)

О чём это? По всем приметам, здесь должна содержаться некая философская мысль — о происхождении религии, социальных явлений, и всё же её либо нет, либо она неуловимо легковесна. Звукопись подминает под себя все остальные средства, необходимые для гармонизации стиха:

И внезапно, как слон,
В нас проснётся, дубася,
Очарованный звон
Чрезвычайного Часа.
Час — что сверит грудклетку
С гласом неба и Леты,
Час набатом знобящим,
Как «Не лепо ли бяше…»
(«Доктор Осень»)

Какая ничем не оправданная мешанина разностильных слов! В ней соседствуют жаргон и архаизмы, аббревиатура («грудклетка») и лексика высокого стиля — словом, «очарованный звон» дубасит, как слон. Стилистическая окрошка — излюбленный приём пародистов, и эти строки Вознесенского действительно кажутся самопародией. Звук влечёт вопреки смыслу, порождая сомнительные, неточные образы:

Что запомнят сизые Сизифы,
Возраст покидая допризывный…
(«Автолитография»)

Воланд, срежьте со шляпы воланы! —
Поешьте лагерную баланду!
(«Гамбург-ретро»)

Сизые Сизифы и воланы Воланда… но воланы вроде бывают на рукавах и подолах женских платьев, а не на мужских шляпах. Кажется, не поэт владеет звуком, а его захлёстывает хаотический шум, тогда-то и появляются «воланы с баландой».

Кроме половодья ассонансов, аллитераций, стилистической эклектики, ещё одна примета новаторства Вознесенского — обилие авторских неологизмов. Наряду с удачами («осенябри», «наикачаемый из миров» и др.) в ряде случаев они вызывают сомнение. Вот, например, новые определения человеческих языков:

У, лебезёнок школьника, словно промокашка с лиловой кляксой…
У, Язун с жемчужной сыпью — как расшитая бисером
византийская спальная туфелька,
У, изящный музычок певички с прилипшим к нему, точно
чёрная пружинка, волоском.
У, лизоблуды…
У одного язвило набухло, словно лиловая картофелина…
(«Языки»)

Поэту определённо изменяет чувство вкуса. Не только топорно-сатирические новообразования, но и трогательный «лебезёнок» (неминуемо вызывающий ассоциацию: лебезить, Лебезятников — слово с явной негативной окраской, использованное Достоевским), и «музычок с волоском» кажутся безвкусицей, не говоря уже о вызывающем дрожь «Язуне с жемчужной сыпью». А ведь судя по всему, у автора не было в мыслях опорочить школьника и певичку, он просто искал новые выразительные средства. При чтении Вознесенского я не раз вспоминала стихи Игоря Северянина, с теми же претензиями на словотворчество и со сходными неудачами.

Ещё одна примечательная особенность поэтики Вознесенского — разрушение идиоматических выражений, он словно переводит их с русского языка на какой-то иной, создавая неуклюжие «кальки»:

Последние минуты короче…
Килограммы сыграют в коробочку…
(«Живите не в пространстве, а во времени»)

Это выражение, очевидно, искажённое «сыграть в ящик», но оно, как при плохом переводе, теряет выразительность и смысл.

И Блок в гробовой рубахе
Уже стоял у порога…
(«Когда написал он Вяземскому…»)

«Гробовая рубаха» — производное от «смертной рубахи», «деревянного бушлата» и «гробовой доски», а что такое «стояние в гробовой рубахе», мне неведомо. Претенциозностью веет от формальных изысков Вознесенского под неблагозвучным названием «изопы», вроде следующего:

[«Чайка плавки Бога»]

Многие неудачи Вознесенского связаны с нечуткостью к оттенкам слов, к их стилистической окраске: «Как сжались ямочки в тазу!» — восклицает герой, глядя на любимую. В любовном стихотворении медицинский термин «таз», да ещё в сочетании с «ямочками», выглядит довольно странно. Временами поэт не учитывает многозначности слова, и тогда возникает путаница:

«Б» вдаль из-под ладони загляделася,
Как богоматерь, ждущая младенца.
(«Мелодия Кирилла и Мефодия»)

Двузначность слова «ждать» порождает образ, в котором путаются понятия «ждать путника» и «ждать ребёнка». Кроме того, это самое «Б…» с многозначительной заминкой можно услышать от добродетельных людей, когда они осуждают распутную женщину. (Возможно, это замечание «вкусовое», но мне это «Б» резануло слух.) А вот «Вдоль дороги стояли рощи и дрожали, как бег трусцой» звучит определённо не по-русски.

Ещё одна существенная составляющая поэтического стиля Андрея Вознесенского — обилие канцеляризмов, которые отнюдь не всегда используются для стилизации, — зачастую это способ выражения чувств и мыслей лирика-модерниста, и тогда стихи приобретают налёт суконного косноязычия:

Вы мне читаете, притворщик,
Свои стихи в порядке бреда.
Вы режиссёр, Юрий Петрович,
Но я люблю Вас как поэта.
. . . .
Не сберегли мы наши лица.
Для драки требуются морды.

Это «в порядке бреда» «требуются морды», «люблю как поэта» напоминает известную формулу: «Я тебе нравлюсь как человек или как женщина?»

Я уже упоминала о том, что в поэзии Вознесенского образ зачастую порождён звуковой ассоциацией, но есть и другой способ «делать стихи». Вот два примера:

Озеро отдыха возле Орехова.
Гордо уставлена водная гладь:
В гипсовых бюстах — кто только приехал,
В бронзовых бюстах — кому уезжать.

Или:

Выгнувши шею назад осторожно,
Сразу готовая наутёк,
Утка блеснула на лунной дорожке—
С чёрною ручкою утюжок.

Поэт умеет интересно увидеть, но оба стихотворения—лишь первое впечатление, зрительная ассоциация, не обременённая глубиной смысла. Жанр лирической зарисовки имеет право на существование, но где грань между ней и обрывком, парой черновых строк, помещённых в книгу:

Выйдешь—
Дивно!
Свитязь
Видно.
(«Ночь»)

Мир сравнений и метафор у Вознесенского достаточно ограничен, все явления жизни по возможности соотносятся с предметами городского обихода: утка—с утюгом, солнце—со сковородой («Футбольное»), сова—с телефонным аппаратом («Ода дубу»), а лисья морда—с пером авторучки:

…вспыхнет мордочка лисички,
точно вечное перо.
(«Жадным взором василиска…»)

Такое мироощущение—своего рода наступление носителя механической цивилизации на живой мир, разрушение окружающей среды образными средствами. Поиск новых выразительных средств, новаторство в искусстве нередко связаны с дерзким нарушением устоявшихся эстетических представлений, но такой вызов требует от новатора безупречной художественной интуиции. Вознесенского часто подводит вкус, как, например, в описании Игоря Северянина:

Лицо в морщинах
таких глубоких,
что, усмехаясь,
он мух давил.
(«Рукопись»)

Такая выразительность, как и в случае с «язунами», может вызвать лёгкий шок. Но когда Вознесенский старается нарочито шокировать читателя, его пощёчины общественному вкусу зачастую напоминают детскую браваду. А «пощёчины общественному вкусу» необходимы поэту, считающему себя продолжателем традиции Маяковского (эта преемственность декларирована в стихотворении «Записка Е. Яницкой, бывшей машинистке Маяковского»: «Вам Маяковский что-то должен. / Я отдаю. / Вы извините—он не дожил»). Связь творчества Вознесенского с традицией Маяковского подтверждают критики, в их числе такой авторитет в «маяковсковедении», как поэт Николай Асеев: «Родственность Вознесенского Маяковскому несомненна. И не только в необычном строе стиха—она в содержании, в глубокой ранимости впечатлениями». Связь, несомненно, существует, но не столь однозначная: порой Вознесенский неосознанно пародирует Маяковского. Если тот возводит явления частной человеческой жизни в масштабы космического, то Вознесенский низводит проявления вечного мира до примет быта современного обывателя. Но вернёмся к «шокирующим», эпатажным моментам в лирике Андрея Вознесенского. Маяковский в этом смысле автор непревзойдённый, достаточно вспомнить его «Я люблю смотреть, как умирают дети», а наш поэт, в отличие от предшественника, вполне невинен и добропорядочен—он, эпатируя, сравнивает самые разные вещи с принадлежностями клозета:

Боги имеют баки—
Висят на башке пускай,
Как ручка над верхним баком,
Воду чтобы спускать.
Не дёргайте их, однако.
(«Фиалки»)

Порой горшки и унитазы выглядят даже поэтично:

Мотоциклисты в белых шлемах,
Как дьяволы в ночных горшках.

Или:

Шорты белые внатяжку
На телах как шоколад,
Как литые унитазы
В тёмном воздухе парят.
(«Ах, небо как море»)

Как видим, всё вполне сдержанно и пристойно. В самом крайнем случае можно зарифмовать «холуя—а на фига». Нет, в сатирических стихах, где сдержанности обычно нет места, Вознесенский не похож на буйного, громогласного Маяковского, сколько бы он ни рифмовал «раскроя—а на фига»:

«Секвойя Ленина?!»
Как взрыв!
Шериф, ширинку не прикрыв,
Как пудель с красным языком,
Ввалился к мэру на приём.
«Мой мэр, крамола наяву.
Корнями тянется в Москву…
У!..»
Мэр съел сигару. Караул!
В Миссисипи сиганул!»
(«Секвойя Ленина»)

Казалось бы, всё выдержано в духе сатирических агиток Маяковского и Демьяна Бедного, но выглядит безнадёжно устаревшим, как сотая производная, созданная по стёртому лекалу. История с мэром напоминает «Мойдодыр», а «неприкрытая ширинка» шерифа (выражение, скомбинированное

из «прикрыть срам» и «застегнуть ширинку») воспринимается не как разоблачение классового врага, а просто как непристойность. Так же пародийно звучат интонации Маяковского в публицистической лирике А. Вознесенского:

Я не люблю а-ля русских выжиг,
Эклектический их словарь.
Обожаю чай. Ненавижу
Электрический самовар.
(«Рецензия на сб. В. Бокова»)

В памяти сразу возникает: «Ненавижу всяческую мертвечину! Обожаю всяческую жизнь!», только в данном случае поэт обожает чай, а ненавидит электрический самовар!

Напоследок несколько слов о философской лирике Андрея Вознесенского. Отчего-то поэт, виртуозный в создании зрительных и чувственных образов, становится косноязычным, когда начинает размышлять:

Почему два великих поэта,
Проповедника вечной любви,
Не мигают, как два пистолета?
Рифмы дружат, а люди—увы…

Мысль важная, но выражена как-то неряшливо и неясно: не только поэты, «как два пистолета», но и рифмы («любви—увы») не дружат. Для Вознесенского предпочтительнее мир чувств, и первая часть его книги «Соблазн» озаглавлена «Чувствую—стало быть, существую». Знаменательна эта замена «мыслю» на «чувствую», а в ряде случаев уместнее говорить о мире даже не чувств, а ощущений вроде «жарко-холодно, приятно-неприятно». Тогда нет нужды в сложных метафорах, отборе слов с адекватным оттенком; всё строится на одной-двух антитезах или сравнениях, с более или менее подходящими словами.

Лирический герой

Андрей Вознесенский вошёл в советскую литературу в начале 1960-х годов. В это время страна зачитывалась стихами, поэтическое слово вызывало небывалый резонанс, и молодые поэты Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский и Белла Ахмадулина неожиданно оказались в роли властителей дум. Большинству читателей не было известно творчество Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Заболоцкого, их ещё предстояло заново открыть, и словно в предчувствии этого чуда в культуре той поры сложилось особое отношение к поэзии. Отблеск этого предчувствия во многом способствовал успеху литературных судеб молодых поэтов, у которых были бесспорные собственные достоинства: талант, культура, новые темы и лирические герои. Герой Андрея Вознесенского—молодой человек, обострённо воспринимающий красоту и трагическое безобразие мира, с подкупающе-искренней интонацией повествовавший о личных и общих проблемах. Мне памятно впечатление от стихов «Гойя», «Бьют женщину», «Лобная баллада» и многих других.

Одной из центральных тем молодой литературы стало возвращение к нравственным истинам, затёртым рутиной жизни, стремление почувствовать романтику революционного и постреволюционного времени. Герой Вознесенского много размышлял о Ленине:

Был Лениным—Андрей Рублёв…
И, может, на секунду Лениным
Был Лермонтов и Пугачёв.
(«Я в Шушенском»)

И за то, что он был поэт,
Как когда-то в Пушкина—в Ленина
Бил отравленный пистолет!
(«Лонжюмо»)

В Ульянова вселился Ленин,
Так что пиджак трещал по швам!
Он диктовал его декреты.
Ульянов был его техредом.
. . . .
Когда он хаживал с ружьишком,
Он не был Лениным тогда.

Нетрудно заметить в этих стихах перепевы поэмы Маяковского «В. И. Ленин»—об ожидании Ленина в мировой истории и о соотношении «Ульянов—Ленин». Открывшиеся герою Вознесенского истины оказались вторичными, и чтобы как-то оживить их, придать вид потрясшего душу откровения, поэт прибегает к не мотивированной содержанием экзальтации:

Врут, что Ленин был в эмиграции!
(Кто вне родины—эмигрант)!
(«Лонжюмо»)

Отчего же врут—в эмиграции действительно был. Расплывчатое «кто вне родины» не объясняет и не придаёт убедительности этому полемическому заявлению. Надо отметить, что это частая вещь в современных произведениях, посвящённых Ленину,—ораторский пафос обращается на самые неожиданные предметы, и когда Вознесенский восклицает: «Уберите Ленина с денег! Так цена его высока», невольно думаешь: «Перестарался…» Наряду с неуместным пафосом в этой «лениниане» встречаются другие передержки: «В Ульянова вселился Ленин, так что пиджак трещал по швам»,—но выражение «вселиться в кого-нибудь» в русском языке обычно относится к бесу, к нечистой силе, а образ вождя в этом пиджаке явно пародиен. В поэме «Лонжюмо» Вознесенский рисует сатирическую картину жизни предреволюционной России (вспомним

тот же композиционный приём контраста в поэме Маяковского «В. И. Ленин»):

Настоящие эмигранты
Пили в Питере под охраной.
. . . .
Эмигрировали в клозеты
С инкрустированными розетками… (?)
В драндулете, как чёртик в колбе… (?)
Проезжал глава эмиграции—
Царь!
(«Лонжюмо»)

Ленин, вселяющийся в Ульянова; царь, как чёртик в колбе, и всё те же неизбежные клозеты—фантастическая картина! И снова пародийно напоминающая описание Петрограда у Маяковского. Маяковский, говоря о большевиках, по-своему лиричен, а Вознесенский впадает в умиление:

Спи, Серго, в васильковой рубашечке,
Ты чему во сне улыбаешься?
Где-то Куйбышев и Менжинский
Так же детски глаза смежили.

Невольно читается не «глаза», а «глазки». Подводя итог, можно сказать, что поэма Вознесенского «Лонжюмо» независимо от воли автора стала пародией на поэму о Ленине Владимира Маяковского.

Но время шло, и лирический герой Вознесенского претерпевал эволюцию, чутко отзываясь на новые веяния:

Есть русская интеллигенция.
Вы думали—нет? Есть!
Не масса индифферентная,
А совесть страны и честь.
(«Есть русская интеллигенция»)

Эта интеллигенция вглядывается в прошлое родины, и наш герой, согласно моде, посетит заброшенные соборы и монастыри:

Вода и камень,
Вода и хлеб.
Спят вверх ногами
Борис и Глеб.
Такая мятная
Вода с утра—
Вкус Богоматери
И серебра!
(«Горный монастырь»)

Не смущайся, читатель, что Борис и Глеб вверх ногами, а Богоматерь пробуют на вкус—герой приобщается к духовности, а уж как приобщаться, прямо или вверх ногами,—другой вопрос. На этом этапе герой Вознесенского—христианин, и в названиях стихов замелькало: «Молитва Микеланджело», «Молитва спринтера», «Телемолитва», «Анафема», «Грех»… Поэт смело берётся за самые заветные, заповедные для верующего темы. Он широко пользуется религиозной лексикой и образами, зачастую произвольно, неточно или просто кощунственно: стихотворение о женском вытрезвителе названо «Преображение», а в основе стихотворения «Спаситель»—незамысловатый каламбур. Сравнив утку с утюгом, при освоении нового смыслового ряда можно сравнить Христа с сигнальщиком аэродрома. Мы уже говорили о восприятии природы в поэзии Вознесенского как о своего рода агрессии технократического сознания. Ещё хуже экспансия современного обывателя в область религиозной, культурной, духовной жизни:

Надругались. А о бабе позабыли.
В честь греха в церквах горят светильники.
Плоть не против Духа, ибо дух—
То, что возникает между двух.
Тело отпусти на покаяние!
Мои церкви в тыщи киловатт
Загашу за счастье окаянное
Губы в табаке поцеловать.

Этот монолог назван «Молитва Богоматери—Резанову». Оказывается, Богоматерь скорбит о том, что не насладилась плотски, не довелось ей «губы в табаке поцеловать»! Такие соображения—одна из составляющих «религиозного» сознания Андрея Вознесенского. Я думала, отчего пушкинская «Гаврилиада», при всей её раскованности и рискованности, не оставляет впечатления постыдного богохульства, а стихи, написанные вроде всерьёз и с сочувствием, вызывают чувство неловкости за автора:

Как нища ты, людская вселенная,
В боги выбравшая свои
Плод искусственного осеменения,
Дитя духа и нелюбви.
Нелюбовь в ваших сводах законочных.
Где ж исток?
Губернаторская дочь, Конча,
Рада я, что твой сын издох!
(«Авось»)

Так оскверняются высшие религиозные ценности, и не по злобе, а от полного отсутствия человечности и нравственной чуткости. «Религиозные» стихи Вознесенского кажутся спекуляцией на модной теме, которая ему внутренне чужда.

Символом романтических исканий молодых героев литературы 1960-х годов стал «звёздный билет». «Звёздный билет» героя Вознесенского окажется пропуском в мир кинозвёзд, сенаторов, суперменов:

Всё в ажуре—дела и личное.
И удача с тобой всегда.
Тебе в кухне готовит яичницу
Золотая кинозвезда.
(«Что ты ищешь, поэт, в кочевье?»)

«Билет» откроет дорогу за рубеж, поэт напишет десяток стихотворений о своём автомобиле, будет декламировать стихи в Эрмитаже и тиражировать в сборниках панибратские записки премьершам:

Я не приеду к тебе на премьеру—
Видеть, как пристальная толпа,
Словно брезгливый портной на примерке,
Вертит тебя, раздевает тебя.
. . . .
Я ненавижу в тебе актрису.
Чтоб ты прикрылась, корзину пришлю.
(«Открытка»)

Вот так—игриво и с позицией. Удивительное дело, из сборника в сборник кочуют надписи на открытках, поздравления к именинам, «шутливые наброски»:

Рецензию на Ваши «Три травы»
Мне заказал отдел «Литературки».
Не теоретик я, увы,
Но от статьи не ретируюсь.
(«Рецензия на сб. В. Бокова»)

Милый Виктор Фёдорович,
Выйди, Свитер Фёртович,
Винтичек Отвёрткович…
(«Величальная открытка В. Бокову»)

Мы пришли на именины,
Поэмимы, поэмимы
(Мамы-рифмы, папы-мимы,
Получилось поэмимы).

«Каравай, каравай!»—подхватим мы. Свои величания поэт называет пышно, я уже цитировала «стансы» Любимову, а вот «гекзаметры»:

Сокололетний Василий!
Сирин джинсовый, художник в полёте и в силе,
ржавой подковой
твой рот подковали усищи, Василий…
Бросил ты пить. Ты не выпил шампанского ванну…
(«Гекзаметры другу»)

Радостно, конечно, что Василий бросил пить, но для чего этот опус распечатывать тиражом 130 тысяч экземпляров? Жанровые обозначения Вознесенского необычны, это стансы, оды, элегии без всяких признаков жанра, гекзаметр без гекзаметра, «изопы» и «сколы». Пожалуй, тут можно признать его новаторство, если не вспоминать подобные опыты Игоря Северянина: «поэметты», «интуитты», «героизы» и «интимы». И похожие «величальные» знакомым:

Я хочу, чтобы знала Россия,
Как тебя, мой «Перунчик», люблю.
(И. Северянин, «Перунчик»)

Но вот что удивляет: Северянин был волен в публикации своих стихов, а «интимы» Вознесенского проходят через руки бесчисленных редакторов и тиражируются из книги в книгу. Может, в современной литературе больше нет поэтов, и эти полторы оборванные строчки призваны заполнить вакуум? Нет, есть много хороших поэтов; не изданы и при современном положении издательского дела ещё десятилетия не будут изданы замечательные книги стихов. Но как сказочно щедры и снисходительны Аргусы от книгопечатания в данном случае! Хочу сразу оговорить, я не за то, чтобы Вознесенского меньше публиковали (надо, вероятно, больше, его книги ни минуты не залёживаются на прилавках), но должен же быть хоть какой-то отбор.

Оставим блистательно преуспевшего «звёздного мальчика» и обратимся к другому лирическому герою Вознесенского. Он куда скромнее, это городской обыватель, современный мещанин, добродетельный и косноязычный. Он любит сочинять на досуге сатиру на соседа:

Живёт у нас сосед Букашкин,
В кальсонах цвета промокашки…
(«Антимиры»)

Бытовые невзгоды развивают склонность к обобщениям, и стихи о Букашкине названы—«иронико-философское». Сосед—ничтожество, зато его антипод, по мнению лирического героя, личность, живущая настоящей жизнью:

Вселенной правит, возлежит
Антибукашкин, академик,
И щупает Лоллобриджит.

Нашего героя донимает не только противный Букашкин, но и служебные хлопоты—не дают покоя соседи по литературе. Их приходится клеймить в каждой книге, они, кроме прочих несимпатичных качеств, ещё и вороваты:

Графоманы Москвы,
меня судите строго,
но крадёте мои
несуразные строки…

Но в общем, этот герой, если его не сердить, человек приятный и добродушный, это он сравнивает лисью морду («мордочку лисички», как он выражается) с пером авторучки и начинает стихи с детски-простодушного: «Мне лаяла собачка белая» («Вторые рощи»). Его мир до такой степени загромождён приметами и предметами городского обихода, что вещь становится критерием подлинных ценностей и судьёй в «вечных спорах»:

В чём великие джинсы повинны?
В вечном споре низов и верхов—
тела нижняя половина
торжествует над ложью умов.
(«Ода одежде»)

Культура тоже подгоняется под «тела нижнюю половину»:

> Джинсы, сшитые из Врубеля,
> Подарю после себя.
> *(«Российские селф-мейд-мены»)*

Когда этот герой говорит о женщинах, стихи наполняются сладкой уменьшительно-ласкательностью:

> Твоя чёлочка лондатоновая…
> Женщина в стрижечке светло-ореховой…
> *(«Рано»)*

> У неё такие газовые
> Под глазами синячки…
> *(«Нью-йоркская птица»)*

> …улыбочка, как трещинка,
> играет на губах.
> *(«Свадьба»)*

> …фиалочка с филфака
> болонью запахнет..
> *(«Фиалочка с филфака»)*

Тема «бьют женщину» сменяется стихами «Бьёт женщина», драма заменяется фарсом. Финал этого стихотворения парадоксально перекликается с «Бьют женщину»: она «пуляет мороженым» в мужчин и думает:

> Трусишки, нету сил—
> Меня бы кто хотя бы отлупил!

Иногда герой позволяет себе, нет, не нескромность, а лёгкую вольность:

> Как в ГУМе отмеряют ситец,
> с плеча откинется рука,
> стрела задышит, не насытясь,
> как продолжение соска.
> ……………………
> Шахуй, оторва белокурая!
> И я скажу:
> «У, олимпийка!» И подумаю:
> «Как сжались ямочки в тазу!»
> *(«Стрела в стене»)*

Ох уж эти Амуровы стрелы! Опять вспоминается Северянин, что-то похожее:

> Она обернулась, она посмотрела,
> Слегка улыбнулась, раздетая взором,
> Хлыстом помахала лукавым узором,
> Мне в сердце вонзила дремучие стрелы.
> *(«Я встретил у парка вчера амазонку»)*

Но милее всего сердцу этого героя разные необыкновенные истории. Я их тоже люблю, да и ты, просвещённый читатель, нет-нет, а приклонишь к ним слух. Кто не слышал, например, как змея полюбила пограничника? У кого не было знакомого, которому предлагали отдать на воспитание тигрёнка? Но самый распространённый жанр—«А вот ещё был случай…». Сколько жутких и трогательных, обычно любовных историй переходит из уст в уста! Старушки на лавочках у городских домов знают их тысячи, и мы, подсев, слушаем, усмехаемся, но ни за что не уйдём, не дослушав до конца. А дома с той же усмешкой перескажем близким. И они, покачав головой: «Господи, какая чушь!»—передадут знакомым. Но нам не обязательно подсаживаться к старушкам, в стихах Андрея Вознесенского немало таких историй. Вот некоторые из них. Одна горбунья полюбила красавца-гастролёра:

> Переписка их, свято-нага,
> Вслух читалась на почте.
> Завизжала и прогнала,
> Когда к ней он вернулся пошло…
> *(«Красота»)*

У матери и дочери оказался общий любовник:

> Я—его первая женщина, вернулся до ласки охоч,
> дочь.
> Он—мой первый мужчина, вчера я боялась сказать,
> мать.

Эта история завершается жуткой драмой:

> Доченька. Сволочь! Мне больше не дочь,
> прочь!
> Это о смерти его телеграмма,
> мама!
> *(«Две песни про мотогонщика»)*

Или—невестка, жена сына, стала любовницей его отца:

> Он шубу справил ей в ту весну.
> Он сына сплавил на Колыму.

А вот ещё случай: одна женщина несчастно влюбилась, и ей отрезало голову лифтом («Эскиз поэмы»). Попадаются истории и вовсе дикие: лётчик целовался с девушкой под яблоней, «на яблоню выплеснул свою чистую кровь», и яблоня забеременела. Теперь она «врыта в землю по пояс, смертельно орёт и зовёт удаляющийся самолёт» («Баллада-яблоня»)!

Соответственно этой тематике, один из самых продуктивных жанров в поэзии Вознесенского—романс. Он представлен во всей полноте, от апухтинской интонации («Да, васильки, васильки…»)—сравните у Вознесенского: «Она так их любила, эти жёлтые одуванчики. / И не выдержит мама, когда застучит молоток…» («Похороны цветов»)—до городского романса с «жестокими страстями»: «Шафер», «Уездная хроника», «Латышский эскиз» и другие. Вот как изъясняются его герои (диалог составлен из разных стихотворений)

Она:

Милый моряк, мой супруг незаконный!
Я умоляю тебя и кляну—
Сколько угодно целуй незнакомок.
Всех полюби. Но не надо одну.
(«Песня»)

Он:

И за это твоя дальнобойная ненависть
Меня сбросила со скалы.
(«Жизнь»)

Она:

И в твоей стране, и в моей стране
До рассвета спят—не спина к спине.
(«Испанская песня графа Резанова»)

Он:

Знай своё место, красивая рвань,
Хиппи протеста!
В двери чуланные барабань.
Знай своё место.
(«Знай своё место…»)

Диалог «красивой рвани» и «незаконного супруга» переливается из стиха в стих, с ними случается разное: её могут убить молотком из-за валюты («Уездное») или прищемить голову в лифте; он оплакивает свою жизнь по пути из Рима в Константинополь или «открывая русскую поэзию Канаде», но, в сущности, они статичны.

Мы заговорили о «жестоком» романсе, и на сцену пора явиться третьему лирическому герою. Он занимает всё большее пространство в каждой новой книге Вознесенского, в сборнике «Соблазн» он полноправный хозяин. Начнём знакомство со стихотворения «За тобою прожжённые годы», в котором герой прощается с некогда любимой женщиной:

За тобою прожжённые годы,
за тобой осквернённый словарь,
я с тебя, как срывают погоны,
свои четверостишья сорвал.

Что же, это суд чести, она оказалась недостойной знаков отличия—посвящённых ей стихов. Но этого оскорблённому в лучших чувствах герою мало:

Я лишаю тебя гражданства,
и как серьги—толкая взашей—
все слова, что ты мной награждалась,
вырву с мочками из ушей!

Поразительное лирическое откровение! В такой горячке где уж следить за связностью речи («все слова, что ты мной награждалась…»), тут серьги с мочками вырывают и толчками взашей женщину выбрасывают! Где вы, автор стихов «Бьют женщину»?

Я сдираю с тебя песнопенья.
Убирайся, какая пришла!..

Читается не «песнопенья» (до песен ли?), а шубу, дублёнку… Дико читать подобные признания. За рефлектирующим интеллектуалом и добродетельным буржуа таится ещё один герой, исповедующий насилие и жестокость. Жестокий романс плавно переходит в блатную припевку. «Мальчики с финками и девочки с фиксами» мелькнули в ранних стихах Вознесенского, но тогда поэт декларировал, что, несмотря на это, вопреки этому, они не так плохи и могут ценить поэзию. Нынешнему герою оговорки не требуются:

Ну что ты стесняешься
пошлого танго,
как лабух стесняется
божьего дара…

И прошедшая юность вспоминается поэту не такой, как он писал о ней в первых книгах, с романтикой строек и студенческих костров, а во всей красе блатной романтики:

…не только за кепарь благодарю
московскую дворовую закваску,
что вырезав на тополе «люблю»,
мне кожу полоснула безопаской.
Благодарю за сказочный словарь
не Оксфорда, не Массачусетса—
когда при лунном ужасе главарь
на танцы шёл со вшитою жемчужиной.
(«Щипок»)

Как много в стихах Вознесенского, в жизни его героев жестокости, драк, оскорблений, убийств. И эти истории зачастую переживаются автором и читателем не как драмы, а как острые сюжеты, способные пощекотать нервы. В этом мире царит сомнительного толка супермен, по-свойски разбирающийся с «красивой рванью», питающий слабость к сентиментальным историям, по-блатному пришепётывающий, с неотступной темой «прирезать, полоснуть бритвой»:

Я куплю билет на поезд.
В фотографию вопьюсь
И запрячу бритву в пояс.
(«Двоюродная жена»)

…но не дождутся, чтобы где-то
во мне зарезали театр,
а в вас угробили поэта.
(«Стансы»)

Воздух яблоком пахнет, но яблоком с бритвами.
На губах перерезанный бритвою крик.
(«Яблоки с бритвами»)

Она становится навязчивой идеей в раздумьях об ученике, преемнике. В нашей памяти тема «учитель—ученик» связана с дружбой Пушкина и Жуковского, циклом стихов Цветаевой, обращением русских писателей к именам Пушкина

и Гоголя. Её неотъемлемая черта — благородство и уважение. Вознесенский тоже обращается к теме преемника в поэзии:

…пошли мне, господь, второго,
чтоб вытянул петь со мной!
(«Песня акына»)

Что же он завещает своему ученику, «второму», или, как он говорит, «адъютанту»?

…как обкуренную трубку,
не ревнуя, не скорбя,
джинсы, сшитые из Врубеля,
подарю после себя.

Замечательный дар. Сшитые из Врубеля штаны представляются, очевидно, знаком мастера по ассоциации с жёлтой кофтой Маяковского. Кроме джинсов, ученику передаётся последняя воля мастера:

Не ослушайся приказа:
Тело может сбить с лыжни.
Уходя, как ключ, два раза
Во мне ножик поверни.
(«Российские селф-мейд-мены»)

И пусть мой напарник певчий,
забыв, что мы сила вдвоём,
меня, побледнев от соперничества,
прирежет за общим столом.
(«Песня акына»)

И преемнику, в свою очередь, автор желает:

…пошли ему, бог, второго —
такого, как я и он.

Согласно этому, Пушкину следовало прирезать Жуковского, Лермонтову — Пушкина, а Вознесенскому, вероятно, Маяковского и Пастернака, которых он называет своими учителями.

Старушка Изергиль

Студента «вынесли» с экзамена за то, что он назвал горьковский рассказ «Старушка Изергиль». Экзаменатор усмотрел в этом неуважение к литературному наследию писателя. Я вспомнила этот анекдот, читая стихотворение Андрея Вознесенского «Грех»:

Но было б для Прометея
великим грехом — не красть,
и было б грехом смертельным
для Аннушки Керн — не пасть.

Аннушка Керн — родня старушке Изергиль. Пушкин называл в письмах Анну Петровну Керн Анетой, ей посвящены знаменитые стихи, известны и иронические замечания Пушкина о ней. В стихах и письмах в отношении к А. П. Керн совмещались высокое и низкое, глубокое чувство и, согласно канону, восходящему к XVIII столетию, светский цинизм. Одним словом, многое было, но сентиментальной пошлости не было. У Вознесенского получается иначе:

Ах, как она совершила
Его на глазах у всех —
Россию завороживший
Бессмертный грех!

Слушаешь этот широковещательный романс, удивляешься: «Надо же, на глазах у всех!» — и вспоминается вереница удивительных историй, уже рассказанных автором. Да, это снова он, поклонник жанра «а ещё был случай», только на этот раз его внимание привлёк Пушкин. Отчего так фатально не повезло нашему великому поэту — книжная индустрия выбрасывает на рынок всё новые некрофильские изыскания в интимной жизни Пушкина. И что такое читатель, которого больше всего занимает, изменяла Наталья Гончарова или нет? Большинство этих читателей знают Пушкина в пределах школьной программы, да и то забытой. И роются не просто в чужом «грязном белье», но обагрённом кровью мучеников и героев нашей многострадальной культуры. Но вернёмся к Вознесенскому. Финал стихотворения «Грех» заключает в себе некую важную мысль о судьбе Пушкина, правда, неясно, какую:

А гениальный грешник
пред будущим грешен был
не тем, что любил черешни,
был грешен, что не убил.

Теряюсь в догадках: вероятно, Пушкин грешен в том, что не убил Дантеса? И при чём тут черешня? А может, он грешен в том, что не убил предшественника в литературе? Непонятно. «Пушкиниана» Вознесенского в гиперболизированном виде отражает состояние нашего популярного литературоведения — занимательного чтения из истории литературы. Все любовные приключения, реальные и вымышленные, бесцеремонно выставляются на общее обозрение:

Родной, прошло осьмнадцать лет,
У нашей дочери — роман…

На этот раз героиня — графиня Воронцова. Кажется, эта история не канонизирована даже в «занимательной пушкинистике», и поэту приходится ссылаться на «недавнюю догадку Л. Кондрашенко» (?!). Материалец свежий. Многие поэты обращались к имени и образу Пушкина, но в данном случае мы имеем дело с Пушкиным в школьном объёме, где для училки «чувства добрые»…», а для самого подростка «Пушкин — ножки, Пушкин — Керн»:

Через несколько минут,
как жемчужную рабыню,
ножку Пушкина возьмут.
(«Римская распродажа»)

Эта курьёзная ножка Пушкина преследует нас в целом ряде стихов Вознесенского, связанных с русской культурой. Вот, например, сочинение на тему «О назначении поэта»:

К. Рылеев:

Я не поэт, я гражданин.

Н. Некрасов:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

А. Вознесенский:

Можно и не быть поэтом,
Но нельзя терпеть, пойми!..

(Чего, чего нельзя терпеть?) А вот чего:

...Как кричит полоска света,
Прищемлённого дверьми.

Как современные писатели умеют найти предмет для сострадания и гражданских чувств! Когда Вознесенский пытается говорить о вещах более общественно значимых, чем страдания прищемлённой дверьми полоски, получается следующее:

Стилем «ретро» сменяется «порно».
Полно,
Воланд, срежьте со шляпы воланы,
Поешьте лагерную баланду.
(«Гамбург-ретро»)

Эта развязная интонация в обращении к персонажу Булгакова режет слух; вероятно, такие советы имеет право давать лишь тот, кто сам отведал баланды, и как-то нехорошо походя, с лёгкостью необыкновенной, упоминать о национальной трагедии. Но вернёмся к «пушкиниане». Какая-то неясная перебранка выдаётся в ней за поиски истины:

Когда написал он Вяземскому
С искренностью пугавшей:
«Поэзия выше нравственности»,
Читается—«выше вашей»!

Это, мне думается, читается всё же иначе. Для Пушкина в понятие об эстетическом входило и представление о нравственном каноне, и поэзия выше нравственности потому, что она в себе нравственность содержит. А у Вознесенского получается что-то вроде словесной пощёчины замечательному поэту и другу Пушкина. Но всё-таки особенно, фатально не повезло Анне Керн. Я уже цитировала «Грех», в другом стихотворении поэт повествует, как он посетил могилу А. П. Керн. Какой же она предстаёт в воображении Вознесенского?

Молодая спина, соловьиная речь—
Как накидки, поэтов снимавшая с плеч.
(«За спиною шумит не Калинин, а Тверь»)

Как тут не вспомнить кузнеца Вакулу, оседлавшего чёрта и летавшего у него на закорках? Здесь есть и тема для «занимательной «пушкинистики»: кого, кроме Пушкина, Анна Петровна «снимала с плеч»? Напоследок поэт обращается к ней с двумя просьбами:

Ты меня на прощанье собой обучи...

Вероятно, этот пассаж означает что-то вроде «собой одари». Вторая просьба ещё интереснее:

...Не забудь только снять с зажиганья ключи...

Это Анне-то Керн—«снять с зажиганья ключи»? Но тотчас выясняется, что это необходимая предосторожность:

А то впрыгнет в машину, умчит на лету,
Точно дверцу, могильную хлопнув плиту.

Так в стихотворении появляется Пушкин. В эксцентричности он не уступает возлюбленной, с её поэтами на плечах:

Я тебя обниму, я ревную к нему,
Кто цилиндром черкнул по лицу твоему.

Есенинский «хулиган» из цилиндра мог «золото овса давать кобыле», а сочинённый Вознесенским Пушкин—цилиндром женщине по лицу! Ах, он напоминает лирических героев с «дальнобойной ненавистью» и фиксами, как слово «черкнул» напоминает о бритвах и финках. Грустно, что в строчках о Пушкине встречается языковая неточность: «точно дверцу, могильную хлопнув плиту». Мы говорим «хлопнуть дверцей» или «захлопнуть дверцу». В стихах Вознесенского до обидного небрежно, походя упоминается не только Пушкин, но и другие великие поэты, как в стихотворении «Вийон»:

Я желаю, чтоб жили вешне!
Чтоб на виселице в городке
амнистированный повешенный (?)
крутил «солнце» на турнике.

При чём здесь Вийон и что это за милый городок с виселицей? И всё-таки—амнистированный или повешенный? Но вот желает поэт, чтобы «жили вешне», и не всё ли равно, по какому поводу? А вот стихотворение из двух строк с именем Рильке, называется оно, правда, «Сауна»:

Божественно после парилки
В реликтовом озере Рильке!

Видно, самочувствие у автора «вешнее», и вспоминается что-то эдакое приятное и культурное... к примеру, Рильке. Так и видится он, распаренный, ныряющий в озеро со вкусной прибауткой о Рильке-парилке...

Заканчивая разговор о стихах Вознесенского, связанных с историей и культурой, хочется

отметить, что они зачастую не выходят за рамки ассоциаций вроде «Вийон—висельник» и напоминают своего рода набеги бессмертной пошлости людской на бессмертное духовное наследие.

Пора подвести итоги. Безусловно, Вознесенский очень талантлив, наблюдателен, чуток к звуковой гармонии, чувствителен к новым веяниям жизни, но наряду с этим его поэзии свойствен известный инфантилизм, неточность слова, банальность мысли. Однако мне хотелось найти ответ на другой вопрос: к какой литературной традиции принадлежит поэт, которого критики часто обвиняли в отрыве от традиции? Обратимся к эпохам русской поэзии, в которых совершались открытия, трансформировались или декларативно отрицались старые каноны, и читатели не поспевали за этой культурной революцией. Но рядом с творцами появлялись авторы, низводящие новообретённые сокровища до уровня массовой культуры. Наиболее талантливые из них остались в истории литературы, а их творчество стало своего рода показателем культурных запросов основной массы читателей их времени. По таким стихам мы можем представить, какие слова, чувства и мысли находили и находят отклик у демократического читателя—у прежних чиновника и курсистки или нынешних инженера и студента, они отражают культурное состояние общества. Назову два наиболее известных имени таких поэтов: в пушкинскую эпоху—Бенедиктов, в начале XX века—Северянин. В этой традиции, на мой взгляд, следует рассматривать творчество Вознесенского. У всех авторов есть ряд общих черт: инфантилизм лирического героя, стилевая эклектика, стремление к новаторству, к эффектам, нередко оборачивающимся комическим, неточное слово; они бессознательно пародируют дерзновенные открытия в искусстве.

Бенедиктов наиболее гармоничен, в его стихах слышится отзвук державинских, тютчевских интонаций, они отзываются то тяжёлым металлом оды, то сладкозвучием Батюшкова и Пушкина. Он тоже пробуждает чувства добрые, его мир—мир чувствительных образованных чиновных семей. Язык Бенедиктова кажется нам почти безупречным, лишь изредка в стихах мелькают схожие с гоголевскими обороты. Не случайно позднее Бенедиктов органически вписался в круг литературы 1850–1860-х годов, и явственен скромный читатель, из Пушкина любящий «Чёрную шаль» и чтущий Бенедиктова. Он мил нам как память о пристрастиях наших предков.

Игорь Северянин вступил в литературу через полвека с лишним, когда изменилось и время, и читатели, и его творчество отражает эти перемены. Рядом с футуризмом существует эгофутуризм, рядом с «Незнакомкой» Блока—северянинские «незнакомки». Эклектика Северянина очевидна, безвкусие вопиюще, его лирический герой полуобразован, высокопарен, эгоистичен—но и наивен, и чувствителен, и добр. Он напоминает чеховского Петю Трофимова, на миг забывшего об «идеях». За эпатажем героев Северянина нет жестоковыйного хамства так же, как за «жестокими страстями»—жестокости. В поэзии Северянина словно воплотились фантазии начитавшихся о приключениях гимназистов, чиновников, мечтающих о Париже, скучающих женщин—эти люди знакомы нам по рассказам Чехова.

Что же трансформирует в своём творчестве Андрей Вознесенский? Думаю, что отчасти русскую поэзию 1920-х годов (Маяковского, Пастернака, Цветаеву), отчасти советскую поэзию позднего времени—с её зарисовками, «философскими» размышлениями, репортажами и притчами. А кроме того, в значительной степени устную традицию, которая демократичнее и обширнее печатной литературы,—современный «городской романс», частушку, анекдот, жаргон, с их отражением жизни. Чуть причесав и отмыв, заменив неудобопроизносимое, а следовательно, пародируя, поэт представляет и её. И если рассматривать творчество Вознесенского как свидетельство культурного уровня современного читателя, картина оказывается не слишком благополучной. Это и побудило меня написать статью о поэзии Андрея Вознесенского.

Ленинград, 1979

Людмила Шарга

Шутки времени. Всерьёз и надолго

О книге стихотворений Сергея Главацкого «Падение в небесах», Одесса: изд-во КП ОГТ, 2016

Название книги, как правило, приоткрывает содержание и наполнение. «Падение в небесах» — лишь усилило предощущение тайны.

Иже еси на небеси…

Где же ещё возможно падение, как не в небесах. Их девять. Как и кругов ада у Данте.

Падало яблоко. Тайна, содержание и наполнение, память о прошлом и будущем, суть его — в семечке, спящем чутким сном ожидания. Яблоко падало в траву, в землю, в чёрную гущу Времени, и семечко прорастало в иную реальность, чем-то неуловимо похожую на нашу.

История о сотворении тамошнего мира другая, и всё потому, что…

> Адам не любил яблок
> И потому остался в раю
> Наедине с собой и своим бродяжничеством,
> Снящимся седой Еве.

Одолевала ли вас когда-нибудь тоска о том, что было бы, если бы Адам не стал откусывать от яблока?

> А Рай продолжал течь поперёк времени,
> И Адам ни заметил
> Ни отсутствия морщин на своём лице,
> Ни безмолвия Евы,
> А если бы заметил,
> Даю честное слово,
> Он полюбил бы яблоки.

У каждого из живущих здесь своё, собственное время. Лишь поэтам принадлежат все времена.

Когда-то давно прочла в стихах Сергея «алконосты индиго», и с тех пор иначе его самого и стихи его не воспринимаю.

> Плеск наших крыльев о прошлое,
> то, что не нужно живым, —
> Мы, алконосты индиго,
> мы, зрячих туманов предтечи.

Всё это ещё предстоит нам или уже случалось с кем-то из нас?

Откровение. Сны о будущем. Смешение прошлого и настоящего.

Время здесь не декретное и не поясное, не зимнее и не летнее. Оно — Время, и оно понятия не имеет, что относительно. Оно не знает о том, что людьми придуманы часы, а то бы посмеялось. Время умеет смеяться и шутить. Его шуточки люди пытаются объяснить, понять, вывести формулу. Тщетно.

Этот мир — одна из шуток Времени. Не самая удачная, как оказалось. Сколько поколений сменилось, так ничего о нём и не узнав. Потому что смотрели и смотрим лишь на то, что снаружи. Поэт всегда находится внутри и смотрит оттуда. И туда. В самую глубь. Зрит в корень.

Снаружи мало что видно. Всё подлинное — внутри.

> Взгляни на этот мир снаружи
> И — не увидишь ничего.

Тысячелетиями мир пытается рассказать людям о себе. Они не слышат. А если и слышат, то не понимают. Они слишком заняты собой, собственной значимостью, иллюзией присутствия. Они многословны, они рассуждают о дуальности, о зеркальности, о враждебности и толерантности. А нужно всего-то — молчать и слушать. Возможно, именно тогда станут близки и понятны эти странные стихи, напоминающие древние гимны, молитвы, наговоры.

Поэт — плоть от плоти Творца, его голос, его глаза. Поэт говорит с людьми, но бывает услышан, как правило, после того, как умолкает.

Многое из сказанного поэтом берётся за основу, за принципы и законы, нарекается заповедями. Образ говорившего лакируется, становится «божком», идолом, возносится на все мыслимые и немыслимые пьедесталы. На нём откармливают своё хилое и нежизнеспособное потомство разные критики, румяные и бледные, его начинают препарировать литературоведы. Начинается бурная жизнь после жизни.

> А я оставляю кровавую полосу,
> Такой себе адский крюшон,
> Стерильный, как мир, впавший в кому от голоса
> Моего
> Чистоты.

Удивляют стихи. Осознанность собственной инаковости. Обречённость и высокая печаль, знание, с которым жить трудно и больно и умирать непросто: ведь ты уже знаешь, что там, за чертой.

Рука — в руке, беспамятно:
Кому — куда. А мне — по кругу.

Сердцебиение в каждом из стихотворных циклов, а их в книге четырнадцать, своё и только своё, уникальное.

В некоторых сердце частит.

В некоторых замирает.

Возможно, мне лишь почудилось это «немотное» состояние, вызванное «немотными» стихами. Пригрезились руины Вавилона, укрытые песками, розовый, с нежными прожилками, мрамор Парфенона, зиккураты Бад-Тибира. И Край голубых холмов и алых степных маков — Коктебель.

Воспоминания роднят меня с этими странными стихами-пророчествами, стихами-предсказаниями, где даже от неологизмов веет архаикой.

Кувырок полярного круга,
глоток берёзового сока,
о прошлом напоминает который…

В моём прошлом было много берёз и света, и сок берёзовый стекал по тонкому белоствольному деревцу, надломленному человеком.

Тысячелетия воплощений, которые, словно фантомные боли, не дают забыться даже во сне.

Я в каждом перевоплощении поэт и не иначе…

Пронзительно и нежно звучит откровение о Коктебеле, о синем многоугольном море, которое неизменно присутствует во всех перевоплощениях поэта. Бутылочная почта, скрип палубного настила, ванты и тяжёлые, задубевшие от солёных ветров паруса. Берег обетованный. Маленькая Итака. Эдем. Его дыхание перелетает из строфы в строфу и обретает, наконец, различимые очертания вечного приюта.

…Что сюда мы вернёмся когда-нибудь, двое,
И поселимся здесь, средь почивших прибоев,
Исхудавших лучей и вещей скоротечных.

Ещё один образ проступает в стихах с посвящениями и без — образ блоковской Прекрасной Дамы. Лунноглазой птицы, давно оставившей мир.

Как прежде, умею тебе лишь молиться,
И в жизни моей ты — одна,
Моя лунноглазая райская птица,
Исчезнувшая, как луна.

Светлый лик её присутствует даже там, где она — тень, и там, где она — Лилит, призрак.

Прямая ли, косвенная ли аллюзия, восходящая к блоковскому поиску вечного идеала, оканчивается неожиданно.

Но люди — все — бегут по проводам,
И только лишь, увы, теням неясным
Дано понять, что нет Прекрасных Дам:
Лишь только призраки прекрасны.

И всё же остаётся предчувствие новой встречи с возлюбленной, ожидание этой встречи и надежды на то, что мир этот, наконец, придётся ей по душе.

Что мне сделать, чтоб ты полюбила
Этот мир, населённый людьми?..

Ожидание исполнено драматизма и самых тревожных предчувствий, которые в итоге сбываются:

Ведь я же погибну, как пить дать — погибну, без глаз твоих,
Без рук твоих, губ твоих, губ твоих — под фейерверками…
Пески переплавились в зеркало, и, пока здравствую,
К нему подхожу я, и ты отражаешься в зеркале…

Что дальше?..

Безвременье. Новый виток. Новые стихи и вера в то, что она — Прекрасная Дама — успеет вовремя.

Но ты успеешь. Ты зарю возьмёшь в помощницы.
Ты будешь вовремя. Предстань!

Предощущение будущего, которое уже было былью, было чьим-то прошлым.

Нам ещё предстоит мерить кожи младенцев,
Будет время почувствовать Гердой и Каем,
И — Адамом, и — Евой, Тристаном, Изольдой…

Писать о Лилит и Рыбах Стикса отважится далеко не каждый.

Большинство просто понятия не имеет о том, что эти твари проплывают где-то около и живут рядом.

Более того, большинство и не подозревает, что они сами и есть эти создания.

Увидеть их можно, только заглянув в самую суть свою.

Осмелится ли кто заглянуть так глубоко?

В самого себя.

Синяя тетрадь

Наши гости

29 марта 2016 года в Белом зале Храма Христа Спасителя в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелёва «Лето Господне».

В церемонии приняли участие председатель Издательского Совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, директор Государственной публичной исторической библиотеки Михаил Афанасьев, лауреат Патриаршей литературной премии поэт Юрий Кублановский, советник ректора Московского государственного университета печати имени Ивана Фёдорова Никита Штыков, историк и писатель, профессор МГУ Дмитрий Володихин, поэт Александр Орлов и другие.

Митрополит Климент приветствовал участников мероприятия от имени Святейшего Патриарха Кирилла, который высоко оценил значение конкурса «Лето Господне» и высказал предложение издать альманах с лучшими творческими работами. Затем прошла церемония награждения.

Международный детско-юношеский литературный конкурс имени Ивана Шмелёва «Лето Господне» — проект Издательского Совета, учреждённый в 2014 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В конкурсе принимали участие школьники 6–12-х классов общеобразовательных и православных школ, гимназий и колледжей России, стран СНГ и зарубежья, а также воспитанники воскресных школ и учреждений дополнительного образования.

Произведения победителей конкурса — сегодня в «Синей тетради».

ДАРЬЯ ВАСИЛЕНКО

г. Бийск Алтайского края

«Золотые чернила»

Каждый из нас на любом этапе жизни — в самом начале, в самом разгаре или в самом конце — задаётся извечным вопросом без ответа, вопросом о смысле жизни. Гораздо меньше людей думают о том, как её стоит провести. Ещё меньше людей уверены, что идут рука об руку с Богом.

В моей семье все верующие, православные, поэтому и я, и мои родители, и их родители знаем, что есть такое судьба, доверенная Богу, судьба благословенная. Но мы также знаем, что такое Подвиг с большой буквы.

Мой дядя, Герой России посмертно Вячеслав Токарев погиб, защищая Родину. Он с детства верил, что станет военным, что это и есть его судьба. Жил этой мечтой и верой, родившись среди гор Алтая, погибнув среди гор Афганистана.

Поэтому я считаю, что Подвиг совершает Человек, и хочу поделиться с вами историей о судьбе Человека, святого великомученика Евгения Родионова.

Евгений, простой юноша из небольшого посёлка, был призван на службу в Чечню, где, прослужив месяц, попал в плен. Сто дней его жестоко пытали и истязали, но боец не сдавался. Евгений тщетно пытался бежать, но однажды получил возможность вновь обрести свободу при условии, что сменит веру и примет ислам. Как доблестный православный христианин, он отказался менять веру, не снял креста.

За это воин Евгений Родионов был обезглавлен. Это произошло 23 мая 1996 года. Жене было всего девятнадцать лет.

Вскоре после этого мама Евгения поехала в Чечню на поиски сына и долго искала его. Но нашла мать тело, опознала которое по нательному кресту, который даже после смерти помог воину вернуться домой. Сегодня в моём родном Алтайском крае есть храм, посвящённый ему. Женю причислили к лику святых.

Но взгляните на нынешний мир с чистым небом над головой. В наши дни люди считают подвигом просто сходить в церковь, пробыть на литургии или выдержать пост и хвалят себя за вещи, которые люди делали, затаив дыхание, ставили выше собственной жизни, выше любых мирских забот! Неужели людям нужна война, нужны горе и вселенские беды, чтобы ступить навстречу к Богу и начать молиться? Неужели людям сегодня не хватает мудрости принять Божью руку и вовремя отпустить её в смиренном ожидании и преодолении испытаний?

До вчерашнего дня мне казалось, что мы уже никогда не станем Людьми. Наслушавшись «мудростей» моих одноклассников, далёких от Божьего

промысла, я была убеждена, что в нас не осталось той первозданной святой Божьей искры, что мы покорно шагаем в пропасть, глядя в экраны телефонов, ослеплённые манящим пороком, не рождающим мысли. Но этот конкурс, это «Лето Господне» победило зиму в моей душе. Сейчас я сижу в одном зале с моими православными ровесниками и чувствую, что мы уже разделяем многое — Веру и Любовь к Богу. Мы все чувствуем, что храм Божий — дом нашему сердцу, понимаем, что наше творчество и мысли посвящаются Творцу, всем верующим и неверующим. Я знаю, что со мной рядом сидят люди, способные на Подвиг. Как и Евгений — простой парень, святой Человек.

Валентин Распутин однажды сказал: «Если человек — настоящий писатель, он макает перо не в чернильницу, а в душу». Теперь я могу с уверенностью сказать, что, если в сердце есть Бог, — мы пишем историю золотыми чернилами.

АНАСТАСИЯ АГАФОНОВА

8-й класс, г. Михайловка Волгоградской области

Серые валенки

На дедовский юбилей съехались все, как договаривались. Вносили в тёплый дом шум, стук, свою молодость и любовь, обдуманные и тем дорогие подарки.

Дед Николай ворчал про мороз и снег, но был рад и поругивал жившего с ним старшего сына с невесткой, что про гостей знали, а ему не сказали, и что сам-то он тоже знал, что приедут, и не зря расчистил от снега двор…

Мужчины пошли поставить машины под навес. Дед Николай вышел с ними, «указать место». Наверное, и сто, двести лет назад вернувшиеся из похода сыновья ставили своих коней под отцовский навес, а старики «указывали» им, как сделать это лучше.

Я быстро сняла с печки дедовы валенки, нырнула в их живое тепло и выбежала во двор. Вокруг искрился, слепил белизной, звонко скрипел чистый, не городской снег. Вы знаете, что снег пахнет первым арбузом?

По саду, проваливаясь, ко мне торопилась наша старая собака Розка, я бросилась к ней, упала, обняв её, в сугроб. С поленницы на нас ревниво и осуждающе смотрела красавица кошка.

А в окне, в синей раме наличников, улыбались бабушка и мама.

Обедали поздно, «при свете». Прадедушка, седобородый, в очках со шнурочком, как патриарх, посматривал на сынов и внуков, одобрял, что все они серьёзные, непьющие и работящие. Смотрел и на нас. Все женщины нашей семьи в бабушку: одинаково высокие, спокойные и домовитые.

— Была бы жива Устинька, вот бы порадовалась, — тихо сказал дед. Мы молча согласились.

Дедушка вздохнул и ушёл к себе. За ним, по одному, перешли и мы. У каждого из нас в той комнате был с детства занятый уголок.

Детям стелили на пол тёплое одеяло. Маленькие под разговоры засыпали на нём, и потом их переносили «на ручках» в спальню, это было так волшебно…

В который раз удивилась я тому, как много родных людей вмещает с виду небольшая дедова горница.

Папа начал рассказывать о недавней нашей поездке в Турцию, в Миры Ликийские, в храм святителя Николая.

Дедушка не любил такое времяпровождение, считал его «баловством и переводом денег». «Если хочешь отдохнуть, — говорил он, — приезжай летом сюда, в станицу, на покос. Тут и вода в Дону чистая, и воздух свежий, а ваш шведский стол тому хорош, кто за нашим, казачьим столом не сиживал».

Но нашу экскурсию дед одобрил, удивился фотографиям, правда ли храм так порушен? Да что с них, с турок, взять.

Мой папа сказал:

— Вот бы тебя туда, дед, ты бы всё восстановил.

Действительно, в девяностые годы дедушка первым начал поднимать наш Святоникольский храм, потом, конечно, «всем миром» восстановили. Сейчас храм прекрасен, я его очень люблю. Мой дед Николай там староста и первый друг отца Прохора.

— Хотел бы я туда поехать потрудиться, — ответил дед. — Святому Николаю я жизнью обязан.

И тут дедушка, редко говоривший о войне и не хвалившийся орденами, рассказал нам об одном дне своей достойной и честной 90-летней жизни.

«В 1942 году это было.

19 декабря, как сегодня. На Николу зимнего. Мне исполнилось восемнадцать лет. Стояли мы под Сталинградом и не думали ни про подвиги, ни про битву и героями себя не считали…

А думали мы о том, что на кургане фашистский дзот, и пулемётчик не даёт нам поднять головы, и наша артиллерия к нам на помощь не спешит, и лежать нам в снежной каше больше нельзя, стыдно.

Друг мой, Фёдор — бабки Мотри сын, оставил мне гармонь, чтоб я покараулил её, «вернусь — заберу», и пополз с гранатой в горку. Чуть не успел, убили его, и остался Федя лежать на белом снегу, а руки вперёд!

Потом кузнец с Усть-Медведицы пошёл, сильный был, подковы гнул. Тоже погиб.

Смотрю: бежит, согнувшись, солдатик — маленький такой, очкастый, совсем не нашей нации…

Никто нас на тот курган не посылал и жизнь свою отдавать не заставлял. Война — не кино, это там красиво бегут и громко кричат! А мы сами знали, за что голову кладём. За Родину, за свой дом.

Молчком я собрался, молюсь святителю Николаю и прошу его дать мне столько минут жизни, чтоб достать этого немца. Только достать, и всё! Я его на мою землю не звал.

Верите, ни о родителях, ни о невесте своей Устиньке не вспомнил.

Тихо-тихо вдруг стало. И легко.

Командир меня за плечо трясёт, что-то кричит — не слышу!

Потом глянул — старые колхозные трактора-работяги тянут миномёты, их потом «катюшами» назовут, а всеми командует старичок в тулупе, в серых валенках с седой аккуратной бородой.

Смотрю на этого человека и думаю, что с бородой он не по уставу, валенки свои он обязательно промочит, а трактор точь-в-точь мой, довоенный. Вот ведь что в голову пришло…

После боя я старичка этого найти хотел, поблагодарить, но никто такого человека и близко не видел.

Потом понял я, в тот час наши русские жизни спас святитель Божий Николай».

Дедуня закончил рассказ, и все молчали; мне вдруг подумалось, что он скоро умрёт, на душе стало так скорбно, я отвела глаза на лампаду, и та засияла тысячами огоньков моих слёз. Дедушка решил отдать нам на вечную память этот день, отдать как подарок.

Скоро дедушки Николая не стало. Наш священник сказал, что ушёл он тихо и правильно, как и жил.

Я думаю, там, среди встречающих, его ждали родители и верная жена Устинька, друг Федя с гармонью и его мать Мотря, кузнец и маленький солдатик. И, может быть, теперь дед узнал, не промочил ли свои серые валенки наш святой помощник и покровитель.

В День Победы моя семья шла в колонне Бессмертного полка. Мама несла фотографию своего деда Ивана в будёновке и с шашкой, папа — портрет дедушки. Я несла дедовскую икону святителя Николая.

Мы гордимся своими родными!

ДАНИИЛ ЛАЗАРЕНКО

с. Пушкари Рязанской области

Белая птица

Проснулась я, как всегда, рано, настолько рано, что не сразу и поняла, дома ли матушка с батюшкой или уже ушли на работу. Никто не отозвался на мои слова, и, поняв, что дома никого уже нет, что на самом деле не так уж и рано, как мне показалось вначале, я решила не дожидаться своей подружки, а пойти на улицу одна, хотя матушке и не нравились мои самостоятельные прогулки. Не подумайте, что моя мама такая уж требовательная или очень опекает меня, просто от рождения я слепая, и это не даёт мне право быть как все и делать то, что другим позволено. Нет, я-то как раз считаю ни в чём не ущемлённой себя, даже наоборот, мне кажется, что во мне живёт столько радости, счастья, любви, которых хватит всем на нашей планете, а вот родители считают иначе, и спорить с ними я не могу, да и не хочу.

Сегодня я особенно счастлива. Желание пойти на улицу настолько огромно, что ждать я уже не могу ни минутки. Быстро одеваюсь, насколько могу, и… Вот я и на улице. Что-то мягкое, холодное и очень нежное на моих щеках. Что это? Конечно, снег. Только он так любит меня и каждым своим прикосновением говорит мне о своей радости от встречи со мной. Я поднимаю лицо, ладошки и начинаю считать снежинки: раз, два… пять… сто… Сколько же вас, мои родные! Здравствуйте! С приездом вас!

— Матрона, иди к нам. У нас снега больше. А у тебя крыша над головой мешает снегу лететь, — слышу я совсем близко.

Идти не хочется, но набрать целые ладошки снега оказывается сильнее сомнений. Осторожно спускаюсь со ступенек и иду на голос. Снег падает на нос и щёки, я высовываю язык, чтобы попробовать на вкус. Как же вкусна снежинка! Я даже останавливаюсь на секунду, чтобы ещё и ещё раз испытать состояние неописуемого восторга, восторга от сладости первого снега. Когда всё кажется неважным, только твоё состояние имеет значение. Замираю на секунду, чтобы запомнить навсегда обновлённое состояние души.

— Ну, что же ты встала, иди быстрее к нам, — голос звучит требовательно. — Направо, направо поворачивай.

— Ха-ха-ха. Ха-ха-ха.

Нет, не хохот слышу я, а артиллерийские залпы. Залпы по одной белой слепой птице, которая падает в яму, в растерянности беспомощно размахивая крыльями. Видно, и впрямь я смешна, особенно, когда карабкаюсь из ямы и сваливаюсь вновь. Один раз я уже выбралась, но, решив отряхнуться, падаю вновь. Я плачу, размазываю грязь по щекам и… карабкаюсь, карабкаюсь.

Они смеются, смеются, смеются.

— Слепуля-крохотуля, — кричат они и хлопают в ладоши, — дома сиди, с палкой ходи!

Мне обидно, а их — жалко. Я выбираюсь на этот раз очень быстро, будто кто-то меня подталкивает сзади. Я знаю, кто это. Это Николай Чудотворец вновь поспешил мне на помощь.

Вот я и дома. Свои коленочки помазала маслицем, что батюшка Василий дал от чудотворной иконочки, и боль сразу утихла, и обида прошла.

Пришла Катя, подружка моя, глазки мои. Сразу рассказывать стала, как на улице красиво, что первый снежок всё покрыл своим белоснежным ковром, что снежинки летят, словно птицы парят в воздухе, а поймаешь — рассмотреть не успеешь

как следует, только капелька на ладошке чуть подрагивает.

Не утерпела я тут и всё Кате рассказала, как Витька Михеев, Сашка Вихорев и девочка одна смеялись над моею бедою: над слепотою, что в яму упала, что сразу не получилось выбраться.

— А как же ты узнала, кто смеялся, если ты не видела их?

— Я не знаю, как, да только всех узнаю. Кого по голосу, кого по походке, а кого и по дыханию. Вот ты пришла, дверь прикрыла, а я сразу поняла, что это ты. Ходишь ты интересно: правой ножкой еле-еле до пола дотрагиваешься, а левую уверенно ставишь. Я ни с кем твои шаги не перепутаю.

— Матронушка, милая, прости меня!

— А тебя-то за что прощать? Ничего плохого ты мне не сделала.

— Как же, Матронушка,— перебила меня Катя,— я же мимо проходила и видела, как ты из ямы выбиралась. Сама вся белая, руками машешь, словно птица, а взлететь не можешь. Знаешь — это красиво было и смешно. Я улыбалась, когда на тебя смотрела, а когда помочь собралась, испугалась: мальчишки кулак показали. А ты вдруг будто выпрыгнула из ямы и домой пошла, очень уверенно пошла, будто кто за руку с тобой шёл. Простишь меня, а?

— Дорогая моя Катя, а я ведь знала, что и ты там, но не позвала, потому что не захотела, чтобы у тебя неприятности были. А прощать мне тебя не за что. Раскаиваться в содеянном могут не все, не очень это легко, вот ты смогла, да ещё сама мне обо всём и рассказала. Значит, доброе у тебя сердечко. Ошибаются все, а вот успеть исправиться не у каждого получается. Знай только, что все наши дела, добрые и не очень, в специальную книгу записываются, чтобы потом сравнить можно, каких дел за свою жизнь человек совершил больше — хороших или плохих. Вот сейчас ты ко мне приходишь, чтобы помочь, но знай, что наступит время, и я тебе помогать буду.

Катя заплакала, за ней и я. Не знаю, сколько времени мы проплакали, но, когда слёзы кончились, Катя попросила, чтобы я ещё раз рассказала историю о старце, который попросил воды.

— Мне было годков пять всего,— начала я рассказывать с великим удовольствием, потому что воспоминания эти были сладостны.— Слышу, кто-то вошёл и говорит, чтобы я водицы испить принесла. Я очень уверенно слезла с кровати, на которой сидела, набрала воды и понесла. Дедушка взял ковшик, выпил водичку, поблагодарил ласково, а потом в грудь меня так легко стукнул и ушёл. Я тебе ещё ни разу не говорила, но с тех пор у меня на груди крестик, свой крестик, никто и никогда его снять с меня не сможет. Захочешь, я тебе его покажу, но только в следующий раз. А старичок этот был сам Николай Чудотворец! Возьми икону, третью справа, в верхнем ряду. Вот это он и есть. Он мне всегда помогает, и не только он.

— Как мне хорошо с тобой, Матронушка!— радостно проговорила Катя.— Ты говоришь, а у меня душа поёт, словно я только что святые дары приняла.

— Я вот что думаю, Катя,— начала я о самом сокровенном.— Наша жизнь будет лучше, если мы будем молиться и каяться, в храм ходить, просить о помощи. Верить в Бога будет народ — Россия будет самой сильной. А ты ходи, ходи ко мне и в церковь со мной ходи. Ну, всё, Катя, устала я, и тебе отдыхать пора, скоро родители с работы придут. Завтра приходи обязательно. Очень люблю, когда ты мне о батюшке Серафиме Саровском читаешь. Слушаю тебя, а сама, словно большая белая птица, то с батюшкой вместе по полю иду, то канавку копаю, то на батюшку с ветки смотрю, то медведя с ним кормлю, то на камешке вместе с ним молюсь. Порой я и сама не знаю, кто я: птица белая или Матрона Никонова.

Катя ушла, а я положила кулачок под щёчку, легла на бочок и заснула. Во сне жила уже в другом городе, святом городе Москве — сердце России, в котором храмов видимо-невидимо, а я летаю белой птицей, любуюсь. Посижу у одного храма и дальше лечу. Так всю ночь и пролетала.

ДАНИИЛ ЛАПИН

8-й класс, п. Локоть Брянской области

Русское монашество на Афоне

В лето… года над Афоном стояла жара, впрочем, обычная для этих мест погода. В горячем воздухе далеко разносилось стрекотание кузнечика, который сидел на нагретой солнцем лавочке. Всеобщую тишину нарушал лишь ленивый, как бы сонный, перезвон колоколов. День был безветренным, и поэтому воздух был насыщен всевозможными ароматами цветов. Лишь редкое облачко иногда укрывало иссохшую землю от лучей яркого летнего солнца. Чайки медленно кружились над морем, красиво касаясь крылом воды, взмывали ввысь и снова возвращались на круги своя.

В воздухе витал тонкий аромат мира и ладана. В позолотах икон отражался огонёк лампады. С икон смотрели лики и образа святых, полосы света проникали из-под узких окон, расположенных по кругу под самым куполом. Лучи солнца брали своё начало от входа и постепенно боком, через весь храм продвигались к алтарю. В храме витало спокойное блаженство и счастье, тишину нарушал лишь шёпот молитвы одинокого монаха. Он стоял на коленях около иконы Пресвятой Богородицы. После трёх земных поклонов, совершённых им с особым усердием, он встал и хотел идти на послушание, но вдруг заметил незнакомого старца. На нём была монашеская риза, на груди висел крест, лицо наполовину скрывал капюшон. От него веяло

каким-то дивным ароматом, очень похожим на запах полевых цветов. Он стоял и с умилением смотрел на икону, затем повернулся к монаху и сказал:
— Трём монастырям грозит опасность, предупреди всех: горит лес.

Монах машинально посмотрел в окно по направлению к хребту. За окном, утомлённые зноем, лениво порхали бабочки, и случайно залетевшие мухи бились об него, стараясь вылететь. На голубом небосводе не было ни единого облачка. Лес радовал глаза своей ярко-зелёной краской, в нём, весело щебеча, перелетая с места на место, порхали дивные птицы.
— Отче, а кто ты?—спросил монах и с изумлением заметил, что он в храме один.

Увидев в этом промысел Божий, он немедленно поднялся на колокольню и стал звонить во все колокола. Вскоре на площади собрались десятка два монахов.
— Неофит, что случилось?—спросил подошедший священник.
— Пожар! За хребтом пожар!

И сразу всё пришло в движение, не в суету, а в хорошо организованную работу.

Над хребтом появились первые струйки дыма, а вскоре тонкие языки пламени стали возвышаться над линией леса. Вдруг из-за хребта выбежал зайчик, он сильно хромал на одну лапу. Он безбоязненно кинулся к монахам, как бы ища спасения. Огненная стихия разгоралась с бешеной яростью, и скоро жар от неё доходил уже до самых стен монастыря. Двое монахов побежали в соседние монастыри предупредить живущих там старцев о надвигающемся горе.

Вдруг Неофит, бывший тут же и тушивший пожар вместе со всеми, увидел того самого старца, стоящего около него и смотрящего на языки пламени, которые охватывали всё новые и новые деревья. Постояв так, он повернулся к Неофиту и сказал тихим нежным голосом:
— Обратись за помощью к покровительнице Афона. По вере вашей дано будет вам.

И на глазах изумлённого монаха он тут же исчез. Неофит же побежал к монастырю и по пути встретил ещё одного монаха, Пантелеймона.
— Брат, нужна твоя помощь!—попросил он его.

Неофит был ещё молодым монахом, недавно принявшим обет служения Богу. Он познал грамоту в стенах обители, полюбил чтение и сейчас вспомнил о множестве книг и рукописей, хранящихся в монастыре. Мысли мелькали в голове одна за другой. Как спасти книги? А иконы? Всё ведь пропадёт! Нужно молиться! Но огонь уже совсем близко… Ничего нельзя приобрести в жизни без помощи Божьей.

Все находящиеся на месте тушения пожара вскоре увидели двух молодых монахов, несущих мощи. Они распевали моленный гимн. В одно мгновение к ним присоединились другие монахи. Все они смело, с чтением молитв направились прямо навстречу бушующей огненной стихии. Когда они подошли совсем близко, огромный столб пламени взметнулся вверх и отрезал обратный путь монахам. Языки пламени старались их сжечь, но бессильно бились о невидимую стену, которая окружала монахов и святые мощи. И так продолжалось до тех пор, пока в храме не отслужили водосвятный молебен и канон Святой Марии Магдалине.

Когда закончили службу, огонь взметнулся в последний раз, словно умирающий раненый зверь. Он резко вскинулся вверх и исчез. Монахи с мощами стояли посреди огромного пепелища и не могли поверить своему чудесному спасению. Они были свято убеждены, что чудесное спасение и тушение пожара свершено по заступничеству покровительницы Афона. Они и сейчас верят, что она до сих пор следит и незримым Божьим промыслом руководит над всем, что есть на Афоне.

Монахи пошли в храм и стали восхвалять чудеса Господни, которые он являет грешным людям, они воспевали псалмы святого царя Давида.

Среди служащих Неофит заметил того самого старца, что стоял около той иконы, возле которой молился Неофит. Он робко подошёл к нему. Старец, не оборачиваясь и не видя его, вдруг сказал вслух:
— Сколько чудес является нам, грешным людям, по великой милости Господней!
— Кто ты, отче?—робко спросил Неофит.—Ты святой?

Старец посмотрел на него лучившимися добром глазами, улыбнулся и перекрестил его. Затем повернулся и пошёл по лестнице на колокольню. Когда Неофит поднялся вслед за ним, он с удивлением заметил, что колокольня пуста. «Жить нужно незаметно»,—вспомнил Неофит слова, произнесённые недавно на молитве старым сгорбленным монахом. Он до сих пор свято верит, что это был один из афонских старцев, посланных Пресвятой Богородицей. С высоты колокольни он посмотрел на горизонт: в небе порхали птицы, из-за пожара оставшиеся без крова, вокруг всё утопало в зелени, и лишь откос зиял огромной чёрной дырой, напоминавшей о стихийном бедствии.

Много времени прошло со дня этих событий. Пожарище поросло молодыми деревьями, некоторые из них уже окрепли, святая земля залечила раны, нанесённые ей ужасной стихией, птицы вернулись в родные места и, построив новые гнёзда, как и раньше, ублажали человеческий слух прославлением чудес Господних на птичьем, одним им понятном языке. Возможно, нет уже давно в живых монахов Неофита и Пантелеймона, но память живёт и будет жить вечно, светлая память о Пресвятой Богородице, о смиренных монахах и о чудесном заступнике.

Серафим Рылов
6-й класс, г. Шуя Ивановской области

Монашество и путь к нему в романе протоиерея Николая Агафонова «Иоанн Дамаскин»

Роман лауреата Патриаршей литературной премии протоиерея Николая Агафонова «Иоанн Дамаскин» посвящён личности прп. Иоанна Дамаскина — «великого поэта, писателя, богослова», как о нём говорит в интервью издательству Сретенского монастыря сам автор. И в послесловии, и в интервью автор подчёркивает, что образ Иоанна Дамаскина для него является «необычайно притягательным». Этот образ многогранен: «знатный вельможа и монах-аскет, знаменитый писатель и поэт, учёный-богослов и философ-полемист, поистине великий человек своего времени». Протоиерей Николай Агафонов называет Иоанна Дамаскина «покровителем всех православных писателей».

И для всех православных христиан имя прп. Иоанна Дамаскина известно и близко: песнопения, составленные им, мы слышим на каждом богослужении, каждый вечер, «указывая на свой одр», читаем его молитву «Владыко человеколюбче», готовясь ко Святому Причащению, с благоговением произносим: «…сподоби мя неосужденно причаститися Божественных, и Преславных, и Пречистых, и Животворящих Твоих Таин, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов: но во очищение, и освящение, и обручение будущаго живота и Царствия…», с сокрушением сердечным молимся: «Пред дверьми храма Твоего предстою и лютых помышлений не отступаю…», ликование пасхальной радости выражается для нас словами Пасхального канона, написанного этим святым: «Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый, Христос бо восста, веселие вечное».

При этом образ святого в романе дан в развитии: автор показывает становление его как личности, как духовного писателя, его путь к святости. В частности, этим роман и отличается от жития, в котором, как пишет автор, «святой от рождения свят». Одним из лейтмотивов жизни прп. Иоанна является его стремление к монашеству, и весь жизненный путь его можно представить как движение к монашеской жизни.

Начинается он с самого рождения прп. Иоанна, когда его отец, великий логофет Дамаска Сергий Мансур, посвящает долгожданного сына Пресвятой Богородице у Её святой иконы: «Ты истинная Матерь всех верных чад Церкви Христовой, а потому прошу Тебя, Владычица Небесная, возьми его под Свой благодатный покров, пусть он служит Сыну Твоему и Богу нашему». Посвящение Богу — один из общих моментов житий многих преподобных: например, был посвящён Богу своими родителями, долгое время пребывающими неплодными, прп. Евфимий Великий, этот же момент встречается в житиях русских святых, например, прп. Сергия Радонежского, прп. Лукиана, основателя Богородице-Рождественской Свято-Лукиановой пустыни.

В соответствии с желанием, чтобы сын принадлежал Богу и Пресвятой Богородице, чтобы был Им угоден, отец Иоанна горячо молится Богу о том, чтобы Тот указал ему такого учителя, который «преподал бы детям не только человеческую, но и Божественную мудрость». В ответ на эти молитвы Господь чудесным образом посылает семье Мансуров Косму из Калабрии (области на юге Италии), который смог научить Иоанна и его названного брата Косму «знаниям о том, для чего человек живёт на земле и как нужно правильно жить».

С ранней юности особое укрепление Иоанн получал в молитве. Молитва была его прибежищем в сложных обстоятельствах. Так, попав на состязание колесниц в Константинополе и ужаснувшись зрелищу разгула человеческих страстей, Иоанн «потупил взор и стал молиться», и ему «удалось воздвигнуть стену молитвы между собой и бушующим морем человеческих страстей». Считается, что именно в монашеской жизни молитва имеет особое значение. Монахи исполняют особое молитвенное правило, стараются непрестанно читать молитву Иисусову, можно сказать, смысл жизни монаха — именно в молитве за весь мир. Поэтому то, что ещё в мирской жизни молитва для прп. Иоанна «стала не просто повседневным обязательным правилом, но постоянной сердечной потребностью души», говорит о восшествии на ещё одну ступень восхождения к истинной монашеской жизни.

Стремление в монастырь для Иоанна стало самым главным желанием. В беседе с василевсом Юстинианом он говорит: «Как бы я хотел уйти в монастырь вслед за моим учителем Космой. Но отец об этом и слышать не хочет. Он говорит, что мой долг продолжать дело Мансуров. Душа моя жаждет одного, а повиновение родителям требует другого». Свою волю, чтобы сын продолжил его дело, Сергей Мансур повторяет и на смертном одре: «Я знаю, что ты мечтаешь о монашеской жизни, и всё же помни: человек не волен распоряжаться собою по собственному желанию, но должен сообразовать свой жизненный путь с волей Божией. Ты нужен здесь, сын мой, на моём месте». Нужен Иоанн был и своей престарелой матери, оставшейся совсем одной. Как эта ситуация напоминает эпизод из жития прп. Сергия Радонежского, которого родители — преподобные Кирилл и Мария — умоляли не бросать их в старости, сначала похоронить их, а потом уже исполнить своё заветное желание о монашестве.

Но и со смертью родителей Иоанн не смог оставить мир. Он был нужен не только своей семье, но и всем христианам Дамаска. Недаром архиепископ Пётр в прощальном послании из ссылки писал Иоанну: «Тебя же прошу пребывать в памяти о твоём родителе, который был заступником перед халифами за род христианский. Тебе следует подражать этому доброму делу и не оставлять своего служения до поры. А когда будет эта пора, тебе Сам Бог укажет».

Иоанн усердно трудился на своём нелёгком поприще. Утешением для него в это нелёгкое время служили литературные труды. Он сочинял тропари, кондаки, работал над замыслом собрать всё богословское наследие Церкви в одну книгу, по благословению архиепископа Дамасского Петра составил защитительное слово против порицающих святые иконы.

Переломным моментом для Иоанна стало явленное по молитвам Богоматери чудо: правая рука Иоанна, которую отсекли по приказу халифа, поверившего клевете о том, что Иоанн собирается сдать город византийским войскам, за ночь приросла, о случившемся напоминал только тонкий шрам. Явившаяся во сне Иоанну Богоматерь повелела святому усердно трудиться и сделать руку «тростью скорописца». После пробуждения Иоанн исполнился вдохновения, у него сама собою сложилась новая песнь в честь Богоматери «О Тебе радуется» (теперь она постоянно поётся на Литургии свт. Василия Великого и входит в Октоих — читается на «И ныне…» воскресных седальнов 8 гласа с оговоркой, что это песнопение необходимо читать и слушать не сидя, а стоя с особым благоговением). В благодарность за исцеление Иоанн пообещал Пресвятой Богородице оставить мир, уйти в монастырь и там «воспевать в стихах и песнях Господа Иисуса Христа» и предстательство Богородицы за род человеческий.

В память о чуде Иоанн прикрепил к иконе Пресвятой Богородицы, перед которой он так горячо молился, серебряное изображение правой руки. По завещанию прп. Иоанна икона была привезена в дар лавре Савве Освящённого близ Иерусалима, в которой он решил принять монашество. Впоследствии икона, названная Троеручицей, чудесным образом оказалась в Хиландарском монастыре на Святой горе Афон.

Казалось бы, вот он, счастливый финал: прп. Иоанн раздал всё своё имение и исполнил своё давнее желание — пришёл в лавру Саввы Освящённого, чтобы стать монахом. Но оказывается, что с приходом в монастырь все основные трудности, искушения, испытания только начинаются. Так, Иоанн мечтал, что в монастыре, возрастая духовно, он напишет сочинения, которые «будут приводить к Богу заблудшие души». Однако от старца Диодора Иоанн получает послушание «никогда не писать никаких писем и прочих учёных трудов», навсегда оставить «все бесплодные мечтания и сочинения ума». Особенно угнетало Иоанна то, что он не исполняет обещания, данного Богоматери, — стать «тростью книжника-скорописца», воспевать Господа и Пресвятую Богородицу. Кроме того, творчество для него было так же естественно, как дыхание. Молитва «Пред дверьми храма Твоего предстою» изливается из души прп. Иоанна сама, без произволения, но и такое невольное нарушение запрета прогневало старца.

За этим неимоверно тяжёлым испытанием следует следующее, призванное показать, насколько сердце Иоанна открыто для любви к ближнему. Брат Никифор умоляет его исцелить страдающую душу, написать умилительную молитву на смерть своего родного брата, которая бы стала утешением в великом горе. «Прояви сострадание к ближнему, и Господь вознаградит тебя», — молил Иоанна Никифор. Иоанн сначала твёрдо отказывается, однако, видя страдания брата Никифора, решает, что «любовь сильнее любых запретов». Так возникли стихиры, которые до сих пор поются на погребении православных христиан, и они действительно утешили скорбящего брата Никифора. Однако Иоанн за непослушание понёс тяжёлое наказание от старца: тот велел ему сначала вовсе покинуть монастырь, но после усиленных просьб братии и самого игумена отправил Иоанна убирать нечистоты по всему монастырю. И лишь заступничество Богоматери, Её слова о том, что «Иоанн воспоёт духовную, небесную песнь и будет подражать херувимским песнопениям», заставили старца Диодора отменить свой запрет, воскликнуть Иоанну: «Открой же свои уста для слов истины».

Так завершается путь развития святого: пройдя все испытания, он принимает постриг, становится монахом, воспевает песнопения, которые «низводят небо на землю, а человека воздвигают от земли к небу» — преумножает талант, данный ему Богом, выполняет своё предназначение. На этом и заканчивается роман.

В произведении много образов монахов: это и будущие святые прп. Андрей Критский, написавший великий покаянный канон, который читается в первые четыре дня и в среду вечером на пятой седмице Великого поста, и преподобномученица Феодосия, пострадавшая в Константинополе, защищая иконы, и монах Косма из Калабрии, учитель прп. Иоанна, и названный брат Иоанна Косма, ставший епископом Миусийским, и игумен Никодим, и братия лавры Саввы Освящённого, и амастрийский затворник Кир, предсказавший низложенному императору Юстиниану возвращение на престол и впоследствии по решению вернувшегося Юстиниана ставший патриархом, находившийся на патриаршем престоле с 706 по 712 год. Однако это и настоятель монастыря святого Каллистрата

Павел и архимандрит монастыря святого Флора Григорий, которые способствовали государственному перевороту, низложению Юстиниана и восшествию на трон полководца Леонтия. Они считали, что судьбы государств и отдельных людей зависят от расположения звёзд. Появление таких образов монахов связано с мыслью автора о том, что монашеское звание не является залогом спасения, само по себе не даёт совершенства. Монаху необходимо приложить многие усилия, чтобы стать «небесным человеком и земным ангелом».

Так же сложно решается в романе и проблема старчества, которую в интервью издательству Сретенского монастыря протоиерей Николай назвал одной из важных современных тем, затронутых в романе. Ведь получается, что старец, запретивший Иоанну заниматься творчеством, заблуждался. Однако его заблуждение было угодно Богу. Об этом Иоанн в романе говорит так: «Всякое величие человека есть дар, посылаемый ему как испытание его любви и смирения. Если человек не проходит этого испытания, то его дар остаётся во времени, а если проходит, то дар его принадлежит вечности. Отче мой, сегодня ты приобщил меня к вечности». А протоиерей Николай в своём интервью комментирует: «Я постарался показать облик такого старца—святого по сути, но который заблуждался. Богородица Сама явилась этому старцу, ходатайствуя за преподобного, и старец просил прощения у Иоанна Дамаскина. Но его заблуждение было угодно Богу. Именно он отсёк у преподобного всё житейское и сделал из него того великого святого, который нам известен. Это современно: показать, как становятся старцами. В начале своего пути это такие же люди, как и мы с вами. Нельзя делать из них оракулов. Они стремятся к Богу, они выше нас, но они остаются при этом людьми, и надо видеть в старце живого человека».

В своём романе автор показывает и высшую цель монашеского пути—приближение к Богу, приобщение к пасхальной радости «будущего воскресения всех мёртвых». Не случайно пением пасхального канона, составленного прп. Иоанном, над гробом усопшего старца Диодора и завершается роман.

КСЕНИЯ ТЮКИНА
11-й класс, г. Суровикино Волгоградской области

А в сердце любовь живёт всегда…

— …Зачем вы соблюдаете заповеди Божьи?—спросила как-то раз нас учительница Ветхого Завета в церковно-приходской школе.—Почему, скажем, не крадёте в магазинах сладости или не обижаете младших?

Все глубоко задумались. Действительно, почему мы не делаем этого? Может быть, дело в воспитании; может—в боязни ответственности за совершённое. Первой нарушила молчание самая младшая из нас:
— Я боюсь, что Бог накажет меня.

Несколько ребят кивнули головами в знак согласия с ней.
— Боишься наказания, значит?—учительница опустила взгляд в пол, помолчала с минуту, а затем перевела снова на девочку.—А что такое Бог? Как ты объясняешь себе это понятие?
— Бог есть Дух.
— Очень хорошо, что ты знаешь это, но я имею в виду другое определение.—Далее педагог обратилась к нам:—Кто-нибудь может дать другой ответ?

Мы начали вспоминать предыдущие уроки, листать учебник. В голову приходили различные «свойства Божьи»: вездесущ, всемогущ, неизменяем, вечен… Но всё это было не то. Что же такое Бог и почему ответ ученицы оказался неправильным?

Через несколько минут тишины учительница всё же дала ожидаемый ответ:
— Бог есть любовь. Разве вы не чувствуете любовь, говоря с Богом через молитву? Не чувствуете, стоя на службе и смотря во время пения аллилуйи под купол храма? Разве вам не кажется, что в отблесках света поют сами ангелы, осыпая вас невидимой «пыльцой», которая заставляет любить всех и вся? Православие основывается только на любви. Вы боитесь не наказанья Божьего, а оскорбления Творца. Любящая мать всегда расстраивается, видя, что её дитя совершает неправильные поступки, но продолжает любить, пытаясь объяснить своему чаду, почему так делать нельзя. Так же поступает и наш Небесный Отец: он иногда поучает нас, но не наказывает.

Эти прекрасные слова я помню и по сей день. Бог есть любовь, а значит, многие люди идут в дом Божий, в храм, чтобы получить хоть капельку этого светлого чувства. Ведь как в наше время не хватает любви! «Возлюби ближнего твоего, как самого себя»,—говорит нам Евангелие от Матфея. Но разве мы любим друг друга? Многие думают: «Да, я исполняю эту заповедь: со всеми вежлив, не желаю никому зла, спасаю себя и свою семью от падения в бездну, молюсь за близких»,—но при этом обрадовался бы, если б Америка ушла под воду или просто испарилась—долой врага! Но ведь Иисус Христос не разделял людей на «ближних» и «дальних», не выделял особых критериев для определения тех, кого следует любить: ни национальность, ни страна обитания, ни даже вера не являются показателями Его близости. Все мы братья, всех нас создал Господь. Так неужели мы настолько жестоки, что уничтожаем детей Отца нашего, его любимцев? О какой любви тогда может идти речь?

Некоторые люди почитают любовь за слабость: жертвенность человека позволяет манипулировать им и даже унижать его. А ведь действительно,

стоит ли терпеть, если над твоей любовью насмехаются или пользуются ею? Ответ на этот вопрос найдём в житии Святой Моники: женщина с детства была верующей, во всём полагалась на Бога. Но вот родители отдали её замуж за вспыльчивого язычника, который вёл разгульный образ жизни и нередко открыто изменял супруге. Монику, конечно же, огорчало поведение мужа, но она решила нести свой крест до конца и воспитывать в себе любовь к нему. Спустя многие годы, проведённые в молитве, Святая Моника всё же узрела перерождение души Патриция: её муж принял Святое Крещение. Эта история наглядно показывает нам, что любовь способна на чудеса: с помощью своей жертвы Святая Моника смогла спасти души мужа и сына.

Очень хорошо говорят, что нельзя навязывать религию. Никому не нравятся сектанты, приходящие домой без приглашения и проповедующие о своём веровании. Но ведь мы должны быть миссионерами, доносить людям Божью истину, как же быть? Самый лучший способ привлечь человека — показать ему результат. На рекламных баннерах фитнес-клубов размещены фотографии атлетов, парикмахерские представляют люди с шикарными причёсками — так почему мы не можем сделать так же? Я не предлагаю «пиарить» церковь. Но ведь являясь благодатным образцом, мы заставляем людей задуматься о причинах этого. Святая Моника именно так и привела мужа ко Христу: своим примером в Божье Царство.

Посвящая свою жизнь Господу, мы спасаемся сами и спасаем других. Дело не только в молитве за ближнего — общаясь с верующими людьми, человек сам нередко приходит к Богу: кто-то идёт за компанию на православный фестиваль и просвещается там; другой заходит в храм за другом после вечерни; третий приходит посмотреть, что привлекает его близкого в службе. Всё это, конечно же, происходит по доброй воле. В нашей церковно-приходской школе так и появляются новые ученики: с одной девочкой пришла её заинтересованная подружка, с другой — младший брат. Воцерковленные родители приводят в храм детей, учат вере, но бывает и наоборот: моя мама, например, никогда бы не стала оставаться на ночные службы, если бы не надо было «караулить» там меня.

А что если человек в открытую презирает церковь? Неужели его никак нельзя вразумить? Над такими вопросами билась русская классика, вся она, по словам философа Н. И. Бердяева, «ранена христианством».

Давайте обратим внимание на роман Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Главная героиня Соня Мармеладова — настоящая христианка и наглядный пример истинной любви. Девушка бесконечно любила всё живое, несмотря на то что жизнь её сложилась не самым лучшим образом.

Не зря Соню называют именно героиней романа, так как она совершала настоящие подвиги во имя любви. Одним из первых можно назвать её ремесло. Девушка настолько сильно любила свою семью (пусть отчасти и не кровную), что ради её существования пошла на самую тяжёлую для себя работу — продавать своё тело. Как сложно было ей, христианке, решиться на этот шаг! Как она долго плакала! Но своим сводным братьям и сестре она не могла позволить умереть с голоду.

Последствия её выбора очевидны — презрение общества. Однако Соня никогда не жаловалась, а терпеливо несла свой крест. Оскорбили её — ничего, смирилась; бросили косой взгляд — не заметила; оказался кто в беде — пришла на помощь. А как она радовалась, когда к ней проявляли добро! Как расцветало её и без того любящее сердце! Ведь как приятно получать заботу, когда её совсем не ждёшь. Соня никогда не требовала к себе хорошего отношения, но сама не отвечала грубостью на грубость. Она принимала этот мир и любила его всей душой. Безвозмездно.

Девушка полностью отдавалась любви к ближним, так как только это помогало ей отвлечься от проблем, а их было немало: смерть отца, болезнь мачехи, трудное материальное положение. Особенно волновала Соню судьба детей, остававшихся сиротами. Героиня готова была сделать всё, лишь бы прокормить их и (не дай Бог!) не допустить, чтобы они пошли по её стопам. Но тут вступает в силу закон бумеранга: подаренное Соней добро ей же и возвращается. Видя бедственное положение девушки, её знакомый, обидевший её ни за что, решил искупить свою вину: устроить детей в пансион.

Своим смирением Соня спасла Раскольникова. Он, представляя её нарушительницей закона так же, как и себя, после совершения преступления пошёл именно к ней, ища понимания. Родион не сомневался, что девушка не отвернётся, оттого и рассказал о своём злодеянии только ей. Мягкая, нерешительная Соня становится тверда, когда речь заходит о Евангелии. Как и ожидалось, Соня рванулась на помощь. Первые её слова: «Что вы над собой сделали?» Желая помочь Раскольникову, героиня советует ему поклониться всему страданью человеческому и пойти сознаться.

Давая совет, Соня прекрасно понимала, что Родиона осудят и отправят на каторгу, но даже тут не бросила его, ведь как можно оставить человека, который даже в себе разобраться не может, не то что в окружающем мире? Девушка едет за ним, ежедневно навещает, пишет письма его родным. Здесь Соня не имела репутацию блудницы, поэтому сразу же понравилась многим. Вроде ничего не делала для этого, а полюбилась.

Родион не видел ничего особенного в девушке и тем более не мог понять, почему все так благоговеют перед ней. Но вот она пропала, перестала приходить, заболела. Только тут он задумался о причинах, посылал узнать о ней. Первый раз его мысли сосредоточились на другом человеке. Классик показывает, как эгоцентризм убивает душу, а забота о ближних, наконец, любовь воскрешают её. То, что это любовь, он осознал гораздо позже — во время очередного свидания с Соней. В тот момент его душа наполнилась чем-то доныне неизведанным, что вызвало слёзы, началось раскаяние. Родион плакал от осознания истины, Соня спасла его, «воскресила», показала свет. Он взял в руки Библию, и ничто не могло разубедить его в том, что перед ним открывается новый, ещё не изведанный путь к преображению его души.

Вот так «маленькая» и тихая Соня помогла человеку. Без меча в руках, без доспехов — всего лишь одним примером спасена человеческая душа.

Наверное, каждый после Причастия ощущает это чувство — неподдельную радость, желания совершать добрые дела. Не раз я наблюдала, как люди, принявшие Святое Таинство, плакали. Но это были слёзы не горечи или отчаяния, а благодарности за предоставление грешному человеку такой чести. Ещё бы, ведь сам Иисус Христос поделился с человеком Своими Плотью и Кровью! Как тут не быть радостным? Как правило, причастники слушают проповедь после литургии более внимательно, цепляясь за каждое слово, становятся щедрее — подают милостыню просящим, здороваются даже с незнакомцами. В такие моменты весь мир им кажется светлым и чистым, враги становятся лучше, и ничего не страшно…

Но не только во время причастия проявляется любовь Божья, но и почти у всех истинно верующих есть свои собственные примеры, доказывающие, что Бог всегда с нами, даже в самые ужасные моменты жизни, когда кажется, что спасения уже быть не может.

Произошло это несколько лет назад. Может, кто помнит, как в новостях сообщали, как в Бельгии попала в аварию группа российских школьников из Волгоградской области?

На улице торжествовала весна — деревья выгоняли почки, трава зеленела, дул тёплый ветерок. Я со своей экскурсионной группой гуляла по старой части столицы Польши Варшавы. Небольшие улочки, вымощенные булыжниками разного размера, тесно стоящие домики — мы будто оказались в сказке. Хотелось гулять тут вечно, писать стихи, рисовать картины… Эх, если бы я только умела рисовать…

Очередной остановкой нашей пешей экскурсии был костёл — старинное здание с фресками и красивейшими витражами. На тот момент я только начала воцерковляться, поэтому, видимо, огромный образ Иисуса показался мне мрачным. Величественный орган, сидящие на скамьях молящиеся люди вызывали во мне чувство беспокойства. Могу предположить, что виной этому — моё невежество: мне было странно наблюдать, как в храме сидят перед распятием, во время молитвы проводятся экскурсии. Мне хотелось как можно скорее покинуть это место, но многие мои товарищи не хотели уходить, а начали фотографировать храм. Неприязнь нарастала теперь и к группе. Через пару минут наблюдений за этим я сказала своей подруге фразу, которая, кажется, и привела к столь печальному окончанию нашей поездки: «Мы с ними несколько дней ехали в Европу, обедали и ужинали вместе, но привязанности никакой нет, что достаточно странно. Думаю, мне даже не будет их жаль». Язык мой — враг мой, особенно перед Распятием.

Следующий день прошёл в Берлине — здесь нам дали полную свободу, что позволило мне отделиться от основной части группы, ибо они меня, честно сказать, серьёзно задели в храме своим поведением.

Исследовать город одному прекрасно. Только так ты можешь проникнуться его культурой и вписаться в особенный ритм города. Да и какая радость была нам, детям, только представьте: 14-летних подростков отпустили гулять по огромному городу в незнакомой стране, да ещё без знания языка! Хотелось бродить по проспектам вечно, удивляясь местной архитектуре. Но увы — всё хорошее когда-нибудь кончается. Так мы отправились в ночное путешествие из Германии в столицу Франции — Париж.

Ночь была спокойная, большинство пассажиров спали в автобусе. Но мне что-то не давало заснуть, поэтому я слушала музыку, прокручивая в голове прекрасные воспоминания… В один момент плейер выпал из моей руки. Откинутые назад передние сиденья не позволяли поднять его. Я пыталась убедить себя, что с ним ничего не случится, утром достану, но желание вернуть свою вещь не давало мне покоя. Переборов своё глупое беспокойство, я закрыла глаза.

Спустя несколько мгновений я услышала шорох: плейер каким-то образом поехал вниз. Не понимая, что происходит, я открыла глаза: с полок падали сумки, кто-то отчаянно кричал. Через пару секунд почувствовала острую боль в животе, а затем — удар головой. Выбравшись через разбитое окно, я увидела страшнейшую картину: из перевёрнутого автобуса выползали окровавленные люди, слышались отчаянные крики о помощи. Опомнившись, я подняла глаза вверх: надо мной был железобетонный мост, с которого слетел вниз наш автобус. Голова не соображала, казалось, что это просто сон. Неудивительно, что после пережитого врачи поставили мне

частичную амнезию. Я помню лишь моменты: вот из автобуса вытаскивают полумёртвые тела; вот кто-то пытается вскарабкаться по грязи наверх, чтобы остановить попутку; вот я слышу через молитву неистовый крик водителя, просящего на польском помочь ему; вот я понимаю, что ему уже вряд ли поможешь — сквозь одежду виден сломанный позвоночник... Это самые страшные картины моей жизни.

После приезда в бельгийскую спасательную часть (именно в этой стране мы были на момент аварии) стало ясно, что большинство живы и не получили смертельных травм. Это действительно Божье чудо. Тогда я поняла, что Бог преподал и мне урок — вот, мол, отвечай за свои слова, живи, а ближние твои умрут. Погиб водитель, одна из учительниц, мальчик из нашего городка. На тот момент в голове звучал только один вопрос: почему я жива? Почему бы не «наказать» меня, а не невинных людей? Размышляя над этим, я вспомнила, что боль в животе почему-то не утихала, и решила посмотреть, что же всё-таки случилось. Я ожидала увидеть всё что угодно — синяки, ссадины, ушибы, — но никак не распоротый живот и стекающую кровь по моим брюкам.

Всё стало на свои места — я умру тоже. Обратившись к врачу, я узнала, что у меня внутреннее кровотечение и необходимо срочно проводить операцию. В больнице меня сразу же отправили в реанимацию, где молодой специалист, не понимавший английского, пытался задавать мне вопросы. Сделав всё необходимое, он удалился для совещания с коллегами.

Что может быть страшнее серьёзной операции в чужой стране? Выход оставался один — молиться. Но молилась я не за себя. Дело в том, что в соседнем отделении находилась женщина из нашей группы с многочисленными переломами. Она тоже молилась не за себя. Её сыну в другой больнице делали серьёзнейшую операцию, которая была обречена на провал в связи с полученными травмами мальчика. Она винила во всём себя, так как именно она уговорила сына поехать в путешествие. Её рыдания и просьбы о помощи были слышны через глухие стены. Мой тихий вопль не слышал никто. Захлёбываясь слезами, я молилась за того самого мальчика, которого день назад мне было ничуть не жаль. Я ненавидела себя так сильно, что готова была вылезти из окна больницы и босиком дойти до той, где лежал он — невинная жертва. Прося Господа о выздоровлении юноши, я совсем не заметила, как ко мне вошёл переводчик с неожиданной вестью: «Ваше кровотечение несерьёзно, кровь рассосётся через время, органы сами встанут на место, операция не нужна...» Обессилев от слёз, я не поверила ему. Для меня это было чудом. Я осталась жива, мои родственники избежали самого страшного.

После того случая в экстренных ситуациях у меня случаются панические страхи. Врачи объясняют это стрессом и сильной травмой головы, но я-то знаю, что таким образом Господь предупреждает меня об опасности, ведь с того злополучного апреля я живу не за себя, за погибшего юношу. Я не имею права не любить своих ближних.

Бог всегда находит способ вразумить человека и отвечает на наши просьбы. Не считаешь нужным ходить в церковь — вот тебе болезнь, из-за которой ты пойдёшь в храм молиться; не любишь ближнего — пожалуйста, его не станет, посмотрим на твоё безразличие. Вступать в споры с Господом опасно, так как Бог поругаем не бывает. Иногда хочется открыть глаза невеждам. Мы не святые, поэтому страдаем от своих страстей, но возможно постараться жить любовью. Как просто звучит, но как сложно этого достичь! В наше время это понятие достаточно сильно испачкали, подразумевая под любовью временные плотские утехи. Чтобы различать эти вещи, следует помнить, что любовь — это не переменные чувства, а постоянное состояние души. Любовь не дожидается просьб, она всё время в сердце человека. Похоже на определение Бога.

ЕКАТЕРИНА САМУСЕНКО
11-й класс, Красноярск

Развитие образа князя Андрея в разных версиях романа «Война и мир»

Князь Андрей Болконский, наверное, один из самых неоднозначных образов романа «Война и мир». Не относясь к числу безусловно любимых героев автора (таких, как Пьер Безухов или Наташа Ростова), он, тем не менее, вызывает сочувствие и симпатию уже у многих поколений читателей романа. Как же возник этот отчасти противоречивый образ?

Изучая первые черновики «Войны и мира», легко заметить, как разнятся действующие в них лица с хрестоматийными героями окончательной редакции. «Молодой человек, — пишет Толстой о будущем князе Андрее, — был невелик ростом, худощав, но он был очень красив и имел крошечные ноги и руки, необыкновенной нежности и белизны, которые, казалось, ничего не умели и не хотели делать, как только поправлять обручальное кольцо на безымянном пальце и приглаживать волосок к волоску причёсанные волосы и потирать одна другую». Образ Болконского здесь явно не выходит за рамки характеристики второстепенного персонажа. Об этом же говорит и его фамилия — если основных героев романа автор назвал оригинальными именами, как, например, Безухова

или Ростову, то остальных наградил известными дворянскими фамилиями с переменой одной-двух букв (по аналогии с Друбецким—Трубецким и Курагиными—Карагиными).

Мысль, что князь Андрей первоначально не был в числе главных героев, подтверждается и самим Толстым в его статье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир»: «Мне нужно было, чтобы был убит блестящий молодой человек… Потом он меня заинтересовал, для него представлялась роль в дальнейшем ходе романа, и я его помиловал, только сильно ранив его вместо смерти». Итак, светский молодой человек, «однообразный, скучный и только un homme comme il faut», предназначением которого было погибнуть в общей массе на поле Аустерлица, внезапно открывается в новом свете. Толстой пересмотрел множество вариантов его биографии, в числе которых была и дуэль с Ипполитом Курагиным за честь маленькой княгини, но все они были далеки от окончательной версии.

И только в первой оконченной редакции романа образ Болконского приобретает совершенно иные черты. Небрежность и презрение к окружающим превращаются в гордость и замкнутость, что вызывает большее уважение как у читателя, так и у автора. Толстой начинает иначе относиться к своему герою, и тот выбивается в число протагонистов. Но и это ещё не конец…

Если сравнить первую версию «Войны и мира» и роман, который сейчас изучают в школах, возникнет невольное ощущение, что автор вновь разочаровался в своём герое.

Нет, Болконский не деградирует до пустого эгоиста, каким он был в черновиках, но Толстой намеренно урезает его роль в книге, выводя на первое место Пьера (расширяет сцены плена, вводит в повествование Платона Каратаева—образ, важный для понимания Безухова). Некоторые короткие, почти незначащие отступления о детстве и юности Болконского усердно вычёркиваются автором. «—Это очень счастливо, что он раз и сильно проиграл,—сказал князь Андрей.—Это лучшее средство для молодого человека. Со мной то же было.—И он рассказал, как в первое время службы его обыграли в Петербурге и как он хотел застрелиться».

«Внутри его как бы оборвалось что-то. То… что она любила кого-нибудь, что она целовалась с своим кузеном (как сам князь Андрей в отрочестве обнимался со своей кузиной), это никогда не приходило в голову князю Андрею».

Странное рвение Толстого «обесцветить» своего героя приводит даже к сюжетной ошибке. Автор вырезает из романа все упоминания о том, что Пьер ввёл князя Андрея в масонскую ложу, как было в первой редакции, но оставляет одну фразу: «— Мне надо, мне надо поговорить с тобой,—сказал князь Андрей.—Ты знаешь наши женские перчатки (он говорил о тех масонских перчатках, которые давались вновь избранному брату для вручения любимой женщине)».

Трудно объяснить это усердное избавление автора от деталей, в то время как Толстой тщательно прорабатывал такие ключевые повороты судьбы Болконского, как встреча с дубом по дороге в Отрадное или бал у екатерининского вельможи.

Некоторые сцены новой версии романа он и вовсе написал «с нуля» (ночной разговор Наташи с Соней в Отрадном).

Однако самое крупное отличие двух версий романа—это их финалы. Логика развития характера Болконского предполагает его переход от честолюбивого эгоизма к самопожертвованию (неслучайно князь Андрей с самого начала противопоставлен своей сестре, которая несёт христианскую любовь к ближнему). Но если в первой редакции выздоровевший после ранения Болконский жертвует своим чувством и отпускает Наташу, понимая, что та не любит его, в окончательном варианте он гибнет, став «слишком хорош, чтобы жить»—то есть полюбив весь мир и никого в частности.

Зачем же Толстой убивает князя Андрея? Возможно, это было сделано, чтобы облагородить образ Наташи, мечущейся в первой версии от Болконского к Анатолю и от Анатоля к Пьеру (и, кажется, не любящей ни одного из них); возможно, счастливый финал показался автору надуманным. Так или иначе, умерев, князь Андрей возвращает себе расположение автора—его образ с явной симпатией ещё не раз появится на страницах романа в воспоминаниях Пьера, Наташи и сына Болконского Николеньки.

В чём же загадка этого образа? Во-первых, Болконский—один из немногих героев романа, не имеющий чёткого прототипа; как следствие, у автора не было возможности опереться на биографию реального лица. Также его одиночество и болезненное самолюбие—качества, не находящие поддержки у Толстого,—уравновешиваются такими свойствами характера, как честность и тонкость ума, что создаёт многогранность образа.

Очевидно, Толстой, как и многие другие авторы великих произведений, вначале не полностью осознавал, что за характер выйдет из-под его пера. Герои романа даны в развитии, и автор вместе с читателями наблюдает за ними, их исканиями, взлётами и падениями на пути к цели.

стр. 39
Арутюнов Сергей Сергеевич
Москва, 1972 г. р.

Российский поэт, прозаик, публицист, критик. Родился в Красноярске. В 1999 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Первая публикация стихов — в 1994 году в журнале «Новая Юность». Регулярные публикации рецензий в широком круге изданий — «Знамя», «Октябрь», «Вопросы литературы», «Футурум АРТ», «Дети Ра», «Книжное обозрение», «Литературная Россия», «Литературная газета», «День поэзии», «НГ-Exlibris», «Дружба народов» и др. С 2005 года ведёт творческий семинар в Литературном институте имени А. М. Горького. Лауреат премии имени Бориса Пастернака (2004), Московского международного открытого книжного фестиваля в номинации «За лучшую рецензию» (2007), Отличия журнала «Современная поэзия» в области критики (2008), премии авангардного журнала «Футурум АРТ» (дважды, 2010, 2012), ордена «Золотая осень» имени Сергея Есенина (2013), премии имени поэта-декабриста Фёдора Глинки (2013), премии «Вторая Отечественная» имени поэта, участника Первой мировой войны Сергея Сергеевича Бехтеева (2014). Член редколлегии журнала «День и ночь» (Красноярск).

стр. 98
Астафьева Анастасия Викторовна
Санкт-Петербург, 1975 г. р.

Родилась в г. Вологде. Дочь В. П. Астафьева, знаменитого русского писателя, уроженца Красноярского края. Писать начала с пятнадцати лет. Автор многих сказок, повестей, рассказов и статей; участник семинаров и совещаний молодых писателей Вологодчины и Северо-Запада. Печаталась в местной прессе, в «Литературной России», журналах «Нева», «Очаг», «Мир женщины», «День и ночь», «Невский Альманах» и др. По детективу «Сети Арахны» в 1998 году на вологодском областном радио был поставлен одноименный спектакль. Член Союза российских писателей с 2000 года. В 2003 году окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. В 2012 году окончила Санкт-Петербургский университет кино и телевидения по специальности «киноведение».

стр. 56
Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Поэт, эссеист, публицист. Родился в городе Чусовом Пермской области. Окончил филологический факультет Пермского госуниверситета. Автор четырёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой», «Я скоро из облака выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и ряда литературных премий — имени Павла Бажова (2008), имени Алексея Решетова (2013), общенациональной премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (2014). Основатель трёх поэтических групп: «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х), «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина), «Иерусалимский журнал» (Израиль), в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антология русского лиризма. XX век», «Молитвы русских поэтов». Награждён орденом-знаком Велимира «Крест поэта», орденом Достоевского I степени. В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр. 50
Белоколос Ирина Валерьевна
Донецк, 1960 г. р.

Окончила Институт культуры в Киеве (режиссура). С 2014 года журналист в министерстве информации Донецкой Народной Республики. Автор сборника «Час мужества».

стр. 19
Брель Сергей Валентинович
Москва, 1970 г. р.

Родился в Москве. Окончил Московское педагогическое училище №1 имени К. Д. Ушинского, затем Московский открытый педагогический

университет им. М.А. Шолохова по специальности «учитель русского языка и литературы». Кандидат филологических наук. В 2009 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров в Москве (мастерская Л. Голубкиной и О. Дормана, специальность — «драматургия игрового и неигрового кино»). Автор двух поэтических сборников: «Мир» и «Свой век». В 2007 году с С. Арутюновым и М. Лаврентьевым основал литературную группу «Дети Ампира», выступления которой проходили в Москве. Член Союза писателей XXI века. Преподаёт русский язык, литературу, мировую художественную культуру, ведёт открытый семинар для школьников и студентов «Современная драматургия и основы сценарного мастерства».

стр. 127
Валеев Марат Хасанович
Красноярск, 1951 г. р.

Родился в г. Краснотурьинск Свердловской области. Рос и учился в с. Пятерыжск на Иртыше в целинном Казахстане. Окончил школу, успел поработать бетонщиком на заводе ЖБИ, призвался в СА. Служил в стройбате в 1969–1971 годах, строил военные объекты. После армии работал сварщиком в тракторной бригаде. Окончил факультет журналистики КазГУ им. Аль-Фараби (г. Алма-Ата). Работал в газетах Павлодарской области «Ленинское знамя» (Железинка), «Вперёд» (Экибастуз), «Звезда Прииртышья» (Павлодар). В 1989 году был приглашён в газету «Советская Эвенкия» (с 1993 года — «Эвенкийская жизнь») на севере Красноярского края, в которой прошёл путь от рядового корреспондента до главного редактора. Написал и опубликовал несколько сотен иронических, юмористических рассказов и миниатюр, фельетонов. Автор и соавтор нескольких сборников юмористических рассказов и фельетонов, прозы и публицистики, изданных в Красноярске, Павлодаре, Кишинёве, Москве. Публикации в журналах «Журналист», «Кукумбер», «Мир Севера», «Колесо смеха», «Вокруг смеха», «Сельская новь», «Семья и школа», «День и ночь», газетах «Литературная газета», «Московская среда», «Советская Россия» и др. Лауреат и дипломант ряда литературных конкурсов, в том числе «Золотое перо Руси — 2008» (номинация «юмор»), Общества любителей русского слова (номинация «проза», 2011) «Рождественская звезда — 2011» (номинация «проза»). Член Союза российских писателей.

стр. 52
Васильев Геннадий Михайлович
Красноярск, 1959 г. р.

Журналист, поэт, исполнитель авторской песни. Родился в Томске. Отслужил в армии, потом по комсомольской путёвке оказался на КАТЭКе, в Шарыпово. Учился заочно в Иркутском университете на факультете журналистики. Работал в газетах «Красноярский комсомолец», «Свой голос», «Евразия», «Деловая Сибирь», вёл еженедельную программу на красноярской студии «Авторадио», участвовал во всевозможных медиапроектах. Участник Всероссийского совещания молодых литераторов в Ярославле в 1996 году.

стр. 161
Вдовин Николай Геннадьевич
Качулька Красноярского края, 1971 г. р.

Поэт, драматург. Родился в городе Темиртау (Казахстан). Несколько лет жил в Санкт-Петербурге, где учился в кораблестроительном институте. С 1994 года живёт на юге Красноярского края, в селе Качулька Каратузского района. Автор одного поэтического сборника. Публиковался в небольших газетах, журнале Homo legens (Москва), «День и ночь» (Красноярск). Лауреат премии Фонда имени В.П. Астафьева по итогам 2012 года.

стр. 137
Веселовский (Алексеев) Павел Анатольевич
Красноярск, 1972 г. р.

Родился в Красноярске. Писатель-прозаик, фантаст, журналист. Окончил Красноярский государственный университет (ныне — СФУ) по специальности «математика». Основное направление творчества — ироническая проза и фантастика (как в направлении «твердая НФ», так и мистические и сюрреалистические произведения). В качестве журналиста публикуется в различных специализированных изданиях Красноярска, Новосибирска, Москвы, Астаны с 2008 года. Участник и дипломант (шорт-листы, лонг-листы) нескольких российских литературных конкурсов, конкурсов фантастических рассказов; рассказы автора публиковались в сборниках в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Красноярске, а также в Германии; дипломант Международного литературного конкурса им. Игнатия Рождественского в 2014, 2015, 2016 годах (Красноярск). При содействии филиала СРП в Красноярске готовится к печати сборник фантастических рассказов автора «Три стороны пуговицы».

обл.
Горбачёва Наталья Вениаминовна
Дивногорск, 1966 г. р.

Родилась в Новосибирске. Окончила Красноярское художественное училище им. В.И. Сурикова в 1985 году. В 1996 году получила высшее образование в Санкт-Петербургской академии художеств им. И.Е. Репина на отделении искусствоведения. Выставляется с 1998 года. С 2006 года — член Союза художников России. Участница краевых, региональных и зарубежных выставок. Работы Натальи Горбачёвой находятся в собраниях Министерства культуры России, а также в частных коллекциях России и за рубежом. В настоящее время художница преподаёт в Детской художественной школе им. Е.А. Шепелевича.

стр. 43 **Дегтяренко Вячеслав Иванович**
Москва, 1971 г. р.

Родился в городе Бровары Киевской области, Украина. Окончил Киевское медицинское училище, факультет подготовки врачей для Сухопутных войск Ленинградской военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Служил в рядах Вооружённых Сил стрелком взвода охраны. В период обучения в академии работал медбратом, риелтором, администратором кафе, швеёй прядильной фабрики, охранником, продавцом. Служил на должности начальника медпункта отдельной бригады специального назначения в Забайкалье. Служил в составе военной группировки в пригороде Грозного — н. п. Ханкала на должностях от начмеда разведывательной части до главного психиатра (2000–2005 гг.). В 2006 году опубликовал первую книгу «Тату», в которую вошли выдержки из писем, дневниковые записи в период службы в Чечне. В 2007 году вышла книга «Тату, часть вторая» под псевдонимом Славин В. И. Автор сборника «Щодня, или Наблюдения клинического ординатора», состоящего из заметок, написанных на ночных дежурствах в больницах и клиниках г. Санкт-Петербурга, а также из размышлений психиатра, психотерапевта, детского нарколога. В настоящее время проходит службу военным психиатром, подполковник медицинской службы в главном военном госпитале имени академика Н. Н. Бурденко. Ветеран боевых действий. Двукратный чемпион мира в спортивной ходьбе (2012), неоднократный чемпион Европы и России, рекордсмен Москвы в категории «40+». Член Всероссийского общества художников-маринистов. Автор двадцати научных печатных работ и девяти рационализаторских предложений. Публиковался на страницах периодической печати: «Подольская правда», «Сборник работ врачей ВМедА», «305 лет главному военному клиническому госпиталю», «Здоровье».

стр. 163 **Дьячков Александр Андреевич**
Екатеринбург, 1982 г. р.

Родился в Казахстане, в городе Усть-Каменогорске. В 1995 году семья переехала на Урал, в Екатеринбург. Окончил Екатеринбургский театральный институт и Литинститут им. А. М. Горького в Москве. Публиковался в периодике Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Саратова, Кемерова и других городов. Автор трёх поэтических книг: «AD», «Некий беззаконный человек», «Перелом души». Участник нескольких поэтических сборников: «Разговор» (2009, Москва), «А я вам — про Ерёму…» (2010, Москва), «Лучшие стихи 2011 года» (2013, Москва). Несколько стихотворений переведены на болгарский и вьетнамский языки. В 2011 году вошёл как поэт в антологию Юрия Казарина «Поэты Урала». Лауреат премии им. Евг. Курдакова (2015), номинант премии «ЛИТконкурс: стихи и проза» (2015).

стр. 118 **Жарикова Елена Владимировна**
Красноярск

В 1993 году окончила Абаканский государственный пединститут. Преподаёт литературу в Красноярской гимназии № 1 («Универс»). Руководитель «Литературной гостиной». В 1998 году удостоилась звания «Учитель года» (Шарыпово). Участница и финалист многих литературных конкурсов. Стихи и проза публиковались в литературной периодике.

стр. 194 **Закавряшин Михаил Юрьевич**
Красноярск, 1993 г. р.

Родился в посёлке Рыбное Красноярского края. Студент Юридического института Сибирского федерального университета. Дипломант конкурса на соискание премии имени И. Д. Рождественского 2015 года в номинации «Малая проза».

стр. 209 **Игнатова Елена Алексеевна**
Иерусалим, 1947 г. р.

Поэт, прозаик. Родилась в Ленинграде. Окончила филологический факультет ЛГУ. Работала учителем в школе (1970–1972), экскурсоводом в музее Петропавловской крепости (1973–1976), преподавателем русского языка на филологическом факультете ЛГУ, автором русского текста группы дубляжа и сценаристом на киностудии «Ленфильм» (1980–1990). С начала 70-х публиковала стихи в самиздате и в эмигрантских журналах «Континент», «Грани», «22», «Стрелец» и др. Автор книг «Стихи о причастности», Париж, 1976; «Темная земля», Л., 1989; «Небесное зарево», Иерусалим, 1992; «Стихотворения разных лет», Иерусалим, 2005, а также книги «Записки о Петербурге. Очерки истории города», СПб, 1997. С 1990 года живёт в Израиле.

обл. **Карлов Сергей Викторович**
Саяногорск, 1959 г. р.

Художник декоративно-прикладного искусства, дизайнер. Родился в 1959 году в селе Берёзовка, Красноярский край. Работает в технике флорентийской мозаики, смешанных техниках, в станковых и монументальных формах, в мелкой пластике, скульптуре и графике. Учился в Уральском училище прикладного искусства (1979–1983), Нижний Тагил. Работает художником-дизайнером на комбинате «Саянмрамор» (1976, 1984); в ООО «МКК-Литос» — до 2002-го, сотрудничает с фирмой «Арт-камень», Москва, с 2002-го. Участник городских, республиканских, зарубежных и международных выставок. Член СХ с 1994 года. Награды: 2003 — диплом 1-й степени ландшафтной выставки архитектуры в номинации «Элемент ландшафтного дизайна», Москва; 2004 — диплом

3-й степени 1-го всероссийского смотра-конкурса «Камень в архитектуре XXI века. Традиции и новаторство» в номинации «Малые архитектурные формы», Москва. Произведения хранятся: в музее «Саянмрамор», Саяногорск, в общественных зданиях и интерьерах Москвы, Находки, в городах Австрии, Венгрии, Италии и др.

стр. 123 **Лалуа Юлия**
Лимож (Франция)

Родилась в Ставрополе. Публицист, прозаик, эссеист. Публикации в журналах «День и ночь», «Дарьял», LiteraruS (Хельсинки).

стр. 185 **Любченко Андрей Андреевич**
Красноярск, 1994 г. р.

Родился в Норильске. В настоящее время заканчивает обучение в Институте филологии и языковой коммуникации СФУ, отделение филологии. Ранее не публиковался.

стр. 54, 162 **Минин Евгений Аронович**
Иерусалим, Израиль, 1949 г. р.

Поэт, пародист, организатор литературного процесса. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах. Издатель альманаха «Иерусалимские голоса», приложений к альманаху «Литературный Иерусалим», издатель и редактор множества поэтических сборников. Автор текстов песен для шести музыкальных альбомов, выпущенных российскими студиями грамзаписи. Председатель Иерусалимского отделения СП Израиля, член Союзов писателей Израиля и Москвы, директор Международного союза литераторов и журналистов (APIA) по Израилю, литературный представитель за рубежом газеты «Информпространство» (Москва). Лауреат нескольких литературных премий. Член судейского корпуса Международной литературной премии «Серебряный стрелец» (2008, 2009, 2010).

стр. 96 **Молчанов Виталий Митрофанович**
Оренбург, 1967 г. р.

Родился в Баку. Выпускник Московской академии нефти и газа. Председатель Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей, член Союза писателей XXI века и Координационного совета Ассоциации писателей Урала. Лауреат международного фестиваля литературы и искусства «Славянские традиции—2010», лауреат Малой международной литературной премии «Серебряный стрелец», победитель IV Международного поэтического конкурса имени С. И. Петрова, дипломант V Международного конкурса памяти Владимира Добина («Русское литературное эхо», Израиль), победитель литконкурса интернет-журнала «Лексикон» (Чикаго) в 2010 году, победитель литконкурса фестиваля «Гоголь-фэнтези—2009» (Украина), обладатель звания «Стильное перо—2009» по результатам литконкурса фестиваля «Русский стиль—2009» (ФРГ). Публиковался в еженедельнике «Обзор» («Континент», Чикаго), в журналах «Русское литературное эхо» (Израиль), «Дети Ра», «Зинзивер», «День и ночь», «Живой звук» (Москва), «Окна» (ФРГ), в альманахах «ЛитЭра» (Москва), «Гостиный двор» (Оренбург), «Чаша круговая» (Екатеринбург), в газетах «Зарубежные задворки» (ФРГ), «Южный Урал», «На юго-восточных рубежах» (Челябинск), «Литературная гостиная» (Тверь), «Молодой дальневосточник» (Владивосток), в сборнике «Обретённый голос», в «Антологии русской поэзии XXI века» и др.

стр. 33 **Назирли Кямран**
Баку, 1958 г. р.

Родился в Астаре. Писатель, переводчик и драматург, лауреат национальной премии Г. Б. Зардаби, член Союза писателей Азербайджана и Союза журналистов. Кандидат филологических наук. Автор монографии по языковедению. Автор многочисленных научно-литературных статей, посвящённых мировой литературе, языкознанию и социологии, нескольких художественных и публицистических книг. Публиковался в различных литературных альманахах и журналах в США, Турции, Голландии, Корее, Узбекистане и Украине. Представлял культуру и литературу Азербайджана на фестивалях и симпозиумах во Франции, России, Австрии, Германии, Голландии. Обладатель нескольких литературных премий Азербайджана.

стр. 48 **Орлов Александр Владимирович**
Москва, 1975 г. р.

Окончил Московское медицинское училище №1 имени И. П. Павлова, Литературный институт имени А. М. Горького и Московский институт открытого образования. Работал ортопедом в челюстно-лицевом госпитале для ветеранов Великой Отечественной войны, разнорабочим, начальником отдела и заместителем генерального директора в частной компании, последние годы работает учителем истории в столичной школе. Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат Всероссийского конкурса малой прозы имени А. П. Платонова (2011), Всероссийского конкурса малой прозы и поэзии имени Ф. Н. Глинки (2012), Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014). Публиковался в широком круге изданий: «День и ночь», «Дети Ра», «Зинзивер», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературная учёба», «Сибирские огни», «Южное сияние», «Юность», в сборниках и антологиях.

стр. 63 **Пашкевич Алесь**
Минская область, Беларусь, 1972 г. р.

Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета и аспирантуру при нём. Защитил кандидатскую диссертацию по поэзии (1998) и докторскую по прозе (2002). Поэт, прозаик, литературовед, публицист. Член Союза белорусских писателей. Автор книги поэзии «Небесная сирвента» (1994), романов «Плац воли» (2001), «Круг» (2006), «Сімъ побѣдиши» (2012), литературоведческих монографий и ряда публикаций в печати. Пишет на белорусском языке. Стихи и проза переводились на русский, украинский, польский, болгарский, литовский, английский и шведский языки. Работал в редакциях журналов «Неман», «Дзеяслоў», преподавал литературу в Белорусском государственном университете. С 2002 по 2011 годы был председателем Союза белорусских писателей, с 2012-го — его первый заместитель. Дипломант международного академического рейтинга популярности «Золотая фортуна» (2008). Лауреат Международной премии имени Валентина Пикуля за историческую правду в романе «Плац воли» (2009). Награждён орденом Украины «За заслуги» (2006) и медалью Василя Быкова «За правду творчества» (2008).

стр. 206 **Петров Сергей Владимирович**
Москва, 1960 г. р.

Литературным творчеством занимается с 2011 года. Рассказы были опубликованы в литературных журналах «Юность», «Невский альманах», «Наша молодёжь»,«День и ночь»,«Север»,«Южная звезда»,«Сибирские огни»,«Воин России»,«Пограничник» и др. Первая книга «Всё когда-нибудь заканчивается» вышла в 2011 году.

стр. 159 **Петрусевичюте Юлия**
Одесса, 1969 г. р.

Поэт, режиссёр-постановщик, сценарист. Родилась в Одессе. С 2002 года — член Южнорусского союза писателей. Руководитель театральной студии «Обочина». Работает помощником главного режиссёра Одесского театра юного зрителя. Автор книг стихотворений «Киммерийская Лета» (2006), «Археология перекрестка» (2014) и ряда самиздатовских сборников. Публиковалась в журналах и альманахах «Южное Сияние», «Дерибасовская — Ришельевская», «Октябрь», «Меценат и мир», «Интерпоэзия», «Гостиная», «45-я параллель», «Ренессанс», «Ликбез», «Великороссъ» и др. Лауреат Литературной премии им. К. Паустовского (2014).

стр. 25 **Пырх Виталий Петрович**
Красноярск, 1944 г. р.

Родился в Запорожье. Окончил Запорожский металлургический техникум. После окончания работал отжигальщиком термических печей на заводе «Запорожсталь». Служил в Советской Армии. С отличием окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Работал корреспондентом, заведующим отделом промышленности и собственным корреспондентом республиканских и центральных газет. С 1987 года живёт в Красноярске, где работал корреспондентом газеты «Трибуна». Автор более двух тысяч газетных публикаций различных жанров, двух десятков статей в толстых журналах, а также нескольких книг публицистики, изданных в Москве и Сыктывкаре, шестнадцати поэтических сборников и трёх книг документальной прозы.

стр. 47 **Росовская Елена**
Одесса, 1972 г. р.

Поэт. Родилась в Одессе. Окончила филологический факультет Одесского государственного университета им. И. Мечникова и экономический колледж. Стихотворения опубликованы в журналах «Южное Сияние», коллективных сборниках «Лит-Ё», «Провинция у моря — 2014», «Провинция у моря — 2015», интернет-порталах «45-я параллель», «Авророполис» и др. Победитель Основного поэтического конкурса и Анонимного конкурса одного стихотворения на IV Международном арт-фестивале «Провинция у моря» (Одесса, 2014). Победитель IV Международного литературного фестиваля «Шорох» (Симферополь, 2014, 1-е место в номинации «поэзия»). Член Южнорусского союза писателей (2014).

стр. 37 **Скворцов Константин Васильевич**
Москва, 1939 г. р.

Русский писатель, поэт. Родился в Туле. Мастер драматической поэзии. Окончил Челябинский агропромышленный университет и Высшие литературные курсы. Член Международного сообщества писательских союзов. Участник съездов писателей СССР и РСФСР. Действительный член Петровской академии наук и искусств. Автор двадцати пьес в стихах. На стихи Скворцова написали песни многие композиторы. Обладатель многочисленных наград и литературных премий.

стр. 165 **Смирнов Сергей Александрович**
Норильск, 1953 г. р.

Псевдоним — Бажутин, фамилия прадеда. Прозаик, поэт, автор песен. Родился в Норильске. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Работал геологом в Средней Азии, на Крайнем Северо-Востоке, в Арктике. Рассказы публиковались в анадырской газете «Крайний Север», в норильских литературных альманахах, журнале «День и ночь» (Красноярск).

стр. 164
Тенятников Сергей Михайлович
Германия, Лейпциг, 1981 г. р.

Родился в Красноярске. С 1999 года живёт в Германии. Окончил Лейпцигский университет по специальностям политолог, историк и филолог-русист. Пишет стихи и рассказы на русском и немецком языках, занимается переводами и видеопоэзией. Стихи публиковались в литературных журналах «Белый ворон», «День и ночь», «Журнал поэтов», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Плавучий мост», «Эмигрантская лира» и в антологии «Прощание с Вавилоном. Поэты русского зарубежья». Лауреат Шестого Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира — 2014» в Льеже (Бельгия). Лауреат литературной премии Фонда им. В. П. Астафьева 2015 года.

стр. 135
Хугаев Ирлан Сергеевич
Владикавказ, 1965 г. р.

Выпускник филологического факультета Северо-Осетинского государственного университета им. Коста Хетагурова; преподавал в школах Северной Осетии — Алании, на филологическом факультете СОГУ, в Новом гуманитарном университете Н. Нестеровой (Москва). Доктор филологических наук, старший научный сотрудник Владикавказского научного центра РАН и РСО-А. Публикации в журналах «Дарьял», «День и ночь», «Дети Ра», «Образы жизни» (Сан-Франциско, США) и других.

стр. 108
Чигир Виктор
Москва, 1988 г. р.

Родился в городе Владикавказе. Окончил художественное училище. Публиковался в журналах «Дарьял», «Октябрь», «Кольцо-А», «Меридиан».

стр. 9
Шанин Владимир Яковлевич
Красноярск, 1937 г. р.

Родился в селе Бирилюссы Красноярского края, в крестьянской семье. Окончил историко-филологический факультет Иркутского госуниверситета и аспирантуру Высшей школы профсоюзного движения при ВЦСПС в Москве. Трудиться начал с 14 лет. Работал в колхозе, леспромхозе, на заводе «Сибтяжмаш», в районных, многотиражных газетах, в альманахе «Енисей», в профсоюзных организациях, служил в армии. Участник краевого семинара молодых писателей Красноярья в 1974 году и в том же году — зонального совещания молодых писателей Сибири и Дальнего Востока в Иркутске, на котором рукопись рассказов была рекомендована к изданию. Печатался в краевых и областных газетах, в журналах «Молодая гвардия», «Дальний Восток», «Сибирские огни», в коллективных сборниках. Автор книг прозы «Памятник для матери», «Бел-горюч камень», «От зари до зари», «Горька ягода калинушка», «Куплю дом в деревне…», «Имя собственное» (литературные портреты писателей), изданных в Красноярске и Москве. А своей «главной» книгой считает роман-исследование о В. И. Сурикове «Суриков, или Трилогия страданий». В 2011 году вышел первый том «Енисейской летописи» — это хронологический перечень важнейших дат и событий из истории Приенисейского края. Готовится к изданию второй том. Член Союза писателей России. Член правления КРО СП России.

стр. 220
Шарга Людмила
Украина, Одесса

Поэт, прозаик, публицист. Лауреат международных литературных конкурсов и литературных премий. Автор шести сборников поэзии и прозы. Автор многочисленных публикаций в периодических печатных и сетевых изданиях. Редактор сайта Творческой гостиной Diligans.

стр. 3
Щербаков Александр Илларионович
Красноярск, 1939 г. р.

Родился в Красноярском крае, в селе Таскино, в старообрядческой крестьянской семье. Образование: история и филология, экономика и журналистика. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий, ныне возглавляет Красноярское отделение Союза писателей России. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики, повести «Свет всю ночь», сборников рассказов «Деревянный всадник», «Лазоревая бабка», «Змеи оживают ночью», поэтических книг «Трубачи весны», «Глубинка», «Горлица», «Жалейка», «Дар любви». Печатался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Огонёк» и др. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Академик Петровской академии наук и искусств.

стр. 113
Янс Георгий
Москва, 1953 г. р.

Родился в Москве. Окончил исторический факультет Ленинского пединститута. Более 20 лет проработал в школе. Репортёр, публицист, главный редактор газет и интернет-порталов, автор документальных фильмов, ведущий на телевидении. Два года проработал пресс-секретарем мэра города Королёв Московской области. Автор проекта «МК-сетература».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

РЕДАКТОРЫ

отдел прозы

Александр Астраханцев
Евгений Мамонтов

отдел поэзии

Сергей Кузнечихин

отдел публицистики

Геннадий Васильев

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОРЫ

Андрей Леонтьев
Юлия Королёва

СЕКРЕТАРИАТ

Юлия Вятчина
Артём Яковлев

Издание осуществляется при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков
Набережные Челны

Сергей Арутюнов
Москва

Юрий Беликов
Пермь

Вера Зубарева
Филадельфия

Анатолий Кирилин
Барнаул

Валентин Курбатов
Псков

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Евгений Минин
Иерусалим

Виталий Молчанов
Оренбург

Дмитрий Мурзин
Кемерово

Миясат Муслимова
Махачкала

Александр Петрушкин
Кыштым

Лев Роднов
Ижевск

Евгений Степанов
Москва

Михаил Тарковский
Бахта

Вероника Шелленберг
Омск

Владимир Шемшученко
Санкт-Петербург

В оформлении обложки использованы картина Натальи Горбачёвой и мозаики Сергея Карлова.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «День и ночь».

ИНН 246 304 2749

Расчётный счёт
4070 2810 8006 0000 0186
в Новосибирском филиале
ОАО «Банк Москвы»
в г. Новосибирске

БИК 045 004 762

Корреспондентский счёт
3010 1810 9000 00-00 0762

Рукописи принимаются
по электронной почте:
dayandnight@bk.ru

Адрес редакции:
г. Красноярск, пр. Мира, д. 3.
т. +7 923 571 4936

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 14.06.2016
Тираж: 1200 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»

г. Красноярск, ул. Гладкова,
д. 6, офис 0-10; т. 294 15 77
эл. почта: 2007rex@mail.ru

Сергей Карлов

Хозяин долины | рельефная мозаика из камня | 64 × 49 | 2012

Сергей Карлов
Вара. Пространство таинств | рельефная мозаика из камня | 56×56 | 2013

На обложке:

Наталья Горбачёва
Тёплый день (фрагмент) | 2015